753371

8р
3-495

Пр. 2010
753371

№ 3066.
2103

СОБРАНІЕ
КРИТИЧЕСКИХЪ МАТЕРІАЛОВЪ
ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА.

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.

Н. ТАГИЛЬСКАЯ
ХРОН. КАТ. №
СИСТЕМ. КАТ. №
Женская гимназія

СОСТАВИЛЪ
В. Зелинскій.

Ц. 2 руб

Изданіе шестое.

Б-ка Обл. парт. школы
Инв. № 1955 АРХ
при Свердл. Обкоме ВКП(б)

МОСКВА.
Типографія Вильде, Малая Кисловка, собственный домъ.
1910.

8р
3-495

753371

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Нельзя утаить того грустнаго факта, что русское читающее общество, за весьма немногими исключеніями, очень индифферентно относится къ литературной критикѣ. Нерѣдкость встрѣчать неразрѣзанными листы въ критическихъ отдѣлахъ журналовъ даже въ болѣе или менѣе многолюдныхъ библіотекахъ и кабинетахъ для чтенія, тогда какъ легкія беллетристическія произведенія талантливыхъ авторовъ буквально поглощаются публикою. Находя неумѣстнымъ касаться здѣсь причинъ этого явленія, я не могу однако не выразить глубокаго убѣжденія, что подобное отношеніе русскаго общества къ литературной критикѣ весьма пагубно отзывается на его умственномъ развитіи. Безспорно, главнѣйшій двигатель умственнаго и нравственнаго прогресса въ Россіи —это литература; слѣдовательно, какъ много выиграла бы русская культура, если бы, по крайней мѣрѣ, хоть только художественная литература, такъ широко и быстро распространяющаяся въ нашемъ обществѣ, усвоивалась имъ болѣе осмысленно, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ! Никто не станетъ отрицать того, что подавляющее большинство ищетъ въ чтеніи художественныхъ произведеній лишь дешеваго развлеченія, пріятнаго времяпрепровожденія, въ смыслѣ созерцанія и упоенія любовными исторіями, сценами и интригами, и рѣже эстетическаго наслажденія поэзіею въ литературѣ. Но развѣ истинно-художественныя литературныя произведенія, дѣйствуя на читающую публику въ такомъ именно смыслѣ, могутъ имѣть серьезное вліяніе на ея умственный

ростъ и нравственное развитіе? Конечно, нѣтъ. Мало того: художественная литература производитъ даже вредное вліяніе на духовное развитіе тѣхъ читателей, которые не способны видѣть въ ней внутренняго смысла и значенія, выражающаго дѣйствительную сущность жизни, а понимаютъ ее только поверхностно, съ ея внѣшней, несущественной стороны. Такіе читатели, въ наивной простотѣ своей души, очень часто принимаютъ отрицательное въ литературѣ за положительное, недостатки героя или героини за качества, которымъ, по ихъ разумѣнію, слѣдуетъ подражать. Въ особенности это часто случается съ очень молодыми читателями и читательницами, которые, по случайному влеченію къ какому ни попало герою или героинѣ, стараются буквально копировать послѣднихъ, несмотря на то, что такими избранными «идеалами» часто бываютъ не болѣе, какъ литературные типы людей отжившаго, отрицательнаго направленія жизни. Чѣмъ же помочь горю, какъ заставить это большинство не игнорировать литературной критики?—Чего-либо существеннаго въ этомъ отношеніи, по моему мнѣнію, пока нельзя сдѣлать. Тутъ играютъ самую важную роль естественные законы развитія. Въ порядкѣ вещей *прежде* чувствовать, а *потомъ* мыслить. Такъ и общество: пока оно покоится въ болѣе доступной ему и сродной его душевнымъ способностямъ области конкретнаго, до тѣхъ поръ не много пользы принесутъ какія-либо искусственныя усилія заставить его подняться въ сферу болѣе или менѣе отвлеченнаго.

Соображаясь съ этимъ, я вовсе не имѣлъ въ виду той надежды, что, какъ настоящею книгою, такъ и слѣдующими готовящимися къ печати сборниками критическихъ статей для изученія лучшихъ нашихъ писателей, — я сдѣлаю въ этомъ смыслѣ замѣтный толчокъ. Нѣтъ, — я только желалъ нѣсколько помочь тѣмъ читателямъ, которые уже сами стремятся знакомиться съ литературной критикой, и знакомиться съ нею именно при самомъ чтеніи художественныхъ произведеній. Поэтому мои критическіе сборники предназначаются не для самостоятельнаго чтенія, а,

главнымъ образомъ, для чтенія параллельнаго съ чтеніемъ произведеній разбираемаго писателя. Такъ, настоящій первый выпускъ критическихъ сборниковъ долженъ служить комментаріемъ, настольною книгою, при чтеніи произведеній нашего талантливѣйшаго писателя-художника И. С. Тургенева. Часто случается, что хотѣлось бы при самомъ чтеніи или по прочтеніи какого-либо литературнаго произведенія, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ его, тотчасъ же прочитать отзывъ о немъ того или другого критика; но гдѣ и какъ искать этотъ отзывъ — не всякій знаетъ, да и знакомому съ подобнымъ дѣломъ не всегда возможно справиться: или нѣтъ свободнаго времени или не хватаетъ книгъ, по которымъ разбросаны критическіе разборы и библіографіи. А тутъ желаемое подъ руками. Это первое назначеніе книги. Вторая цѣль ея предполагалась та, что, не внося въ нее ничего личнаго, субъективнаго, а подобравъ только разнообразные критическія выдержки, большею частію за и противъ, я имѣлъ въ виду дать читателямъ плодотворную умственную работу, состоящую въ сравненіи и комбинированіи тѣхъ и другихъ отзывовъ объ одномъ и томъ же произведеніи, по отношенію ихъ къ своему собственному непосредственному мнѣнію о томъ же произведеніи. Читая какое-либо разсужденіе одного лица, мы естественно становимся на точку зрѣнія его логики въ данномъ случаѣ, и будучи слабы въ критической мысли или совершенно незнакомы съ предметомъ разсужденія, невольно соглашаемся со взглядами и выводами разсуждающаго лица, даже и въ томъ случаѣ, когда эти выводы бываютъ не совсѣмъ правильны. Другое дѣло, когда объ одномъ и томъ же предметѣ предстанетъ передъ вами два или больше не совсѣмъ согласныхъ между собою мнѣній,— въ этомъ случаѣ даже самый апатичный умъ не соглашается безусловно съ тѣмъ или инымъ мнѣніемъ безъ самостоятельной борьбы, хотя бы и самой ничтожной. Нельзя согласиться съ тѣмъ или другимъ мнѣніемъ, не подумавъ объ немъ, не сравнивъ его съ другимъ противоположнымъ ему мнѣніемъ. Въ подобныхъ случаяхъ трудно

остаться ему пассивнымъ: необходимо примкнуть либо къ одному, либо къ другому мнѣнію, или найти часть истины какъ въ томъ, такъ и въ другомъ, или же, наконецъ, не согласиться ни съ однимъ изъ нихъ; а для этого необходимы мотивы, основанія, причины. Вотъ почему такую важную роль играютъ въ развитіи мышленія правильные и оживленные диспуты и вообще споры. Кромѣ того, полезность настоящей книги слѣдуетъ полагать еще и въ томъ, что она, заключая въ себѣ собраніе выдержекъ изъ статей критическихъ о произведеніяхъ писателя, появившагося на литературной аренѣ въ началѣ сороковыхъ годовъ и съ тѣхъ поръ, въ продолженіе почти сорока лѣтъ державшаго почетное знамя лучшаго его представителя, проливаетъ свѣтъ на цѣлую литературную эпоху, знакомя въ то же время читателя и съ представителями русской критической мысли.

Предназначая эту книгу, какъ я уже сказалъ, не для независимаго отъ произведеній И. С. Тургенева чтенія, а только какъ критическій разборъ читаемыхъ или уже прочтенныхъ его произведеній, я избѣгалъ, насколько возможно было, выписокъ изъ самыхъ разбираемыхъ произведеній и не всегда заботился также объ изложеніи такъ называемаго сюжета разбираемаго произведенія. Самые же критическіе отзывы, выдержки и мнѣнія большею частью составляютъ собою итоги и вообще суть тѣхъ критическихъ статей, изъ которыхъ они взяты.

Вотъ и все, что я считалъ нужнымъ сказать по поводу настоящей книги. Насколько въ дѣйствительности она будетъ полезна, объ этомъ судить не мнѣ. Отъ большей или меньшей степени полезности ея будетъ зависѣть печатаніе мною цѣлаго ряда подобныхъ сборниковъ критическихъ статей о произведеніяхъ новѣйшихъ русскихъ популярныхъ писателей.

Второе изданіе предлагаемаго «Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева»

дополнено новыми критическими статьями и нѣсколько передѣлано. Второй выпускъ настоящей книги печатается и скоро выйдетъ въ свѣтъ.

Третье изданіе перваго выпуска «Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева» дополнено критическими статьями: Д. Овсянико-Куликовскаго, И. Иванова и К. Чернышева.

Четвертое изданіе настоящей книги дополнено статьей о Тургеневѣ Евг. Соловьева (Андреевича), перепечатанной изъ его «Очерковъ по исторіи русской литературы XIX вѣка».

16 мая 1902 г.

Пятое изданіе «Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева» дополнено статьями: С. Венгерова (въ «Рудинѣ»), К. Арсеньева, С. Андреевскаго, В. Семевскаго и Арс. Введенскаго.

15 апрѣля 1906 г.

Шестое изданіе настоящаго перваго выпуска «Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева» дополнено критическими статьями: А. Грузинскаго, А. Барсова и Ц. Балталона.

В. Зелинскій.

18 марта 1910 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе.

Біографическія свѣдѣнія объ И. С. Тургеневѣ. Послѣдовательный ходъ развитія его таланта и общая оцѣнка его литературной дѣятельности.

Критическія статьи:

	Стран.
А. Скабичевскаго	1
А. Незеленова	15
Н. Михайловскаго	33
В. Буренина	52
Ап. Григорьева	57
Н. Страхова	60
А. Незеленова	72
О. Миллера	81
И. Иванова	90
Д. Овсянико-Куликовскаго	91
Е. Соловьева	98
А. Введенскаго	112
С. Андреевскаго	118
К. Арсеньева	127

Стихотворенія и поэмы.

Критическія статьи:

И. Тургенева	138
А. Дружинина	—
С. Венгерова	139
С. Дудышкина	140
С. Венгерова	—
В. Бѣлинскаго	141
С. Дудышкина	144
С. Венгерова	—
В. Бѣлинскаго	145
Изъ „Москвитянина“ за 1845 г.	146
Изъ „Библіотеки для Чтенія“ за 1845 г.	150
С. Венгерова	157
В. Бѣлинскаго	158
О. Миллера	160
В. Бѣлинскаго	161
О. Миллера	162
С. Венгерова	—
В. Бѣлинскаго	163
С. Дудышкина	—
Ап. Григорьева	—
С. Венгерова	164
В. Бѣлинскаго	—
В. Буренина	165
А. Незеленова	169

Драматическія произведенія.

Критическія статьи:

	Стран.
А. Скабичевскаго	179
В. Буренина	—
А. Незеленова	183
С. Венгерова	191
В. Бѣлинскаго	192
П. Анненкова	—
Ап. Григорьева	193
А. Дружинина	194
С. Дудышкина	—
Изъ „Отечеств. Записокъ“ за 1850 г.	195
М. Лонгинова	196

„Записки Охотника“.

Критическія статьи:

О. Миллера	197
В. Буренина	208
О. Миллера	220
А. Дружинина	221
П. Анненкова	222
В. Бѣлинскаго	224
О. Миллера	227
С. Венгерова	228
А. Скабичевскаго	229
Ап. Григорьева	231
М. Лонгинова	232
Изъ „Сѣвернаго Обозрѣнія“ за 1848 г.	236
И. Иванова	240
К. Чернышева	248
А. Введенскаго	250
В. Семевскаго	256
А. Барсова	268
А. Грузинскаго	306

Разборъ „Записокъ Охотника“ каждаго разсказа въ отдѣльности.

„Хорь и Калинычъ“.

Критическія статьи:

А. Незеленова	317
С. Венгерова	319
П. Евстафьева	—
Н. Невзорова	320
В. Бѣлинскаго	321
К. Аксакова	—

„Однодворецъ Овсянниковъ“.

Критическія статьи:

Н. Невзорова	322
П. Евстафьева	324
А. Незеленова	—

„Касьянъ съ Красивой-Мечи“.

Критическія статьи:

П. Евстафьева	325
А. Незеленова	326
С. Венгерова	328

„Бирюкъ“.

Критическія статьи:

Н. Невзорова	328
А. Незеленова	329
С. Венгерова	—

„Пѣвцы“.

Критическія статьи:

А. Незеленова	330
Н. Невзорова	331

Стран.

„Бѣжинъ Лугъ".

Критическія статьи:

П. Евстафьева......... 332
Изъ „Москвитянина" за 1851 г................. 334
А. Незеленова......... 340

„Ермолай и Мельничиха".

Критическая статья

С. Венгерова......... 343

„Бурмистръ".

Критическая статья

С. Венгерова......... 343

„Смерть".

Критическая статья

А. Незеленова......... 344

Стран.

„Лѣсъ и Степь" и „Поѣздка въ Полѣсье".

Критическая статья

П. Евстафьева......... 347

„Живыя Мощи".

Критическая статья

А. Незеленова......... 347

„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда".

Критическія статьи:

С. Венгерова......... 350
М. Авдѣева........... 351
Ап. Григорьева........ 352
В. Буренина.......... 354

Вопросы для изученія „Записокъ Охотника" каждаго разсказа въ отдѣльности.

Статья Ц. Балталона.

„Хорь и Калинычъ".... 357
„Ермолай и Мельничиха". —
„Малиновая Вода"....... 358
„Мой сосѣдъ Радиловъ". —
„Однодворецъ Овсяниковъ"................. —
„Льговъ"............ 359
„Бѣжинъ Лугъ"........ —
„Касьянъ съ Красивой Мечи"............. 360
„Бурмистръ".......... —
„Контора"........... —
„Бирюкъ"............ 361
„Два Помѣщика"....... —
„Лебедянь"........... —
„Татьяна Борисовна и ея племянникъ"............ 362
„Смерть"............ —
„Пѣвцы"............ —
„Петръ Петровичъ Каратаевъ"................ —
„Свиданіе"............ 363
„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда"................ —
„Чертопхановъ и Недопюскинъ и конецъ Чертопханова"................ —
„Живыя Мощи"........ 364
„Муму"............... 366
„Постоялый дворъ"..... —

Повѣсти и разсказы до „Рудина“.

Стран.

„Андрей Колосовъ“.

Критическія статьи:

А. Дружинина.......... 368
С. Венгерова 383
М. Авдѣева.......... ..
В. Бѣлинскаго......... —
В. Буренина........... 385
А. Незеленова......... 387

„Бреттеръ“.

Критическія статьи:

С. Венгерова.......... 389
А. Дружинина.......... 390
В. Буренина........... 391
А. Незеленова......... 394

„Три портрета“.

Критическія статьи:

Ап. Григорьева 396
С. Венгерова....... .. 398
В. Бѣлинскаго .... —
А. Дружинина.......... 399
В. Буренина....... .. —
А. Незеленова......... 401

„Жидъ“.

Критическія статьи:

А. Дружинина 405
С. Венгерова.......... —
В. Буренина........... —

„Пѣтушковъ“.

Критическія статьи:

С. Венгерова.......... 406
А. Дружинина.... 407
А. Незеленова......... —

Стран.

„Дневникъ лишняго человѣка“.

Критическія статьи:

С. Венгерова.......... 413
А. Дружинина......... 414
Ап. Григорьева 415
А. Дружинина.......... 416
В. Буренина........... 417
А. Незеленова......... 419

„Три Встрѣчи“.

Критическія статьи:

П. Анненкова.......... 423
С. Венгерова 424
А. Дружинина.......... —
Ап. Григорьева .... —

„Муму“.

Критическія статьи:

С. Венгерова 424
А. Незеленова......... 425
П. Анненкова...... ... 426

„Два Пріятеля“.

Критическія статьи:

А. Дружинина.......... 427
С. Венгерова .... —
С. Дудышкина.......... 428
П. Анненкова.......... —
А. Дружинина......... 430
В. Буренина.... ..... —

„Затишье“.

Критическія статьи:

С. Венгерова.......... 433
М. Авдѣева........... —
С. Венгерова.......... 434

Стран.

А. Дружинина.......... 435
П. Анненкова........ 436
М. Авдѣева............ 437
П. Анненкова. .... —
А. Дружинина.......... 438
В. Буренина........... —
А. Незеленова......... 439

„Постоялый Дворъ“.

Критическая статья

А. Незеленова......... 444

Стран.

„Яковъ Пасынковъ“.

Критическія статьи:

А. Дружинина. 445
С. Дудышкина......... 446
А. Незеленова 447
В. Буренина........... 454

„Переписка“.

Критическія статьи:

С. Дудышкина......... 455
А. Дружинина.......... —
В. Буренина........... 456

„Рудинъ“.

Критическія статьи:

А. Дружинина.......... 462
С. Дудышкина 474
Н. Шелгунова 474
О. Миллера............ 477
А. Григорьева 477
Д. Писарева............ 478
О. Миллера............ 482
С. Дудышкина .... —
Н. Чернышевскаго...... 483
Н. Шелгунова 484
Д. Писарева........... —
М. Авдѣева............ —
Ап. Григорьева 490
А. Скабичевскаго....... 491
В. Буренина........... 496
А. Незеленова 506
С. Венгерова 512
Ю. Говорухи-Отрока..... 523
С. Венгерова 532
И. Иванова............ 542
К. Чернышева 559
А. Введенскаго 567

„Фаустъ“.

Критическія статьи:

А. Дружинина.......... 573
Н. Чернышевскаго..... 574
Д. Писарева........... 575
В. Буренина.......... 583
Ю. Николаева (Говорухи-Отрока)................. —
Д. Овсянико-Куликовскаго. 591

„Ася“.

Критическія статьи:

С. Венгерова 605
Н. Чернышевскаго...... —
П. Анненкова.......... 607
Д. Писарева........... 610

Алфавитный указатель произведеній Тургенева, именъ писателей, названій сочиненій, статей, книгъ, журналовъ и газетъ, — встрѣчающихся на страницахъ перваго выпуска „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“ 616

Біографическія свѣдѣнія объ И. С. Тургеневѣ, послѣдовательный ходъ развитія его таланта и общая оцѣнка его литературной дѣятельности.

*) Во главѣ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ по всѣмъ правамъ,—и по обширности таланта, и по высотѣ своего философскаго образованія, и по широтѣ захвата русской жизни, и по разнообразію содержанія своихъ произведеній, и по ихъ общественному значенію, и, наконецъ, по высотѣ ихъ чарующей художественности,—славится Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Ив. Серг. Тургеневъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, вышедшему изъ Золотой Орды и нерѣдко упоминаемому въ исторіи съ XVI-го вѣка. Отецъ Тургенева, Сергѣй Николаевичъ, служилъ въ Елисаветградскомъ кирасирскомъ полку, и женился въ Орлѣ на дочери богатаго помѣщика, Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Первымъ плодомъ этого брака былъ старшій братъ Тургенева Николай; вторымъ былъ Иванъ, родившійся черезъ два года послѣ старшаго, 28 октября 1818 г., въ Орлѣ, гдѣ стоялъ полкъ его отца.

Вскорѣ послѣ рожденія сына Ивана отецъ его вышелъ въ отставку, съ чиномъ полковника, и поселился въ имѣніи своей жены, селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ, въ десяти верстахъ отъ Мценска, Орловской губерніи. Тамъ провелъ

*) А. М. Скабичевскій. „Исторія новѣйшей русской литературы“.

Тургеневъ первые годы своего дѣтства. Но мало свѣтлыхъ впечатлѣній вынесъ онъ изъ этихъ дѣтскихъ лѣтъ. Семейство Тургеневыхъ представляло собою весьма рѣзко выраженный типъ старинныхъ помѣщичьихъ нравовъ. Ни одна хоть сколько-нибудь нѣжная, сердечная черта не смягчала суровости этихъ нравовъ, всецѣло основанныхъ на строгомъ и безпощадномъ деспотизмѣ, тяготѣвшемъ не только надъ крѣпостными слугами, но и надъ младшими членами семьи. Всѣ ежеминутно трепетали въ домѣ, и каждый день, каждый часъ ждали какой-нибудь жестокой расправы. Прибавьте къ этому, что и въ самыхъ нѣдрахъ семьи таился непримиримый разладъ: отецъ Тургенева, типъ котораго изображенъ въ романѣ *Первая Любовь*, не любилъ жены, будучи значительно моложе ея и женившись на ней по разсчету. «Матушка моя,—повѣствуетъ Тургеневъ въ этомъ романѣ, — вела печальную жизнь: безпрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не въ присутствіи отца; она очень его боялась, а онъ держался строго, холодно, отдаленно. Я не видалъ человѣка болѣе изысканно-спокойнаго, самоувѣреннаго и самовластнаго! Къ тому же онъ отличался атлетическою фигурою и медвѣжьей силою».

Что касается матери Тургенева, то портретъ ея въ свою очередь изображенъ имъ въ повѣсти *Пунинъ и Бабуринъ*. Она была очень несчастна въ дѣтствѣ и юности. Сначала въ домѣ матери она терпѣла отъ отчима, который ненавидѣлъ ее, заставлялъ подчиняться своимъ капризамъ, билъ ее, унижалъ и срывалъ на ней свой буйный хмель. Когда же ей исполнилось 16 лѣтъ, и онъ началъ преслѣдовать ее иначе, грозясь подвергнуть жестокому наказанію въ случаѣ неблагосклонности, во избѣжаніе позора Варвара Петровна должна была бѣжать изъ дома отчима и искать пріюта въ домѣ дяди. Но и здѣсь ей было не легче: дядя былъ человѣкъ суровый и скупой, держалъ ее въ ежовыхъ рукавицахъ, и она жила почти взаперти въ Спасскомъ. Послѣ смерти его она вышла замужъ, будучи уже за тридцать лѣтъ, и не нашла въ мужѣ ни любви ни нѣжности; онъ внушалъ ей одинъ страхъ и мучительную ревность

вслѣдствіе частыхъ измѣнъ. За то, когда онъ умеръ, и она осталась наслѣдницею огромнаго имущества, она, какъ это часто бываетъ съ натурами, долго находившимися подъ гнетомъ, почувствовала жажду власти, и начала проявлять ее на всемъ вольномъ просторѣ, и обратилась въ неукротимую самодурку съ развинченными нервами, вѣчными капризами и фантастическими причудами. Всѣ ходили передъ нею на цыпочкахъ и трепетали. Стукъ ножей или ключей въ сосѣдней комнатѣ выводили ее изъ себя, и при малѣйшемъ возраженіи она впадала въ истерику. Самодурство ея доходило до того, что однажды она запретила своимъ домашнимъ праздновать пасху и не велѣла звонить въ церкви въ колокола. Нужно ли и говорить о томъ, какъ терпѣли отъ нея слуги и крестьяне, когда даже сыновей своихъ она вооружала противъ себя своимъ деспотизмомъ. Только съ совершеннолѣтіемъ они эмансипировались изъ подъ ея ига, встали на ноги и потребовали полнаго освобожденія изъ подъ ея опеки, не только нравственнаго, но и матеріальнаго. Но и тутъ, желая все-таки удержать колеблющуюся власть надъ ними, она прибѣгла къ грубому обману: подарила имъ по имѣнію и въ то же время отдала тайный приказъ вывезти изъ этихъ имѣній весь хлѣбъ, и тѣмъ обезцѣнить ихъ. И дошло дѣло до того, что ея любимецъ, которымъ она наиболѣе гордилась, котораго баловала и души не чаяла, Иванъ Сергѣевичъ, обратился къ ней со словами страшнаго приговора: «Кого ты не мучаешь? Всѣхъ!—говорилъ онъ.—Кто возлѣ тебя свободно дышитъ? Кто возлѣ тебя счастливъ? Вспомни только Полякова, Агаѳью... всѣхъ, кого ты преслѣдовала, ссылала, всѣ они могли бы любить тебя, всѣ бы готовы были жизнь за тебя отдать, если бы... а ты всѣхъ дѣлаешь несчастными!...»

Вотъ какія вынесъ Тургеневъ изъ своего дѣтства впечатлѣнія, сдѣлавшія его непримиримымъ врагомъ крѣпостного права. Рисуя въ „*Запискахъ Охотника*“ различныя самодурства помѣщиковъ надъ своими безотвѣтными крѣпостными, Тургеневъ могъ писать прямо на основаніи собственныхъ воспоминаній о людяхъ ему близкихъ: такъ въ

повѣсти «Муму» разсказанъ эпизодъ, случившійся въ родительскомъ домѣ Тургенева.

* * *

Воспитаніе Тургенева шло по обычаю того времени подъ присмотромъ безпрестанно мѣнявшихся гувернеровъ и учителей-швейцарцевъ и нѣмцевъ, дядекъ и мамокъ. Въ воспитаніи главную роль играли языки, французскій и нѣмецкій, которымъ Тургеневъ научился въ раннемъ дѣтствѣ. На русскій языкъ обращали мало вниманія. Учителемъ, который впервые заинтересовалъ мальчика произведеніемъ русской литературы, былъ крѣпостной камердинеръ его матери, читавшій ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ *Россіаду* Хераскова, подобно Пунину, повторяя каждый стихъ сначала «начерно» скороговоркою, а потомъ «набѣло» громогласно, съ необыкновенною торжественностью.

Въ началѣ 1827 года Тургеневы, въ видахъ дальнѣйшаго воспитанія дѣтей, переселились въ Москву, гдѣ купили себѣ домъ на Самотекѣ. Тургеневъ былъ отданъ сначала въ частный пансіонъ Вейденгамера, а потомъ жилъ одно время пансіонеромъ же у директора Лазаревскаго института, Краузе, который училъ его англійскому языку. Кромѣ того, къ университетскому экзамену готовилъ Тургенева извѣстный поэтъ Ив. Петр. Клюшниковъ, въ то время очень еще молодой студентъ.

Въ 1832 году, будучи всего 15 лѣтъ отъ роду, Тургеневъ поступилъ на словесный факультетъ московскаго университета. Но здѣсь онъ пробылъ всего одинъ годъ. Старшій его братъ поступилъ на службу въ гвардейскую артиллерію въ Петербургѣ; туда же переѣхала и вся семья, такъ что и Тургеневу пришлось перейти въ петербургскій университетъ въ 1834 году; въ томъ же году скончался его отецъ.

Не много вынесъ Тургеневъ изъ петербургскаго университета, гдѣ лучшимъ профессоромъ въ то время былъ

М. Ст. Куторга, а затѣмъ изъ наиболѣе выдающихся были: П. А. Плетневъ, А. В. Никитенко и А. А. Фишеръ. Живя въ Петербургѣ и посѣщая университетскія лекціи, Тургеневъ вмѣстѣ съ тѣмъ бралъ и частные уроки по древнимъ языкамъ у преподавателя Петропавловской школы Вальтера, который въ продолженіе двухъ лѣтъ (1835—37) читалъ съ нимъ Горація, Тацита, Ѳукидида, Софокла и другихъ классиковъ. По свидѣтельству Вальтера, молодой Тургеневъ былъ необыкновенно прилежнымъ ученикомъ. Онъ ревностно писалъ задаваемыя ему сочиненія и работалъ съ усердіемъ настоящаго нѣмецкаго студента. Уроки давались съ необыкновенною аккуратностью; одно только могло прервать ихъ,—это охота, къ которой Тургеневъ съ молодости сильно пристрастился и которая въ продолженіе многихъ десятковъ лѣтъ была для него любимымъ развлеченіемъ.

Въ 1836 году Тургеневъ кончилъ университетскій курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента (курсъ въ то время былъ трехлѣтній), а въ слѣдующемъ 1837 г. выдержалъ экзаменъ на степень кандидата. Уже на III-мъ курсѣ университета Тургеневъ началъ производить первые опыты по изящной словесности, конечно, сначала стихами. Такъ онъ написалъ фантастическую драму пятистопными ямбами подъ заглавіемъ «Стеніо», — произведеніе, по отзыву самого Тургенева, «совершенно нелѣпое, въ которомъ съ дѣтскою неумѣлостью выражалось робкое подражаніе Байроновскому «Манфреду». Тургеневъ представилъ свою пьесу на разсмотрѣніе Плетневу, который отечески побранилъ студента за то, что онъ тратитъ время на такіе пустяки; но при этомъ все-таки замѣтилъ, что въ молодомъ авторѣ «что-то есть», обласкалъ его и пригласилъ на свои литературные вечера. Обрадованный юноша отдалъ Плетневу нѣсколько стихотвореній, изъ которыхъ тотъ выбралъ два и годъ спустя (1838) напечаталъ безъ подписи автора въ Пушкинскомъ *Современникѣ*. Въ первомъ изъ нихъ воспѣвался старый дубъ; «это первая моя вещь, явившаяся въ печати»—говоритъ Тургеневъ въ *Воспоминаніяхъ*.

Окончивъ университетскій курсъ, Тургеневъ весною 1838 года отправился въ Берлинъ «доучиваться». Онъ ѣхалъ, какъ всѣ ѣздили въ то время, моремъ въ Штетинъ на пароходѣ «Николай I», который сгорѣлъ въ виду Травемюнде, при чемъ жизнь Тургенева подверглась опасности. Вотъ что говоритъ онъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ* о пребываніи въ Берлинѣ. «Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ, они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ,—посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я прожилъ (въ два періода) около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, назову: въ теченіе перваго года—Н. Станкевича, Грановскаго, Фролова; въ теченіе второго—столь извѣстнаго впослѣдствіи М. Бакунина. Я занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, полученное въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ латинскія древности у Цулента, исторію греческой литературы у Бока, а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую, которыя зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ».

Къ этой эпохѣ относится выработка какъ міросозерцанія вообще, такъ и политическихъ убѣжденій Тургенева. Масса новыхъ живыхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ поѣздки за границу, нѣмецкая наука и сближеніе съ такими людьми,

какъ Бакунинъ, Станкевичъ, Грановскій, не могли не содѣйствовать тому духовному перевороту, который изъ молодого барчука, преданнаго всѣмъ традиціямъ дѣтства, сдѣлалъ борца за свободу. Вотъ какъ характеризуетъ самъ Тургеневъ этотъ многознаменательный переворотъ:

«Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ, полоса помѣщичья, крѣпостная, не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротивъ, почти все. что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надобно было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дорогѣ, либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся». даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ «нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ,—я все-таки очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда.

«Мнѣ и въ голову не можетъ притти осуждать тѣхъ изъ моихъ сверстниковъ, которые другимъ болѣе отрицательнымъ путемъ достигли той свободы, того сознанія, къ которымъ я стремился. Я хочу только заявить, что я другого пути передъ собою не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня вѣроятно недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примириться. Это была моя аннибалловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить...

* * *

Въ 1841 году, вернувшись изъ за-границы, Тургеневъ поѣхалъ въ Москву держать экзаменъ на магистра философіи, но это оказалось невозможнымъ, такъ какъ каѳедры философіи въ Москвѣ не было. Не оставляя мыслей объ ученой карьерѣ, Тургеневъ поѣхалъ въ Петербургъ, но здѣсь ему пришлось неожиданно махнуть рукою на свои мечты и поступить (1842 г.) чиновникомъ особыхъ порученій въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ Л. А. Петровскаго. Это произошло вслѣдствіе размолвки съ матерью, весьма ограничившей средства къ его существованію.

Въ канцеляріи Тургеневъ занимался не столько службою, сколько чтеніемъ романовъ Жоржъ Занда и писаніемъ стиховъ. Это былъ романтическій періодъ его жизни, въ который Тургеневъ, корча изъ себя байроновскаго героя и заслуживъ за это отъ Герцена прозвище «позера», удивлялъ петербургское общество самыми эксцентрическими выходками и необузданно-смѣлыми рѣчами. Въ то же время въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали являться мелкія стихотворенія его, а въ началѣ 1843 года Тургеневъ напечаталъ отдѣльною книжкою поэму *Параша*, подписавъ ее буквами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ). *Параша* обратила на себя вниманіе публики, и Бѣлинскій посвятилъ ей обширную статью, въ которой призналъ въ Тургеневѣ необыкновенный поэтическій талантъ, вѣрную наблюдательность, глубокую мысль, изящную и тонкую иронію, а что наиболѣе знаменательно — *призналъ сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его*. И дѣйствительно, несмотря на всѣ увлеченія Тургенева въ это время романтическими идеалами, васъ поражаетъ въ «Парашѣ» реальное чутье русской жизни, и поэма является развѣнчаніемъ тѣхъ самыхъ романтическихъ идеаловъ, которымъ Тургеневъ поклонялся. Судя по поэтическому началу *Параши*, особенно же плѣнительному образу героини, о которой самъ авторъ говоритъ, что, какъ ему казалось, *„ей суждено страданій въ жизни испытать не мало“*, можно было думать, что авторъ изобразитъ цѣлый рядъ романтическихъ страданій. Ожиданія эти еще болѣе под-

тверждались встрѣчею Параши съ героемъ при необыкновенныхъ романтическихъ обстоятельствахъ, и самимъ героемъ, въ которомъ читатель могъ вообразить себѣ нѣчто въ родѣ Печорина или Евгенія Онѣгина. И вдругъ поэма кончается самымъ прозаическимъ сватовствомъ и помѣщичьимъ бракомъ, и когда авторъ встрѣтилъ своихъ героевъ четыре года спустя, онъ нашелъ, что романтическій герой «какъ-то странно потолстѣлъ», а идеальная Параша въ свою очередь обратилась въ самую прозаическую Прасковью Николаевну, и жизнь ея катилась, «какъ ручеекъ извилистый и плавный», и разочарованный авторъ иронически восклицаетъ:

Но Боже! То ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмого обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святого, благодатнаго страданья!
Съ надеждами разставшись навсегда,
Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ,
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ
Глядѣлъ, какъ на любимую звѣзду...
И что жъ? Я былъ обманутъ такъ невинно,
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,
Что въ истинѣ своихъ желаній я
Сталъ сомнѣваться, милые друзья...

Вотъ въ этой именно ироніи, въ этомъ сведеніи поэтически-романтическихъ образовъ къ пошлой прозѣ помѣщичьяго прозябанья и ожирѣнія на даровыхъ хлѣбахъ и заключалось то новое, что дѣлало Тургенева «сыномъ своего времени, носящимъ въ груди своей скорби и вопросы его».

Такими же новыми вѣяніями исполнены и всѣ прочія произведенія Тургенева этого времени. Такъ, и въ поэмѣ «Разговоръ» (1845 г.) Тургеневъ изобразилъ свое молодое поколѣніе, людей сороковыхъ годовъ въ сопоставленіе съ людьми стараго поколѣнія, двадцатыхъ годовъ. Здѣсь мы видимъ уже то самое раздѣленіе людей на Донъ-Кихотовъ и Гамлетовъ, которое проходитъ черезъ всѣ произведенія Тургенева и впослѣдствіи было формулировано имъ въ пу-

бличной лекціи, читанной имъ въ Петербургѣ въ 1860 году. Поколѣніе двадцатыхъ годовъ, съ его жаждой кипучей дѣятельности и непосредственной отдачею всѣмъ своимъ страстямъ и стремленіямъ, представляется передъ вами въ полномъ контрастѣ съ людьми сороковыхъ годовъ, изъѣденными горькими рефлексіями, исполненными сомнѣній и холоднаго отчаянія.

Наконецъ, въ поэмѣ «Андрей» (1845 г.), лишь по стихотворной формѣ, отличающейся отъ мелкихъ повѣстей Тургенева, въ родѣ хотя бы *Фауста,* авторъ затрогиваетъ впервые ту тему отношенія свободной любви къ семейному долгу, къ которой такъ часто обращались беллетристы сороковыхъ годовъ.

Что касается мелкихъ стихотвореній, появившихся въ теченіе сороковыхъ годовъ, то большинство ихъ представляютъ тѣ картины природы, которыми такъ славился Тургеневъ въ продолженіе всей своей дѣятельности. Въ стихотворной формѣ эти картины получаютъ еще большую силу, прелесть и колоритность.

Вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ «Параши», Тургеневъ сошелся съ Бѣлинскимъ, поразивъ его оригинальностью и независимостью своихъ воззрѣній, и оказалъ ему большое содѣйствіе въ уясненіи философіи Гегеля; съ другой стороны, вліяніе Бѣлинскаго, о которомъ Тургеневъ до самой смерти сохранилъ благоговѣйную память, окончательно опредѣлило дальнѣйшее направленіе дѣятельности Тургенева. Въ то же время сошелся Тургеневъ и съ молодыми литераторами, группировавшимися вокругъ Бѣлинскаго,— К. Д. Кавелинымъ, Н. А. Некрасовымъ, И. А. Гончаровымъ, Д. В. Григоровичемъ, И. И. Панаевымъ, П. В. Анненковымъ и прочими.

Первымъ появившимся въ свѣтъ прозаическимъ произведеніемъ Тургенева былъ драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи изъ испанской жизни, подъ заглавіемъ *Неосторожность* «(От. Зап.» 1843 г., № 10). Въ слѣдующемъ году тамъ же была напечатана первая повѣсть его *Андрей Колосовъ.* Въ *Петербургскомъ Сборникѣ,* изданномъ Некрасо-

вымъ (1846), кромѣ юмористической поэмы въ стихахъ *Помѣщикъ,* была помѣщена повѣсть *Три Портрета;* въ первой же книжкѣ «От. Зап.» 1847 г. появилась повѣсть *Бреттеръ.*

Въ повѣсти *Андрей Колосовъ* Тургеневъ значительно шагнулъ впередъ отъ своего вѣка, изобразивши въ своемъ «необыкновенномъ» героѣ разночинца съ непосредственною и свободною отдачею страсти, скорѣе подъ-стать шестидесятымъ годамъ, чѣмъ сороковымъ. Оттого, можетъ быть, повѣсть эта и прошла почти незамѣченною въ свое время.

Въ остальныхъ-же двухъ повѣстяхъ мы видимъ то же стремленіе изъ-подъ мишурной оболочки романтическаго типа обнаружить печальную и убогую русскую дѣйствительность. Такъ, напримѣръ, чѣмъ не герой въ байроновскомъ духѣ Лучиновъ, одаренный необыкновенной силой воли, страстный и разсчетливый, терпѣливый и смѣлый, скрытный до чрезвычайности и очаровательно, обаятельно любезный? Но при всѣхъ этихъ эффектныхъ качествахъ, вы видите вдругъ такой мелкій и черствый эгоизмъ и такую душевную низость, какія никакъ не пристали ни къ какимъ романтическимъ героямъ. Въ самомъ дѣлѣ, свойственно-ли такимъ героямъ воровство отцовскихъ денегъ или сваливаніе на другое лицо своего обольщенія сироты, и затѣмъ убійство на дуэли почти безоружнаго человѣка ради прикрытія семейнаго позора. Сквозь романтическую оболочку такъ и сквозитъ здѣсь низкій нравственный уровень русской дворянской среды XVIII-го вѣка.

О *Бреттерѣ* и говорить нечего. Проливающій-кровь ближнихъ изъ-за пустяковъ въ своихъ безпрерывныхъ дуэляхъ, хищный герой этой повѣсти съ первой-же страницы и до послѣдней обнаруживаетъ мелко самолюбивую, грубо циническую и дрянную душонку армейскаго бурбона.

Всѣ эти первые опыты, равно какъ и относительный успѣхъ ихъ въ публикѣ, далеко не удовлетворяли Тургенева, и онъ готовъ былъ бросить писательство и самую Россію, какъ вдругъ общее вниманіе публики было привлечено небольшимъ разсказомъ *Хорь* и *Калинычъ,* напеча-

таннымъ въ первой книжкѣ возобновленнаго Некрасовымъ *Современника* въ 1847 году на очень скромномъ мѣстѣ въ отдѣлѣ *Смѣси*. Всѣ заговорили о талантливомъ, проникнутомъ глубокою симпатіей къ мужику, разсказѣ неизвѣстнаго автора, каждый старался узнать имя писателя, скрывавшагося подъ таинственными иниціалами Т. Л.

Этотъ неожиданный успѣхъ возвратилъ Тургенева къ литературѣ и побудилъ его продолжать свои *Записки Охотника*; и вотъ, начиная съ 1847 года по 1851 г., слѣдуетъ въ *Современникѣ* цѣлый рядъ разсказовъ, извѣстныхъ подъ этимъ заглавіемъ и вышедшихъ въ началѣ 1852 года отдѣльнымъ изданіемъ. Писаны *Записки Охотника* за границею, когда Тургеневъ уѣхалъ въ 1848 г., послѣ смерти Бѣлинскаго, чтобы никогда болѣе не возвращаться на родину,—такое мрачное впечатлѣніе производила на Тургенева тогдашняя русская дѣйствительность.

Въ *Запискахъ Охотника* Тургеневъ повернулъ на совершенно новую дорогу, и приступилъ къ исполненію своей аннибаловской клятвы...

Выходъ *Записокъ* отдѣльнымъ изданіемъ возбудилъ сильное неудовольствіе въ оффиціальныхъ сферахъ, которыя въ то время были проникнуты крѣпостничествомъ. Въ литературныхъ кружкахъ ходилъ въ то время слухъ, будто московскій цензоръ, кн. Львовъ, былъ отставленъ отъ должности именно за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе *Записокъ Охотника*. И до того времени начальство косилось на Тургенева за долговременное пребываніе за границей, особенно въ Парижѣ и, къ тому же, въ 1848 году, а также и за его близкія отношенія къ лицамъ, которыя давно уже были на дурномъ счету. *Записки Охотника* подлили масла въ огонь, и незначительный случай послужилъ каплей, переполнившей гнѣвъ начальства. Въ мартѣ 1852 г. появилось въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо Тургенева по случаю смерти Гоголя, не пропущенное передъ тѣмъ петербургскою цензурою, и вотъ по жалобѣ Мусина-Пушкина Тургеневъ былъ посаженъ на мѣсяцъ «на съѣзжую». Тургеневу угрожало очень печальное заточеніе,

если бы судьба не послала ему спасительницъ въ лицѣ двухп дочерей надзиравшаго за нимъ пристава, оказавшихся почитательницами его таланта. Онѣ обрадовались случаю лично съ нимъ познакомиться и упросили своего отца дать ему пріютъ въ ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и провелъ время своего ареста, написавши на досугѣ *Муму*,— и такимъ образомъ повѣсть, по своему содержанію представляющая самый рѣзкій протестъ противъ крѣпостного права, оказалась написанною на «съѣзжей».

По освобожденіи отъ ареста, Тургеневъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ деревню Спасское,—«безъ права выѣзда».—Изъ наиболѣе замѣчательныхъ произведеній, написанныхъ имъ въ деревнѣ, было *Два Пріятеля* и *Затишье*.

Въ концѣ 1854 года Тургеневъ былъ освобожденъ отъ своей ссылки, при содѣйствіи А. К. Толстого, и А. О. Смирновой, и въ 1855 году уѣхалъ за границу. Еще въ 1845 году онъ познакомился въ Петербургѣ съ знаменитой уже тогда артисткой Полиной Віардо-Гарсіа, и съ тѣхъ поръ до самой смерти оставался въ самыхъ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ съ ея семействомъ. Послѣ временной разлуки вслѣдствіе ссылки, онъ снова поспѣшилъ къ нимъ. Выражаясь собственными его словами, онъ «прикрѣпился» къ этимъ людямъ и, навсегда оставшись холостякомъ, прожилъ съ ними половину своей жизни. Мы не будемъ далѣе подробно вдаваться во внѣшнія подробности жизни Тургенева, такъ какъ съ этой поры жизнь его вполнѣ сложилась въ опредѣленное русло и не представляетъ какихъ-либо выдающихся фактовъ. Зиму проводилъ онъ обыкновенно въ Парижѣ, а лѣто частью въ Орловской губерніи, въ своемъ имѣніи, частью въ Баденъ-Баденѣ, гдѣ въ Тиргартенталѣ находилась вилла Віардо и гдѣ Тургеневъ въ 1865 году построилъ свою собственную виллу, и жилъ въ ней до половины 1870 года. Подъ конецъ-же своей жизни онъ проводилъ лѣто въ Буживалѣ близъ Парижа, на собственной дачѣ, рядомъ съ дачей Віардо. Изъ его посѣщеній Россіи, подъ конецъ жизни очень рѣдкихъ,

наиболѣе замѣчателенъ пріѣздъ его въ Россію въ концѣ февраля 1879 года съ цѣлью, какъ самъ онъ шутя говорилъ: «мириться съ русской публикой и молодежью». Тургеневъ встрѣтилъ тогда рядъ восторженныхъ оваццій въ Москвѣ и Петербургѣ со стороны публики на цѣломъ рядѣ публичныхъ чтеній, на которыхъ онъ участвовалъ, читая преимущественно *Записки Охотника*. Второй замѣчательный его пріѣздъ былъ въ іюнѣ 1880 года на открытіе Пушкинскаго памятника въ Москвѣ. Здѣсь на долю Тургенева выпали такія почести и оваціи, которыя далеко оставили за собою чествованіе его въ 1879 году. Московскій университетъ, въ торжественномъ засѣданіи въ день открытія памятника Пушкину, избралъ Тургенева въ число своихъ почетныхъ членовъ; въ собраніи Общества любителей русской словесности и на литературныхъ чтеніяхъ Тургенева встрѣчали бурными долго несмолкаемыми рукоплесканіями. Такъ-же восторженно была встрѣчена и привѣтствована его рѣчь о Пушкинѣ на торжествѣ открытія памятника. Нѣтъ сомнѣнія, что эти дни были лучшими въ его жизни. Онъ и самъ сознавалъ это, выбирая для чтенія на литературномъ вечерѣ стихотворенія *Опять на родинѣ* и *Послѣдняя туча разсѣянной бури*...

Затѣмъ пріѣздъ Тургенева въ Россію въ 1881 году былъ послѣднимъ въ его жизни. Уже съ этого года стали появляться первые симптомы той мучительной болѣзни, которая свела его въ могилу. Болѣзнь эта, какъ потомъ оказалось, была ракомъ въ позвоночномъ хребтѣ. Не поддаваясь діагнозу первыхъ знаменитостей парижскаго медицинскаго міра, она развивалась медленно, но непрерывно, и причиняла Тургеневу такія страданія, которыя онъ могъ выносить только благодаря своему атлетическому сложенію и наркотическимъ средствамъ, которыя приходилось употреблять чаще и чаще. Нужно удивляться тому мужеству, съ какимъ Тургеневъ, пригвожденный къ своему смертному одру, не только выносилъ свои адскія страданія, но въ промежуткахъ минутныхъ облегченій не переставалъ писать свои послѣднія предсмертныя произведенія. 1883 г.,

въ понедѣльникъ 22 августа, въ 2 часа пополудни, его не стало. Черезъ два дня послѣ смерти тѣло Тургенева было перевезено изъ Буживаля въ Парижъ, гдѣ 24 августа въ русской церкви происходило отпѣваніе, на которомъ присутствовало большинство бывшихъ въ то время русскихъ: посолъ кн. Н. В. Орловъ, члены посольства, литераторы, художники, какъ русскіе, такъ и иностранные, и учащаяся въ Парижѣ молодежь. 19 сентября тѣло Тургенева было отправлено въ Россію и прибыло въ Петербургъ 27-го, въ который день и происходила процессія перенесенія тѣла Тургенева на Волково кладбище и погребенія его тамъ на счетъ города, — процессія по своей грандіозной торжественности, представлявшая нѣчто небывалое въ лѣтописяхъ петербургской жизни.

А. Скабичевскій.

* * *

*) Чуткость, и, такъ сказать, женственная впечатлительность есть одно изъ всѣми признанныхъ оригинальныхъ свойствъ Тургенева. Эта впечатлительность сказалась и въ ходѣ развитія его таланта. — Онъ началъ съ подражанія Лермонтову. Энергическій, страстный и мрачный геній Лермонтова наложилъ свою печать на стихотворенія и поэмы Тургенева, печатавшіяся въ русскихъ журналахъ въ началѣ сороковыхъ годовъ.

Я слышу робкій шумъ шаговъ,
И страстный лепетъ милыхъ словъ,
И въ головѣ моей сѣдой
Нѣтъ мѣста мысли неземной.

Такъ говоритъ, такъ грезитъ умирающій въ одномъ изъ первыхъ стихотвореній молодого писателя. Отрицаніе, земная страсть и насмѣшка звучатъ въ его стихотворныхъ опытахъ, несмотря на всю противоположность его мягкой натуры съ желѣзной и суровой природой Лермонтова. —

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ.“ Спб. 1885 г.

То же вліяніе видимъ мы и въ первыхъ повѣстяхъ,— въ «Андреѣ Колосовѣ», «Бреттерѣ» и «Трехъ Портретахъ». Но здѣсь начинающій великій талантъ уже не подчиняется слѣпо своему могучему предшественнику, а борется съ нимъ, борется съ печоринскимъ типомъ, то невольно увлекаясь имъ (въ послѣдней изъ названныхъ повѣстей), то пытаясь его унизить (въ «Бреттерѣ»—въ тупой и самолюбивой личности Авдѣя Лучкова).

Такъ идетъ до 1847 года, когда появляется въ свѣтъ повѣсть иного характера—«Пѣтушковъ». За нею, въ 1848 и 1849 годахъ, слѣдуютъ комедіи «Нахлѣбникъ» и «Холостякъ». Всѣ эти произведенія относятся къ той литературной школѣ, которую Апол. Григорьевъ назвалъ «школой сантиментальнаго натурализма» и которой главное произведеніе—«Бѣдные Люди» Достоевскаго. Выраженная въ этихъ сочиненіяхъ болѣзненная симпатія къ людямъ нравственно-слабымъ и мелкимъ — прямая противоположность лермонтовскому міросозерцанію. Изъ одной крайности начинающій поэтъ бросился въ другую.

Но отъ возведенія на степень права мелочныхъ притязаній мелочныхъ личностей скоро поднялся самъ глава школы — Достоевскій, поднялся до правдиваго сочувствія дѣйствительно униженнымъ и оскорбленнымъ. «Записки изъ Мертваго дома» и послѣдующіе романы Достоевскаго, конечно, несравненно выше «Бѣдныхъ Людей», если не по художественности выполненія, то по идеѣ и симпатіямъ автора. — Еще раньше подобный переходъ совершился въ творчествѣ Тургенева,—въ одинъ годъ съ «Пѣтушковымъ» вышелъ въ свѣтъ первый очеркъ изъ «Записокъ Охотника»—«Хорь и Калинычъ».

«Записками Охотника» Тургеневъ вступилъ на широкую и вѣрную дорогу народности. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ одинъ за другимъ появлялись безпритязательные, простые и великолѣпные очерки изъ русской крестьянской помѣщичьей жизни; въ этихъ очеркахъ сказались уже и сила и самобытность дарованія новаго писателя; только еще не обозначились тѣ широкія границы, которыя захватитъ впо-

слѣдствіи его творчество. — Правдиво, безъ всякаго разочарованія и безъ сантиментальности нарисовалъ Тургеневъ цѣлый рядъ живыхъ типовъ. Русскій крестьянинъ явился передъ нами среди своей обыденной обстановки, окруженный своею родною природой, явился человѣкомъ въ полномъ значеніи этого слова,—передъ русскимъ обществомъ открылась крестьянская душа. Рисуя со всѣхъ сторонъ жизнь, Тургеневъ изобразилъ и крѣпостное право и всю его тяжесть для народа. Поэтъ былъ далекъ отъ тенденціозности: онъ нигдѣ намѣренно не сгущаетъ красокъ, нигдѣ не подбираетъ односторонне фактовъ, между его помѣщиками много и симпатичныхъ личностей, — и именно вслѣдствіе всего этого особенно сильное впечатлѣніе производитъ его поэтическій протестъ противъ крѣпостного права. Путемъ своихъ «Записокъ Охотника» Тургеневъ сдѣлался сподвижникомъ благородныхъ дѣятелей освобожденія крестьянъ.—Нѣсколько позже онъ написалъ еще двѣ повѣсти, изображающія народъ: «Постоялый Дворъ» и «Муму». Въ совершенно художественныхъ формахъ здѣсь заключенъ горячій протестъ противъ той же неправды—крѣпостного права.—Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на чудныя картины природы въ «Запискахъ Охотника»: по нимъ, а также по подобнымъ же картинамъ въ другихъ произведеніяхъ поэтъ не даромъ заслужилъ славу одного изъ величайшихъ живописцевъ природы: онъ заставляетъ насъ жить жизнью неба, лѣса, поля, жизнью каждаго дерева и каждой травки, онъ заставляетъ насъ чувствовать всѣ малѣйшіе оттѣнки измѣненій въ природѣ,—онъ, можетъ быть, даже слишкомъ подчиняется ея красотамъ и насъ подчиняетъ.

* * *

Достигъ полнаго развитія и вполнѣ развернулъ свои крылья талантъ Тургенева въ 1855 году, когда появился въ свѣтъ его первый большой романъ «Рудинъ». — Съ этихъ поръ Тургеневъ всталъ во главу движенія русской литературы. Рудинъ — первый въ его творчествѣ «герой

инв 1955/арх

времени».—Рудинъ—западникъ, человѣкъ весь проникнутый идеями отвлеченной нѣмецкой философіи; онъ отдалъ этимъ идеямъ всю свою душу, и является передъ нами пламеннымъ и вдохновеннымъ ихъ проповѣдникомъ. Вотъ какъ рисуетъ его Тургеневъ, когда онъ говоритъ въ гостиной помѣщицы Ласунской:

Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна, вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной — музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія... Всѣ мысли Рудина казались обращенными въ будущее; это придавало имъ что-то стремительное и молодое... казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное"...

И этой своей вдохновенной рѣчью Рудинъ могущественно дѣйствовалъ на молодыя души, будилъ сердца и умы, спасалъ отъ равнодушія, вялости, апатіи. — «Въ немъ есть энтузіазмъ, выразился про него Лежневъ, и прибавилъ: а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное качество въ наше время».—«Не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства; огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ», сказалъ Лежневъ позже самому Рудину.

Но, рисуя высокія свойства своего героя, Тургеневъ тутъ же показываетъ намъ и оборотную сторону медали. Рудина, «какъ китайскаго болванчика, постоянно перевѣшивала голова», злобно отозвался про него однажды Пигасовъ; и въ этихъ словахъ заключена истина. Лежневъ также считаетъ его «холоднымъ въ душѣ и чуть ли не робкимъ». И онъ самъ сознаетъ недостатокъ въ себѣ сердца и воли: когда Наталья, увлеченная его рѣчами, полюбила его, онъ растерялся, онъ надѣлалъ глупостей.

Какъ доказать вамъ (писалъ онъ ей потомъ), что я могъ бы полюбить васъ настоящей любовью — любовью сердца, не вообра-

женія—когда я самъ не знаю, способенъ ли я на такую любовь!.. Да, природа мнѣ много дала, но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собой никакого благотворнаго слѣда"...

Тургеневъ является намъ въ романѣ не только изобразителемъ «героя времени», но и поэтомъ, развѣнчивающимъ этого героя. Нѣсколько разъ въ теченіе разсказа наши отношенія къ Рудину измѣняются, по волѣ автора: энтузіазмъ переходитъ въ разочарованіе, и наоборотъ. Поэтъ-аналитикъ разлагаетъ и анатомируетъ передъ нами художественно рисуемый имъ типъ.

Слѣдующій «герой времени» у Тургенева — Лаврецкій, главное мужское лицо самаго задушевнаго произведенія поэта—великаго романа «Дворянское Гнѣздо». Въ противоположность Рудину, Лаврецкій—«славянофилъ»; такъ назвалъ его въ своихъ воспоминаніяхъ самъ его творецъ, и назвалъ справедливо. Паншинъ, воплощеніе ложныхъ сторонъ западничества, проповѣдуетъ въ домѣ Калитиныхъ, что «мы больны оттого, что только наполовину сдѣлались европейцами: чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лѣчиться должны»,—Лаврецкій поднимается и начинаетъ возражать ему.

„Лаврецкій отстаивалъ (говоритъ поэтъ) молодость и самостоятельность Россіи... и спокойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ съ высоты чиновничьяго самосознанія, — передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна".

Свои мысли о смиреніи передъ народной правдою Лаврецкій вынесъ изъ воспитавшей его деревни, изъ сердца родной земли. Вернувшись въ Россію послѣ разрыва съ женой, онъ удалился въ сельскую глушь.

„Пусть же меня вытрезвитъ здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло" (говорилъ онъ себѣ), и окружавшая его спокойная дѣятельность, тихая жизнь—отрезвляли его.

„Скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ — и странное дѣло! — никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины.

Онъ и кончилъ тѣмъ, что

„сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю, и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ".

Лаврецкому, повидимому, вполнѣ симпатизируетъ самъ поэтъ. (Лучшій критикъ Тургенева, Ап. Григорьевъ, заподозрилъ его даже за это въ наклонности къ славянофильству). И эти симпатіи тѣмъ болѣе понятны, что Лаврецкій — человѣкъ вполнѣ просвѣщенный, въ лучшемъ смыслѣ этого слова; онъ не только знаетъ, по словамъ Михалевича, на какую ножку хромаютъ французъ и нѣмецъ, но у него есть и кровныя связи съ Западомъ: не даромъ поэтъ представилъ его въ дружескія отношенія съ благороднымъ представителемъ германской расы—Леммомъ, съ мечтателемъ-романтикомъ Михалевичемъ. — Но однако и Лаврецкимъ Тургеневъ не удовлетворился, и его, въ концѣ концовъ, развѣнчалъ, признавъ несостоятельнымъ передъ высшимъ образомъ Лизы: Лаврецкій оказался не въ силахъ исполнить то, что Лиза сочла и признала его нравственнымъ долгомъ, — и великія его силы пошли послѣ этого на дѣло — хорошее, конечно, но не соотвѣтствовавшее размѣрамъ этихъ силъ: тотъ, кто могъ бы быть передовымъ дѣятелемъ эпохи, сталъ хотя и полезнымъ, но зауряднымъ работникомъ.

Лиза—высшій типъ тургеневской поэзіи (какъ Татьяна — поэзіи пушкинской). Образъ Лизы, какъ внутренній духовный свѣтъ, все проникаетъ въ романѣ и царитъ въ немъ; образъ этотъ есть воплощеніе религіознаго идеала. Безпощадный судъ Тургеневскаго анализа изъ всѣхъ героевъ Тургенева выдержала одна только Лиза, только ее, цѣломудренную дѣвушку, просвѣтленную вѣрою въ Бога, любовью къ человѣку и христіанскимъ смиреніемъ, только ее не развѣнчалъ поэтъ, только къ ней отнесся онъ съ полной и благоговѣйной любовью, какъ Пушкинъ къ своей Татьянѣ.

Слѣдующій послѣ «Дворянскаго Гнѣзда» большой романъ Тургенева носитъ названіе «Накανунѣ». Самое это названіе указываетъ на его идею. Въ немъ великій поэтъ, развѣнчавшій прежде два крупныхъ типа русской жизни, ищетъ новаго человѣка, новаго «героя времени», могущаго встать во главу общественнаго движенія. Онъ не находитъ такого героя; а исканія свои воплощаетъ въ образѣ Елены. Впечатлительная, нервная, чуткая Елена ждетъ человѣка твердой воли, широкой мысли и настоящаго дѣла; она рѣзко отворачивается отъ хорошихъ, но несостоятельныхъ людей—Шубина, Берсенева, и всю жизнь свою и всю свою душу отдаетъ Инсарову, практическому дѣятелю, герою не родного, хотя и родственнаго намъ народа.—Елена—удивительное явленіе въ тургеневской поэзіи: она жива только на половину (по-скольку выражаетъ чуткость и здоровую цѣльность души русской женщины), на половину же она—головное созданіе, отвлеченно-выдуманное лицо,—единственный примѣръ въ правдивомъ творчествѣ Тургенева (примѣръ, замѣтимъ мимоходомъ, показывающій всю громадность силъ нашего поэта, сумѣвшаго приковать вниманіе русскаго общества къ полубезжизненной личности, которую въ сущности нельзя даже любить). И, можетъ быть, никого изъ своихъ лицъ Тургеневъ не развѣнчалъ такъ безжалостно, какъ эту Елену, къ которой онъ въ началѣ романа почти насильственно возбуждалъ наши симпатіи: онъ не только показалъ намъ, что Елена грубо ошиблась въ Инсаровѣ, онъ заставилъ ее самое сознать и осудить свою вину передъ покинутой ею родной землей и передъ «горемъ бѣдной, одинокой матери»... «Я искала счастья — и найду, быть можетъ, смерть. Видно такъ слѣдовало; видно была вина»... (пишетъ Елена матери).

Безпощаденъ Тургеневъ и къ Инсарову. Инсаровъ, конечно, заслуживаетъ сочувствія за многое, Елена справедливо замѣчаетъ въ дневникѣ: когда онъ говоритъ о своей родинѣ,

„онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ—какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ

кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ — онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать".

Но, съ другой стороны—изъ романа до очевидности ясно, что Шубинъ правъ не только въ своей мести № 1, когда лѣпитъ въ подарокъ Еленѣ «отмѣнно схожій, отличный бюстъ Инсарова», придавая чертамъ его лица выраженіе «славное: честное, благородное и смѣлое»,—но правъ и въ мести № 2, когда изображаетъ этого Инсарова, тоже улавливая «несомнѣнное, поразительное сходство», въ образѣ поднявшагося на заднія ножки и склоняющаго рога для удара барана, на физіономіи котораго «такъ и отпечатались» — тупая важность, задоръ, упрямство, неловкость и «ограниченность».

Въ отрицательномъ отношеніи Тургенева къ Инсарову и Еленѣ сказалась, безсознательно, инстинктивно, но глубоко-жизненно, горячая любовь его къ родинѣ, вѣра въ родную землю. Та же любовь и та же вѣра, но уже сознательно, выразились въ великолѣпномъ образѣ «черноземной силы» — Увара Ивановича, въ чудесныхъ сценахъ его бесѣдъ съ Шубинымъ, бесѣдъ, изъ которыхъ ясно, что *будутъ* у насъ люди, что мы *наканунѣ* ихъ появленія, хотя и поэтъ и оба героя, по свойственной русскому человѣку сдержанности и строгости отношеній къ себѣ, и не высказываютъ этого такъ прямо, такъ положительно.

Послѣдній большой романъ Тургенева, еще полный надеждъ и дышащій силой вѣры, — «Отцы и Дѣти»; онъ превосходитъ по художественному творчеству все написанное прежде, хотя и уступаетъ «Дворянскому Гнѣзду» въ идеальной высотѣ замысла, въ задушевности его выполненія. Можетъ быть, никого изъ своихъ героевъ (кромѣ Лизы) Тургеневъ не любилъ такъ сильно, какъ главное лицо этого романа, потому, что никого не развѣнчивалъ онъ такъ рѣшительно, такъ сразу, какъ его. Рудинъ, Лаврецкій—рисуя ихъ, художникъ колебался: сомнѣніе въ значеніи ихъ боролось въ его душѣ съ вѣрою въ ихъ состоятельность;— по отношенію къ Базарову никакихъ колебаній не было: какъ опредѣленъ и цѣленъ его образъ, такъ опредѣленны

и цѣльны отношенія къ нему поэта. Базаровъ—сила, сила трезвенной личности, личности твердо стоящей на своихъ ногахъ, свободной отъ всѣхъ «вѣяній», которыя лишаютъ человѣка самостоятельности, закруживаютъ въ своемъ водоворотѣ и сбиваютъ съ почвы, какъ отвлеченное философствованіе сбило Рудина, какъ романтизмъ закружилъ Веретьева (въ «Затишьѣ»), какъ художническій эпикуреизмъ спуталъ Шубина, и т. д. Базаровъ—простъ, и потому «свой» всѣмъ и каждому—и малообразованной женщинѣ Ѳеничкѣ, и мужику, и ребенку. Но сразу же въ романѣ поэтъ показываетъ противорѣчія, въ которыхъ Базаровъ запутался; показываетъ намъ, что въ душѣ этого человѣка, отрицающаго принципы, живетъ вопреки его волѣ и на зло его сознанію, все имъ отрицаемое: и семейное начало, любовь къ семьѣ, и романтизмъ, и даже рыцарство, и проч. и проч. Есть въ романѣ удивительное мѣсто: личность, ни во что не вѣрящая, стала лицомъ къ лицу съ внѣшней матерьяльной природою, лишь незначительной частицей которой признаетъ она человѣка,—и возмутилась противъ такого признанія, противъ признанія своего ничтожества. Базаровъ говоритъ своему пріятелю и ученику Аркадію Кирсанову:

„Я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ тою вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобразіе! что за пустяки!

...они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не безпокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я“...

Въ этихъ словахъ слышится «великое сердце», подмѣченное Достоевскимъ въ Базаровѣ *), слышится жажда невѣрующимъ человѣкомъ безсмертія, жажда имъ вѣры. По силѣ впечатлѣнія на читателя это мѣсто въ романѣ уступаетъ только трогательнымъ заключительнымъ словамъ его,

*) См. „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“.

въ которыхъ опять, какъ въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», просвѣчиваетъ скрытый религіозный идеалъ тургеневской поэзіи: поэтъ говоритъ о родителяхъ Базарова, приходящихъ молиться на его могилу:

„Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, свя тая,преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи „равнодушной" природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной".

Замѣчательно, что въ одинъ годъ съ «Отцами и Дѣтьми» Тургеневъ написалъ «Воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ. Поѣздка въ Альбано и Фраскати». Въ этомъ воспоминаніи о великомъ русскомъ художникѣ поэтъ съ глубокимъ сочувствіемъ относится къ его религіозному идеалу.

Въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» Тургеневъ изобразилъ разладъ поколѣній. Это обстоятельство, равно, впрочемъ, какъ и типъ Базарова, вызвало цѣлую бурю литературной и публицистической полемики. Многіе не замѣтили тогда, что Тургеневъ не удовлетворенъ ни отцами ни дѣтьми. Мы имѣемъ объясненіе знаменитаго романа самимъ поэтомъ, объясненіе, вызванное временнымъ и несправедливымъ охлажденіемъ къ великому художнику части русскаго общества.

«Отцами и Дѣтьми» завершился главный періодъ дѣятельности Тургенева. Въ это время уже вполнѣ обозначились и размѣры таланта поэта и оригинальность его генія.—Въ чемъ же эта оригинальность?

Есть въ душѣ человѣческой великія силы, созидающія духовную жизнь. Перевѣсомъ въ творчествѣ той или другой изъ нихъ различаются наши великіе поэты. — Поэтъ чуждъ односторонности—таково его главное опредѣленіе; но это—идеалъ, и до идеала не достигъ еще ни одинъ геній міра: тѣнь раздвоенія замѣтна въ творчествѣ даже величайшихъ представителей поэзіи.—Такъ, Пушкинъ былъ художникъ по преимуществу; въ чистой и строгой красотѣ созданныхъ его фантазіей образовъ и картинъ ему не было и нѣтъ соперника, какъ нѣтъ соперника Гоголю въ силѣ

скорбнаго чувства, въ силѣ любви къ падшему человѣку и тоски по немъ. Тургеневъ былъ поэтъ ума, художникъ-мыслитель; въ его поэзіи сильно философское начало. — Эта стихія человѣческаго духа сказалась въ его творчествѣ, во 1-хъ, сознательностью этого творчества, доходящею порой до отвлеченія; во-2хъ — разлагающимъ анализомъ, которому явно, на глазахъ читателя, подвергаетъ онъ образы своихъ героевъ; въ 3-хъ — раздвоеніемъ, рефлексіей, особенно отличающими третій, послѣдній періодъ его дѣятельности.

Мы видѣли уже философское сознаніе Тургенева въ томъ, какъ онъ понимаетъ и объясняетъ значеніе поэта въ статьѣ о стихотвореніяхъ Тютчева. Вспомнимъ теперь критическую статью «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ» (едва-ли не лучшую критическую статью во всей русской литературѣ). Анализируя два типа двухъ великихъ геніевъ, Тургеневъ обобщаетъ дѣло до объясненія всей жизни человѣчества и вмѣстѣ съ этимъ (не высказываетъ того явно) объясняетъ два основныхъ теченія своей собственной поэзіи. — Гамлетъ и Донъ-Кихотъ олицетворенія двухъ противоположныхъ началъ. Въ ихъ противоположности,

„въ этомъ разъединеніи, въ этомъ дуализмѣ... мы должны признать (говоритъ Тургеневъ) коренной законъ всей человѣческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, какъ вѣчное примиреніе и вѣчная борьба двухъ непрестанно разъединенныхъ и непрестанно сливающихся началъ... Гамлеты суть выраженіе коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считаетъ себя центромъ творенія...

Донъ-Кихоты «представляютъ собою» принципъ противоположный — силу центробѣжную.

„Что выражаетъ собою Донъ Кихотъ? Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся внѣ отдѣльнаго человѣка... Донъ-Кихотъ — энтузіастъ, служитель идеи, и потому обвѣянъ ея сіяніемъ“. „Что же представляетъ собою Гамлетъ? Анализъ прежде всего и эгоизмъ, а потому безвѣрье... Сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ, разумѣется, не щадитъ и самого себя... онъ сознаетъ свою слабость, но всякое самосознаніе есть сила: отсюда проистекаетъ его иронія, противоположность энтузіазму Донъ-Кихота“... „не будемъ слишкомъ

строги къ Гамлету: онъ страдаетъ—и его страданія и больнѣе и язвительнѣе страданій Донъ-Кихота“.

Два основныхъ человѣческихъ типа, такъ превосходно философски разсмотрѣнные Тургеневымъ въ критической статьѣ, мы видимъ и въ его художественномъ творчествѣ. Большимъ романамъ Тургенева предшествовалъ и потомъ шелъ параллельно съ ними—рядъ повѣстей и небольшихъ разсказовъ, въ однихъ изъ которыхъ художественно нарисованы и глубоко анализированы современные Гамлеты, скептики (таковы повѣсти: «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», «Дневникъ лишняго человѣка»),—въ другихъ изображены противоположные скептикамъ романтики, люди сердца и вѣры (сюда относятся повѣсти «Яковъ Пасынковъ», «Затишье» и друг.).—Эти сочиненія были подготовкою Тургенева къ его большимъ романамъ. Главныя лица этихъ послѣднихъ (т. е. романовъ) обыкновенно представляютъ собою болѣе или менѣе гармоническое сліяніе противоположныхъ типовъ; но между лицами второстепенными мы встрѣчаемъ и Донъ-Кихотовъ, напр., Михалевича (въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ»), и Гамлетовъ, напр., Нежданова (въ позднѣйшемъ романѣ «Новь»).

Раздвоеніе въ человѣческой жизни, о существованіи котораго такъ положительно говоритъ Тургеневъ, жило въ немъ самомъ. Оно сказывается ясно и въ развѣнчиваніи имъ всѣхъ своихъ героевъ.—Мы видѣли, что передъ побѣдною силою его анализа (управляемаго, конечно, высокими требованіями его идеала) не устоялъ ни одинъ изъ начертанныхъ имъ типовъ (кромѣ Лизы). Но, какъ въ истинномъ и высокомъ поэтѣ, разлагающій умъ не могъ сдѣлаться въ немъ вполнѣ преобладающимъ началомъ творчества, не могъ подорвать цѣлостнаго взгляда на жизнь: лица Тургенева—живые люди и, въ противоположность анализу, живое, горячее сердце участвовало въ ихъ созданіи. Сомнѣвающійся умъ художника открывалъ несостоятельность всякаго изображеннаго имъ «героя времени»; но самъ художникъ горячо и сильно любилъ развѣнчиваемыхъ имъ людей. (И вотъ здѣсь опять открывается уже упомянутая

раньше личная черта Тургенева — мягкость, нѣжность, женственность его натуры, противоположной жестокой и страстной натурѣ Лермонтова). Чѣмъ строже былъ анализъ поэта, тѣмъ горячѣй становились порывы его сердца.—Отсюда недоразумѣнія и споры, часто волновавшіе критиковъ Тургенева: однимъ казалось, что поэтъ враждебно относится къ тому или другому лицу, про котораго другіе, напротивъ, утверждали, что онъ его любитъ. Эти недоразумѣнія происходятъ отъ того, что есть двойственность въ самыхъ отношеніяхъ Тургенева къ своимъ героямъ.

Эта двойственность, этотъ скептицизмъ съ особенною силою выразились въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности великаго поэта. Развѣнчавши своего послѣдняго героя и не находя, не видя новаго вождя въ нашей жизни, онъ пришелъ къ разочарованію въ жизни вообще, къ тому разочарованію, къ которому уже и раньше влекъ его скептическій умъ.—За «Отцами и Дѣтьми» появляются въ свѣтъ двѣ совершенно новыя, оригинальныя вещи, совсѣмъ не похожія ни на что, прежде выходившее изъ-подъ пера поэта; эти вещи—удивительно художественныя и философскія вмѣстѣ, скорбно-лирическія «фантазіи» (какъ назвалъ одну изъ нихъ самъ авторъ) — «Призраки» и «Довольно». — Мысль о могуществѣ грубой матерьяльной природы и о противорѣчіи ея законовъ съ свѣтлыми стремленіями человѣка къ безусловному и вѣчному—становится съ этихъ поръ господствующей мыслью произведеній Тургенева. — Въ «Довольно» онъ говоритъ про природу:

„Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка переходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ ея дитя; но человѣческое — искусственное —ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ.

Человѣку

одному дано „творить“... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на часъ, какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество — и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ“ самъ по себѣ, именно онъ, не кто другой, именно это

я, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному, — живетъ, долженъ жить въ мгновеньѣ и для мгновенья. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу“.

Эти скорбныя рѣчи, эта скорбная мысль о міровомъ раздвоеніи, безотрадное разочарованіе въ жизни—звучатъ съ этихъ поръ во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева.

Въ 1867 году напечатанъ романъ «Дымъ».—Одинъ изъ глубочайшихъ нашихъ поэтовъ, признанный за таковаго самимъ Тургеневымъ, Тютчевъ, былъ пораженъ этимъ произведеніемъ, рѣзкимъ отличіемъ его отъ романовъ прежнихъ. Сравнивая поэзію Тургенева съ «могучимъ и прекраснымъ лѣсомъ», полнымъ жизни и обаянья, въ которомъ былъ «для чувствъ роскошный свѣтлый пиръ», онъ говоритъ:

И вотъ опять къ таинственному лѣсу
Мы съ прежнею любовью подошли.
Но гдѣ же онъ? кто опустилъ завѣсу,
Спустилъ ее отъ неба до земли?

Въ самомъ дѣлѣ — новое сочиненіе великаго писателя производитъ грустное, хотя и могучее впечатлѣніе. Оно отличается, попрежнему, красотою, горячимъ чувствомъ, силою мысли; но въ немъ нѣтъ прежней вѣры; оно проникнуто—не скажемъ еще отчаяньемъ, но почти безотрадной тоскою.—Въ «Дымѣ» нарисованы двѣ группы отрицателей»: отрицатели-генералы, сановники, недовольные освобожденіемъ крестьянъ и другими реформами 60-хъ годовъ; и отрицатели-революціонеры, желающіе перестроить русскую жизнь по своимъ грубымъ мечтаніямъ. Пошлость, себялюбіе, наклонность къ деспотизму и вмѣстѣ къ моральному лакейству и тѣхъ и другихъ—нарисованы поэтомъ съ одинаковой ироніей и одинаковымъ негодованіемъ.—Но противовѣса этой двойной пошлости, положительнаго, хотя бы до нѣкоторой степени, типа, на которомъ можно бы сосредоточить надежды настоящаго русской жизни, поэтъ не находитъ, не рисуетъ въ романѣ. На-счетъ главнаго лица своего произведенія — Литвинова — онъ не ошибался ни

минуты, не возлагалъ на него никакихъ упованій: Литвиновъ—хорошій человѣкъ, и когда освободился отъ душившаго его кошмара, сдѣлался даже полезнымъ практическимъ дѣятелемъ и добрымъ мужемъ хорошей и простой русской женщины,—но онъ—личность пассивная, безхарактерная, совершенно безсильная, напр., противъ очарованія страсти, въ которой онъ самъ видитъ господство зла и пошлости. Литвиновъ до того слабъ волею, что, будучи несомнѣнно честенъ и уменъ, поступаетъ нечестно съ довѣрившейся ему душою подъ обаяніемъ чужой злой воли и красоты.—Героиня романа—Ирина—та одарена и волей, и блестящимъ умомъ, и огнемъ чувства, но тѣмъ безотраднѣе дѣйствуетъ на насъ зрѣлище ея рабства передъ пошлостью, передъ роскошью, богатствомъ, пустыми законами свѣтскаго тщеславія, рабства тѣмъ болѣе унизительнаго и безобразнаго, что она сама его сознаетъ и порой ненавидитъ, но не можетъ и не хочетъ въ себѣ побороть.—Третье выдающееся лицо произведенія—Потугинъ (въ которомъ такъ напрасно иные готовы видѣть самого Тургенева)—еще нѣсколько примиряетъ насъ съ жизнью; онъ тоже безхарактеренъ и несостоятеленъ, и, сознавая себя таковымъ (а также, впрочемъ, въ качествѣ коренного русскаго человѣка съ его готовностью къ безпощадному самоосужденію), онъ впадаетъ въ пессимизмъ, проповѣдуетъ крайнее западничество и отрицаетъ всякое наше значеніе въ настоящую минуту среди другихъ образованныхъ народовъ; но въ сущности, въ глубинѣ души онъ вѣритъ въ здоровую мощь русской народности и въ ея будущее,—отсюда и отрадная сила и блескъ его ироніи.

„Весь вопросъ въ томъ—крѣпка ли натура? а наша натура (говоритъ онъ про русскій народъ)—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрягахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные да слабые народы".

Черезъ 10 лѣтъ послѣ «Дыма» вышелъ послѣдній большой романъ Тургенева—«Новь».—Общее содержаніе въ немъ то же, что и въ «Дымѣ»: передъ нами тѣ же двѣ группы отрицателей, нарисованныя съ тою же художе-

ственною силой; но только они не витаютъ въ своихъ мечтахъ, въ воздухѣ заграничной жизни, а изображены въ дѣйствіи, на многострадальной родной почвѣ. Надо ли говорить — съ какой безпощадной художественной правдой нарисовалъ поэтъ несостоятельность своихъ героевъ? У него нѣтъ даже негодованія противъ нихъ,—это чувство, такъ замѣтное въ «Дымѣ», здѣсь совершенно потонуло въ ироніи и сожалѣніи. — Извѣстно, что романъ «Новь» не произвелъ сильнаго впечатлѣнія на читающее общество; поднялись толки объ истощеніи таланта Тургенева, о незнаніи имъ новой Россіи, толки (кстати вспомнить), повторяющіеся у насъ о каждомъ великомъ писателѣ въ концѣ его дѣятельности. Но въ сущности дѣло объясняется иначе: «Новь» — еще безотраднѣе предыдущаго романа, потому что еще бѣднѣе вѣрою; въ немъ нѣтъ даже такого лица, какъ Потугинъ, а герой его — Неждановъ (если только можно Нежданова называть героемъ) — еще несостоятельнѣй Литвинова. Изсякло героическое въ русской жизни,— и не поэтъ, конечно, виноватъ, что его новыя произведенія перестали отличаться захватывающимъ интересомъ его прежнихъ созданій. —Главное лицо «Нови» —Неждановъ— человѣкъ талантливый, поэтъ; но онъ вполнѣ слабъ волею, и въ душѣ его —полное раздвоеніе: онъ не можетъ отдаться ни своему художническому призванію, въ значеніе котораго не вѣритъ, ни своему «дѣлу», революціонному хожденію въ народъ, въ которое тоже не вѣритъ, и кончаетъ малодушно, самоубійствомъ; его смерть производитъ тяжелое впечатлѣніе. — Единственные люди въ романѣ, на которыхъ можно остановиться съ положительной (а не отрицательной) симпатіей, это—Маріанна и Соломинъ. Но Маріанна — еще не опредѣлившаяся личность, въ сущности дитя; а Соломинъ—лицо загадочное, какой-то намекъ, какое-то предчувствіе, а не типъ.

Съ особеннымъ напряженнымъ вниманіемъ останавливался Тургеневъ въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ на безвольныхъ, слабыхъ людяхъ. Таковъ и герой чудной повѣсти «Вешнія Воды», одного изъ вдохновеннѣйшихъ и чи-

стѣйшихъ созданій искусства. Санинъ полюбилъ чистой и свѣтлой любовью чистую дѣвушку Джемму; но соблазнъ мутной, чувственной страсти всесиленъ надъ нимъ, и, самъ себя осуждая и презирая, онъ покоряется этой страсти, и разбиваетъ счастье и вѣру отдавшейся-было ему искренней души. Скорбное впечатлѣніе оставляетъ въ читателѣ эта повѣсть... но, впрочемъ, не безотрадно-скорбное, и это потому, что сквозь ея содержаніе ясно просвѣчиваетъ благородная личность творца ея, сердце котораго стоитъ явно на сторонѣ духа, и горестно оплакиваетъ слабость человѣка, подчинившагося животной стихіи своего существа.— Въ художественныхъ образахъ повѣсти «Вешнія Воды» Тургеневъ выразилъ ту же идею, которая лирически вылилась въ «Призракахъ» и «Довольно»: мы видимъ въ повѣсти тоску поэта о противорѣчіи законовъ природы со стремленіями человѣка къ безусловному, къ вѣчному..

Эта мысль о борьбѣ матерьяльной природы и духа человѣческаго проходитъ черезъ цѣлый рядъ мелкихъ повѣстей, написанныхъ въ теченіе послѣднихъ 15—20 лѣтъ. Въ повѣстяхъ этихъ поэтъ подвергаетъ многостороннему и глубокому художественному анализу мысль о чудесномъ. Онъ разсматриваетъ чудесное и въ связи его съ случайностями и самообманомъ человѣческаго самолюбія (въ разсказѣ «Стукъ-стукъ-стукъ»), и въ связи даже съ корыстнымъ обманомъ и преступленіемъ («Исторія лейтенанта Ергунова»), и въ связи съ магнетизмомъ («Странная Исторія», также «Пѣснь торжествующей любви»), наконецъ—какъ проявленіе и дѣйствіе духа (повѣсть «Собака» и «Разсказъ отца Алексѣя»). Съ живымъ захватывающимъ интересомъ и съ глубокой (хотя затаенной и тоскливой) сердечной симпатіей изображаетъ Тургеневъ наклонность человѣка къ чудесному, его жажду сверхъестественнаго, безсмертнаго (вспомнимъ героиню «Странной Исторіи»—Софи, бросившую все и пошедшую служить больному юродивому, вспомнимъ сына отца Алексѣя).—Въ этихъ мелкихъ повѣстяхъ человѣкъ, стремящійся къ вѣчному, заблуждающійся и путающійся въ своихъ стремленіяхъ, поставленъ на границѣ съ одной

стороны—грубыхъ волнъ окружающей его могучей матерьяльной природы, съ другой—яснаго и чистаго свѣта чаемаго и желаемаго имъ безсмертнаго міра. То природа торжествуетъ надъ человѣческой личностью, и тогда вопли муки, стоны отчаянія слышатся въ тонѣ разсказа поэта, какъ, напр., въ повѣсти «Пѣснь торжествующей любви», производящей впечатлѣніе мрачнаго ужаса; то поэту кажется, что возможно торжество духа, что не самообманъ—порывы нашей личности къ вѣчному, и тогда, несмотря на то, что человѣкъ измученъ борьбою, въ разсказѣ звучитъ отрадная вѣра, слышится возможность покоя и блаженства безконечнаго,—таковъ «Разсказъ отца Алексѣя», повѣсть мало кому извѣстная, но могущая быть названной однимъ изъ глубочайшихъ прозрѣній и вдохновеній искусства.—Справедливость требуетъ, впрочемъ, сказать, что сомнѣнія чаще владѣли душой Тургенева въ послѣднемъ періодѣ его жизни, нежели вѣра, и это обстоятельство подрывало его могучій геній; здѣсь слабый пунктъ его творчества.—Однако высокое сердце поэта стремилось къ вѣрѣ, томилось жаждою ея. Тургеневъ былъ болѣе скептикъ, чѣмъ энтузіастъ; болѣе Гамлетъ, чѣмъ Донъ-Кихотъ (говоря его собственнымъ сравненіемъ); но сердце его больше лежало къ Донъ-Кихоту.

Все сказанное о мелкихъ повѣстяхъ всецѣло примѣняется и къ такъ называемымъ «Стихотвореніямъ въ прозѣ», этимъ чуднымъ лирическимъ замѣткамъ, исполненнымъ глубокихъ мыслей и озаренным искреннимъ чувствомъ (всего чаще, однако, скорбнымъ, а порой и безотраднымъ). Остановимся на двухъ изъ этихъ «стихотвореній»: «Природа» и «Воробей».—Въ первомъ высказывается мысль о враждѣ природы ко всему человѣческому и объ ея безотрадномъ для нашей личности могуществѣ. Человѣкъ видитъ природу въ самой храминѣ ея творчества и спрашиваетъ ее о человѣкѣ:

> развѣ мы—люди—не любимыя твои дѣти?.. Всѣ твари мои дѣти—промолвила она—и я одинаково о нихъ забочусь и одинаково ихъ истреблю.

Но добро... разумъ... справедливость... пролепеталъ я снова.
Это—человѣческія слова, — раздался желѣзный голосъ. — Я не вѣдаю ни добра ни зла... Разумъ мнѣ не законъ — и что такое справедливость? — Я тебѣ дала жизнь — я ее отниму и дамъ другимъ, червямъ или людямъ... мнѣ все равно... А ты, пока, защищайся—и не мѣшай мнѣ!..“

Совсѣмъ другая идея, свѣтлая и отрадная, заключена въ разсказѣ «Воробей»: маленькая птичка, трепеща и замирая отъ ужаса, жертвуя собою, спасаетъ свое дѣтище отъ гибели въ пасти представляющейся ей чудовищемъ—собаки.

„Я благоговѣлъ (говоритъ поэтъ) передъ той маленькой, героической птицей, передъ любовнымъ ея порывомъ.
Любовь, думалъ я, сильнѣе смерти и страха смерти. — Только ею, только любовью держится и движется жизнь“.

Мысль, выраженная въ этихъ словахъ, — та же самая, полная вѣры, отрадная для человѣка мысль, которую Тургеневъ закончилъ своею статьею о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ:

Все пройдетъ, все исчезнетъ, высочайшій санъ, власть, всеобъемлющій геній, все разсыплется прахомъ...

Все великое земное
Разлетается какъ дымъ.

Но добрыя дѣла не разлетятся дымомъ; они долговѣчнѣе самой сіяющей красоты; „все минется, сказалъ апостолъ, одна любовь останется“.

Затаенный религіозный идеалъ тургеневской поэзіи сказался въ этой мысли, какъ сказался онъ и въ образѣ Лизы «Дворянскаго Гнѣзда», и въ удивительныхъ по глубинѣ міросозерцанія заключительныхъ словахъ «Разсказа отца Алексѣя» и великаго романа «Отцы и Дѣти».

А. Незеленовъ.

* * *

*) Тяжело и мрачно было на русской землѣ въ ту пору, когда Тургеневъ начиналъ свою литературную дѣятельность. Это были незабвенные сороковые годы. Мы, только

---

*) Н. К. Михайловскій. Сочиненія, томъ 6. „О Тургеневѣ“.

по преданію знающіе это время, имѣемъ, однако, печальную возможность судить о немъ съ полною, такъ сказать, наглядностью. Какъ иногда вся жизнь умирающаго сосредоточивается въ его глазахъ, такъ все, что только заслуживаетъ названія человѣческой жизни, сосредоточивалось тогда въ количественно-ничтожной горсти людей мысли. И въ числѣ ихъ былъ Тургеневъ. Въ разныя стороны разбрелась потомъ эта горсточка, и нѣкоторые изъ ея представителей, доживъ до того времени, когда опять стало тяжело на русской землѣ, играли и играютъ далеко уже не ту роль, какая выпала той горсточкѣ. Кто усталъ, кто озлобился и даже разсвирѣпѣлъ, кто ударился въ мистицизмъ и юродство, кто просто не понялъ истиннаго смысла событій чрезвычайной исторической важности, совершившихся на Руси съ сороковыхъ годовъ. И Тургеневу случалось впадать въ ошибки, порождать недоразумѣнія и самому дѣлаться ихъ жертвою, какъ онъ самъ съ горечью печатно разсказывалъ, вспоминая литературно-политическій эпизодъ съ «Отцами и Дѣтьми». Но это были именно недоразумѣнія, и Тургеневъ самъ говоритъ о томъ удивленіи и отвращеніи, съ которымъ онъ по пріѣздѣ, послѣ «Отцовъ и Дѣтей», изъ за-границы, встрѣчалъ любезности разныхъ мракобѣсовъ. Недоразумѣнія продолжались личными слабостями покойника, которыя могутъ быть тому или другому болѣе или менѣе досадны и непріятны, но не должны и просто даже не могутъ заслонить собою его громадныя заслуги. Тургеневъ никогда не былъ Савломъ. Его никогда не было въ рядахъ разношерстной литературной когорты гонителей истины и гонителей свѣта, этой когорты шутовъ, позванивающихъ бубенчиками дурацкаго колпака, и юродивыхъ, самодовольно, на показъ бренчащихъ веригами. Онъ всегда оставался вѣренъ нѣсколько неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ идеаламъ свободы и просвѣщенія, съ которыми выступилъ на литературное поприще. Мимоходомъ сказать, этой неопредѣленности и вмѣстѣ свѣтозарности идеаловъ Тургенева вполнѣ соотвѣтствовали нѣкоторыя особенности его несравненнаго таланта. Это былъ

талантъ (независимо, конечно, отъ другихъ его свойствъ), такъ сказать, музыкальный, а музыка, какъ извѣстно, вызываетъ неопредѣленныя, но хорошія, пріятныя, свѣтлыя волненія. Понятно, что эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявляться въ мелкихъ вещахъ, гдѣ она не заслонялась для читателя возбужденіями умственнаго и нравственнаго характера. Любопытно, что въ передачѣ музыкальныхъ ощущеній Тургеневъ рѣшительно не имѣетъ соперниковъ: (состязаніе «пѣвцовъ» въ «Запискахъ Охотника», игра Лемма въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», игра волшебной скрипки въ «Пѣснѣ торжествующей любви» — въ своемъ родѣ шедевры.) Дѣло тутъ не въ слогѣ, не въ «стилѣ», по крайней мѣрѣ, не въ немъ одномъ, а въ спеціальной чертѣ самаго характера творчества, а эта спеціальная черта находилась, въ свою очередь, въ тѣсной связи со всѣмъ душевнымъ обликомъ художника, неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ.

Не принимая активнаго участія въ борьбѣ съ свинцовымъ мракомъ, стремящимся облечь нашу родину, не занимая даже никакого опредѣленнаго мѣста въ литературѣ, въ этомъ отношеніи Тургеневъ служилъ идеаломъ свободы и просвѣщенія самымъ, такъ сказать, фактомъ своего существованія, наличностью своего первостепеннаго таланта и своей не русской только, а и европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатіи этой красы и гордости русской литературы, и изъ змѣиныхъ и жабьихъ норъ не разъ раздавались за это зловѣщія шипѣнія по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что покойникъ былъ «западникъ» (онъ самъ себя такъ называлъ), но это не мѣшало ему быть гордостью русской литературы. И вотъ почему Тургеневъ былъ дорогъ, хотя бы даже ничего болѣе не писалъ. Вотъ почему нужно было желать ему еще долго, долго жить...

...За Тургеневымъ утвердилась репутація какого-то спеціалиста по части «уловленія момента», и именно не просто чуткаго художника, а изобразителя «новыхъ людей». Едва ли существуетъ ходячее мнѣніе о томъ или другомъ круп-

номъ писателѣ, которое было бы такъ распространено и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ невѣрно. Тургеневъ былъ и больше этого, и меньше, какъ посмотрѣть на дѣло. Онъ былъ не только русскій, а и европейскій, всемірный писатель, какимъ никогда не будетъ, напримѣръ, Гоголь. Со всѣмъ своимъ громаднымъ талантомъ Гоголь никогда не будетъ такъ близокъ и родствененъ, такъ понятенъ Европѣ, потому что его типы чисто русскіе, тогда какъ тургеневскіе типы — общечеловѣческіе, пожалуй, абстрактно психологическіе. Конечно, люди вездѣ люди, однѣ и тѣ-же страсти ихъ волнуютъ, однѣ и тѣ-же радости и скорби ихъ посѣщаютъ. Но когда Гоголь рисовалъ свои образы, онъ ихъ, такъ сказать, вырывалъ съ корнемъ изъ русской жизни и такъ ихъ и предъявлялъ читателю. Тургеневъ давалъ своимъ образамъ только обстановку русскую, и потому для француза, нѣмца, англичанина представлялъ двойной интересъ: тонко разработанный, знакомый, общечеловѣческій типъ на фонѣ чужой, своеобразной обстановки. Обстановку эту Тургеневъ постоянно обновлялъ, дѣйствительно, часто заимствуя ее изъ текущей русской дѣйствительности, изъ «момента» новыхъ наслоеній. Отсюда, конечно, и идетъ странная репутація «ловца момента» и соотвѣтственныя ожиданія и требованія, которыя никому, кромѣ Тургенева, не предъявлялись, ни даже, напримѣръ, Достоевскому, въ ту послѣднюю пору, когда нѣкоторые en toutes lettres называли его «пророкомъ божіимъ» и провозвѣстникомъ новаго слова». Весьма естественно, если русское общество, волнуемое разными, трудно утишимыми тревогами, ждетъ, чтобы умный и талантливый человѣкъ и притомъ старинный любимецъ какъ-нибудь откликнулся на эти тревоги, подалъ свой авторитетный голосъ. Поклонники Достоевскаго и находили такое удовлетвореніе хотя бы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», въ которыхъ однако «новыхъ людей» нѣтъ, а именно они-то и требовались всегда отъ Тургенева. Не знаю, что именно нашли поклонники Достоевскаго въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», но знаю, что художникъ можетъ откликнуться на тревоги минуты (которая, увы! мо-

жетъ иногда растянуться въ цѣлые годы), пальцемъ не касаясь «новыхъ людей». Порукой въ этомъ самъ Тургеневъ въ «Запискахъ Охотника», не говоря о множествѣ другихъ примѣровъ. Одно дѣло скорбѣть скорбями родины, тревожиться ея тревогами, пронизывать, пропитывать этими общими скорбями и тревогами свое творчество; и совсѣмъ другое дѣло изображать «новыхъ людей», то-есть типичныхъ представителей новыхъ наслоеній. Первое достижимо безъ второго, второе возможно безъ перваго. Конечно, возможно и сочетаніе этихъ двухъ оттѣнковъ творчества, но создавать изъ «новыхъ людей» спеціальность для художника и притомъ требовать, чтобы онъ въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ изображалъ все «новыхъ» и опять «новыхъ»—это, деликатно выражаясь, не умно. И, повторяю, Тургеневъ, вопреки распространенному мнѣнію, никогда не удовлетворялъ этому требованію, хоть, можетъ быть, въ глубинѣ души и хотѣлъ бы ему удовлетворить.

Чтобы наглядно убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить, напримѣръ, «Лишняго Человѣка» и героя «Нови»—Нежданова. Если вы не будете смѣшивать рамку съ самою картиною, костюмъ съ характеромъ лица, въ него одѣтаго, обстановку, въ которой дѣйствуетъ извѣстный типъ съ самымъ этимъ типомъ (а такое смѣшеніе — послѣднее дѣло), то безъ труда увидите, что «Лишній Человѣкъ» и Неждановъ—одно и то же лицо, одинъ и тотъ же и, притомъ, общечеловѣческій, абстрактно психологическій типъ. Самое свое задушевное они выражаютъ даже почти одними и тѣми же словами. А между тѣмъ, появленіе «Лишняго Человѣка» отдѣляется отъ появленія Нежданова тремя десятками лѣтъ, и являются они въ совершенно различныхъ обстановкахъ. Эта разница въ обстановкѣ и даетъ поводъ думать или, по крайней мѣрѣ, говорить, что какъ «Лишній Человѣкъ» былъ новымъ человѣкомъ для своего времени, такъ и Неждановъ — новый человѣкъ для своего. Между тѣмъ, это одинъ и тотъ же типъ слабаго, раздвоеннаго «гамлетика, самоѣда», какъ его назвалъ самъ Тургеневъ; типъ общечеловѣческій, блестяще развитой въ

европейской литературѣ. Вставьте «Лишняго Человѣка» въ обстановку русской революціи — и получится Неждановъ; придайте ему глубины и высоты и выдвиньте въ обстановку средневѣковаго искренняго ученаго—получится Фаустъ; сохраняя ту же глубину и высоту, поставьте передъ нимъ практическую задачу кровной мести — выйдетъ Гамлетъ. Вы не припишете мнѣ, конечно, нелѣпой мысли, что эти всѣ «вставьте», «поставьте» очень легко выполнить. Напротивъ, очень трудно. Надо быть чрезвычайно большимъ художникомъ, чтобы съ такимъ блескомъ, какъ это сдѣлалъ Тургеневъ, написать нѣсколько новыхъ варіацій на тему, эксплуатированную гигантами творчества.

Тургеневъ былъ совершенно изъ ряду вонъ выходящій мастеръ въ дѣлѣ индивидуализацій образовъ. Мало того, что его фигуры стоятъ передъ нами какъ живыя, со всѣми мельчайшими особенностями своихъ личныхъ физіономій. Это мы получаемъ отъ каждаго крупнаго художника. Но Тургеневъ устраивалъ иногда настоящія состязанія между своими дѣйствующими лицами, ставя ихъ въ одно и то же положеніе по отношенію къ какому - нибудь частному предмету, какъ бы загоняя ихъ въ одно и то же положеніе и все - таки сохраняя ихъ индивидуальность до мельчайшей черты. Такъ поступилъ онъ, напримѣръ, въ «Первой Любви», точно очертивъ около княжны кругъ изъ пяти или шести мужчинъ, изъ которыхъ каждый любилъ по своему и къ каждому изъ которыхъ и княжна имѣетъ особенный оттѣнокъ отношеній. Такой-же tour de force устроилъ онъ въ «Наканунѣ», размѣстивъ вокругъ Елены Берсенева, Шубина, Инсарова и Курнатовскаго. Художникъ меньшаго дарованія и даже, пожалуй, не меньшаго, а не тургеневскаго, съ его тонкостью и кружевной отдѣлкой письма, едва-ли вышелъ бы побѣдителемъ изъ этой трудности, да, можетъ быть, и не рѣшился бы на нее покуситься. Если поэтъ, гусаръ, докторъ и польскій графъ изъ окружающихъ княжну въ «Первой Любви» нѣсколько отзываются ходячими шаблонами поэта, гусара и т. д., то Берсеневъ, Шубинъ, Инсаровъ, Курнатовскій — уже не-

сомнѣнно портреты рѣдкаго мастерства: портреты, т.-е. нѣчто вполнѣ индивидуализированное.

Тѣмъ не менѣе, если оставить въ сторонѣ многочисленныя второстепенныя дѣйствующія лица разсказовъ, повѣстей и романовъ Тургенева и сосредоточиться на ихъ «герояхъ», центральныхъ фигурахъ, то увидите, что собственно только два типа особенно занимали Тургенева и постоянно имъ разрабатывались. Въ его отношеніяхъ къ этимъ типамъ, въ разницѣ этихъ отношеній сказываются всѣ особенности художественной натуры Тургенева и весь его душевный обликъ.

Въ извѣстной статьѣ «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ» Тургеневъ, очевидно, гораздо болѣе симпатизируетъ пламенному, хотя и смѣшному ламанчскому герою, чѣмъ сумрачному датскому принцу. Однако, обобщать эту симпатію и антипатію можно только съ большою осторожностью. Было бы, напримѣръ, большою ошибкою сказать, что вообще дѣятельный, рѣшительный, смѣло берущій на себя отвѣтственность типъ (каковъ Донъ-Кихотъ) дороже и ближе Тургеневу, чѣмъ типъ колеблющійся, рефлектирующій, не смѣющій сдѣлать то, что, по совѣсти, обязанъ сдѣлать (каковъ Гамлетъ). Совсѣмъ не эти стороны того или другого были важны для Тургенева, не ихъ онъ имѣлъ въ виду, когда проводилъ свою параллель между Гамлетомъ и Донъ-Кихотомъ. Страданія Гамлета и его хромоногая рефлексія были, напротивъ, очень близки и дороги Тургеневу; но мрачность скептицизма и холодъ эгоизма убійцы Офеліи, Полонія и Лаэрта отталкивали добродушнаго поэта, вскормленнаго неопредѣленными, но свѣтлыми идеалами. Въ Донъ-Кихотѣ же его прельщала отнюдь не цѣльная твердость характера и готовность дѣйствовать на свой страхъ, а поэтическій порывъ, стремленіе куда-то къ свѣту и беззавѣтная любовь къ людямъ. Если же (что было-бы, конечно, крайне односторонне) разумѣть подъ Донъ-Кихотомъ дѣятельную, рѣшительную натуру, а подъ Гамлетомъ—созерцательную, колеблющуюся, то отношеніе Тур-

генева къ обоимъ этимъ типамъ будетъ какъ разъ обратное тому, которое мы видимъ въ его параллели.

Тургеневъ былъ меньше всего родственен рѣшительнымъ, берущимъ на себя отвѣтственность, натурамъ, но онѣ занимали его, онъ рисовалъ ихъ, поневолѣ отражая въ рисункѣ свою имъ чуждость. Конечно, онъ былъ слишкомъ уменъ и чутокъ къ художественной правдѣ, чтобы дѣлать изъ этихъ антипатичныхъ ему фигуръ сплошныхъ злодѣевъ, изверговъ рода человѣческаго или дураковъ, точно такъ же какъ и любимцевъ своихъ онъ не обращалъ въ рыцарей безъ пятна и порока. Напротивъ, онъ ставилъ иногда ихъ въ унизительнѣйшія положенія, а чужимъ непріятнымъ людямъ предоставлялъ даже истинный героизмъ. Но интимныя отношенія автора къ своимъ созданіямъ все-таки чувствуются, и не просто чувствуются, а могутъ быть указаны и анализированы.

Когда капризно-поэтическій, ребячески милый Шубинъ дѣлаетъ статуэтку стоящаго на заднихъ ногахъ и готоваго бодаться барана, удивительно вмѣстѣ съ тѣмъ похожаго на Инсарова, то въ этомъ выразилось, конечно, въ преувеличенномъ, карикатурномъ видѣ, собственное отношеніе Тургенева къ герою «Наканунѣ». Несмотря на свою силу, даваемую опредѣленностью жизненной задачи и вѣрою въ нее, Инсаровъ узокъ, сухъ, жестокъ, даже тупъ, и сама Елена находитъ въ немъ много общаго съ чиновникомъ Курнатовскимъ. Замѣтьте, что, въ качествѣ дѣятельнаго участника освобожденія болгаръ, Инсаровъ вовсе не необходимо долженъ быть такимъ, какимъ онъ вышелъ изъ-подъ пера Тургенева. Онъ могъ-бы быть и пламеннымъ, экспансивнымъ энтузіастомъ, съ глубокимъ поэтическимъ чутьемъ, съ широкими поэтическими планами, краснорѣчивымъ ораторомъ, какъ колоколъ будящимъ своихъ порабощенныхъ единоплеменниковъ и т. п. Но Тургеневъ пожелалъ лишить болгарскаго агитатора всѣхъ яркихъ красокъ, не далъ ему ни одного цвѣтка жизни изъ своего богатаго поэтическаго букета. Нельзя, разумѣется, приставать къ художнику съ запросами, почему онъ сдѣлалъ своего

героя такимъ, а не этакимъ. Но если мы видимъ, что у нашего художника рѣшительные люди, смѣющіе брать на себя отвѣтственность, *всегда* таковы, то это указываетъ на извѣстную складку въ самомъ художникѣ...

Рисуя этотъ сортъ людей, Тургеневъ направлялъ ихъ дѣятельность къ очень разнообразнымъ цѣлямъ: то заставлялъ освобождать угнетенныхъ соплеменниковъ отъ иноземнаго ига, какъ Инсаровъ въ «Наканунѣ»; то предоставлялъ имъ сферу теоретическаго отрицанія, какъ Базарову въ «Отцахъ и Дѣтяхъ»; то пускалъ въ волны русской революціи, какъ Маркелова, Остродумова и прочую «безымянную Русь» въ «Нови»; то замыкалъ въ сферу любовной фабулы, какъ Лучинова въ «Трехъ Портретахъ» и Лучкова въ «Бреттерѣ»; то надѣвалъ на нихъ мундиръ чиновника, какъ на Курнатовскаго въ «Наканунѣ» и еще кое на какихъ, менѣе достопримѣчательныхъ. Какъ общественному дѣятелю или просто человѣку извѣстнаго образа мыслей эти различныя жизненныя цѣли, эти разнообразныя направленія дѣятельности рѣшительныхъ героевъ могли быть симпатичны или антипатичны Тургеневу. Но ему чуждъ и не любъ былъ самый типъ, сама душевная механика этихъ людей, какія бы цѣли они ни преслѣдовали. Замѣчательный, въ самомъ дѣлѣ, фактъ. Казалось бы, для художника, какъ художника, должно быть очень соблазнительно, расцвѣтить возможно ярко человѣка, не колеблющагося, твердаго умомъ, чувствомъ и волей. Хотя бы, уже потому соблазнительно, что этотъ пріемъ предоставляетъ писателю рядъ совершенно особыхъ художественныхъ эффектовъ. Кто говоритъ! на этомъ пути легко уклониться отъ реальной правды жизни и впасть въ фальшивую идеализацію, что обыкновенно и случается съ мелкими художниками; но Тургеневъ былъ художественная звѣзда первой величины; а между тѣмъ во всей богатой коллекціи его образовъ вы не найдете ни одного, который, при стойкости и рѣшительности, обладалъ бы извѣстной долей другихъ, цвѣтныхъ достоинствъ. Все это сѣро, сухо, не колоритно, какъ Инсаровъ и Базаровъ, подчасъ просто даже

глупо, какъ «безымянная Русь», подчасъ грубо и злобно, какъ Лучковъ, или самое большое, красиво и злобно какъ Лучиновъ. Вы, можетъ быть, удивитесь, что грубаго бреттера Лучкова и безсердечнаго наглеца Лучинова я ставлю рядомъ съ Инсаровымъ, Базаровымъ, Остродумовымъ, Маркеловымъ, Курнатовскимъ. Но минута размышленія—и вы согласитесь, что это одинъ и тотъ же абстрактно-психологическій типъ, вдвинутый въ различныя обстановки. Лучковъ убиваетъ неповиннаго пріятеля, а Лучиновъ — еще болѣе невиннаго и притомъ совершенно жалкаго человѣка, не моргнувши глазомъ. Цѣли, для которыхъ приносятся эти кровавыя жертвы, будучи чисто личнаго характера, и принципы, во имя которыхъ происходятъ жертвоприношенія, мелки, дрянны, низменны. Затѣмъ между Лучковымъ и Лучиновымъ нѣтъ, повидимому, ничего общаго, хотя они оба дуэлисты: одинъ тупъ и грубъ, какъ бревно, другой—блестящій «кавалеръ». Но характерная черта психологическаго типа состоитъ не въ этихъ случайныхъ подробностяхъ, опредѣляемыхъ условіями рожденія, воспитанія, вліяній среды, и не въ цѣляхъ дѣятельности, столь же измѣнчивыхъ, а въ готовности перешагнуть черезъ какое бы то ни было препятствіе; въ такой вѣрѣ въ свою правоту, которая не допускаетъ даже и тѣни сомнѣній и колебаній. Замѣните теперь эти дрянныя цѣли чистыми и низменные принципы возвышенными,—и вы можете получить нѣчто въ родѣ Инсарова. Что человѣкъ при этомъ остается тотъ же въ своей душевной механикѣ, хотя измѣняется въ направленіи своей дѣятельности, это видно, напримѣръ, изъ извѣстной сцены ратоборства Инсарова съ пьянымъ нѣмцемъ. Этотъ пьяный нѣмецъ, вѣдь, не турокъ, котораго надо выгнать изъ Болгаріи, и цѣли и принципы дѣятельности Инсарова тутъ не при чемъ. Однако искаженное лицо Инсарова и холодная рѣшительность, съ которою онъ ввергаетъ нѣмца въ воду, свидѣтельствуютъ, что онъ смѣло взялъ бы на себя отвѣтственность за увѣчье и даже смерть этого пьянаго нѣмца. По мнѣнію столь компетентнаго цѣнителя, какъ героиня «Наканунѣ», Елена, въ Курнатов-

скомъ и Инсаровѣ есть нѣчто общее. А вы помните, какъ взволновала Елену холодная рѣшительность, съ которою Курнатовскій настаивалъ на необходимости «раздавить» какую-то группу людей, со включеніемъ и невинныхъ ея членовъ (если не ошибаюсь, разговоръ шелъ о взяточникахъ). Базаровъ, обреченный на проживаніе въ теоретическихъ сферахъ, производитъ тамъ операцію, совершенно параллельную: онъ всегда готовъ, безъ колебаній и сомнѣній, «раздавить» установившуюся идею, предразсудокъ, поэтическій порывъ, не щадя при этомъ людей. О «безымянной Руси» и говорить нечего.

Тургеневу случалось вводить въ портреты этого сорта людей очень некрасивыя черты; но, повторяю, онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ большой художникъ, чтобы дѣлать изъ нихъ всегда и непремѣнно сплошныхъ глупцовъ или негодяевъ, какъ это дѣлаютъ мелкотравчатые живописатели съ своими духовными пасынками. Но это были все-таки пасынки Тургенева, и онъ каралъ ихъ, какъ только можетъ карать умный и талантливый художникъ: въ большей или меньшей степени надѣлялъ сухостью, черствостью ума и чувства, лишалъ поэтическаго ореола.

Васъ отнюдь не должна смущать въ этомъ отношеніи яко-бы поэтическая фигура Инсарова: на него лишь падаетъ отблескъ грандіозной задачи освобожденія Болгаріи; самъ же по себѣ онъ такъ же тусклъ, какъ тѣ свинцовыя пули, которыми онъ хотѣлъ бы осыпать турокъ.

Вообще, скудность, сухость, обдѣленность дарами природы точно представлялись Тургеневу необходимыми спутниками или даже условіями непреклонной личной силы. И это станетъ еще явственнѣе, если мы обратимъ вниманіе на его разработку противоположнаго типа—мягкаго, колеблющагося, сомнѣвающагося, несмѣющаго, не управляющаго событіями, а управляемаго ими. Тургеневъ очень много занимался этимъ типомъ, и создалъ цѣлую коллекцію его варіантовъ. Въ первую пору своей литературной дѣятельности, онъ изображалъ этихъ слабыхъ раздвоенныхъ людей внѣ всякой дѣятельности, только мучительно копаю-

щимися въ своей душѣ (Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, Лишній человѣкъ). Въ первый разъ показалъ онъ ихъ въ дѣйствіи въ «Рудинѣ», едва ли не лучшемъ своемъ, и во всякомъ случаѣ, необыкновенно прекрасномъ произведеніи. Въ Рудинѣ есть много непривлекательныхъ мелкихъ чертъ (охотно живетъ на чужой счетъ, беретъ деньги взаймы безъ отдачи), но всѣ онѣ тонутъ въ общей слабости—безхарактерности, которая ставитъ Рудина въ цѣлый рядъ неловкихъ и даже позорныхъ положеній. Слово и дѣло для него совсѣмъ разныя вещи, онъ не способенъ на какой бы то ни было твердый, рѣшительный, опредѣленный шагъ, и совершенно посрамляется не только Натальей, а и людьми гораздо меньшаго калибра. И, несмотря на все это, Рудинъ истинно блестящій образъ. Одно время, съ легкой руки нѣкоторыхъ критиковъ, у насъ принято было презрительно относиться къ «болтовнѣ» Рудина: дескать, дѣла не дѣлаетъ, а только болтаетъ. Разсуждающій такимъ образомъ упускаютъ изъ виду, что въ тѣ печальныя времена, когда жилъ Рудинъ, не было особеннаго богатства въ выборѣ «дѣла» для человѣка его образа мыслей. Забываютъ они также, что *слово* само по себѣ можетъ быть *дѣломъ*, и какъ не велико разстояніе между словомъ и дѣломъ для самого Рудина, но по отношенію къ другимъ его мощное слово могло быть и дѣйствительно было дѣломъ. Недаромъ, наслушавшись его краснорѣчія, Наталья ощутила въ себѣ силы, оказавшіяся не по плечу самому Рудину; недаромъ, передъ юнымъ Басистовымъ разверзались отъ этого краснорѣчія какіе-то неопредѣленные, но свѣтлые и широкіе горизонты. Конечно, если бы этотъ роскошный даръ природы попалъ въ другія руки, напримѣръ, Инсарову или Базарову, такъ они не такія дѣла обдѣлали бы. Но нашъ художникъ позаботился, какъ гласитъ нѣмецкое изреченіе, чтобы деревья не доросли до неба. Сильнымъ людямъ онъ не далъ талантовъ и блеску, а слабому далъ таланты и поэтическій ореолъ. Смерть Рудина, усугубляя эффектность его фигуры, искупаетъ и разныя его слабости. И не только смерть, а уже скорбный

разсказъ старому пріятелю о томъ, по какимъ онъ дорогамъ мыкался и какія бываютъ дороги грязныя. Много мягкости душевной и теплоты внесъ сюда нашъ знаменитый романистъ, и именно по такимъ страницамъ надо цѣнить глубокую гуманность его натуры.

Замѣчательно, однако, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полнотѣ только при обрисовкѣ слабыхъ характеровъ, не влекущихъ, а влекомыхъ, не управляющихъ, а управляемыхъ. Такихъ Тургеневъ умѣлъ обливать мягкимъ ласкающимъ свѣтомъ, даже не прибѣгая къ роскоши даровъ природы. Вотъ, напримѣръ, герой «Вешнихъ Водъ», Санинъ. Это самый обыкновенный молодой человѣкъ, только молодостью и блистающій. На немъ нѣтъ, правда, ни мрачныхъ тѣней ни свинцовой тусклости, но не числятся за нимъ и какія-нибудь положительныя личныя достоинства: ни глубокихъ думъ ни особенныхъ дарованій. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ просто тряпка по характеру. Слабые люди никогда не кончаютъ, все ждутъ, чтобы кончилось, замѣчаетъ Тургеневъ, разсказывая романическую исторію Санина. — Но Санинъ ничего и не начинаетъ и не продолжаетъ, у него все какъ-то помимо него начинается и продолжается. Тряпичность его переходитъ даже въ гнусность, въ которой, какъ ему самому кажется, его уличаетъ даже собака Тарталья, и онъ съ тоской вспоминаетъ о той позорной роли, которую, оставивъ Джемму, игралъ при госпожѣ Полозовой. Но и событія въ концѣ концовъ такъ располагаются, и такимъ рыцаремъ ведетъ себя по временамъ Санинъ, и такъ много свѣту и тепла пустилъ въ свою эту обыкновенную исторію мастеръ художникъ, что Санинъ вамъ отнюдь не противенъ, а просто вамъ его жалко.

Я слишкомъ долго не кончилъ бы, если бы вамъ захотѣлось перебрать всѣ созданные Тургеневымъ образы слабыхъ людей, и потому вы позволите мнѣ остановиться только еще на одномъ, на Неждановѣ. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда назвалъ бы этого юношу своимъ младшимъ братомъ, примѣряющимъ костюмъ революціонера; Шубинъ назвалъ бы его «грызуномъ, гамлетикомъ, самоѣдомъ». Па-

клинъ называетъ его «россійскимъ Гамлетомъ». Гамлетикъ-Неждановъ не только раздвоенъ, а растроёнъ между любовью къ Маріаннѣ, стремленіемъ въ художественныя сферы и избранною имъ революціонною дѣятельностью. Совокупить какъ-нибудь все это въ одно цѣлое онъ не можетъ, и все это у него не настоящее, потому что ничему не умѣетъ онъ отдаться вполнѣ, безъ мучительно скептическаго копанія въ своей душѣ. Ему естественно кончить самоубійствомъ, потому что порядочному человѣку надо или сбросить это бремя или перестать жить. Только совершенная дрянь можетъ безъ конца носиться съ этой душевной сумятицей и, пожалуй, даже кокетничать ею, что обыкновенно и дѣлаютъ «гамлетизированные поросята», изъ которыхъ, по законамъ естества, съ теченіемъ времени выростаютъ свиньи. Но Гамлетикъ-Неждановъ — больше чѣмъ порядочный человѣкъ. Онъ чистъ въ порывахъ своей натуры и искрененъ въ своемъ скептицизмѣ. Притомъ же, за исключеніемъ Маріанны, Неждановъ выше всѣхъ видимыхъ окружающихъ. Говорю «видимыхъ», потому что есть и невидимые, и въ этомъ состоитъ особенный интересъ всей концепціи «Нови». Тургеневу, по какимъ-то особымъ внутреннимъ требованіямъ его творчества, *нужно* было поставить въ центрѣ романа именно Нежданова съ его надломленностью и расположить всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ въ тѣни, такъ чтобы на него падало какъ можно больше свѣта. Достигается это двумя способами. Около Нежданова группируется кучка людей, сильныхъ волею и цѣльныхъ вѣрою, но за то необыкновенно скудныхъ въ умственномъ отношеніи, узкихъ, тусклыхъ, просто даже глупыхъ. На этомъ сѣромъ фонѣ Неждановъ выдѣляется яркимъ, красивымъ пятномъ. Затѣмъ вдали помѣщается Соломинъ, рекомендуемый чѣмъ-то покрупнѣе всѣхъ этихъ Маркеловыхъ, Остроумовыхъ, Машуриныхъ, но настолько вдали, что онъ оказывается какъ бы въ туманѣ и никоимъ образомъ не можетъ заслонить собою Нежданова. Еще дальше, уже внѣ рамокъ картины, помѣщается какой-то Василій Николаевичъ, вожакъ, заправляющій всей

«безымянной Русью». Онъ даже не показывается въ романѣ, — объ немъ только говорятъ. Можетъ быть, онъ и очень большая величина, можетъ быть, даже соединяетъ личную непреклонность и небоязнь отвѣтственности съ выдающимися дарованіями и поэтическимъ блескомъ; но ревнивый къ своему любимцу Нежданову, художникъ не допускаетъ ихъ до состязанія въ симпатіяхъ и заинтересованности читателя. Онъ не хочетъ рисковать поэтическимъ ореоломъ Нежданова. На немъ, на этой колеблющейся, не смѣющей, не умѣющей опредѣлиться фигурѣ хочетъ онъ сосредочить участіе и интересъ читателя.

Есть, однако, одно лицо, передъ которымъ Тургеневъ охотно пригибаетъ Нежданова. Это—Маріанна. Мужчина, пасующій передъ женщиной, оказывающійся ниже ея — одинъ изъ любимѣйшихъ мотивовъ Тургенева. Онъ его эксплуатировалъ въ «Асѣ», въ «Рудинѣ», въ «Дымѣ», въ «Вешнихъ Водахъ», въ «Затишьи», въ «Концѣ Чертопханова». И если, напримѣръ, въ упомянутомъ художественномъ tour de force въ «Первой Любви», буйная княжна Зинаида совершенно преклоняется передъ нимъ изъ пяти или шести мужчинъ, претендующихъ на ея благосклонность (передъ отцомъ лица, отъ имени котораго ведется разсказъ), преклоняется до униженія, до поцѣлуя рубца отъ удара его хлыста, то остальная-то коллекція вся у ея ногъ. Да и этотъ одинъ, стоящій выше ея, почти не показывается читателю. Остается совершенно неизвѣстнымъ, какими чарами околдовалъ онъ буйную княжну. Художникъ какъ бы признаетъ свое безсиліе изобразить такое рѣдкостное явленіе. Въ «Нови» Соломинъ, выражая одну изъ самыхъ задушевныхъ мыслей автора, говоритъ, что «*всѣ* русскія женщины дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ». *Всѣ* это, конечно, уже черезъ край сильно сказано, но почти справедливо относительно женскихъ типовъ, созданныхъ Тургеневымъ. Онъ ихъ рисовалъ съ необыкновенною любовью и, такъ сказать, рыцарскою деликатностью. Даже такая грубо чувственная и хищная натура какъ m-me Полозова, въ «Вешнихъ Водахъ», оказывается, во-первыхъ, сильною,

а во-вторыхъ, — во многихъ отношеніяхъ симпатичною. Даже такая послѣдняя дрянь, какъ m-me Лаврецкая, въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», сдобривается красотой, умомъ, талантами и не получаетъ отъ автора ни одного грубаго, хотя и вполнѣ заслуженнаго ею пинка. Объ остальныхъ или, по крайней мѣрѣ, о большинствѣ остальныхъ и говорить нечего: это чистѣйшія идеальныя созданія. Пропустите только у себя въ памяти героиню «Фауста», Асю. Машу въ «Затишьи», Лизу въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», Наталью въ «Рудинѣ», Елену въ «Наканунѣ», Джемму въ «Вешнихъ Водахъ», Таню въ «Дымѣ», Одинцову и Катю въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», Маріанну въ «Нови»...

Если однако репутація Тургенева, какъ ловца моментовъ русскаго общественнаго развитія, несправедлива вообще, то еще менѣе справедлива она относительно русскихъ женщинъ. Я уже не говорю о томъ, что итальянка Джемма могла бы быть замѣнена русскою или собою замѣнить русскую безъ малѣйшей перемѣны во внутренней, душевной жизни. Но относительно женщинъ, Тургеневъ не прибѣгалъ даже къ заимствованіямъ «новыхъ» обстановокъ изъ текущей русской дѣйствительности (исключеніе составляютъ Кукшина въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», Маріанна и Машурина въ «Нови»). Припомните, сколько различныхъ «моментовъ» пережила русская женщина съ тѣхъ поръ, какъ звѣзда Тургенева сразу ярко загорѣлась на горизонтѣ русской литературы. Въ сороковыхъ годахъ, подъ вліяніемъ Жоржъ Зандъ, у насъ были такъ называемыя «эмансипированныя» женщины. Явленіе это было, правда, неособенно распространенное и въ общемъ довольно безобразное, какъ оно и естественно при милліонахъ не-эмансипированныхъ крестьянъ. Но въ отдѣльныхъ случаяхъ оно могло быть чистымъ, искреннимъ и вполнѣ заслуживающимъ поэтическаго воспроизведенія. И если мужчины могли задумываться о гнусности крѣпостного права и горѣть отъ стыда за него, то почему не могли того же дѣлать женщины, особливо если всѣ русскія женщины выше и дѣльнѣе насъ, мужчинъ? Но объ этомъ мы ровно ничего не узнаемъ отъ

Тургенева. Можетъ быть, однако, это вовсе не «моментъ», то есть недостаточно широкое общественное явленіе, чтобы стоило крупному художнику отмѣчать? Очень можетъ быть. Но, вотъ, въ шестидесятыхъ годахъ среди русскихъ женщинъ происходитъ довольно, кажется, широкое и довольно опредѣленное движеніе, беллетристически изображенное много разъ, но все болѣе или менѣе слабыми, неумѣлыми руками, или даже прямо грязными. Казалось бы, Тургеневу, съ его широкими симпатіями, съ его чуткостью ко всему, что шевелится въ женскомъ сердцѣ, представлялась тутъ богатѣйшая жатва. А между тѣмъ на все это женское движеніе онъ откликнулся однимъ образомъ, да и этотъ образъ—Евдокія Кукшина. Не будемъ говорить—хороша или дурна Кукшина, можетъ ли быть она признана олицетвореніемъ общаго явленія, или это частное уродство, но, во всякомъ случаѣ, одна ласточка весны не дѣлаетъ. Единственность этой ласточки свидѣтельствуетъ, что Тургенева занимало тогда совсѣмъ не спеціальное движеніе русскихъ женщинъ, не «женскій трудъ», или женскій вопросъ, или высшее образованіе женщинъ. Онъ понималъ, конечно, все это и, такъ или иначе, принималъ близко къ сердцу, но именно *близко* къ сердцу, а не настолько, чтобы, переваривъ въ своемъ сердцѣ и умѣ, переработать творческимъ процессомъ и предъявить въ видѣ поэтическихъ образовъ. Его другое занимало—мотивъ психологическій и общечеловѣческій, если хотите, общеженскій. Его занималъ тогда, какъ и прежде, и потомъ, моментъ возникновенія сердечнаго романа дѣвушки; моментъ, имъ до высшей степени облагороженный совершенно особеннымъ, чисто тургеневскимъ способомъ.

Тургенева часто называютъ «истиннымъ реалистомъ»,—основателемъ и главою реальной школы въ беллетристикѣ и т. п. Всѣ эти реализмы, идеализмы и прочіе измы ужасно захватаны, и сплошь и рядомъ люди, о нихъ препирающіеся, разумѣютъ подъ ними совсѣмъ разныя вещи. Я не думаю, чтобы поэзія Тургенева исчерпывалась словомъ *реализмъ*. Если разумѣть подъ реализмомъ стремленіе изображать правду жизни, какъ она есть, такъ, конечно,

Тургеневъ былъ реалистъ. Но дѣло въ томъ, что жизнь пестра, низкое въ ней чередуется съ возвышеннымъ, грязное съ чистымъ. Художникъ можетъ, оставаясь вполнѣ вѣренъ правдѣ жизни, выбирать для художественной эксплуатаціи однѣ рѣзкія и грязныя ея полосы, но точно также и однѣ возвышенныя и чистыя. Въ послѣднемъ случаѣ его назовутъ, пожалуй, идеалистомъ, и, пожалуй, будутъ правы. Что касается женщинъ, Тургеневъ былъ именно такимъ идеалистомъ: онъ выбиралъ свои темы изъ идеальныхъ полосъ реальной жизни. Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что есть женщины, способныя своею пустотою, мелочностью, злобностью создать настоящій адъ для своихъ близкихъ; что есть женщины и въ разныхъ другихъ смыслахъ вполнѣ дрянныя; но ихъ нѣтъ въ галлереѣ женскихъ типовъ Тургенева. Онъ этихъ сторонъ реальной правды жизни не трогалъ. Дѣвушка полюбила—вотъ любимѣйшая и постоянная тема Тургенева. Споконъ вѣка эксплуатируется эта тема безчисленнымъ множествомъ поэтовъ, романистовъ, драматурговъ. Но Тургеневъ съ своей разработкой ея стоитъ совершенно особо. Любовь не только не кладетъ на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, какъ это часто случается въ романѣ и въ жизни, но какъ бы расширяетъ ея душу, открываетъ ей новыя, далекія и свѣтлыя перспективы. Любимый человѣкъ для нея не просто будущій мужъ ея или любовникъ, съ которымъ ее ждетъ упоеніе личнаго счастья,—нѣтъ, за нимъ стоитъ что-то большое и свѣтлое (она хорошенько не знаетъ что), призывающее къ дѣятельности, къ жертвѣ; ей такъ сладко мечтать объ этой жертвѣ, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, такъ хотѣлось бы на весь міръ прозвенѣть какими-то новыми, до сихъ поръ нетронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души; прозвенѣть, а тамъ, пожалуй, пусть струны и оборвутся отъ полноты напряженія. И оттого-то такъ безвыходно горько разочарованіе, напримѣръ, Маши въ «Затишьи» или Натальи въ «Рудинѣ». Въ разработку этихъ переливовъ приподнятаго строя женской души, расширенной и очеловѣченной любовью, Тур-

геневъ клалъ все свое рѣдкое мастерство. Онъ самъ былъ, можно сказать, влюбленъ въ эти свои чудныя созданія.

Замѣчательно однако, что необходимымъ условіемъ этой влюбленности была именно неопредѣленная свѣтозарность или свѣтозарная неопредѣленность идеаловъ женщины. Женщина особенно близка и дорога Тургеневу, когда, преображенная чудомъ любви, она находится въ состояніи страстнаго тяготѣнія къ чему-то великому и свѣтлому, но неопредѣленному, далекому, туманному. Какъ только этотъ туманъ разсѣевается, какъ только женщина выбираетъ опредѣленный путь,—такъ она или перестаетъ совсѣмъ интересовать нашего художника, или даже становится для него непріятною. Вотъ почему онъ «уловилъ моментъ» движенія среди русскихъ женщинъ только однимъ образомъ Евдокіи Кукшиной. Можетъ быть, рисуя эту безобразницу, онъ и не погрѣшилъ противъ правды жизни; можетъ быть, такія безобразницы и бывали, но во всякомъ случаѣ здѣсь Тургеневъ, даже просто какъ художникъ, далеко не тотъ, что въ изображеніи женщинъ, нетронутыхъ опредѣленнымъ общественнымъ движеніемъ. Тамъ онъ выбиралъ исключительно свѣтлыя и возвышенныя полосы реальной правды жизни; здѣсь, напротивъ,—исключительно темныя и низменныя. Тоже самое видите вы и въ «Нови» (мимоходомъ сказать, одномъ изъ самыхъ слабыхъ произведеній Тургенева), гдѣ онъ послѣ долгаго перерыва, опять далъ героямъ обстановку «новую», заимствованную изъ текущей русской дѣйствительности, изъ «момента, въ которомъ, какъ извѣстно, женщины играли очень видную роль. На этотъ разъ Тургеневъ далъ два женскихъ типа, Маріанну и Машурину. Но Маріанна, это—блистающій яркими красками благоуханный цвѣтокъ, раскрывшійся подъ вліяніемъ весенняго тепла и свѣта. Это та-же, по-тургеневски полюбившая дѣвушка, со всѣми обычными, слитно-возвышенными, неопредѣленно-свѣтлыми атрибутами. Правда, она пытается сдѣлать совершенно опредѣленный шагъ по опредѣленному пути «опрощенія», но, благодушно комически освѣтивъ этотъ шагъ, Тургеневъ бережно сводитъ Маріанну съ опредѣленнаго

пути и удаляетъ ее куда-то въ туманъ вмѣстѣ съ блѣднымъ Соломинымъ. Совсѣмъ иное дѣло Машурина. Эта ужъ закоснѣла въ своей неопредѣленности, ее не волнуютъ никакія сомнѣнія и колебанія, ничто не можетъ своротить ее съ намѣченнаго пути: она готова принять на себя отвѣтственность за самыя рѣшительныя дѣйствія. Но зато же она лишена всякаго поэтическаго ореола. Несмотря на всѣ свои добродѣтели, которыя авторъ подчеркиваетъ даже съ излишнею торопливостью, Машурина тускла, узка, даже просто глупа и, вдобавокъ, безобразна...

Н. Михайловскій.

* * *

*) Тургеневъ и по своей натурѣ и по кореннымъ свойствамъ своего таланта былъ человѣкомъ и художникомъ въ той же мѣрѣ чисто русскимъ, въ какой былъ имъ Пушкинъ, ученикомъ котораго не даромъ считалъ себя покойный. Только русская жизнь могла выработать такого человѣка и художника, въ которомъ самымъ оригинальнымъ образомъ сочеталось необычайное простодушіе съ поразительнымъ критическимъ анализомъ жизни, самый чистый идеализмъ съ самымъ трезвымъ реализмомъ, самый проницательный и ясный умъ съ самымъ теплымъ, сердечнымъ чувствомъ, самое преданное служеніе искусству съ самою чуткою отзывчивостью стремленіямъ времени. Такія натуры, представляющія удивительное соединеніе противоположныхъ элементовъ, вырабатываются только на родной нашей почвѣ, «такъ печетъ только русская печь», какъ говаривалъ Погодинъ. Западная жизнь по своей законченности, по своей опредѣленности и узости, по рѣзкости и, если можно такъ выразиться, спеціализированности своихъ вліяній не въ состояніи вырабатывать ни такой разносторонности и ширины, ни такой простоты, ни такой общности таланта и ума.

---

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“.

Тургеневъ былъ продуктомъ дворянско-помѣщичьей среды, и соединялъ и въ своей личности и въ своемъ творчествѣ всѣ лучшія качества этой среды. Дворянско-помѣщичья среда, какъ отживающій, можно сказать, даже почти уже отжившій элементъ русской жизни, въ настоящее время «не въ авантажѣ обрѣтается». Такъ какъ эта среда тѣсно соединялась съ крѣпостнымъ правомъ, то на нее упала тѣнь отъ этого мрачнаго явленія нашего прошлаго. За этою тѣнью въ теперешнее мнимо-либеральное и мнимо-просвѣщенное время не хотятъ видѣть многихъ свѣтлыхъ сторонъ упомянутой среды. А онѣ были, эти свѣтлыя стороны, несомнѣнно. Одною изъ такихъ свѣтлыхъ сторонъ слѣдуетъ, напримѣръ, признать то выгодное положеніе, которое давалось дворянско-помѣщичьей средѣ ея, хотя «господскимъ», но тѣмъ не менѣе близкимъ соприкосновеніемъ съ народомъ и въ то же время соприкосновеніемъ съ образованностью, большею частью поверхностною, но въ иныхъ, исключительныхъ случаяхъ довольно серьезною и широкою. Конечно, эта образованность пріобрѣталась на мужицкій счетъ, покупалась цѣною эксплуатаціи закрѣпощеннаго крестьянина, поддерживалась барскою обезпеченностью и очень нерѣдко разрѣшалась въ праздномъ услажденіи себя самой для самой же себя. Но нерѣдко также, благодаря этой обезпеченной мужицкимъ потомъ и кровью образованности, изъ дворянско-помѣщичьей среды выходили дѣйствительно русскіе интеллигентные люди, не чета тѣмъ представителямъ современной мѣщанской и разночинной псевдо-интеллигенціи, которая смѣнила дворянско-помѣщичью и выродилась, наконецъ, въ пресловутый «умственный пролетаріатъ». Во всякомъ случаѣ, каковы бы ни были темныя стороны отживающей дворянско-помѣщичьей среды, но она намъ дала такихъ людей, какъ Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Герценъ, Тургеневъ, Левъ Толстой, Достоевскій. Безъ этихъ огромныхъ талантовъ русская жизнь не могла бы притти къ опознанію самой себя, они служатъ мѣркою ея общественно-національнаго роста и развитія, они являются выразителями народнаго генія.

Въ біографіи и характеристикахъ и Пушкина, и Тургенева, и другихъ нашихъ геніальныхъ талантовъ очень часто «проводится» мнѣніе, что они получили обыкновенно «недостаточное» образованіе, потому что дворянско-помѣщичья среда, дескать, иногда образованія и не могла давать. Это одно изъ фальшивыхъ мнимо-либеральныхъ мнѣній, пущенныхъ въ ходъ, кажется, завистливымъ семинарствомъ, которое, къ слову сказать, начиная съ пятидесятыхъ годовъ, внесло въ нашу литературу много пристрастныхъ и лживыхъ оцѣнокъ во имя тенденціознаго гоненія аристократическаго принципа, будто осуществлявшагося въ людяхъ дворянско-помѣщичьей среды. Пора, наконецъ, намъ признать, что какъ Пушкинъ, такъ и Тургеневъ образовались подъ условіями довольно счастливыми: съ дѣтства они восприняли впечатлѣнія народной жизни въ ея неиспорченномъ источникѣ—деревнѣ, съ дѣтства они освоились съ иностранными языками, давшими имъ впослѣдствіи средство ознакомиться съ геніальнѣйшими произведеніями всемірной литературы. Пушкинъ довоспиталъ самъ себя въ зрѣлые годы серьезнымъ трудомъ и размышленіемъ и, конечно, былъ однимъ изъ самыхъ образованнѣйшихъ людей своего времени, не только русскихъ, но и западныхъ. По крайней мѣрѣ, Мицкевичъ, который, конечно, какъ геніальный талантъ, былъ попроницательнѣе нашихъ семинарскихъ цѣнителей и судей, удивлялся его обширнымъ и серьезнымъ свѣдѣніямъ не только въ литературѣ, но и въ политикѣ. Тургеневъ былъ еще счастливѣе Пушкина: онъ докончилъ свое первоначальное образованіе у европейскихъ учителей и выступилъ на литературное поприще съ такимъ багажемъ серьезныхъ знаній, съ какимъ, конечно, выступали немногіе изъ западныхъ геніевъ. Если сравнить высокое образованіе Тургенева, который, по свидѣтельству лицъ, его близко знавшихъ, перечиталъ и въ древней и въ новой литературахъ все, что онѣ дали выдающагося,—если сравнить образованіе нашего художника съ образованіемъ, напримѣръ, хотя бы французскихъ писателей, въ родѣ Жоржъ-Зандъ, Бальзака, Ламартина, не говоря уже о но-

вѣйшихъ натуралистахъ, порядочно-таки невѣжественныхъ,—то, конечно, перевѣсъ будетъ на сторонѣ автора «Отцовъ и Дѣтей...» А мы все еще какъ-то боимся сознаться себѣ въ этомъ, мы все еще почитаемъ не только иностранныхъ геніевъ, но даже иностранныхъ посредственностей людьми несравненно болѣе образованными, чѣмъ наши самые выдающіеся таланты; мы всѣ толкуемъ, что наши Пушкины, Лермонтовы, Толстые отъ Бога были одарены, да, жаль, недостаточно образованы, жаль, знаній надлежащихъ не имѣли. Даже—какъ это ни странно—самъ Тургеневъ былъ не лишенъ этой робости въ оцѣнкѣ широкой образованности нашихъ художниковъ: въ своихъ «Литературныхъ и житейскихъ воспоминаніяхъ» онъ дѣлаетъ упрекъ Льву Толстому за обнаруженное послѣднимъ будто бы «отсутствіе истиннаго знанія» въ романѣ «Война и Миръ». У Льва Толстого — отсутствіе истиннаго знанія! Да и есть ли теперь въ Европѣ такой художникъ, какъ авторъ «Войны и Мира»? Въ каждомъ его произведеніи, въ каждой страницѣ его произведеній обнаруживается для непредубѣжденнаго человѣка такое громадное, серьезное, такое продуманное и глубокое знаніе, какое доступно только геніальному уму. Этотъ писатель знаетъ все, что знаетъ его время, какъ Шекспиръ зналъ все, что его время знало. И ему бросается упрекъ въ отсутствіи «истиннаго знанія!» Поди, чай, Тургеневъ и о своемъ «знаніи» былъ необычайно скромнаго мнѣнія, а вѣдь онъ въ этомъ отношеніи, повторяю, является феноменальнымъ писателемъ не только на нашей, но и на европейской почвѣ.

Кромѣ близкаго соприкосновенія съ народною жизнью, кромѣ выдающагося образованія, среда, къ которой принадлежалъ Тургеневъ по рожденію, дала ему еще одно благо, чрезвычайно важное и почти необходимое для выработки настоящаго художника, настоящаго поэта; она дала ему обезпеченность, независимость отъ матеріальныхъ житейскихъ обстоятельствъ. Тургеневъ съ самыхъ первыхъ своихъ литературныхъ шаговъ и до конца своей жизни работалъ «изъ вдохновенья, не изъ платы»,—условіе необык-

новенно счастливое для художника. Что бы ни говорили о свободномъ творчествѣ талантовъ, но въ нашъ вѣкъ, недаромъ прозванный меркантильнымъ, жажда заработка, плата имѣетъ огромное вліяніе на это творчество. Въ Англіи, напримѣръ, да и во Франціи тоже, плата за романы, выдаваемая авторамъ книгопродавцами, обусловливаетъ давно если не внутреннее содержаніе, то объемъ этого рода произведеній. Такъ выработалась извѣстная мѣрка, меньше которой и больше которой книга беллетристическаго содержанія не должна быть, потому что иначе ея изданіе не представляетъ выгоды издателю. И такой установившейся внѣшней мѣркѣ для романа подчиняютъ свое вдохновеніе не только посредственные беллетристы, но даже крупные, первостепенные таланты. Подобныя явленія наглядно показываютъ, до какой степени зависитъ отъ матеріальнаго вознагражденія творчество этихъ мнимо-свободныхъ дѣятелей искусства. Для Тургенева, благодаря его обезпеченности, подобной зависимости никогда не существовало. Онъ писалъ, когда хотѣлъ и сколько хотѣлъ, онъ обработывалъ свои произведенія, заботясь единственно о требованіяхъ искусства, о соотвѣтствіи содержанія съ формою, и не имѣя въ виду никакихъ иныхъ, постороннихъ творчеству требованій. Вотъ почему у него почти не найдется ни одного произведенія излишне растянутаго, или излишне сжатаго, недоконченнаго, торопливо сдѣланнаго. Его повѣсти и романы въ большинствѣ представляютъ такую тщательную обработку, какую только можно желать. Въ нихъ не встрѣтится ни одной страницы, которую бы при самой строгой взыскательности можно счесть ненужной, которую хотѣлось бы откинуть. Это въ полномъ смыслѣ шедевры беллетристики, въ которыхъ остается только удивляться тщательной художнической выдержкѣ и отдѣлкѣ. Конечно, такая добросовѣстность и надлежащая мѣра въ работѣ была однимъ изъ коренныхъ свойствъ таланта Тургенева, отличавшагося въ высшей степени гармоническимъ изяществомъ; но, повторяю, это коренное свойство несомнѣнно поддерживалось и подкрѣплялось въ его талантѣ тѣмъ счастли-

вымъ условіемъ матеріальной обезпеченности, въ которомъ стоялъ нашъ художникъ отъ ранней юности и до конца своихъ дней.

В. Буренинъ.

* * *

*) Тургеневъ въ каждое новое произведеніе вноситъ цѣликомъ все свое прожитое и все свое настоящее: блестящія стороны его таланта становятся все ярче и ярче—но за то и старые недостатки остаются старыми, уже милыми намъ недостатками... Талантъ Тургенева, впечатлительный и чуткій на все, отозвавшійся на натуральную школу замѣчательнымъ разсказомъ «Пѣтушковъ» и плохою драмою «Холостякъ» — отозвавшійся даже на драматическія пословицы и поговорки изъ жизни такъ называемаго большого свѣта,—какъ-то женственно подчинявшійся всякому вліянію—не отозвался только на современный *чистый* натурализмъ. Это уже внѣ его рода, внѣ (по не выше) его таланта... У Тургенева выдается ярко отношеніе его богатой поэтической личности къ природѣ: живое сочувствіе къ природѣ, тонкое пониманіе ея красотъ, пониманіе человѣка развитого, не утратившаго однако — что особенно рѣдко и дорого — свѣжести непосредственнаго чувства,— дѣлаютъ его однимъ изъ высокихъ описательныхъ поэтовъ вездѣ, гдѣ касается дѣло до природы внѣшней; даже въ самыхъ неудачныхъ, самыхъ фальшивыхъ по основной мысли его произведеніяхъ, попадаются въ этомъ родѣ цѣлыя страницы—живыя, благоуханныя, истинно-поэтическія. Даже близорукая и отсталая критика, отвергая въ немъ все художественное достоинство, признавала однако это достоинство, признавала въ высокой степени... Ясно, что отношенія Тургеневскія къ природѣ отличаются отъ отношеній, напримѣръ, къ ней — чтобъ взять покрупнѣе — Пушкинскихъ, или—выбирая изъ современности—положимъ,

*) А. Григорьевъ. Сочиненія Аполлона Григорьева. Т. I.

Аксаковскихъ, съ одной стороны, Майковскихъ или Гончаровскихъ, съ другой; я не упоминаю о Писемскомъ, ибо въ немъ, какъ и во всѣхъ нашихъ писателяхъ, родившихся на сѣверо-востокѣ, особенно нѣжнаго сочувствія къ природѣ не обнаруживалось, и картинность, выразившаяся у Писемскаго въ удивительномъ изображеніи уѣзднаго города ночью,— вовсе не то, что близость къ природѣ, сочувствіе ей. Нѣкоторое сходство еще есть между манерою Тургенева и манерой Толстого, хотя у послѣдняго краски гуще и ярче—особенно сходство есть между манерою Тургеневскою, манерою Фета и манерою нашего друга Полонскаго...

Поэзія тургеневской манеры отличается не яркостью, но тонкостью и прозрачностью красокъ, эта поэзія не ловитъ въ природѣ яркихъ оттѣнковъ, крупныхъ явленій; напротивъ, она какъ будто съ умысломъ избѣгаетъ ихъ, и ловитъ оттѣнки тонкіе, слѣдитъ природу въ тонкихъ, неуловимыхъ ея явленіяхъ, съ привязанностью ребенка къ нянькѣ, съ какимъ-то суевѣрнымъ обожаніемъ. Это—поэзія такъ называемой великорусской украйны, страны чернозема, потоваго труда земледѣльца, страны, которой самая пѣсня, потерявши размашистость и заунывную или разгульную широкость великорусской пѣсни, — еще не съ такимъ коротенькимъ мотивомъ, какъ пѣсня малороссійская, но уже стремится къ сей послѣдней — къ пѣснѣ страны, гдѣ человѣкъ почти совсѣмъ поглощенъ природою. Это — поэзія особенной полосы, мѣстности, ея живой голосъ...

Тургеневъ, этотъ талантъ, всей высотой своей обязанный романтизму, съ одной стороны, и искренности, съ другой, въ свою очередь не миновалъ подчиненія теоріямъ, хотя этотъ моментъ, по причинѣ особенной отрицательной черты его таланта — отсутствія рѣзкости, переходящаго даже въ отсутствіе энергіи,—никогда не выражался у него цѣлымъ рядомъ, цѣлою эпохою произведеній, а разсѣянъ во множествѣ ихъ, мелькаетъ по мѣстамъ *даже до сего дня*. Есть два-три произведенія, въ которыхъ вліяніе теорій выразилось у него рѣзко; но отъ этихъ, чисто уже

заказныхъ, не по внутреннему побужденію писанныхъ вещей, отрекся самъ Тургеневъ, какъ истинный поэтъ. Я говорю о произведеніяхъ въ родѣ «Холостяка» и «Нахлѣбника» — столь же заказныхъ (въ томъ смыслѣ, что они *заказаны* теоріями), какъ драматическія попытки Занда... Талантъ Тургенева—такъ гибокъ и мягокъ, что не только выносилъ на себѣ всѣ вѣянія эпохи, не только подчинялся теоріямъ, онъ подчинялся даже людямъ, чисто случайнымъ повѣтріямъ»... (Какъ на примѣръ такихъ произведеній А. Григорьевъ указываетъ на *„Провинціалку“* и на *„Гдѣ тонко, тамъ и рвется“).*

«Представителемъ органическаго пушкинскаго процесса во всѣхъ его фазисахъ—былъ въ нашу эпоху Тургеневъ, и вотъ въ чемъ его великое историческое значеніе. Онъ не обладалъ этимъ процессомъ, не былъ заклинателемъ стихій, какъ Пушкинъ, не былъ, однимъ словомъ, сознательною, т. е. геніальною силою, провидящею въ даль, захватывающею будущія грани, — но онъ, какъ высокопоэтическая натура, отзывался на всѣ вѣянія пережитыхъ имъ эпохъ процесса, передавалъ намъ искренне весь свой внутренній міръ, и непосредственно-смѣло —вопреки мягкости поэтической натуры—доводилъ художественно всякое вѣяніе до его крайнихъ послѣдствій. На лермонтовскій романтизмъ онъ отозвался «Тремя Портретами»; на лермонтовскія по принципу и гоголевскія по формѣ изображенія дѣйствительности въ трагически-мрачномъ или трагически-грязномъ видѣ — поэмою *„Помѣщикъ“*, исполненною протеста личности и вражды къ *козлинымъ* башмакамъ; на сентиментальный романтизмъ праваго Гегелизма —«Яшей Пасынковымъ»; на сентиментальный натурализмъ —своими драмами и превосходнымъ разсказомъ «Пѣтушковъ»; на идиллическую школу народности—«Сельской Офеліей» въ «Запискахъ Охотника»... На чисто органическій протестъ за простое, непосредственное и типовое— откликался онъ многимъ, всей своей дѣятельностію, всей борьбой съ блестящимъ, извнѣ пришедшимъ типомъ, впадая въ противорѣчія, въ крайности, то какъ «Муму» льстившія славя-

нофильству, то какъ «Постоялый Дворъ» дышавшія протестомъ. Явно мучительно переживалъ онъ всѣ эти противорѣчія и, безсознательно-женственно подчиняясь вѣяніямъ, служа ихъ органомъ, выходилъ все-таки самимъ собою, благодаря опять-таки высоко-поэтической, никакимъ теоріямъ не поддающейся натурѣ.

Анализъ дѣятельности Тургенева есть поэтому анализъ цѣлой нашей эпохи со множествомъ ея процессовъ. Другого столь полнаго ея представителя у насъ—нѣтъ. Островскій и Толстой, каждый въ своемъ родѣ—сильнѣе Тургенева, но одностороннѣе.

А. Григорьевъ.

* * *

*) Тургеневъ былъ любимцемъ публики въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ. Двадцать пять лѣтъ онъ считался первымъ русскимъ писателемъ, прямымъ и достойнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ такой свѣтлой, общепризнанной и широкой славы. Чѣмъ же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяніе?

Художественнымъ мастерствомъ, отвѣчаютъ тѣ цѣнители, которыхъ можно назвать въ одно время и хвалителями и хулителями Тургенева. Но это вполнѣ невѣрно. По художественности, то есть по жизненности, яркости и глубинѣ образовъ, Тургеневъ уступитъ не только Л. Н. Толстому, не только Гончарову или Островскому, но и Достоевскому и Писемскому. Настоящаго художества, то есть творчества въ полномъ смыслѣ этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры, обыкновенно, представляютъ довольно блѣдные очерки; черты ихъ вѣрны, проведены осторожно, изящно; композиція проста и опрятна; но выпуклости, плоти, душевной глубины нѣтъ въ этихъ *аквареляхъ*, какъ остроумно назвалъ кто-то писанія Тургенева.

*) Н. Страховъ. „Русь“ 1 декабря 1883 г.—Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

Во множествѣ случаевъ, даже просто намѣчено нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ и нѣтъ полнаго рисунка, тогда какъ у настоящаго творческаго писателя фигура является всегда разомъ во всей полнотѣ жизни, и съ десяти строкъ читатель чувствуетъ, съ какимъ существомъ онъ встрѣтился.

Было бы очень жаль, если бы пониманіе художества у насъ стояло такъ низко, что мы Тургенева признали бы за великаго художника и серьезно сравнивали бы его произведенія съ Пушкинымъ или Гоголемъ.

Но несмотря на то, сочиненія Тургенева въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ представляли для публики такую занимательность, такую прелесть, что онъ бралъ верхъ надъ самыми даровитыми изъ своихъ совмѣстниковъ по литературѣ. Часто указываютъ на то, что онъ всегда держался современныхъ вопросовъ, выводилъ героевъ дня. Но кто же не пытался дѣлать то же самое? Сколько было усилій схватить самую современную современность!

Давно уже художество заражено тою идеею, которою теперь все заражено, — идеею политическою; давно уже вѣра въ прогрессъ, въ развитіе, почти вытѣснила вѣру въ вѣчныя истины и замѣнила собою самое исканіе этихъ истинъ. Тургеневъ вовсе не составляетъ исключенія въ этой общей погонѣ за современностью, въ стремленіи отзываться на вопросы минуты. Его отличительная черта состоитъ не въ выборѣ предметовъ, а въ томъ, *какъ* онъ относился къ предметамъ.

Это отношеніе было — полное *подчиненіе*, подчиненіе искреннее, естественное, вытекающее не изъ разсчета или увлеченія, а прямо изъ мягкой натуры писателя. Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вмѣстѣ съ самою большою толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ людей. Онъ не хотѣлъ отдѣляться отъ этой массы (то есть и не могъ отдѣляться), онъ ни въ чемъ ни расходился съ ея вкусами и мыслями, и потому никогда не противорѣчилъ этимъ вкусамъ и мыслямъ. Такого отношенія не выдерживалъ и не могъ выдержать никто изъ другихъ писателей. Всякій изъ нихъ, въ томъ или другомъ пунктѣ,

становился въ сторонѣ отъ толпы, бралъ себѣ другія точки зрѣнія, подымался на высоты, съ которыхъ объективнѣе и крупнѣе являлась картина. Одинъ Тургеневъ не дѣлалъ ничего подобнаго.

Возьмемъ дѣло съ внѣшней стороны, самой ясной. Возьмемъ языкъ. Сверстники Тургенева, ни мало не задумываясь, писали такимъ языкомъ, какимъ каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинствомъ, заслугою. Одинъ Тургеневъ писалъ общелитературнымъ языкомъ, избѣгая всякой шероховатости и особенности. Онъ писалъ языкомъ образованнаго русскаго общества и, естественно, былъ за то милъ этому обществу.

Точно такъ—одинъ Тургеневъ соблюдалъ то изящество, ту граціозность, къ которой стремится нашъ образованный классъ. Вы не найдете у него грубыхъ образовъ, дикихъ нравовъ, рѣзкихъ выраженій. Все опрятно и умѣренно; скорѣе встрѣтится жеманство, чѣмъ отступленіе отъ приличія.

Но и это лишь внѣшность. По внутреннему содержанію своихъ произведеній Тургеневъ долженъ былъ имѣть главную и несравненную привлекательность для нашихъ образованныхъ людей. Кого онъ выводилъ на сцену? Онъ изображалъ представителей нашей образованности, «современныхъ героевъ», и онъ одинъ умѣлъ это дѣлать, потому что стоялъ наравнѣ съ этими героями, нимало не думалъ отъ нихъ отдѣляться. Ни у какого другого писателя русскій образованный человѣкъ не встрѣчалъ себя самого, или людей, стоящихъ съ нимъ на одной доскѣ, ягодъ съ того же поля. И *лишніе люди*, и Рудины, и Базаровы, Литвиновы и т. д., все это — люди, представляющіе нашу образованность. Если иные изъ нихъ недовольно типичны, то за то весь кругъ ихъ понятій, нравовъ и интересовъ былъ именно кругъ передового слоя, та самая атмосфера, въ которой вращались наши образованные люди.

Подумайте, какъ это должно было привлекать и занимать! Послѣ великаго переворота, произведеннаго Гоголемъ, наша литература потеряла вѣру въ *прекраснаго человѣка;*

она оторвалась отъ общества, и смотрѣла на все съ идеальной высоты, съ которой реальныя явленія или обнаруживаютъ свое безобразіе, или составляютъ типы живые и крѣпкіе, но объективируемые художествомъ холодно и, такъ сказать, высокомѣрно. Въ одномъ Тургеневѣ не было этого высокомѣрія. Онъ одинъ продолжалъ старыя преданія. Какъ Пушкинъ писалъ Онѣгина, Лермонтовъ Печорина, такъ и Тургеневъ писалъ своихъ героевъ, то есть: почти перенося́сь въ нихъ душою, не пытаясь даже выходить въ другія сферы мысли, въ которыя подъ конецъ подымались его предшественники.

Рисуя задачи и стремленія нашего образованнаго класса, возводя въ перлъ созданія его радости и горести, Тургеневъ никогда не впадалъ въ противорѣчіе съ духомъ того общественнаго слоя, которому служилъ. Если бы онъ увлекся религіозностью, или патріотизмомъ, или славянствомъ, или задался бы чисто нравственными стремленіями, то онъ сталъ бы въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, съ ходячими вкусами. Русскій образованный слой, заимствуя свое просвѣщеніе отъ Европы, естественно расположенъ не придавать вѣса различію народности, расположенъ къ общимъ мѣстамъ, къ неопредѣленности, или, если позволительно такъ выразиться, ко *всеядности* мнѣній и вкусовъ, и всегда инстинктивно уклоняется отъ строгой и рѣшительной постановки вопросовъ *). Вотъ гдѣ источникъ и того единственнаго случая, когда Тургеневъ попалъ въ разладъ съ западническою литературой. Нигилисты, въ

*) Неопредѣленность мнѣній Тургенева видна всего болѣе изъ той важности, которую онъ придавалъ своему протесту противъ крѣпостного права. Роль такого протеста сыграли, какъ извѣстно, „Записки Охотника“, — не станемъ разбирать, основательно или ошибочно, намѣренно или случайно имъ досталась эта роль. Интересно то, что Тургеневъ очень крѣпко держался за такую свою услугу прогрессу; между тѣмъ, противъ крѣпостного права стояли лучшіе люди всякаго рода мнѣній, никакъ не одни западники. Явный знакъ скудности катехизиса людей, мечтающихъ, что они черпаютъ изъ самой сокровищности просвѣщенія.

жару своей проповѣди и первыхъ успѣховъ, вознегодовали на него, вѣрно понявъ, что онъ отъ нихъ отдѣлился. Эта единственная неудача на литературномъ поприщѣ больно поразила Тургенева. Но грубая и фанатическая односторонность была рѣшительно противна всѣмъ его умственнымъ и эстетическимъ привычкамъ; хотя онъ готовъ былъ въ этомъ случаѣ даже насиловать себя, онъ не успѣлъ найти твердой почвы для примиренія, и остался неопредѣленнымъ, общимъ западникомъ. Неудачная «Новь» представляетъ лишь отвлеченное и холодное преклоненіе передъ нигилизмомъ.

Таковъ былъ Тургеневъ. Съ удивительною мягкостью, съ женственной отзывчивостію онъ подчинялся всѣмъ лучшимъ стремленіямъ, господствовавшимъ въ нашемъ просвѣщеніи. Поэтому онъ былъ самымъ чистымъ, полнымъ и искреннимъ представителемъ этого просвѣщенія. Въ немъ не было ничего оригинальнаго, никакой упорной послѣдовательности, никакой глубокой задачи; но при этомъ было столько ума, образованности, вкуса и художественнаго таланта, сколько можетъ совмѣститься съ настроеніемъ и умственной жизнью нашихъ просвѣщенныхъ людей.

Какъ же было имъ не любить его? Какъ не любить писателя, до такой степени имъ сочувственнаго и однороднаго? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не могъ имѣть столько поклонниковъ; поэтому странно было бы винить все это множество въ какомъ-нибудь преувеличеніи, въ какихъ-нибудь заднихъ мысляхъ. Развѣ они не идутъ по главному руслу нашего просвѣщенія, нашего умственнаго движенія? Развѣ до сихъ поръ не съ Запада почерпается нами образованіе? большинство у насъ слѣдуетъ вкусу, образу мыслей и примѣру образованныхъ странъ, и потому Тургеневъ, какъ самый европейскій изъ русскихъ писателей, долженъ пользоваться наибольшими симпатіями этого большинства. Развѣ есть другое такое же широкое русло? Развѣ можно указать другое направленіе, столь же распространенное, столь же правильно вытекающее изъ положенія вещей, столь же неизбѣжно увлекательное?

Нельзя упрекать людей за то, что они не обладаютъ самостоятельностью въ мысляхъ и твердостью въ чувствахъ. По существу дѣла, людямъ всегда нуженъ авторитетъ, нужна опора и руководство. Если нѣтъ вполнѣ достойной того опоры, они хватаются за менѣе достойную, лишь бы она была близка и ясна. Нужно имѣть снисхожденіе къ жаждущимъ авторитета, а плакать развѣ о томъ, что мы не успѣли до сихъ поръ создать для нихъ авторитетъ болѣе высокій и твердый, чѣмъ тотъ, за который они хватаются.

Очень поразительно и характерно для Тургенева, что онъ до конца такъ и не вернулся духовно къ своей родинѣ. Онъ, очевидно, искалъ, но такъ и не нашелъ пути къ этому возвращенію. Внутреннія силы, которыми живетъ Россія, оставались ему чуждыми, и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ хватался за одно лишь понятное ему проявленіе народной души—за нашъ языкъ. Восхищеніе отъ русскаго языка не могло мѣшать никакому западничеству, и Тургеневъ настойчиво предавался этому восхищенію, считая, конечно, и себя самого большимъ мастеромъ языка. Но намъ кажется, есть иныя, болѣе значительныя черты, въ которыхъ сказывалась въ Тургеневѣ родственная любовь къ духовной жизни Россіи. Его симпатіи въ отношеніи къ людямъ были чисто-русскія. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце—вотъ что добрый и мягкій Тургеневъ ставитъ, очевидно, выше всякихъ другихъ достоинствъ, на чемъ любовно останавливается, какіе бы высокоумные герои ни играли главную роль въ разсказѣ. Иностранцы всегда изображаются, если не съ враждебностью, то съ тѣмъ отчужденіемъ, которое такъ трудно побѣдимо въ русскомъ человѣкѣ, которое очень часто составляетъ нашъ недостатокъ, но которое въ чистой формѣ есть черта самаго тонкаго патріотизма. Религіозная жизнь, такъ глубоко проникающая духъ нашего народа, отразилась у Тургенева въ нѣсколькихъ разсказахъ, имѣющихъ и типичность и прелесть, хотя отношеніе автора къ предмету иногда переходитъ въ простое изумленіе.

Вообще, Тургеневъ до конца любовно обращался къ рус-

ской природѣ, къ русскому быту, къ тѣмъ преданіямъ, случаямъ, нравамъ, которыми окружена была его юность. Позволю себѣ сослаться на нѣчто личное: въ разсказахъ Тургенева, особенно въ небольшихъ, безпритязательныхъ, меня часто поражали мелкія частности, живо напоминавшія что-то давно знакомое, слышанное или видѣнное въ дѣтствѣ. Мнѣ трудно было бы точно и прямо указать эти черты, но они вдругъ переносили меня въ среднюю полосу Россіи, въ атмосферу такихъ привычекъ, такого склада жизни, который свойственъ только этой мѣстности. Еще сильнѣе дѣйствовали на меня въ этомъ отношеніи разсказы г-жи Кохановской. Это сохраненіе въ душѣ мѣстной умственной и бытовой, пожалуй, исторической, атмосферы, возможно только у писателей, обладающихъ живою *памятью сердца*, неизмѣнно любящихъ то, что ихъ нѣкогда окружало, чѣмъ питалась ихъ душа.

При всемъ этомъ, Тургенева нельзя назвать писателемъ, выражающимъ духъ своего народа, или нѣкоторыя стороны этого духа. Ренанъ, который все больше и больше впадаетъ въ фразу и теряетъ ту тонкость и отчетливость, которая была въ немъ такъ привлекательна, напрасно приложилъ къ Тургеневу общую характеристику великаго поэта, именно сказалъ, что нашъ писатель есть выразитель безчисленныхъ поколѣній, умѣвшихъ жить и чувствовать, но не умѣвшихъ высказывать свою жизнь и чувства. Тургеневъ есть пѣвецъ только нашего культурнаго слоя, только послѣднихъ формацій этого слоя. Если бы въ «Евгеніи Онѣгинѣ» не было безподобнаго образа Татьяны, не было той черты смиренія, скорби и чистоты, которая составляетъ смыслъ этой поэмы, то приключенія самого Онѣгина едва ли бы имѣли для насъ особенно высокій интересъ. Тургеневъ повторилъ, отчасти, этотъ мотивъ въ своей Лизѣ. въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», повторилъ слабѣе и лишь въ очеркѣ; но «Дворянское Гнѣздо» именно поэтому, по общей широтѣ точки зрѣнія, и остается лучшимъ его произведеніемъ. Но въ другихъ разсказахъ, несмотря на то, что и въ нихъ фигуры дѣвушекъ изображены съ тонкимъ пони-

маніемъ (эти фигуры нужно признать, вѣроятно, лучшею стороною его писаній), интересъ движущихъ мотивовъ, источникъ коллизій и контрастовъ, вообще говоря, не имѣетъ большой глубины и серіозности, или, по крайней мѣрѣ, не захватывается авторомъ во всей глубинѣ. Вѣчные разсказы о томъ, какъ молодой человѣкъ хотѣлъ жениться и почему-то оплошалъ, былъ отвергнутъ или же самъ измѣнилъ невѣстѣ—эти разсказы не возведены на ту высоту, которой можно желать отъ поэтическаго озаренія жизни. Самое лучшее въ нихъ, конечно,—встрѣчающееся иногда яркое изображеніе слѣпой страсти, покоряющей героевъ противъ ихъ воли. Другія пружины состоятъ въ мелкихъ чувствахъ самолюбія, тщеславія, упадка духа, въ слабыхъ зачаткахъ любви и вражды, но не въ развитыхъ до конца чувствахъ. Тургеневъ знаменитъ своими изображеніями *слабыхъ* людей, но едва ли гдѣ достигаетъ вполнѣ яркаго ихъ освѣщенія. Можетъ быть, лучшее въ этомъ отношеніи представляютъ тѣ жалобные стоны, которые онъ влагаетъ инымъ изъ этихъ героевъ, вообще та струна меланхоліи, которая звучитъ у него довольно часто и не даромъ замѣчена иностранцами.

Этотъ полубольной, жидкій и шаткій міръ, эти дѣтища и герои нашего культурнаго слоя невольно сами обличаютъ свою несостоятельность. Они не стоятъ на твердой землѣ, они рѣютъ по воздуху, они похожи на *дымъ,* какъ выразился одинъ изъ нихъ въ минуту тоски.

Брандесъ очень хорошо понялъ этотъ смыслъ Тургеневскихъ писаній и излагаетъ его такъ:

«Тургеневъ глубоко убѣжденъ, что въ Россіи все какъ «то идетъ вкривь и вкось; никакая любовная исторія не «кажется ему чисто-русской, если она не имѣетъ несчаст«наго исхода, благодаря непостоянству мужчины или без«сердечности женщины; никакое стремленіе не кажется ему «чисто-русскимъ, если оно не превышаетъ силъ людей, «или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе. Въ его глазахъ «современная Россія—это страна, гдѣ все не удается, стра«на всеобщихъ крушеній».

«Онъ былъ патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и «сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энту-«зіазма своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соте-«чественниковъ къ русскому народу. Онъ находилъ, что «у него (т. е. у этого народа) нѣтъ великаго прошлаго. «Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на Римскомъ «Форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что тамъ у ка-«ждаго фута земли есть болѣе богатая исторія, чѣмъ у всей «русской имперіи. Хотя и русскій человѣкъ, Тургеневъ «думалъ почти такъ же. Онъ описываетъ гдѣ-то печаль, «охватившую его на всемірной выставкѣ, при видѣ ни-«чтожности вклада Россіи въ общую сумму промышлен-«ныхъ изобрѣтеній человѣчества».

Такіе взгляды и мнѣнія, конечно, очень по душѣ иностранцамъ, и дѣлаютъ изъ Тургенева одного изъ самыхъ ясныхъ представителей западничества. Ослѣпленіе почти невѣроятное, но оно существовало и существуетъ, къ нашему стыду и поученію. Онъ не вѣрилъ во внутреннюю силу Россіи и думалъ, что это страшно-громадное тѣло выросло безъ души, не развивалось, а какъ-то случайно скопилось. Это море народа, этотъ океанъ людей, глубоко и спокойно растущій, будто бы не имѣлъ исторіи, будто бы еще не живетъ могущественною нравственною жизнью, а только еще ищетъ себѣ души, есть только безформенная стихія, которую долженъ современемъ оживить духъ, откуда-то имѣющій явиться.

Есть, однако, иностранцы, которые понимаютъ насъ болѣе правильно: такъ Юліанъ Шмидтъ, какъ нѣмецъ, которому вполнѣ привычны философскіе пріемы, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія.

Указавъ сперва на ужасы нигилизма, онъ затѣмъ обобщаетъ свои разсужденія и, съ тою проницательностью, въ которой, можетъ быть, участвуетъ страхъ и ненависть, пишетъ:

«Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ «отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится «на степень культа,—чего-то вродѣ религіознаго изсту-

«пленія,—то она можетъ сдѣлаться опасною для Европы. «Здѣсь, по моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски-«образованнымъ русскимъ, недостаетъ надлежащаго обще-«нія съ душою народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, «совершенно чуждыя европейской цивилизаціи и непонят-«ныя ей. Тургеневъ въ своихъ разсказахъ неоднократно «описываетъ странные феномены русской религіи: какъ «молодая нѣжная барышня скитается по деревнямъ, при-«служивая юродивому; какъ сынъ попа, человѣкъ неглу-«пый и способный, страдаетъ отъ дьявольскаго наважде-«нія... Писатель повѣствуетъ все это съ чарующимъ реа-«лизмомъ, но замѣтно, что ему самому становится страшно».

Затѣмъ Ю. Шмидтъ старается показать, почему европейцы, будто бы, ближе стоятъ къ религіи и лучше могутъ ее понимать, чѣмъ образованные русскіе.

Причина состоитъ въ самомъ ходѣ нѣмецкой образованности, въ Лейбницѣ, Лессингѣ, Кантѣ, Гардерѣ и т. д., которые не давали произойти полному раздвоенію въ духовной жизни Германіи. У русскихъ не то.

«Русскій идеалистъ», говоритъ критикъ, «ничего не зна-«етъ о религіи народа, потому что она никогда не препо-«давалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, заим-«ствованный имъ изъ-за границы, не вполнѣ усвоивается «имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не самъ вы-«работалъ его».

«Поэтому, образованный русскій, почерпающій свои иде-«алы изъ чужбины, находится въ извѣстной изолирован-«ности».

«Быть можетъ, это смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь «между этой полной отчужденностью отъ всякихъ рели-«гіозныхъ преданій и безнадежной меланхоліей, которая «проявляется у нашего поэта внезапно тамъ, гдѣ ея менѣе «всего ожидаешь; она придаетъ его картинамъ своеобраз-«ную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ могъ такъ «чувствовать писатель, обладавшій такимъ свободнымъ, «такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ пониманіемъ всего «прекраснаго?» («Новое время», 9 сент. 1883 г.).

Для Ю. Шмидта, какъ для протестанта и питомца высокой нѣмецкой культуры, очевидно, наша религія и душа нашего народа суть нѣчто хотя и могущественное, но дикое и темное; тѣмъ не менѣе, главныя черты Тургеневскаго настроенія замѣчены имъ вѣрно и поставлены правильно. Нельзя не чувствовать себя потеряннымъ, оторвавшись отъ родной почвы и не найдя для себя другой твердой опоры. И таковъ былъ Тургеневъ, слишкомъ слабый для того, чтобы выйти изъ того неправильнаго положенія, въ которое ставитъ насъ наше отношеніе къ Европѣ.

Западники должны вполнѣ гордиться Тургеневымъ и съ великимъ почетомъ вписать его имя въ исторію нашей литературы. Изъ всѣхъ значительныхъ писателей онъ одинъ остался почти вовсе чуждъ того, что въ нашемъ обществѣ принято называть элементами «славянофильства». Онъ первый не подходитъ подъ общій законъ, по которому наши писатели сперва подчиняются вліянію Запада, но, по мѣрѣ созрѣванія своихъ силъ, начинаютъ обнаруживать стремленія, вытекающія изъ самобытнаго духовнаго строя ихъ родины. Причины такого исключенія довольно ясны. Вопервыхъ, Тургеневъ *сознательно* держался своихъ мыслей. Въ его время различіе и противоположеніе западничества и славянофильства вполнѣ опредѣлилось и высказалось. Каждый писатель, если имѣлъ желаніе и силу быть послѣдовательнымъ, былъ *обязанъ* стать на ту или на другую сторону, не могъ уйти отъ этой дилеммы. И Тургеневъ даже хвалился тѣмъ, что «не измѣнилъ убѣжденіямъ своей молодости», т. е. западничеству 40-хъ годовъ. Во вторыхъ, Тургеневъ и вообще не имѣлъ столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельнымъ. Аполлонъ Григорьевъ любилъ говорить, что Тургеневъ есть *повтореніе Пушкина*, разумѣется, не полное, а отчасти. И въ самомъ дѣлѣ, и языкъ и всѣ художественные пріемы Тургенева — Пушкинскіе. Эта прелестная форма, отличающаяся простотою и ясностью, трезвостью реализма и одушевленіемъ творчества, эта форма, приводившая въ такое восхищеніе иностранцевъ, которые сами всегда черезчуръ плодовиты и рѣдко

не злоупотребляютъ художествомъ, — она завѣщана намъ Пушкинымъ, она составляетъ привычный и неизмѣнный образецъ для нашихъ художниковъ слова.

Затѣмъ, ни яркаго своеобразія языка и быта, какъ, напримѣръ, у Островскаго, ни постоянно господствующей мысли, какъ, положимъ, у Достоевскаго, — нельзя найти у Тургенева. Можетъ быть, высшее мѣрило жизни для его дѣйствующихъ лицъ есть мечта о какомъ-то счастьи, обыкновенно съ любимымъ существомъ, счастьи иногда, какъ-будто, близко стоящемъ передъ глазами, но большею частью, только мелькающемъ издали, вѣчно манящемъ и вѣчно исчезающемъ, такъ что подъ конецъ у нихъ остается лишь тоска ненаполненной или разбитой жизни и страхъ смерти. Да и этотъ мотивъ, сказывающійся довольно часто, не выступаетъ съ полной силою, не воплощенъ съ художественною яркостью, а звучитъ какъ-то робко и жалобно.

Тургеневъ до конца дней не обладалъ никакимъ авторитетомъ. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое онъ вздумалъ бы вложить въ свое созданіе, были бы приняты публикою съ отверстыми душами. Но ему нечего было сказать; не было въ немъ струны, которая, издавая господствующій звукъ, вносила бы ясность и гармонію во всѣ его звуки. Понятно, что Западъ, передъ которымъ онъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго начала; Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ, заставлявшую вѣчно оглядываться на другихъ и ждать чего-то впереди, но для насъ всего прискорбнѣе должно быть то, что такой добросовѣстный, талантливый и мягкій душою человѣкъ равно не нашелъ себѣ твердыхъ опоръ и среди того хаоса, въ которомъ ему явился нашъ русскій нравственный міръ. Мудрено винить такихъ людей, какъ Тургеневъ; они дѣти своего времени, но, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремленіямъ времени.

Н. Страховъ.

*
* *

*) Русское общество съ сердечною болью почувствовало, когда умеръ Тургеневъ, какую великую утрату понесла наша литература. — Мы всѣ и всегда любили и свѣтлыя созданія великаго поэта и его самого; но въ ту минуту, когда умолкли вдохновенныя уста, мы еще яснѣе сознали, какъ дорогъ намъ почившій геній, — ушелъ отъ насъ въ жизнь безконечную человѣкъ родной душѣ нашей.

Проснувшееся и встревоженное чувство вызвало много толковъ. Много было сказано по поводу смерти Тургенева Его именовали и великимъ поэтомъ, и вождемъ русскаго прогресса, и представителемъ западническаго направленія нашей литературы и образованности... Но глубже вдумываясь въ его творчество, слѣдуетъ признать, что, кромѣ перваго опредѣленія, всѣ остальныя неточны и совершенно ошибочны.—Тургеневъ былъ поэтъ въ высочайшемъ смыслѣ слова; и этого достаточно, и это исключаетъ для него возможность быть представителемъ какой-либо партіи, какого-либо направленія. Поэтъ стоитъ выше односторонности направленій.—Мы забыли многое, чему учила насъ русская критика въ блестящую эпоху ея развитія (разумѣю время съ середины 30-хъ годовъ до 60-хъ); мы забываемъ порою: и что такое поэзія? Многіе считаютъ ее такимъ же спеціальнымъ занятіемъ, какъ, напр., адвокатская дѣятельность, учительство, торговля, занятіе какою-нибудь спеціальной наукой...

Жизнь человѣческая давно раздвоилась, отправленія ея спеціализировались; чѣмъ дольше живетъ міръ, тѣмъ болѣе усиливается раздвоеніе душевныхъ силъ человѣка. Но есть, однако, область жизни, гдѣ это ненормальное для нашей природы явленіе не имѣетъ мѣста, гдѣ сохраняется цѣлость души и гармоническое единство ея способностей; эта область — искусство. И здѣсь причина его царственнаго значенія: всѣ мы, раздѣленные между собою, иногда враждебно, образомъ мыслей, занятіями, образованіемъ, національностью, сходимся братски въ увлеченіи искус-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

ствомъ, одинаково ясно говорящимъ всякой душѣ. Искусство возстановляетъ нарушенную гармонію духа, и изо всѣхъ дѣлъ человѣческихъ всѣхъ ближе подходитъ къ религіи. Во всякой другой дѣятельности мы работаемъ преимущественно одною изъ душевныхъ силъ; въ искусствѣ, а слѣдовательно, и въ поэзіи, какъ одной изъ его отраслей, равномѣрно и въ полномъ согласіи дѣйствуютъ и умъ, и сердце, и фантазія, и воля; и вотъ почему поэзія вліяетъ на насъ неотразимо; она говоритъ полнотѣ души; она доступна и человѣку, искусившемуся во всей мудрости земной, и младенцу: для нея, подобно старшей сестрѣ ея, вѣрѣ — «нѣсть Еллинъ, ни Іудей, обрѣзаніе, необрѣзаніе, варваръ и Скиѳъ, рабъ и свободь: но всяческая и во всѣхъ Христосъ» (Ап. Павла Посл. къ Колоссаямъ, III, 11). Созданіе поэта свободно, въ немъ нѣтъ ничего гнетущаго, удручающаго; оно ясно, оно даетъ миръ душѣ и счастье, ибо ставитъ насъ на самой границѣ вѣчной правды, безусловнаго идеала.—Люди легкомысленные готовы считать поэзію дѣломъ легкимъ, и даже не дѣломъ, а забавою, потому что она легко дается нашему пониманію; но они не видятъ ея неисчерпаемой глубины. Вѣра тоже въ этомъ смыслѣ дѣло легкое, ибо доступна самому темному разуму; Христосъ изъ устъ младенцевъ совершилъ Себѣ хвалу. Но какая же область спеціализированной человѣческой дѣятельности можетъ хотя сколько-нибудь подойти къ глубинѣ религіознаго созерцанія?

«Что такое поэзія?» задавалъ себѣ и читателю вопросъ Бѣлинскій въ одной изъ лучшихъ статей своихъ (о стихотвореніяхъ Лермонтова), и отвѣчалъ на него словами: «Поэзія есть выраженіе жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзіи жизнь болѣе является жизнью, нежели въ самой дѣйствительности». Искусство не выдумываетъ «новой и небывалой дѣйствительности», но извлекаетъ существенное изъ той, которая есть. Дѣйствительность — «золото, но неочищенное, въ кучѣ руды и земли»: «искусство очищаетъ это золото, перетопляетъ его въ изящныя формы». Оттого въ созданіи поэзіи «нѣтъ ничего

случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное». Искусство идетъ дальше: для поэта не существуютъ дробныя явленія, — онъ «заимствуя у дѣйствительности матерьялы, возводитъ ихъ до общаго, родового, типическаго значенія».

«Какая цѣль поэзіи?» ставитъ критикъ другой вопросъ въ той-же статьѣ своей, и отвѣчаетъ на него: поэзія — «выразительница и жрица красоты», «не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ-же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи». «Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ,—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности, это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта».

Прекрасныя слова эти — истина; но что-то не вполнѣ удовлетворяетъ насъ въ нихъ, и это потому, что истина ихъ—неполная. Бѣлинскій не совсѣмъ точно опредѣлялъ— что такое поэтъ. «Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ; словомъ—глубже чувствуетъ», говоритъ онъ про поэта, съ большимъ, конечно, основаніемъ; но дальше у него идутъ уже странныя рѣчи: «по самому устройству своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайность и, возносясь превыше всѣхъ къ небу, можетъ быть, ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни».—Критикъ смѣшалъ здѣсь впечатлительность и чуткость даровитой и живой натуры, какою обыкновенно обладаетъ поэтъ, съ отличительнымъ свойствомъ собственно поэта. Пушкинъ увлекался и вдавался въ крайности, особенно въ годы юнаго кипѣнія силъ; но это не потому, что онъ былъ поэтъ, а потому, что обладалъ пылкою натурой; объ немъ-же, какъ о поэтѣ, свидѣтельствуютъ именно тѣ созданія его твор-

чества, гдѣ онъ владѣетъ собою, гдѣ слышится внутренняя гармонія его душевныхъ силъ.

Эта гармонія духа и есть отличительный признакъ и сущность поэзіи.—Говорятъ, что для каждаго человѣка бываютъ минуты, когда онъ становится поэтомъ, и это совершенно вѣрно; еще вѣрнѣе то, что въ душѣ каждаго изъ насъ, гдѣ-то въ ея сокровенной глубинѣ, таится поэтическое начало, т.-е. начало душевной гармоніи, и оно-то и есть самое драгоцѣнное въ нашей душѣ, оно и роднитъ насъ съ Пушкиными, Шиллерами, Тургеневыми и заставляетъ наше сердце звучать отзывно на художническое одушевленіе, на вдохновенное творчество.

Можно быть поэтомъ въ душѣ, и не писать ни строчки. Но если такой человѣкъ одаренъ отъ Бога талантомъ, онъ становится творцомъ. Тогда онъ возсоздаетъ дѣйствительную жизнь въ своихъ произведеніяхъ, не разсуждая о ней отвлеченно, а переживая ее въ себѣ, переводя ее сквозь свою цѣльную душу, и потому освѣщая ее свѣтомъ своей личности: всѣ шероховатости и односторонности жизни, все ея ложное и злое,—все безобразное обличается передъ внутреннимъ судомъ его душевной гармоніи, его идеала. И въ этомъ судѣ надъ дѣйствительностью и заключенъ весь смыслъ поэзіи. Личность поэта должна быть органически связана съ его созданіями,—тогда эти созданія получаютъ великое значеніе, неотразимую силу дѣйствія на людей.

Это прекрасно понималъ и прекрасно (хотя и очень кратко) разъяснилъ въ своей статьѣ о стихотвореніяхъ Тютчева самъ Тургеневъ. «Поэтическія произведенія, говоритъ онъ, не должны быть «придуманы», они должны вырости сами, какъ плодъ на деревѣ». «Мы возстаемъ (пишетъ Тургеневъ) противъ отдѣленія таланта отъ той почвы, которая одна можетъ дать ему и сокъ и силу — противъ отдѣленія его отъ жизни той личности, которой онъ данъ въ даръ, отъ общей жизни народа, къ которой, какъ частность, принадлежитъ сама та личность». «Произведеніе поэта не должно даваться ему легко, и не долженъ онъ

ускорять его развитіе въ себѣ посторонними средствами. Давно уже и прекрасно сказано, что онъ долженъ выносить его у своего сердца... собственная его кровь должна струиться въ его произведеніи, и этой животворной струи не можетъ замѣнить ничто внесенное извнѣ: ни умныя разсужденія и такъ называемыя задушевныя убѣжденія, ни даже великія мысли, если-бъ таковыя имѣлись въ запасѣ... Человѣкъ, желающій создать что-нибудь цѣлое, долженъ употребить на это цѣлое свое существо».

И вотъ такимъ истиннымъ, полнымъ поэтомъ считалъ Тургеневъ Пушкина; такимъ поэтомъ хотѣлъ онъ быть самъ. Здѣсь и разгадка всѣмъ извѣстной мысли его, что онъ—ученикъ Пушкина. Эта мысль можетъ порождать, собственно говоря, недоумѣнія: Тургеневъ такъ оригиналенъ, такъ самобытенъ, что, повидимому, ничто въ его созданіяхъ не похоже на Пушкинскія созданія (о подражаніи не можетъ быть, разумѣется, и рѣчи). Но онъ видѣлъ въ Пушкинѣ «полную соразмѣрность, соотвѣтственность таланта съ жизнію автора», и этому учился онъ у величайшаго нашего художника.

Въ одномъ частномъ письмѣ, говоря о Пушкинѣ, онъ выразился: «я всегда считалъ себя его ученикомъ—и мое высшее литературное честолюбіе состоитъ въ томъ, чтобы быть современемъ признаннымъ за хорошаго его ученика». Тургеневъ былъ скроменъ въ сужденіяхъ о себѣ, несмотря на свою знаменитость во всемъ мірѣ; но мы можемъ, и не дожидаясь суда исторіи, съ увѣренностью сказать, что онъ достойный ученикъ великаго учителя. Тургеневъ возставалъ противъ отдѣленія таланта отъ личности поэта (т.-е. одной обособленной силы творца отъ цѣльности его души); онъ говорилъ, что «подобное отдѣленіе можетъ имѣть свои выгоды: оно можетъ способствовать къ легчайшей обработкѣ таланта, къ развитію въ немъ виртуозности; но это развитіе всегда совершается насчетъ его жизненности. Изъ отрубленнаго высохшаго куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не выросте на томъ сукѣ свѣжему листу, не раскрыться на немъ пахучему цвѣтку,

какъ ни согрѣвай его весеннее солнце». И вѣрный этой живой своей мысли, онъ не впалъ въ такую ошибку: въ его произведеніяхъ мы видимъ цѣльную его личность, отдѣльныя стихіи духа человѣческаго не обособлпвались въ его творчествѣ. Есть въ нашей литературѣ большіе поэты «виртуозы» (говоря словомъ Тургенева), которые поражаютъ насъ силою своего анализа или чувства, глубиною мысли и простотой, или художественностью изображенія жизни; но при всемъ могуществѣ ихъ дѣйствія на нашу душу, они далеко не совсѣмъ развязываютъ ея крылья. Тургеневъ стоитъ выше: обаяніе его творчества полно, внутренняя гармонія его душевныхъ силъ въ его лучшихъ созданіяхъ близка къ идеальной, — и оттого эти созданія покоряли насъ безусловно и властно уносили въ свое царство. И таково будетъ ихъ дѣйствіе всегда, во всѣхъ будущихъ поколѣніяхъ русскихъ людей. Тургеневъ — поэтъ въ полномъ смыслѣ слова: на немъ лежитъ печать того, что, говоря его словами, «составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій».

Какихъ же размѣровъ кругъ жизни доступенъ былъ изображенію этого «великаго дарованія»? Какое мѣсто принадлежитъ Тургеневу въ средѣ нашихъ крупныхъ писателей-художниковъ?—Бываютъ поэты, «великіе» въ указанномъ Тургеневымъ смыслѣ, кругъ творчества которыхъ очень ограниченъ; таковъ былъ Тютчевъ: въ его поэзіи «нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто-лирическихъ». Тургеневъ, очевидно, не принадлежитъ къ ихъ числу: въ его высокомъ творчествѣ отразилась полно и разносторонне цѣлая эпоха. Въ теченіе цѣлаго литературнаго періода, болѣе 30-ти лѣтъ, Тургеневъ стоялъ впереди русской жизни, чутко улавливая все, что въ ней было истинно живого, движущаго, властнаго, и, воплощая весь смыслъ ея историческаго движенія въ яркихъ образахъ, навсегда сдѣлавшихся намъ родными и дорогими, въ яркихъ картинахъ быта, окруженныхъ русской природою, озаренныхъ русскимъ солнцемъ. Не уголокъ русской дѣйствительности, не одну сторону человѣка своей эпохи изображалъ Тургеневъ, онъ нарисо-

валъ намъ всю русскую жизнь своего времени. И въ этомъ смыслѣ его мѣсто—среди Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя.

Одинъ, не удавшійся правда, но великій по природнымъ силамъ, поэтъ того же порядка, какъ и сейчасъ названные, нарисовавши выразителя думъ и чувствъ своего поколѣнія, далъ ему прозвище «героя времени».—Это удачное слово можетъ быть примѣнено и къ типамъ другихъ нашихъ великихъ художниковъ: «герой времени»—тотъ, кто въ данную минуту становится во главѣ духовной жизни общества, дѣлается хотя бы на короткое время вождемъ, въ положительную или отрицательную сторону — это все равно. «Героями времени» были Грибоѣдовскій Чацкій, Пушкинскіе—Онѣгинъ, Ленскій, Бѣлкинъ, Татьяна; Гоголевскіе отрицательные типы—Чичиковъ, Сквозникъ-Дмухановскій... Подобно своимъ великимъ предшественникамъ, Тургеневъ далъ намъ такіе же крупные типы—Рудина, Лаврецкаго, Лизу, Базарова и другихъ носителей думъ поколѣнія; подобно своимъ великимъ предшественникамъ, Тургеневъ въ лицахъ этихъ своихъ героевъ изобразилъ и судомъ поэтической правды судилъ все существенное содержаніе своей эпохи.

Мы подошли къ страшному слову, къ наименованію Тургенева — геніальнымъ писателемъ. Но, собственно говоря, это слово страшно только для насъ, русскихъ. Въ теченіе цѣлаго мѣсяца послѣ смерти поэта мы читали отзывы о немъ и о его творчествѣ иностранной печати, статьи и рѣчи Юліана Шмидта, Мериме, Ренана, Рольстона, Брандеса и многихъ другихъ,— и много разъ попадались намъ слова «великій» и «геніальный». Такъ выражались знаменитѣйшіе иностранные критики; они находили возможнымъ и совершенно естественнымъ сопоставлять нашего Тургенева съ Диккенсомъ, съ Викторомъ Гюго, съ Шиллеромъ, Гете, съ Сервантесомъ, Дантомъ, Шекспиромъ, отдавая ему даже, какъ это ни изумительно для насъ, предпочтеніе передъ нѣкоторыми изъ этихъ всемірныхъ славъ. Они говорили, что вліяніе Тургенева простиралось на всемірную словесность, что онъ создалъ всемірную литературную школу.

Мы, русскіе,—люди нѣсколько странные: мы не цѣнимъ

достаточно своего. Давно ли мы догадались, что Пушкинъ не подражатель Байрона, а поэтъ гораздо высшаго порядка. Конечно, случалось намъ грѣшить и самонадѣянностью и самохвальствомъ (извѣстна знаменитая фраза—«закидаемъ шапками»),—не даромъ въ числѣ героевъ нашего народнаго эпоса есть хвастливый Алёша Поповичъ. Но гораздо чаще мы грѣшимъ другимъ грѣхомъ—самоуничиженіемъ. Есть въ этомъ дѣлѣ и хорошая сторона—смиреніе (одно изъ тургеневскихъ лицъ говоритъ: «русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ пресквернаго мнѣнія»), но гораздо больше здѣсь другого, того, о чемъ другое тургеневское лицо, Потугинъ, этотъ западникъ и въ то же время вполнѣ русскій человѣкъ, нѣсколько рѣзко и преувеличенно выражается: «намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ, большею частью, живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ называемое направленіе». Къ этому можно бы прибавить, что постояннымъ нашимъ «бариномъ» остается Западная Европа,—мы не просто ее уважаемъ, что, конечно, было бы вполнѣ справедливо, мы зачастую на колѣняхъ стоимъ передъ нею. «Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное»—основательно разсуждаетъ Потугинъ.—Постоянно и всюду намъ приходится слышать отъ русскихъ людей и читать въ русскихъ критическихъ статьяхъ сѣтованія на такъ называемую бѣдность нашей литературы. А что бы сказали критики иностранные, если бы они были настолько же знакомы съ другими нашими писателями, насколько имъ извѣстенъ Тургеневъ? Гдѣ и когда литература представляла такое богатство крупныхъ дарованій, великихъ художественныхъ силъ, какъ наша въ завершающійся теперь періодъ, тотъ періодъ, яркимъ представителемъ котораго былъ такъ уважаемый въ Европѣ Тургеневъ?

Этотъ вопросъ невольно вызываетъ другой: откуда такой роскошный цвѣтъ поэзіи? откуда это неизмѣримое богатство?—Должно быть свѣжо то дерево, которое даетъ такіе цвѣты, должно быть могучи и его корни.—Это де-

рево—русское общество и его историческая жизнь со временъ Петра Великаго; эти корни - великія, наслѣдованныя нами отъ прошлаго, цивилизаціи—древней Руси и Западной Европы.—Много несовершеннаго, темнаго, злого и пустого въ нашей жизни, особенно въ переживаемое нами мрачное время, но въ основѣ этой жизни таятся свѣтъ и правда.—Исторія русскаго общества, созданнаго реформою Петра, есть нѣчто необыкновенное и полное глубокаго интереса; въ этой исторіи совершается великій міровой процессъ слiянія противуположныхъ началъ,—общинныхъ началъ древней Руси и личнаго начала западно-европейской образованности. Въ Пушкинѣ, въ томъ, что назвали въ его поэзіи всечеловѣчностью и всеединствомъ, уже были указаны нѣкоторые плоды этого слиянія; Пушкинъ — свой во всѣхъ сферахъ всемірной дѣйствительности, и ему одинаково дороги и западно-европейскіе идеалы и стихіи простонародной русской жизни. Борьба между западничествомъ и славянофильствомъ, еще не совсѣмъ кончившаяся у насъ въ области отвлеченной мысли, уже закончилась въ мірѣ поэзіи. И западники и славянофилы—одинаково правы; а неправы они только въ томъ, въ чемъ другъ друга отвергаютъ,—противорѣчіе ихъ лишь кажущееся. Раздвоеніе міровой образованности не есть явленіе нормальное,—положенъ роковой предѣлъ развитію обособившихся стихій человѣческаго духа; онѣ должны примириться и слиться,—и тогда только будетъ доступна истина. Современная общественная жизнь Россіи, при всемъ ея злѣ, есть колыбель этого сліянія, и пусть не говорятъ, что отъ Галилеи пророкъ не приходитъ. Въ нашей поэзіи загорается заря будущей всемірной истины, и Тургенева, какъ и нѣкоторыхъ другихъ нашихъ писателей, мы можемъ привѣтствовать тѣми же словами, которыми поэтъ привѣтствовалъ Пушкина,—какъ предтечу

Тѣхъ чудесъ, что, можетъ быть,
Намъ въ расцвѣтѣ нашемъ полномъ
Суждено еще явить.

А, Незеленовъ.

* * *

*) О Тургеневѣ часто говорятъ, что онъ прежде всего художникъ. Но художники, если они живые люди, неразрывно связанные съ родною землею, являются непремѣнно и гражданами. Первый рядъ произведеній Тургенева, сразу обратившихъ на себя общее вниманіе, едва-ли не остается навсегда и лучшимъ въ числѣ его произведеній. Таково, по крайней мѣрѣ, наше мнѣніе. «Записки Охотника» — рядъ очерковъ въ высшей степени художественныхъ и въ самомъ чистомъ, самомъ святомъ смыслѣ слова, гражданственныхъ. И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ тому славному *меньшинству* русскаго дворянства, которое никогда не могло примириться съ крѣпостнымъ правомъ. Это достославное меньшинство (очень немногочисленное) имѣло всегда своихъ представителей и въ нашей литературѣ. Ихъ громкій и честный голосъ раздавался еще въ XVIII столѣтіи. Тургеневъ, вслѣдъ за своими предшественниками, по справедливости можетъ быть названъ однимъ изъ глубоко убѣжденныхъ провозвѣстниковъ великой не только въ нашей, но и въ міровой исторіи, крестьянской реформы. Когда пришло извѣстіе о его смерти, на страницахъ «Русской Старины» появилось его дотолѣ незнакомое обществу не художественное, а публицистическое произведеніе: записка, составленная въ 1858 г. въ Римѣ, послѣ неоднократныхъ бесѣдъ о крестьянскомъ вопросѣ съ кн. В. А. Черкасскимъ, В. П. Боткинымъ и другими соотечественниками.

Не впадая во вредную идеализацію, Иванъ Сергѣевичъ прямо признаетъ здѣсь, что великое дѣло освобожденія крестьянъ будетъ принято съ сочувствіемъ лишь меньшинствомъ дворянства; большинство же будетъ противъ освобожденія: «одно лишь привычное нежеланіе смотрѣть правдѣ въ глаза, говоритъ онъ, можетъ сомнѣваться въ истинѣ этого сопротивленія». Причину его авторъ видитъ въ низкомъ уровнѣ дворянства. «Малая образованность нашего дворянскаго сословія, говоритъ онъ, будетъ едва-ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предпо-

*) О. Миллеръ. „Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ". „Искусство" 1883 г., № 39. Также особое изданіе: „Русскіе писатели послѣ Гоголя". Ч. I.

лагаемыхъ мѣръ». Это заявленіе заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ заявленіе дѣйствительно просвѣщеннаго дворянина о своемъ классѣ. А намъ такъ громко и усиленно твердятъ о великихъ заслугахъ въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ дворянскаго класса, какъ самаго образованнаго и передового, тогда какъ народу такъ бы и не дождаться свободы, если бы верховная воля Государя Александра Николаевича не согласилась съ *меньшинствомъ*.

При всемъ своемъ гражданскомъ духѣ, «Записка» Тургенева стоитъ ниже «Записокъ Охотника». Въ своемъ публицистическомъ произведеніи Тургеневъ сводитъ все къ изданію журнала, гдѣ-бы можно было безпрепятственно печатать заявленія и мнѣнія по крестьянскому вопросу. «Правительство, говоритъ авторъ, не рѣшаетъ этого вопроса указомъ или манифестомъ: оно обращается къ самой землѣ, къ русскому дворянству». Здѣсь не совсѣмъ вѣрная тавтологія: земля и дворянство—не одно и то же. Тургеневъ видимо былъ тутъ озабоченъ именно дворянствомъ. Оно, по его справедливымъ словамъ, «не подготовлено, недоброжелательно, предубѣждено, запугано; оно понесетъ свои предубѣжденія, свой страхъ въ самые комитеты: оно воспользуется всѣми средствами, которыя найдетъ подъ рукою, для того, чтобы затруднить и замедлить дѣло. А между тѣмъ, *не разоренія же дворянства ищетъ правительство, не зла оно ему желаетъ*; напротивъ, — оно желаетъ предотвратить возможность будущихъ бѣдствій, упрочить, увѣковѣчить его благосостояніе: въ то-же время правительство чувствуетъ государственную необходимость, неотлагаемость начатой реформы, слѣдовательно — въ упорствѣ дворянъ есть или недоразумѣніе или незнаніе, непониманіе своего собственнаго положенія. Для устраненія этого недоразумѣнія, для того, чтобы показать дворянамъ, что правительство не равномѣрно подняло вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, существуетъ только одинъ способъ — гласность».

Такимъ образомъ, предполагаемый журналъ долженъ былъ имѣть цѣлью растолкованіе дворянамъ цѣлесообразности и

своевременности предстоящей реформы. Но авторъ забывалъ, что дѣло, вѣдь, не въ одномъ дворянствѣ, что не мѣшало бы обратиться къ землѣ, къ міру—народу. Впрочемъ, Тургеневъ раздѣлялъ здѣсь прадѣдовскую ошибку: со временъ Посошкова не вспоминали у насъ о томъ, что Богъ не обидѣлъ разсудкомъ и простого мужика, что онъ лучше всѣхъ знаетъ свои нужды, а тутъ дѣло именно въ *его* нуждахъ. Но недостатки публицистическаго произведенія съ избыткомъ восполнены въ томъ рядѣ художественныхъ очерковъ, который называется «Записками Охотника». Здѣсь мы становимся лицомъ къ лицу съ самимъ народомъ. Передъ нами проходитъ цѣлый рядъ типовъ, выхваченныхъ изъ крестьянской жизни. Тургеневъ является здѣсь безпощаднымъ прокуроромъ крѣпостного права, вдохновеннымъ адвокатомъ народныхъ нуждъ и — не скажу панегиристомъ, это было бы невѣрно,—а смѣлымъ провозвѣстникомъ народныхъ доблестей. Въ этомъ его незабвенная гражданская заслуга! Онъ представилъ намъ въ лицѣ нашихъ крестьянъ *людей* въ истинномъ смыслѣ слова. Въ каждомъ выведенномъ имъ типѣ — живая человѣческая душа, сознающая, чувствующая, мыслящая. Грязь, накопившаяся на народномъ тѣлѣ отъ крѣпостного права, не скрыта, а выставлена на показъ, но при этомъ такъ и сквозитъ неизглаженная красота народной души! Конечно, Тургеневъ имѣлъ тутъ предшественника въ своемъ учителѣ — Пушкинѣ, но въ этомъ онъ опередилъ учителя.

Между тѣмъ, нѣкоторые поклонники Тургенева, ставшіе съ извѣстныхъ поръ и поклонниками Пушкина, слишкомъ часто еще готовы видѣть въ народѣ то, что называютъ «святою скотиной». Они забываютъ, что совсѣмъ не такъ отнесся къ народу Тургеневъ въ «Запискахъ Охотника». Трудно было пожелать лучшей защитительной рѣчи въ лицахъ. Здѣсь ни къ чему нельзя было придраться. Нельзя было попрекнуть автора въ дѣланности, предвзятости, какъ когда-то упрекали Радищева. Дворяне въ разсказахъ являли изъ себя вовсе не изверговъ или злодѣевъ: Тургеневъ и не думалъ нагромождать только «ужасы» крѣпост-

ной поры,—онъ выставилъ ея ординарную, заурядную сторону, но читателю тѣмъ болѣе лишь приходится удивляться, какъ при *такой заурядности* уцѣлѣла въ народѣ душа, и невольно возникаетъ вопросъ, до какого высокаго подъема она могла-бы достигнуть при иныхъ условіяхъ?

Къ цѣлой серіи разсказовъ изъ крестьянской жизни прибавилось впослѣдствіи еще нѣсколько; одинъ изъ нихъ,—едва ли не самый чудный изъ всѣхъ, способный уже самъ по себѣ обезсмертить имя Тургенева, если бы онъ даже ничего больше не написалъ. Я разумѣю «Живыя Мощи».

Дѣло, какъ извѣстно, тутъ въ томъ, что молодая крестьянка вдругъ слегла и уже всю жизнь не могла подняться съ одра болѣзни. Была она дѣвушкой красивой, веселой, первой затѣйницей на все село‘ а теперь лежитъ себѣ «живыми мощами». «Привыкла, говоритъ она, обтерпѣлась—ничего; инымъ еще хуже бываетъ»... Въ своей простотѣ она, конечно, не можетъ сама объяснить,—*почему* ей лучше. Казалось бы, какъ бѣденъ долженъ быть внутренній міръ этой крестьянки, которая хотя и училась когда-то грамотѣ. но теперь и книгъ-то почти не имѣетъ (развѣ иногда дастъ священникъ). Но оказывается, что ея внутренній міръ широко и глубоко развивался помимо книгъ. Даже то, что вынесено ею изъ молитвъ, крайне скудно. «Да и на что я стану Господу Богу наскучать?» говоритъ она. Послалъ Онъ мнѣ крестъ,—значитъ меня Онъ любитъ». Это смиреніе, это умаленіе себя доведено до того, что, когда передъ смертью ей въ воображеніи чудится звонъ колоколовъ отъ далекой церкви, она говоритъ, что звонъ идетъ не отъ церкви, а «сверху». «Вѣроятно, она не посмѣла сказать—съ неба»—замѣчаетъ Тургеневъ. Она ставитъ себя почти ни во что среди этого безпредѣльнаго міра, который чутко сознаетъ вокругъ себя, сознаетъ въ безчисленномъ множествѣ жизней, ее окружающихъ.

Иногда ее навѣщаютъ: то дѣвушка изъ деревни забѣжитъ провѣдать, что творится у нихъ, то странница забредетъ, разскажетъ про Кіевъ, про Іерусалимъ, про то, что терпятъ Христіане на Востокѣ, про безчисленныя че-

ловѣческія бѣды, разсѣянныя по матери сырой землѣ. Когда охотникъ удивлялся ея терпѣнію, она отвѣчала: «Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое: 30 лѣтъ на столбу простоялъ!.. А вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начетникъ: была нѣкая страна, и ту страну Агаряне завоевали... и что ни дѣлали жители, освободить себя никакъ не могли. И проявилась тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на Агарянъ, и всѣхъ ихъ прогнала за море. И Агаряне взяли ее и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился. Вотъ это подвигъ, — а я что?» Дивится охотникъ, какъ запала въ эту глушь чужеземная повѣсть, но еще дивнѣе, конечно, какъ воспринята она и пересоздана этимъ живымъ мертвецомъ, въ устахъ котораго самая смерть Орлеанской дѣвы обратилась въ излюбленный ею и вѣнчающій ея дѣло подвигъ. Она окончательно умаляетъ себя передъ этой невѣдомой ей по имени дѣвой и, такъ сказать, окончательно заражается отъ нея жаждою подвига.

Но если народъ такъ хорошъ, то отчего бы не жить съ нимъ вѣчно, не любоваться всю жизнь его душевной красотой? Отвѣтъ, конечно, возможный, что народъ-то *вездѣ* хорошъ въ своихъ основныхъ чертахъ, хотя и много на немъ внѣшней грязи, и хорошъ именно потому, что остался чуждъ *привилегіи*, которой глубокій развращающій отпечатокъ не сглаживается никакою цивилизаціею. Говорятъ, что Жоржъ Зандъ восхищалась «Живыми Мощами». Тургеневъ могъ точно также, конечно, восхищаться ея народными типами, могъ и въ натурѣ восхищаться народомъ во Франціи. Но къ чему же было уходить къ народу за море, если онъ такъ хорошъ и у себя дома? Да вѣдь Тургеневъ ушелъ за море не къ народу, а къ интеллигенціи, т. е. къ тому, что именно и отравлено привилегіей, но за то обладаетъ такою богатой культурой. Мы вовсе не собираемся свести все сказанное на попрекъ покойному. Намъ, напротивъ, припоминаются слова Пушкина о другомъ совершенно лицѣ:

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его... тоскующую тѣнь!

Мы позволили себѣ замѣнить словомъ «тоскующая» слово «развѣнчанная». Тѣнь Тургенева *никогда не будетъ развѣнчана*, но я думаю, что она не можетъ *не тосковать*. Не будемъ тенденціозно истолковывать то, что онъ въ 1852 году за статью о Гоголѣ посидѣлъ подъ арестомъ и былъ высланъ въ деревню. Это, конечно, не имѣло вліянія на его удаленіе изъ Россіи. При Государѣ-освободителѣ онъ смѣло могъ жить на родинѣ и писать безпрепятственно. Чисто частныя, сердечныя отношенія, своего рода узелъ такихъ отношеній, распутать который бываетъ иногда не по силамъ и людямъ съ могучей волей, вотъ что увлекало нашего поэта на чужбину. Входить въ объясненія этихъ обстоятельствъ мы пока не имѣемъ права. Конечно, тутъ помогло и отвлеченное тяготѣніе къ «странѣ святыхъ чудесъ» (какъ величается Западъ у самого Хомякова). Но какъ бы то ни было, а сдается, что это внесло разладъ въ душу Тургенева, что съ тѣхъ поръ зазвучала трагическая нота въ его жизни. Это видно даже изъ тѣхъ, такъ сказать, извинительныхъ объясненій, которыя приводилъ онъ по поводу «Записокъ Охотника» (такъ посмотрѣлъ на положеніе Тургенева и иностранецъ—Юліанъ Шмидтъ). «Я не думаю,—говорилъ Тургеневъ,—чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ. «Записки Охотника» были написаны мною за границей; нѣкоторыя изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину или нѣтъ? Мнѣ могутъ возразить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ замѣчается, уцѣлѣла не по милости моихъ западныхъ убѣжденій, но несмотря на эти убѣжденія и помимо моей воли. Трудно спорить о подобномъ предметѣ; знаю только, что я конечно, не написалъ бы «Записокъ Охотника», если бы остался въ Россіи». Авторъ воспоминаній о Тургеневѣ въ

«Daily News» увѣряетъ, будто Тургеневъ ему говорилъ: «вѣроятно, что если бы М. Эджворсъ не написала о бѣдныхъ Ирландцахъ, то я бы не нашелъ образчика литературной формы для своихъ впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ наблюденій аналогическаго быта въ Россіи». Но вѣдь тотъ же Тургеневъ въ тѣхъ же своихъ воспомпнаніяхъ говоритъ: «Все къ лучшему! Пребываніе подъ арестомъ. а потомъ въ деревнѣ, принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія».

И всѣ его послѣдующія произведенія могли явиться только вслѣдствіе непосредственнаго соприкосновенія съ родной землей, которую онъ все-таки же посѣщалъ, за которою внимательно слѣдилъ издали. Чутье художника-гражданина нерѣдко заставляло его воспроизводить то, что въ силу своихъ отвлеченныхъ убѣжденій, онъ долженъ бы былъ отрицать. Возьмемъ ли Рудина,—развѣ это не обличеніе въ лицахъ нашего безпочвеннаго, не органически развившагося образованія? Возьмемъ ли «Дворянское Гнѣздо»,—тутъ въ первыхъ главахъ цѣлая исторія нашего *просвѣтительнаго* вѣка, исторія, какой до сихъ поръ не даютъ намъ историки. Тутъ весь, какъ на ладони, нашъ XVIII вѣкъ, со всею его мишурою, со всею его безплодностью для народнаго блага. Но тутъ же, въ лицѣ Лизы, этой недаромъ, конечно, прославленной Лизы, Тургеневъ указалъ на тлетворность болѣе старой прививки изчужа къ нашей исторической жизни. Лиза—это едва распустившаяся роза, благоуханіе которой пропадаетъ для Божьяго міра, потому что на нее вдругъ пахнуло «мертвымъ духомъ» съ Византійскаго кладбища.

Въ «Наканунѣ», опять-таки помимо своихъ собственныхъ взглядовъ, Тургеневъ какъ бы заранѣе угадалъ—предсказалъ то стремленіе на помощь—къ совсѣмъ его не занимавшему славянскому міру, которое создало у насъ потомъ на самомъ дѣлѣ цѣлое множество *Еленъ,* ушедшихъ къ Болгарамъ уже безъ Инсаровыхъ. А «Отцы и Дѣти!»

По поводу этого романа Тургеневъ намъ пояснялъ: «Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ (на о. Уайтѣ)—дѣло было въ августѣ 1860 г., когда мнѣ пришла въ голову первая мысль «Отцовъ и Дѣтей». Въ основаніе главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача; онъ умеръ не задолго до 1860 г. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось—на мои глаза—то, едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма... Ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду». Дѣло въ томъ, что и на Англійскомъ островѣ онъ жилъ душою въ Россіи—чуткимъ окомъ художника-гражданина слѣдилъ за нею. И сколько бы озлобленные нападки на Базарова ни вызвали у него потомъ пояснительныхъ извиненій на этотъ типъ, онъ несокрушимо изваянъ художникомъ, какъ новый видъ того же, противнаго Базарову *рудинства*—какъ новый видъ той же *безпочвенности*, при которой мужикъ нашъ остается для Базарова «таинственнымъ незнакомцемъ», а самъ Базаровъ остается для народа «чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго».

Въ «Дымѣ, слѣдующемъ крупномъ произведеніи Тургенева, выставлена другая сторона «нигилизма». Эту повѣсть онъ могъ, конечно, написать и не заглядывая въ Россію, а наблюдая въ Баденъ-Баденѣ за тѣми болѣе или менѣе крупными особами, которыя тогда фрондировали изъ-за отмѣны крѣпостного права и которыхъ Ю. Ѳ. Самаринъ считалъ представителями «генеральнаго нигилизма». Наконецъ, въ послѣднемъ художественно-гражданскомъ произведеніи Тургенева—въ «Нови»—ему пришлось имѣть дѣло съ переходнымъ типомъ, типомъ, явившимся на смѣну Базарову, въ видѣ своеобразно возродившагося романтизма съ его самоотверженными, но безплодными порывами. Вѣрно подмѣтилъ Тургеневъ появленіе этого типа, уже не высокомѣрно холоднаго къ мужику, какъ базаровщина, а страстно порывающагося на грудь къ этому самому мужику, съ своей стороны остающемуся недовѣрчивымъ и отталкивающимъ.

Но Тургеневъ не выяснилъ дѣла окончательно, не проникъ въ самую *душу* этого, опять народившагося, молодого поколѣнія. А заключается причина въ томъ, что авторъ былъ уже слишкомъ далекъ отъ родной почвы. «Одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средой, которую берешься воспроизводить», заявилъ самъ Тургеневъ. И онъ же сказалъ: «Литературные ветераны, подобно военнымъ, почти всегда инвалиды, и благо тѣмъ, которые во время умѣютъ сами подать въ отставку» Какъ грустны эти слова, сказанные, конечно, *про себя!* А вѣдь тамъ, на Западѣ, люди не считаютъ себя ветеранами, не подаютъ въ отставку, когда имъ перевалитъ за шестьдесятъ! Они сильны тѣмъ, что постоянно набираются новыхъ силъ отъ родной своей почвы. Если же посмотрѣть въ самомъ дѣлѣ на произведенія, писанныя послѣ «Нови», то невольно увидишь тутъ же перо ветерана. Можетъ быть, это обычное свойство моей природы, что я не могу понять и оцѣнить такія отвлеченно-художественныя вещи, какъ «Пѣснь торжествующей любви», какъ «Клара Миличъ». Но всякій, я думаю, согласится, что эти произведенія все же не то, что прежнія.

Блестящій періодъ заканчивается если еще не «Дымомъ», то «Новью», а тамъ... тамъ слышится утомленіе — слѣдствіе той давящей тоски, которой Тургеневъ не могъ не носить въ себѣ, все болѣе и болѣе удаляясь отъ пониманія своей родины. «Странное дѣло!—говоритъ онъ:—Бѣлинскій изнывалъ за-границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію. Ужъ очень онъ былъ Русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ какъ рыба на воздухѣ!».

И такая участь, я думаю, выпадаетъ на долю многихъ, хотя бы они и не рѣшались громко повторить съ Некрасовымъ:

Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать Русскую печаль!

Всѣ наши дѣятели за предѣлами родной земли, одни

явно, сознательно, другіе затаенно отъ другихъ и даже отъ самихъ себя, тосковали. Далеко не счастлива, думается, была также и жизнь въ «прекрасномъ далекѣ» Ивана Сергѣевича Тургенева. Послѣднее время онъ часто помышлялъ о Россіи, рвался на родину.

«Если бы невозможное совершилось, и я бы выздоровѣлъ, то, конечно, я бы ни одной минуты лишней здѣсь не остался», писалъ онъ д-ру Бертенсону.—«Меня не только *тянетъ*, меня *рветъ* въ Россію,—да ты все-таки сиди»— вырвалось у него въ другомъ письмѣ къ тому-же лицу. Чувствуя близкую кончину, онъ пожелалъ хотя мертвымъ возвратиться къ намъ. И родная земля его приняла съ любовью.

О. Миллеръ.

* * *

*) Дѣятельность Тургенева въ теченіе десятковъ лѣтъ волновала весь культурный міръ, возбуждала разнообразнѣйшія идеи и чувства. Для родины писателя она неизмѣнно исполнена была жгучихъ интересовъ современности, стремилась дать отвѣты на возникающіе вопросы, внести посильный свѣтъ въ смуту переживаемой дѣйствительности. Сколько страстей, сколько личныхъ, себялюбивыхъ партійныхъ стремленій долженъ былъ затронуть такой писатель! Сколько разъ въ глазахъ его ближайшихъ современниковъ должны были меркнуть его истинныя заслуги, являться въ извращенномъ видѣ его истинныя намѣренія, — благодаря мимолетнымъ, частымъ пристрастіямъ, даже настроеніямъ! Сколько разъ и съ какою силой эти *привходящія условія* врывались въ личную жизнь и творчество романиста и налагали свою окраску на цѣлые годы!

Эти вліянія были могущественны при жизни писателя, но они не исчезли и послѣ его смерти и еще долго не исчезнутъ. Здѣсь заключается, можетъ быть, краснорѣчивѣйшее свидѣтельство, насколько дѣло Тургенева отличается высокообщественнымъ, захватывающимъ характеромъ,— но здѣсь

*) Ив. Ивановъ. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“. Спб. 1896 г.

также лежитъ главнѣйшій источникъ всѣхъ затрудненій будущихъ біографовъ писателя и критиковъ его произведеній. Начиная «Литературныя и житейскія воспоминанія», Иванъ Сергѣевичъ писалъ: «правду, безпристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о томъ, что окончательно сошло со сцены». Это справедливо вездѣ и во всѣхъ случаяхъ,—справедливо и о самомъ авторѣ. *Тургеневъ не сошелъ со сцены*, — не въ томъ смыслѣ, что онъ не сталъ библіографической рѣдкостью, предметомъ научно-литературныхъ объясненій. Въ такомъ смыслѣ Тургеневъ никогда не сойдетъ со сцены. Его произведеніямъ суждена вѣчноцвѣтущая молодость и современность. Нѣтъ, Тургеневъ еще лично не сошелъ со сцены. Дыханіе его личности еще носится надъ нами. Онъ еще нашъ современникъ, не только какъ писатель, а какъ человѣкъ съ живыми опредѣленными симпатіями, вкусами, слабостями. Мы еще слишкомъ близко стоимъ къ великой личности, чтобы съ точностью разсмотрѣть и описать ея многочисленныя оригинальныя черты. Времени предстоитъ отодвинуть насъ на извѣстное разстояніе, чтобы весь образъ возсталъ передъ нами съ полной ясностью и отчетливостью.

Ив. Ивановъ.

* * *

*) Художественное творчество, по своему внутреннему «механизму» или характеру, можетъ быть двоякое: *объективное* и *субъективное*. *Объективнымъ* я называю такое творчество, которое, преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противоположныхъ личности художника. Создавая такіе образцы, художникъ отправляется *не отъ себя*. *Субъективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на

*) Д. Н. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева". Харьковъ. 1896 г.

воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д. болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *отъ себя*.

Геніальнымъ представителемъ такого *субъективнаго* творчества служитъ *Левъ Толстой*. Однимъ изъ величайшихъ представителей творчества *объективнаго* является Тургеневъ.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ произведеніяхъ, завѣдомо субъективнаго происхожденія, наконецъ, матеріаломъ, представляемымъ его письмами, мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста. Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему.

Тургеневъ прежде всего былъ человѣкъ *необыкновеннаго ума*—очень широкаго и глубокаго, очень вдумчиваго и созерцательнаго. По складу ума, по типу мышленія, Тургеневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, которые съ серьезностью и глубиною, съ широтою умственнаго захвата соединяютъ необыкновенную тонкость, чуткость и изящество мысли. Это типъ умовъ, къ которому относятся, напр., Ренанъ, Тэнъ, Герценъ. Изучая такихъ писателей, мы сосредоточиваемъ свое заинтересованное вниманіе не столько на положительныхъ результатахъ ихъ мысли, сколько на самомъ ея процессѣ, дѣйствующемъ на насъ обаятельно. Мы можемъ не соглашаться съ ихъ выводами, не раздѣлять тѣхъ или другихъ идей, приводимыхъ ими, но мы невольно подчиняемся обаянію ихъ глубокаго анализа, ихъ тонкой критики, ихъ изящнаго синтеза. Конечно, умы человѣческіе, въ особенности большіе, крайне разнообразны и часто представляютъ самую причудливую смѣсь противоположныхъ качествъ, разнообразныхъ даровъ, сильныхъ и слабыхъ сторонъ, такъ что едва ли возможно подвести ихъ подъ опредѣленныя, строго разграниченныя рубрики. Но все-таки мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ,

что умы, о которыхъ идетъ рѣчь, суть умы по преимуществу созерцательные, съ сильно выраженнымъ даромъ анализа, въ большей или меньшей мѣрѣ скептическіе, не безъ грустной ироніи — и въ общемъ — уравновѣшенные, очень гармоническіе. Въ нихъ также нѣтъ или мало того, что можно назвать «дѣловымъ» направленіемъ мысли. Не думаю, чтобы такой умъ былъ свойственъ, напр., изобрѣтателямъ,—да и въ самой теоретической наукѣ рѣдко дѣятели этого типа совершаютъ крупныя и—если можно такъ выразиться—осязательныя открытія. Было бы крайне затруднительно отвѣтить категорически на въ упоръ поставленный вопросъ: что собственно *открылъ* Ренанъ или Тэнъ? Да и ставить его не слѣдуетъ. И вопросъ и вполнѣ категорическій отвѣтъ на него возможны по отношенію къ умамъ другого рода, для которыхъ не умѣю подобрать лучшаго термина—какъ «дѣловые», съ большимъ или меньшимъ даромъ «геніальной отгадки». Таковы, напр., Ньютонъ, Лейбницъ, Кантъ, Дарвинъ, Гельмгольцъ, Лобачевскій, Боппъ, Потебня и много другихъ, съ именами которыхъ связаны положительныя открытія, формулировка новыхъ законовъ, установленіе новыхъ точекъ зрѣнія, созданіе новыхъ методовъ. Это умы — въ сферѣ научной или философской — прогрессивные, завоевательные, революціонные, смѣлые. Умы перваго типа скорѣе консервативны (въ смыслѣ научномъ и философскомъ). Само собою разумѣется, дары тонкаго анализа, изящества мысли и т. д. могутъ быть не чужды и умамъ «дѣловымъ» и прогрессивнымъ (въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ), но — не въ этомъ пунктѣ сосредоточена ихъ главная сила.

Что Тургеневъ, какъ умъ, принадлежалъ къ первому—«ренановскому» — типу, съ этимъ, полагаю, согласится всякій, кто хорошо знакомъ съ его творчествомъ, кто доступенъ обаянію его генія. Ниже намъ придется не разъ останавливаться на тѣхъ мѣстахъ въ произведеніяхъ Тургенева, которыя характеризуютъ его умъ съ указанной стороны.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ — это извѣстно — отличался

большой добротой сердца, мягкостью души, доброжелательностью къ людямъ. Это былъ очень добрый, очень гуманный, хорошій человѣкъ. Какъ характеръ, это былъ человѣкъ довольно слабый, съ малымъ развитіемъ дѣйствующей воли, лишенный всякихъ качествъ и стремленій авторитарности и инпціативы, неспособный къ дѣятельности, напр., публициста, человѣка партіи, организатора. Это была натура пассивная, недѣятельная.

Отмѣтимъ еще одну очень важную для пониманія Тургенева и его творчества черту, къ которой намъ придется неоднократно возвращаться въ этихъ этюдахъ. Это именно стремленіе и, что особенно важно, *способность* къ *внутренней свободѣ*. Въ чемъ она состоитъ, это не трудно уразумѣть изъ слѣдующаго.

Въ «Литературныхъ Воспоминаніяхъ» Тургеневъ, обращаясь къ молодымъ беллетристамъ, напоминаетъ имъ извѣстные стихи Гете:

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!
Ein jeder lebt's,—nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt—da ist's interessant!

И затѣмъ даетъ такіе совѣты и поясненія: «Силу этого *схватыванія*, этого *уловленія* жизни даетъ только талантъ, а талантъ дать себѣ нельзя;—но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; *нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій* — и, наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе... *Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе,—и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи*... Можетъ ли человѣкъ «схватывать», «уловлять» то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ: не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ онъ сказалъ:

. . . . дорогою *свободной*
Иди, куда влечетъ тебя *свободный* умъ...

«Отсутствіемъ подобной свободы объясняется, между про-

чимъ, и то, почему не одинъ изъ славянофиловъ, несмотря на ихъ несомнѣнныя дарованія, не создалъ никогда ничего живого, ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ снять съ себя — хоть на мгновенье—своихъ окрашенныхъ очковъ... Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ — въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи,—немыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя». (Сочиненія, т. X, изданіе 3, стр. 110—111).

Признаки такой внутренней свободы въ себѣ самомъ Тургеневъ отмѣчаетъ въ письмѣ къ Милютиной (1875 г.): «. . . . скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ, и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской физіономіи; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю; люблю больше всего свободу и, сколько могу судить,—доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство чуждо, такъ же какъ и всякая ортодоксія...» (Письма, стр. 252, № 199).

Чтобы понять Тургенева, какъ поэта-художника, чтобы проникнуть въ психологію его творчества, необходимо постоянно имѣть въ виду только что указанное, основное свойство его натуры. Постараемся прежде всего показать. въ какихъ отношеніяхъ находится эта «внутренняя свобода» къ преобладающему у Тургенева *объективному* направленію творчества.

Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ письма Тургенева къ г. Кигну (1876 г.): «... Если васъ изученіе человѣческой физіономіи, чужой жизни, интересуетъ *больше*, чѣмъ изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей; если. напр., вамъ *пріятнѣе* вѣрно и точно передать наружный видъ не только человѣка, но простой вещи, чѣмъ красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при видѣ этой вещи или этого человѣка, значитъ вы объективный писатель, и можете взяться за повѣсть или романъ...» (Письма, стр. 295, № 234).

Едва ли нужно доказывать, что можно писать превосходныя повѣсти и романы и не будучи писателемъ въ строгомъ смыслѣ объективнымъ. Романъ можетъ быть продуктомъ творчества субъективнаго не меньше любого лирическаго стихотворенія, воспроизводящаго личныя чувства и мысли автора. За вычетомъ этого пункта, мы не находимъ препятствій принять опредѣленіе объективнаго творчества, данное Тургеневымъ въ приведенномъ отрывкѣ. Да, объективно то творчество, при которомъ писатель, насколько возможно, забываетъ себя и прежде всего обращаетъ взоры на вещи, лица, характеры не только посторонніе, внѣшніе, но, что еще важнѣе, въ большей или меньшей степени противорѣчащіе тому, что онъ находитъ въ самомъ себѣ. Объективенъ тотъ, кто способенъ заинтересоваться, понять, оцѣнить, полюбить натуру, совершенно противоположную себѣ самому.

Въ этомъ *объективизмѣ* я усматриваю дѣйствіе особаго психическаго *ритма*.

Присматриваясь къ проявленіямъ—весьма нерѣдкимъ—такой объективности въ самой жизни, въ отношеніяхъ между людьми, нетрудно уловить въ нихъ дѣйствіе той душевной пружины, которую можно назвать стремленіемъ къ *ритму контрастовъ*. Усматривая въ другомъ извѣстныя черты, противоположныя своимъ, человѣкъ невольно тяготѣетъ къ этому другому, ища восполненія того, чего ему самому недостаетъ, но—такого восполненія, которое въ результатѣ давало бы гармоническое цѣлое. Оттуда нерѣдко, напр., тяготѣніе людей съ слабымъ характеромъ къ людямъ съ сильнымъ характеромъ и наоборотъ. Но, развивая эту мысль, слѣдуетъ быть осторожнымъ; было бы рисковано проводить ее такъ далеко, какъ это дѣлалъ Шопенгауэръ, указывавшій, напр., на любовь брюнетовъ къ блондинкамъ и т. д. Тутъ легко дойти до абсурда и утверждать, напр., что дураки должны любить умныхъ, и умные тяготѣть къ дуракамъ. Вся суть дѣла сводится къ стремленію достичь гармоніи, но, вѣдь, далеко не всѣ контрасты ритмуютъ между собою, и умъ не нуждается въ глупости для своего ритмиче-

скаго восполненія. Гармоническій эффектъ осуществляется въ процессѣ общенія умовъ различнаго типа, натуръ съ противоположными темпераментами, храктеровъ съ различно выраженнымъ волевымъ началомъ.

Принимая съ этими оговорками теорію контрастовъ и сводя ее къ стремленію осуществить гармонію духа, я въ этомъ именно явленіи и ищу источника того, что выше я назвалъ *объективизмомъ* въ отношеніяхъ между людьми. Стремясь дополнить себя, человѣкъ пріучается интересоваться другими, сперва тѣми, которые могутъ его дополнить, а потомъ и инымп; онъ съ любопытствомъ всматривается въ чужія лица, и (говоря словами Тургенева) «изученіе человѣческой физіономіи, чужой жизни» привлекаетъ его въ большей степени, чѣмъ «изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей». Это человѣкъ *объективнаго* склада или направленія. Но есть люди иного рода, которые интересуются другими по стольку, по сколько они могутъ изложить передъ послѣдними «свои собственныя чувства и мысли», т. е. обнаружить *свое* душевное содержаніе, и вы, встрѣтя такого человѣка, сейчасъ же замѣчаете, что онъ не ищетъ «дополненія» себѣ, и живъ собственнымъ своимъ нутромъ. Это человѣкъ *субъективнаго* склада или направленія. Различны могутъ быть причины, обусловливающія такой субъективизмъ, но въ числѣ ихъ бросается въ глаза одна: это именно отсутствіе того, что Тургеневъ называетъ «внутреннею свободою». Человѣкъ, находящійся подъ властью какой-нибудь idée fixe, фанатикъ, доктринеръ, сектантъ, утопистъ — всѣ они слишкомъ исключительно заняты своими мыслями, чувствами, стремленіями, слишкомъ переполнены собою, чтобы интересоваться «живою правдою человѣческой физіономіи», и общеніе съ людьми иныхъ мыслей, чувствъ, стремленій производитъ въ ихъ душѣ эффектъ не гармоніи, а диссонанса. Наоборотъ, люди внутренно свободные, не порабощенные излюбленной идеей или мечтою, ищутъ дополненія, рады встрѣтить контрасты, — ихъ душа открыта для объективнаго отношенія къ вещамъ и людямъ.

Таковъ именно и былъ Тургеневъ, какъ въ жизни, такъ и въ творчествѣ.

Художникъ (если онъ въ самомъ дѣлѣ художникъ, а не сочинитель) остается въ сферѣ творчества самимъ собою; творя, онъ продолжаетъ жить, вступаетъ въ такое же живое общеніе съ создаваемыми имъ образами, какое ему свойственно въ отношеніи къ живымъ людямъ. Онъ будетъ объективенъ или субъективенъ въ творчествѣ, смотря по тому и въ той же мѣрѣ, какимъ онъ является въ своей личной жизни.

Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

* * *

*) Корни тургеневскаго вдохновенія находятся въ эпохѣ крѣпостныхъ отношеній. Изъ нея, изъ этой обстановки извлекъ онъ свои мастерскіе художественные образы и руководящія чувства своей жизни. Онъ сталъ западникомъ прежде всего изъ отрицанія крѣпостничества, изъ ненависти къ родному лицемѣрному рабству, а когда онъ творилъ, дореформенная Россія наполняла его воспоминанія, возбуждая то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолію, которую мы всѣ испытываемъ на кладбищѣ или при видѣ покойника. На самомъ дѣлѣ что-то грустное проникаетъ всѣ произведенія Тургенева, какая-то темная тѣнь легла на все. что вышло изъ-подъ его пера. «Дворянское Гнѣздо»—вѣроятно, самая грустная повѣсть новѣйшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолія—результатъ сожалѣнія о томъ, что прошло и прошло невозвратно? Послѣ фактовъ, извѣстныхъ намъ изъ біографіи, на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ, безусловно отрицательный отвѣтъ. Тургеневъ груститъ не какъ гражданинъ, а какъ художникъ: вѣдь въ той обстановкѣ, какова

*) Евг. Соловьевъ (Андреевичъ). „Очерки по исторіи русской литературы XIX вѣка“.

бы она ни была, прошли его дѣтство и юность, вѣдь тамъ осталось много хорошихъ воспоминаній сердца, вѣдь тамъ онъ нашелъ матеріалъ для своихъ чудныхъ женскихъ образовъ—Вѣры («Фаустъ»), Лизы («Дворянское Гнѣздо»), Наташи (Рудинъ), идеалиста Пунина, честнаго и добраго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Фомушки и Фимушки («Новь») и многихъ другихъ имъ подобныхъ, къ которымъ и мы не можемъ не отнестись иначе, какъ съ глубокимъ уваженіемъ и даже любовью... Безобразны были крѣпостныя отношенія, эти писанныя и неписанныя статьи, отдававшія человѣка въ безусловную власть ему подобнаго—но не люди, такіе же какъ и мы, иногда лучшіе, чѣмъ мы. Припомните пушкинскую няню Арину, двороваго изъ Спасскаго, восторгавшагося Херасковымъ, основательнаго, умнаго Хоря, поэта Калиныча, долговязую фигуру суроваго охотника Ермолая, съ его дѣтски-чистымъ, чуткимъ сердцемъ, а главное припомните тургеневскихъ женщинъ и дѣвушекъ, особенно дѣвушекъ, и поэтическая эмоція коснется и васъ. Вы не дадите ей всецѣло овладѣть вами, не станете восторгаться вѣрными холопами и вѣрными рабами,—мрачный образъ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно же возстанетъ передъ вами и отравитъ ваше сердце,—вы поймете, что, какъ ни хороши тѣ исчезнувшіе люди, на каждомъ изъ нихъ крѣпостныя отношенія наложили свою печать, неистребимую и съ нашей точки зрѣнія позорную. Вѣрнымъ холопамъ и рабамъ вы пожелаете больше чувства собственнаго достоинства, другимъ, какъ Лизѣ,—большаго простора для мысли, для правъ своей личности—и все же сердце ваше будетъ задѣто. Тѣмъ сильнѣе такіе типы должны были задѣвать сердце художника. Вызывая ихъ, онъ стоялъ какъ бы на кладбищѣ, подъ холодными плитами котораго похоронено столько жестокаго, безобразнаго, столько добраго, честнаго, высокаго, а вмѣстѣ съ ними — его собственное дѣтство, его собственная юность и ея мечты.

Къ новой, начавшейся послѣ 61-го года, жизни Тургеневъ могъ относиться съ симпатіей, интересомъ, но она

уже не захватывала такъ всецѣло его сердце, какъ дореформенная Русь. Онъ не понималъ многаго и не могъ понять многаго. Его художественное творчество постоянно обращалось туда, къ старымъ дворянскимъ гнѣздамъ, къ аллеямъ густолиственныхъ кленовъ, гдѣ полная красоты и печали стояла «она», вся сотканная изъ лунныхъ лучей, изъ чистыхъ влеченій дѣтскаго искренняго сердца... Лиза или Вѣра. Дѣйствіе большинства его романовъ происходитъ въ эпоху крѣпостного права, къ ней же относятся и лучшіе его разсказы. Вѣрный преданіямъ юности, онъ любитъ прежде всего идеалистовъ сороковыхъ годовъ съ ихъ благородными порывами, ихъ надломленной волей. Только ихъ въ сущности онъ и изображаетъ. Онъ придалъ Базарову рудинскія черты, онъ сдѣлалъ изъ Нежданова лишняго, хотя и благороднаго человѣка.

«Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца»—сказалъ Гейне, и эту фразу Тургеневъ съ полнымъ правомъ могъ примѣнить къ самому себѣ. Мы знаемъ, какія могилы были на кладбищѣ его сердца: тамъ покоились Станкевичъ и Бѣлинскій, покоились старыя дворянскія гнѣзда. Тургеневъ видѣлъ исчезновеніе этихъ гнѣздъ, видѣлъ, какъ вѣковые дубы срубались на дрова, какъ заростали сады и парки всякими плевелами, какъ покрывались плѣсенью стѣны старыхъ домовъ, изъ оконъ которыхъ выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Онъ могъ радоваться, видя, какъ падаютъ и разрушаются стѣны тюремъ, но какая же радость можетъ быть на могилѣ своего честнаго товарища по заключенію... Онъ творилъ, когда гулялъ по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая начавшаяся при немъ жизнь? Онъ былъ связанъ съ нею головой, но не сердцемъ, онъ признавалъ, что она полезна, нужна, хороша—онъ этимъ исполнилъ долгъ гражданина, но герои «Что дѣлать?»—не его герои. Онъ несомнѣнно имѣлъ въ виду идеалистовъ сороковыхъ годовъ, когда пытался создать своего Нежданова или писалъ слѣдующія строки въ одномъ изъ писемъ по поводу 60-хъ годовъ:

«Теперь—говоритъ онъ—не нужно ни особенныхъ талантовъ ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго,—нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы—я беру слово «жизненный»—въ смыслѣ простоты, безпристрастности... Чувство долга, славное чувство патріотизма въ истинномъ смыслѣ этого слова—вотъ все, что нужно... Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей... и это будутъ лучшіе люди. Ихъ, вѣроятно, будетъ много, красивыхъ, плѣнительныхъ—очень мало».

А ему нужны были красивые и плѣнительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшіе красоту, преклонявшіеся передъ искусствомъ. Въ средѣ «только полезныхъ людей» баринъ Тургеневъ чувствовалъ себя не дома.

Это одинъ изъ источниковъ его меланхоліи, другой—наслѣдственность. Онъ былъ баричемъ съ головы до ногъ, баричемъ стараго времени, съ привычками широкой жизни, добродушный, недѣятельный... «У Ивана Сергѣевича,—вспоминаетъ Вогюэ—рука была щедрая и открытая, какъ и сердце его. Онъ безъ разбора жертвовалъ всѣмъ неимущимъ: достаточно было носить имя русскаго, чтобы быть принятымъ въ его домѣ, чтобы найти его кошелекъ открытымъ и услышать изъ его устъ ласковое слово». Въ немъ не было ни мелочной разсчетливости ни мелочной зависти, созданныхъ конкурренціей и слишкомъ обострившимися отношеніями нашихъ дней. Свободно уступалъ онъ первое мѣсто Толстому, свободно признавалъ онъ юные таланты, напримѣръ, Гаршина.

Лучшія черты стараго барства несомнѣнно воплотились въ его скромной, представительной, внушавшей невольное уваженіе фигурѣ.

Ригористомъ и доктринеромъ онъ не былъ и не могъ быть по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ впечатлѣній, по устройству своего ума, склоннаго къ скептицизму, по слабости воли, наконецъ. Однажды онъ такъ формулируетъ свое міросозерцаніе: «Я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской физіономіи,

ко всему сверхъ-естественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство мнѣ чуждо, какъ и всякая ортодоксія. Больше ничего не имѣю доложить вамъ о себѣ»...

Онъ былъ мнителенъ и склоненъ къ меланхоліи. Стоитъ припомнить, какъ по-дѣтски боялся онъ холеры и убѣгалъ за тысячи верстъ при первомъ же слухѣ о ея приближеніи. Онъ самъ признался, чтб мужество—не его добродѣтель. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно жалуется на все — на болѣзни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: «Я человѣкъ конченный». Онъ любилъ славу, горячо дорожилъ ею, но никогда не могъ повѣрить въ нее вполнѣ. Ему постоянно казалось, что публика его не любитъ, молодежь презираетъ, что его повѣсти и разсказы проваливаются съ трескомъ. Сколько разъ сообщаетъ онъ о своемъ непремѣнномъ желаніи бросить литературу «и даже навсегда», хотя самъ, вѣроятно, понималъ, что это для него совершенно невозможно, такъ же органически невозможно какъ не пить и не ѣсть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанію, и несомнѣнно, что онъ не сумѣлъ перенести его, не сумѣлъ встрѣтиться лицомъ къ лицу съ бурей и непогодой. Это было въ 60-е годы, во время литературной исторіи съ «Отцами и Дѣтьми». Тургеневъ обидѣлся, загрустилъ, не писалъ нѣсколько лѣтъ, жаловался на свою судьбу, поторопился подписать себѣ приговоръ, хотя рѣшительно никакой надобности въ этомъ не чувствовалось. Онъ поступилъ какъ избалованный, капризный ребенокъ,—большой ребенокъ, ребенокъ-гигантъ, но все же ребенокъ. Онъ далъ полный просторъ своей меланхоліи, создалъ свое знаменитое «Довольно»—эту лучшую по картинности пѣснь нашей славянской тоски, славянскаго пессимизма. А вѣдь недоразумѣніе должно было разсѣяться рано или поздно. И это чувствовалось уже въ самомъ началѣ. Часть молодежи была на сторонѣ Тургенева. Писаревъ прямо провозгласилъ Базарова героемъ. Но, слѣдуя пріему

всѣхъ слабыхъ людей, нашъ великій писатель, чтобы найти какое-нибудь утѣшеніе, вообразилъ свою неудачу полной и безусловной. Разъ все кончено — и жалѣть больше не о чемъ.

Натура созерцательная по преимуществу, Тургеневъ не былъ ни общественнымъ ни политическимъ дѣятелемъ. Это прежде всего поэтъ, художникъ, мечтатель, котораго неотразимо тянуло къ себѣ творчество. Онъ любилъ писать, любилъ страстно, хотя принимался за работу съ трудомъ и даже отчаяніемъ. Онъ весь вылился въ своемъ языкѣ, своемъ стилѣ, какъ Толстой въ своемъ. Его музыкальныя фразы, граненые періоды, аристократическая сдержанность выраженій, умѣнье вызывать настроеніе по преимуществу меланхолическое однимъ построеніемъ словъ, ихъ созвучіемъ—все это дѣлаетъ изъ него первокласснаго писателя и въ то же время позволяетъ намъ заглянуть въ его душу. Въ каждаго изъ своихъ героевъ онъ вложилъ частицу собственнаго духа, и посмотрите, какіе это люди—мягкіе, нѣжные, красивые, настоящія женщины безъ дерзости духа, безъ гордости, даже безъ жестокости—кромѣ развѣ одного, да и то совершенно неудавшагося Инсарова изъ «Наканунѣ». И самъ Тургеневъ относится къ нимъ съ такимъ же вниманіемъ, такой же предупредительной ласковостью, какъ будто всѣ они безъ исключенія дѣйствительно женщины. Совершенно справедливо назвали его поэтомъ лишнихъ людей, этихъ героевъ слова, этихъ мужчинъ съ красивою женской душой. Одного взгляда на этихъ героевъ достаточно, чтобы сказать, что они не сдѣлаютъ ничего, что ни къ какой упрямой борьбѣ они не способны, что всякое усиліе глубоко претитъ ихъ вялой натурѣ, ихъ выхоленнымъ рукамъ—красоту которыхъ самъ Тургеневъ отмѣчаетъ постоянно—и выхоленнымъ сердцамъ, гдѣ таится все честное, хорошее, благородное, но переливается не въ работу—тѣмъ болѣ въ черную упрямую работу 60-ыхъ годовъ—а въ слезы умиленія, въ восторги слова, въ художественные образы. Они способны лишь на красивые порывы, какъ Рудинъ, умирающій подъ звуки марсельезы, а

больше всего на тихую созерцательную грусть, какъ Лаврецкій, какъ самъ Тургеневъ. Даже про суроваго на видъ Базарова вы, подслушавъ его разговоръ на сѣнѣ съ Аркадіемъ, принуждены будете сказать то же самое. И всѣ они родные братья Тургенева по духу; оттого онъ такъ любитъ ихъ, такъ ласково относится къ нимъ и тратитъ весь свой изумительный художественный талантъ на описаніе тонкихъ изгибовъ ихъ души.

Въ другое время и въ другой обстановкѣ онъ непремѣнно увлекся бы въ сторону отчаянія, быть можетъ, даже мистицизма. Его любимымъ писателемъ былъ Шопенгауеръ, самъ онъ всю жизнь не могъ отдѣлаться отъ тоски и грусти, подъ старость онъ создалъ свои «Стихотворенія въ прозѣ»... Любоовь, красота, искусство—все, чему онъ служилъ, во имя чего жилъ и работалъ,—все это то и дѣло представлялось ему ненужнымъ, пустымъ, тлѣннымъ. Но онъ крѣпко держалъ себя въ рукахъ, и мы знаемъ—почему.

Мнительный и склонный къ меланхоліи по наслѣдству, съ широкими, размашистыми, иногда обломовскими привычками, Тургеневъ однако такъ долго и часто подвергался вліянію европейской дисциплинированной культурной жизни, что выработалъ въ себѣ и стойкость и вѣротерпимость западнаго образованнаго человѣка. Холопская формула «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте», не менѣе холопская привычка падать собственной своей физіономіей въ грязь, для выраженія собственнаго своего восторга—претили ему до тошноты. Чувство собственнаго достоинства и чувство мѣры были для него не пустыми словами и какъ для художника и какъ для человѣка. Въ роли пророка и Мессіи, такъ привлекавшей Гоголя, Достоевскаго, а теперь привлекающей Толстого, онъ не выступалъ никогда, и добродушно подсмѣивался надъ пророками и мессіями. Скептикъ по натурѣ, проникнутый сознаніемъ безконечной сложности человѣческой жизни, онъ не могъ бы никогда сказать, что «я—истина», а все остальное чепуха. Онъ цѣнилъ въ человѣкѣ прежде всего его свободу, его критическія способности, а

не всероссійскую наклонность «итти и бѣжать» куда прикажете—въ исповѣдальню Достоевскаго или въ интеллигентную колонію. Всякая ортодоксія была ненавистна ему, и наклонность къ ортодоксіи онъ порицалъ чаще и рѣзче всего—по-моему, слишкомъ даже рѣзко. Припомните его рѣзкія выходки противъ «идола» Губарева или секты матреновцевъ, т. е. послѣдователей взбалмошной бабы Матрены Савишны («Дымъ»). Справедливо замѣчено, что русскій человѣкъ—сектантъ по преимуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе никакъ невозможно. Противъ этого узкаго сектантскаго духа и направлены всѣ рѣзкія выходки Потугина въ «Дымѣ». «Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ,—говоритъ Потугинъ,—бариномъ этимъ бываетъ большею частію живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ: теперь, напримѣръ, мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу—это дѣло темное, такая ужъ, видно, наша натура. Но главное, чтобы у насъ былъ баринъ. Ну, вотъ онъ и есть у насъ, это значитъ нашъ, а на все остальное—наплевать. Чисто холопы! и гордость холопская, и холопское угожденіе... Новый баринъ народился—стараго долой. То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору... Кто палку взялъ, тотъ и капралъ»...

Что въ этихъ словахъ много вѣрнаго, это несомнѣнно, только не совсѣмъ вѣрно они сказаны. Въ силу какихъ резоновъ записываемся мы въ кабалу—знать можно, и натура наша тутъ не при чемъ. Все же это исканіе, это вѣра какая ни на есть, и куда она выше пустопорожней погони за лишнимъ рублемъ...

Но это между прочимъ. Европейски дисциплинированной натурѣ Тургенева претило наше холопство, какъ претило и наше самодовольство. Онъ слишкомъ ясно видѣлъ и зналъ превосходство европейской культуры надъ нашей, чтобы колебаться въ выборѣ пути, по которому слѣдуетъ итти. Надо перенимать, но какъ? «Кто же васъ,—спрашиваетъ

онъ, заставляетъ перенимать зря? Вѣдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно, стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатовъ,—такъ вы не извольте безпокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ въ силу этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условій... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ переваритъ ее посвоему, и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ свой сокъ... Весь вопросъ въ томъ, крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передѣлкахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы, точно такъ же, какъ восторгаться съ пѣной у рта тому, что мы—русскіе, способны одни вздорные люди».

Въ этомъ пунктѣ не согласиться съ Тургеневымъ, какъ кажется, совершенно невозможно. Наша культура все болѣе сближается съ западно-европейской, сближается не по днямъ, а по часамъ, съ каждымъ новымъ торговымъ трактомъ, каждой новой переведенной статьей, каждой построенной фабрикой. Мы такъ далеко зашли по пути европейскаго просвѣщенія и европейскихъ экономическихъ отношеній, что если бы отъ Вержболова до Границы, а отъ Границы вдоль Карпатъ до устья Дуная воздвигнуть Гималайскій хребетъ, намъ все же бы пришлось итти тою же дорогой, какъ европейцы. Перенимать—выгоднѣе, экономнѣе, благоразумнѣе, да и безопаснѣе... особенно когда «перенимается», хотимъ ли мы того или не хотимъ.

Но спѣшу оговориться, западническія убѣжденія нисколько не мѣшали Тургеневу любить Россію. Вмѣстѣ съ Потугинымъ онъ могъ бы сказать: я люблю и ненавижу Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину.

Если бы теперь мнѣ предложили возможно короче опредѣлить міросозерцаніе Тургенева—я бы не употребилъ ни пошлаго слова «либералъ», ни неопредѣленнаго «западникъ», а сказалъ бы, что нашъ великій писатель былъ гуманистомъ. Человѣчность—вотъ что одухотворяетъ его произведенія, вотъ что составляетъ ихъ красоту.

Какъ умъ европейски дисциплинированный, Тургеневъ не могъ, разумѣется, имѣть никакого пункта соприкасательства съ нашими доморощенными консерваторами или, какъ ихъ лучше звать, «охранителями». Нашъ консерватизмъ, на самомъ дѣлѣ, вещь странная, въ XIX-омъ вѣкѣ почти невѣроятная. Такъ или иначе, въ той или другой формѣ, онъ—мракобѣсіе. Это совсѣмъ не то, что представляетъ изъ себя, напр., англійскій консерватизмъ. Послѣдній эгоистиченъ, остороженъ, но онъ никогда не ломится въ открытую дверь и никогда не стучитъ лбомъ въ стѣну. Англійскіе консерваторы, исторически дисциплинированные, проводятъ въ жизнь смѣлыя демократизирующія общество реформы, какъ Дизраэли въ 66 г., какъ Салисбери въ 84 г. Они понижаютъ цензъ, увеличиваютъ число голосовщиковъ на парламентскихъ и муниципальныхъ выборахъ. Они понимаютъ, что задерживать исторію можно, но становиться ей поперекъ дороги—опасно и не къ чему. Русскій консерваторъ—это прежде всего добровольный соглядатай—въ худшемъ случаѣ, мистикъ—въ лучшемъ. Онъ знаетъ только одно, что надо поворачивать назадъ. Онъ стоитъ за розги въ школѣ, кнутъ—въ судѣ, крѣпостничество—въ деревнѣ. Его благополучную голову не смущаетъ даже мысль о томъ, что поворачивать назадъ не только глупо, но и невозможно. Русскій консерваторъ убѣжденъ, что нѣтъ ничего на свѣтѣ сильнѣе розги или офиціальной бумажки.

Тургеневъ не былъ и либераломъ въ европейскомъ смыслѣ слова. Западный либерализмъ живетъ формулой: «права, свобода, счастье для собственника». Тургеневъ просто любилъ права, свободу, счастье, но не дѣлилъ человѣчество на чистыхъ и нечистыхъ. Онъ былъ гуманистомъ въ широкомъ смыслѣ слова.

Любилъ ли онъ мужика, народъ? Не только любилъ, пожалуй, сколько видѣлъ въ мужикѣ человѣка, признавалъ въ немъ живую человѣческую душу, и цѣнилъ ее. Онъ не народникъ, онъ не говоритъ, что надо учиться у мужика, что надо дѣлать такъ, какъ мужикъ хочетъ, онъ видитъ,

что мужикъ грязенъ, невѣжественъ, голоденъ, что звѣрь еще сидитъ въ немъ, и желаетъ для него счастья, не особеннаго какого-нибудь, въ родѣ того, которое мерещилось прежде Достоевскому, а теперь мерещится Толстому, — а единственно возможнаго: основаннаго на знаніи, достаткѣ, правахъ.

Какъ гуманистъ, Тургеневъ безусловно искрененъ. Онъ гуманистъ не только по убѣжденіямъ, но и по природѣ. Онъ прежде всего добръ, какъ человѣкъ, какъ художникъ. Не трудно замѣтить, что отрицательные типы не давались ему.

Два-три урода выведены имъ въ «Запискахъ Охотника», къ нимъ онъ относится съ негодованіемъ, но что значатъ эти два-три типа въ громадной галлереѣ образовъ, созданныхъ имъ? Въ этомъ смыслѣ Ренанъ правъ, говоря:

«Его миссія была вполнѣ умиротворяющей. Онъ былъ, какъ Богъ въ книгѣ Іова, творящій на высяхъ. То, что у другихъ производило разладъ, у него становилось основой гармоніи. Въ его широкой груди примирялись противорѣчія, проклятія и ненависть, обезоруживались волшебнымъ обаяніемъ его искусства»...

Въ этомъ гуманизмѣ - близость Тургенева съ народной душой, съ народной совѣстью. Заклейменный каторжникъ, убійца, жестокій истязатель для него прежде всего несчастный, которому слѣдуетъ сострадать. И Тургеневъ сострадалъ всѣмъ всю жизнь.

«Любовь,—писалъ онъ,—сильнѣе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь»...

Изъ всемірно-литературныхъ типовъ Тургеневъ выше всего цѣнилъ Донъ-Кихота. Почему?

«Жить для себя, заботиться о себѣ,—говоритъ онъ,— Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ, если можно такъ выразиться, внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодѣйствія враждебнымъ человѣчеству силамъ—волшебникамъ-великанамъ, т.-е. притѣснителямъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь—самопожертво-

ваніе, оцѣните это слово, онъ вѣритъ крѣпко и безъ огляд-ки... Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ»...

Тургеневъ и самъ хотѣлъ порою, чтобы и его захватилъ и «закрутилъ порывъ вѣры, любви, самопожертвованія, и не въ творчествѣ лишь, а въ жизни», — но «каждому свое». Въ Тургеневѣ не было злобы. Онъ оставался добрымъ, добродушнымъ, даже когда сердился. Иногда на словахъ онъ давалъ увлечь себя личному раздраженію, но это было лишь минутнымъ настроеніемъ. Великія слова: «миръ между людьми» и всепрощеніе были написаны на его знамени, какъ человѣка, мыслителя и художника.

Еще нѣсколько словъ объ этомъ большомъ и славномъ русскомъ человѣкѣ. Какъ сталъ онъ писателемъ?

Почти въ одно время съ «Антономъ Горемыкой» появились и первые очерки «Записокъ Охотника». Странно что они не понравились Бѣлинскому, — просто, вѣроятно, потому, что онъ видѣлъ въ нихъ слишкомъ много «щегольства», отъ обаянія котораго, въ то время по крайней мѣрѣ, онъ совершенно старался освободиться. Однако тутъ было и дѣло—притомъ очень серьезное дѣло: «Записками Охотника» Тургеневъ исполнялъ свою «ганнибаловскую клятву»— бороться «до послѣдняго издыханія» съ страшнымъ врагомъ— крѣпостнымъ правомъ.

Позволю себѣ здѣсь маленькую оговорку. Преклоняясь передъ огромнымъ художественнымъ дарованіемъ Тургенева, мы, кажется, не совсѣмъ справедливо относимся къ нему, какъ къ человѣку. Мы все еще не можемъ отрѣшиться отъ взгляда на него, какъ на геніальнаго петиметра, и далеко не всегда довѣряемъ искренности его либерализма, подозрѣвая, что за нимъ скрывается огромная доля обломовщины. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ было прямо въ модѣ упрекать Тургенева въ заигрываніи передъ современностью и дѣлать косвенные намеки, что онъ, какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей стараго барства, ничему народному демократическому сочувствовать не можетъ. Скажу прямѣе, что, если въ этихъ упрекахъ и намекахъ и скрывается истина, то лишь въ дозѣ самой не-

значительной. Мы всегда забываемъ, что Тургеневъ былъ и по образованію, и по впечатлѣніямъ молодости, и по самому складу своего свѣтлаго аналитическаго ума — настоящимъ европейцемъ. Допустимъ даже, что онъ преувеличиваетъ ужасъ своихъ дѣтскихъ крѣпостныхъ впечатлѣній, допустимъ, что крѣпостное право мало сравнительно задѣвало моральную сторону его натуры, что онъ не чувствовалъ за собою «грѣха», видя народъ невѣжественнымъ и закабаленнымъ,—но спросите себя, какъ долженъ былъ онъ, европейски образованный человѣкъ, относиться къ сценамъ на конюшнѣ или административнымъ мѣропріятіямъ своей матери? Тутъ можно даже оставить въ сторонѣ вопросъ о «совѣсти» и моральномъ воздѣйствіи, тутъ надо помнить лишь, что для человѣка другой, *высшей* культуры, факты *низшей* кажутся прямо невозможными, противоестественными и отвратительными. Такъ, между прочимъ, и смотрѣлъ на дѣло Тургеневъ, и ужъ въ этомъ случаѣ никакія подозрѣнія невозможны. Но думается, что они невозможны и ни въ какомъ другомъ: мы уже слишкомъ утвердились въ признаніи своей обломовщины—гражданской и общественной, и на всякое отклоненіе отъ нея смотримъ недовѣрчиво.

Искренняя ненависть Тургенева къ крѣпостному праву для меня несомнѣнна; сомнительно его народолюбіе, но вѣдь имъ онъ никогда не красовался, никогда даже не говорилъ о немъ. Высшая культура просто тѣмъ фактомъ, что она жила въ немъ, предъявляла свои требованія, и всѣ эти требованія шли противъ крѣпостничества. Эта высшая культура во всякомъ случаѣ не могла не научить уваженію къ личности, и имъ былъ полонъ Тургеневъ.

Какъ бы то ни было, первые очерки «Записокъ Охотника» появились въ «Современникѣ» 1847 года. Тутъ цѣлый рядъ портретовъ нашихъ крѣпостныхъ людей, красивая исторія того, какъ приспособлялась душа человѣческая къ своему невыносимому положенію, и неопредѣленно высказанный протестъ Тургенева противъ этихъ ужасовъ. Именно неопредѣленно, потому что стоитъ намъ сравнить любой изъ очерковъ «Записокъ» съ появившейся въ тѣ

же дни «Сорокой-Воровкой» Герцена, вы сразу замѣтите огромную разницу. Тамъ, гдѣ Герценъ волнуется и негодуетъ, — Тургеневъ только задумывается, а иногда весь уходитъ въ свое меланхолическое настроеніе, самое для него родное и близкое. Такимъ Тургеневъ оставался на всю жизнь, какъ-будто образъ смерти ни на минуту не оставлялъ его, образъ не столько даже страшный и ужасающій, сколько тѣснящій сердце, навѣвая на него тоску, говоря о безсмысленности и кратковременности его существованія. Но все же какая огромная разница между «Записками Охотника», въ которыхъ Тургеневъ, какъ могъ, исполнялъ свою ганнибаловскую клятву и исполнялъ общественное дѣло,—и «Стихотвореніями въ прозѣ». Этими стихотвореніями Тургеневъ прощался не съ читателями, не съ Россіей, не съ своей собственной жизнью даже, а съ жизнью вообще, жизнью всего живого, что когда-либо страдало и радовалось на землѣ. Въ лучшемъ изъ этихъ стихотвореній земля представляется ему уже мертвой, замерзшей глыбой льда, безумно и безцѣльно несущейся въ безконечномъ пространствѣ. Все молчитъ; ни звука надъ этой могилой человѣчества, и какимъ-то грознымъ шепотомъ разговариваютъ между собою однѣ горы. И эти горы торжествуютъ свою побѣду. Теперь онѣ спокойны. Люди надоѣдали имъ, надоѣдали своими криками, плачемъ, смѣхомъ, своей неугомонною дѣятельностью. Такія маленькія и въ то же время исполненныя такого самомнѣнія существа! Вообразили себѣ, что земля создана для нихъ, и распоряжались на ней, какъ господа, какъ цари! Но—теперь хорошо. Вѣчное молчаніе могилы, вѣчное сіяніе льда, вѣчный холодъ... И съ такой философіей и вмѣстѣ съ какимъ-то робкимъ полупризнаніемъ чего-то таинственнаго, мистическаго въ жизни, что онъ выразилъ въ своихъ предсмертныхъ разсказахъ «Пѣснь торжествующей любви» и «Клара Миличъ»—Тургеневъ ушелъ въ могилу. Философія отчаянія, конечно, и отчаянія не протестующаго даже, а какъ бы примиряющагося съ тѣмъ, что выхода — нѣтъ! Какое-то предсмертное равнодушіе—но, повторяю, эта фи-

лософія всегда, даже въ годы юности была у Тургенева, какъ была она у всѣхъ художественныхъ натуръ сороковыхъ годовъ... И не казались ли имъ нѣсколько смѣшными угловатые и взвинченные гражданскіе мотивы слѣдующаго поколѣнія, а если не самые мотивы, то, по крайней мѣрѣ, тотъ фанатизмъ, та любовь и ненависть, та непримиримость, которая влагалась въ нихъ?.. Этого, какъ все испытавшіе и пресыщенные баре, они не понимали...

Евг. Соловьевъ (Андреевичъ).

* * *

*) Кто изъ русскихъ читателей не соединяетъ съ именемъ Ивана Сергѣевича Тургенева представленіе о лучшихъ дняхъ своей духовной жизни, о лучшихъ чувствахъ и благородныхъ порывахъ, волновавшихъ его! Въ русской литературѣ, богатой великими дарованіями, были поэты, которымъ исторія отведетъ болѣе видное мѣсто, но едва ли кто изъ нихъ съ такою безконечною нѣжностью касался душевныхъ струнъ читателя, вызывалъ такія симпатичныя душевныя движенія. Среди того поколѣнія, которому Тургеневъ былъ сверстникомъ, онъ былъ истиннымъ «властителемъ думъ», съ благородною твердостью и безъ лицепріятія отвѣчавшимъ на воспросы, выраставшіе тогда, и этимъ нелицепріятіемъ, въ концѣ концовъ, даже возстановившимъ противъ себя теоретиковъ и доктринеровъ. Примѣръ—«Отцы и Дѣти», и судьба этого прекраснаго произведенія русской литературы. Какъ всякій человѣкъ и всякій поэтъ, онъ, конечно, не могъ избѣжать увлеченій, наприм., въ «Наканунѣ», гдѣ идеализированы лица, быть можетъ, не совсѣмъ заслуживающія идеализаціи. Но и эти увлеченія его носятъ печать такой благородной правдивости и непреклоннаго служенія истинѣ, что изображенія дѣйствительности остаются вполнѣ вѣрными, и увлеченія автора

*) Арс. И. Введенскій. „Общественное самосознаніе въ русской литературѣ“. Спб. 1900 г. Статья „И. С. Тургеневъ“.

не мѣшаютъ вамъ разглядѣть ихъ настоящій характеръ и историческое значеніе.

Тургеневъ вышелъ на литературное поприще, или, вѣрнѣе, нашелъ въ немъ свою дорогу въ такую эпоху, которая не допускала уже служенія только красотѣ, эстетическимъ побужденіямъ. То непосредственное отношеніе къ жизни, которое въ той же мѣрѣ свойственно литературѣ каждой страны, каждаго народа, какъ и отдѣльному человѣку въ послѣдовательномъ развитіи его поэтической мысли,—та эпоха, когда для литературы еще «новы всѣ впечатлѣнья бытія», говоря словами величайшаго ея представителя, Пушкина, отошла уже въ историческое прошлое. И Тургеневъ, отдавъ дань отживавшему романтизму въ своихъ стихотвореніяхъ, пошелъ по пути, какой указывало ему время. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не отказался ни отъ чего и все принесъ съ собою въ литературу, что̀ было прекраснаго и благороднаго въ литературной, поэтической непосредственности предшествовавшаго цвѣтущаго періода. Не даромъ онъ считалъ себя «ученикомъ Пушкина», а не Гоголя и не Лермонтова. Пушкинъ, этотъ величавый геній русской литературы, «на все отозвался сердцемъ своимъ, что̀ проситъ у сердца отвѣта», что̀ вѣчно тревожитъ умъ и чувство человѣка, нисколько не заботясь о томъ, входитъ ли предметъ его вдохновенія въ число временныхъ задачъ и вопросовъ, которыми увлекалась общественная мысль; точно такъ же и Тургеневъ, своею чуткою натурою угадывая общественное настроеніе, большею частью относился къ нему свободно, постоянно отзываясь на тѣ вѣчныя движенія человѣческой души, которыя, какъ поэтъ, онъ носилъ въ самомъ себѣ. И этимъ именно, а не отвѣтами только на вѣянія времени, онъ былъ дорогъ огромному большинству читателей. Тургеневъ былъ прежде всего поэтъ, въ самомъ истинномъ значеніи этого слова, а не пропагандистъ какихъ-либо общественныхъ идей и убѣжденій своего времени.

Это настроеніе и направленіе поэтическаго таланта Тургенева доказывается почти единственною въ своемъ родѣ

его любовью къ природѣ, необыкновенно чуткимъ пониманіемъ эстетическихъ вліяній, которыя она обнаруживаетъ на душу человѣка. Помните ли восхитительныя, полныя жизни описанія Тургеневымъ природы Полѣсья? Помните ли чудную картину солнечнаго заката въ «Лишнемъ Человѣкѣ», когда его созерцаютъ только что расцвѣтающая женская душа и наивный человѣкъ, самъ безконечно влюбленный, въ эту дѣвушку и думавшій въ порывѣ чувствъ ея найти отвѣтъ на свои собственныя чувства? Природа дышала для Тургенева почти живыми чувствами, и когда онъ хотѣлъ изобразить обаяніе страстнаго пѣнія въ «Пѣвцахъ», онъ не нашелъ ничего лучшаго, какъ сравнить его съ впечатлѣніемъ глубоко-поэтической картины, въ которой бѣлая чайка, сидящая на берегу морскомъ, распростираетъ свои крылья навстрѣчу восходящему солнцу. Это сравненіе высказано Тургеневымъ такими мощными, полными поэтической правды, словами, что читатель отдается ему во власть и какъ бы дѣйствительно слышитъ чудные звуки родной пѣсни.

Совершенно то же самое въ сферѣ вообще всѣхъ человѣческихъ чувствъ. Тургеневъ не пренебрегаетъ самыми простыми, ничего въ себѣ не заключающими величаваго или исключительнаго, душевными движеніями. И какими простыми, немногими и въ то же время многозначительными словами умѣлъ онъ выразить сложное чувство, глубоко трогающее читателя, вызывающее на глаза невольныя слезы. Въ томъ же «Лишнемъ Человѣкѣ» есть всего только три строчки, въ которыхъ отражается, однако, цѣлая огромная драма. Мы говоримъ о томъ мѣстѣ, гдѣ Тургеневъ описываетъ ласки «порочнаго» отца, однако же неизмѣримо больше любимаго сыномъ, чѣмъ «высокодобродѣтельная мать», отъ «добродѣтели» которой никому не живется легче. Помните ли, какъ этотъ «порочный» отецъ ласкаетъ и цѣлуетъ тайкомъ сына своими «дрожащими губами», и какъ. въ теченіе всей своей жизни. сынъ не можетъ вспомнить этихъ сценъ своего дѣтства безъ того, чтобы рыданія не рвались изъ груди его. Такихъ картинъ, пол-

ныхъ жизни, самой простой и обыкновенной, но многозначительной, разсѣяно множество повсюду въ Тургеневскихъ произведеніяхъ, представляющихъ именно поэтому неизсякаемый источникъ благороднѣйшихъ впечатлѣній для читателя. И если бы въ произведеніяхъ Тургенева ничего другого не было,—этого одного было бы достаточно, чтобы упрочить за нимъ одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ во всей русской—и въ міровой литературѣ.

Въ Тургеневѣ современники его искали и находили и цѣнили въ то же время и нѣчто иное. Онъ жилъ и дѣйствовалъ въ эпоху, когда, какъ мы сказали, простое, непосредственное отношеніе къ природѣ и жизни было уже поколеблено. Въ обществѣ русскомъ, въ глубинахъ его духовной жизни совершались перевороты, возникали новыя направленія мысли, нарождались и формировались новые типы людей, подъ вліяніемъ развивавшагося въ разнообразныхъ русскихъ слояхъ европейскаго просвѣщенія. Тургеневъ былъ чуткимъ инструментомъ, тотчасъ же звучно отзывавшимся на всѣ подобныя явленія русской духовной жизни. Направленіе умовъ еще только обозначалось, а онъ уже въ яркой картинѣ представлялъ его читателямъ со всѣми его характерными особенностями. Еще нарождался только новый типъ русскаго человѣка, а Тургеневъ уже знакомилъ съ нимъ общество, представлялъ его въ самыхъ характерныхъ чертахъ. Каждый его романъ, каждая повѣсть была для читателей какъ бы откровеніемъ: то, что̂ каждому изъ нихъ случалось встрѣчать и видѣть по частямъ, безъ сознанія его соотношенія къ общей умственной жизни русской, вдругъ выростало передъ его глазами въ сложномъ и прекрасномъ образѣ, который самъ говорилъ о своемъ значеніи въ жизни.

Какое поразительное впечатлѣніе производили на читателя такіе образы, какъ Рудинъ, Базаровъ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, Лишній Человѣкъ и проч., и проч.! Мы, для которыхъ то время стало прошлымъ, уже не можемъ съ полною силою представить себѣ все необыкновенное вліяніе, которое производили на русское общество создан-

ныя Тургеневымъ картины еще скрытаго для обыкновенныхъ глазъ умственнаго движенія въ тогдашней Россіи. Но и для насъ поразительна эта необыкновенная чуткость художника, его поэтическая прозорливость. Если художникъ умѣлъ съ такой силой улавливать еще только нарождавшіяся и крѣпнувшія явленія, то, само собой разумѣется, ему легче было изображать людей обыкновенныхъ русскихъ, съ типическими особенностями въ нихъ русской натуры. И въ произведеніяхъ Тургенева передъ нами русская натура развертывается въ яркихъ образахъ, въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ, съ своими достоинствами и недостатками. Нужно ли перечислять произведенія нашего художника, въ которыхъ эта черта его таланта проявилась со всею своею силой? Достаточно назвать «Живыя Мощи», «Смерть», «Вешнія Воды», чтобы дать о ней совершеннно ясное представленіе.

Нерѣдко приходится слышать, что Тургеневъ въ силѣ психологическаго анализа и изображенія уступаетъ другимъ нашимъ писателямъ,—напр., Достоевскому. Это мнѣніе не лишено основаній, но его нельзя преувеличивать. Тургеневъ отличается отъ Достоевскаго, если говорить ужъ объ этомъ колоссѣ художественной психологіи, главнымъ образомъ своимъ методомъ скорѣе, чѣмъ сущностью. Достоевскій знакомитъ васъ съ психологіей человѣческой русской души совершенно иначе, чѣмъ Тургеневъ: онъ, такъ сказать, погружаетъ васъ самихъ на дно «моря страстей», передъ вами непосредственно выростаютъ чудища этого моря, грозящія вамъ смертельными объятіями; вы съ ужасомъ смотрите на нихъ, трепещете при ихъ приближеніи, вы сами дышите ихъ атмосферой, задыхаетесь—и нерѣдко не въ состояніи наблюдать и разобраться въ законахъ, движущихъ этою жизнью. Тургеневъ же, если продолжать сравненіе, ставитъ васъ въ безопасное мѣсто, на палубу крѣпкаго корабля, и освѣщаетъ то же самое дно морское яркимъ электрическимъ сіяніемъ; вы видите то же, но только безъ ощущенія близости страшныхъ чудовищъ—и спокойно созерцаете, что̀ конечно, не мѣшаетъ вамъ по-

стигать характеръ той жизни на ея глубинѣ. Но для читателя очаровательно то, что Тургеневъ прекрасно зналъ истинную силу своего таланта и умѣлъ выходить изъ представлявшихся затрудненій. Такъ, когда онъ заставляетъ Рудина краснорѣчиво говорить о своей заграничной жизни въ домѣ Ласунской, онъ не влагаетъ самой этой рѣчи въ уста героя, обходитъ ее, чего не сдѣлали бы Л. Толстой и Достоевскій; но онъ умѣетъ схватить и обрисовать общее впечатлѣніе отъ нея — и читатель остается удовлетвореннымъ.

Величавому таланту такой силы, какою владѣлъ Тургеневъ (художникъ притомъ вдумчивый и проницательный)—такому таланту было бы несвойственно отсутствіе художественнаго такта и художественной мѣры. И его произведенія, дѣйствительно, совершенны въ смыслѣ цѣлостности и законченности: въ нихъ никогда нѣтъ ничего лишняго и недоговореннаго. Притомъ онъ отличается чарующею красотою, силой и образностью языка. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ онъ представляетъ, послѣ Пушкина, почти исключительное явленіе среди великихъ русскихъ художниковъ слова. Онъ зналъ, какъ много значитъ языкъ въ художественномъ произведеніи, и тщательно отдѣлывалъ его, какъ скульпторъ отдѣлываетъ каждую малѣйшую часть своей статуи. Недаромъ Тургеневъ завѣщалъ въ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ» — беречь русскій языкъ, какъ великое достояніе русскаго народа. За то, если въ произведеніи Тургенева вы измѣните какое-либо выраженіе, то вы нерѣдко тотчасъ же почувствуете, что мысль, высказанная имъ, измѣняется, теряетъ цѣнные оттѣнки, измѣняетъ свой характеръ. Стройною чредою текутъ мысли Тургенева, и такою же стройною чредою сопутствуютъ имъ ихъ образныя формы.

Арс. Введенскій.

* * *

*) Имя Тургенева переживаетъ кризисъ. По нынѣшнимъ временамъ, Тургеневъ представляется читателю нѣсколько слащавымъ, искусственнымъ и манернымъ, несмотря на поучительную простоту его языка и его художественное стремленіе къ правдѣ. Вкусы «опростились», и вѣчная красота теперь не въ почетѣ **). Изъ всѣхъ отзывовъ о Тургеневѣ, характеризующихъ современное отношеніе къ нему, мнѣ показался наиболѣе выразительнымъ импровизованный отзывъ В. В. Стасова въ бесѣдѣ со мною: «Тургеневъ», сказалъ мнѣ г. Стасовъ, «это персикъ, а не бифштексъ», разумѣя подъ бифштексомъ, очевидно, Льва Толстого и Эмиля Зола. Въ сущности, къ этому реалистическому парадоксу и сводятся всѣ недоразумѣнія насчетъ Тургенева.

Каждое большое и шумное литературное явленіе должно претерпѣть реакцію отъ послѣдующаго времени. Все, что слишкомъ сильно и ярко заявляло себя при жизни, неминуемо должно испытать такой періодъ, когда, послѣ смерти, пережитое издаетъ «тлетворный духъ». Но затѣмъ, послѣ такихъ налетающихъ на него затменій,—великое имя все-таки, въ концѣ концовъ, начинаетъ сіять неподвижнымъ свѣтомъ въ памяти потомства. И это сіяніе, конечно, ожидаетъ Тургенева.

Но прежде, чѣмъ судить и рядить Тургенева, надо его понять.

Помнится, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, въ «Голосѣ» появлялись фельетоны Евгенія Маркова о Тургеневѣ. Существенный выводъ тогдашнихъ этюдовъ г. Маркова сохранился въ моей памяти. Авторъ отмѣчалъ въ Тургеневѣ, какъ его главную черту—«*боязнь жизни*». Эта характеристика, при чтеніи, нѣсколько меня поразила, такъ какъ мнѣ самому, наоборотъ, всегда казалось, что Тургеневъ, по преимуществу, боится именно смерти, а не жизни. Но въ то же время я смутно почувствовалъ, что и выводъ г. Маркова близокъ къ истинѣ. И это кажущееся, съ пер-

*) С. А. Андреевскій. „Литературные Очерки“. Спб. 1902 г. Изъ статьи: „Тургеневъ. Его индивидуальность и поэзія“.

**) Это писалось въ началѣ девятидесятыхъ годовъ.

ваго взгляда, противорѣчіе, дѣйствительно, весьма легко примиряется, ибо тотъ, кто слишкомъ боится смерти, долженъ быть, въ силу этого самаго, и крайне робкимъ и нерѣшительнымъ въ жизни. Все дѣло въ томъ, что про Тургенева нельзя даже сказать, чтобы онъ «любилъ жизнь» въ томъ смыслѣ, какъ мы это говоримъ о другихъ жизнелюбцахъ, т. е. чтобы онъ любилъ или умѣлъ «пожить». Нѣтъ! Тургеневъ *не любилъ жизнь, а былъ грустно влюбленъ въ нее* тою дѣвственною, чистотою, мечтательною и безнадежною любовью, какою былъ влюбленъ Зибель въ Маргариту. Онъ всегда страшился разочарованій; онъ зналъ, что дѣйствительная основа боготворимой имъ жизни плоска, низменна и безжалостна, но онъ, по непреодолимому артистическому инстинкту, всегда отворачивалъ взоры отъ этой ужасающей подкладки бытія и баюкалъ себя своими стройными иллюзіями, мучительно вѣруя, что эти его иллюзіи и составляютъ настоящую правду, прозрѣваемую имъ сквозь шероховатую, мятущуюся и, по временамъ, отталкивающую дѣйствительность. Вѣрнѣе всего было бы назвать Тургенева *задумчивымъ поэтомъ земного существованія*, который относился къ этому существованію съ чуткостью, очарованностью и грустью настоящаго влюбленнаго. Не забывайте только одного, что Тургеневъ *поэтъ*—и вы поймете всѣ его кажущіеся недостатки и всѣ его неоцѣнимыя достоинства.

Васъ неминуемо подкупаетъ въ Тургеневѣ вѣрность, правда, простота и естественность разсказа; но въ то же время гармоничность впечатлѣнія, которому вы уже невольно поддались—впослѣдствіи оставляетъ въ васъ подозрѣніе, будто здѣсь что-то сглажено и прикрыто, потому что вы сами, въ дѣйствительной жизни, никогда не воспринимаете людей и событія въ такомъ ласкающемъ, красивомъ и мягкомъ освѣщеніи... Да! Что же дѣлать? Это и есть поэзія... Но въ чемъ же именно состоитъ поэзія? Что это? Фальшь? Прикраса? Почему она такъ плѣняетъ насъ и возвеличивается въ исторіи?—На эти вопросы превосходно отвѣчаетъ самъ Тургеневъ устами своей Зины,

въ повѣсти «Первая Любовь»: «вотъ чѣмъ хороша поэзія: она говоритъ намъ то, чего нѣтъ, и что не только лучше того, что есть, но *даже больше похоже на правду*». И намъ думается, что эти чудесныя слова должны примирить съ Тургеневымъ всѣхъ, кто требуетъ отъ него непремѣнно «бифштекса» и кто укоряетъ его за то, что онъ только «персикъ»...

Подобно Пушкину и Лермонтову, Тургеневъ принадлежалъ къ очень рѣдкимъ натурамъ. Трезвый, сангвиническій, геніальный во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ Пушкинъ,—умѣлъ, однако же, всегда оставаться художникомъ и всегда проникалъ въ сердце читателя гармоніей самаго теплаго внутренняго чувства. Точно также Лермонтовъ, зорко понимавшій дѣйствительность, всегда умѣлъ сохранять обаяніе заоблачнаго титаническаго генія. И рядомъ съ этими двумя поэтами, Тургеневъ, всегда оставаясь вѣрнымъ красотѣ, въ то же время удивлялъ публику необыкновенно чуткимъ пониманіемъ всѣхъ самыхъ жгучихъ вопросовъ современности. И, однако же,—простите ему эту провинность, строгій и скептическій читатель нашего времени,—Тургеневъ все-таки былъ и оставался поэтомъ.

* * *

Признаніе за произведеніями Тургенева ихъ поэтическаго характера давно уже установилось въ нашей критикѣ. Но въ этомъ случаѣ какъ-то всегда отдѣлялась *манера* писателя отъ его духовной *личности,* какъ будто бы Тургеневъ писалъ такъ, а не иначе, только благодаря своему пристрастію къ извѣстнымъ литературнымъ пріемамъ, или въ силу тѣхъ романическихъ вліяній, среди которыхъ онъ воспитался, а не потому, чтобы, по самому внутреннему отношенію своему къ жизни, онъ и не могъ передавать эту жизнь ни въ какихъ иныхъ формахъ.

У Тургенева всегда хвалили изящество языка, мягкость тона, красоту образовъ и грацію рисунка, но все это дѣлали, такъ сказать, между прочимъ, точно говорили при этомъ: «ужъ на это, извѣстное дѣло, онъ мастеръ!» А ме-

жду тѣмъ все вниманіе обращалось только на содержаніе его каждаго новаго произведенія, и по поводу этого содержанія всегда поднимались крикливыя, будничныя распри, ибо всѣ въ нашемъ обществѣ чувствовали, что въ этихъ «благоуханныхъ» по формѣ созданіяхъ задѣвались самые настоятельные вопросы текущей дѣйствительности. Вслѣдствіе такого отдѣленія «манеры» отъ «сущности» (по естественной близорукости, весьма часто свойственной современникамъ), теперь получалось то, что когда практическіе вопросы тургеневской эпохи отшумѣли свою «злобу дня», то случайность, по мнѣнію критики, красивыхъ тургеневскихъ пріемовъ кажется теперь еще болѣе случайною, и читатель поневолѣ сѣтуетъ, что всѣ эти важныя и глубокія явленія общественной жизни воплотились у Тургенева въ такую устарѣло-граціозную и заподозрѣваемую въ своей натуральности оболочку. Вкусъ теперешняго читателя никакъ не можетъ съ этимъ помириться. Его нѣсколько мутитъ отъ поэтическаго «благоуханія» тургеневскихъ произведеній, и ему гораздо болѣе нравится тотъ «дурной запахъ изо рта», который изучалъ Иванъ Ильичъ, цѣлуя свою постарѣвшую жену, потому что въ этомъ безбоязненно-откровенномъ штрихѣ Льва Толстого читатель видитъ голую правду жизни (какъ будто онъ ранѣе не зналъ ея?) и вообще потому, что онъ предпочитаетъ рѣзкое—нѣжному.

А между тѣмъ, эта красивая, простая и благородная форма произведеній Тургенева составляла природную, ничѣмъ неустранимую принадлежность ихъ содержанія. И если бы Тургеневъ подчинился совѣтамъ какихъ-нибудь фанатиковъ реализма, которые бы сказали ему: «Иванъ Сергѣевичъ, все это глубоко и вѣрно, но сотрите эту эмаль, пустите здѣсь побольше крови»... то весь смыслъ и вся естественная цѣнность тургеневскихъ созданій исчезли бы безвозвратно. Исчезли бы потому, что Тургеневъ самъ всегда искалъ правды; онъ всегда слѣдовалъ художественной заповѣди Гете: «запускайте руку внутрь, въ глубину человѣческой жизни», но, дѣлая это съ чуткостью перво-

степеннаго таланта, онъ не могъ, однакоже, расходиться съ эстетическою сущностью своей природы, онъ долженъ былъ оставаться вѣрнымъ самому себѣ, и не могъ рисовать дѣйствительность въ иномъ освѣщеніи, какъ въ своемъ собственномъ, т. е. подъ вліяніемъ того поэтическаго міровоззрѣнія, съ какимъ онъ родился на свѣтъ. Какъ извѣстно, Тургеневъ и дебютировалъ въ литературѣ стихами. Но стихъ не удавался ему, и онъ вскорѣ сознательно покинулъ эту, чуждую ему, форму. Почему бы, спрашивается, могла случиться подобная неудача съ прирожденнымъ поэтомъ? Кто изучилъ Тургенева, тотъ можетъ это понять. Для того, чтобы сдѣлаться настоящимъ «пѣвцомъ», т. е. для того, чтобы отдаться беззавѣтной, почти безсознательной и, однако, всепокоряющей музыкѣ риѳмованной рѣчи, нужно имѣть въ своей натурѣ хотя немножко наивности,— нужно, хотя отчасти, хотя въ невѣдомомъ туманѣ, допускать чудесное... А Тургеневъ очень рано началъ страдать этою невозможностью, именно: страдать, мучиться ею. «Не привидѣнія, не фантастическія подземныя силы страшны», сознавался онъ. «Страшно то, что *нѣтъ ничего страшнаго,* что самая суть жизни мелко неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись *этимъ* сознаніемъ, отвѣдавъ *этой* полыни, никакой медъ уже не покажется сладкимъ» («Довольно»).

Эта именно полынь, т. е. полынь остраго ума, «отъ младыхъ ногтей», сдѣлала для Тургенева невозможнымъ то безотчетное, безъ оглядки, увлеченіе чѣмъ бы то ни было, которое одно только и способно переливаться въ метрическую мелодію, въ упоительную пѣсню словъ, хотя бы и замкнутыхъ въ условія риѳмы и размѣра, но совершенно превозмогающихъ эти кажущіяся преграды своею внутреннею страстью, своимъ «божественнымъ огнемъ»... Тургеневъ былъ слишкомъ уменъ (мы извиняемся за это необходимое слово; нечего и говорить, что, какъ художникъ, онъ былъ геніаленъ), онъ былъ, повторяемъ, слишкомъ уменъ, слишкомъ отравленъ позитивизмомъ, чтобы отдаваться не-

обузданному порыву фантазіи. И горькое раздумье выдается страдальческой нотой во всѣхъ его вдохновеніяхъ.

Въ одномъ изъ прежнихъ этюдовъ я позволилъ себѣ назвать Некрасова «спорнымъ» поэтомъ, несмотря на его сильный талантъ и на его незабвенныя общественныя заслуги. Здѣсь я могу, наоборотъ, назвать Тургенева безспорнымъ поэтомъ, хотя онъ и сдѣлался знаменитъ только благодаря своей прозѣ. И какъ Тургеневъ отозвался объ одномъ сборникѣ стихотвореній Некрасова: «поэзія тутъ и не ночевала», — такъ точно мы можемъ сказать о всѣхъ прозаическихъ произведеніяхъ Тургенева: «поэзія тутъ не удалялась ни на одно мгновеніе ни съ одной тургеневской страницы, отъ ея первой до послѣдней строки». Весь текстъ Тургенева можно было бы раздѣлить цифрами на отдѣльные періоды, какъ раздѣлена библейская проза, и въ каждомъ изъ такихъ періодовъ вы нашли бы вѣрныя, полныя мысли и гармоніи, слова, которыя весьма часто достигаютъ такой содержательности и красоты, что напрашиваются на заучиваніе. И только тотъ вполнѣ усвоитъ Тургенева, кто будетъ именно такимъ образомъ относиться къ его тексту. И только тогда Тургеневъ сдѣлается для васъ не только великимъ бытописателемъ русской жизни и симпатичнымъ разсказчикомъ, но и драгоцѣннымъ собесѣдникомъ вашего ума, сердца и воображенія. Только тогда, вдумываясь въ каждый избранный имъ эпитетъ, въ каждую положенную имъ краску, въ каждую высказанную имъ мысль,—вы раскроете всѣ тайныя богатства этой предательски-легкой и музыкальной прозы, подобной стихамъ Пушкина, въ которыхъ лишь весьма поздно и весьма немногіе сумѣли раскрыть глубочайшее внутреннее содержаніе. Баратынскій, разбиравшій бумаги Пушкина уже послѣ его смерти, въ письмѣ къ одному изъ своихъ пріятелей, первый сказалъ: «Можешь ты себѣ представить, что меня больше всего изумляетъ во всѣхъ этихъ поэмахъ? Обиліе мыслей! Пушкинъ мыслитель! Можно ли было ожидать?» Таковъ же точно и Тургеневъ съ его мнимо-деликатнымъ и воздушнымъ изложеніемъ. Отрѣшитесь на минуту отъ своего преувели-

ченнаго реалистическаго преклоненія передъ грубостью, и вы найдете удивительную силу живописи и захватывающую глубину мысли и чувства — тамъ, гдѣ вамъ прежде воображались только ненужныя, легковѣсныя и приторныя прикрасы романтизма. И все, что вамъ представляется теперь эфемернымъ и старомоднымъ,—окажется неимовѣрно крѣпкимъ и живучимъ,—настолько живучимъ, насколько вообще способна жить поэзія, которая, какъ извѣстно, переживаетъ отдѣльные народы и остается затѣмъ общею и единою во всемъ человѣчествѣ.

* * *

Истинную поэзію въ произведеніяхъ Тургенева умѣлъ находить даже радикальный Писаревъ. Разбирая «Отцовъ и Дѣтей», Писаревъ говоритъ: «Художественная отдѣлка безукоризненно хороша, характеры и положенія нарисованы такъ наглядно и въ то же время такъ мягко, что *самый отчаянный отрицатель искусства почувствуетъ* при чтеніи романа *какое-то непонятное наслажденіе*, котораго не объяснишь ни занимательностью разсказываемыхъ событій ни поразительною вѣрностью основной идеи. Дѣло въ томъ, что событія вовсе не занимательны, а идея не поразительно вѣрна. Въ романѣ нѣтъ ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманнаго плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины и, *главное*, сквозь ткань разсказа *сквозитъ личное, глубоко-прочувствованное отношеніе автора къ выведеннымъ явленіямъ жизни*». Писаревъ угадалъ вѣрно. Всю прелесть Тургенева составляетъ именно его личное отношеніе къ изображаемой жизни, т. е. то художественное освѣщеніе, въ которомъ онъ ее воспринимаетъ и чувствуетъ. А вся тайна того *непонятнаго наслажденія*, о которомъ говоритъ Писаревъ, и заключается въ способѣ передачи предмета. Здѣсь потому-то и нельзя отдѣлить формы отъ содержанія, что они всесильны только въ своей совокупности, какъ оно всегда и бываетъ въ истинно-художественныхъ произведеніяхъ.

Писаревъ, при своей необычайной живости и даровитости, конечно, все это прекрасно понималъ. Но онъ съ безпощадною прямолинейностью молодой и задорной силы, умышленно подгибалъ все подъ свою излюбленную теорію насущной пользы. По блеску, силѣ и находчивости своей діалектики этотъ критикъ едва ли имѣетъ себѣ равнаго. Писаревъ даже не скрывалъ своего упрямства. Вотъ какими доводами онъ отбрасывалъ отъ себя всякія разсужденія о формѣ художественныхъ произведеній:

«Романы Писемскаго, Гончарова и Тургенева имѣютъ для насъ не только эстетическій, но и общественный интересъ; у англичанъ рядомъ съ Диккенсомъ, Теккереемъ, Бульверомъ и Элліотомъ есть Джонъ Стюартъ Милль; у французовъ рядомъ съ романистами есть публицисты и соціалисты; а у насъ въ изящной словесности да въ критикѣ на художественныя произведенія сосредоточилась вся сумма идей нашихъ объ обществѣ, о человѣческой личности, о междучеловѣческихъ, семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ; у насъ нѣтъ отдѣльно существующей нравственной философіи, нѣтъ соціальной науки; стало быть, всего этого *надо искать* въ художественныхъ произведеніяхъ. Для меня Тургеневъ и Писемскій важны настолько, насколько они разъясняютъ явленіе жизни; слѣдовательно, для меня всего интереснѣе отношенія ихъ къ изображаемымъ ими типамъ. Что же касается до того, какъ каждый изъ нихъ рисуетъ явленія и картины, то этотъ вопросъ имѣетъ для меня совершенно второстепенное значеніе. Пусть одинъ рисуетъ крупными штрихами, а другой съ любовью отдѣлываетъ подробности—все равно: они могутъ сходиться съ собою въ результатахъ. Разбирать манеру и отдѣлять ее отъ манеры другого писателя почти то же самое, что писать стилистическое изслѣдованіе; *это, конечно, важно для характеристики писателя,* но это не можетъ служить отвѣтомъ на нашъ вопросъ: что сдѣлали Писемскій и Тургеневъ для нашего общественнаго сознанія?». Да, прибавимъ мы отъ себя, *понимать манеру каждаго отдѣльнаго писателя въ связи съ его душевною индивидуальностью на-*

столько важно для его характеристики, что, не сдѣлавъ этого, напримѣръ, относительно Тургенева, критика совершенно исказила его значеніе въ пониманіи ближайшаго потомства. А между тѣмъ, никто превосходнѣе Писарева не высказалъ, какую драгоцѣнность въ поэтическомъ произведеніи составляетъ именно—ощущеніе въ немъ духовной личности писателя. Вотъ, что онъ сказалъ:

«Для того, чтобы печатныя строки казались намъ рѣчами и поступками живыхъ людей, необходимо, чтобы въ этихъ печатныхъ строкахъ *сказалась живая душа того, кто ихъ писалъ;* только въ этомъ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью читателя и заключается обаятельное дѣйствіе поэзіи... На васъ дѣйствуетъ чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бываютъ *личными*. Слѣдовательно, *что же останется отъ поэтическаго произведенія, если вы изъ него вытравите личность автора*; вполнѣ объективная картина—фотографія; вполнѣ объективный разсказъ—показаніе свидѣтеля, записанное стенографомъ; вполнѣ объективная музыка—шарманка; вполнѣ добиться этой объективности, значитъ уничтожить въ поэзіи всякій патетическій элементъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ убить поэзію, убить искусство».

Какая вѣрная и какъ блестяще высказанная мысль!

Вѣдь, дѣйствительно, самые объективные, повидимому, писатели, каковы, напримѣръ, Флобэръ, Левъ Толстой, Э. Зола, сумѣли, однако же, сдѣлаться намъ близкими, потому что, загромождая себя своими дѣйствующими лицами, они тѣмъ не менѣе превосходно ознакомили насъ съ самими собою и вложили свою душу въ свои созданія. И только поэтому они намъ и дороги. Но если именно личность автора такъ важна для насъ въ каждомъ художественномъ произведеніи, то, съ другой стороны, спрашивается: какимъ же образомъ мы можемъ оставаться совершенно равнодушными къ самымъ завѣтнымъ наклонностямъ этого автора, къ его вкусамъ, къ его выбору средствъ, ко всей его манерѣ бесѣдовать съ нами? Какимъ образомъ можемъ мы глубоко сблизиться съ человѣкомъ, всѣ привычки котораго почти

на каждомъ шагу раздражаютъ насъ или претятъ намъ? Одно изъ двухъ: либо мы сердечно привязываемся къ человѣку, потому что находимъ всѣ его пріемы соотвѣтствующими его сущности, либо мы только терпимъ его за нѣкоторыя его заслуги, но, находя въ то же время полную дисгармонію между его манерами и его натурой,—мы никогда не будемъ въ состояніи его полюбить. И если къ Тургеневу существуетъ у современныхъ читателей какое-нибудь временное охлажденіе, то оно происходитъ исключительно отъ недоразумѣнія, порожденнаго тою исключительно русскою критическою ересью, будто отъ писателя надо воспринимать только то, что онъ успѣлъ «сдѣлать для нашего общественнаго самосознанія», и совершенно при этомъ игнорировать тотъ языкъ, на которомъ онъ съ нами говорилъ, тѣ вкусы, въ которыхъ онъ выросъ и въ которыхъ сложилась его художественная индивидуальность...

С. Андреевскій.

*
* *

*) Пейзажистомъ по преимуществу, между нашими романистами, безъ сомнѣнія, долженъ быть названъ Тургеневъ. Ни у кого описанія природы не играютъ такой выдающейся роли, ни у кого не отличаются они такимъ разнообразіемъ, такою жизненностью, такою безукоризненностью формы. Все соединилось для того, чтобы сдѣлать Тургенева мастеромъ описательнаго жанра. Сроднившись еще въ дѣтствѣ съ великорусской деревней, горячо полюбивъ великорусскій пейзажъ, онъ рано познакомился съ другой природой, болѣе изящной, болѣе величественной и могучей; первое путешествіе его по Германіи, Швейцаріи и Италіи было для него тѣмъ, чѣмъ житье на югѣ Россіи — для Пушкина, пребываніе на Кавказѣ — для Лермонтова. Подобно тому какъ погруженіе съ головою въ «Нѣмецкое

*) К. Арсеньевъ. Статья подъ заглавіемъ: „Природа въ произведеніяхъ Тургенева". Изъ книги В. Покровскаго — „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ". Москва, 1905 г.

море» (см. предисловіе Тургенева къ полному собранію его сочиненій) сдѣлало его западникомъ, оставивъ его вмѣстѣ съ тѣмъ истинно русскимъ — красоты Рейна и Альповъ, расширивъ его художественный кругозоръ, не затмили въ его глазахъ скромной прелести тульскихъ полей или орловскаго полѣсья. Не забылъ онъ ея и тогда, когда почти совсѣмъ разстался съ Россіей; «старческія» (senilia, какъ называлъ ихъ самъ Тургеневъ) «стихотворенія въ прозѣ» (напр., «Деревня») проникнуты такимъ же пониманіемъ русской природы, такимъ же сочувствіемъ къ ней, какъ и первыя страницы юношеской поэмы «Параша». «Я шелъ домой, ни о чемъ не размышляя,—говоритъ герой «Аси»,— какъ вдругъ меня поразилъ сильный, знакомый, но въ Германіи рѣдкій запахъ. Я остановился и увидалъ возлѣ дороги небольшую грядку конопли. Ея степной запахъ мгновенно напомнилъ мнѣ родину и возбудилъ въ душѣ страстную тоску по ней. Мнѣ захотѣлось дышать русскимъ воздухомъ, ходить по русской землѣ». Устами разсказчика говоритъ здѣсь, очевидно, самъ Тургеневъ; самимъ Тургеневымъ пережиты, очевидно, и тѣ ощущенія, которыя испытываетъ Лаврецкій при возвращеніи въ родную деревню, «Лаврецкій глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы — вся эта, давно имъ не виданная, русская картина навѣвала на его душу сладкое и въ то же время почти скорбное чувство, давило грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ... Какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ, подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель; богородицыны слезки еще выше выкидываютъ свои розовые кудри; а тамъ, дальше въ поляхъ лоснится рожь, и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ... Жизнь текла здѣсь неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія

этой уходящей, утекающей жизни — и никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины». Нигдѣ, можетъ-быть, любовь Тургенева къ родной природѣ не чувствуется такъ живо, какъ въ «Дневникѣ лишняго человѣка». Это именно «любовь, вѣрная до смерти». «Я бы хотѣлъ еще разъ надышаться горькою свѣжестью полыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тяпанье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви; еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага; еще разъ проводить глазами подвижный слѣдъ вѣтра, темною струею бѣгущаго по золотистой травѣ нашего луга». Прощаясь съ жизнью. «лишній человѣкъ» прощается, въ то же время, съ своимъ садомъ, съ своими липами; ему утѣшительно думать, что наслажденье, миновавшее для него, будетъ испытываться другими. «Пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущій говоръ вашихъ листьевъ, слегка возмущенныхъ вѣтромъ». Чтобы вложить такой завѣтъ въ уста умирающаго, нужно было глубоко сжиться съ природой, извѣдать всю полноту наслажденій, источникомъ которыхъ она служитъ.

«Природа,— читаемъ мы въ «Асѣ»,—дѣйствовала на меня чрезвычайно, но я не любилъ такъ называемыхъ ея красотъ, необыкновенныхъ горъ, утесовъ, водопадовъ; я не любилъ, чтобы она навязывалась мнѣ, чтобы она мнѣ мѣшала». Буквально примѣнять эти слова къ автору «Аси», разумѣется, нельзя; говоря о Сорренто или Неаполѣ, о Римѣ или Лаго-Маджоре, Тургеневъ достаточно доказалъ свою способность наслаждаться «такъ называемыми красотами природы», но въ приведенной нами «бутадѣ» ясно слышится насмѣшка надъ тѣми, для которыхъ внѣ экстраординарныхъ, всѣмъ міромъ признанныхъ красотъ природы какъ бы не существуетъ... Изучить и оцѣнить русскую природу, привязаться всѣмъ сердцемъ къ роднымъ, часто «невеселымъ», но часто и мирнымъ, успокоительнымъ картинамъ, много помогла Тургеневу «благородная страсть» къ охотѣ. «Охота,—

говоритъ онъ въ драгоцѣнной для насъ критической статьѣ о «Замѣткахъ ружейнаго охотника Оренбургской губерніи», С. А—ва (С. Т. Аксакова),—сближаетъ насъ съ природой; одинъ охотникъ видитъ ее во всякое время дня и ночи, во всѣхъ ея красотахъ, во всѣхъ ея ужасахъ». Способный отдаться всецѣло обаянію природы, наслаждаться ею наивно и безотчетно, Тургеневъ могъ смотрѣть на нее и глазами художника, анализирующаго впечатлѣнія, подмѣчающаго отдѣльныя черты пейзажа, останавливающагося на томъ, чего вовсе не видитъ масса. «Гагинъ,—читаемъ мы въ «Асѣ»,—обратилъ мое вниманіе на нѣкоторыя счастливо освѣщенныя мѣста; въ словахъ его слышался если не живописецъ, то ужъ навѣрное художникъ». То же самое часто можно сказать о словахъ Тургенева; прочувствовать ихъ въ состояніи всякій, но далеко не всякому они пришли бы въ голову. Тонкое пониманіе пейзажа въ живописи, такъ ясно выразившееся, напримѣръ, въ напечатанныхъ недавно письмахъ Тургенева къ Я. П. Полонскому, непремѣнно должно было итти рука объ руку съ такимъ же пониманіемъ пейзажа въ литературѣ. Въ довершеніе всего Тургеневъ не даромъ началъ свою творческую дѣятельность съ стихотвореній; постигнувъ «тайную гармонію стиха» (собственное выраженіе Тургенева, въ одной изъ раннихъ критическихъ его статей—о переводѣ «Фауста» Вронченко), онъ перенесъ ее, насколько это возможно, въ прозу, музыкальность которой особенно замѣтна—и особенно эффектна—именно въ описаніяхъ природы. Первообразъ поэтическихъ описаній, которыми такъ богата тургеневская проза, можно найти, въ самой ранней поэмѣ Тургенева—въ «Парашѣ».

Лишь изрѣдка промчится легкій трепетъ
Въ березахъ, тамъ за рѣчкой соловей
Поетъ себѣ—и слышенъ долгій лепетъ,
Немолчный шопотъ дремлющихъ степей.
И въ комнату, какъ вздохъ земли безсонной,
Влетаетъ робко вѣтеръ благовонный...
...Ночь прекрасна была,
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая;
Не свѣтила луна, хоть и взошла;

Рѣка, во тьмѣ таинственно сверкая
Текла вдали. Дорожка къ ней вела;
А листья въ вышинѣ толпой незримой
Лепечутъ. Вотъ—они сошли въ оврагъ,
И словно ихъ движеніемъ гонимый,
Предъ ними разступался мягкій мракъ...

И здѣсь, и въ другихъ поэмахъ, и въ небольшихъ лирическихъ стихотвореніяхъ источникомъ вдохновенія служитъ для поэта заурядный великорусскій пейзажъ; близкія, знакомыя картины воспроизводятся имъ то шутя, то серіезно, но всегда съ одинаковой любовью.

Въ повѣстяхъ Тургенева, относящихся къ половинѣ сороковыхъ годовъ («Андрей Колосовъ», «Бреттеръ», «Три Портрета»), описанія природы встрѣчаются рѣдко; на первый планъ они выступаютъ въ его прозѣ только тогда, когда онъ перестаетъ писать стихи и весь отдается новому дѣлу — «Запискамъ Охотника». Здѣсь ничто не связывало его свободы; описанія могли соединяться съ разсказомъ въ какихъ угодно сочетаніяхъ, могли преобладать надъ нимъ, могли даже совершенно замѣнять его («Лѣсъ и Степь»). Для той крайней сдержанности, образцы которой завѣщаны были пушкинской прозой, не было здѣсь никакого повода: работа, предпринятая художникомъ, допускала безконечное разнообразіе пріемовъ. И дѣйствительно, картины природы разливаются по «Запискамъ Охотника» широкою волной, то поднимающеюся, то отступающею передъ нимъ, то поглощающею его. Иногда передъ нами точно лежитъ рисунокъ, лишь кой-гдѣ, слегка, тронутый красками (старинный садъ въ разсказѣ «Мой сосѣдъ Радиловъ»); иногда художникъ даетъ намъ небольшую акварель, не блещущую яркостью цвѣтовъ, но проникнутую задумчивою красотою скромнаго пейзажа (начало разсказа: «Татьяна Борисовна и ея племянникъ»); иногда описаніе разрастается въ цѣлую картину, писанную могучею кистью, поражающую чудесами колорита (лѣсъ въ «Касьянѣ съ Красивой Мечи»). Останавливается ли Тургеневъ на маленькомъ уголкѣ природы (ключъ въ «Малиновой Водѣ»), или на безпредѣльномъ ея просторѣ («Лѣсъ

9*

и Степь»), подмѣчаетъ ли онъ одинъ короткій моментъ (закатъ солнца въ концѣ «Льгова»), или рисуетъ цѣлый рядъ послѣдовательныхъ явленій (ясный іюльскій день въ началѣ «Бѣжина Луга»), смотритъ ли онъ на пейзажъ сквозь призму минутнаго личнаго настроенія («Касьянъ съ Красивой Мечи», стр. 120—121 стереотипнаго изданія) или глазами человѣка, забывшаго о самомъ себѣ и всецѣло погрузившагося въ созерцаніе (первыя строки «Ермолая и Мельничихи»)—вездѣ и всегда онъ увлекаетъ насъ за собою и дѣлаетъ насъ участниками своихъ впечатлѣній. Необыкновенное богатство матеріала затрудняетъ выборъ цитатъ, да онѣ и почти излишни: немного найдется у насъ читателей, для которыхъ «Записки Охотника» не были бы настольной книгой. Ограничимся двумя небольшими выписками, которыя понадобятся намъ для заключительныхъ выводовъ. «Съ самаго ранняго утра небо ясно; утренняя заря не пылаетъ пожаромъ: она разливается кроткимъ румянцемъ. Солнце—не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое, какъ передъ бурей, но свѣтлое и привѣтно-лучезарное—мирно всплываетъ надъ узкой и длинной тучкой, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый ея туманъ. Верхній тонкій край растянутаго облачка засверкаетъ змѣйками; блескъ ихъ подобенъ блеску кованнаго серебра. Но вотъ опять хлынули играющіе лучи—и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглыхъ высокихъ облаковъ, золотисто-сѣрыхъ, съ нѣжными бѣлыми краями. Подобно островамъ, разбросаннымъ по безконечно разлившейся рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются съ мѣста; далѣе къ небосклону они сдвигаются, тѣснятся, синевы между ними не видать; но сами они такъ же лазурны, какъ небо; они всѣ насквозь проникнуты свѣтомъ и теплотой... Къ вечеру облака исчезаютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватыя и неопредѣленныя, какъ дымъ, ложатся розовыми клубами напротивъ заходящаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось такъ же спокойно, какъ взошло

на небо, алое сіянье стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшею землею, и тихо мигая, какъ бережно несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда» («Бѣжинъ Лугъ»). «Листья чуть шумѣли надъ моей головой; по одному ихъ шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То былъ невеселый, смѣющійся трепетъ весны, не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня... Внутренность рощи то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось: тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ березъ внезапно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червоннымъ золотомъ; то вдругъ опять все синѣло: яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя,—бѣлыя, какъ только что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играющій лучъ зимняго солнца—и украдкой, лукаво начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь» (Свиданіе»).

Дальше и выше той ступени, на которой стоятъ въ «Запискахъ Охотника» описанія природы, Тургеневу некуда было итти; во многомъ другомъ позднѣйшія его произведенія знаменуютъ собою громадный шагъ впередъ—съ занимающей насъ точки зрѣнія они остаются на томъ же уровнѣ, и лучшей для нихъ похвалы нельзя и придумать. Всего больше мѣста отводится описаніямъ въ тѣхъ очеркахъ или разсказахъ, которые, по своему характеру, всего ближе подходятъ къ «Запискамъ Охотника»; сюда принадлежатъ въ особенности «Три Встрѣчи» и «Поѣздка въ Полѣсье». Описаніе сада въ «Трехъ Встрѣчахъ» — одна изъ лучшихъ картинъ, написанныхъ Тургеневымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ одна изъ самыхъ характеристическихъ для его описательной манеры. «Неподвижно лежалъ передо мною небольшой садъ, весь озаренный и какъ бы успокоенный серебряными лучами луны, весь благовонный и влажный... Молодыя яблони кой-гдѣ возвышались надъ поляной; сквозь жидкія вѣтки кротко синѣло ночное небо, лился дремотный свѣтъ луны... Съ одной стороны сада липы смутно зеле-

нѣли, облитыя неподвижнымъ, блѣдно-яркимъ свѣтомъ; съ другой—онѣ стояли всѣ черныя и непрозрачныя; странный, сдержанный шорохъ возникалъ по временамъ въ ихъ сплошной листвѣ; онѣ какъ будто звали на пропадавшія подъ ними дорожки, какъ будто манили подъ свою глухую сѣнь. Все небо было испещрено звѣздами; таинственно струилось съ вышины ихъ голубое, мягкое мерцанье; онѣ, казалось, съ такимъ вниманіемъ глядѣли на далекую землю... Все дремало, все нѣжилось вокругъ; все какъ будто глядѣло вверхъ, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта незаснувшая ночь? Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина—но все молчало. Соловьи давно перестали пѣть... а внезапное гудѣніе мимолетнаго жука, легкое чмоканье мелкой рыбы въ сажалкѣ за липами на концѣ сада, сонливый свистъ встрепенувшейся птички, далекій крикъ въ полѣ, до того далекій, что ухо не могло различить, человѣкъ ли то прокричалъ, или звѣрь, или птица, короткій, быстрый шорохъ по дорогѣ—всѣ эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину»... Понятно впечатлѣніе, производимое, при такой обстановкѣ, внезапно раздавшимся звукомъ знакомой пѣсни... «Поѣздка въ Полѣсье» заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ лѣсныхъ пейзажей, то удручающихъ своимъ суровымъ мракомъ, то убаюкивающихъ своей мирной тишиной. Природа здѣсь точно говоритъ съ человѣкомъ; ея жизнь, столь различная съ нашей и вмѣстѣ съ тѣмъ столь близкая къ ней, наводитъ на мысль о смерти—но самый образъ смерти является то грознымъ, то спокойнымъ. «Поѣздка въ Полѣсье» не даромъ стоитъ на рубежѣ между двумя періодами въ жизни и творчествѣ Тургенева: къ наслажденію природой здѣсь присоединяется въ первый разъ мучительное сознаніе ея безучастія, ея равнодушія, съ наибольшей ясностью и силой выразившееся четверть вѣка спустя въ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ».

Въ романахъ и повѣстяхъ Тургенева описанія природы встрѣчаются сравнительно рѣдко—и еще рѣже достигаютъ большихъ размѣровъ, выдвигаются изъ рамки разсказа.

Иногда къ нимъ примѣнимо выраженіе, употребленное нами по отношенію къ описанію графа Толстого — они точно брошены «мимоходомъ», слегка, немногими штрихами намѣчая обстановку дѣйствія, иногда они проникнуты субъективнымъ элементомъ, неразрывно связаны съ настроеніемъ дѣйствующаго лица. Описанія перваго рода всегда коротки и предпосылаются далеко не каждой сценѣ, не каждому моменту дѣйствія; въ большинствѣ случаевъ они необходимы для полноты впечатлѣнія, незамѣтно сливаясь въ одно цѣлое съ разсказомъ. «Владиміръ Сергѣевичъ подошелъ къ окну и приложился лбомъ къ холодному стеклу. Словно въ черную завѣсу уперлись его глаза, и только спустя немного времени могъ онъ различить на беззвѣздномъ небѣ вѣтки деревьевъ, порывисто крутившіяся среди мрака» («Затишье»). Этими немногими словами заранѣе обрисована передъ нами та темная, бурная ночь, которую Марья Павловна избрала для самоубійства... Берсеневъ («Наканунѣ») выходитъ изъ дома Стаховыхъ послѣ первой продолжительной бесѣды съ Еленой. «Ужъ совсѣмъ стемнѣло, неполный мѣсяцъ стоялъ высоко на небѣ, млечный путь забѣлѣлъ, и звѣзды запестрѣли... Ночь была тепла и какъ-то особенно безмолвна, точно все кругомъ прислушивалось и караулило». Такихъ примѣровъ можно было бы привести еще много; укажемъ на вступленіе къ «Рудину», къ «Дворянскому Гнѣзду» и къ «Бригадиру», на картину утра передъ дуэлью въ «Отцахъ и Дѣтяхъ», на описаніе сипягинскаго сада въ «Нови», на обстановку, среди которой убиваетъ себя Неждановъ.

Съ бо̀льшею еще силой дарованіе Тургенева выражается въ тѣхъ описаніяхъ, которыя мы соединяемъ подъ общимъ именемъ субъективныхъ. Неопредѣленное ожиданіе, первое предчувствіе первой любви, пробужденіе долго спавшаго сердца, стремленіе навстрѣчу жизни, успокоеніе тревожныхъ думъ, воспоминаніе о погибшемъ счастьѣ—всѣ чувства, дремлющія, торжествующія или замирающія, всѣ душевныя состоянія, начиная съ смутнаго волненія до страстнаго аффекта, находятъ оттолосокъ въ природѣ, становятся,

если можно такъ выразиться, между природой и человѣкомъ. Ни одна сторона этого взаимодѣйствія не осталась тайной для Тургенева. Кто не помнитъ той сцены въ «Дневникѣ лишняго человѣка», когда великолѣпный солнечный закатъ вызываетъ или довершаетъ переломъ въ сердцѣ Лизы, или той страницы въ «Перепискѣ», когда Алексѣй Петровичъ вспоминаетъ о «безмолвныхъ вечернихъ прогулкахъ вчетверомъ, послѣ какого-нибудь долгаго, теплаго, живого разговора? Кто не помнитъ Лемма, точно воскресающаго подъ дыханіемъ тихой, теплой ночи, или Николая Петровича («Отцы и Дѣти»), погружаемаго лѣтнимъ вечеромъ въ «горестную и отрадную игру одинокикъ думъ? Герой «Аси» переѣзжаетъ черезъ рѣку, весь охваченный новымъ, едва сознаваемымъ еще чувствомъ. «Я поднялъ глаза къ небу—но и въ небѣ не было покоя; испещренное звѣздами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился къ рѣкѣ... но и тамъ, и въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду, и тревога росла во мнѣ самомъ. Шопотъ вѣтра въ моихъ ушахъ, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свѣжее дыханіе волны не охлаждало меня... Слезы закипали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья». Лаврецкій ѣдетъ домой, проводивъ посѣтившихъ его Марью Дмитріевну и Лизу. «Обаяніе лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно-странно, и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая, расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, раскачиваясь направо и налѣво; было что-то таинственно-пріятное въ крикѣ перепеловъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестѣлъ твердымъ блескомъ: свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха охватывала всѣ члены, лилась вольною струею въ грудь».

Ощущеніе тревоги, испытываемое героемъ «Аси», зависитъ, очевидно, не отъ окружающей его природы, хотя и поддерживается, усиливается ею; то же самое слѣдуетъ сказать объ ощущеніи блаженнаго покоя, наполняющемъ душу Лаврецкаго. Перенесите героя «Аси» въ русскую деревню, поставьте Лаврецкаго на берегъ Рейна — впечатлѣнія того и другого останутся почти безъ перемѣны, потому что не будетъ тронутъ главный ихъ источникъ. Этотъ источникъ—приближеніе любви, чуть замѣтно вкрадывающейся въ сердце; но на человѣка, многое пережившаго и выстрадавшаго, оно дѣйствуетъ иначе, чѣмъ на юношу, любившаго до сихъ поръ только головою. Лаврецкому не нужно страсти, онъ былъ уже разъ обманутъ ею, да и въ Лизѣ нѣтъ ничего, чѣмъ вызывалось бы бурное, жгучее чувство; герой «Аси», наоборотъ жаждетъ страсти, — страсти, которая таится, готовая вспыхнуть, во всемъ существѣ Аси. Каждому изъ нихъ природа даетъ именно то, чего онъ въ ней безсознательно ищетъ, что онъ въ нее невольно вноситъ.

Мы далеко не исчерпали всего разнообразія Тургеневскихъ описаній; мы могли бы указать, какъ они принимаютъ фантастическій оттѣнокъ (въ «Призракахъ»), какъ они обращаются въ художественную монографію отдѣльнаго растенія (осина въ «Свиданіи»), какъ они служатъ иллюстраціей глубокой мысли («Довольно»), какъ они дышатъ наивностью или педантизмомъ, смотря по тому, въ чьи уста они вкладываются авторомъ (разсказчикъ въ «Собакѣ», описывающій лунную ночь, Клюберъ—въ «Вешнихъ Водахъ», — снисходительно ободряющій или строго критикующій природу). Предметъ такъ привлекателенъ, что отъ него трудно оторваться — но мы боимся утомить читателей.

К. Арсеньевъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ и ПОЭМЫ.

«Около Пасхи 1843 года», говоритъ И. С. Тургеневъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ,* «въ Петербургѣ произошло событіе, само по себѣ крайне незначительное и давнымъ давно поглощенное общимъ забвеніемъ, а именно: появилась небольшая поэма нѣкоего Т. Л., подъ названіемъ «Параша». Этотъ Т. Л. былъ я; этой поэмой я вступилъ на литературное поприще».

И. Тургеневъ.

* * *

*) Г. Тургеневъ началъ свою литературную дѣятельность не прозою, а рядомъ мелкихъ стихотвореній и двумя другими стихотвореніями большого объема, не совсѣмъ вѣрно названными именемъ «поэмы»... И «Параша», и «Андрей», и рядъ мелкихъ стихотворныхъ вещицъ, подписанныхъ буквами Т. Л., не только не заслуживаютъ забвенія (какъ, кажется, думаетъ самъ ихъ авторъ), но, напротивъ того, показываютъ намъ начатки и силы и слабости Тургенева-прозаика. Всѣ названныя произведенія построены на мысляхъ умныхъ и часто блистательныхъ, всѣ они проникнуты любовью къ природѣ и пониманіемъ природы... Вліяніе сильныхъ поэтовъ, предшествовавшихъ и современныхъ, отражается и въ поэмахъ г. Тургенева и въ мелкихъ созданіяхъ его музы: и Байронъ, и Пушкинъ, и Лермонтовъ, и

---

*) А. Дружининъ. Сочиненія А. Дружинина, т. 7.

Гёте наложили на нихъ свою печать, такъ легко узнаваемую. Безсознательно увлекаясь то тѣмъ, то другимъ изъ великихъ образцовъ, нашъ поэтъ, однако же, избѣгаетъ подражательности, чрезъ свою собственную многосторонность, чрезъ собственное свое сочувствіе ко всему прекрасному въ мірѣ искусства. Если бъ Тургеневъ побѣдилъ свой духъ анализа, вдался въ прямое подражаніе которому-нибудь изъ главныхъ поэтовъ,—его стихотворенія были бы гораздо болѣе замѣчены читателемъ, несмотря на весь ущербъ, происходящій отъ подражательности. Но въ начинающемъ поэтѣ имѣлась одна драгоцѣнная сторона, собственно ему принадлежащая. Какъ человѣкъ тонко развитой, какъ артистъ безпристрастный по натурѣ, онъ былъ способенъ къ увлеченію, никакъ не къ рабству передъ чужимъ творчествомъ.

А. Дружининъ.

* * *

*) Несмотря на то, что вступленіе Тургенева на стихотворное поприще было болѣе чѣмъ одобрительно, почти восторженно встрѣчено Бѣлинскимъ, разбираемый нами авторъ впослѣдствіи отказался отъ «*грѣховъ молодости*», и, перепечатавъ въ полномъ собраніи сочиненій довольно слабыя драматическія произведенія, не сдѣлалъ того-же самаго со своими стихами. «Я чувствую положительную, чуть не физическую антипатію къ моимъ стихотвореніямъ», пишетъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ, «и не только не имѣю ни одного экземпляра моихъ поэмъ—но дорого-бы далъ, чтобы ихъ вообще не существовало на свѣтѣ».

С. Венгеровъ.

*) С Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“, ч. I.

*) Въ то время, когда выступалъ на литературное поприще Тургеневъ, требовалось, какъ говоритъ С. Дудышкинъ, чтобы идеальный герой владѣлъ «если не пожирающими силами, то, по крайней мѣрѣ, блестящими способностями, выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ, пошлыхъ людей, безмолвно работающихъ и трудящихся. Онъ могъ быть безнравственнымъ, подъ однимъ условіемъ: держать въ себѣ замкнутыми великія силы. Тогда ему все прощалось. Если-же не было подозрѣнія, что въ немъ заперты необыкновенныя силы—онъ пропащій человѣкъ: его забросаютъ грязью. Первый могъ ничего не дѣлать; а этотъ что ни дѣлай, какое благо ни приноси—онъ пошлый человѣкъ, въ немъ нѣтъ ничего идеальнаго. По этому только можно судить, сколько еще фантастическаго было въ понятіи объ идеалѣ.

С. Дудышкинъ.

* * *

Первыя стихотворенія Тургенева или «грѣхи молодости», какъ онъ самъ называетъ ихъ, появились въ концѣ тридцатыхъ годовъ въ «Современникѣ», благодаря добродушному, покровительственно относившемуся къ Тургеневу Плетневу. Самостоятельно же Тургеневъ выступаетъ на литературное поприще въ 1841 г. двумя стихотвореніями, напечатанными въ «Отеч. Зап.» подъ иниціалами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ). Одно стихотвореніе озаглавлено было «Старый Помѣщикъ», а другое «Баллада». «Оба эти стихотворенія, говоритъ г. Венгеровъ, **) весьма и весьма слабыя, первое къ тому еще съ весьма странною тенденціею. Въ этихъ стихотвореніяхъ чувствуется и Байронъ, и Лермонтовъ, и романическая школа Гюго. Для такихъ сюжетовъ требуется талантъ первоклассный, поэтому Тургеневъ съ ними и не совладалъ. Онъ бросаетъ вскорѣ «демоническій» жанръ и переходитъ въ онѣгинскій. Тутъ онъ несравненно болѣе

*) „Отечественныя Записки“ 1857 г., № 1.
**) „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“, ч. I.

у мѣста, и первая попытка въ этомъ родѣ — «Параша» является довольно удовлетворительной.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Небольшая книжка, на дняхъ появившаяся въ Петербургѣ, подъ скромнымъ названіемъ «Разсказа въ стихахъ», есть одинъ изъ прекрасныхъ сновъ на минуту проснувшейся русской поэзіи. Увѣренные въ глубокомъ снѣ нашей поэзіи, мы взялись за «Парашу» съ явнымъ предубѣжденіемъ, думая найти въ ней—или сантиментальную повѣсть о томъ, какъ онъ любилъ ее, или какъ она вышла замужъ за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о современныхъ правахъ, написанную прозаическими стихами. Каково-же было наше удивленіе, когда, вмѣсто этого, прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокою идеею, полнотою внутренняго содержанія, отличающуюся юморомъ и ироніею!.. Однако жъ несмотря на то, увѣренность наша въ тяжеломъ снѣ русской поэзіи была такъ велика, что мы не повѣрили первому впечатлѣнію и прочли снова, — еще лучше! И теперь, когда, отъ многократно повтореннаго чтенія, мы почти знаемъ наизусть прекрасное поэтическое произведеніе, такъ неожиданно, такъ отрадно освѣжившее душу нашу отъ прозы и скуки ежедневнаго быта,—спѣшимъ познакомить публику съ явленіемъ, которое имѣетъ полное право на ея вниманіе... Содержаніе «Параши», въ смыслѣ «сюжета», до того просто и немногосложно, что его можно разсказать въ двухъ словахъ: на уѣздной барышнѣ женится помѣщикъ-сосѣдъ,— вотъ и все. Но это не содержаніе, а только канва содержанія; само же содержаніе поэмы такъ полно и богато, что его нельзя передать во всей его жизни, во всей благоуханной свѣжести его поэзіи, не заставляя самого поэта пере-

*) В. Бѣлинскій. Сочиненія Бѣлинскаго.

рывать нашей прозаической рѣчи своими поэтическими стихами... Стихъ обнаруживаетъ необыкновенный поэтическій талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящная и тонкая иронія, подъ которою скрывается столько чувства,—все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то же, что талантъ — по крайней мѣрѣ, безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ поэмѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣшивается толпою съ холодной и бездушной подражательностію. Но люди мыслящіе понимаютъ, что быть подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ великихъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упроченное ими литературѣ и обществу, и рабски подражать — совсѣмъ не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающагося, второе—безталантности. Можно поддѣлаться подъ стихъ и подъ манеру писателя, но не подъ духъ и натуру его, ибо можно цѣлый вѣкъ проживать съ чужими словами и чужими манерами, но отъ собственнаго духа и собственной натуры отречься нельзя, каковы бы они ни были—велики или малы... Въ стихахъ г. Т. Л. столько жизни и поэзіи, въ созерцаніи его столько истины и вѣрности, что тутъ всякая мысль о подражательности нелѣпа. Вся поэма проникнута такимъ строгимъ единствомъ мысли, тона, колорита, такъ выдержана, что обличаетъ въ авторѣ не только творческій талантъ, но и зрѣлость и силу таланта, умѣющаго владѣть своимъ предметомъ. Вообще нельзя не замѣтить, по случаю этой поэмы, какіе великіе успѣхи въ послѣднее время сдѣлали наша поэзія и наше общество: чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить о поэмахъ, являвшихся до «Цыганъ» Пушкина... Иронія и юморъ, овладѣвшіе современною поэзіею, всего лучше доказываютъ ея огромный успѣхъ: ибо отсутствіе ироніи и юмора всегда обличаетъ дѣтское состояніе литературы»...

На основаніи «Параши» Бѣлинскій опредѣляетъ талантъ Тургенева такимъ образомъ: «Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, происходитъ отъ раздражительности нервовъ и живости воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостію красокъ, тою рѣзкою угловатостью формъ, которыя мечутся въ глаза толпѣ и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ болѣе, повидимому, заключаетъ въ себѣ такая поэзія, тѣмъ пустѣе она внутри самой себя, ибо она вся въ воображеніи, и ничего общаго съ дѣйствительностію не имѣетъ; мысли ея похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ея похожи только до тѣхъ поръ, пока смотришь на нихъ: отведите глаза и въ вашемъ воображеніи не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія. Другая поэзія, какъ талантъ, имѣетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны, ея мысли всегда оригинальны, даже не будучи новыми, ибо онѣ не пойманы извнѣ и налету, а возникли и выросли въ душѣ поэта. Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но требуютъ, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубинѣ своей ихъ простая, тихая и цѣломудренная красота. Печать оригинальности составляетъ ихъ неразлучную принадлежность; она есть слѣдствіе способности схватывать сущность, а слѣдовательно, и особенность каждаго предмета. И потому описанія ея запечатлѣны достовѣрностью, такъ что, если бъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы тѣмъ не менѣе убѣждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можетъ служить образцомъ такихъ произведеній... Дай Богъ, чтобъ наша встрѣча съ талантомъ автора «Параши» не была случайна, но превратилась въ знакомство продолжительное и прочное. Грустно было бы думать, что такой талантъ—не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе молодой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обмануть возбужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта героиня его поэмы».

В. Бѣлинскій.

Относительно разбора «Параши» Бѣлинскимъ Дудышкинъ говоритъ: *) «Нельзя видѣть въ этомъ отзывѣ случайность: онъ вполнѣ логиченъ, по крайней мѣрѣ, столько-же, сколько и одностороненъ. Онъ идетъ изъ глубины тѣхъ-же самыхъ убѣжденій, которыя составляли и воззрѣніе на жизнь г. Тургенева при началѣ его литературнаго поприща. Мы долго думали, какъ могъ талантливый критикъ такъ сильно ошибаться по отношенію къ стиху и поэтическому творчеству г. Тургенева, и опять объяснили это одною и тою же теоріею, все заслоняющею. Нельзя было, казалось, всю жизнь не писать стиховъ послѣ такого громкаго одобренія, и г. Тургеневъ написалъ еще двѣ поэмы. Послѣ этого онъ пересталъ писать стихи—и, намъ кажется, очень хорошо сдѣлалъ. Критикъ и поэтъ были подкуплены другъ другомъ, и видѣли то, чего на самомъ дѣлѣ не было. Извѣстно, что герой «Параши» послѣ брака впадаетъ въ ту «пошлость», которая длилась уже всю его жизнь. Всѣ мечты, всѣ стремленія покинуты; однажды надѣтъ былъ халатъ на плечи и — уже конецъ всему. Человѣку нѣтъ никакого дѣла, никакой дѣятельности на землѣ. Онъ дѣлался уже не поэтическимъ человѣкомъ, которыхъ воспѣвали въ поэмахъ, а переходилъ въ область людей, для которыхъ написаны «Мертвыя Души». Впослѣдствіи, чтобъ избавиться отъ подобной участи, всѣ герои г. Тургенева или бѣгутъ куда-то или уѣзжаютъ путешествовать по Европѣ. Они дѣлаются «лишними» въ обществѣ. Вотъ исходный пунктъ всей дѣятельности г. Тургенева, вотъ точка отправленія критики Бѣлинскаго. Судья и подсудимый—здѣсь одно и то же лицо.

С. Дудышкинъ.

* * *

**) На всей «Парашѣ», наряду со многими превосходными мѣстами, лежитъ отпечатокъ *даровитаго юноши.* Чи-

*) „Отечественныя Записки“ 1857 г., № 1.
**) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ся современныхъ представителяхъ“, часть I.

таешь ее: все гладко, хорошо, да вдругъ прорвется неловкое мѣсто, неумѣлость новичка. Въ стихахъ Тургенева проглядываетъ вообще одна общая характеристическая черта:—невыдержанность. Онъ не можетъ послѣдовательно вести разсказъ въ одномъ и томъ же духѣ. Наряду съ возвышеннымъ описаніемъ картины природы или изложеніемъ манфредовскихъ идей у него прорывается вульгарное словечко или неумѣстная острота, и настроеніе читателя разрушается: обаяніе многихъ глубоко поэтическихъ мѣстъ пропадаетъ, и вы въ досадѣ на автора, который самъ вредитъ себѣ наисильнѣйшимъ образомъ отсутствіемъ выдержки. Однимъ словомъ, въ стихахъ Тургенева главнымъ образомъ *хорошія намѣренія.*

С. Венгеровъ.

*
* *

Дѣлая общій обзоръ русской литературы за 1843 г., Бѣлинскій въ 1844 году еще отзывается о «Парашѣ» такъ: *) «Изъ новыхъ произведеній, появившихся въ прошломъ году, можно указать только на небольшую поэму «Параша», которая, по необыкновенно умному содержанію и прекраснымъ поэтическимъ стихамъ, была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не въ такое бѣдное для литературы время, какъ наше...» А черезъ четыре года, т. е. въ 1848 г., онъ же пишетъ: **) «Параша» была замѣчена публикою при ея появленіи по бойкому стиху, веселой ироніи, вѣрнымъ картинамъ русской природы, а главное по удачнымъ физіологическимъ очеркамъ помѣщичьяго быта въ подробностяхъ. Но прочному успѣху поэмы помѣшало то, что авторъ, пиша ее, вовсе не думалъ о физіологическомъ очеркѣ, а хлопоталъ о поэмѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у него нѣтъ самостоятельнаго таланта къ этому роду поэзіи. Оттого все лучшее въ ней проблеснуло какъ-то случайно, невзначай».

В. Бѣлинскій.

*) Сочиненія Бѣлинскаго.
**) „Современникъ“ 1848 г., № 3.

*) Всякое сколько-нибудь замѣчательное или сильное явленіе имѣетъ своихъ часто неудачныхъ подражателей. Въ послѣднее время нашей литературы, Лермонтовъ былъ такимъ явленіемъ, и также увлекъ за собою многихъ неудачныхъ подражателей; къ ихъ числу принадлежитъ г. Тургеневъ, сочиняющій, подобно Лермонтову, и въ стихахъ и въ прозѣ. Предъ нами теперь его небольшое стихотвореніе: *Разговоръ*, написанное размѣромъ: *Мцыри*. Постараемся передать читателямъ содержаніе этого сочиненія, написаннаго вяло, не имѣющаго ни одного такого мѣста, которое бы захотѣлось выписать. Дѣло вотъ въ чемъ: старикъ, который называется здѣсь отшельникомъ, живетъ одинъ въ пустынномъ мѣстѣ; про него говорится между прочимъ слѣдующее:

И озарилися слегка
Нѣмыя губы старика
Надъ длинной бѣлой бородой,
Улыбкой грустной и живой.

Вдругъ является молодой человѣкъ, и разговоръ начинается.

Пришлецъ говоритъ нѣсколько въ духѣ героевъ Лермонтова; но здѣсь не видать только таланта сего послѣдняго. Онъ (молодой человѣкъ) представитель уже нашего поколѣнія. Разговоръ идетъ о любви, и здѣсь въ параллель любви старика, уже несовременной, разсказываетъ молодой человѣкъ свою. Въ этомъ разсказѣ выражается ясно (впрочемъ, только однѣ буквы, одинъ чисто голословный смыслъ заставляетъ догадываться о направленіи) тотъ холодный, съ виду красивый и сильный, но въ сущности жалкій, «гнилой» и безплодный эгоизмъ, который является въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ Лермонтова, выдвинутый всею силою его необыкновеннаго таланта. Но, какъ слаба копія! особенно если вспомнить оригиналъ, въ которомъ столько дарованія, столько красотъ поэтическихъ. Стихи не то, чтобы дурны,—тогда въ нихъ былъ бы какой-нибудь характеръ,

*) „Москвитянинъ“ 1845 г., ч. 2, № 2 („Библіографія“).

какая-нибудь выразительность,—но они рѣшительно ни хороши ни дурны, безцвѣтны и безвкусны, прѣсные стихи! Какое пустое и скучное и жалкое вмѣстѣ впечатлѣніе производятъ сильныя, или лучше претендующія быть сильными страсти, высказываемыя вяло. Выпишемъ для образца нѣсколько стиховъ:

Едва желанное вино
Къ моимъ губамъ поднесено,
И самъ я, самъ, махнувъ рукой,
Роняю кубокъ дорогой.
Когда насталъ прощальный мигъ,
Я былъ и сумраченъ и тихъ;
Она рыдала; видитъ Богъ,
Я самъ понять тогда не могъ,
Зачѣмъ я разставался съ ней.
Молчалъ я, въ сердцѣ стыла кровь,
Молчалъ я, но въ душѣ моей
Была не жалость, а любовь.
Старикъ, повѣрь, я бъ не желалъ
Прожить опять подобный часъ.
Я безпощадно разрывалъ
Все, все, что связывало насъ,
Ее, себя терзалъ я; но
Мнѣ было стыдно и смѣшно,
Что столько лѣтъ я жилъ шутя,
Любилъ забывчивый покой
И забавлялся какъ дитя
Своей причудливой мечтой.
Я съ ней разстался навсегда,
Бѣжалъ, не знаю самъ куда,
Слѣды горячихъ горькихъ слезъ,
Я на губахъ моихъ унесъ.

Хотя разговоръ идетъ преимущественно о любви, но потомъ онъ переходитъ къ другому: старикъ, наконецъ, спрашиваетъ, не ужъ-то же молодой человѣкъ только и дѣлалъ, что любилъ? не ужъ-то же подвигъ, общество не занимали его никогда? На это молодой человѣкъ даетъ отвѣтъ, довольно устарѣлый, то есть, что люди очень худы, и что онъ людямъ чуждъ; онъ исчисляетъ этихъ людей довольно подробно. Вообще за одно можно поблагодарить молодого

человѣка, что онъ называетъ тревоги свои пустыми. Въ самомъ дѣлѣ, что за человѣкъ, который болѣе всего (какъ въ этомъ стихотвореніи) толкуетъ о любви (то есть о любви къ женщинамъ), какъ бы онъ ни толковалъ о ней? Конечно, онъ очень, очень еще молодъ, моложе, нежели думалъ представить г. Авторъ своего молодого человѣка; онъ слабое, мечтательное явленіе, какъ бы твердо и грубо ни отталкивалъ бѣдную женщину, лишая ее своей любви. Только тогда человѣкъ становится крѣпкимъ и дѣйствительнымъ, только тогда становится онъ мужемъ, когда пойметъ себя какъ живую часть въ живомъ цѣломъ, когда пойметъ себя въ общемъ,—однимъ словомъ, когда сознаетъ себя въ народѣ и вмѣстѣ живую связь свою съ нимъ, не только какъ гражданинъ государства, но какъ человѣкъ земли; безъ этого онъ сухой эгоистъ или слабое и иногда мечтательное созданіе. Этого не знаетъ, этого не понимаетъ молодой человѣкъ, въ стихотвореніи выставленный; положеніе его жалко и пробуждаетъ участіе; бѣдное, бѣдное тепличное растеніе! Наконецъ, дѣло, кажется, объясняется: молодой человѣкъ обращается къ предкамъ и говоритъ (что, впрочемъ, нисколько не возражаетъ на слова наши и не извиняетъ его; сказанное нами остается въ прежней силѣ):

Теперь я вопрошаю васъ,
О предки наши! что для насъ
Вы сдѣлали? Скажите намъ:
„Вотъ нашимъ доблестнымъ трудамъ
Благодаря, смотрите, вотъ
Насколько выросъ нашъ народъ;
Вотъ несомнѣнный, яркій слѣдъ
Великихъ истинныхъ побѣдъ".
Что-жъ, отвѣчайте намъ!

Что же предки? Предки молчатъ, и, конечно, мудрено имъ, кажется, отвѣчать, если за нихъ берется отвѣчать Тургеневъ. Это намъ напоминаетъ одинъ анекдотъ о католическихъ итальянскихъ проповѣдникахъ, о томъ, какъ поступаютъ они, желая опровергать Вольтера или Лютера: они обыковенно становятъ передъ собою шапку и говорятъ: положимъ, что это Лютеръ; тутъ начинаются дока-

зательства, опроверженія, вопросы. Ну, что ты скажешь на это? говорятъ они въ заключеніе, ты молчишь?—Бѣдная шапка-Лютеръ молчитъ въ самомъ дѣлѣ, — и проповѣдникъ торжествуетъ. Такъ точно и съ нашими бѣдными предками. Скажите намъ, говоритъ г. Тургеневъ, что-жъ, отвѣчайте намъ! —Но онъ отвѣчаетъ или лучше не отвѣчаетъ, молчитъ самъ за нихъ. Все можно такъ осудить на молчаніе, когда вдругъ какая-нибудь отдѣльная личность рѣшитъ въ предѣлахъ себя самой важный, внѣ ея лежащій вопросъ; она, можетъ быть, вполнѣ удовлетворена и возвѣститъ объ этомъ печатно, если ей угодно, какъ поступаетъ здѣсь г. Тургеневъ; онъ возвѣщаетъ, что предки ничего не сдѣлали, а между тѣмъ лежатъ кучи томовъ, заключающихъ въ себѣ ихъ живое слово, много глубокой мысли лежитъ и теперь въ началахъ жизни народа. Но что ему до этого, что до этой тяжести событій! трудно и могущественно двигаются они и выходятъ на свѣтъ; легко рѣшаетъ отдѣльная личность; въ народѣ является только то, что необходимо и существенно, гласъ народа — гласъ Божій; а личности не запрещено говорить, что ей думается; ей никто не мѣшаетъ и не можетъ мѣшать, именно и потому, что слова ея, какъ личности, безсильны, и ничему также не мѣшаютъ. Да, это легкомысленное и (на сей разъ, по крайней мѣрѣ) безталантное направленіе видимъ мы въ стихотвореніи: «Разговоръ». Странно однако это какое-то спокойное отрицаніе древней жизни предковъ; странно, если говорить объ этомъ серьезно. Это указываетъ намъ на обширную литературную теплицу, гдѣ искусственный жаръ выгоняетъ многія блѣдныя растенія, не говоря о томъ, что производитъ онъ много вовсе не значительной пустой травы, мха и плѣсени; теплица губитъ растенія, можетъ быть, твердо и крѣпко въ другомъ образѣ возникнувшія бы на родной почвѣ, подъ открытымъ небомъ, на чистомъ воздухѣ. Не знаемъ, впрочемъ, погибло-ли что въ талантѣ автора, но во всякомъ случаѣ его стихотвореніе: «Разговоръ» произведеніе тепличное.

„Москвитянинъ“ 1845 г.

*) О, золотое время, время незабвенное, драгоцѣнное время ямбовъ, одъ, трагедій, сонетовъ, мадригаловъ, сатиръ, эпопей и тріолетовъ, героидъ и идиллій, элегій и рондо! Какое великое пособіе, какія важныя удобства доставляло ты ремеслу критика! Все было подведено подъ точныя правила, все опредѣлено подробными законами, все — ясно, чисто, положительно: критикъ, бывало, какъ осмотрщикъ выставленныхъ по контракту дровъ, выходитъ съ пiитическимъ аршиномъ въ рукѣ,—измѣритъ вдоль,—измѣритъ поперекъ, все въ порядкѣ, обману нѣтъ, упущеній не замѣтно,—и говоритъ — хорошо! твореніе классически прекрасное, авторъ—великій человѣкъ. Если же законы нарушены, если правила не соблюдены, если смѣхъ поставленъ тамъ, гдѣ по положенію должна стоять печаль, или острота подложно втиснута въ полустишіе, отведенное для вздоха, или предписанная на извѣстный случай нѣжность неумѣстно превращена въ картину, или въ описаніи пропущенъ разсказъ, или высокое захватило неотъемлемое мѣсто средняго и низкаго, или указное чудесное замѣнено простымъ и натуральнымъ, тогда — о! тогда критикъ могъ за носъ притащить пiита къ уставу, показать ему что—не такъ—ошибка — злоупотребленіе — промахъ, и пiитъ не могъ даже спорить: судъ совершался по законамъ, основанный на нихъ приговоръ читатели исполняли безпрекословно, и земля блаженствовала среди тишины и порядка. А теперь что? Законы изорваны, правила брошены подъ столъ, пiитическое благочиніе ниспровержено: никто никого не слушается; каждый самъ себѣ—законодатель и—что всего больнѣе — авторское смиреніе согнано со двора какъ ненужное и опасное лицемѣрство: пiиты, безъ церемоніи, провозгласили себя геніями, свѣтилами міра, судьями человѣчества, прорицателями и, еще хуже этого, стали выше всякаго правила, всякаго закона, и — подите говорите съ ними! пишутъ въ стихахъ все, что не стоитъ труда писать въ прозѣ,—и прошу добиться до толку! Пiитъ рѣши-

*) „Библіотека для Чтенія“ 1845 г., т. 68, отд., 6. („Новыя книги“).

тельно говоритъ вамъ, что онъ не піитъ, что онъ теперь—поэтъ, то есть, геній, и знаетъ одинъ только законъ, именно, свою фантазію, иначе, свое вдохновеніе. Хорошо. Вы хотите судить его по тому же закону. Онъ по своей личной фантазіи, по вдохновенію, написалъ что-то о бокалѣ, о сладострастіи, о лунѣ, о мечтѣ, о нищемъ, о курганѣ, о цыганкахъ,—вамъ, критику, приходитъ фантазія сказать чистосердечно, что тутъ нѣтъ смыслу; вы тоже получаете вдохновеніе, непреодолимое вдохновеніе вскричать, что это — вздоръ!.. А піитъ, вдругъ, бѣсится. Онъ вамъ—врагъ на всю жизнь, онъ объявляетъ васъ невѣждою и безвкусникомъ, онъ пишетъ на васъ цѣлые томы риѳмованной брани и пятистопной бѣлой клеветы. Ни суда ни расправы на него нѣтъ. Читатель не знаетъ кому и чему вѣрить: вамъ ли и вашей искренней, хладнокровной фантазіи или ему и разгоряченной фантазіи свѣтила міра? судьѣ ли человѣческаго пустословія или судьѣ человѣчества? вдохновенію ли прорицателя будущаго или вдохновенію лѣтописца прошедшаго? По крайнему моему вдохновенію, вотъ эта, напримѣръ, книжица... Но я, право, боюсь объявлять мои вдохновенія. Мало ли я надѣлалъ себѣ враговъ изъ всякихъ разныхъ піитовъ, превратившихся въ поэты! Позвольте воскликнуть еще разъ: о золотое, драгоцѣнное, трижды, четырежды счастливое время эклогъ, мадригаловъ, одъ, диѳирамбовъ, сонетовъ, трагедій и эпопей! О, блаженные вѣка законовъ и правилъ для человѣческой фантазіи! о, невознаградимые дни *оные*, когда критикъ, поймавъ въ руки томъ стихотворнаго разглагольствія, непохожаго ни на оду, ни на эклогу, ни на трагедію, ни на сонетъ, ни на героиду, ни на эпистолу, ни даже на дидактическую поэму, называлъ это *эпопеей*, потому что другого названія уже не оставалось во всей піитикѣ, и смотрѣлъ прежде всего, есть ли тутъ *пою*. Есть! Хорошо. Теперь, спрашивалось; что *пою?* И піитъ изъяснялъ вамъ:

„Пою героя, что, разрушивши коварство,
Орудіемъ досталъ французско государство
Что, долго странствуя межъ сопротивныхъ силъ,
Наслѣдіе свое чрезъ храбрость получилъ“.

Вотъ это ясно, просто, понятно! Вы уже только искали, правильно ли *сей герой* станетъ *разрушать коварство,* по точнымъ ли гомерическимъ законамъ онъ оружіемъ достанетъ *французское государство,* какъ *долго странствовалъ межъ сопротивными силами,* ходилъ ли между прочимъ въ адъ, разсказывалъ ли свои бѣды какой-нибудь Калипсо или Дидонѣ, и какіе боги помогли ему *чрезъ храбрость получить свое наслѣдіе.* Это былъ контрактъ съ читателемъ и критикомъ, записанный въ маклерской книгѣ искусства. Піитъ былъ связанъ по рукамъ и по ногамъ: обѣщался—исполни, или плати неустойку! Но, съ тѣхъ поръ какъ на поэзію нахлынули орды варваровъ, англійскихъ, нѣмецкихъ, индѣйскихъ, арабскихъ, сандвичскихъ,—все перепуталось: прекрасное стало смѣшнымъ, гладкое прекраснымъ, роды уничтожены, безродье пошло въ славу, полная свобода — исключая свободы слушаться какихъ-нибудь правилъ — замѣнила прежнюю строгость, и всѣ сбились съ толку, читатели и критики. Берешь стихотворную книгу и не знаешь, что дѣлать—смѣяться ли?—плакать ли?—грустить ли?—тихо ли наслаждаться? Поминутно являются комическія трагедіи, драматическіе мадригалы, идиллическія оды, разговорныя эпопеи, печальныя эпиграммы, плаксивые диѳирамбы. Вотъ эта, наприм., поэма, «Разговоръ»: какъ ее назвать? Къ какому разряду причислить? Какъ объ ней судить и что сказать? Изъ заглавія ясно только одно, а именно, что это—новое произведеніе господина Т. Л., который вовсе не Т. Л. Возлѣ этихъ таинственныхъ буквъ онъ теперь выставляетъ свое настоящее имя, начинающееся совершенно другими буквами, что и составляетъ капитальную разницу съ его прежними стихотвореніями, которымъ нѣтъ имени. Вы спрашиваете—что сказать о поэмѣ или *стихотвореніи „Разговоръ“?* Да что жъ тутъ и говорить? Вдохновеніе, и болѣе ничего! Вдохновенный «Разговоръ». А каковъ онъ, этого я не могу сказать: я рѣшился отнынѣ впредь не сообщать никому моихъ вдохновеній. Послушайте, и пусть каждый изъ васъ произнесетъ приговоръ по своему собственному вдохновенію.

Дѣло начинается тѣмъ, что поэтъ *бродилъ* передъ *нѣмымъ* дворцомъ, и бродилъ *вечеромъ;* все кругомъ *дремало; утихъ блестящій пиръ* и *погасъ* громкій смѣхъ безумнаго веселья.

„Среди таинственной, *великой* тишины
„Березы гибкія *шептали боязливо.*

Шептаніе, какъ вы знаете, не портитъ великой тишины, особенно если оно *боязливо.* Оно опасно только для *малой* тишины. Да притомъ еще—

„*И каменные львы* глядѣлись *молчаливо*".

Именно, это такъ было: *каменные* львы, по особенному вдохновенію, были въ этотъ вечеръ необыкновенно *молчаливы,* изъ уваженія къ *великой* тишинѣ, и, не пикнувъ ни слова, глядѣлись—

„Въ *стальное зеркало* темнѣющей *волны*".

Я, по моему вдохновенію, смѣю предполагать, что *стальное зеркало* плавало по темнѣющей *волнѣ,* потому болѣе что сама собою волна совсѣмъ не похожа на зеркало. Такимъ образомъ, каменные львы *молчали,* все *дремало.*—

„И спящій міръ *дышалъ безсмертной красотой*".

Пока все *дремало,* міръ уже *спалъ* наповалъ и *дышалъ* себѣ *безсмертной красотой,* потому что въ нужномъ случаѣ можно и *красотой дышать.* Міръ, когда крѣпко заснетъ, дышитъ иногда престранными вещами. Надобно знать, что поэтъ *шелъ не подымая глазъ,* и не только видѣлъ все это, но даже и *вопрошалъ небо глазами,* не глядя кверху. Не всякій можетъ это сдѣлать: но въ томъ то и штука! Если бы всѣ дѣлали то, что дѣлаютъ поэты, не было бы поэзіи. Мало того, туманъ на небѣ, звѣздъ обыкновенно не видно, а поэтъ, *не подымая глазъ,* видѣлъ даже, какъ «Звѣзды *неслись* въ *туманной вышинѣ*». Но зачѣмъ же *бродилъ* поэтъ передъ *нѣмымъ* дворцомъ? Что мѣшало ему поднять глаза? О, поэтъ былъ очень занятъ!

„О *жизни думалъ я...*
О всемъ, *что на землѣ во вѣкъ неразрѣшимо*
............И *тяжко было мнѣ,*
И вся *душа* моя *пресытилась* тоской".

Правду сказать, есть о чемъ подумать—о томъ, что на землѣ *вѣкъ неразрѣшимо!* Иной бы избралъ для думы предметъ нѣсколько болѣе удобный: но поэтамъ ли думать о вещахъ, въ которыхъ можно что-нибудь выдумать! Однако-жъ всѣ думы поэта о *жизни*, о *всемъ, что вѣкъ неразрѣшимо,* разрѣшились *разговоромъ* между двумя собесѣдниками. Одинъ изъ нихъ былъ отшельникъ, *блѣдный и худой,* съ *дряхлой головой, съ бѣлой бородой,* улыбкой *грустной, но живой,* съ *нѣмыми губами,* и жилъ въ *пещерѣ мрачной и сырой.* Другой былъ безбородый, съ *пасмурнымъ лицомъ;* былъ *странникъ молодой,* у котораго—

„Прошли, какъ сонъ,
За днями дни, за годомъ годъ,
Завяла жизнь“...
И вотъ оный—
„*Странникъ молодой*
Поникъ печально головой,
Пожалъ болѣзненно плечомъ
И тихо вздрогнулъ и, потомъ,
Взглянулъ *медлительно* кругомъ,
И говорили *взоры тѣ*
О безвозвратной пустотѣ
Души погибшей“.

Этотъ странникъ молодой, съ пасмурнымъ лицомъ, съ завядшею жизнью, съ безвозвратною пустотою погибшей души, пожимая болѣзненно плечомъ—

„Говорилъ,
Какъ онъ страдалъ, какъ онъ любилъ,
.......И какъ давно
Ему *томиться суждено,*
И какъ онъ палъ“.

На это отшельникъ отвѣчаетъ ему, что онъ, отшельникъ, въ свое время былъ—

„*Силенъ и суровъ*
И горделивъ, и сколько могъ,
Я сердце вольное берегъ...
Я былъ глупѣй тебя, глупѣй,
Я не мутилъ душой моей;
Но ты безстрастный человѣкъ,
Ты успокоился на вѣкъ!“

Молодой странникъ разсердился.

„Кто? Я *спокоенъ?* Боже мой!
Я гибну въ медленномъ огнѣ...
Да, ты смѣешься надо мной,
Старикъ“!

Желая успокоить гостя, старикъ спрашиваетъ его:

„Любилъ ли ты кого-нибудь?
Иль никогда *нѣмая* грудь,
Блаженства горькаго полна,
Не трепетала, какъ струна?

Какъ не любить! Но только, старикъ, скажи напередъ:

„А ты любилъ“?

Да, бывали грѣхи! И старикъ разсказываетъ, что онъ ужасно любилъ, но предметъ его обожанія, къ сожалѣнію, умеръ. Съ своей стороны, молодой странникъ сообщаетъ, что онъ любилъ, но, къ досадѣ, любовь ему надоѣла. Потомъ старикъ спрашиваетъ:

„Какой ты подвигъ совершилъ?
Какому Богу ты служилъ?

Странникъ отвѣчаетъ:—Подвигъ мой тотъ, что съ *людьми я сблизиться не могъ,*—

„И вновь одинъ, *среди тревогъ*
Пустыхъ, живу я съ давнихъ поръ“.

Старикъ начинаетъ браниться: говоритъ—

„Ты, *какъ дитя самолюбивъ,*
Какъ *женщина нетерпѣливъ,*
И, *добродушно,* лишь собой
Ты занятъ.........“

Странникъ увѣряетъ, что онъ не виноватъ, что такъ нужно, что люди величайшіе мерзавцы. Старикъ споритъ. Странникъ предлагаетъ ему нижеслѣдующій вопросъ:—А ты зачѣмъ же въ пещеру ушелъ?..

„А между тѣмъ, не ты ли самъ
Покинулъ *бренный* міръ?

Пойманный съ поличнымъ, старикъ взбѣсился, и началъ браниться еще хуже:

„Такъ *будь же проклятъ ты навѣкъ*
Больной, безсильный человѣкъ!“

Странникъ не могъ выдержать: онъ разбранилъ старика, и не дожидаясь отвѣту,—

Онъ торопливо всталъ. Рукой
Лицо закрылъ старикъ сѣдой...
Но гдѣ же странникъ? Онъ исчезъ!“—

И разговоръ кончился. Все *неразрѣшимое* разрѣшилось этимъ искреннимъ объясненіемъ молодого лѣнтяя, Чайльдъ-Гарольда Невскаго Проспекта, съ хворымъ старичкомъ, который живетъ Діогеномъ въ сырой пещерѣ. Поэзія и логика выиграли огромный кушъ. Поэтому, при заключеніи дѣла, приходитъ очень мудрое вдохновеніе, что онъ нынѣшнихъ поэтовъ нельзя ждать никакого проку:

„Намъ *даже слово не далось,*
И нашъ потомокъ мимо насъ
Пройдетъ *съ поднятой головой,*
Неблагодарный и нѣмой...

Извѣстно, что нынѣшніе поэты—прорицатели, и что прорицанія ихъ всегда сбываются. Какъ поэтъ оцѣниваетъ самъ себя, такъ это, просто, ужасъ. Онъ безъ запинки говоритъ о себѣ такія вещи, что человѣкъ посторонній могъ бы принять ихъ за клевету.

„Старикъ, ты правъ, но ты жестокъ!
Послушай: каждый твой упрекъ
Неотразимъ!.. Душа моя
Томится *гнѣвомъ и тоской...*
И стыдно мнѣ: мои глаза
Сжигаетъ ѣдкая слеза:
Но все жъ ты правъ: *я шутъ, я рабъ,*
Я какъ *ребенокъ вялъ и слабъ—*
Мои мечты еще глупѣй
Моихъ младенческихъ затѣй...

И не далась мнѣ тайна словъ,
Живыхъ властительныхъ рѣчей".

Я никогда бы не осмѣлился такъ оцѣнивать никакого поэта.

„*Библіотека для Чтенія*" *1845 г.*

* * *

*) «Разговоръ» составляетъ несомнѣнно прогрессивное явленіе въ талантѣ его автора. Помимо великолѣпнаго стиха, который во всей поэмѣ поражаетъ васъ почти лермонтовскою силою и не представляетъ шероховатостей «Параши», въ самой тенденціи, въ основной мысли «Разговора» положена тема, менѣе отъ насъ отдаленная, чѣмъ таковая первой поэмы Тургенева. «Разговоръ» есть произведеніе горячаго приверженца романтической школы, которая не онѣгински разочарована въ жизни, но глубоко ее ненавидитъ, клеймитъ, презираетъ, проклинаетъ. Авторъ недоволенъ матеріальностію современныхъ ему людей, и вотъ онъ, въ формѣ поэтическаго разговора между отжившимъ и удалившимся въ пустыню старикомъ и молодымъ человѣкомъ, выставляетъ свои права на неодобреніе происходящаго предъ его глазами... Сюжетъ «Разговора» не вполнѣ космополитическій и не носитъ никакихъ отличительныхъ признаковъ мѣстности и народности. Даже эпоха не вполнѣ ясно обрисовывается въ поэмѣ, потому что паѳосъ разговаривающихъ направленъ на такія несовершенства человѣческаго рода, которыя составляютъ причину вѣчной борьбы пошлости съ возвышенностію, борьбы, проходящей чрезъ всю историческую жизнь человѣчества, и, слѣдовательно, стоящей внѣ времени и мѣста... Въ началѣ поэмы предъ нами выступаетъ отшельникъ, удалившійся въ сырую и мрачную пещеру, для того чтобы позабыть треволненія прожитой имъ жизни, разочарованія, его въ ней встрѣтившія, матеріальность большинства людей, ихъ несоотвѣтствіе

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ", ч. I.

съ идеаломъ истиннаго человѣческаго существованія... Къ нему является молодой человѣкъ, когда-то находившійся подъ его вліяніемъ, но теперь уже возмужалый. Онъ приходитъ къ старику, чтобы подѣлиться своимъ безнадежнымъ взглядомъ на жизнь, чтобы чистосердечною исповѣдью облегчить свое невеселое настроеніе. И старикъ ему радъ. Онъ въ уединеніи своемъ жилъ надеждою на будущее, онъ думалъ, что новое поколѣніе исправитъ ошибки стараго. Но увы! ничего подобнаго не случилось, и старикъ въ ужасѣ отъ разсказа молодого человѣка. Ему горько и страшно убѣждаться въ неустраняемости того, въ борьбѣ противъ чего онъ истратилъ лучшія силы своей молодости. Разсказъ молодого человѣка въ сущности очень похожъ на знаменитую «Думу» Лермонтова... Блестящей апоѳеозой будущаго кончается поэма. Въ заключительныхъ словахъ ея мы слышимъ уже горячій протестъ противъ тѣхъ больныхъ мѣстъ нашего прежняго общественнаго быта, что огорчало лучшихъ людей предшествующей эпохи. Мы видимъ, что авторская мысль была «плѣнена» невеселымъ раздумьемъ, онъ старался разрѣшить грозную дилемму, представляемую окружающею его обстановкою, ему хочется провести въ нее больше осмысленности и цѣлесообразности.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Имя г. Тургенева, автора «Параши», еще ново въ нашей литературѣ; однако-жъ уже замѣчено не только избранными цѣнителями искусства, но и публикою. Только истинный, неподдѣльный талантъ могъ быть причиною такого быстраго и прочнаго успѣха. И дѣйствительно, г. Тургеневъ—поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его муза не обѣщаетъ намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой великой школы искусства;

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица *не общимъ* выраженьемъ.

*) В. Бѣлинскій. Сочиненія В. Бѣлинскаго.

Произведенія г. Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время. Крѣпкій, энергическій и простой стихъ, выработанный въ школѣ Лермонтова, и въ то-же время стихъ роскошный и поэтическій, составляетъ не единственное достоинство произведеній г. Тургенева: въ нихъ всегда есть мысль, ознаменованная печатью дѣйствительности и современности. и, какъ мысль даровитой натуры, всегда оригинальная. Поэтому отъ г. Тургенева многаго можно ожидать въ будущемъ. Повторяемъ: это не изъ тѣхъ самобытныхъ и геніальныхъ талантовъ, которые подобно Пушкину и Лермонтову, дѣлаются властителями думъ своего времени и даютъ эпохѣ новое направленіе, но въ его талантѣ есть свой элементъ, своя часть той самобытности, оригинальности, которая, завися отъ натуры, выводитъ талантъ изъ ряда обыкновенныхъ, и благодаря которой онъ будетъ имѣть свое вліяніе на современную ему литературу. Русская поэзія уже до того выработалась и развилась, что теперь почти невозможно пріобрѣсти на этомъ поприщѣ извѣстность, не имѣя болѣе или менѣе самостоятельнаго таланта—и. въ то же время, почти невозможно истинному таланту не сдѣлаться извѣстнымъ въ самое короткое время. Вотъ почему «Параша» — это произведеніе, запечатлѣнное всею свѣжестью, всею яркостью и страстностію и вмѣстѣ съ тѣмъ всею неопредѣленностію перваго опыта, обратила на себя общее вниманіе тотчасъ по своемъ появленіи, и удостоилась не только похвалы однихъ, но и брани другихъ журналовъ, брани, въ которой высказалась, подъ плоскими и неудачными остротами, худо скрытая досада... Теперь передъ нами вторая поэма г. Тургенева. Сравнивая «Разговоръ» съ «Парашею», нельзя не видѣть, что въ первомъ поэтъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ «Парашѣ» мысль похожа болѣе на намекъ, нежели на мысль, потому что поэтъ не могъ вполнѣ совладать съ нею; въ «Разговорѣ» основная мысль съ выпуклою и яркою опредѣленностію представляется уму читателя. И между тѣмъ эта мысль не высказана никакою сентенціею: она вся въ изложеніи со-

держанія, вся въ звучномъ, крѣпкомъ, сжатомъ и поэтическомъ стихѣ. Содержаніе поэмы просто до того, что рецензенту нечего и пересказывать. Это—разговоръ между старымъ отшельникомъ, который и на краю могилы все еще живетъ воспоминаніемъ о своей прошлой жизни, такъ полно, такъ могущественно прожитой,—и молодымъ человѣкомъ, который вездѣ и во всемъ ищетъ жизни, и нигдѣ ни въ чемъ не находитъ ее, отравляемый, мучимый какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ внутренней пустоты тайнаго недовольства собою и жизнію... Пусть читатели сами прослѣдятъ въ цѣлой поэмѣ ея основную мысль: мы не считаемъ себя въ правѣ отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякій, кто живетъ и, слѣдовательно, чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнію нашего вѣка—апатіею чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли, — всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный «Разговоръ» г. Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается».

Черезъ три года Бѣлинскій писалъ о «Разговорѣ»: *)

«Стихи въ поэмѣ звучные и сильные, много чувства, ума, мысли, но какъ эта мысль чужая, заимствованная, то на первый разъ поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется».

В. Бѣлинскій.

* * *

**) Бѣлинскій обратилъ вниманіе на стихотвореніе Тургенева «Разговоръ»; онъ призналъ въ немъ звучный и сильный стихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ мысль не самостоятельную. Дѣйствительно, съ перваго взгляда, это странное стихотвореніе поражаетъ какимъ-то запоздалымъ байронизмомъ во вкусѣ Козлова. Но въ старомъ отшельникѣ, удалившемся въ пустыню отъ неудачной любви, и въ приходящемъ къ нему молодомъ человѣкѣ, разочарованномъ и

*) „Современникъ“ 1848 г., № 3.

**) О. Миллеръ. „Публичныя лекціи О. Миллера“.

махнувшемъ на все рукою, въ обмѣнѣ мыслей между старикомъ и юношей Тургеневъ тогда уже выставилъ два поколѣнія, взаимно упрекающія одно другое... Въ этомъ сопоставленіи двухъ поколѣній, въ формѣ, конечно, странной, уже устарѣлой, заключается какъ бы программа многихъ послѣдующихъ произведеній какъ самого Тургенева, такъ и другихъ представителей нашей нравоописательной повѣсти; но Бѣлинскій, конечно, не могъ предвидѣть появленія подобныхъ произведеній. Да и вообще, по тѣмъ произведеніямъ Тургенева, которыя появились при немъ, нашъ незабвенный критикъ не могъ составить себѣ полнаго понятія о будущемъ Тургеневѣ; вслѣдствіе этого, насъ не должно удивлять, что Бѣлинскій признавалъ его способнымъ только на физіологическіе очерки. Полноту творческой силы Бѣлинскій видѣлъ собственно въ Гончаровѣ, а это легко объясняется тѣмъ, что Гончаровъ сразу подарилъ насъ такимъ крупнымъ произведеніемъ, какъ «Обыкновенная Исторія». Что касается насъ, то, имѣя уже передъ глазами цѣлый рядъ позднѣйшихъ капитальныхъ произведеній Тургенева, мы, конечно, не можемъ согласиться съ мнѣніемъ Бѣлинскаго.

О. Миллеръ.

* * *

Въ обозрѣніи русской литературы за 1845 годъ Бѣлинскій между прочимъ говоритъ: *) «Прошлый литературный годъ дебютировалъ вдругъ двумя весьма замѣчательными поэмами въ стихахъ. Первая «Разговоръ» г. Тургенева написана удивительными стихами, какіе теперь являются рѣдко, исполнена мысли; но вообще въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Лермонтова,—и, прочитавъ новую поэму г. Тургенева (поэму «Андрей»), помѣщенную въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», нельзя не замѣтить, что, въ этомъ послѣднемъ родѣ, талантъ г. Тургенева гораздо свободнѣе, естественнѣе, оригинальнѣе, больше, такъ сказать, у себя дома, нежели въ «Разговорѣ».

*) Сочиненія В. Бѣлинскаго.

Спустя два года, онъ же пишетъ: *) «Въ поэмѣ г. Тургенева «Андрей» много хорошаго, потому что много вѣрныхъ очерковъ русскаго быта; но въ цѣломъ поэма опять не удалась, потому что это повѣсть любви, изображать которую не въ талантѣ автора. Письмо героини къ герою поэмы длинно и растянуто, въ немъ больше чувствительности, нежели паѳоса. Вообще въ этихъ опытахъ г. Тургенева (относится ко всѣмъ поэмамъ) былъ замѣченъ талантъ, но какой-то нерѣшительный и неопредѣленный».

В. Бѣлинскій.

***

**) Говоря о стихотворной повѣсти Тургенева «Андрей», герой которой представляетъ существовавшій и до Тургенева типъ русскаго человѣка, поучившагося кое-чему, далеко не глупаго, но не знающаго, что предпринять, и отъ нечего дѣлать начинающаго видѣть всю цѣль жизни въ одной любви, Бѣлинскій страннымъ образомъ заявилъ мнѣніе, будто-бы изображать любовь «не въ талантѣ автора». Множество Тургеневскихъ повѣстей, появившихся уже послѣ Бѣлинскаго, конечно, не подтвердили этого мнѣнія. Съ другой стороны, даровитый нашъ критикъ не отмѣтилъ въ этомъ произведеніи нѣсколько стиховъ, въ которыхъ указываются причины невыясненности распространеннаго у насъ типа «лишняго человѣка».

О. Миллеръ.

***

***) Г. Венгеровъ, разбирая поэму «Андрей», между прочимъ говоритъ: «Шероховатымъ и многоглаголевымъ рядомъ скучныхъ стиховъ Тургеневъ описалъ наростающее чувство своего героя къ нѣкоей замужней барынѣ, которая въ свою очередь благоволитъ къ Андрею. Поэма очень

*) „Современникъ“ 1848 г., № 3.

**) Миллеръ. („Публичныя лекціи“ Ореста Миллера).

***) „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“, ч. 1.

длинна и все-таки дѣйствія никакого не заключаетъ, такъ что авторъ потратилъ свои риѳмы единственно на изображеніе неопредѣленнаго томленія дѣйствующихъ лицъ—сюжетъ по своей неуловимости посильный Пушкину или Лермонтову, но никакъ не послѣдователю ихъ—не перваго разряда».

С. Венгеровъ.

*
* *

*) Г. Тургеневъ написалъ стихотворный разсказъ—«Помѣщикъ», не поэму, а физіологическій очеркъ помѣщичьяго быта, шутку, если хотите, но эта шутка какъ-то вышла далеко лучше всѣхъ поэмъ автора. Бойкій эпиграмматическій стихъ, веселая иронія, вѣрность картинъ, вмѣстѣ съ этимъ выдержанность цѣлаго произведенія, отъ начала до конца—все показывало, что г. Тургеневъ напалъ на истинный родъ своего таланта, взялся за свое, и что нѣтъ никакихъ причинъ оставлять ему вовсе стихи.

В. Бѣлинскій.

*
* *

**) Поэмы г. Тургенева явились въ публику подъ вліяніемъ слѣдующихъ литературныхъ убѣжденій: полнѣйшее упоеніе отъ «Героя Нашего Времени» и «Мертвыхъ Душъ» давало автору «Параши» и «Андрея» и идеалъ и обстановку. Идеалъ—молодой человѣкъ, образованный, не находящій себѣ дѣятельности... извѣстный «Лишній человѣкъ», обстановка—извѣстная жизнь нашихъ городовъ, деревень, по Гоголю.

С. Дудышкинъ.

*
* *

***) Тургеневъ началъ прямо съ крайнихъ крайностей направленія, оставшагося намъ въ наслѣдство послѣ покойнаго Лермонтова. Въ своей «Парашѣ», въ которой одинъ

*) „Современникъ“ 1848 г., № 3.
**) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки“ 1857 г. № 1.
***) А. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева.

Бѣлинскій своимъ геніальнымъ чутьемъ угадалъ задатки необыкновеннаго, только, можетъ быть, не свою дорогу избравшаго дарованія,—онъ сильно проповѣдывалъ, что

...гордость—добродѣтель, господа!

Въ своемъ «Помѣщикѣ» онъ также пылко, также впечатлительно кадилъ горько-сатирическому направленію,—*терзался* на счетъ гнусности *козлиныхъ* (вмѣсто козловыхъ) башмаковъ уѣздныхъ барышень, *благословляя*, подъ вліяніемъ Лермонтова, на *страданіе* молодыхъ дѣвчонокъ,—въ прелестной и задушевной, впрочемъ, строфѣ.

А. Григорьевъ.

* * *

*) Мелкія стихотворенія Тургенева разбросаны по «Отеч. Запискамъ», сборнику гр. Соллогуба «Вчера и Сегодня» и «Современнику», начиная съ 1843 по 1847 г. Мелкія вещи Тургенева носятъ тотъ же характеръ, что «Разговоръ» и первыя прозаическія его произведенія: «Андрей Колосовъ», «Три Портрета», «Бреттеръ» и другія... Въ нихъ ясно выступаетъ лермонтовское міросозерцаніе, лермонтовское недовольство пошлостью обыденной жизни. Вездѣ преобладаетъ субъективный колоритъ, но при этомъ авторъ выражаетъ тѣ субъективныя ноты, которыя свойственны всякому человѣку, и потому интересны. Иной разъ Тургеневъ оставляетъ «злобу дня» и предается мирному изображенію картинъ природы. Такія вещи удаются ему превосходно».

С. Венгеровъ.

* * *

Въ обозрѣніи литературы за 1844 годъ Бѣлинскій упоминаетъ, между прочимъ, и о стихотвореніяхъ Тургенева въ слѣдующихъ словахъ:

«Между немногими стихотвореніями, печатавшимися въ

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ современныхъ ея представителяхъ“, ч. 1.

нашихъ прошлогоднихъ журналахъ, въ нѣкоторыхъ промелькивали искорки его поэзіи безъ мысли, то мысли безъ поэзіи, то что-то какъ будто похожее и на мысль и на поэзію вмѣстѣ. Мы разумѣемъ здѣсь гг. Майкова, Фета, Т. Л., Огарева, Кремнева, Полонскаго.

В. Бѣлинскій.

* * *

*) Тургеневъ, какъ большая часть крупныхъ литературныхъ дарованій, началъ свое литературное поприще поэтическими опытами. Онъ скоро отказался отъ поэзіи и впослѣдствіи какъ бы не признавалъ своихъ первыхъ стихотворныхъ работъ, исключая ихъ изъ собранія своихъ сочиненій. Въ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ онъ говоритъ, что знаменитый критикъ «послѣ перваго привѣтствія», сдѣланнаго его стихотвореніямъ, охладѣлъ къ тогдашней его поэтической дѣятельности, и считаетъ это охлажденіе вполнѣ справедливымъ. «Не могъ же онъ — признается Тургеневъ — поощрять меня въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которымъ я тогда предавался. Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія — и возымѣлъ твердое намѣреніе вовсе оставить литературу». Тѣмъ не менѣе, несмотря на такой взглядъ самого Тургенева, его первыя стихотворенія и поэмы совсѣмъ не такъ слабы, какъ это думалъ самъ авторъ въ эпоху ихъ появленія и впослѣдствіи, когда онъ пріобрѣлъ извѣстность одного изъ первыхъ русскихъ и европейскихъ беллетристовъ. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ Тургенева и еще болѣе въ его двухъ поэмахъ «Параша» и «Разговоръ» виденъ настоящій поэтическій талантъ, и эти, теперь забытыя, поэмы, право, не ниже многихъ поэмъ присяжныхъ пѣвцовъ, какъ изъ числа сверстниковъ Тургенева, такъ и позднѣйшихъ поколѣній. Сравните «Парашу», напримѣръ, хотя съ поэмой «Машенька» — однимъ изъ раннихъ поэтическихъ опытовъ Майкова, и вы убѣди-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884.

тесь, что Тургеневъ обнаружилъ, какъ стихотворецъ, задатки дарованія, пожалуй, не меньшаго, чѣмъ у автора «Двухъ Міровъ». Бѣлинскій недаромъ восхищался въ «Парашѣ» такими поэтическими картинами, какъ, напримѣръ, вотъ это описаніе южнаго знойнаго дня:

Томительно глубокой синевой
Все небо полно; какъ больной въ недугѣ
Земля горитъ и сохнетъ; подъ скалой
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ—
И движется, и дышитъ, и молчитъ...
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неутомимымъ,
Могучимъ солнцемъ рдѣютъ... дивный видъ!
А, вотъ, зарывшись весь въ песокъ блестящій,
Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій
Любуется имъ съ завистью—я самъ
Имъ тоже любовался по часамъ.

Отъ такихъ стиховъ и такой поэтической живописи, конечно, не отказался бы ни одинъ поэтъ съ признаннымъ, крупнымъ дарованіемъ. Вообще слѣдуетъ сказать, что какъ въ поэмахъ, такъ и въ мелкихъ стихотвореніяхъ, картины природы у Тургенева выходятъ превосходно. Извѣстно, что впослѣдствіи, въ своихъ прозаическихъ произведеніяхъ, онъ достигъ въ рисовкѣ подобныхъ картинъ такого мастерства, такой поистинѣ художнической выразительности, какія встрѣчаются только у геніальнѣйшихъ представителей поэзіи. Но и въ его первоначальныхъ стихотворныхъ опытахъ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ, обнаруживается не меньшее мастерство. Припомнимъ еще одну изъ пьесъ, въ которой изображеніе природы и ея сродства съ человѣческой жизнью достигаетъ поэтической задушевности и прелести лучшихъ вдохновеній Фета. Пьеса эта называется «Безлунная Ночь»:

О, ночь безлунная, ночь теплая, нѣмая!
Ты нѣжишься, ты млѣешь, изнывая,
Какъ отъ любовныхъ ласкъ усталая жена;
Иль, можетъ быть, невѣдѣньемъ полна,
Мечтательнымъ невѣдѣньемъ желаній,
Стыдливая, ты ждешь таинственныхъ лобзаній?
Скажи мнѣ, ночь, въ кого ты влюблена?

Но ты молчишь на мой вопросъ нескромный—
И на тебѣ покровъ густѣетъ темный.
Я зараженъ тобой: вдыхаю влажный паръ—
И чувствую, въ груди тревожный вспыхнулъ жаръ,
Мнѣ слышится твой безконечный ропотъ,
Твой лепетъ вкрадчивый, твой непонятный шопотъ—
И тѣнь пахучая подъемлется кругомъ.
Лицо горитъ невѣдомымъ огнемъ,
Расширенная грудь дрожитъ воспоминаньемъ,
Томится горестью, блаженствомъ и желаньемъ,—
И воздухъ ласковый, чуть дремлющій, ночной,
Какъ будто самъ дрожитъ и пышетъ надо мной.

Въ этой превосходной пьесѣ чувствуется подражаніе пушкинской манерѣ. Но въ своихъ поэмахъ, говоря вообще, Тургеневъ подражалъ Лермонтову, по крайней мѣрѣ, въ фактурѣ стиха. «Параша» явно написана подъ вліяніемъ «Сказки для дѣтей» и даже въ формѣ строфъ, кажется, впервые введенныхъ у насъ Лермонтовымъ. Нѣкоторые стихи этой поэмы можно приписать Лермонтову: до того Тургеневъ усвоилъ его технику. Вотъ два очень выразительныхъ въ этомъ отношеніи отрывка:

Ея лицо мнѣ нравилось... Оно
Задумчивою грустію дышало;
Всегда казалось мнѣ: ей суждено
Страданій въ жизни испытать не мало.—
И что жъ? мнѣ было больно и смѣшно:
Вѣдь въ наши дни спасительно страданье...

* * *

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ—
Но не блестѣлъ онъ блескомъ торопливымъ;
То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,
То холодомъ проникнутъ горделивымъ,
То чуть мерцалъ, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.
Но взглядъ ея задумчиво спокойный
Я больше всѣхъ любилъ; я видѣлъ въ немъ
Возможность страсти горестной и знойной—
Залогъ души, любимой божествомъ.

Другая поэма, «Разговоръ», явно навѣяна лермонтовскимъ «Мцыри», точно такъ же, какъ «Помѣщикъ» представляетъ подражаніе «Казначейшѣ». Въ «Разговорѣ», впрочемъ,

есть превосходные, сильные и энергическіе стихи, и поэма эта замѣчательна въ томъ отношеніи, что ея основная идея — параллель двухъ поколѣній, отцовъ и дѣтей. Но отношеніе между представителями поколѣній въ юношеской поэмѣ Тургенева какъ разъ обратное тому, какое находимъ въ его знаменитомъ романѣ. Представитель типа отцовъ въ «Разговорѣ» является цѣльнымъ и мощнымъ характеромъ, прожившимъ свой вѣкъ всею полнотою силъ и на закатѣ своихъ дней волнующимся страстнымъ воспоминаніемъ своей пылкой жизни. Представитель дѣтей, напротивъ, является надломленною, рефлективною натурою, томящейся тщетной жаждой жизни, живого дѣла, живыхъ увлеченій и терзающейся сознаніемъ своего душевнаго безсилія, своей внутренней пустоты. Словомъ, по основной мысли, молодое поколѣніе той эпохи, когда написана поэма, является пасующимъ предъ поколѣніемъ старымъ. Оно такъ и было въ то время: за могучими и широкими натурами «вѣка богатырей» народились заѣденные рефлексіей идеалисты и романтики сороковыхъ годовъ. Тургеневъ отгадалъ и намѣтилъ отношеніе двухъ поколѣній точно такъ же вѣрно и мѣтко, какъ и впослѣдствіи, почти черезъ двадцать лѣтъ послѣ появленія «Разговора».

Оцѣнивая поэтическіе опыты Тургенева, предшествовавшіе его повѣстямъ и романамъ, нельзя не признать ихъ вполнѣ достойными первыхъ шаговъ великаго таланта и имѣющими значеніе не только въ качествѣ «пробы пера» будущаго великаго романиста. Недаромъ же поэзіей Тургенева восхищался Бѣлинскій, недаромъ онъ сразу замѣтилъ начинающаго поэта и сразу поставилъ его въ рядъ выдающихся тогдашнимъ стихотворцевъ...

Бѣлинскій придавалъ довольно серьезное значеніе первымъ поэтическимъ опытамъ Тургенева. И, конечно, онъ былъ правъ, и его критическая проницательность не обманула его: уже въ этихъ юношескихъ работахъ онъ отгадалъ будущій великій талантъ и предсказалъ его будущее вліяніе на русскую литературу. Пускай впослѣдствіи, по признанію самого Тургенева, Бѣлинскій охладѣлъ къ его

первоначальнымъ поэтическимъ работамъ. Но все-таки же эти работы и для своего времени были выдающимся явленіемъ, да и до сихъ поръ еще могутъ считаться такими. Вотъ почему теперь, послѣ смерти великаго художника, отнюдь не слѣдуетъ пренебрегать этими работами, какъ пренебрегалъ онъ ими самъ. Не говоря уже о томъ, что ихъ необходимо имѣть въ виду при обзорѣ развитія его литературной дѣятельности, онѣ и сами по себѣ представляютъ извѣстнаго рода художественную цѣнность. Въ посмертныхъ изданіяхъ сочиненій Тургенева его первымъ поэтическимъ работамъ необходимо отвести мѣсто и дать ихъ хотя бы въ видѣ прибавленія на ряду съ его драматическими пьесами.

В. Буренинъ.

* * *

*) Въ стихотвореніяхъ Тургенева слышатся явно мотивы лермонтовской поэзіи.

Умираетъ старикъ («Старый Помѣщикъ») и сокрушается передъ смертью объ одномъ только—что не удалось ему извѣдать страсти, всепоглощающей, беззавѣтной страсти:

...лишь бы смерть подождала
И насладиться мнѣ дала...
Ахъ, дайте страсть узнать и жизнь—
И я умру безъ укоризнъ!

—

Я грѣшникъ, Ваня, мнѣ бы слѣдъ
Теперь подумать и о томъ,
Какъ Богу въ жизни дать отвѣтъ,
Послать бы надо за попомъ...
Но все мерещится—вотъ, вотъ
Ко мнѣ красавица идетъ...
Я слышу робкій шумъ шаговъ,
И страстный лепетъ милыхъ словъ—
И въ головѣ моей сѣдой
Нѣтъ мѣста мысли неземной.

Лермонтовская идея о томъ, что «вѣчно любить невозможно»—развивается новымъ поэтомъ въ «Варіаціяхъ»,

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

напечатанныхъ имъ въ сборникѣ 1845 г. «Вчера и Сегодня».

Когда такъ радостно, такъ нѣжно
Глядѣла ты въ глаза мои,
И лобызалъ я безмятежно
Рѣсницы длинныя твои;
Когда, бывало, ты стыдливо
Задремлешь на груди моей,
И я любуюсь боязливо
Край задумчивой твоей...
. . . .
Скажи мнѣ, могъ-ли я предвидѣть,
Что намъ обоимъ суждено
И разойтись и ненавидѣть
Любовь, погибшую давно?

Въ другой «варіаціи» поэту представляется даже смѣшнымъ миновавшее чувство:

А теперь этотъ день намъ смѣшонъ,
И порывы любовной тоски
Намъ смѣшны, какъ несбывшійся сонъ,
Какъ простые плохіе стишки.

Но гдѣ особенно сказалась ревность ученика-послѣдователя, такъ это въ стихотвореніи «Толпа» («Отеч. Записки» 1844 г., кн. 11). Здѣсь гордая, разочарованная личность таитъ съ себѣ свои муки и презираетъ не могущую понять ихъ толпу:

Среди людей, мнѣ близкихъ... и чужихъ,
Скитаюсь я безъ цѣли, безъ желанья.
Мнѣ иногда смѣшны забавы ихъ,
Мнѣ самому смѣшнѣй мои страданья.
Страданій тѣхъ толпа не признаетъ,
Толпа—могучая—и ѣстъ и пьетъ исправно;
И что въ душѣ задумчивой живетъ—
Болѣзнію считаетъ своенравной...

«И права̀ ты, толпа!» иронически восклицаетъ поэтъ. Онъ радъ, что не зависимъ матерьяльно отъ людей; онъ таитъ отъ нихъ свою любовь и ненависть; онъ такъ замкнутъ въ своемъ гордомъ одинокомъ страданьѣ, что не хочетъ даже

...мечтать съ самимъ собой,
Бесѣдовать съ прекрасными друзьями.
. . . .
А потому... (говоритъ онъ) мнѣ жить не суждено,
И я тяну съ усмѣшкой торопливой
Холодной злости, злости молчаливой
Хоть горькое, но пьяное вино.

Таково общее настроеніе тургеневской лирики. Но, однако, и въ эту пору уже начало у новаго писателя пробиваться что-то иное, свое, самобытное, какой-то смутный протестъ противъ покорившаго его духа. Есть у него одно драгоцѣнное въ этомъ смыслѣ стихотвореніе 1843 года: въ началѣ слышится лермонтовскій мотивъ, даже усиленный, но потомъ этотъ мотивъ смѣняется нѣжными и добрыми звуками иныхъ струнъ, иной лиры:

Когда давно забытое названье
Расшевелитъ во мнѣ внезапно вновь
Уже давно затихшее страданье,
Давнымъ-давно погибшую любовь,—
Мнѣ стыдно, что такъ медленно живу я,
Что этотъ хламъ хранитъ душа моя,
Что ни слезы ни даже поцѣлуя—
Что ничего не забываю я.
Мнѣ стыдно, да; а тамъ мнѣ грустно станетъ,
И неужель подумать я могу,
Что жизнь меня теперь ужъ не обманетъ,
Что до конца я сердце сберегу?
Что въ правѣ я отринуть горделиво,
Всѣ прежнія, всѣ дѣтскія мечты,
Все, что въ душѣ цвѣтетъ такъ боязливо,
Какъ первые весенніе цвѣты?
И грустно мнѣ, что то воспоминанье
Я былъ готовъ презрѣть и осмѣять,
Я повторю знакомое названье—
Въ былое весь я погруженъ опять.

* * *

Выше лирическихъ стихотвореній стоятъ въ художественномъ отношеніи тургеневскія поэмы. Между ними первое мѣсто, конечно, принадлежитъ «Парашѣ», которую такъ одобрилъ Бѣлинскій. Эпиграфомъ этой поэмы явился стихъ

Лермонтова: «и ненавидимъ мы и любимъ мы случайно». Содержаніе произведенія—горестная исторія избранной гордой натуры, вродѣ лермонтовской Тамары. Тургеневъ обрисовываетъ свою героиню такими поэтическими чертами:

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ —
Но не блестѣлъ онъ блескомъ торопливымъ;
То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,
То холодомъ проникнутъ горделивымъ,
То чуть мерцалъ, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.
Но взглядъ ея, задумчиво спокойный,
Я больше всѣхъ любилъ: я видѣлъ въ немъ
Возможность страсти горестной и знойной,
Залогъ души, любимой божествомъ.

Въ дальнѣйшихъ строфахъ къ этому очерку прибавляются еще двѣ черты:

...она подъ-часъ бывала зла,
И жалиться умѣла какъ пчела.

—

Она была насмѣшливо—горда.

(Здѣсь поэтъ присоединяетъ кстати свое, до наивности подражательное замѣчаніе: «А гордость—добродѣтель, господа!»).

Параша мечтала о тревожной страсти, о бурной жизни сердца:

Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ,
Земля чужая вдругъ явилась ей...
И кто-то милый голосомъ призывнымъ
Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней.

(Замѣтимъ, что въ эту пору изображенія людей тревожныхъ и гордыхъ Тургеневъ былъ западникомъ, и отрицательно относился къ русской дѣйствительности).

Таинственной исполненные муки,
Надъ ней звеня носились эти звуки...
И вотъ—искалъ ея молящій взоръ
Другихъ небесъ, высокихъ, пышныхъ горъ...

—

И тополей и трепетныхъ оливъ...
Искалъ земли плѣнительной и дальней...

Но мечтамъ Параши не суждено сбыться. Она встрѣчаетъ человѣка, который возбуждаетъ въ ея сердцѣ любовь,

который похожъ нѣсколько на ея мечтательный идеалъ, который кажется и разочарованнымъ и горделивымъ... но въ сущности—это человѣкъ пустой, жившій весь вѣкъ чужимъ умомъ, и теперь только по подражанію напустившій на себя скептицизмъ и другія плѣнительныя черты байронизма. Онъ «мѣтилъ въ бѣсы», но... (замѣчаетъ поэтъ):

Русскій бѣсъ не то, что чортъ нѣмецкій.
Нѣмецкій чортъ, задумчивый чудакъ,
Смѣшонъ и страшенъ; нашъ же бѣсъ природный,
Россійскій бѣсъ,—и толстъ и простоватъ...

Герой поэмы боится страсти, боится отдаться искреннему чувству. Они идутъ вдвоемъ съ Парашей по саду—

И, можетъ быть, онъ началъ понимать

(говоритъ поэтъ)

Всю прелесть первыхъ трепетнымъ движеній
Ея души... и сталъ въ немъ утихать
Крикливый рой смѣшныхъ предубѣжденій.
Но ей одной доступна благодать
Любви простой, и дѣтской, и стыдливой...
Нѣтъ, о любви не думаетъ она—
Но какъ листокъ блестящій и счастливый
Ее несетъ широкая волна...
Все въ этотъ мигъ кругомъ ей улыбалось,
Надъ ней одной все небо наклонялось,
И колыхаясь медленно, трава
Ей вслѣдъ шептала милыя слова...

А онъ—онъ испугался, онъ предложилъ вернуться въ домъ, и затѣмъ, ѣдучи послѣ ужина къ себѣ, благоразумно размышлялъ:

„Я радъ сосѣдямъ... дочь
У нихъ одна; онъ человѣкъ богатый...
Притомъ она мила..."

Затѣмъ послѣдовало сватовство, свадьба: отецъ построилъ молодымъ обширный домъ, по старинному удобно расположенный; мужъ любилъ жену и уважалъ, — и потянулась будничная, обыденная, пошлая жизнь, безъ всякихъ волненій чувства, безъ радостей и страданій.

„Тѣмъ лучше", скажутъ мнѣ,—

(замѣчаетъ иронически поэтъ)

„Разгаръ страстей“
„Опасенъ...“ Точно; лучше, безъ сомнѣнья,
Спокойно жить и приживать дѣтей—
И не давать, особенно вначалѣ,
Щекамъ пылать... склоняться головѣ...
А сердцу забываться—и такъ далѣ.
Не правда-ль? Общепринятой молвѣ
Я покоряюсь—молча...

Поэтъ скорбитъ о своей героинѣ:

Но, Боже! то-ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмого обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святого, благодатнаго страданья!
. . . .
И вотъ что ей сулили ночи той,
Той лѣтней ночи страстныя мгновенья,
Когда съ такой тревожной быстротой
Въ ея душѣ смѣнялись вдохновенья..
Прощай, Параша!..

Ложная черта поэмы Тургенева—не въ томъ, конечно, что поэтъ отрицательно относится къ жизненной пошлости и къ своему благоразумному, разсудительному герою,—не въ томъ, что онъ сочувствуетъ тревожной душѣ своей Параши, ея жаждѣ бурь и радостей страстнаго чувства: а въ томъ,—что онъ не видитъ, не признаетъ возможности другой жизни, другихъ чувствъ, простыхъ и добрыхъ; онъ готовъ отрицать тихое счастье семейнаго быта, — и считаетъ достойнымъ человѣка назначеніемъ лишь «гордое страданье», котораго и желалъ своей героинѣ.

Та же идея о необходимости для избранной души гордаго страданья, да еще соединеннаго съ презрѣніемъ къ людямъ, высказывается и въ одномъ очень поэтическомъ эпизодѣ юмористической поэмы «Помѣщикъ». Описывается деревенскій балъ, обыденныя помѣщичьи лица.

Но вотъ,—среди толпы густой
Мелькаетъ быстро передъ вами
Ребенокъ робкій и нѣмой
Съ большими грустными глазами.
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ.
Но за собой она невольно

Влечетъ васъ... за нее вамъ больно
И страшно... блѣдный томный цвѣтъ
Лица,—печальный слѣдъ сомнѣній,
Тревожныхъ, раннихъ размышленій,
Тоски, неопытныхъ страстей,—
И взглядъ внимательный—все въ ней
Вамъ говоритъ о самовластной
Душѣ... ребенокъ бѣдный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу надъ тобой...

—

О! Нѣтъ! пускай твои желанья,
Твои стыдливыя мечты
Въ суровомъ холодѣ страданья
Погибнутъ... не погибнешь ты.
Безъ одобренья, безъ участья
Среди невѣждъ осуждена
Ты долго жить... но ты сильна,
А сильному не нужно счастья.
О немъ не думай... но судьбѣ
Не покоряйся; знай: въ борьбѣ
Съ людьми таится наслажденье
Неистощимое: презрѣнье,
Какъ ядъ цѣлительный, оно
И жжетъ и заживляетъ рану
Души...

Въ послѣднихъ словахъ, въ наслажденіи ядомъ презрѣнья къ людямъ слышится суровый тонъ лермонтовскаго эгоизма; но первая половина этого очерка поэтической дѣвушки напоминаетъ другого поэта, въ творчество котораго вылилось все, что было грустнаго, задушевнаго и горестнаго въ поэзіи Лермонтова; этотъ поэтъ—Огаревъ. И тутъ опять сказалась душевная мягкость Тургенева.

Поэма «Помѣщикъ» отрицательно (и надо сказать—довольно слабо) изображаетъ русскую деревенскую жизнь.—Вотъ, напримѣръ, образъ деревенской барышни:

Вотъ—чисто русская красотка—
Одѣта плохо, тяжела,
И неловка,—но весела,
Добра, болтлива какъ трещотка,
И пляшетъ, пляшетъ отъ души.

Или вотъ картина бала, гдѣ поэтъ не пожалѣлъ темныхъ красокъ и неудачной ироніи:

Вообразите вереницу
Широкихъ лицъ, большихъ носовъ,
Улыбокъ томныхъ, башмаковъ
Козлиныхъ, лентъ и платьевъ бѣлыхъ,
Турбановъ, перьевъ, плечъ дебелыхъ,
Зеленыхъ, сѣрыхъ, карихъ глазъ,
Румяныхъ губъ и... и такъ далѣ,—
Заставьте барынь кушать квасъ—
И знайте: вы на русскомъ балѣ.

Въ тонѣ поэмы слышится отрицаніе и разочарованіе; такъ, напримѣръ, говоря про помѣщика, что гнѣвъ его исчезъ, поэтъ прибавляетъ сравненіе:

Какъ паръ,
Какъ пыль, какъ женскія страданья,
Какъ дымъ, какъ юношескій жаръ,
Какъ радость перваго свиданья.

Но непрочно было разочарованіе молодого писателя; непрочно было и его отрицательное отношеніе къ родной землѣ: мы неожиданно встрѣчаемъ среди насмѣшливыхъ строфъ и такіе сердечные стихи:

О, Русь! люблю твои поля,
Когда подъ яркимъ солнцемъ лѣта
Свѣтла, роскошна, вся согрѣта,
Блеститъ и нѣжится земля...
Люблю бродить въ лугу росистомъ
Весной, когда веселымъ свистомъ
И влажнымъ запахомъ полна
Степей живая тишина...

А незадолго передъ этимъ въ «Парашѣ» и русская природа и даже русская пѣсня принижалась передъ западною природой, о которой мечтала героиня.

Есть въ «Помѣщикѣ» еще одна интересная подробность: изображенъ здѣсь нѣмецъ-гувернеръ, человѣкъ уже старѣющій, но все еще мечтающій о своей невѣстѣ, оставленной на родинѣ, а также и объ этой родинѣ. Онъ немножко смѣшонъ, этотъ переписывающійся съ отцомъ своей не-

вѣсты и сантиментально играющій на гитарѣ нѣмецъ; но позже, въ повѣсти «Фаустъ» онъ превратится въ болѣе симпатичнаго учителя Шиммеля; а еще позже, въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», изъ него выйдетъ грандіозная и трогательная фигура Лемма. Такъ зрѣли и видоизмѣнялись типы въ душѣ великаго художника.

Не будемъ подробно останавливаться на двухъ остальныхъ поэмахъ Тургенева: «Разговоръ» (1845 г.) и «Андрей» (1846 г.)—Въ послѣдней нарисована простая, будничная семейная жизнь не совсѣмъ обыденной молодой женщины съ любящимъ ее, но пожилымъ и вполнѣ прозаичнымъ мужемъ, котораго занимаютъ лишь мелочные интересы и который не можетъ дать пищи ея сердечнымъ порывамъ; эти порывы заглохли-было, —но явился молодой человѣкъ съ возвышенными стремленіями, съ живымъ умомъ, съ сердцемъ; завязалась дружба, разыгравшаяся въ любовь. Молодой человѣкъ (Андрей, герой поэмы) счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ удалиться, надорвавъ и ея душу и свою. Мораль поэмы—въ написанномъ черезъ значительный промежутокъ времени послѣ разлуки героини къ этому Андрею письмѣ, гдѣ она говоритъ ему, что онъ не любилъ ее, что если бы любилъ, такъ не бросилъ.

«Разговоръ» (довольно далекая отъ реальной дѣйствительности, но написанная звучными стихами сцена бесѣды разочарованнаго старика отшельника съ разочарованнымъ тоже молодымъ человѣкомъ, его ученикомъ)—представляетъ развитіе мысли Лермонтовской «Думы» о томъ, что

> Надъ міромъ мы пройдемъ безъ цѣли и слѣда,
> Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой
> Ни геніемъ начатаго труда.

Здѣсь отрицается значеніе и новаго поколѣнія и поколѣній прежнихъ. Молодой человѣкъ говоритъ старику:

> Что жъ? отвѣчайте намъ! Увы!
> Какъ ваши внуки—на покой
> Безсмысленный спѣшили вы
> Съ работы трудной, но пустой...
> И мы не лучше васъ... о нѣтъ!
> Намъ то же предстоитъ.

Выше и лучше самой поэмы коротенькое стихотворное предисловіе къ ней; вотъ его вторая строфа, изображающая думы поэта послѣ того, какъ «блестящій пиръ утихъ»:

И спящій міръ дышалъ безсмертной красотой...
Но глазъ не подымалъ и проходилъ я мимо;
О жизни думалъ я, объ истинѣ святой,
О всемъ, что на землѣ на вѣкъ неразрѣшимо.
Я небо вопрошалъ... и тяжко было мнѣ—
И вся душа моя пресытилась тоскою...
А звѣзды вѣчныя спокойной чередою
Торжественно неслись въ туманной вышинѣ.

Изъ этихъ прекрасныхъ стиховъ мы видимъ, что подражательное недовольство жизнью, увлеченіе этимъ недовольствомъ привели Тургенева не къ разочарованію, а къ строгой думѣ объ истинѣ и жизни, другими словами—не подорвали его генія. Въ стихахъ этихъ слышится нѣчто болѣе серьезное и живое, чѣмъ печоринское разочарованіе.

А. Незеленовъ.

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

*) Изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ наиболѣе потрудился для сцены И. С. Тургеневъ, пьесы котораго составляютъ цѣлый томъ въ собраніи его сочиненій. И хотя онѣ далеко не представляются лучшими его произведеніями, и въ дѣятельности его занимаютъ самое скромное мѣсто, это не мѣшаетъ многимъ изъ нихъ стоять въ первомъ ряду послѣ пьесъ Островскаго въ современномъ репертуарѣ. Такія, какъ «Нахлѣбникъ», «Завтракъ у предводителя», «Холостякъ», «Мѣсяцъ въ деревнѣ», «Провинціалка»—до сихъ поръ не сходятъ со сцены **), доставляя актерамъ самыя благодарныя роли для выставленія своихъ талантовъ, а публикѣ—по тонкой художественности, сценичности и занимательности—самыя пріятныя и привлекательныя зрѣлища.

А. Скабичевскій.

* * *

***) Самъ авторъ не признавалъ въ себѣ драматическаго таланта: объ этомъ онъ заявляетъ въ предисловіи къ собранію своихъ сочиненій, изданія 1874 года, гдѣ въ первый разъ въ отдѣльномъ заключительномъ томѣ онъ соединилъ всѣ свои комедіи и сцены. Дѣйствительно, драма-

*) А. Скабичевскій. „Исторія новѣйшей литературы". Спб. 1891 г.
**) Писано въ 1891 г.
***) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева". Спб. 1884 г.

тургъ Тургеневъ уступаетъ во многихъ отношеніяхъ Тургеневу-повѣствователю. Главный недостатокъ всѣхъ его сценическихъ работъ тотъ, что онѣ писаны для чтенія, а не для сцены: въ нихъ мало дѣйствія, движенія, то есть такихъ элементовъ, которые составляютъ существенную сторону драматическихъ пьесъ. Тѣмъ не менѣе прекрасный типическій языкъ, яркая бытовая живопись, отдѣлка характеровъ, тонкій психологическій анализъ, порою чудесный юморъ—всѣ эти достоинства дѣлаютъ то, что иныя изъ комедій Тургенева имѣли на сценѣ значительный успѣхъ. Особенно въ этомъ отношеніи, кажется, посчастливилось пьесамъ «Завтракъ у предводителя» и «Холостякъ». «Завтракъ у предводителя»—превосходная, полная юмору картинка помѣщичьихъ нравовъ добраго стараго времени—и до сихъ поръ смотрится на сценѣ съ живымъ интересомъ. «Холостякъ» имѣлъ сценическій успѣхъ, благодаря геніальному Мартынову, который, какъ свидѣтельствуетъ самъ авторъ, «превратилъ силою своего дарованія блѣдную фигуру Мошкина (холостяка) въ живое и трогательное лицо». Но едва ли будетъ ошибкою сказать, что Тургеневъ по скромности охарактеризовалъ фигуру холостяка эпитетомъ «блѣдный»: напротивъ, эта фигура написана очень выразительно, и драматическое положеніе, въ какое она поставлена въ пьесѣ, въ самомъ дѣлѣ, очень трогательно. Геніальный актеръ, быть можетъ, освѣтилъ своею игрою это лицо ярче, чѣмъ оно освѣщено авторомъ; но яркости и выразительности сценическаго исполнителя, конечно, способствовалъ самъ художникъ, потому что онъ даетъ ему превосходный матеріалъ, превосходные мотивы для тонкой и глубокой игры. Пьеса «Мѣсяцъ въ деревнѣ» по объему самое большое изъ драматическихъ произведеній Тургенева, была поставлена на сценѣ не такъ давно и имѣла также значительный успѣхъ. Она немного растянута, въ ней черезчуръ много тонкихъ чувствъ и романическихъ отношеній во вкусѣ сороковыхъ годовъ: это ея слабая сторона. Но прекрасный языкъ комедіи, мастерство психологическаго анализа, благородная простота сюжета и его есте-

ственное развитіе, отсутствіе банальныхъ эффектовъ,—словомъ, рядъ положительныхъ качествъ, присущихъ ей, выступалъ на представленіи тѣмъ рельефнѣе, что наша сцена почти отвыкла отъ этихъ качествъ въ долгіе годы господства драматургіи, поставляемой безцеремонно-ловкими театральными закройщиками и грубыми драмодѣлами. Представленіе комедіи «Мѣсяцъ въ деревнѣ» на развитую часть публики произвело впечатлѣніе какого-то свѣтлаго луча въ пыльной и мусорной атмосферѣ новѣйшаго театра. Наиболѣе живой по дѣйствію, наиболѣе яркой по драматизму сценическихъ положеній представляется пьеса «Неосторожность», въ которой авторъ переноситъ зрителей въ Испанію и даетъ нѣсколько сценъ въ романтическомъ вкусѣ...

Тургеневъ воспиталъ свое творчество подъ явнымъ вліяніемъ романтизма, и слѣдъ этого вліянія остался въ немъ навсегда: не даромъ первымъ не напечатаннымъ «плодомъ его музы», какъ онъ насмѣшливо выражается самъ, была фантастическая драма въ стихахъ «Стеніо», а первымъ напечатаннымъ прозаическимъ опытомъ—пьеса изъ испанской жизни «Неосторожность». Эта пьеса, появившаяся въ концѣ 1843 года, за годъ до повѣсти «Андрей Колосовъ», которымъ Тургеневъ началъ свою беллетристическую дѣятельность, и по замыслу, и по содержанію, и по характерамъ дѣйствующихъ лицъ, и по обстановкѣ — носитъ на себѣ вполнѣ романтическій отпечатокъ. Очевидно, она возникла подъ вліяніемъ Альфреда Мюссе, и ея «испанскіе мотивы» отличаются стилемъ знаменитаго романтика, послѣ него сдѣлавшимся условнымъ и банальнымъ отъ безчисленнаго количества посредственныхъ подражаній. Уже одно то, что нашъ художникъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ столь крѣпкій русской почвѣ, переносится съ своимъ вдохновеніемъ въ страну «плаща и шпаги»—уже одно это показываетъ, какъ сильны въ немъ были романтическія влеченія: онъ не могъ одолѣть ихъ, и въ первомъ же своемъ прозаическомъ опытѣ отдалъ дань романтическому испанскому сюжету. Всѣ дѣйствующія лица этой небольшой пьесы (въ трехъ сценахъ) являются испанцами,

сдѣланными по условному, установленному романтизмомъ шаблону: тутъ есть и обычный молодой донъ-жуанъ, пылкій и легковѣсный повѣса, не утратившій однако же добрыхъ сердечныхъ порывовъ; и туповатый старый эгоистъ мужъ; и мрачный и коварный «злодѣй», другъ мужа, влюбленный въ его жену, молодую и неопытную женщину, томящуюся любопытствомъ страсти и порывами темперамента; и мстительная скрытная дуэнья. Пьеса завязывается почти водевильно: молодой и дерзкій донъ-жуанъ шутя перелѣзаетъ въ садъ испанки, съ цѣлью воспользоваться неожиданно представившимся ему любовнымъ приключеніемъ. Но изъ водевиля въ концѣ-концовъ выходитъ неожиданная трагедія, и испанка погибаетъ подъ ударами кинжала коварнаго и мрачнаго друга ея мужа. Къ тремъ сценамъ трагедіи присоединенъ оригинальный эпилогъ въ двѣ строки, тоже совсѣмъ во вкусѣ Альфреда Мюссе. Въ этомъ эпилогѣ мрачный злодѣй является, десять лѣтъ спустя, государственнымъ человѣкомъ, который занятъ дѣлами. Вотъ весь этотъ эпилогъ:

«Графъ Пабло» (хлопотливо секретарю). Готовы ли мои бумаги? Мнѣ пора...

«Секретарь» (почтительно). Вотъ онѣ, ваше сіятельство. (Оба выходятъ).

Эффектъ этого двустрочнаго эпилога заключается въ томъ, что онъ слѣдуетъ сейчасъ же за трагической сценой ревниваго убійства, совершоннаго тѣмъ же донъ-Пабло. Такіе драматическіе кунштюки, какъ говорятъ нѣмцы, практиковались въ то время романической школой и, несмотря на ихъ наивную дѣланность, считались блестящими и необыкновенно поразительными...

Я останавливаюсь на пьесѣ «Неосторожность» по двумъ причинамъ: прежде всего она, какъ я уже сказалъ, представляетъ первый опытъ Тургенева въ прозаическомъ родѣ; потомъ она любопытна, какъ яркій образчикъ той романтической закваски, которая была вложена съ ранней юности въ творчество нашего художника и, не выдохлась въ немъ до конца его дней. Будущій реалистъ-художникъ,

давшій впослѣдствіи такіе простые и такіе образцовые въ своей художнической простотѣ жанровые очерки, какъ «Записки Охотника», дебютируетъ въ качествѣ прозаика сценами, не только романтическими, но, если хотите, даже ультраромантическими «испанскими» сценами. Будущій изслѣдователь русской общественной психіи, беллетристическая дѣятельность котораго преслѣдовала главнымъ образомъ одну идею: разоблаченіе наносныхъ элементовъ, отягчающихъ и искажающихъ русскую жизнь, русскіе характеры, совлеченіе съ нихъ всякихъ ложно-эффектныхъ, искусственныхъ драпировокъ—этотъ-то изслѣдователь-художникъ въ своей первой прозаической работѣ увлекается именно искусственнымъ, декоративнымъ сюжетомъ. И его отношеніе къ этому сюжету не заключаетъ въ себѣ ничего ироническаго: онъ разрабатываетъ его любовно и съ старательнымъ мастерствомъ, въ которомъ уже ярко замѣтны черты крупнаго таланта. Сквозь условную романтику искусственныхъ характеровъ и положеній просвѣчиваетъ однакоже вездѣ трезвый реализмъ: онъ сказывается въ простотѣ языка, поражающаго отсутствіемъ треска и блеска фразы—качествъ, считавшихся необходимыми въ романтическихъ драмахъ; онъ сказывается въ тонкомъ анализѣ душевныхъ движеній, въ обрисовкѣ главнаго женскаго лица пьесы, доньи Долоресъ. Эта героиня, несмотря на ея испанское имя и романтическія позы, въ которыя волей-неволей ставитъ ее авторъ, все-таки заключаетъ въ себѣ тотъ прелестный обликъ русскихъ женскихъ типовъ, которыхъ потомъ Тургеневъ начертилъ такъ много и съ такимъ поэтическимъ изяществомъ.

В. Буренинъ.

* * *

*) Въ комедіяхъ «Нахлѣбникъ» и «Холостякъ»—героями являются мелкія, слабыя личности, которымъ авторъ видимо сочувствуетъ; здѣсь, какъ правдивый художникъ, онъ

А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

рисуетъ не однѣ свѣтлыя, симпатичныя, а и пошлыя, смѣшныя черты своихъ героевъ. Но перевѣса творческой силы надъ тенденціей мы здѣсь не замѣчаемъ. Драматическая форма, какъ извѣстно, какъ-то мало давалась Тургеневу (что прежде всѣхъ признавалъ онъ самъ), и его комедіи и въ художественномъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ гораздо слабѣе его повѣстей. И вотъ почему болѣзненная симпатія писателя школы «сантиментальнаго натурализма» къ нравственно-мелкимъ людямъ выступаетъ въ «Нахлѣбникѣ» и «Холостякѣ» на первый планъ, придавая этимъ пьесамъ сантиментальный характеръ.

Кузовкинъ—главное лицо первой комедіи—живетъ нахлѣбникомъ въ богатомъ помѣщичьемъ домѣ. Живетъ онъ здѣсь уже давно, призрѣнный покойнымъ бариномъ. Комедія начинается съ ожиданія всѣмъ домомъ пріѣзда молодой хозяйки имѣнія, недавно только вышедшей замужъ. Кузовкинъ вѣритъ и надѣется, что бывшая барышня узнаетъ его и милостиво и сочувственно отнесется къ нему. Эта вѣра въ человѣка, въ доброту его сердца есть одна изъ свѣтлыхъ чертъ характера бѣднаго нахлѣбника. Онъ, кромѣ того, человѣкъ простодушный, добрый, смиренный, и въ то-же время неспособный къ самоуниженію (по крайней мѣрѣ, такимъ хотѣлъ представить его авторъ): когда мужъ Ольги Петровны — Елецкій хочетъ деньгами побудить его отказаться отъ своихъ словъ, онъ не беретъ денегъ, говоря, что онъ «и такъ вдоволь стыда наглотался»... и что «купить его нельзя»; когда въ той же сценѣ Елецкій хочетъ силою вынудить его говорить и кричитъ:

„Не выводите меня изъ терпѣнія!.. Не заставляйте меня напомнить вамъ, кто вы такой!“

онъ гордо отвѣчаетъ:

„Я столбовой дворянинъ... Вотъ кто я-съ!“.

Нѣкоторыя другія лица комедіи, къ которымъ съ явной антипатіей относится авторъ (какъ, напр., этотъ Елецкій, сухой петербургскій чиновникъ; Тропачевъ, помѣщикъ, отставной кавалеристъ, «грубоватый и даже подловатый»; играющій при послѣднемъ роль шута «очень глупый» Кар-

пачевъ), выгодно оттѣняютъ собою простодушнаго Кузовкина. Автору несомнѣнно удается пробудить въ читателѣ или зрителѣ комедіи состраданіе и симпатію къ своему герою въ той сценѣ, гдѣ тотъ наивно и съ чрезвычайными подробностями разсказываетъ о своей тяжбѣ, вызванный на этотъ разсказъ для потѣхи подпаивающимъ его Тропачевымъ, или въ той сценѣ, гдѣ Карпачевъ надѣваетъ на него бумажный колпакъ, а онъ рыдаетъ отъ оскорбленія.

Но въ Кузовкинѣ есть и нѣчто другое, вовсе уже не симпатичное.—Драматизмъ пьесы состоитъ въ томъ, что Кузовкинъ униженный и оскорбляемый въ домѣ Ольги Петровны, оказывается отцомъ этой Ольги Петровны. Авторъ развязываетъ драму тѣмъ, что Ольга признаетъ себя дочерью бѣдняка, обнимаетъ его, прижимается къ его груди,—и онъ счастливъ и вознагражденъ за всѣ свои страданія.—Но разъясненіе всего этого дѣла бросаетъ очень темную тѣнь на личность Кузовкина, и отталкиваетъ насъ отъ него, можетъ быть, помимо воли и вѣдома самого автора.—Кузовкинъ разсказываетъ Ольгѣ о печальномъ событіи ея рожденія. Помѣщикъ Коринъ, мужъ ея матери, былъ человѣкъ очень крутого нрава и сурово, безчеловѣчно относился къ женѣ; чѣмъ она болѣе «передъ нимъ смирялась, тѣмъ онъ пуще злился»; онъ пересталъ съ ней разговаривать, пропадалъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, и, наконецъ, поднялъ на нее палку... Мѣра терпѣнія бѣдной женщины переполнилась.

Должно полагать-съ (разсказываетъ нахлѣбникъ), что у вашей матушки, у покойницы, отъ такой обиды кровной на ту пору умъ помѣшался, болѣзнь приключилась... Какъ теперь ее вижу... Вошла въ образную, постояла передъ иконами, подняла-было руку для крестнаго знаменія, да вдругъ отвернулась и вышла... даже засмѣялась потихоньку... Осилилъ таки и ее лукавый. Жутко мнѣ стало, глядя на нее. За столомъ ничего не изволила кушать, все изволила молчать и на меня смотрѣла пристально... а вечеромъ-съ... По вечерамъ я, Ольга Петровна, одинъ съ ней сиживалъ,—вотъ именно въ этой комнатѣ, знаете, эдакъ, въ карты иногда отъ скуки, а иногда такъ, разговоръ небольшой... Ну-съ, вотъ-съ, въ тотъ вечеръ... (Онъ начинаетъ задыхаться) ваша матушка покойница долго, долго помолчавши, эдакъ обратилась вдругъ ко мнѣ...

А я, Ольга Петровна, на вашу матушку только что не молился, и любилъ же я ее, вашу матушку... вотъ она и говоритъ мнѣ вдругъ: „Василій Семенычъ, ты, я знаю, меня любишь, а онъ вотъ меня презираетъ, онъ меня бросилъ, онъ меня оскорбилъ... Ну такъ и я же“... Знать разсудокъ у ней отъ обиды помутился, Ольга Петровна, потерялась она вовсе... А я то, а я... я ничего не понимаю-съ, голова тоже эдакъ кругомъ... вотъ, даже вспомнить жутко, она вдругъ мнѣ въ тотъ вечеръ... Матушка, Ольга Петровна, пощадите старика... Не могу... Скорѣй языкъ отсохнетъ!“

Это мѣсто пьесы—удивительно по глубинѣ анализа души бѣдной оскорбленной женщины: мы видимъ, какъ осѣнилъ ее лукавый, какъ помрачился ея разсудокъ—и тѣло на мигъ одолѣло душу... Но анализъ измѣнилъ поэту въ изображеніи Кузовкина: Кузовкинъ гадокъ, животненно-низокъ въ этой сценѣ,—и въ пьесѣ долженъ бы слышаться негодующій смѣхъ надъ нимъ; но этого смѣха нѣтъ, и вмѣсто него, зрителю предлагается болѣзненное состраданіе; въ этомъ ложь пьесы. Впрочемъ, художественная сила подсказала Тургеневу небольшую поправку: онъ заставилъ Кузовкина сознать свою вину, свою низость:

„я было хотѣлъ (продолжаетъ тотъ свой разсказъ) бѣжать, куда глаза глядятъ... виноватъ—не хватило силы—бѣдности испугался, нужды кровной. Остался, виноватъ...“

Поэтъ заставляетъ затѣмъ Ольгу содрогнуться отъ страшнаго разсказа нахлѣбника и отвернуться отъ него; она потомъ разсудкомъ убѣждаетъ себя, что должна отнестись къ старику иначе, она «хочетъ принудить себя броситься ему на шею»,—но не можетъ этого сдѣлать—и «съ содроганьемъ отворачивается и убѣгаетъ». Все это психологически глубоко вѣрно. Поэтъ, однако, не остановился здѣсь — и кончилъ тѣмъ, что и въ Ольгѣ возбудилъ болѣзненную симпатію къ своему ничтожному герою.

Герой другой комедіи — «Холостякъ» — Мошкинъ, по общественному положенію лицо самостоятельное; но онъ также человѣкъ мелкій—по своему уму, по слабости характера, по робости нрава. Онъ представленъ лицомъ весьма симпатичнымъ и, подобно Кузовкину въ «Нахлѣбникѣ», оттѣненъ въ пьесѣ непривлекательными личностями—су-

хого и холоднаго чиновника-карьериста изъ нѣмцевъ, фонъ-Фонка, безхарактернаго и пустого Вилицкаго, глупой и болтливой кумушки Пряжкиной. — Мошкинъ — человѣкъ добрый и сердечный: онъ принялъ къ себѣ въ домъ бѣдную сироту Машу, заботится о ней и любитъ ее какъ отецъ дочку, (по крайней мѣрѣ, онъ самъ такъ увѣряетъ и такъ, дѣйствительно, кажется въ двухъ первыхъ актахъ комедіи).—Содержаніемъ пьесы служитъ устроеніе судьбы этой сироты Маши, выдача ея замужъ. Трогательны заботы объ этомъ Мошкина, трогательны его дружески-любовныя отношенія къ жениху Маши, Вилицкому, даже его робкія старанія занять разговоромъ надменнаго фонъ-Фонка, когда тотъ удостоилъ его своего посѣщенія. Мы невольно сочувствуемъ смиренію и великодушію Мошкина, когда онъ въ сердечной тревогѣ ловитъ отвиливающаго отъ женитьбы Вилицкаго и кротко упрекаетъ его за горе Маши (о своемъ горѣ онъ забываетъ и не считаетъ даже приличнымъ говорить).

„А вы даже въ лицѣ измѣнились, бѣдный мой Михайло Иванычъ (говоритъ старику пристыженный Вилицкій)... Какъ я виноватъ, какъ непростительно виноватъ передъ вами!

Вона (возражаетъ ему Мошкинъ). Три года сряду ты меня радовалъ и утѣшалъ... разъ какъ-то опечалилъ, велика важность! Стоитъ говорить! А что касается до объясненія (съ Машей),—я на тебя полагаюсь, ты вѣдь у меня уменъ... ты все къ лучшему устроишь. Только, пожалуйста, будь снисходителенъ. Машу, ты самъ знаешь, запугать ничего не стоитъ. А что она застѣнчива и сиротлива ты на это не смотри: она не комъ-эль-фонтъ, положимъ; да не въ томъ счастье жизни заключается, Петруша, повѣрь мнѣ, а въ нравственности, въ любви, въ добротѣ сердечной. У тебя, конечно, друзья ученые—ну, и разговоръ, конечно, эдакой, все отвлеченный... а мы... мы только любить тебя умѣемъ отъ всего сердца... Въ этомъ, Петруша, съ нами ужъ никто не поспоритъ...

„Добрый, добрый Михайло Иванычъ... (говоритъ растроганный Вилицкій, пожимая Мошкину руку). Чѣмъ я заслужилъ такое расположеніе?

А Мошкинъ улыбается и махаетъ рукой. Добрый старикъ чуть не извинился передъ Вилицкимъ за то, что тотъ поступилъ съ нимъ скверно.

Трогательнымъ представляется намъ и гнѣвъ старика, когда онъ, въ третьемъ актѣ комедіи, получивъ письмо, въ которомъ женихъ отказывается отъ руки Маши, наивно хочетъ привести Вилицкаго силой или вызвать его на дуэль. Невольную симпатію возбуждаетъ, наконецъ, и его объясненіе съ Машей, когда онъ хотѣлъ-было подготовить ее къ тяжелому извѣстію, да не сумѣлъ; онъ наивно надѣется ее утѣшить:

„Да это просто сонъ (говоритъ онъ), какое-то навожденіе, туманъ какой-то! Вотъ посмотри, мы вдругъ съ тобой проснемся; глядь, анъ все по старому. Какъ это отъ тебя отказаться, помилуй; скажи сама? Чѣмъ, ну скажи, чѣмъ ты не берешь?

Не ограничиваясь всѣмъ приведеннымъ, поэтъ хотѣлъ представить намъ симпатичнымъ и трогательнымъ — и намѣреніе Мошкина жениться на Машѣ, чтобы только не разлучаться съ нею, чтобы она отъ него не уѣзжала, когда та говоритъ ему, что, во избѣжаніе сплетенъ и толковъ, не можетъ болѣе оставаться жить у него. Но тутъ внезапно и неожиданно открываются передъ нами весьма непривлекательныя черты героя комедіи.

Мошкинъ старается увѣрить Машу, что его сватовство къ ней вызвано лишь заботами объ ея судьбѣ, лишь обстоятельствами, и что тутъ съ его стороны нѣтъ никакихъ нелѣпыхъ мечтаній о себѣ лично.

„Я самъ не знаю (говоритъ онъ Машѣ), какъ эта мысль мнѣ въ голову пришла, но я долженъ ее высказать. Средство, я согласенъ, отчаянное, да и положеніе-то наше каково?.. Если бъ я надѣялся на возвращеніе Петруши... Позволь-же мнѣ, по крайней мѣрѣ, объясниться, а то ты меня точно въ правѣ за сумасшедшаго счесть или даже... Нѣтъ! ты не можешь думать, что я въ состояніи тебя оскорбить... Вольно-жъ тебѣ было пугнуть меня своимъ отъѣздомъ... Вѣдь изъ чего я бьюсь, Маша? Чего мнѣ хочется? Мнѣ хочется, чтобъ тебя всѣ уважали какъ королеву; мнѣ хочется доказать всѣмъ, всѣмъ, что руку твою получить—да это верхъ степени благополучія!.. Одинъ дуракъ, мальчишка, отказался, отъ своего счастья отказался; а вотъ я, человѣкъ степенный, безукоризненный, какъ говорится, чиновникъ, и передъ тобой на колѣняхъ; дескать, Марья Васильевна, удостойте. Вотъ что мнѣ хочется всему міру доказать—ему тоже,

Петру Ильичу, то есть. Вотъ что пойми... Ради Бога не вздумай ты...

„Михайло Иванычъ... (перебиваетъ Маша).

Постой, постой, я знаю (продолжаетъ онъ), я все знаю, что ты мнѣ хочешь выразить; но пойми меня. Какой я тебѣ мужъ—помилуй; объ этомъ нечего и говорить... Но я чувствую, точно, тебѣ нельзя жить у меня этакъ, по прежнему, а оставить меня ты не можешь. Я предлагаю тебѣ покой, тишину, уваженіе, пріютъ—вотъ что я тебѣ предлагаю. Я человѣкъ честный, ты знаешь, Маша, ничѣмъ не замаранный; я буду тебя лелѣять такъ же точно, какъ до сихъ поръ лелѣялъ. Отцомъ я тебѣ буду—вотъ что. А! тебя хотѣли бросить, обидѣть: ты вотъ сирота безпомощная, пріемышъ; ты у чужихъ людей изъ милости на хлѣбахъ живешь,—такъ нѣтъже! Вотъ ты хозяйка, ты госпожа, ты барыня... а я... ширмы, понимаешь, ширмы и больше ничего. Ну, что ты на это скажешь?

Такъ краснорѣчиво говоритъ Мошкинъ; но чрезъ нѣсколько мгновеній оказывается, что эти слова его—совершенный вздоръ и даже ложь (хотя, можетъ быть, и безсознательная). Недаромъ самъ старикъ чувствуетъ въ приведенныхъ разсужденіяхъ своихъ, что въ его предложеніи Машѣ заключается что-то нелѣпое и оскорбительное для нея. Мошкинъ здѣсь напоминаетъ намъ (и ходомъ своихъ мыслей и даже рѣчью) Макара Дѣвушкина. Есть что-то отталкивающее въ его обѣщаніи, что онъ будетъ «ширмами, ширмами и ничего болѣе»; и уже положительной фальшью звучатъ слова: «я чувствую, точно тебѣ нельзя жить у меня этакъ, по-прежнему», слова, сказанныя послѣ того, какъ за минуту онъ увѣрялъ:

„Ты у меня живешь"—да, Маша, перекрестись: вѣдь я старикъ, вѣдь я степенный человѣкъ, вѣдь всѣ знаютъ, что ты мнѣ дочь... Помилуй, помилуй! Я тебя, ей Богу, не понимаю.

Старикъ и степенный человѣкъ, кажется, съ удовольствіемъ ухватился теперь, безсознательно, конечно, за идею, что Машѣ будто бы неудобно у него жить. Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро. Онъ старается и себѣ и Машѣ представить дѣло такъ, что для него важно не согласіе Маши на бракъ, а то—остается она у него или нѣтъ. Но онъ невольно проговаривается; на замѣчаніе Маши:

„имѣю ли я право располагать вами... за что же вы...

онъ кричитъ:

„Вотъ что выдумала! Да старому дураку, какъ я, такого счастья и сниться то не слѣдуетъ!

А когда Маша говорптъ ему, что остается у него,—онъ не ограничивается словами:

„Ну, и слава Богу, слава Богу! Лишь бы ты была покойна и счастлива. А о прочемъ не безпокойся, ради Бога...

нѣтъ, онъ прибавляетъ, какъ бы шутя (впрочемъ, онъ и самъ думаетъ, что шутитъ):

„Говорятъ, въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ спросить у возлюбленной, то-есть, особы: могу ли я, дескать, надѣяться? Но ты не бойся, я ничего у тебя не спрошу“.

Тогда Маша подаетъ ему надежды,—и старикъ растерялся отъ радости и раскрылся весь передъ нами, забывъ всѣ свои хитрости и всякія попытки самообманыванія. «Что это она сказала? Вы можете надѣяться? (говоритъ онъ въ чаду восторга, и прыгаетъ).

«Стой, старый дуракъ! (продолжаетъ онъ, справедливо придавая себѣ такой эпитетъ):

Что это ты разскакался? Развѣ ты не понимаешь? но, Господи, Боже мой! Кто бы могъ все это предвидѣть? Это, просто, такія чудеса, какихъ на свѣтѣ никогда не бывало!.. Я женюсь? Въ мои года, и на комъ-же? На совершенствѣ на какомъ-то, на ангелѣ... Да это сонъ, это бредъ; просто, я въ чаду хожу... въ горячкѣ, я въ горячкѣ. А, Петръ Ильичъ? Вы думали насъ подкузьмить? Анъ нѣтъ-же, вотъ! Шишъ тебѣ, мой голубчикъ!

Петръ Ильичъ представляется здѣсь Мошкину побѣжденнымъ соперникомъ,—онъ забываетъ, что Маша того любила; вообще, въ своихъ радостяхъ, о сердцѣ Маши, о томъ, что бѣдная дѣвушка чувствуетъ, выходя за него,—онъ забываетъ и не думаетъ (да забываетъ объ этомъ и авторъ комедіи).—Мошкинъ доходитъ, въ порывахъ своего восторга, до признанія, что и прежде Маша ему нравилась; что не отеческое (или, по крайней мѣрѣ, не одно отеческое) чувство было въ его душѣ; онъ говоритъ (оглядываясь и тихонько, про себя):

То-то у меня и прежде сердце замирало, когда я ее сваталъ, прибавляетъ, самодовольно, «махая рукою»:

Молчи, молчи, старый, молчи!“

Таковъ Мошкинъ. И ужъ, конечно, нельзя, не хорошо сочувствовать его старческой влюбленности, его старческимъ поползновеніямъ. И очень жаль, что поэтъ не осмѣялъ своего добродушно-наивнаго, но вмѣстѣ и нѣсколько пошлаго героя правдивымъ скорбнымъ гоголевскимъ смѣхомъ.

Комедіи «Нахлѣбникъ» и «Холостякъ» обличаютъ собою, своимъ существованіемъ ложь школы «сантиментальнаго натурализма», и должны быть признаны несомнѣнно ошибками тургеневскаго творчества. Положительное значеніе ихъ развѣ только въ томъ, что они были въ дѣятельности Тургенева противовѣсомъ прежнимъ, другого характера, но тоже ложнымъ увлеченіямъ великаго поэтическаго таланта, который долго искалъ своей особой самостоятельной дороги.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Изъ всѣхъ комедій Тургенева «Завтракъ у предводителя» принадлежитъ къ числу наиболѣе живыхъ и сценичныхъ. Это простая жанровая картинка, и авторъ не бьетъ на глубину мысли, какъ въ другихъ комедіяхъ своихъ. Вы съ удовольствіемъ читаете нѣсколько карикатурное изображеніе вдовы Кауровой, и такъ какъ дѣло не идетъ о Богъ вѣсть какомъ важномъ явленіи жизни, то вы и прощаете автору водевильность комедіи»...

Относительно другихъ комедій Венгеровъ говоритъ.

«Всѣ его комедіи одна другой слабѣе. «Неосторожность» —драматическій очеркъ изъ испанской жизни—до невозможности вялъ и скученъ. Единственный сносный «нумеръ» въ немъ—серенада въ стихахъ, сносный не въ силу своихъ достоинствъ, а больше потому, что на безлюдьи и Ѳома дворянинъ».

«Безденежье» — сцены петербургской жизни — стремятся къ водевилю, но далеко не достигаютъ даже этого

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ современныхъ ея представителяхъ“, ч. 1.

скромнаго уровня, потому что въ нихъ нѣтъ никакой веселости и движенія. «Гдѣ тонко, тамъ и рвется»—такъ тонко, что и самъ авторъ оборвался, сдѣлавъ совершенно непонятной «мораль» своей пьесы.

Что касается «Мѣсяца въ деревнѣ», къ которому авторъ особенно благоволитъ, то мы, право, затрудняемся ближе опредѣлить его отличительныя черты. Лишенный драматической жизни, Тургеневъ тѣмъ не менѣе стремится вывести на сцену какую-то весьма хитросплетенную интригу, съ претензіями на психологическій анализъ. Но увы и ахъ! читателю отъ этого все-же не веселѣе, и онъ съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаетъ конца неинтересной путаницы. Единственная комедія Тургенева, не лишенная кое-какихъ достоинствъ—это «Нахлѣбникъ»: при хорошихъ актерахъ онъ легко смотрится. «Провинціалка», «Холостякъ»—хотя пользовались во время оно успѣхомъ, но что-же не пользовалось успѣхомъ, когда въ нихъ играли Мартыновъ и Садовскій?

С. Венгеровъ.

* * *

*) Въ обозрѣніи русской литературы за 1843 годъ Бѣлинскій упоминаетъ о комедіи «Неосторожность» въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Изъ драматическихъ произведеній, напечатанныхъ въ журналахъ, вмѣсто новостей, замѣчателенъ, какъ мастерской эскизъ, но не больше, драматическій очеркъ г. Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность».

Бѣлинскій.

**) По словамъ П. Анненкова, въ комедіи «Гдѣ тонко, тамъ и рвется» открывается новая сторона таланта Тургенева, именно живопись лица въ извѣстномъ кругѣ дѣйствователей, гдѣ не можетъ быть ни сильныхъ страстей, ни рѣзкихъ порывовъ, ни запутанныхъ происшествій. Кто

---

*) Сочиненія Бѣлинскаго.
**) „Современникъ" 1849 г., № 1.

знаетъ, какъ великъ этотъ кругъ, тотъ пойметъ заслугу автора, умѣвшаго отыскать содержаніе и занимательность тамъ, гдѣ вошло въ обыкновеніе предполагать отсутствіе всѣхъ интересовъ. Тонкими чертами обрисовалъ онъ главное лицо комедіи, скептическое до того, что оно не вѣритъ собственному чувству, и запутанное такъ, что изъ ложнаго понятія о независимости оно отказывается отъ счастья, котораго само искало. Всякому случалось встрѣтить подобный характеръ, гораздо труднѣйшій для передачи, чѣмъ многіе великолѣпные герои трагедій или многіе нелѣпые герои комедій. Интрига, простая до крайности, въ комедіи г. Тургенева не теряетъ ни на минуту своей живости, а комическія лица, которыми обставлена главная дѣйствующая чета, переданы, такъ сказать, съ артистическою умѣренностію.

П. Анненковъ.

***

О комедіяхъ—«Гдѣ тонко, тамъ и рвется» и «Провинціалка» А. Григорьевъ говоритъ *):

«Этими двумя произведеніями Тургеневъ отдалъ дань извѣстной модѣ, царствовавшей въ литературѣ. Пусть *Гдѣ тонко, тамъ и рвется,* по истинной тонкости анализа, по прелести разговора, по множеству поэтическихъ чертъ—стоитъ надъ всѣмъ этимъ *дамскимъ* и *кавалерскимъ* баловствомъ столь же высоко, какъ пословицы Мюссе; пусть въ „*Провинціалкѣ*“ женское лицо очерчено, хотя и слегка, но съ мастерствомъ истиннаго артиста—почти такъ-же хорошо, какъ жена адвоката «Жаклина» въ извѣстной пословицѣ Мюссе, хоть и съ меньшею энергіею: но все же эти произведенія—жертва модѣ и какая-то женская прихоть автора «Записокъ Охотника», «Рудина» и «Дворянскаго Гнѣзда»; все же... Но я лучше поворочу скорѣе медаль и скажу: хорошо, что Тургеневъ обмолвился этими жертвами модѣ—хорошо, что этотъ симпатичнѣйшій талантъ нашей эпохи искренно отдавался всѣмъ наитіямъ, искренно и му-

*) Сочиненія А. Григорьева.

чительно переживая всѣ вѣянія, искренно и женственно увлекался всѣми литературными модами. Талантъ съ глубокимъ и поэтическимъ, хотя постоянно неяснымъ, постоянно *вырабатываемымъ* на глазахъ читателя содержаніемъ, — съ широкими зачинаніями (концепціями), хотя безъ энергіи въ ихъ выполненіи,—онъ не выше и не ниже своей эпохи. Его сердце билось въ одинъ тактъ съ нею. Прежде всего и больше всего, это — талантъ искренній, искренній даже въ *самообманываніи.*

А. Григорьевъ.

* * *

*) Дружининъ говоритъ, что между всевозможными неправильно относившимися къ таланту Тургенева критиками «были энтузіасты, которые, не сознавая отсутствія драматическаго элемента въ дарованіи Тургенева, видѣли въ немъ надежду русской сцены и новое свѣтило новаго театра. Мудрено-ли, что посреди этихъ разнохарактерныхъ, ошибочныхъ оцѣнокъ и требованій, высказываемыхъ съ такою любовью, съ такимъ благороднымъ сочувствіемъ, самъ предметъ общей симпатіи могъ запутываться въ своихъ воззрѣніяхъ? Нельзя отдыхать на розахъ, не ощущая желанія сдѣлать что-нибудь пріятное тому или тѣмъ, кто подсыпалъ намъ цвѣтовъ въ такомъ обиліи. Изъ взаимной ласковости и симпатіи произошла нѣкоторая уступчивость, совершенно безсознательная, но явно ведущая къ общему ущербу. Тургеневъ писалъ драмы весьма неудачныя,— критика ихъ привѣтствовала, какъ прекрасныя творенія.

А. Дружининъ.

* * *

**) Много силъ долженъ былъ Тургеневъ тратить оттого только что выбралъ узкую рамку для своихъ сочиненій. Выбралъ-же онъ прежде себѣ *стихъ,* какъ орудіе своего

---

*) Сочиненія А. Дружинина. Т. 7.
**) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки“ 1857 г., № 4.

таланта, ошибся въ выборѣ — и оставилъ его. Выбралъ драматическую форму—и почти оставилъ ее.

С. Дудышкинъ.

* * *

*) Г. Тургеневъ явился еще на другомъ поприщѣ, именно на томъ, на которое до сихъ-поръ рѣшались вступать или наши геніальные таланты или бездарная посредственность. Мы не намѣрены говорить отдѣльно о нашей драматической литературѣ въ этомъ обзорѣ— и потому рѣшаемся упомянуть здѣсь о *Холостякѣ* г. Тургенева. «Холостякъ» уже не первая попытка автора въ драматической формѣ; но странно, что, несмотря на всѣ свои неотъемлемыя достоинства, это произведеніе несравненно менѣе зрѣло, чѣмъ граціозная мастерская этюда: «Гдѣ тонко, тамъ и рвется», предназначенная не для сцены, и между тѣмъ вполнѣ драматическая. Въ «Холостякѣ» нѣтъ той оконченности и того тонкаго очертанія характеровъ, которое поразило насъ въ милой драматической пословицѣ; нѣтъ того психологическаго анализа, который виденъ тамъ изъ-за самыхъ легкихъ формъ; нѣтъ той недосказанности, которая составляетъ умѣнье художника остановиться во-время. Въ «Холостякѣ» многое отзывается сценою въ ея настоящемъ состояніи. Задача этого произведенія прекрасна и серьезно обдумана; лицо Мошкина, въ самомъ дѣлѣ, созданіе; лицо Вилицкаго изображено съ тою же вѣрностью, съ какой г. Тургеневъ создалъ Гамлета Щигровскаго уѣзда; лицо тетушки, съ какою-то наивной злостью утверждающей, что Вилицкій непремѣнно «вышибетъ зубочки» Мошкину, и сцена, когда всѣ они: и Мошкинъ, и тетушка, и деревенскій помѣщикъ, и сама героиня пьесы—теряются въ «блистательномъ» обществѣ Фонъ-Фонка, сдѣлали бы честь всякому художнику; но за то лица Фонъ-Фонка и Маши рѣшительно необъяснимы. Фонъ-Фонкъ вышелъ у автора до того уменъ, что умъ замѣняетъ для васъ его непро-

*) „Отечественныя Записки“ 1850 г., т. 68, № 1.

ходимую пошлость; вы соглашаетесь съ нимъ весьма во многомъ, и почти не видать того, въ чемъ разойдется съ нимъ мыслящій и чувствующій человѣкъ; Маша вышла какъ-то неопредѣленна; вы не знаете, точно ли она искренно любила Вилицкаго или просто хотѣла выйти замужъ за человѣка, по ея мнѣнію, очень порядочнаго, и упрочить свою судьбу. Это-то и хорошо—скажутъ, можетъ быть, нѣкоторые: эта-то неопредѣленность и доказываетъ дѣйствительное существованіе Маши. Едва-ли! То, что понятно въ Вѣрѣ («Гдѣ тонко, тамъ и рвется»), непонятно въ Машѣ, которая до того еще непосредственна, что совершенно уничтожается въ присутствіи Фонъ-Фонка, и непосредственность непремѣнно повела бы ее къ большей рѣзкости чувства.

„Отечественныя Записки“ 1850 г.

* * *

*) Мы не охотники до драматическихъ опытовъ г. Тургенева, за исключеніемъ *Завтрака у предводителя,* который не болѣе какъ разсказъ въ драматической формѣ. Остальныя его комедіи и драмы: *Гдѣ тонко, тамъ и рвется, Провинціалка, Холостякъ, Нахлѣбникъ,*—все это очень длинно и скучно на сценѣ. Мы предпочитаемъ комедію его *Мѣсяцъ въ деревнѣ,* не игранную въ театрѣ. Но это мнѣніе только относительное: мы считаемъ, что Тургеневъ-драматургъ совершенно блѣднѣетъ передъ Тургеневымъ-повѣствователемъ. Это, впрочемъ, нисколько не мѣшаетъ тому, что въ его комедіяхъ разсыпано много чертъ тонкихъ и занимательныхъ, и что литературное достоинство ихъ неотъемлемо. При томъ же мы такъ бѣдны театральными пьесами, что произведеніями г. Тургенева нельзя не дорожить; есть не мало людей, которымъ они очень нравятся; и мы увѣрены, что *Театръ* г. Тургенева будетъ для нихъ истиннымъ подаркомъ, а потому и желаемъ, чтобъ онъ былъ собранъ и изданъ.

М. Лонгиновъ.

---

*) М. Лонгиновъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1861 г., № 2.

„ЗАПИСКИ ОХОТНИКА“.

*) Въ лицѣ самыхъ передовыхъ своихъ представителей наша литература XIX вѣка какъ бы совершенно порвала связь съ тѣми доблестными преданіями, представителями которыхъ являлись въ XVIII вѣкѣ, съ одной стороны, наши комики, съ другой—публицисты, въ родѣ Новикова, Полѣнова и Радищева. Но XIX вѣку даже мало было порвать эту связь: онъ осмѣлился, въ лицѣ Пушкина, самымъ легкомысленнымъ образомъ осмѣять Радищева. Еще раньше нашъ вѣкъ опозорилъ себя сладкогласнымъ ратованьемъ за отсрочку рѣшенія крѣпостного вопроса въ лицѣ Карамзина, который, отвернувшись отъ Новиковскаго мистицизма, не задумавшись отвернулся и отъ самыхъ человѣчныхъ стремленій этого—хотя бы притомъ и мистика! И не только одни умозрѣнія, но и живые пріемы повѣсти послужили позорному дѣлу такой отсрочки, создавая изъ нашей народной жизни—пріятно убаюкивающую идиллію. И отголоски такой идилліи сохранялись у насъ до временъ ближайшихъ къ Тургеневу, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, обнаруживались и зародыши противоположной крайности—выставленія народа совсѣмъ уже отупѣлымъ, почти низведеннымъ на степень животнаго. Какъ-же послѣ этого не превознесть въ «Запискахъ Охотника» именно то, что, правдиво обнаруживая всю бѣдственность положенія народа,

*) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева“. „Бесѣда“ 1871 г., № 10. Отдѣльное изданіе: „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Ч. I.

онѣ столько же правдиво, не убѣляя и не черня, представляютъ намъ въ простомъ народѣ—людей.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ своихъ охотникъ, т. е. нашъ писатель, даже не затрогиваетъ крѣпостного вопроса, а просто рисуетъ намъ такіе типы крѣпостныхъ людей, въ которыхъ оказывается гораздо болѣе человѣческаго, чѣмъ во многихъ типахъ помѣщичьихъ. Вотъ передъ нами дѣтскій крестьянскій міръ въ «Бѣжиномъ Лугѣ», со всею налегшею на него съ колыбели непроглядною тьмою суевѣрій, но и со всею бодростью и находчивостью существъ, тоже почти съ колыбели выведенныхъ на открытое поле жизни и предоставленныхъ почти совершенно самимъ себѣ. Есть, однако, и между ними болѣе приголубленные судьбою, въ лицѣ болѣе зажиточнымъ родителей, но нѣтъ между ними такихъ, которыхъ бы она приголубила до того, чтобы довесть до состоянія комнатнаго растенія. А вспомните этотъ яркій, поразительный образъ Павлуши, такъ спокойно готовящагося встрѣтить волка,—и согласитесь, что въ эту минуту далеко до него какому-нибудь изнѣжившемуся барчуку, хотя бы и вовсе не суевѣрному! А вотъ передъ вами простой народный кабакъ со всею его непроглядною обстановкой и со всѣми его болѣе или менѣе сбившимися съ пути посѣтителями («Пѣвцы»). И что же, на этой совершенно низкой ступени тѣхъ чувственныхъ наслажденій, до какихъ въ состояніи ниспасть человѣкъ, разомъ сказываются во всѣхъ этихъ забулдыгахъ порывы къ высшему—въ этой внезапной жаждѣ упиться пѣснею, въ этомъ приковывающемъ всѣхъ состязаніи двухъ пѣвцовъ и обаятельномъ дѣйствіи ихъ, всѣмъ давно извѣстныхъ, но всегда отвѣчающихъ на запросы народа пѣсенъ. И согласитесь, что въ эту минуту кабакъ представляетъ намъ болѣе признаковъ человѣческой жизни, чѣмъ тотъ барскій покой Ивана Никифоровича, среди котораго онъ лежалъ въ натурѣ, или даже чѣмъ тотъ, поэтически выставленный Гоголемъ, уголокъ «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ», въ которомъ почти исключительно раздавалось нескончаемая бесѣда о томъ, «чего бы такого покушать?» —

А вотъ передъ вами одинъ изъ тѣхъ характерныхъ представителей, въ своемъ родѣ поэтическаго начала народной жизни, которые носятъ названіе «юродивыхъ» или «блаженныхъ»—(«Касьянъ съ Красивой Мечи»). Природа, не давъ ему вырости выше дѣтскаго роста, и по внутреннимъ качествамъ оставила его какъ будто бы навсегда ребенкомъ — съ чисто-дѣтской способностью не думать о завтрашнемъ днѣ, съ чисто-дѣтской сердечной привязанностью ко всѣмъ тварямъ. Но вглядитесь, и вы замѣтите въ немъ при этомъ уже вовсе не дѣтскую способность къ широкохватающимъ обобщеніямъ. У него не только сжимается сердце при мысли о тѣхъ бѣдныхъ пташкахъ, которымъ придется стать жертвой забавы охотника, но онъ и разсуждаетъ объ этомъ такимъ образомъ: кровь—святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь—охъ, великій!» И въ этомъ «юродивцѣ», конечно, гораздо живѣе сказывается *человѣкъ*, чѣмъ въ свѣтски натертыхъ, элегантныхъ представителяхъ нашего благороднаго класса, въ родѣ Пѣночкина, приказывающаго выпороть своего слугу за ненагрѣтое вино за завтракомъ («Бурмистръ»), или же Мардарія Аполлоныча Стегунова, съ добрѣйшей улыбкою вторящаго ударамъ исправительныхъ розогъ: «чюки-чюки-чюкъ! чюки-чюки-чюкъ!» («Два помѣщика»). Но и другимъ еще образомъ сказывается въ Касьянѣ та особаго рода разумность, которую такъ любитъ скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущеюся глупостью любимаго ихъ лица—Иванушки. Повидимому, до совершеннѣйшей безотвѣтности выносливъ Касьянъ, и даже готовъ признать, что опека, конечно, совершенно справедливо разсудила, переселивъ его вмѣстѣ съ другими съ привольной Красивой Мечи на новое непривольное мѣсто. А между тѣмъ, такъ и рвется его поэтическая душа изъ этой «тѣсноты, сухменя» на широкій и вольный просторъ—«и туда и сюда, вплоть до теплыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебряныхъ вѣткахъ и довольствомъ и справедливостью для каждаго человѣка».

И, что особенно замѣчательно, сейчасъ же при этомъ переносится его ужъ ни мало несебялюбивая мысль къ другимъ такимъ же, какъ онъ, горемыкамъ... «Много, тужитъ онъ, другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то, что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, вотъ оно что»... И, конечно, въ это время юродивецъ Касьянъ несравненно разумнѣе тѣхъ нашихъ литературныхъ умниковъ, которые такъ, бывало, любили васъ занимать чисто *личными* и притомъ еще большею частью напускными «страданіями поэта», эгоистически забывающаго за тѣмъ весь міръ или даже тупоумно увѣряющаго и себя и васъ, будто, сравнительно съ его участью, и участь какого-нибудь бѣдняка несравненно завидна!

«Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ»—вотъ чѣмъ оканчиваетъ Касьянъ, и въ этомъ слышится уже затаенный и кроткій, по самой своей обобщенности, жизненный выводъ народа изъ явленій крѣпостного права. Но юродивецъ Касьянъ гораздо живѣе чувствуетъ неправду его, чѣмъ другія, столько же поэтическія личности въ самомъ народѣ, только не отмѣченныя печатью «юродства». (И въ этомъ случаѣ нашъ писатель совершенно вѣрно понялъ значеніе этого психологическаго явленія народной жизни: кому неизвѣстны въ своемъ родѣ смѣлые, далеко хватающіе взгляды нашихъ историческихъ юродивыхъ?). Вполнѣ безотвѣтнымъ, любовно-благоговѣющимъ передъ своимъ господиномъ является въ «Запискахъ Охотника» народный романтикъ Калинычъ. «Ужъ ты его у меня не трогай», говоритъ онъ про помѣщика Полутыкина другу своему, народному реалисту Хорю; и на возраженіе послѣдняго: «а что-жъ онъ тебѣ сапоговъ не сошьетъ?» спокойнѣйшимъ образомъ отвѣчаетъ: «Эка, сапоги! на что мнѣ сапоги? я мужикъ». Но при такой незлобивой готовности примиряться съ существующимъ порядкомъ вещей, тѣмъ болѣе васъ отталкиваетъ нравственный кругозоръ помѣщика Полутыкина: вспомните безчувственно откровенное признаніе его про Калиныча: «Усердный и услужливый мужикъ: хозяйство въ исправности

одначе содержать не можетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходитъ... Какое ужъ тутъ хозяйство, посудите сами». Въ лицѣ Калиныча г. Тургеневъ развернулъ передъ нами ту сторону природы русскаго человѣка, которая сказывалась, между прочимъ, и въ знаменитыхъ, уже совсѣмъ отживающихъ типахъ нашихъ дядекъ и нянекъ крѣпостной поры. Наши наблюдатели нравовъ изъ «благороднаго» лагеря любятъ объяснять эти типы преобладаніемъ человѣчности въ отношеніяхъ помѣщиковъ къ крѣпостнымъ; но едва ли не вѣрнѣе его объяснять добродушіемъ самого народа. Было бы однако же странно, если бъ подобныя *сердечныя* отношенія къ господамъ являлись въ немъ сплошь и къ ряду. И вотъ въ народѣ оказывались и совершенно другія личности—съ рѣшительнымъ перевѣсомъ разсудка, замѣчательно развитаго жизнію; личности *себѣ на умѣ,* умѣвшія достигать довольно выгоднаго положенія, несмотря на крѣпостное право, а иногда и благодаря ему. Такимъ-то является Хорь, насквозь видѣвшій своего помѣщика, и потому-то именно не только умѣвшій нажить себѣ и дѣтямъ своимъ сапоги, но даже находившій совершенно излишнимъ (хотя и могъ бы) выкупиться на волю. То же практическое направленіе доведено уже до самыхъ крайнихъ предѣловъ въ лицѣ бурмистра помѣщика Пѣночкина. Вспомните его холопскіе панегирики помѣщичьей власти, которые представлялись помѣщику чрезвычайно touchants, а панегиристъ между тѣмъ довелъ имѣніе его до того, что оно только числилось за Пѣночкинымъ, на самомъ же дѣлѣ владѣлъ имъ бурмистръ,—владѣлъ, забравъ къ себѣ въ кабалу всѣхъ крестьянъ, въ чьихъ жалобахъ Пѣночкинъ если и видѣлъ le mauvais côté de la médaille, но слишкомъ оберегалъ свой покой, чтобы вступать въ разбирательство.

Извѣстно, что это было однимъ изъ неособенно рѣдкихъ явленій нашего крѣпостничества, при чемъ неограниченный властелинъ, какъ оно бываетъ и не въ однихъ крѣпостныхъ владѣніяхъ, незамѣтнымъ образомъ обращался въ игрушку своего холопа: совершенно законная кара, но отъ

которой, къ несчастью, становилось не лучше, а хуже для всѣхъ, т. е. для той же *мелкой четы, для тѣхъ же униженныхъ и оскорбленныхъ*. Вспомните также и конторщика г-жи Лосняковой («Контора»), къ тому же стакнувшагося съ ея «вѣдьмой» ключницей. Особый оттѣнокъ въ немъ составляетъ расположеніе къ сердечнымъ дѣламъ, и способность изъ мести настроить г-жу Лоснякову—не давать разрѣшенія на бракъ съ ея дѣвкой ея человѣку, конторщикову сопернику. «Ея господская воля», неотразимо ссылается при этомъ конторщикъ, подобно какому-нибудь администратору, ссылающемуся на законъ. Но барская воля, какъ неумолимый законъ и въ самомъ вопросѣ о бракѣ, неоднократно сказывается въ «Запискахъ Охотника» во всей своей страшной и, какъ всѣмъ намъ хорошо понятно, заурядной силѣ. Едва-ли не съ самой разительной стороны представлено это въ разсказѣ «Ермолай и Мельничиха», который если бы даже совершенно одинъ уцѣлѣлъ для потомства, то и тогда бы могъ служить вполнѣ удовлетворительною поэтическою характеристикою крѣпостной поры. Можно сказать, что даже одинъ разсказъ г. Звѣркова о «черной неблагодарности» дѣвки Арины достаточно ярко передаетъ всю глубину безнравственности, всю непробужденность чего-либо человѣческаго въ заурядныхъ понятіяхъ многихъ изъ нашего благороднаго класса этой еще недавней поры. Дѣвка должна быть благодарна барынѣ за то, что еще съ дѣтства вырвали ее изъ родной семьи и пожаловали въ горничныя. Неблагодарность ея заключается въ томъ, что она просится замужъ. Г-жа Звѣркова могла бы при этомъ, подражая г-жѣ Простаковой, сказать: «любитъ, бестія, точно благородная!» Но не даромъ же наши помѣщичьи нравы смягчились со временъ Фонвизина (должно быть, подъ вліяніемъ Карамзинской сентиментальности и т. п.). Г. Звѣрковъ считаетъ нужнымъ отвѣтить на просьбу Арины цѣлымъ доводомъ: «у барыни другой горничной нѣтъ, а замужнихъ она не держитъ»... (Кому неизвѣстно, что это послѣднее правило и до сихъ поръ еще сохраняетъ у многихъ всю свою силу при наймѣ, конечно, уже не крѣпост-

ной прислуги; но развѣ нужда не является и теперь своего рода крѣпостною зависимостью?). Другимъ признакомъ усовершенствованія понятій служитъ, какъ извѣстно, со стороны г. Звѣркова то, что онъ не позволяетъ Аринѣ валяться у него въ ногахъ, потому что «человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство». Во имя того-же, конечно, приходитъ въ негодованіе и г-жа Звѣркова, когда не выноситъ естественныхъ послѣдствій запрета, истекшаго изъ ея барской воли... Дѣйствительно, важный успѣхъ: при Фонвизинѣ гг. Звѣрковы не стыдились бы прямо показываться *звѣрями,* тогда какъ Тургеневу уже пришлось ихъ представить разыгрывающими *людей.* Но нашъ авторъ умѣлъ показать, что причиною барскихъ запретовъ того же рода бывала даже и не забота о своихъ выгодахъ и привычкахъ, а просто капризный припадокъ барскаго самодурства. Глядя на Петра Петровича Каратаева, Марьѣ Ильинишнѣ вдругъ пришло въ голову женить его на зеленой своей компаньонкѣ, и отъ этого-то, главнымъ образомъ, она такъ и разозлилась, когда онъ ей предложилъ выкупъ за полюбившуюся ему дѣвку ея Матрену. Конечно, съ другой стороны, въ Марьѣ Ильинишнѣ заговорило при этомъ и чувство человѣческаго—виноватъ, помѣщичьяго достоинства—при возмутительной мысли о женитьбѣ дворянина на крѣпостной!

Вспомнимъ затѣмъ и о другихъ, столько же заурядныхъ явленіяхъ крѣпостной поры, столь-же вѣрно воспроизведенныхъ г. Тургеневымъ: о графской метрескѣ, забривающей слугѣ лобъ за шоколадъ, пролитый ей на платье, о барскихъ привычкахъ самого графа Петра Ильича, который, по разсказу стараго дворецкаго Тумана, душа былъ добрая: побьетъ, бывало, тебя,—смотришь, ужъ и позабылъ («Малиновая Вода»); о рыбакѣ Сучкѣ, попавшемъ въ это званіе изъ кучеровъ, въ кучера изъ поваровъ, въ повара изъ актеровъ—все по барской волѣ (напоминающей въ этомъ отношеніи пріемы и не однихъ только баръ («Льговъ») и т. д. Но особенно важно то, что г. Тургеневъ и выставлялъ почти исключительно именно такія заурядныя явленія крѣпостной поры, ни мало не изыскивая и не подбирая та-

кихъ, про которыя можно бы было сказать, что это лишь исключенія, хотя и такихъ, такъ-называемыхъ, *исключеній*, отъ которыхъ бы волосы у читателей поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ-то именно и заключалась неотразимая сила этихъ, какъ бы лишенныхъ всякой умышленности, просто правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпическою невозмутимостью отражали все то, что встрѣчалось само собою на каждомъ шагу, и что уже само по себѣ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между тѣмъ, вѣдь, разсказы этого сборника связаны между собою чисто внѣшнею связью,—случайною послѣдовательностію охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій, односторонность которыхъ зависитъ исключительно отъ того, что охотникъ постоянно сталкивается съ помѣщиками и крестьянами. Во многихъ мѣстахъ, при разсказахъ о прошломъ, онъ обнаруживаетъ готовность думать, что многаго ужъ теперь не дѣлается, и получаетъ при этомъ: «теперь, вѣстимо, лучше». И опять таки тѣмъ лишь сильнѣе дѣйствуютъ при этомъ разсказы, изъ которыхъ оказывается, что на самомъ-то дѣлѣ оно не лучше. Такимъ образомъ, отъ стараго графа Петра Ильича вовсе не далеко ушелъ его сынъ Валеріанъ Петровичъ, отказывающій въ сбавкѣ оброка крестьянину, лишившемуся своего кормильца сына. «Да мнѣ съ полугоря, говоритъ крестьянинъ: взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ не хитри — шалишь: безотвѣтная моя голова». При этомъ мужикъ разсмѣялся... («Малиновая Вода»). И невольно коробитъ васъ, какъ подумаете, что этимъ-же горемычнымъ смѣхомъ и теперь еще нерѣдко смѣется мужикъ, когда съ него взыскиваютъ недоимку! А между тѣмъ, вѣдь, и самъ, довольно близко стоящій къ народу, однодворецъ Овсянниковъ еще въ то время увѣрялъ нашего охотника, что «теперь лучше, а вашимъ дѣткамъ еще лучше

будетъ». По словамъ его, «много воды утекло» съ тѣхъ поръ, какъ дѣдъ охотника, присвоивъ себѣ землю отца Овсянникова, вдобавокъ его-же и высѣкъ у себя подъ окнами, да еще поглядывалъ при этомъ съ балкона вмѣстѣ съ женой. «Много воды утекло, времена подошли другія», продолжаетъ Овсянниковъ. И въ дворянахъ видитъ онъ перемѣну большую,—а все-же на повѣрку выходитъ изъ собственныхъ его словъ, что на самомъ-то дѣлѣ перемѣна лишь кажущаяся. «Вы, можетъ, знаете Королева?» обращается онъ къ охотнику. «Въ ниверситетахъ обучался, кажись, и за границей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ... Какъ дошло дѣло до размежеванія, заговорилъ, что отъ этого крестьянину будетъ легче, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ... Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ». Показывая подобнаго рода примѣрами, что и въ ближайшее время къ намъ даже самое высшее образованіе не было въ силахъ, путемъ нравственнаго улучшенія дворянъ добиться того, чего идиллически ожидалъ сладкорѣчивый Карамзинъ (не только во время «Записокъ Охотника», но еще и очень недавно имѣвшій у насъ въ этомъ отношеніи единомышленниковъ);—нашъ трезвый, неумолимо правдивый писатель показываетъ вслѣдъ затѣмъ, многаго-ли можно было дождаться также и отъ тѣхъ хлыщей народнаго направленія, полагавшихъ его исключительно въ однѣхъ фразахъ, отъ тѣхъ, какъ онъ прозвалъ ихъ, Пустозвоновыхъ, которые, дѣйствительно, только звонили себѣ о народѣ и вовсе не умѣли, или даже не хотѣли, справить службу ему на самомъ дѣлѣ... Посредствомъ примѣровъ, приводимыхъ тѣмъ-же Овсянниковымъ, нашъ охотникъ въ корнѣ опровергалъ его мнѣніе, будто бы «теперь лучше, а вашимъ дѣткамъ и еще лучше будетъ». Нѣтъ, какъ бы хотѣлъ своей книгой сказать охотникъ, пока будетъ стоять крѣпостное право, ни намъ ни нашимъ потомкамъ лучше не будетъ!

Нарисовавъ съ поразительной правдой нѣсколько совершенно объективныхъ картинъ изъ жизни простого русскаго человѣка, нашъ охотникъ срисовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ натуры и нѣсколько чудныхъ картинъ его смерти. «Удивительно умираетъ русскій мужикъ! восклицаетъ онъ. Состояніе его передъ кончиною нельзя назвать ни равнодушіемъ ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто». И эта совершенно покойная встрѣча смерти вполнѣ понятна послѣ жизни русскаго мужика, какою обрисовалъ ее г. Тургеневъ, жизни, въ которой терять было нечего и которая точно такъ же просто и холодно выполнялась имъ до конца, какъ заданный скучный, но неизбѣжный урокъ! Но и тутъ, какъ вездѣ у нашего писателя, подъ этой холодностью теплится то тихое любовное чувство, безъ котораго бы рѣшительно невыносимою сдѣлалась жизнь, и которое тутъ сказывается—то въ насущной заботѣ объ оставляемой семьѣ, то въ потребности попрощаться, т. е. по русскому смыслу слова, попросить прощенья у окружающихъ.—Но совершенно такъ же, какъ русскій мужикъ, умираетъ, по поэтическому свидѣтельству г. Тургенева, и всякій русскій человѣкъ, въ отношеніи къ которому, по народному выраженію, судьба явилась злою мачихой. Вспомните смерть недоучившагося студента Авенира Сорокоумова, для котораго безотрадная доля домашняго наставника въ домѣ малоразвитыхъ людей оказалась, какъ и оказывается для многихъ, своего рода закрѣпощеніемъ. Вспомните, наконецъ, и смерть старушки помѣщицы, которая собиралась сама заплатить за свою отходную, заплатить съ давнихъ поръ, можетъ быть, припасеннымъ на этотъ случай рублемъ. Очевидно, что это одна изъ тѣхъ мелкопомѣстныхъ, къ которымъ относится въ «Запискахъ Охотника» и мать больной дѣвушки, влюбляющейся въ «Уѣзднаго Лѣкаря».

Выводя передъ нами такіе, въ свою очередь возбуждающіе жалость, типы бѣдныхъ помѣщицъ, нашъ писатель доказываетъ этимъ, какъ далекъ онъ былъ отъ того, чтобы выставлять помѣщиковъ исключительно со стороны ихъ

отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ выгодномъ свѣтѣ. Напротивъ, даже участіе возбуждаютъ у него не только такія, уже самой своей бѣдностью располагающія въ свою пользу личности, но и живущія въ полномъ довольствѣ, добродушная со здравымъ умомъ Татьяна Борисовна, или даже безгласная мать Радилова, да и самъ Радиловъ, котораго охотнику такъ и хотѣлось бы «получше узнать и полюбить, хотя въ немъ иногда и сказывался помѣщикъ» (между прочимъ, и въ чисто барскихъ его отношеніяхъ къ прожившемуся и проживающему у него Ѳедору Михѣичу). А вспомните Чертопханова сына, являющагося такимъ-же преемникомъ своего взбалмошно-грознаго отца, какими являлись въ исторіи многіе добродушные государи, смѣнявшіе суровыхъ предшественниковъ. «Несправедливости, притѣсненія онъ вчужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горою... Какъ, моихъ трогать? Да не будь я Чертопхановъ!..» Вспомните и его заступничество за Недопюскина, и въ своемъ родѣ трогательную, хотя и не безъ юмористическаго оттѣнка, дружбу обоихъ.

При такой способности г. Тургенева подмѣчать и выказывать человѣческія черты и въ самыхъ помѣщикахъ, его «Записки Охотника» не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ, и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми неизбѣжнымъ образомъ искажались и самыя сочувственныя между ними натуры. Но и это опять-таки лишь придавало «Запискамъ Охотника» новую, неотразимую силу, наглядно указывая на то, что тутъ дѣло было не въ звѣрской грубости нашихъ помѣщиковъ (которой, пожалуй, могло бы оказываться и больше при всѣхъ соблазнахъ неограниченнаго права), не въ недостаткѣ между помѣщиками тѣхъ добродушныхъ личностей, которыя могутъ являться и независимо отъ образованія съ его смягчающими вліяніями, а дѣло было въ неестественности самыхъ отношеній, самой этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми совершенно безправными. И хотя бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего послѣ «Записокъ

Охотника», все бы имя его осталось навсегда незабвеннымъ въ исторіи нашей литературы. Между тѣмъ передъ нами еще цѣлый рядъ общественныхъ типовъ.

О. Миллеръ.

* * *

*) Какъ это случается съ произведеніями оригинальными, глубоко затрогивающими жизненные элементы,—«Записки Охотника» въ эпоху ихъ появленія и позднѣе понимались и истолковывались нерѣдко въ узкомъ и одностороннемъ смыслѣ. Въ этихъ «Запискахъ» прежде всего видѣли протестъ противъ крѣпостного права, и съ этой точки зрѣнія цѣнили и прославляли ихъ. Тургеневу ставили въ великую заслугу, что онъ, говоря словами поэта,

Въ годину мрака и печали,
Какъ люди русскіе молчали,

сумѣлъ въ формѣ, повидимому, самыхъ простыхъ и безпритязательныхъ очерковъ помѣщичьяго и крестьянскаго быта, выразить «идею эманципаціи», въ то время представлявшую верхъ либерализма и верхъ «политическаго» протеста, сумѣлъ пробудить въ сердцѣ русскихъ людей гуманное чувство къ закрѣпощенному крестьянину, и такимъ образомъ какъ бы подготовилъ своимъ художественнымъ творчествомъ освободительную реформу. Такое мнѣніе о значеніи «Записокъ Охотника» распространено не только у насъ, оно даже перешло за предѣлы нашего отечества и установилось на европейской почвѣ. Самъ Тургеневъ какъ бы подтвердилъ его въ предисловіи къ своимъ «Литературнымъ и житейскимъ воспоминаніямъ». Объясняя свое западничество и причину своего удаленія изъ Россіи, Тургеневъ говоритъ, что онъ «не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что онъ возненавидѣлъ»; ему нужно было удалиться отъ его врага, чтобы

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева". Спб. 1884 г.

издали сильнѣе «напасть на него»; въ его глазахъ «врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ; носилъ извѣстное имя, врагъ этотъ былъ крѣпостное право». Съ этимъ врагомъ онъ рѣшился бороться до конца, поклялся не примиряться, и для того чтобы лучше исполнить эту «Аннибаловскую клятву», онъ ушелъ на Западъ. Если бы, прибавляетъ Тургеневъ къ вышесказаннымъ признаніямъ, онъ остался въ Россіи, ему, конечно, не удалось бы написать «Записокъ Охотника», нѣкоторые разсказы которыхъ созданы «въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли ему на родину или нѣтъ».

Изъ этихъ признаній самого Тургенева мы видимъ, что онъ какъ въ началѣ, такъ и на склонѣ своей литературной карьеры, придавалъ очень большое и очень серьезное значеніе тенденціозной сторонѣ «Записокъ Охотника», цѣнилъ въ нихъ именно протестъ противъ врага, на преслѣдованіе котораго онъ произнесъ «Аннибаловскую клятву», и исполненіе этой клятвы именно началъ съ «Записокъ». Между тѣмъ, этотъ протестъ на дѣлѣ былъ до того слабъ и непримѣтенъ, что его, напримѣръ, въ первыхъ разсказахъ «Записокъ» не прозрѣлъ такой проницательный критикъ, какимъ былъ Бѣлинскій, и уже только впослѣдствіи разные либеральные цѣнители и судьи стали придавать бытовымъ очеркамъ Тургенева главнымъ образомъ тенденціозное, протестантское значеніе. Нужно замѣтить, что въ то время, когда начали появляться «Записки Охотника», Бѣлинскій былъ въ періодѣ наибольшаго увлеченія общественнымъ значеніемъ произведеній искусства и, конечно, если бы «протестъ» разсказовъ Тургенева былъ въ нихъ ярокъ и силенъ, если бы онъ звучалъ въ нихъ главною, основною нотой—восторженный критикъ не преминулъ бы восхититься этими разсказами съ свойственною ему искренностью и одушевленіемъ, не знавшимъ въ такихъ случаяхъ предѣла. Но Бѣлинскій, какъ это свидѣтельствуютъ и его печатные критическіе отзывы о Тургеневѣ и его интимныя признанія друзьямъ, относился къ разсказамъ довольно сдержанно, и не придавалъ имъ особен-

наго общественно-политическаго значенія. При жизни Бѣлинскаго появилось четырнадцать разсказовъ: «Хорь и Калинычъ», «Каратаевъ», «Ермолай и Мельничиха», «Мой сосѣдъ Радиловъ», «Однодворецъ Овсянниковъ», «Льговъ», «Бурмистръ», «Контора», «Малиновая Вода», «Уѣздный Лѣкарь», «Бирюкъ», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ея племянникъ», «Смерть». Въ числѣ этихъ разсказовъ, конечно, есть такіе, которые по художественному достоинству нисколько не ниже послѣдующихъ, появившихся уже послѣ смерти Бѣлинскаго, напримѣръ «Хорь и Калинычъ», «Овсянниковъ», «Бирюкъ», «Смерть»; есть и такіе, въ которыхъ тенденція сквозитъ яснѣе и живѣе, чѣмъ въ прочихъ, написанныхъ позднѣе, напримѣръ, «Ермолай и Мельничиха», «Каратаевъ», «Бурмистръ». И тѣмъ не менѣе, Бѣлинскій, очевидно, не особенно былъ восхищенъ и художественной стороной первыхъ разсказовъ и еще менѣе провидѣлъ протестующее значеніе вторыхъ. Про «Хоря» онъ отзывался самому Тургеневу общей фразой: «этотъ разсказъ обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ», «Каратаевъ» хорошъ, хотя далеко ниже «Хоря и Калиныча», «Ермолай и Мельничиха» —не Богъ знаетъ что, бездѣлка, а хорошо, умно и дѣльно, съ мыслью». О другихъ разсказахъ въ письмѣ къ П. В. Анненкову онъ судитъ еще холоднѣе, и именно вотъ какъ: «Съ чего вы это, батюшка, такъ превознесли «Лебедянь» Тургенева? это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ разсказовъ его, а послѣ вашихъ похвалъ онъ мнѣ показался даже довольно слабымъ. Цензура не вымарала изъ него ни единаго слова, потому что рѣшительно нечего вычеркивать. «Малиновая Вода» мнѣ не очень понравилась, потому что я рѣшительно не понялъ Степушки. Въ «Уѣздномъ Лѣкарѣ» я не понялъ ни единаго слова, и потому ничего не скажу о немъ; а вотъ моя жена такъ въ восторгѣ отъ него—бабье дѣло!.. Во всѣхъ остальныхъ разсказахъ, много хорошаго, но вообще они мнѣ понравились слабѣе прежнихъ. Болѣе другихъ мнѣ понравились «Бирюкъ» и «Смерть». Богатая вещь—фигура Татьяны Борисовны; недурна старая дѣвица;

но племяникъ мнѣ крайне не понравился, какъ списокъ съ Андрюши и Кирюши (?) на нихъ не похожій» *). Очевидно, что тенденціозная сторона разсказовъ, сторона протеста прошла для Бѣлинскаго незамѣченной; такъ слабо она чувствуется въ нихъ. Будь эта сторона ярка, составляй она основной колоритъ и основной смыслъ разсказовъ, Бѣлинскій, конечно, сейчасъ же бы уловилъ ее и отмѣтилъ съ тою живостью, какую онъ, напримѣръ, обнаруживаетъ въ оцѣнкѣ этой стороны въ извѣстной повѣсти Григоровича «Антонъ Горемыка», появившейся одновременно съ первыми разсказами «Записокъ Охотника». Въ письмѣ къ Боткину, говоря о повѣсти Григоровича, Бѣлинскій признается, что онъ теперь «засѣлъ въ односторонности», не хочетъ выходить изъ нея и болѣетъ о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Односторонность эта заключается въ томъ, что онъ началъ цѣнить въ литературныхъ произведеніяхъ, помимо художественныхъ достоинствъ, ихъ дѣльность, общественное направленіе, что онъ требуетъ отъ нихъ «возбужденія вопросовъ нравственнаго впечатлѣнія». Съ такимъ требованіемъ онъ обсуждаетъ «Антона Горемыку», и дѣлаетъ слѣдующее признаніе: «ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удручающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину — законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ». Видите: тамъ, гдѣ тенденція, протестъ противъ крѣпостного права составляютъ главную суть произведенія, они замѣчены Бѣлинскимъ, они сразу взволновали его, и онъ высказываетъ это волненіе въ письмахъ къ друзьямъ (въ печати онъ, конечно, по тогдашнимъ цензурнымъ условіямъ, не могъ даже и намеками волноваться по поводу такихъ вещей); но въ «Запискахъ Охотника» протестъ составляетъ такую несущественную, такую аксессуарную сторону, что въ знаменитомъ критикѣ, при всей его чуткости и нервной отзывчивости, эта сторона разсказовъ Тургенева не вызывала никакихъ волненій...

*) „Бѣлинскій, его жизнь и переписка", А. Н. Пыпина, стр. 323.

Упомянувъ здѣсь, такъ сказать эпизодически. объ «Антонѣ Горемыкѣ» Григоровича, кстати будетъ упомянуть и о другой его повѣсти, «Деревня», которая тоже имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ литературному «дѣлу» давно минувшихъ дней, нами разсматриваемому. По увѣренію либеральныхъ цѣнителей и судей, «Записки Охотника». кромѣ ихъ будто бы протестующаго значенія, еще замѣчательны и тѣмъ, что въ нихъ Тургеневъ «открылъ» русскаго крестьянина, ввелъ его, если такъ можно выразиться, въ литературу, и въ этомъ отношеніи онъ былъ хронологически первымъ изъ русскихъ беллетристовъ. Это мнѣніе тоже не совсѣмъ справедливо. Если уже необходимо искать перваго писателя, который «открылъ» мужика, такъ это былъ Д. В. Григоровичъ; его повѣсть «Деревня» появилась ранѣе Тургеневскаго «Хоря и Калиныча»: она была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ сорокъ шестомъ году. Такимъ образомъ оказывается, что Колумбомъ, открывшимъ мужика въ нашей литературѣ, долженъ считаться авторъ «Деревни», а авторъ «Записокъ Охотника» былъ только Америго Веспучіемъ.

* * *

И такъ, повторяю, то, чего, очевидно, не находилъ въ «Запискахъ Охотника» Бѣлинскій, дѣйствительно въ нихъ почти отсутствуетъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Аннибаловская клятва» Тургенева, при ближайшемъ разсмотрѣніи его безподобныхъ разсказовъ, оказывается осуществленной въ нихъ довольно слабо. Въ нѣкоторыхъ разсказахъ авторъ мститъ своему врагу очень осторожно и какъ бы стороной; въ другихъ же онъ совсѣмъ забываетъ о врагѣ, о своей клятвѣ, и помнитъ только о поэзіи природы, о художественности бытовыхъ картинъ. Слѣдуетъ притомъ замѣтить, что разсказовъ послѣдняго рода гораздо болѣе въ «Запискахъ», чѣмъ мстящихъ крѣпостному праву, борющихся съ нимъ. Изъ всѣхъ двадцати пяти разсказовъ «Записокъ Охотника» можно усмотрѣть прямой протестъ противъ крѣпостничества только

въ слѣдующихъ: «Ермолай и Мельничиха», «Бурмистръ», «Льговъ», «Два Помѣщика», «Петръ Петровичъ Каратаевъ», «Свиданіе». Да и въ этихъ разсказахъ въ какой мягкой, въ какой деликатной формѣ выражается этотъ протестъ, какимъ несущественнымъ элементомъ является онъ на ряду съ чисто-художественными элементами разсказовъ. Либеральные цѣнители и судьи, протрубившіе о протестующемъ значеніи «Записокъ Охотника», конечно, могутъ сдѣлать такое возраженіе, что мягкость и деликатность борьбы Тургенева съ ненавистнымъ ему врагомъ прежде всего обусловливались внѣшними обстоятельствами того времени, когда появились разсказы: въ ту крутую пору не было возможности обнаружить большую энергію въ осуществленіи «Аннибаловской клятвы», большую яркость въ освѣщеніи мрачныхъ сторонъ крѣпостныхъ отношеній. Положимъ, это отчасти правда. Но, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ признать по справедливости, что упомянутая мягкость зависѣла не отъ однихъ условій времени, она зависѣла также въ значительной степени и отъ мягкой, женственно-артистической, а отнюдь не сурово-гражданской, отнюдь не протестующей натуры автора; она зависѣла отъ качествъ его таланта, вовсе не мстительно-аннибаловскихъ, а гуманно-эстетическихъ. Вѣдь, другіе тогдашніе писатели, задавшіеся такими же клятвами по отношенію къ врагу – крѣпостному праву, находили же возможность протестовать болѣе энергично, болѣе рѣзко, опредѣленно и ясно. Примѣръ этого видимъ на той же, въ свое время очень прошумѣвшей повѣсти Григоровича, о которой мною приведено выразительное мнѣніе Бѣлинскаго. Можно представить и другой примѣръ. Припомнимъ одно изъ первыхъ, фальшивыхъ и слабыхъ въ художественно-поэтическомъ отношеніи, но не лишенныхъ протестующей энергіи, стихотвореній Некрасова— его извѣстную пьесу «Въ дорогѣ». Эта пьеса написана въ сорокъ шестомъ году, слѣдовательно ранѣе разсказа «Ермолай и Мельничиха». Попробуйте сравнить обѣ эти вещи—онѣ нѣсколько сходны по тенденціи: въ обѣихъ разсказывается печальная повѣсть женской жизни, загублен-

ной крѣпостническимъ произволомъ. Какъ рѣзко и прямо звучитъ у Некрасова нота протеста, какъ возмущаетъ гуманное чувство его стихотворенiе. Несмотря на всю грубость и дѣланность формы, несмотря на искусственный мнимо-простонародный языкъ, уже тутъ, въ этой первой слабой попыткѣ поэта чувствуется закваска мрачной ненависти «музы мести и печали». Посмотрите же, какъ мимоходомъ, стороною выраженъ тотъ же протестъ въ разсказѣ Тургенева о несчастной жертвѣ крѣпостного произвола мельничихѣ Аринѣ. Въ художественномъ отношенiи, разумѣется, и сравнивать нельзя фальшивую, бьющую на скорбный эффектъ пьесу Некрасова съ простымъ и правдивымъ повѣствованiемъ Тургенева, въ которомъ каждый штрихъ вѣренъ дѣйствительности и воспроизведенъ мастерскимъ языкомъ. Но душевнаго крика ненависти къ врагу, крика борьбы съ нимъ въ этомъ изящномъ разсказѣ не слышится, а развѣ только звучитъ тихо, тихо, какъ будто гдѣ-то въ сторонѣ, какъ будто подъ сурдиной нотка какой-то гуманной меланхолiи...

Стоитъ только пересмотрѣть тѣ разсказы «Записокъ Охотника», въ которыхъ заключается протестъ противъ крѣпостного права, чтобы убѣдиться насколько невинны мотивы этого протеста. Про «Ермолая и Мельничиху» я уже говорилъ: это разсказъ о загубленной женской жизни — одна изъ излюбленныхъ темъ писателей сороковыхъ годовъ, разрабатывавшихъ ее во всевозможнаго рода обстановкахъ. Въ «Льговѣ» нарисованъ крѣпостной старикъ, который, по капризу своихъ господъ, переходитъ всевозможныя должности: кучера, повара, доѣзжачаго, даже актера; наконецъ, его произвели въ рыболовы. Разсказъ о мытарствахъ этого старика завершается замѣчательнымъ признанiемъ, вложеннымъ въ его уста авторомъ:

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава Богу, что въ рыболовы произвели. А то вотъ другого, такого же какъ я старика—Андрея Пупыря—въ бумажную фабрику, въ черпальную, барыня приказала поставить! Грѣшно, говоритъ, даромъ хлѣбъ ѣсть. А Пупырь-то еще на милость

надѣялся: у него двоюродный племянникъ въ барской конторѣ сидитъ конторщикомъ: доложить обѣщался объ немъ барынѣ, напомнить. Вотъ-те и напомнилъ!.. А Пупырь въ моихъ глазахъ племяннику-то въ ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Былъ женатъ?

— Нѣтъ, батюшка, не былъ. Татьяна Васильевна покойница —царство ей небесное - никому не позволяла жениться. Сохрани Богъ! Бывало говоритъ: вѣдь, живу же я въ дѣвкахъ, что за баловство! чего имъ надо?

Этотъ отрывокъ разсказа очень характеренъ вотъ въ какомъ отношенiи: за протестующей нотой противъ крѣпостного произвола тутъ звучитъ гораздо громче другая нота, отнюдь не протестующая и совсѣмъ уже не «западническая»: звучитъ нота сочувствiя тому благодушному смиренiю, которое выказываетъ, по выраженiю поэта, «терпѣньемъ изумляющiй народъ».

«Бурмистръ» одинъ изъ наиболѣе яркихъ и выразительныхъ разсказовъ: въ изображенiи Аркадiя Павловича Пѣночкина и его бурмистра Софрона чувствуется глубокая ненависть къ растлѣвающему порядку и благочинiю, которые устроены такъ хорошо во владѣнiяхъ молодого помѣщика съ благородными и даже европейскими манерами. Сцена съ камердинеромъ, на счетъ котораго цивилизованный помѣщикъ «приказываетъ» распорядиться за то, что тотъ забылъ согрѣть вино, сцена съ мужиками, просящими у барина заступничества отъ мучительства бурмистра— все это дѣйствительно дышитъ скорбнымъ протестомъ, и этотъ протестъ производитъ впечатлѣнiе тѣмъ сильнѣе, что онъ отличается сосредоточенною сдержанностью. Въ «Двухъ Помѣщикахъ» вся «борьба» противъ крѣпостничества, кажется, сосредоточивается въ знаменитомъ: «Чюки-чюки-чюкъ», которое подпѣваетъ добродушнѣйшiй Мардарiй Аполлоновичъ, наслаждаясь чаемъ и внимая, какъ по его приказу «шалунишку наказываютъ» на конюшнѣ. Въ «Каратаевѣ» Тургеневъ варьируетъ снова тему Ермолая и Мельничихи; изъ за произвола глупой, капризной старухи помѣщицы разбиваются двѣ жизни: Каратаева и полюбившей его крѣ-

постной. Въ «Свиданіи» ярко противопоставлены два типа: одинъ, выработанный сельскою жизнью, и другой—выработанный растлѣвающимъ холопствомъ столичной передней.

* * *

Таковы разсказы «Записокъ Охотника», въ которыхъ замѣтна «борьба» противъ врага, протестъ противъ крѣпостного строя. Въ остальныхъ же, которыхъ, какъ я уже замѣтилъ, числомъ гораздо болѣе, не только не слышится никакого протеста, но, напротивъ, они представляютъ по большей части свѣтлыя стороны и образы помѣщичьяго и крестьянскаго быта. Говоря любимымъ выраженіемъ критики добраго стараго времени, паѳосъ всѣхъ этихъ разсказовъ заключается вовсе не въ протестѣ, не въ борьбѣ съ крѣпостнымъ началомъ, а въ идеально поэтическомъ изображеніи русской сельской природы и жизни. Какого же врага, въ самомъ дѣлѣ, преслѣдуетъ, съ какимъ врагомъ борется Тургеневъ въ чудной поэмѣ, несмотря на то, что она написана прозой—въ поэмѣ «Бѣжинъ Лугъ»? Какой протестъ можно усмотрѣть даже въ самыя либеральныя очки въ такихъ разсказахъ, какъ «Хорь и Калинычъ», «Мой сосѣдъ Радиловъ», «Пѣвцы», «Касьянъ съ Красивой Мечи», «Уѣздный Лѣкарь», «Татьяна Борисовна», «Чертопхановъ и Недопюскинъ», «Лѣсъ и Степь» и въ прочихъ очеркахъ, за исключеніемъ разсмотрѣнныхъ уже мною? Тутъ вы найдете все, что угодно: чудесныя по простотѣ изображенія, поэтической прелести и правдивому реализму картины природы; живые типы помѣщиковъ, помѣщицъ и крестьянъ, полные оригинальнаго простодушія и благодушія; маленькія интимныя и домашнія драмы и комедіи помѣщичьей среды—однимъ словомъ, художественное воспроизведеніе своеобразной сельской среды, со всей ея бытовой обстановкой, со всѣмъ ея жизненнымъ укладомъ; но искать тутъ протеста было бы затруднительно. И эта своеобразная среда—пора намъ теперь въ этомъ сознаться, не боясь укора за отсталость и защиту ненормальныхъ

основъ, на которыхъ она сложилась—эта среда въ правдивыхъ очеркахъ художника является вовсе не растлѣнной средою, не враждебной его сердцу, а, напротивъ, очень благодушной и нарисованной имъ съ страстнымъ сочувствіемъ ея поэтическимъ и добрымъ сторонамъ. Тургеневъ, несмотря на свое признаніе въ ненависти къ крѣпостному праву, на свою клятву вражды къ нему, тѣмъ не менѣе относится и къ помѣщику душевладѣльцу и къ крестьянину рабу совсѣмъ не съ злобой отрицанія, а съ любовью, съ искреннимъ привѣтомъ; онъ ищетъ въ нихъ человѣческихъ чертъ и рельефно выставляетъ эти черты: на воспроизведеніе такихъ чертъ, главнымъ образомъ, направлена вся его художественная работа, и онъ не особенно и ужъ никакъ не исключительно заботится объ оттѣненіи въ общей картинѣ изображаемой жизни ненормальныхъ отношеній крѣпостниковъ и закрѣпощенныхъ. Нѣтъ, въ «Запискахъ Охотника» —что бы ни говорили либеральные цѣнители и судьи — вездѣ господствуетъ широкій взглядъ и мирный тонъ художника, плѣненнаго сельскою русскою жизнью и старающагося заполонить сердце читателя ея простотою, смиренною и поэтическою правдою, а отнюдь не узкое воззрѣніе и не озлобленный тонъ протестанта, изобличителя мрачныхъ сторонъ крѣпостныхъ основъ этой жизни. Не знаю какъ кому, а мнѣ кажется, что заслуга Тургенева именно и заключается въ томъ, что онъ въ этихъ двадцати пяти поэтическихъ этюдахъ взглянулъ на цѣлую область тогдашней русской жизни, какъ правдивый и благодушный художникъ, а не какъ односторонній и раздраженный изобличитель мрачныхъ золъ этой жизни. Благодаря такому взгляду художника, его этюды столь разнообразны, столь реальны, и до сихъ поръ даютъ такое живое представленіе объ этой области жизни, теперь уже переформировавшейся. Придержись Тургеневъ иного взгляда, руководись онъ только настроеніемъ изобличителя, поклявшагося мстить врагу — «Записки Охотника» имѣли бы временное значеніе. и не остались бы и для русскихъ и для

европейскихъ читателей живою бытовою поэмой, какою признаны онѣ теперь и будутъ признаваться долго, долго.

Но если смотрѣть на значеніе «Записокъ Охотника» такъ, а не иначе, то невольно возникаетъ вопросъ: неужели же художникъ въ своихъ признаніяхъ желалъ обмануть насъ, когда онъ заявлялъ объ «Аннибаловской клятвѣ» и о томъ, что ради ея исполненія онъ удалился на Западъ, ибо только тамъ, въ отдаленіи отъ безобразной крѣпостной дѣйствительности, которую онъ задумалъ воспроизвести, могъ онъ совершить это дѣло. Нѣтъ, онъ, какъ геніальный и, слѣдовательно, вполнѣ искренній талантъ, никого не желалъ обманывать: отъ только обманывался самъ. Клятвы ненависти къ крѣпостному праву были очень понятны у передовыхъ людей поколѣнія, которое выступило на арену литературной и общественной дѣятельности въ ту пору, когда появились «Записки Охотника»; вполнѣ понятны были также порывы этихъ людей на Западъ, въ то время сохранившій для русскихъ ореолъ страны «святыхъ чудесъ» всевозможнаго сорта, начиная отъ чудесъ политической свободы и кончая чудесами науки и искусства; вполнѣ понятно было желаніе удалиться, если не навсегда, то хоть на время отъ печальной домашней дѣйствительности, въ которой съ формальной стороны многое, если не все, основывалось на произволѣ и угнетеніи, въ которой даже цвѣты поэзіи и художествъ возращались на почвѣ, удобряемой закрѣпощеннымъ трудомъ. Но странное дѣло! какъ только наши передовые люди уходили на Западъ, какъ только они приближались къ странѣ «святыхъ чудесъ», такъ лучи ореола, блиставшіе надъ этой страной, тускнѣли все больше и больше, «чудеса» начинали имъ казаться ложью, и все живѣе и живѣе воскресало въ нихъ сочувствіе къ той печальной дѣйствительности, отъ которой они уходили, къ тому «родному краю долготерпѣнія», гдѣ народная жизнь, несмотря на ненормальныя и антигуманныя политическія основы, слагаясь нравственно съ такою смиренной простотой, съ такимъ самоотреченіемъ и смиреніемъ къ душевной правдѣ, гдѣ она вырабатывала такіе

благодушные народные характеры. И вотъ, несмотря на всякія теоретическія «Аннибаловскія клятвы», кровное сочувствіе къ этой жизни вставало въ душѣ нашихъ скитальцевъ по Западу и невольно, безсознательно измѣняло ихъ отрицаніе въ любованіе этою жизнью, измѣняло ихъ безнадежное теоретическое сомнѣніе въ живую вѣру... Такъ было съ Герценомъ, который бѣжалъ на Западъ съ страстной жаждой поклоненія ему, а кончилъ тѣмъ, что «сжегъ все, чему поклонялся», развѣнчалъ одного за другимъ идоловъ мнимой свободы западнаго строя, и выказывалъ явное и непреоборимое стремленіе къ тому направленію, которое у насъ зовутъ народническимъ. Такъ было и съ Тургеневымъ: несмотря на свои клятвы, навѣянныя западническимъ либерализмомъ, онъ, удалившись отъ родины и художнически созерцая ея жизнь и природу, началъ свои «Записки Охотника» созданіемъ образовъ Хоря и Калиныча, отъ которыхъ не даромъ встрепенулись сердца славянофиловъ сороковыхъ годовъ, и продолжалъ созданіемъ фигуры Чертопханова, основная подкладка натуры котораго не только крѣпостническая, но даже татарская, и котораго тѣмъ не менѣе западникъ-художникъ нарисовалъ съ явной симпатіей, съ искреннимъ сочувствіемъ къ этой своеобразно-дикой натурѣ; а закончилъ онъ эти «Записки Охотника», какъ извѣстно, «Живыми Мощами»—этимъ чисто русскимъ образомъ смиреннаго страданія, удивляющимъ западныхъ критиковъ своею рельефностью и глубокою правдою.

Въ общемъ выводѣ, повторяю еще разъ, «Записки Охотника» дороги были и современнымъ и послѣдующимъ поколѣніямъ не въ качествѣ произведенія, протестующаго противъ крѣпостного права, а въ качествѣ задушевной бытовой поэмы. Критики, придававшіе этой поэмѣ по преимуществу протестующее и обличительное значеніе, въ такой-же мѣрѣ обнаруживали узость взгляда, какъ нѣкогда при оцѣнкѣ пушкинскаго «Онѣгина»: глубокое произведеніе, въ которомъ русская дѣйствительность извѣстной эпохи отразилась всѣми своими сторонами, и при жизни Пушкина да и впослѣдствіи трактовалась разными премудрыми

Аристархами, какъ «пестрая картина свѣтской жизни» — не болѣе этого!

В. Буренинъ.

* * *

*) Гоголь, какъ извѣстно, только косвенно указывалъ на язву крѣпостного права; прямого выставленія ея со всѣми ея послѣдствіями мы не видимъ у Гоголя, какъ не видно, или почти не видно того у Пушкина. Но язва эта вполнѣ раскрывается въ знаменитыхъ, сразу доставившихъ извѣстность Тургеневу «Запискахъ Охотника». И что же? именно эта ихъ сторона и не могла быть выяснена Бѣлинскимъ, который съ полнымъ сочувствіемъ привѣтствовалъ это произведеніе, но долженъ былъ ограничиться указаніемъ на то, съ какой теплотой понимаетъ Тургеневъ «человѣческое» въ народѣ... «Бѣлинскій едва ли бы могъ отозваться такъ, какъ бы ему, конечно, хотѣлось», говоритъ г. Миллеръ въ другомъ мѣстѣ **). «Извѣстно, какія были тогда времена, и какой переполохъ возбудилъ общій смыслъ «Записокъ Охотника», когда онѣ вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Этотъ роковой общій смыслъ, повидимому, совершенно разрозненныхъ и неумышленно-правдивыхъ разсказовъ заключался, какъ всѣмъ извѣстно, въ обнаруженіи всѣхъ непривлекательныхъ сторонъ положенія нашего простого народа подъ крѣпостною властью помѣщиковъ, вмѣстѣ же съ тѣмъ весьма многихъ, вполнѣ привлекательныхъ сторонъ нрава простого русскаго человѣка, умѣвшаго оставаться *человѣкомъ* и при самомъ нечеловѣческомъ положеніи. Умѣнье указать на все это въ сороковыхъ годахъ составляетъ со стороны И. С. Тургенева тѣмъ болѣе неоцѣнимую заслугу, что до него наша литература текущаго вѣка, въ лицѣ самыхъ крупныхъ своихъ представи-

*) „Публичныя Лекціи" О. Миллера.
**) „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева". „Бесѣда" 1871 г., № 10.

телей, умѣла какъ-то оставаться почти безучастною ко всему этому.

О. Миллеръ.

* * *

*) «Записки Охотника», исполненныя такимъ тонкимъ пониманіемъ русской природы, потому имѣютъ необыкновенную важность во всей дѣятельности Тургенева, что ими опредѣлился широкій путь для повѣствователя; что человѣкъ, ихъ написавшій, всѣми силами души своей прикрѣпился къ мѣсту ихъ дѣйствія... Здѣсь всѣ преграды между поэтическимъ даромъ Тургенева и міромъ, имъ изображаемымъ, не могутъ назваться преградою: потокъ поэзіи, перевысивъ ихъ, низвергается съ значительною силою. Успѣхъ «Записокъ Охотника» навелъ Тургенева на цѣлый рядъ важныхъ мыслей, и слѣды того мы видимъ во многихъ произведеніяхъ нашего автора, особенно произведеніяхъ послѣдняго времени... Не одинъ изъ героевъ Тургенева кажется намъ безцвѣтнымъ по неопредѣленности своего общественнаго положенія. Въ строгомъ смыслѣ слова, едва ли не одни герои «Записокъ Охотника» изъяты отъ такого нареканія, ибо они, такъ сказать, прикрѣплены къ извѣстному уголку Россіи, сжились съ нимъ, представляютъ собой его интересы, его занятія, его свѣтлыя и темныя стороны. Передъ этими помѣщиками и мужичками, которые ходятъ на охоту, спятъ у костровъ, пьютъ водку, копятъ или проматываютъ деньги, пашутъ поля, ѣздятъ въ гости и разсказываютъ другъ другу дѣла своей жизни, и Колосовъ, и Лучковъ, и Чулкатуринъ, и герой «Трехъ Встрѣчъ», кажутся иноземными гостями, не имѣющими никакого мѣста въ раздольѣ русской жизни.

А. Дружининъ.

* * *

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.

*) Тургеневъ первый, кажется, изъ нашихъ писателей понялъ важное значеніе того, что называется *беллетристикой*, и первый показалъ примѣры какъ замѣчательныхъ результатовъ, какіе она дать можетъ, такъ и рѣдкихъ качествъ, требуемыхъ ею отъ самого писателя. Съ этой точки зрѣнія разсказы его пріобрѣтаютъ для насъ двойное значеніе: во-первыхъ, по собственному содержанію, а во-вторыхъ, по эстетическому вопросу, который они порождаютъ. Новые разсказы Тургенева (Малиновая Вода, Уѣздный Лѣкарь, Бирюкъ, Лебедянь, Татьяна Борисовна, Смерть) сохраняютъ всѣ качества предшествовавшихъ имъ: разнообразіе, вѣрность картинъ и особенно какое-то уваженіе ко всѣмъ своимъ лицамъ. Гуманность эта, доказывающая, между прочимъ, уже окрѣпшую мысль въ авторѣ, да сильное чувство красоты природы, какъ и прежде, ихъ настоящій колоритъ, и вполнѣ объясняютъ успѣхъ ихъ. Это *этюды* многоцвѣтнаго русскаго міра, исполненные тонкихъ замѣтокъ и ловко подмѣченныхъ чертъ. Истинно-художественныхъ разсказовъ въ «Запискахъ» можетъ быть дватри (Хорь и Калинычъ—первый изъ нихъ по появленію останется первымъ и по достоинству); всѣ остальные держатся на силѣ наблюденія, на литературной и житейской опытности автора. Изящная словесность цѣлаго народа не можетъ состоять изъ однихъ художественныхъ произведеній, и требовать отъ нея только созданій высокаго творчества—значитъ впадать въ нѣкоторый фанатизмъ художественности, столь же ограниченный и невѣрный, какъ и раболѣпные списки съ природы. Для полной литературной жизни такъ же необходима подмѣтка новой стороны предмета, еще невысказанная мысль и картина, порожденная долгимъ опытомъ, какъ и колоссальное произведеніе, на которомъ вполнѣ и глубоко успокоивается эстетическое чувство ваше. Не признавать или опровергать это—весьма можно. Оно даже и легко при нынѣшнемъ развитіи наукъ объ изящномъ и благородномъ воодушевленіи, порожденномъ ими, да только

*) П. Анненковъ. „Современникъ“ 1849 г., № 1.

тутъ грозитъ опасность обнаружить неимовѣрную глухоту къ законнымъ требованіямъ умственной жизни. Мы знаемъ, что можно не признавать и послѣднихъ, но при этомъ случаѣ мы тотчасъ же впадаемъ въ родъ драматической фантазіи, гдѣ, съ одной стороны, красуется толпа, а съ другой—уединенно стоящій умникъ. Нравственная усталость, еще остающаяся въ насъ послѣ этихъ фантазій, освобождаетъ насъ отъ желанія видѣть повтореніе ихъ на дѣлѣ.

Вѣроятно, никто не подумаетъ, что мы проповѣдуемъ легкость и беззаботность, такъ сказать, въ литературѣ. Наоборотъ. Стоитъ только указать на произведенія г. Тургенева, чтобъ убѣдиться, какихъ важныхъ условій и какого мастерства требуетъ беллетристика вообще. Во-первыхъ, необходимо ей многостороннее знаніе жизни, зоркость взгляда, изощреннаго опытностію, всегдашнее присутствіе мысли, поясняющей наблюденія, и, наконецъ, еще талантъ разбора самыхъ явленій и вывода ихъ передъ читателемъ. Большая часть разсказовъ охотника родилась изъ прямыхъ, личныхъ впечатлѣній автора. Онъ обращаетъ въ картину случай, ему представившійся; разбираетъ передъ вами характеръ, имъ встрѣченный, и даже передаетъ въ формѣ разсказа собственное свое воззрѣніе на какой-либо предметъ; но сколько искусства расточено у него при этой передачѣ разнородныхъ своихъ пріобрѣтеній! Любопытно наблюдать, какъ мѣняетъ онъ для каждаго новаго представленія краски и самый способъ изложенія, какъ вѣрно разсчитаны для нихъ свѣтъ и воздухъ, и въ какихъ нѣжныхъ оттѣнкахъ и умно разсѣянныхъ подробностяхъ выражаются у него люди и событія. Вѣрность окружающему, за которой такъ гоняется псевдо-реализмъ, рѣдко достигая ея, является тутъ сама по себѣ и часто достигаетъ поэтическаго выраженія, по глубокому проникновенію въ жизнь, по изученію ея. Мы желаемъ отъ души русской литературѣ наиболѣе беллетристическихъ талантовъ, дающихъ подобные результаты.

П. Анненковъ.

* * *

Въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1847 года» Бѣлинскій между прочимъ разбираетъ и *Записки Охотника* Тургенева.

*) «Талантъ г. Тургенева, говоритъ онъ. имѣетъ много аналогіи съ талантомъ Луганскаго (г. Даля). Настоящій стродъ того и другого—физіологическіе очерки разныхъ сторонъ русскаго быта и русскаго люда. Г. Тургеневъ началъ свое литературное поприще лирическою поэзіею. Между его мелкими стихотвореніями есть пьесы три, четыре очень недурныхъ, какъ, напр., *Старый Помѣщикъ*, *Баллада*, *Ѳедя*, *Человѣкъ, какихъ много;* но эти пьесы удались ему потому, что въ нихъ или вовсе нѣтъ лиризму, или что въ нихъ главное не лиризмъ, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирическія стихотворенія г. Тургенева показываютъ рѣшительное отсутствіе самостоятельнаго лирическаго таланта. Онъ написалъ нѣсколько поэмъ. Перрвая изъ нихъ,—*Параша*, была замѣчена публикою при ея появленіи по бойкому стиху, веселой ироніи, вѣрнымъ картинамъ русской природы, а главное—по удачнымъ физіологическимъ очеркамъ помѣщичьяго быта въ подробностяхъ. Но прочному успѣху поэмы помѣшало то, что авторъ, пиша ее, вовсе не думалъ о физіологическомъ очеркѣ, а хлопоталъ о поэмѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у него нѣтъ самостоятельнаго таланта къ этому роду поэзіи. Оттого все лучшее въ ней проблеснуло какъ-то случайно, невзначай. Потомъ онъ написалъ поэму—*Разговоръ;* стихи въ ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли: но какъ эта мысль чужая, заимствованная, то на первый разъ поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. Въ третьей поэмѣ г. Тургенева—*Андрей,* много хорошаго, потому-что много вѣрныхъ очерковъ русскаго быта; но въ цѣломъ поэма опять не удалась, потому что это повѣсть любви, изображать которую не въ талантѣ автора. Письмо героини къ герою поэмы длинно и растянуто, въ нёмъ больше чувствительности, нежели па-

*) „Современникъ“ 1848 г., № 3.

ѳоса. Вообще въ этихъ опытахъ г. Тургенева былъ замѣтенъ талантъ, но какой-то нерѣшительный и неопредѣленный. Онъ пробовалъ себя и въ повѣсти; написалъ *Андрея Колосова*, въ которомъ много прекрасныхъ очерковъ характеровъ и русской жизни, но какъ повѣсть, въ цѣломъ это произведеніе до того странно, недосказанно, неуклюже, что очень немногіе замѣтили, что́ въ ней было хорошаго. Замѣтно было, что г. Тургеневъ искалъ своей дороги, и все еще не находилъ ея, потому-что это не всегда и не всѣмъ легко и скоро удается. Наконецъ, г. Тургеневъ написалъ стихотворный разсказъ—*Помѣщикъ*, не поэму, а физіологическій очеркъ помѣщичьяго быта, шутку, если хотите, но эта шутка какъ-то вышла далеко лучше всѣхъ поэмъ автора. Бойкій эпиграмматическій стихъ, веселая иронія, вѣрность картинъ, вмѣстѣ съ этимъ выдержанность цѣлаго произведенія, отъ начала до конца—все показывало, что г. Тургеневъ напалъ на истинный родъ своего таланта, взялся за свое, и что нѣтъ никакихъ причинъ оставлять ему вовсе стихи. Въ то же время былъ напечатанъ его разсказъ въ прозѣ *Три Портрета*, изъ котораго видно было, что г. Тургеневъ и въ прозѣ нашелъ свою настоящую дорогу. Наконецъ, въ первой книжкѣ «Современника» за прошлый годъ былъ напечатанъ его разсказъ *Хорь и Калиныч*. Успѣхъ въ публикѣ этого небольшого разсказа, помѣщеннаго въ смѣси, былъ неожиданъ для автора, и заставилъ его продолжать разсказы охотника. Здѣсь талантъ его обозначился вполнѣ. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собой, изъ какихъ образуются сами собой романы или повѣсти. Онъ можетъ изображать дѣйствительность, видѣнную и изученную имъ; если угодно—творить, но изъ готоваго даннаго дѣйствительнаго матеріала. Это не простое списываніе съ дѣйствительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваетъ, такъ сказать, на нихъ... Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, но и отъ этого у него выходитъ картина, болѣе

живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать эту картину; и для этого необходимъ, въ извѣстной мѣрѣ, поэтическій талантъ. Правда, иногда все умѣнье его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно передать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ былъ свидѣтелемъ, потому что въ дѣйствительности бываютъ иногда явленія, которыя стоитъ только вѣрно переложить на бумагу, чтобъ они имѣли всѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имѣютъ свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ, г. Тургеневъ обладаетъ весьма замѣчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едва ли бы удалось создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣтилъ въ дѣйствительности. Онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы большія средства: даръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣнить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣдствія, и такимъ образомъ догадкою и соображеніемъ дополнить необходимый ему запасъ свѣдѣній, когда распросы мало объясняютъ.

Не удивительно, что маленькая пьеска—Хорь и Калинычъ имѣла такой успѣхъ: въ ней авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, съ какой до него къ нему никто еще не заходилъ. Хорь, съ его практическимъ смысломъ и практическою натурою, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ, съ его грубымъ презрѣніемъ къ «бабамъ», и сильною нелюбовью къ чистотѣ и опрятности—типъ русскаго мужика, умѣвшаго создать себѣ значащее положеніе, при обстоятельствахъ весьма неблагопріятныхъ. Но Калинычъ—еще болѣе свѣжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народѣ. Съ какимъ участіемъ и добродушіемъ авторъ описываетъ намъ своихъ героевъ, какъ умѣетъ онъ заставить читателей полюбить ихъ отъ всей души! Всѣхъ разсказовъ охотника было напечатано прошлаго года въ «Современникѣ» семь. Въ

нихъ авторъ знакомитъ своихъ читателей съ разными сторонами провинціальнаго быта, съ людьми разныхъ состояній и знаній. Не всѣ его разсказы одинаковаго достоинства: одни лучше, другіе слабѣе, но между ними нѣтъ ни одного, который-бы чѣмъ-нибудь не былъ интересенъ, занимателенъ и поучителенъ. *Хорь и Калинычъ* до сихъ поръ остается лучшимъ изъ всѣхъ разсказовъ охотника; за нимъ — *Бурмистръ,* а послѣ него *Однодворецъ Овсяниковъ и Контора.* Нельзя не пожелать, чтобы г. Тургеневъ написалъ еще хоть цѣлые томы такихъ разсказовъ.

Хотя разсказъ г. Тургенева—*Петръ Петровичъ Каратаевъ,* напечатанный во второй книжкѣ «Современника» за прошлый годъ, и не принадлежитъ къ ряду разсказовъ охотника, но это такой же мастерской физіологическій очеркъ характера чисто русскаго и притомъ съ московскимъ оттѣнкомъ. Въ немъ талантъ автора выказался съ такою же полнотою, какъ и въ лучшихъ изъ разсказовъ охотника.

Не можемъ не упомянуть о необыкновенномъ мастерствѣ г. Тургенева изображать картины русской природы. Онъ любитъ природу не какъ дилетантъ, а какъ артистъ, и потому никогда не старается изображать ее только въ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее, какъ она ему представляется. Его картины всегда вѣрны, вы всегда узнаете въ нихъ нашу родную, русскую природу.

В. Бѣлинскій.

* * *

На этотъ взглядъ Бѣлинскаго на талантъ Тургенева по поводу «Записокъ Охотника» г. Миллеръ замѣчаетъ: *) «Бѣлинскій находилъ, что Тургеневъ можетъ изображать только то, что онъ видѣлъ своими глазами и что предварительно изучилъ, —чистаго творчества нашъ критикъ не признавалъ въ немъ. Мы въ настоящее время должны видоизмѣнить это мнѣніе въ томъ смыслѣ, что, дѣйствительно, на Тургенева имѣетъ большое вліяніе все, что происхо-

*) „Публичныя лекціи О. Миллера“. Позднѣйшее изданіе: „Русскіе писатели позлѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

дитъ вокругъ него, что онъ въ высшей степени отзывчивъ на всѣ явленія современной жизни. Онъ слѣдитъ за нарожденіемъ новыхъ типовъ, новыхъ направленій, онъ ихъ немедленно схватываетъ и воспроизводитъ, и, дѣйствительно, можетъ воспроизводить только то, что у него на глазахъ»...

По поводу первыхъ очерковъ изъ «Записокъ Охотника» Бѣлинскій пишетъ Тургеневу въ частномъ письмѣ: «Вашъ Каратаевъ хорошъ, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»... Мнѣ кажется, у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ—или очень мало—и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы «Ермолай и Мельничиха»—не Богъ знаетъ что, бездѣлка—а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслію. А въ «Бреттерѣ», увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто—въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собой. Если не ошибаюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская чрезъ фантазію, но не опираться только на фантазію... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се; не то, чтобъ не хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе—лучшаго не придумалось). А «Хорь» обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ».

О. Миллеръ.

*
* *

*) Бѣлинскій сильно ошибался, говоритъ Венгеровъ, ставя талантъ Тургенева на одну ступень съ дарованіемъ Даля. Это совершенно невѣрно, и объясняется только тѣмъ, что геніальный критикъ зналъ лишь очень немногія изъ прозаическихъ произведеній разбираемаго нами автора. Даль—поверхностный разсказчикъ, не вникающій глубоко, въ то

---

*) „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“.

время какъ Тургеневъ немногими словами сразу исчерпываетъ все поддающееся воспроизведенію. Въ «Запискахъ Охотника» вы въ одномъ томѣ имѣете предъ собою всю крестьянскую жизнь съ ея печалями и немногими радостями. Вы видите, какъ формируются народныя повѣрья, какъ складываются народныя понятія, какъ образуется, однимъ словомъ, народное міросозерцаніе. Вы видите долготерпѣніе русскаго народа, его пассивное геройство, его угрюмое добродушіе и мягкосердечіе. Всматриваясь внимательнѣе, вамъ не трудно замѣтить его смышленность, здравый умъ и способность образоваться. Всѣ эти качества мелькаютъ передъ вами во время чтенія «Записокъ Охотника», и въ концѣ ихъ вы уже имѣете весьма ясное представленіе о нравственной физіономіи настоящей «черноземной» силы.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Укоряя Тургенева за «Дымъ», г. Скабичевскій говоритъ: «Подъ вліяніемъ Гоголя и Бѣлинскаго, и г. Тургеневъ въ своихъ «Запискахъ Охотника» послужилъ тѣмъ идеямъ и тѣмъ общественнымъ вопросамъ, которые въ то время подымались въ обществѣ. Очень можетъ быть, что и на тотъ великій общественный вопросъ, который г. Тургеневъ затронулъ въ «Запискахъ Охотника», онъ смотритъ въ настоящее время, какъ на дымъ и паръ и никому ненужную кучу; но надо думать, что не такъ смотрѣлъ на этотъ вопросъ г. Тургеневъ, когда писалъ свои «Записки Охотника», и тѣмъ болѣе не такъ смотрѣли на него тѣ изъ его читателей, которые во всѣхъ общественныхъ вопросахъ видятъ вопросы жизни и смерти, а не праздную забаву отъ нечего дѣлать»...

Въ другомъ мѣстѣ Скабичевскій говоритъ:

**) «Не говоря уже о художественномъ значеніи *Записокъ*

---

*) „Отечественныя Записки" 1868 г., № 1.

**) „Исторія новѣйшей русской литературы". Спб. 1891 г.

Охотника,—онѣ представляютъ замѣчательный историческій памятникъ своего времени и въ смыслѣ протеста противъ крѣпостного права. Конечно, нечего искать въ *Запискахъ Охотника* ни рѣзкаго и страннаго политическаго памфлета, какимъ представляется *Путешествіе* Радищева, ни хотя бы саркастическаго тона сатиръ Щедрина. Это было-бы совершенно не въ характерѣ тургеневскаго творчества, въ которомъ всегда преобладали мягкіе, кроткіе и нѣжные тоны, да и къ тому же мало-мальски рѣзкій и громкій протестъ былъ бы немыслимъ при той крайней строгости, до какой дошла русская цензура послѣ 1848 года. *Записки Охотника* представляются какъ бы продолженіемъ *Мертвыхъ Душъ* Гоголя; это – эпопея, не имѣющая, повидимому, никакой иной предвзятой цѣли, какъ лишь развернуть передъ вами широкую картину русской провинціальной жизни, преимущественно помѣщиковъ и крестьянъ, съ одной стороны — въ массѣ мелкихъ повседневныхъ, будничныхъ ея явленій, съ другой—въ поэтическихъ мотивахъ и образахъ. Тутъ вы найдете на каждомъ шагу тѣ очаровательныя описанія русской природы, какими всегда славился Тургеневъ, рядъ эпизодовъ, не имѣющихъ никакихъ отношеній къ крѣпостному праву, каковы, напр., *Уѣздный Лѣкарь, Мой сосѣдъ Радиловъ, Однодворецъ Овсянниковъ, Татьяна Борисовна и ея племянникъ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и проч.*

Тѣмъ не менѣе отъ *Записокъ Охотника* повѣяло на читателей совершенно новымъ духомъ, которымъ проникнуты онѣ отъ первой страницы до послѣдней.—Это былъ духъ гуманности и искренней любви къ угнетенному мужику. Въ то время какъ у большинства помѣщиковъ, изображенныхъ въ *Запискахъ,* преобладаютъ отрицательныя черты, крестьяне, напротивъ того, представляютъ рядъ весьма симпатичныхъ типовъ. Выводя такія личности, какъ Хорь и Калиничъ, Ермолай и Мельничиха, Касьянъ съ Красивой Мечи, Бирюкъ, Яковъ-турокъ въ *Пѣвцахъ,* наконецъ, хотя-бы и крестьянскія дѣти въ *Бѣжиномъ Лугѣ* — авторъ, тѣмъ уже протестовалъ противъ крѣпостного права, что, загля-

дывая въ душу всѣхъ этихъ дѣтей народа, находилъ въ ней тѣ-же радости и страданія, что и у всѣхъ прочихъ людей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выводилъ ихъ не въ примѣръ симпатичнѣе и цѣльнѣе стоящихъ тутъ же рядомъ съ ними помѣщиковъ. Въ этомъ отношеніи даже и *Бѣжинъ Лугъ,* эта чисто-художественная картинка, изображающая ночную бесѣду деревенскихъ дѣтей въ табунѣ лошадей, производила на читателей то же впечатлѣніе отрицанія крѣпостного права: прочтя эту картинку, читатель всею душою привязывался къ изображеннымъ въ ней дѣтямъ, и ему жутко становилось при мысли, что въ этихъ симпатичныхъ деревенскихъ ребятахъ растутъ будущіе рабы, вся жизнь которыхъ могла быть изломана по прихоти какого-нибудь Пѣночкина. Однимъ словомъ, читая *Записки Охотника,* русскіе читатели впервые видѣли въ мужикахъ не двуногое рабочее стадо, а живыхъ людей, братій своихъ по человѣчеству, и пріучались любить этихъ братій и принимать горячее участіе въ ихъ участи.

А. Скабичевскій.

* * *

*) По словамъ А. Григорьева, первая попытка Тургенева въ идеализированіи простой дѣйствительности: «Хорь и Калинычъ» была привѣтствована съ восторгомъ такъ называемыми славянофилами, еще съ большимъ восторгомъ— одна изъ послѣднихъ: «Муму». Но Тургеневъ слишкомъ поэтъ для того, чтобы писать по заданнымъ темамъ, и слишкомъ высокій талантъ для того, чтобы подчиниться теоріямъ. Онъ остался вѣренъ себѣ, вѣренъ собственному внутреннему процессу—и эта искренность сообщаетъ неувядаемую прелесть «Запискамъ Охотника», какъ она же сообщаетъ неувядаемую доселѣ прелесть «сентиментальному путешествію Йорика...»

Когда утоленный горькимъ и тяжелымъ разоблаченіемъ

*) Сочиненія Аполлона Григорьева.

личности, Тургеневъ, вслѣдъ за современнымъ вѣяніемъ, бросился искать успокоенія въ простомъ, типовомъ, непосредственномъ дѣйствительности—онъ неожиданно удивилъ всѣхъ изображеніемъ «Хоря и Калиныча»; но этому изображенію слишкомъ наивно обрадовались идеалисты русской жизни...

А. Григорьевъ.

* * *

*) Въ современной русской литературѣ нѣтъ имени, которое пользовалось бы такимъ почетомъ, какъ имя г. Тургенева. У него нѣтъ партій, и самъ онъ не принадлежитъ исключительно ни къ какой партіи. Его партія — вся образованная, вся читающая и пишущая Россія. Достаточно его подписи подъ самой коротенькой статейкой, чтобы общій интересъ былъ возбужденъ, чтобы она вызвала разговоры, сужденія, въ которыхъ, если не всегда высказывается согласіе съ мнѣніемъ автора или безусловная похвала написанному имъ, все-таки выражается дань уваженія къ его таланту, все-таки признается его право на понужденіе самой лѣнивой мысли вникнуть въ новое произведеніе, прослѣдить то, что въ немъ хотѣлъ сказать любимѣйшій изъ нашихъ современныхъ писателей.

Имя г. Тургенева безъ преувеличенія можно назвать какимъ-то литературнымъ талисманомъ. Мы не нарушимъ никакихъ литературныхъ тайнъ, если скажемъ, что оно не только употребляется какъ приманка для читателя и подписчиковъ, но и служитъ лучшимъ залогомъ успѣха всякаго литературнаго предпріятія, публичнаго чтенія и т. п., что симпатія и довѣренность къ нему таковы, что на судъ г. Тургенева полагаются лучшіе и извѣстнѣйшіе писатели, а всѣ новички, дебютанты идутъ прямо къ нему за совѣтомъ и поддержкой, въ которыхъ никогда не встрѣчаютъ

*) М. Лонгиновъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1861 г., № 2 (февраль).

отказа, если обличаютъ какое-либо дарованіе. Послѣднее часто должно быть тяжкою обузой: сколько разъ судьѣ приходится терять время и входить въ непріятныя даже объясненія! Но не вознаграждается ли это мыслію о пріобрѣтеніи такого общаго сочувствія, сознаніемъ, что оно завоевано первоклассньмъ талантомъ, служащимъ много лѣтъ честную службу литературѣ и истинному просвѣщенію?

Намъ кажется, что завидная роль, которая такъ законно выпала на долю г. Тургенева въ нашей литературѣ, основана не только на неотъемлемо-высокой степени его таланта, но еще болѣе на самомъ его качествѣ.—Въ этомъ талантѣ столько искренности, столько гуманности, такое отсутствіе всякихъ сдѣлокъ, противныхъ хоть сколько-нибудь его натурѣ, что, читая произведенія г. Тургенева, чувствуешь въ умѣ и на сердцѣ ту полную гармонію впечатлѣній, которой не испытываешь при чтеніи многихъ даровитыхъ писателей, грѣшащихъ хоть сколько-нибудь и хотя иногда отсутствіемъ этихъ драгоцѣнныхъ достоинствъ.—Писатель и человѣкъ такъ удивительно сливаются въ г. Тургеневѣ! Отъ этого сліянія самъ онъ не можетъ безнаказанно отказаться. Онъ способенъ въ высшей степени къ этому рѣдкому сочетанію, и такъ, гдѣ онъ не измѣняетъ такому прекрасному призванію, тамъ долженъ онъ ожидать наибольшаго успѣха. Онъ смѣло можетъ предаться вдохновенію своего генія, не избирая темы, не сочиняя на предвзятую мысль, которая можетъ только повредить цѣльности того, что напишетъ его увлекательное перо. За примѣромъ того, какъ малѣйшее отклоненіе отъ природы его таланта заставляетъ г. Тургенева становиться ниже того, чего отъ него можно ожидать, ходить не далеко. Пусть самъ онъ сравнитъ впечатлѣніе, произведенное въ 1859 году *Дворянскимъ Гнѣздомъ*, съ тѣмъ, которое сдѣлалъ въ прошломъ году романъ его *Наканунѣ*, несмотря на всѣ его достоинства. Мы увѣрены, что авторъ самъ сознаетъ значительную разницу, отдѣляющую другъ отъ друга эти два произведенія.

Г. Тургеневъ началъ свое литературное поприще сти-

хами и повѣстями, которые были не лучше и не хуже того, что тогда требовалось отъ журнальныхъ стиховъ и повѣстей. Громкая извѣстность его началась въ 1847 году, когда стали являться въ *Современникѣ* его *Записки Охотника*. Тутъ талантъ его возмужалъ, попалъ на прямую дорогу и выработался въ тѣхъ привлекательныхъ особенностяхъ, о которыхъ мы говорили выше. *Записки Охотника*—произведеніе, которое при всей своей безыскусственности и кажущейся легкости, составляетъ одинъ изъ самыхъ прочныхъ памятниковъ нашей литературы. Достоинство его, какъ печаль Пушкина, сравненная имъ съ виномъ, «чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй». Теперь это доказать легко, благодаря почти пятнадцатилѣтнему опыту и совершенно перемѣнившимся обстоятельствамъ. При появленіи *Записокъ Охотника* можно было не совсѣмъ довѣрять себѣ въ мнѣніи о безотлагательномъ ихъ достоинствѣ и подозрѣвать, что мнѣніе это невольно закуплено въ ихъ пользу гуманною тенденціей, такъ искренно и, можно сказать, невольно высказывавшеюся въ этихъ разсказахъ, которые тогда казались слишкомъ смѣлыми, и возбудили такое множество нареканій при выходѣ ихъ отдѣльною книгой въ 1852 г. Но съ тѣхъ поръ утекло много воды. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ *листъ перевернулся*. *Записки Охотника* въ этомъ отношеніи далеко обогнаны разными произведеніями второй и даже третьей руки, послѣ которыхъ то, что казалось *смѣлостью* въ 1852 году, теперь стало общими мѣстами, всѣми признанными и нестоящими повторенія. Цѣлые разряды людей, высказывавшихъ тогда гоненія на благородную господствующую тенденцію автора, не только измѣнились, но отчасти ударились въ противоположную крайность. Они не только принялись отыскивать и вставлять тщательно все, что можетъ служить къ оправданію этихъ тенденцій, и что совершенно справедливо, но стали проводить съ торжествомъ въ подкрѣпленіе ихъ факты, происходящіе отъ совершенно-постороннихъ причинъ, примѣры, которые могутъ случиться вездѣ, что уже не очень добросовѣстно. Кричать, негодовать, обличать въ извѣст-

ныхъ случаяхъ, какъ бы по данному сигналу, очень легко. Въ короткое время мы успѣли уже присмотрѣться къ поучительному маскараду, и выучились узнавать старыхъ знакомыхъ подъ новыми костюмами, и тѣхъ, которые надѣли новые, и тѣхъ, которые сняли прежніе, и очутились въ скрытыхъ когда-то тщательно подъ другими переодѣваніями. Мы прислушались къ хору тѣхъ, которые такъ легко рѣшаютъ самые многосложные вопросы, упрощая ихъ подведеніемъ всѣхъ подъ одинъ, и преважно повторяютъ передѣланный по своему насмѣшливый припѣвъ Беранже о причинахъ событій 1789 года: «*C'est la faute de Rousseau, c'est la faute de Voltaire*». Мы привыкли къ безконечнымъ возгласамъ дешевой лжи—филантропіи, о которой недавно было упомянуто въ одной академической рѣчи. Послѣ всего этого *Записки Охотника* потеряли прелесть запрещеннаго плода: вкусъ нашъ, пріученный къ болѣе крѣпкимъ яствамъ притупился. Надо, чтобы то, что подаютъ намъ безъ возбуждающихъ приправъ, было отмѣнно, тонко и превосходно, чтобы мы продолжали цѣнить по достоинству восхищавшее насъ за много лѣтъ тому назадъ. И *Записки Охотника* выдержали этотъ искусъ съ полною честью; перепечатанныя въ 1858 году, онѣ имѣли этотъ же успѣхъ, а теперь выходятъ еще новымъ изданіемъ въ собраніи сочиненій г. Тургенева. Тутъ успѣхъ ихъ основанъ уже именно на высокомъ ихъ художественномъ достоинствѣ, въ которомъ слились и великое дарованіе поэта и глубина наблюдателя и мыслителя, не ищущая доказывать то или другое положеніе, но создающая дружно съ поэтическими представленіями живыя, плѣнительныя картины дѣйствительности, говорящія сами собою и за себя. Попробуйте сдѣлать такой опытъ съ нѣкоторыми другими, даже весьма замѣчательными произведеніями литературы, напримѣръ, хоть съ *Губернскими Очерками* г. Щедрина, которые стали появляться не далѣе какъ за пять лѣтъ, и вы увидите, выдержатъ ли они подобнаго рода испытаніе. Да, *Записки Охотника* одинъ изъ чистѣйшихъ перловъ рус-

ской поэзіи, одно изъ капитальнѣйшихъ твореній нашей литературы.

М. Лонгиновъ.

* * *

*) *Записки Охотника* начались еще въ прошломъ году. Это, такъ сказать, картинная галлерея изъ быта русскаго народа. Національность есть первое условіе, которое опредѣляетъ истинное достоинство всякаго произведенія, въ какомъ бы оно ни было родѣ, въ какой бы формѣ ни явилось оно—въ звучныхъ ли стихахъ поэта, въ строгой ли прозѣ, въ произведеніяхъ ли кисти и рѣзца—все равно. Если авторъ или художникъ смотритъ на окружающее его такимъ взоромъ, какимъ именно смотритъ то общество, на которое онъ призванъ дѣйствовать; если онъ чувствуетъ его сердцемъ, проникаетъ его мышленіемъ, созидаемые имъ образы глубже нарѣзываются въ памяти, дѣлаются болѣе понятными и постижимыми,—становятся какъ-будто видимыми и осязаемыми. Въ такихъ произведеніяхъ вѣетъ истинною жизнью, потому что все въ нихъ для насъ понятно, знакомо и разрѣшимо. Идея, какъ бы она ни была глубока и современна, если она не вытекаетъ изъ собственнаго убѣжденія народа, никогда глубоко не заронитъ сѣмянъ въ душѣ нашей, не произведетъ плода до тѣхъ поръ, покуда не будутъ вспомоществовать ея воспріятію, какъ наши потребности, такъ и наше воспитаніе, вмѣстѣ съ внѣшними причинами. Подчинять умъ свой, развитый образованіемъ, такъ, чтобъ онъ, отбросивъ отъ себя собственную свою форму и собственное воззрѣніе, принималъ личность природы и натуръ его окружающихъ, не допуская ни малѣйшаго отклоненія отъ частности, сообразной съ дѣйствительностію—есть высокая задача искусствъ.

Не встрѣчая въ большей части литературныхъ произведеній нашихъ ничего совершенно-русскаго, кромѣ именъ

*) „Сѣверное Обозрѣніе“ 1848 г., № 2. „Журнальныя замѣтки“.

и внѣшней обстановки, мы тѣмъ болѣе должны отдать справедливость и предпочтеніе г. Тургеневу передъ прочими нашими молодыми писателями, отличающимися, положимъ, прекраснымъ языкомъ, проникнутыми, положимъ, разрѣшеніемъ современныхъ глубокихъ вопросовъ, изображающими, положимъ, характеры очень интересные, но характеры и людей часто невозможныхъ и неестественныхъ въ русскомъ мірѣ. Конечно, повѣсти, въ которыхъ развивается и олицетворяется какая-нибудь идея, важны и достойны вниманія, по высокой цѣли своей бросить эту идею въ большинство, способное принять ее, воспользоваться ею и улучшиться; но идея эта должна всегда выражаться такъ, чтобъ форма ея доступна была тому кругу, въ который она брошена, тѣмъ личностямъ, которыя могутъ ее усвоить себѣ. Одна и та же мысль, высказанная иначе, какъ одно и то же движеніе иначе выраженное, очень много могутъ вредить ихъ дѣйствительности, и наоборотъ, способствовать сознанію ихъ, ихъ правотѣ и правдоподобію. Что въ прекрасныхъ и въ глубокомысленныхъ сужденіяхъ, если они насильственно придуманы и не вытекаютъ изъ нашего коренного убѣжденія, изъ ощущаемой нами потребности, что въ рѣчахъ пылкихъ, высокихъ, саркастическихъ, если онѣ никакъ не могутъ въ дѣйствительности быть намъ доступными и понятными? И потому-то очень часто случается, что скоро забываешь иногда и очень умную идею, вышедшую изъ устъ какого-нибудь человѣка неспособнаго, повидимому, лелѣять ее, — забываешь потому, что никакъ не можешь сроднить такого явленія съ иною природой. Желая придать болѣе извѣстности чему-нибудь, мы уничтожаемъ этимъ самобытность, и этимъ уничтожаемъ все. Въ нашемъ обществѣ еще много самобытнаго; надъ нами не лежитъ еще того уровня, который замѣчается въ общей массѣ другихъ націй. Мы еще не достигли той степени приблизительной одноизвѣстности, которая даетъ всѣмъ одинъ общій оттѣнокъ. У насъ существуетъ еще столько личностей, столько особенностей, что изученіе ихъ неисчерпаемо. Даровитое перо автора «Мертвыхъ Душъ» ознако-

мило публику со многими изъ такихъ личностей. Гоголь первый показалъ намъ, что прошло время, когда мы довольствовались героями идеальными и людьми, выражающимися и одинаковымъ языкомъ и одинаково чувствующими; онъ первый созналъ потребность олицетворенія естественности,—первый приподнялъ покрывало замѣчательнаго, новаго, нетронутаго міра, и всѣ сознали, что онъ былъ правъ. Изъ его направленія вышла цѣлая «школа», если можно назвать школою нѣсколько молодыхъ дарованій, увеличенныхъ примѣромъ сильнѣйшаго. Пользу въ этой «школѣ» мы видимъ пока лишь въ томъ, что она обратилась къ изученію народа. Изъ-за этого стремленія можно ей извинить всѣ ея недостатки, преувеличенія, любовь къ грязному, отсутствіе любви къ самому предмету изученія. По объ этомъ со временемъ. Гг. Григоровичъ и Тургеневъ, въ особенности, стараются знакомить публику съ этимъ новымъ, большинству ея незнакомымъ міромъ, гдѣ такъ же, какъ и среди столичной жизни, разыгрываются и невѣдомыя драмы и свои комедіи, гдѣ раздаются и стоны и смѣхъ.

Записки Охотника г. Тургенева, начавшіяся еще въ прошедшемъ году, не какая-нибудь безконечная повѣсть, съ одними и тѣми же лицами, одними и тѣми же характерами. Это—рядъ очерковъ, рядъ типовъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ безъ всякой связи между собою, и имѣющихъ каждый свой самобытный характеръ и свой самобытный интересъ. Изъ шести очерковъ г. Тургенева: «Малиновая Вода», «Уѣздный Лѣкарь», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ея племянникъ» и «Смерть», помѣщенныхъ въ нынѣшней книжкѣ «Современника», лучшіе, по нашему мнѣнію, это «Лебедянь» и «Смерть»; послѣднимъ оканчиваетъ г. Тургеневъ покуда свои «Записки Охотника». Барышникъ Ситниковъ, барышникъ Анастасій Ивановичъ Чернобай, князь Н. и отставной поручикъ Хлопиковъ—такія пластическія, такія живыя и ощутительныя лица, что они какъ будто дышатъ и движутся передъ вами,—вы встрѣчались съ ними, вы знаете этихъ людей, разсѣянныхъ по разнымъ захолустьямъ Руси, вы не забудете ихъ, потому что они

естественны, вѣрны сами себѣ; и если встрѣтите что-либо подобное, предъ вами невольно воскреснутъ и оживутъ разнообразные герои, дѣйствующіе въ «Запискахъ Охотника», и вы опредѣлите ихъ каждаго, если замѣтите ту какую-нибудь рѣзкую особенность, которую умѣлъ придать г. Тургеневъ каждому изъ выводимыхъ имъ лицъ, какъ ни кажутся эти лица безцвѣтными и общими съ перваго взгляда.—А, это Бирюкъ, это племянникъ Татьяны Борисовны, какой-нибудь Иванъ Захарычъ, подумаете вы, лѣнивый, только пыхтящій. Лучше всѣхъ въ «Лебедяни» очерченъ отставной поручикъ Хлопиковъ. Это двоюродный братъ Чичиковскаго Ноздрева, типъ, ускользнувшій отъ вниманія Гоголя, моншеръ провинціальнаго міра, какъ Ноздревъ его *брѣттеръ* и *горê*. Разсказъ «Смерть», который, по мнѣнію нашему, гораздо лучше и вѣрнѣе бы назвать было г. Тургеневу: «Какъ умираютъ русскіе люди»,—разсказъ, къ сожалѣнію, послѣдній въ этой книжкѣ,—замѣчателенъ вѣрною, тонкою и глубокомысленною характеристикою одной изъ самыхъ замѣчательныхъ чертъ нашего народа—нашей преданности волѣ Бога, нашего расположенія и увѣренности въ многозначительное слово *авось*, звукъ полный безпечности и вѣры въ покровительство чего-то высшаго, съ которымъ русскій человѣкъ готовъ всюду итти очертя голову, и даже ложится въ могилу—какъ въ спокойную постель, послѣ утомительной трудной дороги. Различное проявленіе этой дѣтской вѣры въ судьбу свою, убѣжденіе, что *чему быть, тому не миновать*, которое таится въ нашей натурѣ, рельефно изображены г. Тургеневымъ. Главное насъ порадовало въ этомъ разсказѣ то, что г. Тургеневъ изображаетъ въ немъ такія черты нашего характера и нашей жизни, которыя могутъ порадовать даже тѣхъ, кто привыкъ описывать, видѣть и читать лишь все наше худое, и ругать его, не замѣчая, что, можетъ быть, еще болѣе грубые недостатки таятся въ другихъ націяхъ. Г. Тургеневъ—прекрасный живописецъ русскаго міра, и задуманный имъ планъ, проходя съ котомкою охотника по различнымъ мѣстамъ и закоулкамъ Россіи, ознакомить насъ

со многими неизвѣстными намъ людьми и характерами, населяющими ихъ, даетъ намъ сладкую надежду ожидать отъ него еще многаго впереди, какъ говорятъ французы. Совѣтуемъ прочесть каждому «Записки Охотника».

Изъ „Сѣвернаго Обозрѣнія" 1848 г.

* * *

*) Разсказы, въ сущности, личныя воспоминанія автора, большинство героевъ — его знакомые; охотничьи происшествія, описанныя въ *Запискахъ*, были извѣстны не одному Тургеневу, знали о нихъ его друзья, принимавшіе участіе въ его охотахъ. Исторіи излагались съ необыкновенной простотой, оказывались доступными пониманію всякаго грамотнаго человѣка. Это — великое достоинство художественнаго произведенія.

Есть извѣстіе, будто императоръ Александръ II выразилъ свое сочувствіе *Запискамъ Охотника,* даже лично заявилъ автору, что «съ тѣхъ поръ, какъ онъ, государь, прочелъ *Записки Охотника,* его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости».

Это извѣстіе приписывается самому Тургеневу. Оно проникло въ западную печать: Додэ даже сообщаетъ, что Александръ II о произведеніяхъ Тургенева выражался: это мои настольныя книги.

Въ такого рода сообщеніяхъ могутъ быть неточности; но для насъ важно вліяніе *Записокъ Охотника* въ эпоху, когда поднимался вопросъ о великой реформѣ. Вліяніе это внѣ всякаго сомнѣнія.

Его во всей полнотѣ признавалъ самъ авторъ. «Если бы я гордился подобными вещами», говорилъ онъ, «я попросилъ бы только объ одномъ, чтобы на моей могилѣ изобразили, что сдѣлала моя книга для освобожденія рабовъ. Да, я попросилъ бы только объ этомъ...»

---

*) Ив. Ивановъ. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ". Спб. 1896 г.

Записки Охотника—въ полномъ смыслѣ классическая книга нашей народнической литературы. И здѣсь не столько важна талантливость разсказчика, сколько его отношеніе къ предмету. Въ разсказѣ можно отыскать сколько угодно неловкихъ и неудачныхъ выраженій, лишнихъ или явно искусственныхъ и вымышленныхъ подробностей—все это въ свое время было сдѣлано, между прочимъ, семьей Аксаковыхъ, но подобные розыски, въ сущности, безцѣльная работа: они ни на минуту не поколеблютъ высокаго историческаго значенія книги. И это значеніе можетъ быть выражено просто и точно: Тургеневъ показалъ, что крѣпостные мужики не только люди, но что имъ доступны такіе же сложные душевные процессы, такая же многосторонняя нравственная жизнь, какъ и всѣмъ лучшимъ представителямъ культурнаго общества.

Раньше, еще въ XVIII вѣкѣ, Радищевъ и Новиковъ немало говорили о простой и доброй душѣ русскаго человѣка, о его природномъ умѣ, объ его терпимости и гуманности, но никто не умѣлъ ввести своихъ читателей и слушателей въ самыя нѣдра этой души, поставить невѣрующихъ лицомъ къ лицу съ мужицкимъ духовнымъ міромъ и заставить увидѣть здѣсь всѣ признаки истинно-человѣческой и притомъ богато одаренной натуры.

Тургеневъ это сдѣлалъ безъ всякаго партійнаго задора, безъ чувствительныхъ изліяній, безъ предпамѣреннаго подбора фактовъ и лицъ. Читая его книгу, вы невольно чувствуете, что иначе и быть не можетъ, что иныхъ типовъ народная русская жизнь не могла и создать. Предъ вами больше чѣмъ фактическая исторія: предъ вами совершенно естественное, неизбѣжное развитіе психологическихъ законовъ.

А между тѣмъ, сколько новаго узнавала публика изъ этихъ, столь, повидимому, обыкновенныхъ повѣствованій! И узнавала именно то, чего менѣе всего могла ожидать.

Писатель съ особенной любовью останавливается на одной чертѣ русскаго мужика. Съ теченіемъ времени эта черта вошла въ большую моду, въ ней стали видѣть

спеціальный признакъ славянской природы, а французскіе критики отыскали здѣсь даже родство русскаго народа съ буддистами.

Тургеневъ, вѣроятно, и не подозрѣвалъ такихъ выводовъ. Онъ просто показалъ рядъ личностей, одаренныхъ изумительнымъ поэтическимъ чувствомъ природы, безгранично гуманныхъ, соединяющихъ глубокую вдумчивость съ младенческимъ незлобіемъ. Это одинъ типъ.

Другой не имѣетъ ничего общаго ни съ поэзіей ни съ ясной наивностью души,—но для высшей публики долженъ былъ казаться столь же неожиданнымъ среди деревенской дикости и глупости. Одного изъ этихъ героевъ авторъ сравниваетъ съ Сократомъ. Передъ нами дѣйствительно самоувѣренная житейская мудрость, воспитанная многолѣтними тяжелыми опытами, мудрость—холодная, отчасти скептическая, но спокойная, добродушная, совершенно чуждая хищническихъ инстинктовъ.

Эти два типа занимаютъ первое мѣсто въ *Запискахъ*. Авторъ каждый изъ нихъ иллюстрируетъ нѣсколькими фигурами: Калинычъ, Касьянъ, отчасти Ермолай и Хорь, Моргачъ, Овсянниковъ, мечтательные созерцатели и практическіе мудрецы. И всѣ они при всемъ своемъ несродствѣ,— русскіе до послѣдняго нерва, русскіе—въ каждомъ словѣ, въ каждомъ ощущеніи. Вы видите, эти своеобразные поэты и философы могли возникнуть только на русской почвѣ и притомъ—крѣпостнической.

Крѣпостная зависимость отдѣляла крестьянъ непроходимой пропастью отъ остального человѣческаго общества, вообще отъ умственной культуры. Мужику приходилось собственными силами и въ своей собственной средѣ искать удовлетворенія насущнымъ запросамъ человѣческой души. Кругомъ—люди или равнодушные или враждебные ему. Рядомъ съ нимъ—такіе же «униженные и оскорбленные», какъ и онъ самъ. Всякій, кто сколько нибудь, по своимъ способностямъ и природнымъ наклонностямъ, выдавался надъ темной средой, долженъ былъ чувствовать глубокое, мучительное одиночество. Не съ кѣмъ отвести душу, некому

повѣрить глрбокія движенія сочувствія, вложенныя такъ некстати въ сердце раба.

Отсюда—меланхолическая мечтательность, необыкновенно чуткое участіе въ явленіяхъ природы, почти болѣзненная симпатія ко всему слабому, беззащитному. Крѣпостной мужикъ, имѣвшій несчастіе родиться впечатлительнымъ и любящимъ, неминуемо превращался въ юродивца—вродѣ Калиныча и Касьяна. Они живутъ въ міру, но отличаются всѣми свойствами пустынниковъ и отшельниковъ. Они совершенно неприспособлены къ практической подневольной дѣятельности — единственной, какая только и доступна крестьянину. Это и есть ихъ неразуміе: такъ судятъ о нихъ заурядные наблюдатели, такъ думаютъ они и сами. Касьянъ на вопросъ, чѣмъ онъ промышляетъ, отвѣчаетъ: «живу, какъ Господь велитъ,—а чтобы, то есть, промышлять—нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно съ мальства; работаю, пока мочно,—работникъ-то я плохой... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ, и руки глупы...»

Но это не тунеядство, всегда идущее рядомъ съ нравственнымъ и умственнымъ отупѣніемъ. Напротивъ, въ душѣ Касьяна совершаются въ высшей степени сложные процессы, у него сложилось цѣлое міросозерцаніе,—настолько жизненное и для него осмысленное, что Касьянъ подчиняется извѣстнымъ теоріямъ въ своихъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру.

Предъ нами типичное «существо не отъ міра сего», на этотъ разъ только не въ высоко-развитой средѣ интеллигентнаго общества, а въ деревенскомъ, темномъ углу. И духовное содержаніе этого существа едва-ли не возвышеннѣе и идеальнѣе, чѣмъ поэтическая, безпредметная мечтательность такъ называемыхъ исключительныхъ, ангелоподобныхъ натуръ, выростающихъ на почвѣ удручающей праздности и мучительныхъ эгоистическихъ поисковъ за личнымъ счастьемъ, за удовлетвореніемъ фантастическихъ прихотей...

Касьянъ, при всемъ своемъ «неразуміи», находитъ возможнымъ приносить нравственную и даже практическую

пользу людямъ. Онъ дѣйствительно живетъ одною жизнью съ природой,—не въ минуты поэтическаго вдохновенія и восторженныхъ созерцаній, а потому, что иной жизни у него и нѣтъ. Онъ знаетъ голосъ каждой птицы, умѣетъ перекликаться съ ней, подхватить ея пѣсню. Каждая травка и цвѣтокъ возбуждаютъ у него тѣ самыя чувства, какими у другихъ людей сопровождаются воспоминанія о старыхъ друзьяхъ. И эти его друзья оказываютъ ему великія услуги, какихъ никогда и никому не дождаться отъ людей. Даже ключевая вода настраиваетъ его на религіозныя мысли, а степи охватываютъ его душу трепетнымъ восторгомъ.

И опять это не самоусладительная мечтательность культурнаго «ангела». Касьяна болѣзненно поражаетъ всякое страданіе не только среди людей, даже у птицъ, а дѣвочка Аннушка въ самомъ звукѣ его голоса вызываетъ неизъяснимую страстную нѣжность.

Очевидно, это великій родникъ міровой и человѣческой любви, заброшенной въ рабскую жестокую среду... Кто могъ подозрѣвать существованіе такихъ тайнъ подъ сѣрымъ мужицкимъ армякомъ? Кто умѣлъ на уродливомъ, смѣшномъ лицѣ убогаго карлика прочесть отраженіе благородной поэтической души?

Единственный писатель, еще въ дѣтствѣ умѣвшій подмѣтить и понять драму нѣмого мужика Андрея и разсказать ее въ трогательной повѣсти о Герасимѣ и его собачкѣ Муму,—въ повѣсти, вызывавшей слезы у такихъ людей, какъ Карлейль.

И для Тургенева, очевидно, являлось особенно симпатичнымъ, дорогимъ дѣломъ—открывать публикѣ идеальныя и поэтическія стороны народной души и жизни. Для автора нѣтъ настолько ничтожныхъ, задавленныхъ жертвъ невыносимыхъ бытовыхъ условій, чтобы онѣ не представляли никакого интереса для нашего просвѣщеннаго вниманія. Даже Степушка, совершенно, повидимому, жалкое, безличное созданіе, все поглощенное заботой о кормѣ, ни для кого незамѣтное и рѣшительно никому не нужное, даже эта инфузорія житейскаго моря оказывается чуткой и отзывчивой

на чужое горе. И какъ тонко, до умилительности просто авторъ даетъ это понять читателямъ!

Мужикъ только что разсказалъ о своемъ горѣ, разсказалъ, какъ только можетъ разсказывать мужикъ — безъ фразъ, безъ вздоховъ и жалобъ. И словъ въ его рѣчи несравненно меньше, чѣмъ фактовъ, и ни малѣйшаго разсчета на сочувствіе слушателя.

Степа слушалъ молча, можетъ быть, онъ и передъ этимъ молчалъ цѣлые дни, такъ какъ врядъ ли кто интересовался поговорить съ нимъ. И вдругъ на лаконическую, повидимому, совершенно равнодушную рѣчь мужика, у Степы невольно, безъ его вѣдома, срывается нѣсколько словъ:

— Да ты бы... того...

И только. Степа смѣшался, замолчалъ, онъ не знаетъ, куда глаза дѣвать — отъ конфуза. Такъ для него необыкновенна даже такая рѣчь. Но для насъ достаточно и этихъ звуковъ. Вы почувствовали трепетъ живой человѣческой души, на васъ повѣяло дыханіе не умирающаго гуманнаго чувства, этого, по представленію автора, исконнаго свойства русской натуры.

То же самое и въ другомъ господствующемъ типѣ мужика, мыслителя, Сократа, энергичнаго дѣятеля и устроителя своего мужицкаго благосостоянія.

Хорь и Овсянниковъ оба обязаны только себѣ. Овсянниковъ живетъ уже въ эпоху свободы, и ему, конечно, несравненно легче оберегать свою независимость и личное достоинство. Но Хорь — крѣпостной. Замѣчательно, — онъ такъ же, какъ и мужики мечтатели и поэты, постарался выдѣлиться изъ общаго мужицкаго круга, даже поселился въ сторонѣ отъ деревни, зажилъ одинъ съ семьей на болотѣ и быстро показалъ, чего можетъ достигнуть даже сравнительно независимый и въ конецъ неподавленный лично мужикъ. Авторъ отнюдь не идеализируетъ своего героя. Хорь, умѣвшій разбогатѣть, насквозь понимающій и своего барина и вообще жизнь всякихъ господъ и ихъ подданныхъ, относится къ своей дѣятельности и чужимъ взглядамъ крайне осторожно. Это громадная нравственная сила, по су-

ществу скептическая, тяжелая на подъемъ, осмотрительная, даже боязливая. Вѣка подневольнаго существованія воспитали въ мужикѣ глубокое сознаніе, чего иной разъ стоитъ одинъ опрометчивый шагъ, воспитали такое представленіе о личной отвѣтственности за каждое слово и дѣйствіе, какое было совершенно недоступно господину.

Нуженъ длинный рядъ опытовъ, чтобы Хорь призналъ пользу такого, повидимому, безусловно полезнаго пріобрѣтенія, какъ грамота. Но разъ онъ убѣдился въ этой пользѣ,—его уже не остановятъ никакія препятствія, и именно Хорь даетъ автору поводъ для оригинальнаго заключенія: «Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ». Какая смѣлость, на основаніи наблюденій надъ крѣпостнымъ оброчнымъ мужикомъ, составлять характеристику величайшаго изъ государственныхъ реформаторовъ!

Неужели, въ самомъ дѣлѣ, натура мужика до такой степени типична, поучительна, что можетъ навести даже на самыя широкія философскія и политическія соображенія?

Господину Полутыкину, барину Хоря, этого и во снѣ не грезится. Онъ просто видитъ въ своемъ данникѣ ловкаго, оборотливаго дѣльца, попросту кулака. До міросозерцанія Хоря барину нѣтъ никакого дѣла, онъ и не подозрѣваетъ, насколько этотъ смиренный подданный умственно стоитъ выше его, и какъ ясно видитъ всю мелкоту его души. Является писатель, и въ болотномъ отшельникѣ открываетъ настоящаго русскаго философа, со многими традиціонными и наслѣдственными странностями, въ родѣ глубокаго презрѣнія къ бабамъ, но съ необыкновенно твердыми и вполнѣ опредѣленными принципіальными воззрѣніями.

Таковы главнѣйшіе мотивы тургеневской народной поэзіи и таковы результаты его наблюденій надъ народомъ. Мы взяли только самыя существенныя данныя, мы опустили множество общихъ чертъ, по мнѣнію автора, присущихъ едва ли не каждому русскому мужику. Припомните, напримѣръ, съ какой настойчивостью Тургеневъ подчеркиваетъ изумительную способность не только взрослыхъ

мужиковъ, а даже подростковъ-парней—дѣйствовать просто, находчиво, съ полнымъ самообладаніемъ въ самыхъ критическихъ положеніяхъ.

Помните, какъ Ермолай, внезапно затонувъ въ пруду, въ тотъ же моментъ опредѣляетъ, что надо дѣлать; не умѣя плавать, отправляется искать бродъ, долго ищетъ и возвращается къ товарищамъ, такъ основательно изучивъ дно пруда въ теченіе какого-нибудь часа, будто это была открытая дорога. И все это дѣлается молча, безъ всякой похвальбы, будто иначе и быть не можетъ. И авторъ не подчеркиваетъ фактовъ, для насъ достаточно именно только факта: они, при всей своей будничности, краснорѣчивѣе всякихъ тирадъ.

То же самое съ мальчикомъ Павлушей. На ночномъ встревожились собаки. Павлушѣ вспала мысль, что это волки, и онъ, ни минуты не раздумывая, «безъ хворостинки въ рукѣ», скачетъ одинъ, и совершенно равнодушно сообщаетъ потомъ своимъ пріятелямъ: «Ничего... Я думалъ волкъ».

Пусть послѣ того стали бы говорить о врожденномъ рыцарствѣ благородныхъ господъ, объ ихъ привилегированной доблести. Здѣсь мужики, даже мальчикъ идетъ на вѣрную опасность, не справляясь ни съ какимъ «долгомъ чести», а просто по внушенію своей великодушной, инстинктивно отважной натуры. И авторъ не скрываетъ своего глубокаго уваженія къ этой натурѣ. Чтобы выразить восторгъ предъ пѣніемъ парня и представить всю мощь прочувствованныхъ звуковъ неотразимо-чарующаго голоса, онъ говоритъ:

«Русская правдивая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала всѣхъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны...» И слезы закапали у слушателя...

Часто ли доступна такая глубина ощущеній въ роскошныхъ салонахъ, переполненныхъ всевозможными произведеніями культурнаго искусства? Часто ли здѣсь проливаютъ такія искреннія, такія осмысленныя слезы, когда модный пѣвецъ услаждаетъ слухъ млѣющихъ красавицъ самыми модными аріями.

Пусть даже и нечасто,—но слезы, оказывается, могутъ быть вызваны у господина пѣніемъ какого-то черпальщика на бумажной фабрикѣ. И авторъ вложилъ въ свой разсказъ столько искренняго чувства, что ему нельзя не вѣрить, нельзя даже не позавидовать его впечатлѣніямъ.

Въ мужикѣ открыты и сердце, и умъ, и даже высшій цвѣтъ человѣческой жизни—поэзія. И все это—безъ всякихъ украшеній, цвѣтистыхъ рекомендацій со стороны обладателей этихъ сокровищъ и чувствительныхъ томленій и восторговъ автора. Простая, но геніальная исторія о простыхъ, но великихъ предметахъ!

Ив. Ивановъ.

* * *

*) Когда знаменитый римскій цензоръ Катонъ произносилъ въ сенатѣ какую-нибудь рѣчь, онъ обыкновенно заканчивалъ ее слѣдующими словами: «Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam», т. е.: «Кромѣ того, я полагаю, что Карѳагенъ долженъ быть разрушенъ». Этими словами великій патріотъ напоминалъ своимъ согражданамъ, какое важное дѣло они должны совершить, чтобы обезпечить развитіе и процвѣтаніе римской республики.

Въ исторической жизни нашей родины былъ тоже свой Карѳагенъ, который несравненно больше, нежели африканскій Карѳагенъ Риму, мѣшалъ правильному и свободному развитію нашего общества; этимъ русскимъ Карѳагеномъ было такъ называемое «крѣпостное право». Его Катономъ былъ И. С. Тургеневъ. Припомнимъ хотя въ общихъ чертахъ его повѣсти и романы, содержаніе которыхъ относится къ «дореформенной» эпохѣ русской жизни: во всѣхъ нихъ,—или въ началѣ, въ видѣ эпиграфа, или въ концѣ, въ видѣ заключительнаго вывода,—мы невольно какъ бы слышимъ слѣдующія слова ихъ автора. «Я полагаю, что крѣпостное право должно быть уничтожено».

*) К. Чернышевъ. „Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“. Спб. 1896 г.

Самъ писатель говорилъ, что борьбу съ этой страшной общественной язвой онъ ставилъ цѣлью всей своей жизни, рѣшился бороться всѣми силами своей души. И поэтъ дѣйствительно воспользовался всѣми силами своего таланта, чтобы на живыхъ, художественныхъ образахъ и картинахъ показать растлѣвающее вліяніе на русское общество этой страшной, вѣками развивавшейся язвы; Тургеневъ дѣйсвительно боролся всѣми силами своей души съ этимъ крупнымъ общественнымъ зломъ, и «Записки Охотника» являются какъ бы интродукціей къ этой литературно художественной борьбѣ. Въ своихъ разсказахъ охотникъ-поэтъ какъ бы намѣчаетъ всѣ тѣ основные мотивы, которые затѣмъ онъ разрабатываетъ въ цѣломъ рядѣ художественныхъ произведеній.

По общему мнѣнію критиковъ, — «Записки Охотника», по своему общественному и художественному значенію, представляютъ собою такое произведеніе, что если бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего еще другого послѣ нихъ, все-таки его имя навсегда осталось бы незабвеннымъ въ исторіи нашей литературы. Достоинства этихъ охотничьихъ записокъ значительны и разнообразны.

Въ общественно-историческомъ отношеніи онѣ замѣчательны прежде всего потому, что заключаютъ въ себѣ полную, яркую и въ высшей степени художественную картину нашего народнаго и помѣщичьяго быта въ эпоху крѣпостного права,—и затѣмъ, какъ первый горячій художественный протестъ въ нашей литературѣ противъ растлѣвающаго вліянія народнаго рабства на развитіе общества. Пушкинъ, вѣдь, почти совсѣмъ не касался этой стороны народнаго быта; что же касается Гоголя, то народные типы у него изображаются лишь съ внѣшней и притомъ только комической стороны,—а помѣщичій бытъ отразился въ его поэмахъ лишь своей по истинѣ нечеловѣческой пошлостью, и прямого обличенія самой язвы крѣпостного права мы не находимъ.

Въ литературномъ отношеніи «Записки Охотника» замѣчательны по яркой художественности изображенныхъ въ

нихъ типовъ—по той глубокой правдивости, съ которою отразились въ этихъ «Запискахъ» характеръ и бытъ простого русскаго человѣка, а также помѣщичья среда въ извѣстную эпоху,—наконецъ, по той цѣльности идей и взглядовъ поэта, которые лежатъ въ основѣ на первый взглядъ какъ будто бы и не связанныхъ между собою его разсказовъ. Эта общая идея, эта общая задача разсказовъ можетъ быть опредѣлена такъ: раскрыть грустныя, мрачныя стороны положенія нашего простого народа подъ тяжестью крѣпостной зависимости и вмѣстѣ съ тѣмъ показать свѣтлыя, привлекательныя стороны въ характерѣ и нравахъ простого русскаго человѣка, который сохранилъ въ себѣ человѣка и при самомъ нечеловѣческомъ положеніи.

К. Чернышевъ.

* * *

*) Привычное представленіе, которое соединяется съ «Записками Охотника» Тургенева, есть представленіе о рядѣ художественныхъ очерковъ, проникнутыхъ одною идеею, направленныхъ къ одной цѣли, именно къ доказательству несправедливости существовавшаго тогда крѣпостного права. Самъ Тургеневъ неоднократно высказывался въ этомъ именно смыслѣ. Но какъ ни вѣско свидѣтельство самого художника, въ представленіи этомъ необходимо признать нѣчто преувеличенное.

Дѣятельность каждаго писателя неизбѣжно проникнута, конечно, одною идеею, всѣ его произведенія всегда носятъ печать его личности съ его характеристичными стремленіями, — и только въ этомъ смыслѣ можно признать за «Записками Охотника» приписываемое имъ значеніе. Самая исторія ихъ происхожденія какъ нельзя лучше доказываетъ это. Послѣ довольно большого ряда стихотвореній и стихотворныхъ разсказовъ, да еще двухъ-трехъ повѣстей, Турге-

*) Арс. И. Введенскій „Общественное самосознаніе въ русской литературѣ“. Спб. 1900 г. („Записки Охотника“).

невъ, уже почти рѣшившійся оставить литературное поприще, написалъ и отдалъ въ *Современникъ*, перешедшій тогда въ руки Панаева и Некрасова, небольшой очеркъ «Хорь и Калинычъ», который и былъ напечатанъ въ «Смѣси»,—очевидно ему большого значенія не придавалось. Неожиданный громкій успѣхъ его вернулъ Тургенева къ литературѣ и къ ряду подобныхъ же очерковъ. Такимъ образомъ, начало «Записокъ Охотника», какое бы ни придавали имъ значеніе, было случайностью.

Но и затѣмъ въ доброй половинѣ ихъ нѣтъ даже того характера, который имъ приписывается. Какимъ образомъ могли быть орудіемъ въ борьбѣ противъ крѣпостного права такіе очерки, какъ «Ермолай и Мельничиха», — описаніе охоты съ плоховатой собакой и странноватымъ дворовымъ на птицъ, сопровождаемой невольнымъ купаньемъ, по случаю непригодности къ плаванію по озеру взятаго суденышка, и т. п.? Еще менѣе къ этой роли могутъ быть пріурочены разсказы въ родѣ «Гамлета Щигровскаго уѣзда», въ которыхъ крѣпостное право не имѣетъ почти ровно никакого отношенія ни къ самой фабулѣ разсказа ни къ деталямъ его. Въ самомъ «Хорѣ и Калинычѣ» довольно трудно найти хотя бы отдаленный намекъ на несправедливость тяжелой личной зависимости отъ произвола владѣльца. Хорь, какъ онъ ни не свободенъ, повидимому, совсѣмъ не чувствуетъ гнета крѣпостного права,—онъ богатъ, сохраняетъ рѣзкія индивидуальныя черты силы и твердости характера и совсѣмъ не похожъ на «раба». Его пріятель Калинычъ — просто мужицкая художественная натура, человѣкъ мало-практичный прямо почти противоположный Хорю. Читатель не видитъ въ разсказѣ рѣшительно ничего, что̀ говорило бы о ихъ крѣпостной неволѣ...

Выводъ этотъ самъ собою представляется уму читателя, какъ скоро онъ отнесется къ «Запискамъ Охотника» съ подобающею критикою. Есть, однако, въ этихъ прекрасныхъ очеркахъ такіе элементы, которые до весьма большой степени оправдываютъ воззрѣніе на нихъ, возникшее, конечно, позже, и давшее основаніе самому автору принять его, но

которому «Записки Охотника» являются какъ бы выдѣленными изъ остальныхъ произведеній Тургенева, имѣющими спеціальный характеръ борьбы, направленной противъ крѣпостного права.

Дѣло въ томъ, что въ полной своей совокупности онѣ представляютъ яркую картину жизни русской деревни—крестьянъ и помѣщиковъ, и жизни притомъ преимущественно духовной, а не матеріальной, не бьющей въ глаза собственно ея экономическими отношеніями. Въ этой картинѣ народъ является передъ читателемъ такимъ мощнымъ и полнымъ силъ элементомъ русской жизни, что невольно *могъ* наводить на мысль о несправедливости духовной и особенно матеріальной опеки надъ нимъ; а помѣщики въ той же картинѣ—далеко не безупречные люди, т. е. самые обыкновенные, притомъ со слѣдами вліянія на нихъ рабовладѣльческой беззаботности и легкомыслія, испорченности жизнью безъ труда — не мирятъ съ мыслью, что въ ихъ рукахъ, въ ихъ полной власти и произволѣ тысячи и десятки тысячъ тѣхъ крестьянъ. Тургеневъ былъ только художникъ въ этой картинѣ, а совсѣмъ не проповѣдникъ. Онъ далъ только вѣрную картину дѣйствительности, а уже эта дѣйствительность могла наводить на мысли о крѣпостномъ правѣ. Каждый очеркъ самъ по себѣ подобнаго обширнаго значенія, конечно, имѣть не могъ; но вмѣстѣ они говорили сочувственными мыслями тѣмъ, кто искалъ этихъ мыслей. Тургеневъ, какъ истинный художникъ, не могъ преслѣдовать тенденціозныхъ цѣлей, но его сочувствіе было на сторонѣ несвободнаго народа — и оно сказалось въ его изображеніяхъ. Въ этомъ только смыслѣ онъ и могъ самъ говорить о своей «борьбѣ» противъ несправедливаго общественнаго устройства, противъ стѣсненій, наложенныхъ на свободное развитіе талантливаго и сильнаго русскаго племени. И то, что говоримъ мы, относится только къ половинѣ очерковъ, а ни въ какомъ случаѣ не ко всѣмъ, а это обстоятельство прямо указываетъ на отсутствіе въ нихъ преднамѣренной, прямой тенденціи.

Но это самое свойство «Записокъ Охотника», о которомъ

мы говоримъ, ихъ изящество, художественность, дѣлаетъ ихъ драгоцѣнными и для насъ, для потомковъ. Если бы онѣ, дѣйствительно, имѣли значеніе только орудія борьбы и пропаганды, время поставило бы ихъ въ разрядъ историческихъ явленій, любопытныхъ и поучительныхъ для историка, но значительно утратившихъ интересъ для обыкновенныхъ читателей. Крѣпостное право давно не существуетъ, и что же поучительнаго и живого не историческаго нашли бы мы въ томъ орудіи, которое направлено было когда-то противъ него? «Записки Охотника» превращались бы въ литературное явленіе момента, для него существовавшее и вмѣстѣ съ нимъ отошедшее въ историческое прошлое. Но разъ это художественныя произведенія, изъ которыхъ только могла быть извлечена тенденція, опи получаютъ значеніе болѣе вѣчное, позднѣйшіе потомки найдутъ въ нихъ столько же поучительнаго, сколько и современныя имъ поколѣнія. Въ этомъ для насъ ихъ главнѣйшее значеніе.

Художественное значеніе «Записокъ Охотника», значеніе правдивой картины русской жизни, необычайно велико. Тургеневу удалось подмѣтить самыя характерныя черты русской души, и, быть можетъ, всего болѣе онѣ находятъ для себя выраженіе именно въ «Запискахъ Охотника». Многія позднѣйшія произведенія имѣли уже въ нихъ свои основные, наиболѣе существенные элементы. Что такое, напримѣръ, Чулкатуринъ, этотъ «лишній человѣкъ», какъ не простое видоизмѣненіе «Гамлета Щигровскаго уѣзда»? И тотъ и другой одинаково родоначальники длиннаго ряда Тургеневскихъ героевъ, вооруженныхъ, повидимому, средствами для полезной дѣятельности въ обществѣ, но слабыхъ волею, почти безъ борьбы уступающихъ мѣсто другимъ на общественной аренѣ, въ виду непризнанія ихъ обществомъ, хотя имъ, конечно, хорошо извѣстно, что всякое общество трудно мирится со всякими новаторами и носителями непривычныхъ для него идей. И тотъ и другой въ то же время всѣмъ своимъ умственнымъ направленіемъ, характеромъ образованія (что особенно относится къ «Гамлету Щигровскаго уѣзда») лишены почвы въ своемъ обществѣ,

и находятъ ее развѣ только въ какихъ-нибудь родовыхъ «Овечьихъ-Водахъ», гдѣ имъ представляется полная возможность дарового прозябанія на крѣпостномъ трудѣ.

«Записки Охотника» естественно распадаются на три рода очерковъ. Одинъ изъ нихъ всецѣло принадлежитъ характеристикѣ русскихъ народныхъ массъ, и въ нихъ съ наибольшею силою отражена русская душа, та естественная, прирожденная русская душа, которая не прошла подъ многообразными вліяніями европейскихъ идей. Изученіе этихъ очерковъ съ указываемой стороны представляетъ несомнѣнную важность,—въ нихъ можно найти если не рѣшеніе, то важные элементы для рѣшенія многихъ явленій нашей жизни, какъ исторической, такъ и современной. Очерки Тургенева показываютъ намъ въ основѣ русской души, напримѣръ, характернѣйшее отрицательное отношеніе къ «земнымъ благамъ», вообще къ плотской жизни, и связанное съ нимъ какое-то спокойное, почти фаталистическое отношеніе къ смерти. Быть можетъ, народъ вынесъ подобныя *чувства* (а не сознательныя мысли) изъ своихъ вѣковыхъ испытаній. Какое значеніе могли получить въ глазахъ народа богатства, роскошь, удобства жизни, когда одно нашествіе толпы татаръ, одна суровая война съ окружающими враждебными народами превращали въ прахъ результаты многолѣтнихъ усилій? И какую цѣну могла имѣть жизнь, подверженная суровымъ лишеніямъ и опасностямъ въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ? На почвѣ бѣдствій выростаетъ вѣра, которая, со своею надеждою на загробную награду за страданія, становится драгоцѣннѣйшимъ достояніемъ души, и русскій человѣкъ, готовый жить, пока живется, смѣло смотрѣлъ въ глаза смерти.

Тургеневъ нарисовалъ удивительную картину этого смиренія передъ неизбѣжнымъ фактомъ смерти: умирающій русскій человѣкъ жалѣетъ не объ утрачиваемыхъ наслажденіяхъ жизни, заботится не о себѣ, а почти исключительно о томъ, чтобы перейти въ другой міръ съ соблюденіемъ, такъ сказать, всѣхъ порядковъ, сдѣлавъ всѣ необходимыя распоряженія. Такъ относятся у Тургенева къ жизни и

смерти самыя дѣловитыя русскія натуры, исполненныя, повидимому, практическихъ стремленій. Но что же говорить о натурахъ художественныхъ, болѣе беззаботныхъ въ практической, дѣловой жизни? Наиболѣе сильный образъ, говорящій объ этихъ свойствахъ русской души, мы находимъ въ очеркѣ «Живыя Мощи». Тургеневъ отразилъ въ своихъ очеркахъ и ту русскую способность къ глубочайшимъ увлеченіямъ, къ неизмѣримой силѣ чувства, къ беззавѣтнѣйшей преданности любимому дѣлу. Въ «Пѣвцахъ» мы неожиданно находимъ въ натурахъ, повидимому, примитивныхъ и грубыхъ, поразительную мощь сложныхъ душевныхъ движеній, а рядомъ съ этимъ все-таки пренебрежительное отношеніе къ практическому, дѣловому, разсчитанному существованію, приближающееся къ какому-то оригинальному безпутству и легкомыслію. Но въ этомъ же свойствѣ кроется объясненіе историческаго величія нашего отечества, сыны котораго всѣмъ способны пожертвовать для высшаго блага, для высшей идеи.

Второй родъ очерковъ изображаетъ высшіе слои русскаго народа. Одни ихъ нихъ характеризуютъ русскую помѣщичью жизнь, не особенно близко, впрочемъ, касаясь отношеній помѣщиковъ къ подвластнымъ имъ крестьянамъ. Главная основная ихъ черта—характеристика жизни людей, соціальными условіями поставленныхъ въ исключительную возможность жить безъ дѣятельности, почему въ средѣ ихъ развиваются искусственные интересы, занятія безъ строго опредѣленныхъ цѣлей и, наконецъ, въ результатѣ, паденіе нравственныхъ представленій объ ихъ общественныхъ обязанностяхъ и правахъ. Третій родъ очерковъ посвященъ изображенію типовъ, появлявшихся тогда въ русской жизни подъ вліяніемъ недостаточнаго, притомъ чуждаго, просвѣщенія. Таковъ очеркъ «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда». Но эти послѣдніе, какъ отчасти и вторые, по своему характеру уже примыкаютъ къ позднѣйшимъ произведеніямъ Тургенева.

Арс. Введенскій.

* * *

*) Тургеневъ, какъ извѣстно, провелъ дѣтство и юность въ самой крѣпостнической обстановкѣ; его родители крайне сурово относились къ своимъ людямъ, такъ что, по его собственному свидѣтельству, онъ выросъ «среди побоевъ и истязаній». Любопытно, что обязанный крѣпостному труду тѣмъ благосостояніемъ, которое окружало его съ дѣтства, онъ и любовью къ литературѣ отчасти обязанъ крѣпостному камердинеру, который читалъ ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ «Россіаду» Хераскова. Окончивъ курсъ въ Московскомъ университетѣ, Тургеневъ отправился для ознакомленія съ настоящей наукой въ Берлинъ, гдѣ сошелся со Станкевичемъ и Грановскимъ. Судя по тому, какъ Станкевичъ относился къ крѣпостному праву въ это время, можно думать, что онъ имѣлъ вліяніе на Тургенева и въ этомъ отношеніи.

Въ 1840 году, послѣ непродолжительнаго пребыванія въ Россіи и поѣздки въ Италію, Тургеневъ снова вернулся въ Берлинъ и слушалъ тамъ лекціи вмѣстѣ съ извѣстнымъ М. Бакунинымъ еще около года. Жизнь и серьезныя занятія за границей не прошли для Тургенева безслѣдно: онъ сталъ совершенно отрицательно относиться къ той «помѣщичьей, крѣпостной» средѣ, къ которой принадлежалъ по своему происхожденію. «Почти все, что я видѣлъ вокругъ себя,—говоритъ онъ,—возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ... Я бросился внизъ головою въ «нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда». Возвратившись изъ-за границы въ 1841 году, Тургеневъ познакомился въ Москвѣ съ славянофильскимъ кружкомъ, но уже тогда отрицательно отнесся къ нему и, напротивъ, близко сошелся съ западниками, къ числу которыхъ принадлежали Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ и др. Тургеневъ попробовалъ было служить въ

*) В. Семевскій. „Крѣпостное право и *Записки Охотника*“. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“ В. И. Покровскаго. Москва 1905 г. Также см. книгу Семевскаго: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи“ т. II. Спб. 1888 г.

министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, но не выдержалъ болѣе двухъ лѣтъ. Его, какъ и нѣкоторыхъ другихъ, имѣвшихъ средства покинуть *тогдашнюю* Россію, потянуло въ западную Европу. «Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ,— говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—для этого у меня, вѣроятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее тогда себѣ. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить... «Записки Охотника» были написаны мною за границей; нѣкоторыя изъ нихъ—въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину или нѣтъ».

Первый очеркъ изъ «Записокъ Охотника», «Хорь и Калинычъ», былъ напечатанъ въ 1-мъ №-ѣ «Современника» 1847 года, т.-е. всего черезъ мѣсяцъ послѣ появленія повѣсти Григоровича «Деревня», слѣдовательно (тѣмъ болѣе, что Тургеневъ жилъ въ это время за границей), нельзя никоимъ образомъ предполагать, что обращеніе къ очеркамъ изъ народной и крѣпостной среды было сдѣлано авторомъ подъ вліяніемъ повѣсти Григоровича. Совпаденіе двухъ молодыхъ писателей въ новомъ направленіи ихъ дѣятельности служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что такія произведенія, дѣйствительно, вызывались настоятельною потребностью времени. Впрочемъ, въ первомъ очеркѣ Тургенева крѣпостное право задѣвается лишь мимоходомъ. Помѣщикъ дозволяетъ Хорю поселиться особнякомъ на болотѣ, обложивъ его оброкомъ въ 50 руб. въ годъ, а когда тотъ разбогатѣлъ, то оброкъ увеличивается вдвое. Но откупаться на свободу Хорь не хочетъ, считая, повидимому, чиновниковъ болѣе опасными для себя, чѣмъ власть помѣщика.

Хваля своего помѣщика, очевидно, изъ дипломатіи, Хорь, однакоже, подсмѣивается надъ Калинычемъ, что баринъ, гоняя его съ собою на охоту, не даетъ ему не только на сапоги, но и на лапти, и только «въ прошломъ году гривенникъ пожаловалъ». Очеркъ этотъ очень понравился Бѣлинскому. «Хорь обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя въ будущемъ», писалъ онъ автору. И позже Бѣлинскій печатно называлъ этотъ очеркъ лучшимъ изъ всѣхъ «Записокъ Охотника». «Хорь и Калинычъ» вызвалъ въ высшей степени сочувственный отзывъ даже въ «Москвитянинѣ», до тѣхъ поръ относившемся къ Тургеневу за его западничество враждебно. Въ статьѣ «О мнѣніяхъ «Современника» историческихъ и литературныхъ», подписанной буквами М... З... К... и принадлежавшей перу Самарина, разсказъ былъ названъ превосходнымъ, и о немъ было сказано: «Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: вмигъ дается сила! Пока Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу,—прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души,—этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ! Всѣ отдадутъ ему справедливость, по крайней мѣрѣ, мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!»

Гораздо рѣзче, чѣмъ въ «Хорѣ и Калинычѣ», задѣто крѣпостное право въ слѣдующемъ очеркѣ «Записокъ Охотника»—«Петръ Петровичъ Каратаевъ». Содержаніе его слѣдующее: одинъ дворянинъ влюбился въ крѣпостную дѣвушку сосѣдней помѣщицы, и она полюбила его. Помѣщица не соглашается продать ее ни за какія деньги и ссылаетъ въ степную деревню; однако герой разсказа уговариваетъ ее бѣжать, несмотря на опасеніе, что за это сошлютъ ея брата. Однако счастье влюбленной парочки

продолжается лишь нѣсколько мѣсяцевъ: помѣщица узнаетъ о мѣстопребываніи своей крѣпостной, подаетъ жалобу о проживательствѣ ея бѣглой дѣвки у дворянина Каратаева; тотъ тратитъ множество денегъ на задариваніе мѣстной администраціи и входитъ въ долги, но, наконецъ, его возлюбленная рѣшается сама выдать себя, чтобы спасти его отъ окончательнаго разоренія. Каратаевъ спивается, а несчастную дѣвушку, безъ сомнѣнія, замучиваютъ или ссылаютъ: авторъ ничего не говоритъ о ея дальнѣйшей судьбѣ, но весь ужасъ ея положенія и безъ того понятенъ читателю. Очеркъ этотъ также понравился Бѣлинскому: въ обзорѣ русской литературы за 1847 г., напечатанномъ въ «Современникѣ», онъ говоритъ, что въ немъ «талантъ автора высказался съ такою же полнотою, какъ въ лучшихъ изъ разсказовъ охотника.

Въ 6-мъ №-ѣ «Современника» 1847 года появился новый разсказъ Тургенева: «Ермолай и Мельничиха». Помѣщица положила себѣ за правило не держать замужнихъ горничныхъ; она и ея мужъ не отступаютъ отъ этого правила и ради ея любимой горничной, десять лѣтъ вѣрою и правдою ей служившей и умоляющей дозволить ей выйти замужъ за ихъ же лакея, при чемъ эта горничная могла бы, слѣдовательно, попрежнему продолжать исполненіе своихъ обязанностей. Любовь беретъ, однако, свое, и тогда въ наказаніе ей остригаютъ косу, одѣваютъ въ затрапезное платье и ссылаютъ въ деревню. Съ негоднаго къ работѣ «лядащаго» Ермолая,—другой герой этого разсказа,—казалось бы, господамъ взять нечего: ему дозволяется жить, гдѣ онъ хочетъ, съ обязанностью, однако, доставлять на господскую кухню разъ въ мѣсяцъ пары двѣ тетеревей и куропатокъ, при чемъ «пороху и дроби ему... не выдавали, слѣдуя тѣмъ же правиламъ, въ силу которыхъ и онъ не кормилъ своей собаки». Бѣлинскому очеркъ понравился; но нужно замѣтить, что, вообще, при всемъ сочувствіи его къ Тургеневу, Бѣлинскому не удалось вполнѣ оцѣнить его талантъ; это особенно замѣтно, если сравнить его отзывы о Тургеневѣ съ его же отзывами о Григоровичѣ. «Мнѣ ка-

жется,—писалъ онъ Тургеневу,—у васъ чисто творческаго таланта или нѣтъ или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы «Ермолай и Мельничиха»: не Богъ знаетъ что — бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслію». Бѣлинскій горячо поддерживалъ Тургенева въ новомъ направленіи его дѣятельности: «найти свою дорогу»,—писалъ онъ ему,—узнать свое мѣсто,—въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою».

Изъ очерка «Льговъ», напечатаннаго въ той же книжкѣ «Современника», мы узнаемъ горемычную судьбу одного двороваго. Онъ началъ свою службу барину казачкомъ, потомъ былъ послѣдовательно форейторомъ, садовникомъ и доѣзжачимъ. Ѣздя съ собаками, онъ упалъ вмѣстѣ съ лошадью: и самъ ушибся, и лошадь зашибъ; за это баринъ велѣлъ его выпороть и отдать въ ученье въ Москву къ сапожнику, несмотря на то, что ему было тогда болѣе двадцати лѣтъ. Когда старый баринъ скоро умеръ, его вернули въ деревню, и затѣмъ лѣтъ двадцать имъ владѣла дочь этого помѣщика. У нея онъ былъ поваромъ, никогда не учась кулинарному искусству, а затѣмъ кофишенкомъ, т.-е. состоялъ при буфетѣ, при чемъ барыня даже переименовала его изъ Кузьмы въ Антона; исполнялъ онъ и обязанности актеровъ, но за то, что братъ его сбѣжалъ, былъ опять разжалованъ въ повара. Жениться дворовымъ барыня никому не позволяла, говоря: «Вѣдь живу же я такъ въ дѣвкахъ, что за баловство! чего имъ надо!» Когда эта барыня продала свое имѣніе другому помѣщику, дворовый, о которомъ идетъ рѣчь, продолжалъ исполнять обязанности повара, а при его наслѣдникѣ сдѣланъ былъ кучеромъ. Но тутъ имѣніе было опять продано новой барынѣ, которая нашла, что кучеромъ ему быть неприлично, и превратила его въ рыболова, приказавъ сбрить бороду и содержать прудъ въ порядкѣ. Жалованья онъ не получалъ, ему выдавались только харчи, но онъ былъ совершенно доволенъ барскою милостью, особенно сравнивая свою жизнь съ судьбою другого старика, котораго барыня приказала

поставить на бумажную фабрику, такъ какъ «грѣшно даромъ хлѣбъ ѣсть». Тутъ вся исторія жизни дворовыхъ: господа распоряжаются ихъ личностью, какъ имъ придетъ въ голову, заставляютъ исполнять самыя разнообразныя обязанности, къ которымъ тѣ вовсе и не подготовлялись, и, между тѣмъ, строго взыскиваютъ не только за ихъ собственныя ошибки, но даже и за провинности ихъ родственниковъ, и, въ то же время, вмѣсто всякой награды, отказываютъ имъ въ удовлетвореніи даже такихъ естественныхъ желаній, какъ вступленіе въ бракъ. Это рабы въ полномъ смыслѣ слова, которыхъ господинъ можетъ лишить, по своему капризу, даже имени, даннаго при крещеніи, и замѣнить его другимъ. Этотъ сжатый очеркъ ужасной судьбы дворовыхъ проникнутъ не презрѣніемъ къ этимъ несчастнымъ, а самымъ теплымъ сочувствіемъ и состраданіемъ.

Минуя тѣ очерки изъ «Записокъ Охотника», въ которыхъ авторъ не затрогиваетъ крѣпостного права, мы переходимъ къ напечатанному въ 10-мъ № «Современника» 1847 года разсказу «Бурмистръ». Въ концѣ его помѣта: «Зальцбруннъ въ Силезіи, іюль 1847 года». Это мѣсто было памятно автору тѣмъ, что въ концѣ мая онъ привезъ сюда больного Бѣлинскаго, котораго, впрочемъ, скоро сдалъ на руки П. В. Анненкова и который уѣхалъ оттуда 3-го іюля; разсказъ, если не оконченъ, то, по крайней мѣрѣ, начатъ при Бѣлинскомъ, и, по всей вѣроятности, не случайность, въ виду особенно живого интереса въ это время Бѣлинскаго къ крестьянскому вопросу, что очеркъ этотъ изъ «Записокъ Охотника» рѣзко задѣваетъ крѣпостное право и чрезвычайно живо рисуетъ выросшихъ на его почвѣ звѣрей-помѣщиковъ и звѣрей-кулаковъ изъ тѣхъ же крѣпостныхъ. Какъ хорошъ, напр., помѣщикъ Пѣночкинъ:

«Аркадій Павлычъ, говоря собственно его словами, строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ же блага. «Съ ними надобно обращаться какъ съ дѣтьми!—говоритъ онъ въ

такомъ случаѣ.—Невѣжество, mon cher; il faut prendre cela en considération». Самъ же, въ случаѣ такъ называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и голоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: «вѣдь я тебя просилъ, любезный мой», или: «что съ тобою, другъ мой, опомнись», при чемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ... Дворовые люди Аркадія Павлыча посматриваютъ, правда, что-то исподлобья, но у насъ на Руси угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь».

Примѣненіе на дѣлѣ административныхъ принциповъ г. Пѣночкина прекрасно рисуется въ слѣдующей сценѣ:

«— Отчего вино не нагрѣто?—спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

«Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

«— Вѣдь, я тебя спрашиваю, любезный мой?—спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

«Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

«— Pardon, mon cher, — промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, поднявъ брови, и позвонилъ.

«Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

«— Насчетъ Ѳедора... распорядиться,—проговорилъ Аркадій Павлычъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ».

Если бы за подлинность подобныхъ типовъ не была достаточною порукой художественная правда произведеній Тургенева, то мы могли бы еще указать читателямъ на изображеніе подобной же личности въ мемуарахъ сельскаго священника, напечатанныхъ въ «Русской Старинѣ». Оригиналъ этого послѣдняго, г. Б., съ такимъ же спокойствіемъ

истязалъ своихъ крѣпостныхъ и, между прочимъ, своихъ собственныхъ актеровъ и актрисъ.

Если дворовые г-на Пѣночкина страдали отъ его тяжелой руки, то крестьяне одного изъ его имѣній, платившіе при маломъ количествѣ земли такой оброкъ, что самъ господинъ удивлялся, какъ они сводятъ концы съ концами, были отданы на жертву бурмистру, столь же самовластно распоряжающемуся съ крестьянами, какъ управляющій въ повѣсти Григоровича «Антонъ Горемыка», напечатанной позже мѣсяцемъ въ томъ же «Современникѣ». Крестьянинъ жалуется, что невзлюбившій его за то, что онъ повздорилъ съ нимъ на сходкѣ, бурмистръ въ конецъ разорилъ его: отдалъ безъ очереди въ рекруты двухъ сыновей,—отнимаетъ и третьяго; онъ же свелъ со двора послѣднюю корову; взнеся за него однажды недоимку, бурмистръ уже пятый годъ держитъ его въ кабалѣ. Ужасно было положеніе и другихъ: по разсказу посторонняго мужика бурмистръ ими «какъ своимъ добромъ владѣетъ». Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него, словно батраки.

Въ напечатанномъ одновременно съ «Бурмистромъ» очеркѣ «Контора» авторъ изображаетъ представителей крѣпостной бюрократіи; главный конторщикъ также имѣетъ нѣкоторое сходство съ управителемъ въ повѣсти «Антонъ Горемыка»: какъ тотъ беретъ взятки съ мельника, такъ этотъ корыстуется отъ купца, при продажѣ ему барскаго хлѣба, и отъ крѣпостныхъ крестьянъ-плотниковъ, чтобы ихъ безъ толку не требовали на работу; есть и новыя черты; такъ, по его интригамъ барыня ссылаетъ дѣвушку, не поддающуюся его ухаживаніямъ. Не сразу, впрочемъ, онъ добился такой власти: было время, что и онъ находился въ опалѣ и пожилъ въ мужицкой избѣ.

Въ февральской книжкѣ «Современника» 1848 года было сразу напечатано шесть очерковъ изъ «Записокъ Охотника»; изъ нихъ только въ одномъ, «Малиновая Вода», было задѣто, и то слегка, крѣпостное право. Тутъ фигурируетъ, съ одной стороны, вольноотпущенный, бывшій

дворецкій одного графа, восхваляющій барина, съ другой стороны—крестьянинъ, только что потерявшій сына-работника и просившій барина уменьшить съ него оброкъ (95 руб. съ тягла). И, получивъ отказъ, крестьянинъ не унываетъ: «Мнѣ съ полагоря, взять-то съ меня нечего... безотвѣтная моя голова». Этотъ очеркъ «не очень понравился» Бѣлинскому, да и вообще эти шесть разсказовъ, въ которыхъ авторъ, за исключеніемъ одного, совершенно игнорируетъ крѣпостное право, показались Бѣлинскому, по его словамъ въ письмѣ къ П. В. Анненкову, «слабѣе прежнихъ».

Въ напечатанномъ уже по смерти Бѣлинскаго («Современникъ» 1849 г., № 2) очеркѣ изъ «Записокъ Охотника» — «Чертопхановъ и Недопюскинъ» авторъ только вскользь задѣваетъ въ одномъ мѣстѣ крѣпостничество въ характеристикѣ Чертопханова-отца, который, въ числѣ другихъ своихъ чудачествъ, велѣлъ однажды перепороть всѣхъ старыхъ бабъ на деревнѣ, сочтя ихъ виновными въ колдовствѣ, когда три раза сряду обрушивался куполъ воздвигаемой имъ церкви. Онъ же «вычиталъ однажды въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» статейку харьковскаго помѣщика Хряка-Хруперскаго о пользѣ нравственности въ крестьянскомъ быту, и на другой же день отдалъ приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью харьковскаго помѣщика наизусть... Около того же времени повелѣлъ онъ всѣхъ подданныхъ своихъ для порядка и хозяйственнаго расчета перенумеровать и каждому на воротникѣ нашить его нумеръ. При встрѣчѣ съ бариномъ всякъ, бывало, такъ ужъ и кричитъ: такой-то нумеръ идетъ! а баринъ отвѣчаетъ ласково: «ступай себѣ съ Богомъ!»

Безъ сомнѣнія, не малый матеріалъ для бичеванія съ разныхъ сторонъ крѣпостного права доставило Тургеневу жестокое отношеніе его родителей къ своимъ крѣпостнымъ. Въ концѣ эти крѣпостные вздохнули свободнѣе: мать Тургенева, наконецъ, умерла, и Иванъ Сергѣевичъ, вернувшись изъ-за границы въ доставшееся ему вмѣстѣ съ старшимъ братомъ Николаемъ родовое имѣніе, немедленно от-

пустилъ всѣхъ своихъ дворовыхъ на волю и перевелъ на оброкъ пожелавшихъ этого крестьянъ. Но, все-таки, его крестьяне тогда не были освобождены изъ крѣпостного состоянія, какъ то можно было ожидать отъ человѣка, давшаго «аннибаловскую клятву» противъ крѣпостного права; быть можетъ, Тургеневъ предполагалъ, что безъ его защиты они сдѣлаются добычею алчности мѣстной администраціи: не даромъ эту мысль онъ влагаетъ въ уста одного изъ героевъ его разсказа «Хорь и Калинычъ», но возможно и то, что, желая поскорѣе вновь уѣхать за границу, онъ пугался тѣхъ ужасныхъ проволочекъ, съ которыми совершалось освобожденіе крестьянъ цѣлыми вотчинами, т.-е. переходъ ихъ въ свободные хлѣбопашцы.

Въ началѣ 1852 г. Тургеневъ собралъ отдѣльные очерки изъ «Записокъ Охотника» и издалъ ихъ въ Москвѣ въ двухъ частяхъ. Это изданіе, имѣвшее значительный успѣхъ, возбудило противъ автора сильное неудовольствіе въ офиціальномъ мірѣ. Московскій цензоръ кн. Львовъ былъ временно отставленъ отъ должности за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе «Записокъ Охотника»; поднимался даже вопросъ о конфискаціи книги. Къ этому присоединилось, въ видѣ отягчающаго обстоятельства, продолжительное пребываніе Тургенева за границей, особенно въ Парижѣ, а именно въ 1848 г., а также и его близкія отношенія къ лицамъ, которыя уже давно были «на дурномъ счету». Поводомъ къ административной карѣ, какъ извѣстно, послужило напечатанное имъ въ мартѣ 1852 г. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» письмо по поводу смерти Гоголя; но Тургеневъ самъ говоритъ, что наказаніе постигло, «въ сущности, за «Записки Охотника». Иванъ Сергѣевичъ былъ отправленъ на мѣсяцъ «на съѣзжую», но, благодаря почитательницамъ его таланта, дочерямъ частнаго пристава, онъ провелъ большую часть этого времени въ квартирѣ ихъ отца, гдѣ подготовлялъ новый ударъ крѣпостному праву, написавъ здѣсь разсказъ «Муму», а затѣмъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ свою деревню. Ссылка продолжалась до 1854 г. и, благо-

даря ей, безъ сомнѣнія, разсказъ, написанный Тургеневымъ подъ арестомъ, былъ напечатанъ только въ 1854 г. («Современникъ», № 3). Эта трогательная исторія производитъ особенно сильное впечатлѣніе потому, что наглядно показываетъ, до какой ненужной жестокости доходили душевладѣльцы относительно своихъ крѣпостныхъ: капризная барыня лишаетъ своего лучшаго работника, глухонѣмого, его собачки, оставшейся для него единственнымъ утѣшеніемъ въ его печальной жизни послѣ того, какъ барыня выдала замужъ и отослала въ деревню дворовую дѣвушку, къ которой онъ былъ расположенъ. Замѣтимъ еще, что, какъ оказывается изъ посмертныхъ воспоминаній о Тургеневѣ, этотъ превосходный разсказъ былъ воспроизведеніемъ факта, случившагося въ семьѣ Ивана Сергѣевича: жестокая барыня, велѣвшая утопитъ собачку Муму, была мать автора; и глухонѣмой крестьянинъ Герасимъ дѣйствительно существовалъ.

Въ томъ же 1852 году былъ написанъ не менѣе сильный разсказъ «Постоялый Дворъ». Тутъ мы видимъ, какъ помѣщица, дозволивъ своему крѣпостному, аккуратно платившему ей весьма значительный оброкъ, купить на ея имя полдесятины земли для заведенія постоялаго двора, потомъ продаетъ этотъ дворъ, какъ свою собственность, другому, при чемъ покупателемъ является любовникъ жены прежняго хозяина, бывшей горничной той же госпожи, и покупка совершается на деньги, похищенныя этою женщиной у своего мужа. Послѣ попытки поджечь такъ нагло отнятое у него жилище, этотъ несчастный человѣкъ дѣлается странствующимъ богомольцемъ, христіанское незлобіе котораго такъ велико, что онъ никогда не забываетъ даже принести разорившей его барынѣ «просвиру съ вынутымъ заздравнымъ». Этотъ прелестный разсказъ, едва ли не лучшій изъ всего написаннаго Тургеневымъ о крѣпостномъ правѣ, появился въ печати, вѣроятно, по цензурнымъ причинамъ, лишь черезъ три года послѣ того, какъ онъ былъ написанъ, уже въ новое царствованіе («Современникъ» 1855 г., № 11). Выставленный въ немъ

фактъ злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ,—нужно замѣтить, вовсе не составлявшій чего-нибудь неслыханнаго въ то время,—былъ, тѣмъ не менѣе, такимъ вопіющимъ нарушеніемъ справедливости, что предложеніе разорить одного изъ ея лучшихъ крестьянъ ужаснуло въ первую минуту даже барыню (по натурѣ вовсе не злую), когда она услыхала о томъ отъ своей экономки, но жадность къ деньгамъ и сознаніе полной безнаказанности этого наглаго грабежа среди бѣлаго дня одержали верхъ надъ всякими сомнѣніями. А грабежъ былъ, дѣйствительно, совершенно безнаказанный: по закону 1848 г. крѣпостнымъ людямъ не дозволялось возбуждать какіе бы то ни было споры объ имуществѣ, пріобрѣтенномъ ими до того времени на имя помѣщика.

Такимъ образомъ, въ своихъ разсказахъ изъ народнаго быта, написанныхъ съ 1846 по 1852 г., Тургеневъ затронулъ главнѣйшія стороны быта крѣпостныхъ: тяжесть повинностей, иногда при недостаточномъ количествѣ земли, зависимость отъ барской воли даже въ дѣлѣ женитьбы и лишеніе иной разъ права на нее въ теченіе всей жизни, тѣлесныя наказанія, горемычная доля двороваго, злоупотребленія сельскихъ начальниковъ и управителей, барскія чудачества и самодурство, наконецъ, непризнаніе за крѣпостнымъ права собственности на имущество, нажитое его личнымъ трудомъ, — все это отражается въ живыхъ, талантливыхъ очеркахъ. Конечно, дѣйствительность могла бы подсказать въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе ужасныя картины, чѣмъ тѣ, какія мы находимъ у Тургенева: но, во-первыхъ, и безъ того совокупность очерковъ, посвященныхъ имъ крѣпостному праву, производитъ на читателя самое сильное впечатлѣніе, а во-вторыхъ, мы должны помнить, что художникъ не могъ съ полною свободою рисовать все то, что онъ наблюдалъ при созданіи своихъ произведеній. Однакоже, и въ томъ видѣ, какъ онѣ были написаны или, по крайней мѣрѣ, появились въ свѣтъ, «Запискамъ Охотника» суждено было не только имѣть огромное гуманизирующее вліяніе на все русское обще-

ство, но сыграть даже еще болѣе важную роль въ исторіи крестьянскаго вопроса: по собственному свидѣтельству Тургенева, императоръ Александръ II самъ сказалъ ему, что «съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочелъ «Записки Охотника», его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости». Фактъ этотъ тѣмъ болѣе для насъ важенъ, что ранѣе того, въ мартѣ 1849 года, въ секретномъ комитетѣ, учрежденномъ подъ его предсѣдательствомъ для обсужденія закона (8 ноября 1847 г.) о правѣ крестьянъ выкупаться на свободу при продажѣ имѣній съ аукціона, наслѣдникъ цесаревичъ Александръ Николаевичъ (такъ же какъ и принцъ Ольденбургскій), вопреки мнѣнію Киселева, Блудова и Вронченка, подалъ голосъ за отмѣну этого закона вмѣстѣ съ крѣпостниками кн. Чернышевымъ, гр. Орловымъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ Перовскимъ.

В. Семевскій.

* * *

*) I. 1) Пользуясь даровымъ трудомъ своихъ крѣпостныхъ, нѣкоторые помѣщики проводили жизнь въ низменныхъ удовольствіяхъ, какъ Комовъ (у Тургенева «Однодворецъ Овсянниковъ») и Ноздревъ (у Гоголя), другіе—въ удовольствіяхъ, кажущихся болѣе возвышенными: занимались охотою съ торжественною обстановкою, устраивали пиршества для высокопоставленныхъ лицъ; жилища ихъ можно было принять за дворцы владѣтельныхъ принцевъ; салоны представлялись уголками столицы — въ нихъ краснорѣчивые люди блистали возвышенными идеями и остроуміемъ. Въ этой средѣ являлись, правда, и лица серьезно образованныя, какъ Чацкій, Ленскій, Рудинъ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда; поэтому не мудрено, что помѣщикамъ приписывается заслуга относительно культурности Россіи.

*) „Педагогическій Сборникъ" 1904 г., № 1 и 2. Статья А. Барсова. „Литература послѣ Гоголя". „Тургеневъ". „Крестьяне по *Запискамъ Охотника*".

Но это справедливо только по отношенію къ меньшинству, а большинство составляли Фамусовы, Скалозубы, Простаковы, Скотинины. Меньшинство, кромѣ того, создало культуру, оторванную отъ почвы: наука не проникала въ жизнь и не выводилась изъ жизни; учились вовсе не для того, чтобы прилагать свои знанія къ жизни, учились для «свѣта»: были «глубокіе экономы», подобные Онѣгину; были поклонники Канта, Гегеля; проникались Шиллеромъ и Гете. Умнѣйшимъ изъ нихъ приходилось недоумѣвать, напр.—подобно Щигровскому Гамлету, какое употребленіе сдѣлать изъ энциклопедіи Гегеля; а русская жизнь для нихъ... «молчитъ она, голубушка». Забытъ былъ завѣтъ Ломоносова: «О вы, которыхъ ожидаетъ отечество отъ нѣдръ своихъ, и видѣть таковыхъ желаетъ, каковыхъ зоветъ отъ странъ чужихъ, о ваши дни благословенны!» забыто, что Россія обладаетъ сокровищами, «какими хвалится Индія; но требуетъ къ тому искусствомъ утвержденныхъ рукъ». Не пошло русское дворянство по мужицкой указкѣ; долго пришлось ожидать: движеніе замѣчается только въ шестидесятыхъ годахъ XIX столѣтія. Но, несомнѣнно, и раньше этого были люди съ задатками реализма: Гоголь пытался изобразить такого человѣка въ лицѣ Костанжогло; Гончаровъ вывелъ Штольца; но оба типа вышли неудачны: не назрѣли еще подобныя личности. Среди помѣщиковъ (и вообще въ средѣ высшаго общества) при крѣпостномъ правѣ не могли являться дѣятели-реалисты въ истинномъ смыслѣ: являлись Ноздревы, кипящіе въ дѣйствіи пустомъ, Собакевичи, живущіе брюшными интересами, Фамусовы и Звѣрковы — дѣльцы формалисты, Пѣночкины, заботящіеся о европейской внѣшности. Большинство помѣщиковъ были романтики, идеалисты, оторванные отъ родной почвы, мечтающіе, чтобы пахарь, идя за плугомъ, читалъ «Георгики».

2) Въ другомъ сословіи, крѣпостномъ, они (по натурѣ — реалисты), подъ бременемъ тяжелаго труда, закалялись и выходили дѣятелями-практиками; другихъ (по натурѣ романтиковъ) постигала иная судьба: слабѣйшіе изъ ро-

мантиковъ сбивались съ пути; у сильнѣйшихъ, по выраженію Гоголя — «огниво бѣдъ вышибало изъ груди» прекрасные задатки русскаго духа.

3) Такимъ образомъ всѣхъ крестьянъ можно раздѣлить на двѣ группы: 1) реалисты и 2) идеалисты или романтики. Реалисты всѣ умѣютъ устроиться въ жизни недурно въ матеріальномъ отношеніи: одни устраиваютъ жизнь на нравственныхъ началахъ (Хорь, однодворецъ Овсяниковъ); другіе строятъ свое счастіе на несчастіи ближнихъ, эксплуатируютъ свою же братію крестьянъ (бурмистръ, конторщикъ). Романтики, вообще, не умѣютъ устраиваться въ жизни: одни живутъ, какъ птицы «даромъ Божьей пищи» (Сучокъ, Ермолай); другіе ищутъ въ жизни нравственнаго удовлетворенія; между ними есть люди, чувствующіе себя счастливыми (Калинычъ), есть ищущіе осуществленія идеала гдѣ-то вдали у «теплыхъ морей», наслаждающіеся красотами природы (Касьянъ); есть люди, сознавшіе свой долгъ и стремящіеся осуществить его (Бирюкъ, Митя); наконецъ, есть и такіе, которые смотрятъ на жизнь, какъ на религіозный подвигъ (Лукерья).

II. A. Несомнѣнно, Тургеневъ симпатизируетъ крестьянамъ, жалѣетъ объ ихъ горькой участи. Положеніе крестьянъ ужасно; но при чтеніи «Записокъ Охотника» не получается надлежащаго впечатлѣнія: все разбросано во многихъ маленькихъ разсказахъ, заслонено прекрасными картинами природы, сглаживается изображеніемъ свѣтлыхъ чертъ. Нужно всѣ случаи свести въ одну картину, нужно обобщить то, что̀ представляется частностями, а на самомъ дѣлѣ—типичные случаи. Вотъ какъ представляется положеніе крестьянъ.

1) «Калинычъ—добрый мужикъ,—говоритъ помѣщикъ Полутыкинъ:—усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности одначе содержать не можетъ—я его все оттягиваю». Помѣщикъ полюбилъ крестьянина и мѣшаетъ его хозяйству. Въ такомъ положеніи могъ очутиться всякій; Лиза въ комедіи «Горе отъ ума» совершенно правильно говоритъ: «Ахъ, отъ господъ подалѣй; у нихъ бѣды

себѣ на всякій часъ готовъ. Минуй насъ пуще всѣхъ печалей и барскій гнѣвъ и барская любовь!» Да, барская любовь, дѣйствительно, тяжела! Дочь старосты Арина понравилась барынѣ—«ангелу во плоти», Звѣрковой, и была взята «ко двору»; помимо другихъ Звѣркова «пожаловала» Арину въ горничныя «къ своей особѣ». Что же вышло? «Вдругъ въ одно прекрасное утро, вообразите себѣ,—разсказываетъ Звѣрковъ—входитъ Арина, безъ доклада, ко мнѣ въ кабинетъ—и бухъ мнѣ въ ноги... Я этого, скажу вамъ откровенно, не люблю: человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство—не правда ли?—«Чего тебѣ?—«Батюшка, Алексѣй Силычъ, милости прошу».—«Какой?»—«Позвольте выйти замужъ».—«Я, признаюсь вамъ, изумился. Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нѣтъ».—«Я буду служить барынѣ попрежнему».—«Вздоръ, вздоръ! барыня замужнихъ горничныхъ не держитъ». Воля ваша... я такъ и обомлѣлъ! Доложу вамъ—я такой человѣкъ: ничто меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность». Участь Арины жалка только потому, что барыня ее полюбила. Отъ господской любви пришлось плохо даже однодворцу Овсяникову: помѣщикъ Комовъ, полюбивши отца Овсяникова, чуть въ гробъ не вогналъ его; «и точно, вогналъ бы, да самъ, спасибо, умеръ: съ голубятни въ пьяномъ видѣ свалился».

2) Если любовь господская имѣла такія печальныя послѣдствія, то гнѣвъ подавно: У Скотинина («Недоросль») «всяка вина виновата»; Простакова «цѣлый день, какъ за языкъ повѣшена: то ругается, то дерется, рукъ не покладаетъ—тѣмъ и домъ держится». Это не удивительно: Скотининъ и Простакова—люди крайне невѣжественные.

а) Но вотъ Пѣночкинъ—«человѣкъ разсудительный и положительный; воспитаніе получилъ, какъ водится, отличное»... Относится онъ къ слугамъ вѣжливо, въ часы гнѣва слугъ называетъ: «мой другъ», «мой любезный»; но подъ этою вѣжливостію скрывается жестокость: въ продолженіе ста лѣтъ Скотинины цивилизовались.»—От-

чего вино не нагрѣто?» спросилъ Пѣночкинъ рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ. Камердинеръ смѣшался, остановился какъ вкопанный и поблѣднѣлъ. — «Вѣдь я тебя спрашиваю, любезный мой?» спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ. Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья. — «Pardon, mon cher», промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукою до моего колѣна, и снова уставился на камердинера. — «Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, поднялъ брови и позвонилъ. Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами. — «Насчетъ Ѳедора... распорядиться!» — «Слушаю-съ». Дворовые люди Пѣночкина посматриваютъ исподлобья, говоритъ Тургеневъ: но у насъ угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь». б) Другой помѣщикъ («Два помѣщика»), живущій попросту, свою жестокость маскируетъ добродушіемъ. Мы видѣли раньше волненіе и гнѣвъ Стегунова по поводу куръ, зашедшихъ въ садъ; произведена была жестокая травля, куры отобраны отъ дворовыхъ. Удары розогъ приводили Стегунова въ восторгъ: заслыша удары, онъ ставитъ блюдечко съ чаемъ на столъ и съ добрѣйшей улыбкой произноситъ, какъ бы невольно вторя ударамъ: «чюки-чюки-чюкъ! «для Стегунова это музыка. в) Лакею, облившему платье метрески Акулины, забриваютъ лобъ. г) Произволъ идетъ далѣе: отецъ автора сѣчетъ однодворца Овсяникова, самъ обидѣвъ его.

3. а) Крѣпостные должны были удовлетворять всѣмъ прихотямъ помѣщиковъ: Пьяный Комовъ «вдругъ вскочитъ и закричитъ: «Пляши, народъ Божій, на свою потѣху и на мое утѣшеніе! «Дѣвокъ своихъ крѣпостныхъ вовсе замучилъ. Бывало, всю ночь, какъ есть, до утра хоромъ поютъ, и какая выше голосомъ забираетъ, той и награда; а какъ станутъ уставать, конюха тотчасъ дѣвокъ и пріободрять». б) Крѣпостные зависѣли во всемъ отъ одной

личности, руководящейся не законами, а капризомъ, изрѣдка выгодою (потому что выгоды своей даже не понимали): Барыня Сучка не позволяетъ никому жениться: «Живу же я въ дѣвкахъ—чего имъ надо?» в) Полюбилъ помѣщикъ Каратаевъ крестьянку, чужую крѣпостную, Матрену, и хочетъ на ней жениться. Каратаевъ хочетъ выкупить любимую дѣвушку, но барыня ея не соглашается по капризу. г) Крѣпостная Гарпенченка—Ѳедосья при прежнемъ помѣщикѣ жила на оброкѣ, сто восемьдесятъ два съ полтиной платила. Помѣщикъ взялъ ее къ себѣ безо всякой нужды: дѣла не даетъ, на оброкъ не пускаетъ и откупиться не позволяетъ.

4. Положеніе крестьянъ часто было безвыходно. а) Крѣпостной графа Власъ («Малиновая Вода») ходилъ въ Москву, просить барина, чтобъ оброку сбавилъ или на барщину посадилъ: сынъ его умеръ, такъ одному не справиться. Покойникъ—сынъ—въ извозчикахъ жилъ въ Москвѣ: платилъ оброкъ за двоихъ—за себя и отца. Что же баринъ?— «Что баринъ? разсказываетъ Власъ: прогналъ меня! говоритъ: какъ смѣешь прямо ко мнѣ итти? на то есть приказчикъ; ты, говоритъ, сперва приказчику обязанъ донести... да и куда тебя переселю? Ты, говоритъ, сперва недоимку заплати. Осерчалъ вовсе».— «Ну, чтожъ, ты и пошелъ назадъ?» — «И пошелъ». Мужикъ говорилъ съ усмѣшкой, словно о другомъ рѣчь шла; но на маленькіе съёженные глазки навернулась слезинка. — «Что-жъ ты теперь домой идешь?»—«А то куда же? жена, чай, теперь съ голоду въ кулакъ свиститъ».—«А къ приказчику пойдешь?»—«Зачѣмъ я къ нему пойду? За мной и такъ недоимка: сынъ-то у меня передъ смертію съ годъ хворалъ, такъ и за себя оброку не взнесъ... Да мнѣ съ полугоря: взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ ни хитри — шалишь: безотвѣтная моя голова!» Мужикъ разсмѣялся. «Ужъ онъ тамъ какъ ни мудри, Кинтильянъ-то Семенычъ, а ужъ»... Власъ опять засмѣялся. — «Что-жъ, это плохо, братъ Власъ!»—«А чѣмъ плохо? Нѣ»... У Власа голосъ порвался. Здѣсь рѣзко выражена безысходность

горя — это то же, что въ народной пѣснѣ: «А и горе, горе, гореваньице! А и въ горѣ жить—некручинну быть...» Смѣхъ мужика—это усиліе некручиннымъ быть; но не уйти мужику отъ горя ни въ темномъ лѣсу, ни во царевомъ кабакѣ. Дѣло не лучше, когда помѣщики отдавали крестьянъ въ руки другихъ своихъ крѣпостныхъ: б) Приказчикъ Любозвонова, несмотря на то, что у помѣщика «русская душа» и русскій мужицкій костюмъ, дѣлаетъ съ крѣпостными все, что̀ хочетъ; а баринъ груститъ да книжки читаетъ. в) Конторщикъ («Контора») Лосняковой «стакнулся со старой вѣдьмой—ключницей»; ссылаясь на волю барыни, онъ поступаетъ по своему произволу: преслѣдуетъ невѣсту фельдшера, хвалится, что «сломилъ рога» отцу фельдшера; вымогая взятку съ плотниковъ, назначаетъ имъ барщину въ рабочую пору... г) Положеніе крестьянъ деревни Шипиловки ужасно по своей безвыходности. Деревня только числится за помѣщикомъ Пѣночкинымъ, а владѣетъ ею бурмистръ—«собака, песъ, какъ есть, песъ». Крестьяне Шипиловки «кругомъ должны бурмистру; работаютъ на него словно батраки: кого съ обозомъ посылаетъ, кого куды... совсѣмъ затормошилъ». Но вотъ «пріѣхалъ баринъ» Пѣночкинъ въ Шипиловку. Два крестьянина молча кланяются проходящему барину въ ноги. «Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губы и подошелъ къ просителямъ. «Что вамъ надобно? о чемъ вы просите?» спросилъ онъ строгимъ голосомъ. Мужики взглянули другъ на друга и словечка не промолвили, да скорѣй дышать стали.—«Ну, что же? языковъ у васъ нѣтъ, что ли? Сказывай ты—чего тебѣ надо̀бно? Да не бойся, дуракъ!» И старикъ и молодой мужикъ поклонились въ ноги: «Заступись, государь»!—«Что такое? на кого ты жалуешься»?—Помилуй, государь! дай вздохнуть... замучены совсѣмъ (старикъ говорилъ съ трудомъ). Батюшка! разорилъ въ конецъ! Двухъ сыновей Софронъ Яковличъ безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ—вонъ его милость (староста). —«Гмъ», про-

износъ Арк. П.—«Не дай въ конецъ разориться, кормилецъ!» Пѣночкинъ нахмурился. — «Что это однако значитъ?» обратился онъ къ бурмистру.—«Пьяный человѣкъ-съ, неработящій: изъ недоимки не выходитъ вотъ уже пятый годъ-съ».—«Софронъ Яковличъ за меня недоимку взнесъ, батюшка; вотъ уже пятый годочекъ пошелъ, какъ взнесъ; а какъ взнесъ—въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и...—«А отчего недоимка за тобой?» грозно спросилъ Пѣночкинъ: «чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? Знаю я васъ!» съ запальчивостью продолжалъ Пѣночкинъ: «ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай».—«Батюшка Аркадій Павлычъ!» съ отчаяньемъ заговорилъ старикъ: «помилуй, заступись! Какъ передъ Господомъ говорю; невмоготу приходится! Не возлюбилъ меня Софр. Як.; за что не взлюбилъ—Господь ему судья! Разоряетъ вконецъ. Послѣдняго вотъ сыночка... и того... Помилуй, государь, заступись!»—«Да и не насъ однихъ»... началъ-было молодой».—А тебя кто спрашиваетъ, а? тебя не спрашиваютъ, такъ ты и молчи... Это что такое? Молчать, говорятъ тебѣ! молчать! Ахъ, Боже мой! да это просто бунтъ! Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую... у меня»... Арк. П. шагнулъ впередъ, да, вѣроятно, вспомнилъ о моемъ (автора) присутствіи, отвернулся и положилъ руки въ карманъ». Извинившись передъ авторомъ, Пѣночкинъ прибавилъ, не глядя на мужиковъ»: Хорошо, хорошо — я прикажу... хорошо, ступайте (мужики не поднимались).—Ну да вѣдь я сказалъ вамъ... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорятъ вамъ».

«Заѣстъ онъ его теперь, заѣстъ человѣка совсѣмъ. Староста теперь его забьетъ!» говорилъ Анпадистъ, мужикъ сосѣдней деревни. «Барину-то что за нужда! Недоимокъ не бываетъ, такъ ему что?»

5. Таково положеніе крестьянъ. И любовь, и гнѣвъ, и вообще всякое аффективное состояніе помѣщика отзывалось на крѣпостныхъ; отзывались и страсти помѣщиковъ; европеизмъ служилъ только прикрытіемъ грубости и же-

стокости; русское добродушіе тѣшилось сценами истязанія; вопіющая несправедливость въ отношеніи къ людямъ облекалась въ одежду неуклонной, прямолинейной правды, вслѣдствіе неумѣнія помѣщиковъ всмотрѣться въ явленія жизни, вслѣдствіе незнанія жизни: ни графъ, ни Пѣночкинъ, ни Лоснякова, ни помѣщица-старая дѣва не имѣютъ никакого представленія о положеніи крестьянина, о его нуждахъ. Причина этого явленія не въ томъ, что помѣщики—люди дурные, а въ ненормальности положенія крѣпостного. Не помогали и свѣтлыя идеи, потому что онѣ не выведены изъ жизни, а взяты готовыми, съ вѣтру; Пѣночкинъ говоритъ: «Съ ними (съ крестьянами) нужно, какъ съ дѣтьми»; а самъ относится совсѣмъ не по-родительски. Въ литературѣ проводились очень гуманныя идеи: въ «Сельскомъ Кладбищѣ», напр., у Жуковскаго проводится мысль, что «рабы суетъ» не должны презирать простыхъ людей: подъ ихъ сѣкирами падали лѣса, ихъ потомъ обливалась земля; смерть уравниваетъ всѣхъ; уравняла и природа, надѣливъ равными способностями. Помѣщики читали элегію Жуковскаго и восхищались, но въ жизнь провести не умѣли. Тамъ въ элегіи «Мильтоны», «Гампдены», вѣдь то въ Англіи... а у насъ Власы, Антипы, Хори, Калинычи, Бирюки. Заслуга Тургенева въ томъ и состоитъ въ данномъ случаѣ, что онъ, не возводя какихъ-нибудь Муму въ Мильтоны, не облекая ихъ громкимъ величіемъ, сумѣлъ показать ихъ дѣйствительныя великія душевныя качества. У Тургенева не замѣтно ни малѣйшаго желанія возвеличить крестьянъ: онъ показываетъ и темныя стороны крестьянъ наряду съ свѣтлыми; у него выведены и темныя личности: это безпристрастіе и производитъ впечатлѣніе въ пользу народа.

Реалистовъ между крестьянами больше, чѣмъ между помѣщиками; это и понятно: крестьяне не ѣздили въ «Германію туманную», не изучали энциклопедію Гегеля, у нихъ природныя способности къ дѣлу не глохли, не извращались, а развивались отъ упражненія.

1. а) Типъ разбогатѣвшаго мужика представляетъ бур-

мистръ Пѣночкина (въ разсказѣ «Бурмистръ»). По дѣловитости, по способности къ организаторству бурмистръ стоитъ очень высоко. «Этотъ, по словамъ Арк. Павлыча, государственный человѣкъ, былъ роста небольшого, плечистъ, сѣдъ и плотенъ, съ краснымъ носомъ, маленькими голубыми глазами и бородой въ видѣ вѣера».

б) Выплачивая барину за всю деревню оброкъ безъ недоимокъ, бурмистръ закабалилъ крестьянъ. Онъ постоянно плачется передъ бариномъ на недостатокъ земли; а между тѣмъ, помимо барина, снимаетъ у сосѣдей полтораста десятинъ. «Да онъ не одной землей промышляетъ: и лошадьми промышляетъ, и скотомъ, и дегтемъ, и масломъ и пенькой, и чѣмъ-чѣмъ... Уменъ, больно уменъ, и богатъ бестія! Да вотъ чѣмъ плохъ — дерется: звѣрь-человѣкъ; сказано—собака, песъ, какъ есть-песъ». Онъ угнетаетъ крестьянъ, а жаловаться мужики боятся. «Да, поди ты, пожалуйся! нѣтъ, онъ тебя... да, поди-ка... Нѣтъ ужъ, онъ тебя вотъ какъ, того»...

в) Имѣніе бурмистръ держитъ въ образцовомъ порядкѣ: гумно, рига, овины, сараи, вѣтряная мельница, скотный дворъ (съ украшеніями и надписью), зеленя, конопляники—все въ отличномъ порядкѣ; бурмистръ позаботился даже объ украшеніи; только унылыя лица мужиковъ нарушали гармонію.

г) Дисциплина въ имѣніи полная: при въѣздѣ барина встрѣчаетъ староста; «тревожное волненіе распространилось по селу. Бабы швыряли щепками въ недогадливыхъ или слишкомъ усердныхъ собакъ. Хромой старикъ оторвалъ недопоенную лошадь отъ колодца, ударилъ ее по боку, а тамъ ужъ поклонился». Прятались ребятишки, куры. Бурмистрова жена встрѣчаетъ низкими поклонами, продолжительно цѣлуетъ руку барина; жена старосты не дерзаетъ подходить къ рукѣ, а только кланяется. Баринъ упоенъ своимъ величіемъ.

д) Зная хорошо натуру барина, бурмистръ своею льстивостью даже растрогалъ Пѣночкина: «N'est-ce pas, que c'est touchant», говоритъ баринъ. А между тѣмъ «ларчикъ

просто открывался»: бурмистръ не ожидалъ барина и пріѣхалъ изъ отлучки пьяненькій. — «Ахъ, вы, отцы наши! милостивцы наши! заговорилъ онъ нараспѣвъ и съ такимъ умиленіемъ въ лицѣ, что вотъ-вотъ, казалось, слезы брызнутъ: насилу-то изволили пожаловать! Ручку, батюшка, ручку!» На другой день тотъ же бурмистръ говорилъ гораздо меньше вчерашняго, глядѣлъ зорко и пристально въ глаза барину, отвѣчалъ складно и дѣльно. Уже не величалъ Арк. Павлыча ни отцомъ, ни милостивцемъ, и все напиралъ на то, что земли маловато, прикупить бы не мѣшало.

Другой подобный типъ—конторщикъ.

2. а) Конторщикъ Лосняковой лѣтъ пятидесяти, толстый, низкаго роста, съ бычачьей шеей, глазами на выкатѣ, съ необыкновенно круглыми щеками и съ лоскомъ по всему лицу». Это — крестьянинъ, составившій себѣ карьеру умомъ и изворотливостью, отъѣвшійся на хорошихъ хлѣбахъ. б) Конторщикъ—это человѣкъ закала Собакевича; онъ — кулакъ, изо всего извлекаетъ выгоду: беретъ взятку съ купца, покупающаго хлѣбъ, беретъ и съ представителя крестьянъ-плотниковъ; когда узнаетъ, что охотникъ заплатитъ за помѣщеніе и чай, готовъ служить. в) Конторщикъ распоряжался въ имѣніи всѣмъ по своему усмотрѣнію, какъ хозяинъ; но во всѣхъ своихъ поступкахъ, особенно незаконныхъ, ссылается на «волю барыни»; и барыня воображаетъ, что творится по ея инициативѣ. г) И конторщикъ и бурмистръ «не стѣсняющіеся россіяне»: они изо всего умѣютъ извлечь для себя пользу, умѣютъ пользоваться тщеславіемъ своихъ господъ. Лоснякова, подобно полковнику Кошкареву, создаетъ у себя канцелярію со сложнымъ составомъ и производствомъ: «есть бурмистръ, управляющій-нѣмецъ Линдамондалъ, Карло Карлычъ, только онъ не распоряжается»; въ конторѣ шесть человѣкъ сидитъ: сначала будетъ Василій Николаевичъ — главный кассиръ, а то — Петръ конторщикъ, Петровъ братъ — Иванъ конторщикъ, другой Иванъ конторщикъ, Коскентинъ Наркизовъ тоже конторщикъ, я вотъ...

да всѣхъ и не перечтешь!» Дворни — «человѣкъ, пожалуй, что полтораста набѣжитъ». Вмѣсто прямыхъ распоряженій, отдаются письменные приказы. Къ приказу прикладывается огромная печать съ надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы», а внизу подпись Лосняковой. «Конторщикъ» тѣшитъ Лоснякову такимъ производствомъ; бурмистръ удивляетъ Пѣночкина своею распорядительностію, представляется «государственною головою». Можно только удивляться простотѣ помѣщиковъ и мудрости ихъ господъ—конторщика и бурмистра: «первые будутъ послѣдними и послѣдніе первыми». А собственно говоря: «Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь-бы не плакало».

3. Какъ конторщикъ, такъ и бурмистръ — люди умные, умѣютъ устроиться въ жизни, пользуясь наличными условіями жизни, очень неблагопріятными: это реалисты въ жизни. Жаль только, что и тотъ и другой очень сухіе эгоисты, строящіе свое благосостояніе на несчастіи ближнихъ. Но между крестьянами встрѣчались реалисты другого закала. Хорь — крѣпостной Полутыкина — реалистъ высшей пробы, онъ сумѣлъ свое благосостояніе извлечь изъ богатствъ природы. Будучи человѣкомъ себѣ на умѣ, онъ сохранилъ многія симпатичныя черты и не закопалъ талантъ въ землю.

а) «Складъ лица Хоря напоминалъ Сократа: такой же высокій, шишковатый лобъ, такіе же маленькіе глаза, такой же курносый носъ». У него было многочисленное семейство: человѣкъ десять сыновей, кромѣ двоихъ, женатые; сыновья рослые, здоровые, веселые. Лѣтъ двадцать тому назадъ у Хоря сгорѣла изба; онъ пришелъ къ своему барину, отцу теперешняго помѣщика, и сказалъ: «Позвольте, Николай Кузьмичъ, поселиться у васъ въ лѣсу на болотѣ. Я вамъ стану оброкъ платить хорошій». — «Да зачѣмъ тебѣ селиться на болотѣ?» — «Да ужъ такъ; только вы, батюшка, Николай Кузьмичъ, ни въ какую работу употреблять ужъ не извольте меня, а оброкъ положите, какой ужъ сами знаете». Оброкъ былъ назначенъ

сначала пятьдесятъ рублей, потомъ сто; баринъ подумывалъ и еще накинуть. б) Разбогатѣвши, Хорь не желалъ откупиться на свободу вполнѣ сознательно: «Послушай, Хорь, отчего ты не откупишься отъ своего барина?» спрашивалъ авторъ. «А для чего мнѣ откупаться? теперь я своего барина знаю, и оброкъ свой знаю... баринъ у насъ хорошій...» — «Все же лучше на свободѣ». — «Вѣстимо». — «Ну такъ отчего жъ ты не откупаешься?» — «Чѣмъ, батюшка, откупиться прикажешь?» — «Ну, полно, старина...» — «Попалъ Хорь въ вольные люди: кто безъ бороды, тотъ Хорю и наибольшій». — «А ты самъ бороду сбрей». — «Что борода? борода—трава: скосить можно» — «Ну такъ что-жъ?» — «А, знать, Хорь прямо въ купцы попадетъ; купцамъ-то жизнь хорошая, да и тѣ въ бородахъ». «Хорь былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ». Онъ создалъ себѣ матеріальное благосостояніе и не увлекался идеей попасть въ купцы: онъ былъ свободенъ, живя вдали отъ другихъ крестьянъ, вдали отъ барина, среди дисциплинированнаго семейства: онъ былъ чуждъ «призрака свободы». (Это дѣло интеллигенціи. «Кавказск. Плѣнникъ») Онъ и на женщину смотрѣлъ не съ точки зрѣнія идеалиста, романтика: «Баба — работница, баба мужику слуга. Жена его, ворчливая старуха, побаивалась его и по приказу убиралась на печку. Не мудрено, что на бабу смотрѣлъ онъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ. в) Хорь былъ не чуждъ и высшихъ интересовъ: его интересовала, напр., заграничная жизнь; онъ усердно разспрашивалъ Тургенева о ней; но любознательность его не была праздная; онъ все сводилъ къ одному: это хорошо для русскаго человѣка, а это не подходитъ; его занимало не знаніе, какъ чистое знаніе, занимало знаніе утилитарное; послѣ разговора съ Хоремъ Тургеневъ пришелъ къ «убѣжденію, что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Какъ существуетъ чистое искусство, чистые художники, такъ существуетъ чистая наука, чистые ученые; существуютъ люди, признающіе науку для науки,

знаніе для знанія: ни Петръ Великій ни Хорь не принадлежали къ этимъ людямъ. г) Интересуясь заграничною жизнію, Хорь умѣлъ всматриваться и въ русскую жизнь: не «молчала она — голубушка», какъ у Щигровскаго Гамлета. «Хорь много видѣлъ, — говоритъ Тургеневъ:—много зналъ, и отъ него я многому научился. Напримѣръ: отъ него я узналъ, что каждое лѣто передъ покосомъ появляется въ деревняхъ небольшая телѣжка особеннаго вида. Въ этой телѣжкѣ сидитъ человѣкъ въ кафтанѣ и продаетъ косы. На наличныя деньги онъ беретъ рубль 25 коп.—полтора рубля ассигнаціями, въ долгъ три рубля и цѣлковый. Всѣ мужики берутъ у него, конечно, въ долгъ. Черезъ двѣ-три недѣли онъ появляется снова и требуетъ денегъ»... «Тѣ же самыя продѣлки происходятъ и при покупкѣ серповъ, съ тою только разницею, что тутъ бабы вмѣшиваются въ дѣло и доводятъ до необходимости, для ихъ же пользы, поколотить ихъ. Но болѣе всего страдаютъ бабы вотъ при какомъ случаѣ. Поставщики матеріала на бумажныя фабрики поручаютъ закупку тряпья особаго рода людямъ, которые въ иныхъ уѣздахъ называются «орлами». Такой «орелъ получаетъ отъ купца рублей двѣсти ассигнаціями и отправляется на добычу. Но въ противоположность птицѣ, отъ которой получилъ названіе, онъ не нападаетъ открыто, а прибѣгаетъ къ хитрости и лукавству. Онъ оставляетъ свою телѣжку въ кустахъ, около деревни, а самъ отправляется по задворьямъ. Бабы чутьемъ угадываютъ его приближеніе и крадутся къ нему навстрѣчу. За нѣсколько грошей баба отдаетъ «орлу» не только ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и свою паневу. Въ послѣднее время бабы нашли выгоднымъ красть у себя и сбывать такимъ образомъ пеньку». Такихъ разсказовъ авторъ наслушался отъ Хоря вдоволь. Выходитъ — правъ Хорь, разсудительный человѣкъ, что относился къ бабѣ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ; такое же презрѣніе обнаруживаютъ и другіе крестьяне, отсюда происхожденіе пословицы: «У бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ». д) Хорь былъ

не лишенъ эстетическаго чувства: Калинычъ, другъ Хоря, наигрывалъ на балалайкѣ и подпѣвалъ. «Хорь слушалъ, слушалъ, загибалъ вдругъ голову набокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: «Доля ты моя, доля!» Өедя (сынъ-любимецъ) не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ: «Чего, старикъ, разжалобился? «Но Хорь подпиралъ щеку рукой, закрывалъ глаза и продолжалъ жаловаться на свою долю». е) Но, по пословицѣ: «Потѣхѣ - часъ, а дѣлу время», періоды такого увлеченія у Хоря были непродолжительны; онъ вѣчно надъ чѣмъ-нибудь копается — телѣгу чинитъ, заборъ подпираетъ, сбрую пересматриваетъ»... Онъ дѣловой человѣкъ.

Близокъ къ Хорю Овсяниковъ.

4) Однодворца трудно отличить отъ мужика; хозяйство у него едва ли не хуже мужицкаго: телята не выходятъ изъ гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Хотя Овсяниковъ исключеніе, но все-таки его слѣдуетъ отнести къ группѣ крестьянъ; къ этой же группѣ причисляется и племянникъ Овсяникова—Митя.

а) «Представьте себѣ человѣка полнаго, высокаго, лѣтъ семидесяти, съ лицомъ, напоминающимъ нѣсколько лицо Крылова, съ яснымъ и умнымъ взоромъ подъ нависшею бровью, съ важной осанкой, мѣрною рѣчью, медлительной походкой—вотъ вамъ Овсяниковъ. Носилъ онъ просторный сюртукъ съ длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платокъ на шеѣ, ярко вычищенные сапоги съ кистями, и вообще съ виду походилъ онъ на купца». Овсяниковъ видомъ напоминалъ старыхъ русскихъ бояръ.

б) Овсяниковъ—реалистъ въ лучшемъ смыслѣ: онъ въ данныхъ условіяхъ жизни, очень неблагопріятныхъ, сумѣлъ создать себѣ положеніе, въ матеріальномъ отношеніи обезпеченное. Въ средѣ помѣщиковъ онъ пользуется заслуженнымъ почетомъ: помѣщики обращаются къ нему, какъ къ третейскому судьѣ; за обиженныхъ онъ ходатайствуетъ; при всемъ этомъ, находясь въ средѣ помѣщиковъ,

Овсяниковъ держитъ себя чрезвычайно скромно: «онъ себя не выдавалъ за дворянина, не прикидывался помѣщикомъ, никогда, какъ говорится, «не забывался», но по первому приглашенію садился, и при входѣ новаго гостя непремѣнно подымался съ мѣста, но съ такимъ достоинствомъ, съ такой привѣтливостью, что гость невольно ему кланялся пониже».

в) Наружность и манера держать себя соотвѣтствовали его душевному строю. Общее его душевное настроеніе было ровное, уравновѣшенное; въ исключительныхъ обстоятельствахъ онъ не волновался. Разъ домъ загорѣлся, работникъ вбѣжалъ съ крикомъ: «пожаръ! пожаръ!» — «Чего же ты кричишь?» сказалъ Овсяниковъ: «подай мнѣ шапку и костыль». «Когда битюкъ помчалъ его подъ гору, онъ спокойно сказалъ: «Ну, полно, полно, жеребенокъ малолѣтній, убьешься!» Экипажъ, дѣйствительно, сорвался въ кручу: съ людьми обошлось благополучно, а битюкъ вывихнулъ ногу. Такое же спокойствіе души обнаруживается у Овсяникова и въ пріемѣ гостей: гостей онъ принималъ ласково, радушно, но не кланялся имъ въ поясъ, не суетился, не потчевалъ ихъ всякимъ сушеньемъ, соленьемъ.—«Жена, говорилъ онъ, медленно, не вставая съ мѣста и слегка повернувъ къ ней голову: принеси господамъ чего-нибудь полакомиться».

г) Ко всему въ жизни Овсяниковъ относился спокойно, былъ совершенно объективенъ: у него не было безусловной приверженности къ старому, какъ это бываетъ у стариковъ; не было и слѣпого поклоненія новому: онъ держался русскихъ обычаевъ, но не чуждался иностраннаго; придерживался старинныхъ обычаевъ не изъ суевѣрія (душа у него была свободная), а по привычкѣ. Онъ всегда спалъ послѣ обѣда, ходилъ въ баню по субботамъ, читалъ однѣ духовныя книги, вставалъ и ложился рано; но бороду онъ брилъ и волосы носилъ по-нѣмецки. По его мнѣнію, въ старину иное лучше было: «жили, по его словамъ, спокойнѣе, довольства больше было. А все-таки теперь лучше; а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, дастъ Богъ». Овся-

никовъ рельефно обрисовываетъ зло стараго времени; разсказываетъ, какъ дѣдъ автора, отнявъ часть земли у отца Овсяникова, его же и высѣкъ передъ своимъ балкономъ: «дѣдушка стоитъ на балконѣ, да посматриваетъ, а бабушка сидитъ подъ окномъ и тоже поглядываетъ». Другой сосѣдъ Комовъ чуть до смерти не замучилъ отца Овсяникова своими причудами. Но Овсяникова плѣняло великолѣпіе, величіе вельможъ въ соединеніи съ привѣтливостью. Все хорошее старое для него воплотилось въ лицѣ Орлова-Чесменскаго: «Ростъ одинъ чего стоитъ, сила, взглядъ!» Орловъ любилъ борьбу; силачей возили къ нему изъ Тулы, Харькова, Тамбова; «кого поборетъ—наградитъ; а коли кто его поборетъ— задаритъ вовсе и въ губы поцѣлуетъ». Орловъ участвовалъ на бѣгу—самъ правилъ; держалъ голубей турмановъ—«первый сортъ». Въ Москвѣ онъ «затѣялъ садку такую, какой на Руси еще не бывало: всѣхъ, какъ есть, охотниковъ со всего царства къ себѣ въ гости пригласилъ». Попировали и поохотились.

Новое лучше стараго, по словамъ Овсяникова. «Только вотъ что мнѣ удивительно,—говоритъ онъ:—всѣмъ наукамъ они научились, говорятъ такъ складно, что душа умиляется, а дѣла-то настоящаго не смыслятъ». Онъ прекрасно обрисовываетъ безтолковую заносчивость Овчинникова, противорѣчіе между словомъ и дѣломъ у Королева, пустоту славянофильствующаго Любозвонова. Овсяниковъ прекрасно видитъ, что «молодые господа больно мудрятъ: съ мужикомъ, какъ съ куклой поступаютъ—повертятъ, повертятъ, поломаютъ и бросятъ. И приказчикъ, крѣпостной человѣкъ, иль управитель изъ нѣмецкихъ уроженцевъ, опять крестьянина въ лапы заберетъ. И хотя бы одинъ изъ молодыхъ господъ примѣръ подалъ: вотъ, молъ, какъ надо распоряжаться. Неужто-жъ я такъ и умру и новыхъ порядковъ не увижу!» И пришлось умереть: новыхъ порядковъ не могло быть, пока существовали ненормальныя отношенія между сословіями. Овсяниковъ ясно видѣлъ, что «старое вымерло, а новое рождается». «Что за притча!»

Люди практическіе — реалисты умѣли устраивать свое

благосостояніе матеріальное при самыхъ невозможныхъ условіяхъ, при крѣпостномъ правѣ. Одни—эгоисты, заботясь только о себѣ, какъ конторщикъ и бурмистръ, эксплуатировали своихъ ближнихъ, своихъ ближайшихъ братьевъ — крестьянъ, они умѣли ловко обманывать своихъ господъ: можно сказать—не они у господъ, а господа у нихъ были рабами. Другіе, не выходя изъ своего скромнаго положенія, умѣли изъ массы мусора, приподносимаго жизнію, выбрать нѣчто цѣнное, пригодное для скромнаго благосостоянія. У этихъ были нравственные задатки: Хорь имѣетъ многочисленную жизнерадостную семью, въ которой проводитъ время благодушно; есть у него добродушный другъ, Калинычъ, вносящій въ его рабочую жизнь свѣтъ поэзіи; Хорь гостепріименъ, доброжелателенъ, любознателенъ. Овсянниковъ работаетъ умомъ, анализируетъ жизненныя явленія — и этого уже достаточно для осмысленной, идейной жизни. Но онъ живетъ и сердцемъ; «жену онъ сыскалъ посебѣ. Татьяна Ильинична была женщина высокаго роста, важная и молчаливая». Многіе бѣдняки называли ее матушкой и благодѣтельницей. Правильныя черты лица, большіе темные глаза, тонкія губы и теперь еще свидѣтельствовали о нѣкогда знаменитой ея красотѣ. Племянникъ Овсяникова — романтикъ Митя — шелъ путемъ не практическимъ, протестовалъ противъ существующаго зла; но когда Митя доказывалъ, что онъ преслѣдуетъ благородную цѣль, Овсяниковъ не только склоняется на милость, но еще и самъ вступается за обиженныхъ. Заботы о матеріальномъ благѣ не загасили искру Божію въ Хорѣ и Овсяниковѣ, и они счастливы.

Б. Романтики, или идеалисты, рѣдко достигаютъ счастія въ такомъ смыслѣ, «мѣщанскаго счастія» (по термину Помяловскаго): одни романтики бываютъ счастливы мимолетно, только въ моменты достиженія какой-нибудь высокой цѣли, а потомъ опять ищутъ и борются (Митя); другіе «смиряются», по выраженію Щигровскаго Гамлета, смиряются не лицемѣрно, какъ Гамлетъ, а дѣйствительно успокаиваются: «смиряется души тревога...»

Калинычъ, Касьянъ, Бирюкъ — эти люди не захотятъ «мѣщанскаго счастія». «На что мнѣ сапоги? Я—мужикъ», говоритъ Калинычъ. Это выраженіе каждый романтикъ можетъ примѣнить къ себѣ, придавая только общій смыслъ: не въ сапогахъ счастіе, можно быть счастливымъ и въ лаптяхъ. Счастіе внутри насъ. Счастіе романтика даже при его мимолетности, или при наружной непривлекательности выше мѣщанскаго счастія; оно аналогично со счастіемъ Жуковскаго — «въ любви, въ сладости возвышенныхъ мыслей».

1. Немного странно относить къ романтикамъ (идеалистамъ) Сучка и Ермолая; но если эти люди не умѣли взять то, что давала имъ жизнь, то, вѣроятно, были у нихъ какіе-нибудь мотивы, которые мѣшали имъ успокоиться на своей скромной долѣ. а) Сучокъ состоялъ въ казачкахъ, былъ «фалеторомъ», кучеромъ, поваромъ, «кофишенкой», «ахтеромъ», наконецъ состоитъ рыболовомъ; теперь онъ благодаритъ Бога, что не попалъ на фабрику: очевидно, и у Сучка есть стремленіе держаться поближе къ природѣ, жить простою жизнію крестьянина, а не фабричнаго. Служба въ качествѣ рыболова болѣе всего удовлетворяетъ его: «Слава Тебѣ, Господи! много доволенъ. Продли Богъ вѣку нашей госпожѣ!» говоритъ онъ. Замѣтно также, что Сучка особенно интересовала должность актера: онъ разсказываетъ объ этомъ съ удовольствіемъ. При бездарности и отсутствіи образованія, конечно, Сучокъ не могъ выйти порядочнымъ актеромъ; но еще меньше могъ бы быть онъ «кофишенкой»: тамъ онъ совсѣмъ не понимаетъ, въ чемъ состояла его должность: «А не знаю», говоритъ онъ, на вопросъ автора; онъ замѣтилъ только, что долженъ былъ состоять при буфетѣ и «Антипой называться, а не Кузьмой». Частая перемѣна должностей, конечно, мотивировалась главнымъ образомъ его неспособностію къ этимъ должностямъ; а неспособность къ дѣлу очень часто объясняется присутствіемъ въ душѣ стремленій къ чему-нибудь такому, чего не можетъ дать жизнь съ ея наличными условіями. Теперь Сучокъ опустился, «смирился» до того,

что, попавъ въ воду, «только изрѣдка отдувался, и, казалось, не чувствовалъ никакой надобности перемѣнить свое положеніе». б) Ермолай обнаруживаетъ признаковъ романтика болѣе, нежели Сучокъ: онъ увлеченъ любовію къ Аринѣ-мельничихѣ; вѣроятно, этимъ объясняется его суровое обращеніе съ женой. «Онъ беззаботенъ, какъ птица, довольно говорливъ, разсѣянъ»: очевидно, мысль его не занята реальными, наличными нуждами, она витаетъ гдѣ-то вдали. Ермолай куда-то все стремится: онъ не уживается на мѣстѣ; любитъ «покалякать съ хорошимъ человѣкомъ, особенно за чаркой, и то недолго: встанетъ и пойдетъ.—«Да куда ты, чортъ, идешь!»—«А въ Чаплино».—«Да на что тебѣ тащиться въ Чаплино, за десять верстъ!»—«А тамъ у Софрона мужичка переночевать».—«Да ночуй здѣсь».—«Нѣтъ ужъ, нельзя». И пойдетъ. Казалось, онъ нарочно искалъ приключеній: «ночевалъ въ болотахъ, на деревьяхъ, на крышахъ, подъ мостами, сиживалъ не разъ взаперти на чердакахъ, въ погребахъ и сараяхъ, лишался ружья, собаки, самыхъ необходимыхъ одѣяній, бывалъ битъ сильно и долго,—и все-таки, черезъ нѣсколько времени, возвращался домой одѣтый, съ ружьемъ и съ собакой». При такихъ задаткахъ онъ не былъ способенъ ни къ какой работѣ, и отъ него помѣщикъ отказался, какъ отъ «лядащаго»: Ермолай только обязанъ былъ разъ въ мѣсяцъ доставлять на господскую кухню пары двѣ—три тетеревей и куропатокъ. Къ обыденнымъ дѣламъ Ермолай не пригоденъ, «зато никто не могъ сравниться съ нимъ въ искусствѣ ловить весной, въ полую воду, рыбу, доставать руками раковъ, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепеловъ, вынашивать ястребовъ, добывать соловьевъ съ «лѣшевой дудкой,» съ «кукушкинымъ перелетомъ». Все это занятія не реалиста; а также охота, которую любилъ Ермолай, не можетъ имѣть существеннаго значенія для матеріальнаго благосостоянія. Ко всему этому Ермолай любилъ и выпить: спиртуозные напитки могутъ обратиться, конечно, въ органическую потребность, въ страсть (отъ привычки); но начало этой страсти въ ро-

мантическомъ настроеніи: выпиваютъ «съ горя», «съ радости», «душа загулу требуетъ», «пьяному по колѣно море»; пьющему хочется оторваться отъ обыденныхъ интересовъ, забыться, быть «въ эмпиреяхъ»; думаю, строгій реалистъ, обладающій силою воли, не можетъ сдѣлаться любителемъ выпить.

2) а) «Пѣвцы», собирающіеся въ кабакѣ, романтики. Они преимущественно люди, оторвавшіеся отъ жизненныхъ интересовъ. Исключеніе составляетъ Моргачъ, «человѣкъ опытный, себѣ на умѣ, не злой и не добрый, а болѣе расчетливый: у сосѣдей онъ снимаетъ бакши, разбогатѣлъ и живетъ припѣваючи». «Дикій баринъ» — личность не извѣстная, дѣломъ не занимается, но деньги, хотя небольшія, всегда есть. Онъ страстно любилъ пѣніе. «Въ этомъ человѣкѣ было много загадочнаго: казалось, какія-то громадныя силы покоились угрюмо въ немъ, какъ бы зная, что разъ поднявшись, что сорвавшись разъ на волю, онѣ должны сокрушить и себя, и все, до чего коснутся». Въ немъ была «смѣсь врожденной свирѣпости и такого же врожденнаго благородства». Пѣвцы — рядчикъ и Яковъ Турокъ, несомнѣнно, идеалисты-романтики. Судьба рядчика автору не извѣстна, а Яковъ, прозванный туркомъ, потому что «происходилъ отъ турчанки, былъ по душѣ — художникъ во всѣхъ смыслахъ этого слова».

Во всѣхъ этихъ людяхъ (исключеніе Моргачъ) *„угрюмо таится“* тотъ идеализмъ (романтизмъ), та сила, которая способна, хотя бы не надолго, оторвать этихъ людей, такъ сказать, отъ земли, заставить испытать высшее наслажденіе, чуждое всего матеріальнаго, грязнаго; «крыломъ могучимъ» оказались здѣсь рядчикъ и Яковъ Турокъ, особенно послѣдній.

б) Рядчикъ пѣлъ плясовую:

„Распашу я, молода-молоденька“,
Землицы маленько:
Я посѣю, молода-молоденька,
Цвѣтика аленька.

При одномъ удачномъ переходѣ Обалдуй вскрикнулъ отъ

удовольствія. Всѣ стрепенулись. Обалдуй съ Моргачемъ начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмецъ!.. Забирай, вытягивай, аспидъ!.. Вытягивай еще!.. Накалывай еще, собака ты этакая, песъ!.. Погуби Иродъ твою душу!..» По окончаніи пѣсни послѣдовалъ общій взрывъ восторга; но это былъ восторгъ шумный, крикливый. «Мужикъ въ изорванной свитѣ не вытерпѣлъ и, ударивъ кулакомъ по столу, воскликнулъ: «Ага! хорошо, чортъ побери, хорошо!» и съ рѣшительностью плюнулъ въ сторону». «Яковъ, какъ сумасшедшій, закричалъ: «Молодецъ, молодецъ!» Увлеченіе пѣніемъ подавило въ Яковѣ — соперникѣ по пѣнію — завистливую боязнь собственной неудачи. «Очинна хорошо»,— замѣтила жена цѣловальника. в) Иное впечатлѣніе произвела пѣсня Якова: она не вызвала бурнаго восторга, но глубоко потрясла всѣхъ, вызвала слезы: плакалъ мужикъ въ разорванной свитѣ; жена цѣловальника рыдала и по окончаніи пѣсни, вся раскраснѣвшаяся, вышла; даже у Дикаго барина изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей медленно скатилась тяжелая слеза. Цѣловальникъ потупился, Моргачъ отвернулся»; Обалдуй, весь разнѣженный, стоялъ, глупо разинувъ ротъ; рядчикъ поднесъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился...» Въ такой моментъ все дурное въ душѣ человѣка молчитъ, замираетъ; а хорошее поднимается изъ глубины: человѣкъ «умиляется» (это лучшее выраженіе)... въ этотъ моментъ человѣкъ способенъ совершить все хорошее, самоотверженное, если бы представился случай. Частое повтореніе такихъ моментовъ можетъ исправить дурного человѣка. «Ты еще намъ споешь, ты до вечера намъ пѣть будешь», твердилъ Обалдуй. Но... все разрѣшилось разгуломъ.

г) Что же пѣлъ Яковъ? Не содержаніе пѣсни потрясло: Яковъ пѣлъ всѣмъ извѣстную пѣсню: «Не одна во полѣ дороженька пролегала». Дѣйствіе этой пѣсни можно опредѣлить словами Лермонтова: «Звукъ его пѣсни въ душѣ... остался *безъ словъ, но живой*». Въ ней выразилась и «неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сла-

дость, и какая-то увлекательно-безпечная, грустная скорбь. Русская правдивая, горячая душа звучала, дышала и хватала прямо за русскія струны. Пѣснь росла и разливалась». «Яковъ пѣлъ, и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо-широкимъ, словно знакомая степь открывалась передъ вами, уходя въ безконечную даль».

Всѣ упомянутые романтики, обладая нѣкоторыми симпатичными чертами, въ общемъ представляются отрицательными типами; но между романтиками есть и положительные; къ такимъ относятся Касьянъ съ Красивой Мечи, Калинычъ, Бирюкъ, Лукерья («Живыя Мощи»). 3) а) Касьянъ, по опредѣленію ямщика, «юродивецъ». Карликъ лѣтъ 50-ти съ маленькимъ, сморщеннымъ и смуглымъ лицомъ, острымъ носикомъ, едва замѣтными глазками, съ курчавыми, густыми черными волосами. «Юродивецъ» — это личность высокая, уподобляющаяся въ нѣкоторомъ смыслѣ ветхозавѣтному пророку: юродивый, прикинувшись «Христа ради» глупымъ, смѣло обличалъ и народъ и высшихъ лицъ. Стоитъ припомнить только правдивый поэтическій образъ юродиваго, данный Пушкинымъ въ «Борисѣ Годуновѣ»: то, что народъ боялся высказать открыто, юродивый говоритъ Борису въ глаза: «Вели зарѣзать ихъ (мальчишекъ), какъ зарѣзалъ ты царевича». Уваженіе къ юродивому настолько велико, что Борисъ не только не наказываетъ, но проситъ помолиться о немъ; послѣ суроваго отвѣта юродиваго, подаетъ ему милостыню. Юродивый — проповѣдникъ и обличитель. б) Касьянъ выработалъ себѣ оригинальное міросозерцаніе и смѣло высказываетъ свои взгляды, не сходные съ обыкновенными взглядами. Его взгляды заключаютъ два элемента: народный — аскетизмъ и личный—поэтическій; народный аскетическій взглядъ (выработанный вѣками) подъ вліяніемъ личныхъ задатковъ получилъ особенную чудаковатую окраску: Касьянъ стремился къ правдѣ, къ красотѣ, къ знанію, истинѣ и милосердію. в) Кучера Ерофея Касьянъ называетъ «справедливый человѣкъ». По его словамъ, «справедливъ долженъ быть

человѣкъ—вотъ что! Богу угоденъ, то-есть». «Ну, вотъ, говоритъ онъ: пошелъ бы я туда (т.-е. къ разнымъ городамъ)... и вотъ... и ужъ и... И не одинъ я грѣшный, много другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! а то что дома-то, а? справедливости въ человѣкѣ нѣтъ — вотъ что!» Это сказано въ заключеніе разсказа о насильственномъ переселеніи опекою крестьянъ изъ Красивой Мечи на безводное мѣсто. г) Воспоминаніе о красотѣ прежняго мѣста приводитъ Касьяна въ восторгъ: «Тамъ у насъ на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холмъ, взойдешь — Господи, Боже мой, что это! а! и рѣка-то, и луга, и лѣсъ! а тамъ церковь, а тамъ опять пошли луга. Далече видно, далече. Вотъ какъ далеко видно... смотришь, смотришь— ахъ ты право!» Касьяну хотѣлось-бы пойти по свѣту, чтобъ насмотрѣться на все прекрасное: «Вотъ какъ пойдешь, какъ пойдешь!—и полегчитъ, право! И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу ты виднѣй, и поется-то ладнѣй. Тутъ смотришь—трава какая растетъ, сорвешь; вода тутъ бѣжитъ, напримѣръ, ключевая, родникъ: святая вода, напьешься, замѣтишь тоже; птицы небесныя поютъ... А то за Курскомъ пойдутъ степи, этакія степныя мѣста — удивленіе! вотъ удовольствіе человѣку-то, вотъ раздолье-то, вотъ Божія-то благодать! И идутъ онѣ, люди сказываютъ, до самыхъ теплыхъ морей, гдѣ живетъ птица Гамаюнъ сладкогласная, и зимой листъ и осенью съ деревъ не сыплется, и яблоки растутъ золотыя на серебряныхъ вѣткахъ, и живетъ всякъ человѣкъ въ довольствѣ и справедливости». Въ этомъ удивительно гармоничное соединеніе чувства красоты и правды съ религіознымъ чувствомъ. Богатая фантазія, сильное стремленіе къ прекрасному не могло заглохнуть подъ спудомъ — Касьянъ—сочинитель; авторъ подслушалъ пѣсенку:

„А зовутъ меня Касьяномъ,
А по прозвищу Блоха...“

Касьянъ жилъ одною жизнью съ природой: «птичекъ

онъ передразнивалъ, перекликался съ ними; порошокъ полетѣлъ, чиликая, у него изъ-подъ ногъ—онъ зачиликалъ ему вслѣдъ; жаворонокъ сталъ спускаться надъ нимъ, трепеща крылами и звонко распѣвая — Касьянъ подхватилъ его пѣсню». д) Такое сочувствіе всему окружающему не могло не вызвать пытливость, стремленіе къ знанію—и Касьянъ дѣйствительно изучалъ растенія, слылъ «лѣкаркой». «Есть травы, говоритъ онъ: цвѣты есть — помогаютъ, точно. Вотъ хоть череда, напримѣръ, трава добрая для человѣка; вотъ подорожникъ тоже; о нихъ и говорить незазорно—чистыя травки, Божіи. А другія не такъ: помогаютъ то онѣ, а грѣхъ». Ходя съ авторомъ по ссѣчкамъ, онъ все время срывалъ траву и пряталъ за пазуху. Онъ вдумывается, какая пища назначена человѣку: «Человѣку положена пища другая; пища ему другая и другое питье: хлѣбъ — Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ...» Рыбу ѣсть можно: «у рыбы кровь холодная, рыба — тварь нѣмая; она не боится, не веселится; рыба — тварь безсловесная. Рыба не чувствуетъ, въ ней и кровь не живая». е) На эти мысли его навелъ ужасъ отъ напраснаго пролитія крови, милосердіе.

«Пташекъ небесныхъ стрѣляете, небось? И не грѣхъ Божіихъ пташекъ убивать, проливать кровь неповинную?.. Кровь—святое дѣло! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется: великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ,—ахъ, великій грѣхъ!»

Такимъ образомъ—мы видимъ, что Касьянъ стремится къ осуществленію идеала во всей его полнотѣ, стремится къ идеалу ума, сердца и воли.

4. а) Не менѣе симпатиченъ Калинычъ; но это романтикъ не дѣятельный, не юродивый: онъ достигъ довольно узкаго идеала.

Если бы предоставить выборъ между счастіемъ Хоря и счастіемъ Калиныча, то многіе предпочли бы послѣднее: можно быть счастливымъ не только въ лаптяхъ, но и босикомъ— счастіе не во внѣшнихъ благахъ, а внутри; это

счастіе выше счастія Хоря: не даромъ Хорь съ чувствомъ жаловался на свою долю. Мнѣ приходитъ на память одинъ разсказецъ, помѣщаемый въ дѣтскихъ книжкахъ: больного царя можно было вылѣчить рубашкою, снятою со счастливаго человѣка; нашли одного, только счастливаго человѣка, да рубашки у него не было. Несчастливъ человѣкъ оттого, что желаетъ и не получаетъ, имѣетъ и теряетъ: не нужно ничего желать; на этомъ основаніи Діогенъ,—стремясь къ счастію, поселяется въ бочкѣ.— Калинычъ — опоэтизированный Діогенъ, руководящійся не мыслію, не идеей, а сердцемъ. Бочка Калиныча — низенькая хата, имущество его—весь міръ Божій. б) Калинычъ жилъ «даромъ Божьей пищи»: разводилъ пчелъ, охотился, собиралъ травы. Міръ представлялся Калинычу, вѣроятно, лучшимъ изъ міровъ: онъ любилъ природу, оптимистически смотрѣлъ на людей— передъ бариномъ своимъ благоговѣлъ и ухаживалъ за нимъ, какъ за ребенкомъ, Хоря любилъ и уважалъ; встрѣтясь первый разъ съ авторомъ, онъ постоянно заговаривалъ, услуживалъ безъ раболѣпства. «Калинычъ былъ самаго веселаго нрава, самаго кроткаго, безпрестанно напѣвалъ вполголоса, беззаботно поглядывалъ во всѣ стороны, улыбаясь прищуривалъ свои свѣтло-голубые глаза». в) Интересовался разсказами автора о красотахъ заграничной природы, о горахъ, о водопадахъ... «Ну, говори, батюшка, какъ же? — А! ахъ, Господи, твоя воля! восклицалъ Калинычъ. Самъ онъ говорилъ съ жаромъ. г) Калинычъ, въ противоположность Хорю, ни къ чему не относился критически, а всему вѣрилъ до суевѣрія — это черта романтизма. Онъ «заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ червей; пчелы ему дались—рука легкая у него»; Калинычъ съ важностію исполнилъ просьбу Хоря—ввести новокупленную лошадь въ конюшню.

5. а) Совершенную противоположность жизнерадостному Калинычу представляетъ Бирюкъ: онъ не ищетъ счастія— у него прежде всего исполненіе долга: «Должность свою справляю: даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится». Исполняя свой долгъ, «вязанки хворосту не дастъ ута-

щить; въ какую бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться—силенъ, дескать, и ловокъ, какъ бѣсъ. И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами, ни на какую приманку не идетъ. Ужъ не разъ его добрые люди сжить со свѣту собирались, да нѣтъ—не дается». б) Нелегко исполненіе долга! хоть бы непріятности искупались какими нибудь выгодами; но нѣтъ: «Изба лѣсника состояла изъ одной комнаты, закоптѣлой, низкой и пустой, безъ полатей и перегородокъ. Изорванный тулупъ висѣлъ на стѣнѣ; на лавкѣ лежало одноствольное ружье, въ углу валялась груда тряпокъ, два большихъ горшка стояли возлѣ печки. Лучина горѣла на столѣ, печально вспыхивая и погасая. На самой серединѣ избы висѣла люлька, привязанная къ концу длиннаго шеста». Въ домѣ только хлѣбъ и больше ничего. Печальна обстановка, а участь Бирюка еще печальнѣе: жена ушла отъ него, оставивъ на его рукахъ грудного ребенка и дѣвочку лѣтъ двѣнадцати. Должно быть, жена не вытерпѣла суровой жизни, сопряженной съ тяжелыми сценами. в) Одну изъ такихъ сценъ изображаетъ Тургеневъ: Пойманъ на воровствѣ лѣса мужичонка: «испитое лицо, нависшія брови, безпокойные глаза, худые члены...»

«Отпусти, Ѳома Кузьмичъ, говоритъ мужикъ глухимъ разбитымъ голосомъ: не погуби: вашъ-то, самъ знаешь, заѣстъ вò-какъ... ей-Богу, съ голодухи: дѣтки пищатъ, самъ знаешь; круто во-какъ приходится.—А ты воровать все-таки не ходи, говоритъ Бирюкъ. Да, но только много ли такихъ нравственно сильныхъ людей, каковъ самъ Бирюкъ?— «Лошаденку, продолжалъ мужикъ, лошаденку-то, хоть ее-то: одинъ животъ и есть. Отпусти!»

Долго и тщетно просилъ мужикъ Бирюка; «онъ внезапно выпрямился, глаза у него загорѣлись, на лицѣ выступила краска: «На, на, ѣшь, на, подавись, на! заговорилъ мужикъ: на, душегубецъ окаянный, пей христіанскую кровь, пей!» Тебѣ говорю, тебѣ, азіатъ кровопійца, тебѣ;»—«Ахъ ты, да я тебя!» загремѣлъ Бирюкъ.—«А мнѣ что? все едино пропадать! куда я безъ лошади пойду? Приши-

би—одинъ конецъ: съ голоду, что такъ—все едино. Пропадай все: жена, дѣти! околѣвай все!» г) Не вытерпѣлъ желѣзный Бирюкъ: сдернулъ кушакъ, которымъ были связаны руки мужика, схватилъ за шиворотъ, нахлобучилъ мужику шапку и вытолкнулъ его изъ избы: «Убирайся къ чорту со своей лошадью!» закричалъ Бирюкъ. Значитъ—было сердце у Бирюка: каково же ему было «дѣло свое справлять!» Это—мученикъ своего долга, но не жалкій, а величественный.

6) Бирюкъ исполняетъ свой долгъ вопреки влеченію сердца, а Митя, племянникъ Овсяникова, считаетъ долгомъ слѣдовать влеченію сердца, но тоже съ ущербомъ для себя: «Ей Богу, Митя! говоритъ Овсяниковъ: не сдобровать тебѣ, ей Богу, пропадешь!»

Несмотря на ожидающія непріятности, Митя заступается за рѣшетиловскихъ мужиковъ, къ которымъ несправедливо придрался ревизоръ магазиновъ хлѣбныхъ. Онъ заступается за шутоломовскихъ мужиковъ, у которыхъ помѣщикъ Безпандинъ землю запахалъ; здѣсь грозитъ опасность Митѣ: «Я, говоритъ Безпандинъ, этому Митькѣ заднія лопатки изъ вертлюговъ повыдергаю, а не то и совсѣмъ голову съ плечъ снесу». Помогаетъ Митя Борькѣ Переходову, промотавшему казенныя деньги: «бѣдность, семейство...» Онъ проситъ дядю похлопотать о Ѳедосьѣ, которую помѣщикъ безо всякой нужды взялъ съ оброка. Дядя, сознавая правоту Мити, все-таки сердится: каждый разъ приходится оправдываться Митѣ.

«Чужое горе руками разведу, а къ своему и ума не приложу», говоритъ пословица: по ея смыслу, помогать чужому горю легче, чѣмъ свое переносить, а особенно такое безысходное, какъ горе Лукерьи.

а) Красавица Лукерья, мастерица пѣть пѣсни, водить хороводы, полюбила Василья и взаимно любима; ужъ близко осуществленіе идеала семейнаго счастія. б) Но Лукерья упала и повредила внутренности. Семь лѣтъ она, одинокая, неподвижно лежитъ въ плетеномъ сарайчикѣ, а зимой въ предбанникѣ; люди ее мало навѣщаютъ. Видъ

ея ужасный: «Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая—ни дать ни взять—икона стариннаго письма. Носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать, только зубы бѣлѣютъ и глаза, да изъ-подъ платка выбиваются на лобъ жидкія пряди желтыхъ волосъ. У подбородка, на складкѣ одѣяла, движутся, медленно перебирая пальцами какъ палочками, двѣ крошечныя руки тоже бронзоваго цвѣта. Сосѣди называли Лукерью «живыя мощи». «Лукерьѣ и желѣзомъ раскаленнымъ спину жгли и въ ледъ сажали»: совсѣмъ она окостенѣла. в) Женихъ ея женился на другой, «на хорошей», и дѣтки есть: объ этомъ Лукерья говоритъ безъ горечи. Было прежде очень грустно, но она «обтерпѣлась»: «инымъ еще хуже бываетъ, говоритъ она: хоть бы взять: иной здоровый человѣкъ очень легко согрѣшить можетъ, а отъ меня и грѣхъ отошелъ». г) Чтобы не грѣшить мысленно, Лукерья такъ себя пріучила — «*не думать, а пуще всего вспоминать*». Есть юродивые, были «столпники», «молчальники» —Лукерья пошла дальше: «не думала», «не вспоминала». Какъ же это сдѣлать? «А такъ—лежу я себѣ, лежу—полеживаю, и не думаю; чую, что жива, дышу—и вся я тутъ. д) Смотрю, слушаю: пчелы на пасѣкѣ жужжатъ да гудятъ; голубь на крышу сядетъ и заворкуетъ; курочка насѣдочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать; а то воробей залетитъ или бабочка — мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ, въ углу, гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели»... «А то какъ-то разъ... вотъ смѣху-то было! заяцъ забѣжалъ, право! Собаки, что ли, за нимъ гнались—только онъ прямо въ дверь какъ прикатитъ! Сѣлъ близехонько — и долго-таки сидѣлъ—все носомъ водилъ и усами дергалъ—настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ: понялъ, значитъ, что я ему не страшна. Наконецъ, всталъ, прыгъ-прыгъ къ двери, на порогѣ оглянулся—да и былъ таковъ. Смѣшной такой». Лукерья слушаетъ трескъ кузнечика, шорохъ таракана, слушаетъ, какъ мышь скребетъ; слухъ у ней до того развитъ, что она чувствуетъ, какъ кротъ роется.

Она чуетъ запахъ при началѣ цвѣтенія каждаго цвѣтка и знаетъ объ этомъ прежде всѣхъ. Молитвы читаетъ, но боится наскучить Богу, и пѣсни поетъ, старыя, хороводныя. Къ утѣшенію Лукерьи, заходитъ дѣвочка-сиротка, цвѣтовъ принесетъ; «дѣвушки крестьянскія зайдутъ, погуторятъ; странница забредетъ, про Іерусалимъ станетъ разсказывать, про Кіевъ, про святые города. е) У Лукерьи бываютъ моменты восторга: «придетъ словно какъ тучка, прольется, свѣжо такъ, хорошо станетъ, а что́ такое было не поймешь». «Чудится мнѣ, будто что меня осѣнитъ». ж) Это настроеніе отражается и въ ея снахъ: она выходитъ жать серповиднымъ мѣсяцемъ; этотъ мѣсяцъ она надѣваетъ себѣ на голову какъ кокошникъ. Является Христосъ и говоритъ: «Не бойся, невѣста моя неразубранная, ступай за мною: ты у меня въ царствѣ небесномъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія». А то къ ней является смерть и, несмотря на просьбы, не хочетъ ее взять немедленно, а обѣщается взять послѣ Петровокъ. з) Авторъ вслухъ подивился терпѣнію Лукерьи.— «Эхъ, баринъ, — возразила она: — какое такое терпѣніе! Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было, точно великое — тридцать лѣтъ на столбу простоялъ! А другой угодникъ себя въ землю по самую грудь зарыть велѣлъ, и муравьи ему лицо ѣли... А я что?»

„Край родной долготерпѣнья—
Край ты русскаго народа!“.

Г. 1. Подъ какими вліяніями развиваются у русскаго народа его богатые природные задатки? На этотъ вопросъ Тургеневъ даетъ поэтическій отвѣтъ въ разсказѣ «Бѣжинъ Лугъ». Мальчики ночью пасутъ коней. «Картина была чудесная: около группы сидящихъ мальчиковъ дрожало и какъ будто замирало, упираясь въ темноту, круглое красноватое отраженіе; пламя, вспыхивая, изрѣдка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкій языкъ свѣта лизнетъ голые сучья лозняка и разомъ исчезнетъ; острыя длинныя тѣни, врываясь на мгновеніе,

въ свою очередь добѣгали до самыхъ огоньковъ: мракъ боролся со свѣтомъ. Иногда, когда пламя горѣло слабѣе и кружокъ свѣта суживался, изъ надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнѣдая, съ извилистой проточиной, или вся бѣлая, внимательно и тупо смотрѣла на насъ, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, тотчасъ скрывалась. Только слышно было, какъ она продолжала жевать и отфыркивалась. Изъ освѣщеннаго мѣста трудно разсмотрѣть, что́ дѣлается въ потемкахъ, и потому вблизи все казалось задернутымъ почти черной завѣсой; но далѣе къ небосклону длинными пятнами смутно виднѣлись холмы и лѣса. Темное чистое небо торжественно и необъятно стояло надъ ними со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ. Сладко стѣснялась грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ русской лѣтней ночи. Кругомъ не слышалось почти никакого шума. Лишь изрѣдка въ близкой рѣкѣ съ внезапной звучностью плеснетъ большая рыба, и прибрежный тростникъ слабо зашумитъ, едва поколебленный внезапной волной. Одни огоньки тихонько потрескивали». Вотъ та аудиторія, въ которой воспитывается простой народъ: таинственный мракъ, таинственные звуки настраиваютъ фантазію, пробуждаютъ пытливость ума, шевелятъ чувство. Съ другой стороны—на мальчиковъ вліяла домашняя обстановка и окружающее общество; конечно, сверхъ того у каждаго были свои задатки отъ природы. 2. О природныхъ задаткахъ каждаго можно догадываться по очерку Тургенева. — Павлуша — неказистый, неуклюжій мальчикъ «глядѣлъ умно и *прямо,* да и въ голосѣ у него звучала сила»: въ немъ можно подозрѣвать реалиста по натурѣ. Это предположеніе подтверждается и разговорами: Павлуша даетъ всему объясненія, по возможности, раціональныя. Ѳедя—«съ свѣтлыми глазами и постоянной полувеселой, полуразсѣянной улыбкой—по всѣмъ примѣтамъ принадлежалъ къ богатой семьѣ, и выѣхалъ въ поле не по нуждѣ, а для забавы»: его улыбка, его выѣздъ въ поле обнаруживаютъ въ немъ романтика. Еще больше

чертъ романтика въ Костѣ: у него задумчивый, печальный взоръ; «большіе, черные, жидкимъ блескомъ блестѣвшіе глаза, казалось, хотѣли что-то высказать, для чего на языкѣ, — на его языкѣ, по крайней мѣрѣ, не было словъ». Ваня—мальчикъ лѣтъ семи—скорѣе принадлежитъ къ романтикамъ, судя по участію его только къ нѣкоторымъ разсказамъ, а также по нѣжной любви къ своей сестрѣ; онъ отказывается отъ «гостинца» въ ея пользу: «Ну, нѣтъ, мнѣ не надо (гостинца)—дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая». По незначительному лицу Ильюши трудно отнести его къ романтикамъ или реалистамъ; на него вліяла среда, гдѣ онъ много слышалъ суевѣрныхъ разсказовъ, и потому былъ болѣе другихъ освѣдомленъ въ области различныхъ народныхъ повѣрій. Но эта воспріимчивость къ фантастическому—принадлежность романтиковъ, а не реалистовъ. Всѣ эти мальчики обнаруживаютъ любознательность.

3. Любознательность народа сильно развита; но, за неимѣніемъ научныхъ свѣдѣній, она удовлетворяется объясненіями, носящими сказочный характеръ: Зиму производитъ Кощей безсмертный, вьюгу — Баба-яга; туча — это страшный змѣй, разинувшій пасть отъ земли до неба и проглотившій солнце. Подобный способъ разрѣшенія вопросовъ встрѣчается въ «Бѣжинѣ Лугѣ». Что значитъ затменіе солнца? значитъ наступило свѣтопреставленіе: «бѣлые волки побѣгутъ по землѣ, людей будутъ ѣсть, хищная птица полетитъ, а то и самого Тришку (антихриста) увидятъ».

а) Фантазія мальчиковъ, стерегущихъ лошадей, сильно возбуждена таинственностью, темнотою ночи; ни къ одному явленію они не остаются глухи: допытываются о причинѣ каждаго, взвѣшиваютъ догадки, обсуждаютъ частности. «Въ отдаленіи раздался протяжный, звенящій, почти стенящій звукъ, одинъ изъ тѣхъ непонятныхъ звуковъ, которые возникаютъ иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоятъ въ воздухѣ и медленно разносятся, наконецъ—какъ бы замирая. Прислушаешься — и какъ

будто нѣтъ ничего, а звенитъ. Казалось — кто-то долго, долго прокричалъ подъ самымъ небосклономъ, кто-то другой какъ будто отозвался ему въ лѣсу тонкимъ, острымъ хохотомъ, и слабый шипящій свистъ промчался по рѣкѣ». Мальчики перепугались: «Съ нами крестная сила!» говорятъ они. Очевидно, въ ихъ фантазіи нарисовался страшный образъ существа, производящаго эти звуки: ночью свиститъ, кричитъ, хохочетъ, шипитъ лѣшій.

б) Возгласъ Павла: «Эхъ вы, вороны! чего всполохнулись?» сдержалъ фантазію мальчиковъ. Но послѣ закуски приходитъ на память страшный образъ барашка, ночью взятаго псаремъ Ермиломъ на могилѣ утопленника, у плотины, въ Варнавищахъ: «сталъ Ермилъ этакъ по шерсти гладить—говоритъ: «бяша, бяша!» А баранъ-то вдругъ какъ оскалитъ зубы, да ему тоже: «бяша, бяша!» Ермилъ ѣздилъ въ городъ «за поштой» и возвращался въ нетрезвомъ видѣ. Вѣроятно, все это было созданіе разстроеннаго воображенія; это созданіе воображенія представляется реальнымъ явленіемъ. «Рехнулся» человѣкъ, сталъ задумчивъ, упалъ въ воду и утонулъ—всякое исключительное явленіе человѣческой жизни своеобразно объясняется народомъ: Близость рѣки, плескъ рыбы вызываетъ въ воображеніи мальчиковъ образъ русалки: Костя разсказываетъ, какъ русалка испортила слободскаго плотника: плотникъ не послушался русалки, не пошелъ къ ней, а положилъ на себя крестное знаменіе; «оттого онъ все такой невеселый ходитъ, все молчитъ». Павелъ пошелъ къ рѣкѣ почерпнуть воды; онъ, при всей осторожности, можетъ упасть въ воду: «всяко бываетъ — онъ вотъ нагнется, а водяной его за руку схватитъ и потащитъ къ себѣ. Станутъ потомъ говорить: упалъ, дескать, малый въ воду... А какое упалъ!» «Не обошлось безъ продѣлки водяного, когда въ воду упала дурочка — Акулина: съ тѣхъ поръ она и рехнулась, какъ въ водѣ побывала: водяной ее испортилъ». И удивляются мальчики: «Какъ же это можетъ этакая нечисть христіанскую душу испортить!»

в) Ночью въ домѣ, какъ и въ лѣсу, тоже раздаются

непонятные звуки: это—домовой «шалитъ». Домовой «пошалитъ» чуть-чуть, а страхъ дорисуетъ картину: «у страха глаза велики». Мальчики, разсказываетъ Ильюша, заночевали на фабрикѣ, въ рольнѣ. «Началъ Авдюшка говорить, что, молъ, ребята, ну, какъ домовой придетъ? И не успѣлъ онъ, Авдѣй-отъ, проговорить, какъ вдругъ кто-то надъ головами у насъ и заходилъ... Слышимъ мы — ходитъ, доски подъ нимъ такъ и гнутся, такъ и скрипятъ... Ну, подошелъ тотъ къ нашей двери, подождалъ — дверь вдругъ вся такъ и распахнулась. Вдругъ — глядь—у одного чана форма зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этакъ по воздуху, словно кто его полоскалъ, да и опять на мѣсто. Потомъ у другого чана крюкъ снялся съ гвоздя, да опять на гвоздь, потомъ будто кто къ двери пошелъ, да какъ закашляетъ, какъ заперхаетъ, словно овца какая, да зычно такъ».

г) Такимъ образомъ въ фантазіи мальчиковъ и природа и человѣческая жизнь принимаютъ фантастическій характеръ: вездѣ дѣйствуютъ сверхъестественныя силы—весь міръ одушевленъ. Есть также существо, которое явится разрушать существующее, именно—Тришка: «Тришка—эвто будетъ такой человѣкъ удивительный, который придетъ, а придетъ онъ такой человѣкъ удивительный, что его и взять нелья будетъ, и ничего ему сдѣлать нельзя будетъ: такой ужъ будетъ удивительный человѣкъ. Ну, и будетъ ходить этотъ Тришка по селамъ и городамъ, и будетъ этотъ Тришка, лукавый человѣкъ, соблазнять народъ». Это будетъ при свѣтопреставленіи.

д) Все же живое умираетъ и, наконецъ, исчезнетъ—міръ разрушится; но и послѣ смерти есть жизнь. Налетѣлъ голубокъ на огонь — является предположеніе: «не праведная ли это душа летитъ на небо?» Праведная душа летитъ на небо, а другія души находятся тамъ, гдѣ тѣло: Костя идетъ мимо бучила, слышитъ—кто-то стонетъ, «да такъ жалостливо, жалостливо: у-у, у-у, у-у!»—«Въ этомъ бучилѣ, замѣтилъ Павлуша: въ запрошломъ лѣтѣ Акима лѣсника утопили воры, такъ, можетъ быть, его душа

жалобится». Вотъ тоже Варнавицы мѣсто нечистое: «Тамъ не разъ, говорятъ, стараго барина видали—покойнаго барина. Ходитъ, говорятъ, въ кафтанѣ долгополомъ и это этакъ охаетъ, чего-то на землѣ ищетъ». «Разрывъ травы, говоритъ (на вопросъ Трофимыча), ищу; да такъ глухо говоритъ, глухо: разрывъ травы».—«А на что тебѣ, батюшка, Иванъ Иванычъ, разрывъ травы?» спрашиваетъ Трофимычъ.—«Давитъ, говоритъ, пошла давитъ, Трофимычъ; вонъ хочется, вонъ». Душа мертваго можетъ звать къ себѣ и живыхъ: Павлуша, зачерпая воду, слышалъ голосъ утонувшаго Васи: это признакъ, что онъ скоро умретъ. Кому умереть, можно узнать и иначе: въ родительскую субботу нужно сѣсть на паперть: тогда «можешь увидѣть и живого; за кѣмъ, то есть, въ томъ году очередь помирать—тѣ и пойдутъ мимо тебя по дорогѣ». Такъ сидѣла Ульяна и видѣла даже себя: за нею очередь помирать.

е) Мы видимъ, что всѣ явленія природы и человѣческой жизни вызываютъ въ мальчикахъ пытливость, вызываютъ даже «тайны гроба роковыя» (сравнить Онѣгина и Ленскаго): это признакъ способности къ развитію душевныхъ силъ. Это развитіе можетъ итти правильнымъ путемъ; мальчики способны пріобрѣтать знанія не изъ книгъ, а выводить изъ жизни. Это мы видимъ на Павлушѣ, который всему даетъ раціональное объясненіе, и только иногда дѣлаетъ маленькую уступку общему мнѣнію. Мальчики пугаются страннаго крика — Павелъ объясняетъ, что это кричитъ цапля; о голубкѣ, налетѣвшемъ на огонь, Павелъ говоритъ: «Знать—отъ дому отбился; теперь будетъ летѣть, покуда на что наткнется, а гдѣ наткнется, тамъ и ночуетъ до утра». Его не пугаетъ звенящій звукъ—вниманіе испугавшихся онъ обращаетъ на то, что «картошки» сварились. Испугъ народа при затменіи солнца его смѣшитъ: онъ разсказываетъ о событіи юмористически. «Баринъ-то нашъ, хотя и толковалъ намъ на-предки, что будетъ, дескать, вамъ предвидѣнье, а какъ затемнѣло, самъ, говорятъ, такъ перетру-

сился, что на-поди. А на дворовой избѣ баба стряпуха, такъ та, какъ только затемнѣло, взяла да ухватомъ всѣ горшки перебила въ печи: «Кому теперь ѣсть, говоритъ, наступило свѣтопреставленіе». Когда бочара приняли за Тришку, всѣ стали прятаться «кто куды! староста въ канаву залѣзъ, старостиха въ подворотнѣ застряла, благимъ матомъ кричитъ: свою дворовую собаку такъ запужала, что та съ цѣпи долой, да черезъ плетень, да въ лѣсъ. А Кузькинъ отецъ, Дорофеичъ, вскочилъ въ овесъ, присѣлъ, да и давай кричать перепеломъ: «авось, молъ, хоть птицу-то врагъ душегубецъ пожалѣетъ». По этому разсказу замѣтно, что Павелъ былъ чуждъ общаго страха, не былъ подавленъ имъ: онъ до мелочей наблюдалъ за другими. Эта черта обнаруживается и въ другомъ случаѣ: когда собаки поднялись съ лаемъ, всѣ перепугались, а Павлуша бросился за собаками. «Что тамъ? что такое? спросили мальчики возвратившагося Павла. — «Ничего. Я думалъ волкъ», равнодушно сказалъ Павелъ. Не подумалъ онъ, что было какое-нибудь фантастическое чудовище. Павелъ старше другихъ: можно думать, что и другіе съ лѣтами разовьютъ въ себѣ болѣе прямой взглядъ на вещи.

III. Какія высокія качества проявляютъ эти простые люди! Немногіе изъ реалистовъ пошли безнравственнымъ путемъ; другіе же сумѣли создать себѣ благосостояніе, не отступая отъ требованій нравственности. Съ другой стороны, идеализмъ сдѣлалъ нѣкоторыхъ негодными для практическаго дѣла (Сучокъ, Ермолай, нѣкоторые кабацкіе завсегдатаи); но и у этихъ иногда набѣгаетъ волна вдохновенія и высоко ихъ поднимаетъ. Большинство же идеалистовъ находитъ себѣ исходъ: одни находятъ успокоеніе и счастіе въ красотахъ природы (Калинычъ, Касьянъ); другіе (Митя, Бирюкъ) ставятъ себѣ высокую цѣль и достигаютъ ея; третьи (Лукерья) уходятъ въ религіозный аскетизмъ и примиряются. Не заглохъ народъ отъ рабства, а это—признакъ крѣпости народа. «Въ искушеньяхъ долгой кары, перетерпѣвъ судебъ удары, окрѣпла Русь: такъ тяжкій млатъ, дробя стекло, куетъ булатъ».

Приложеніе къ статьѣ „Крестьяне по „Запискамъ Охотника“.

Общая *группирующая* тема: «Крестьяне по «Запискамъ Охотника».

Планъ.

I. Сопоставленіе помѣщиковъ и крестьянъ:
  1) Праздная жизнь помѣщиковъ и созданная ими культурность.
  2) Вліянія крѣпостного права на крестьянъ.
  3) Дѣленіе крестьянъ на группы.

II. А. Положеніе крестьянъ.
  1) Барская любовь.
  2) Барскій гнѣвъ.
  3) Самодурство и произволъ.
  4) Безвыходность положенія.
  5) Главная причина положенія.

Б. Крестьяне—«реалисты»:
  1) Бурмистръ: а) наружность, б) умъ, в) благоустройство имѣнія, г) дисциплина, д) обращеніе съ бариномъ.
  2) Конторщикъ: а) наружность, б) кулачество, в) хозяйничанье, г) сложное дѣлопроизводство.
  3) Хорь: а) наружность и внѣшнее положеніе, б) нежеланіе (призрачной) свободы, в) любознательность, г) знаніе жизни, д) задатки эстетическаго чувства, е) дѣловитость.
  4) Однодворецъ Овсяниковъ: а) наружность и положеніе въ обществѣ, б) матеріальное благосостояніе, в) спокойствіе въ поступкахъ, г) объективное отношеніе къ жизни (къ старинѣ и къ новизнѣ).
  5) Характеристика реалистовъ съ нравственной точки зрѣнія, по группамъ.

В. Группировка романтиковъ (идеалистовъ) и характеристика по группамъ.

1) Романтики-неудачники: а) Сучокъ. б) Ермолай.

2) «Пѣвцы»: а) романтики, б) пѣніе рядчика и шумный восторгъ, в) пѣніе Якова-Турка и впечатлѣніе, г) характеристика пѣсни Якова.

3) Касьянъ съ Красивой Мечи (Блоха): а) юродивый, б) идеалы Касьяна, в) стремленіе къ правдѣ, г) стремленіе къ красотѣ—внѣшнее выраженіе стремленій, д) пытливость ума, е) милосердіе.

4) Калинычъ: а) счастіе, б) отношеніе къ окружающему, в) любознательность, г) довѣрчивость и суевѣріе.

5) Бирюкъ: а) самоотверженное исполненіе долга, б) печальная обстановка, в) тяжелыя сцены, г) доброе сердце.

6) Митя (племянникъ Овсяникова): долгъ по влеченію сердца.

7) Лукерья («Живыя Мощи») а) близость счастія, б) неожиданное несчастіе, в) спокойствіе, г) полное самоотреченіе, д) отвлеченіе мысли: ощущенія, молитвы, пѣсни, посѣтители, е) восторженное состояніе, ж) сны, з) смиреніе.

Г. Воспитаніе въ дѣтствѣ («Бѣжинъ Лугъ»).

1) Условія, вліяющія на развитіе крестьянскихъ дѣтей.

2) Природные задатки мальчиковъ.

3) Явленія, вызывающія пытливость: а) природа, б) явленія жизни человѣческой, в) домовой, г) конецъ міра, д) «тайны гроба роковыя».

4) Раціонализмъ Павла.

III. Крѣпость нравственныхъ силъ русскаго народа.

А. Барсовъ.

* * *

*) Въ нашей литературѣ прочно укоренилось мнѣніе, что суровая цензура конца 40-хъ и начала 50-хъ годовъ пропустила «Записки Охотника» по недоразумѣнію, не разгадавъ въ нихъ сильнаго оружія противъ крѣпостного права. Это можетъ быть признано справедливымъ развѣ лишь въ томъ смыслѣ, что никакая, самая строгая ценцура была тогда не въ силахъ задержать рѣшительно всѣ нападки на крѣпостное право, ибо ими была насквозь пропитана литература. Конечно, въ «Запискахъ Охотника» прошло много такого, что подрывало основы крѣпостного строя, и этимъ «Современникъ» былъ, вѣроятно, въ значительной степени обязанъ практичности и уму своего редактора, Некрасова; но до сихъ поръ совершенно упускалось изъ виду, что цензура, какъ мы видѣли, очень многое и урѣзывала въ Тургеневскихъ очеркахъ, такъ что читатели «Современника» въ цѣломъ рядѣ разсказовъ мѣстами читали то, чего не писалъ Тургеневъ, а мѣстами не читали того, что было имъ написано. Когда же въ изданіи 1852 г. авторъ возстановилъ свой подлинный текстъ, и книга была напечатана, благодаря широкому и просвѣщенному взгляду московскаго цензора, кн. В. В. Львова, цензурное вѣдомство не оставило дѣла безъ вниманія: кн. Львовъ былъ уволенъ, судя по имѣющимся даннымъ, если не прямо за пропускъ «Записокъ Охотника», то и не безъ связи съ этимъ поступкомъ. Мало того, о выпускѣ отдѣльнаго изданія 1852 года было особое разсужденіе въ цензурномъ вѣдомствѣ, и одинъ изъ цензоровъ писалъ о нихъ въ своемъ докладѣ слѣдующее: «Вникнувъ внимательно въ содержаніе этихъ записокъ и обсудивъ ихъ со всѣхъ сторонъ, невольно придешь къ заключенію, что при изданіи оныхъ г. Тургеневъ, человѣкъ, какъ извѣстно, богатый, конечно, не имѣлъ въ виду прибыли отъ продажи своего сочиненія, но, вѣроятно, имѣлъ совершенно другую цѣль, для достиженія которой и напечаталъ помянутую книгу... Мнѣ кажется, что книга Тургенева сдѣ-

*) А. Е. Грузинскій. Изъ его книги: „Литературные Очерки".

лаетъ болѣе зла, чѣмъ добра... Полезно ли, напримѣръ, доказывать нашему грамотному народу, что крестьяне наши, которыхъ авторъ до того опоэтизировалъ, что видитъ въ нихъ администраторовъ, раціоналистовъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ (Богъ знаетъ, гдѣ онъ нашелъ такихъ!), что крестьяне эти находятся въ угнетеніи, что помѣщики ведутъ себя неприлично и противозаконно, что исправники и другія власти берутъ взятки или, наконецъ, что крестьянину жить на свободѣ привольнѣе, лучше...» *)

Хотя Тургеневъ уже былъ тогда на замѣчаніи и какъ разъ въ это время отбывалъ наказаніе за статью о Гоголѣ, но докладъ не повлекъ за собой конфискаціи книги, можетъ быть, именно благодаря обстоятельствамъ, сопровождавшимъ его опалу. Извѣстно, что арестъ вызвалъ къ Тургеневу общее сочувствіе и вниманіе, восходившее до очень высокихъ сферъ. Анненковъ прямо утверждаетъ, что Тургеневъ отбывалъ арестъ не въ съѣзжей, а въ квартирѣ частнаго пристава «по личному распоряженію наслѣдника Престола, будущаго Освободителя крестьянъ» **): ему же обязанъ былъ нашъ авторъ и снятіемъ опалы въ ноябрѣ 1853 года. Вѣроятно, благодаря такому высокому покровительству, въ цензурѣ не рѣшились наложить руку на «Записки Охотника».

Но, вынужденная пропустить книгу, цензура продол-

---

*) *М. Сухомлиновъ.* Некрологъ Тургенева въ „Отчетѣ II отдѣленія Академіи Наукъ“ за 1883 годъ, стр. 28—29. Къ сожалѣнію, г. Сухомлиновъ, выбирая этотъ цѣнный фактъ изъ цензурнаго архива, не сообщаетъ, когда именно производилось въ 1852 г. слѣдствіе о „Запискахъ Охотника“ и почему докладъ цензора не повелъ за собой остановки книги или изъятія ея изъ продажи. Цензурное разрѣшеніе на „Зап. Охотника“ подписано Львовымъ 5 и 6 марта 1852 г.; книга была готова и билетъ на выпускъ имѣлся у Кетчера (которому подарилъ это изданіе Тургеневъ) къ началу іюня, но Тургеневъ съ Кетчеромъ „рѣшились подождать“ (см. письма Т-ва Аксаковымъ 6 іюня 1852 г. „Вѣстн. Евр.“ 1894 г. январь, стр. 334). 1-го сентября Хомяковъ уже пишетъ Ю. Самарину объ отставкѣ Львова (соч. Хомякова, т. VIII, 283). Повидимому, цензурное дѣло возникло до выхода книги, такъ какъ Анненковъ въ статьѣ „Молодость Тургенева“ сообщаетъ, что Кетчеру изданіе „досталось не безъ труда, потому что сопровождалось увольненіемъ цензора, пропустившаго книгу, *и вопросомъ о ея конфискаціи*“.

**) Воспомин. Анненкова, т. III, стр. 194.

жала не терять ея изъ виду и давала это чувствовать. Слѣдующее изданіе книги появилось только въ 1859 году, хотя въ 1856 г. Анненковымъ были выпущены «Повѣсти и разсказы» Тургенева въ трехъ томахъ. Почему не вошли сюда «Записки Охотника?» Предисловіе къ посмертному изданію сочиненій Тургенева 1883 г. говоритъ, что въ 1856 г. изданіе 1852 года еще не разошлось, и прибавляетъ: «такъ медленно раскупались въ первые четыре года «Зап. Охотника!» Это объясненіе трудно согласить съ много разъ подтвержденнымъ быстрымъ успѣхомъ книги, вызвавшей при своемъ появленіи большіе толки въ связи съ арестомъ и высылкой автора въ деревню и скоро оцѣненной по достоинству печатью и обществомъ; нѣчто иное, гораздо болѣе правдоподобное, явствуетъ изъ документальныхъ данныхъ, опубликованныхъ академикомъ Сухомлиновымъ въ упомянутой статьѣ. Оказывается, что второе изданіе «Зап. Охотника» нѣкоторое время было запрещено выпускать, и ихъ появленіе въ 1859 г. состоялось не безъ особыхъ переговоровъ. Мы не имѣемъ свѣдѣній, пытался ли Анненковъ въ 1856 г. включить ихъ въ «Повѣсти и разсказы» и потерпѣлъ неудачу, но вотъ что писалъ по начальству цензоръ П. А. Гончаровъ въ 1858 г., когда начались хлопоты о новомъ изданіи всѣхъ сочиненій Тургенева *):

«Эта книга обратила на себя вниманіе тѣмъ, что въ ней мѣстами какъ бы выражалось желаніе улучшенія быта крестьянъ, и второе ея изданіе до времени было пріостановлено. Такъ какъ великое дѣло улучшенія быта крестьянъ, по Высочайшей волѣ, приводится нынѣ въ исполненіе, то книга Тургенева не только потеряла всякое сомнительное значеніе, но она можетъ скорѣе подтвердить необходимость принимаемыхъ правительствомъ мѣръ. «Записки Охотника» вовсе не имѣютъ жестокости въ изображеніяхъ отношеній между помѣщиками и крестьянами:

*) Приводимъ цѣликомъ этотъ отзывъ, интересный и самъ по себѣ, какъ выраженіе взгляда Гончарова на „Зап. Охотника".

въ этомъ отношеніи книга эта далеко уступаетъ всему, что появлялось въ одно съ нею время и позже ея. Авторъ не возбуждаетъ ни малѣйшаго озлобленія и раздраженія двухъ классовъ между собой; напротивъ, мягкостью и художественностью изображеній придаетъ имъ характеръ комизма и легкой, едва уловимой ироніи. Притомъ въ «Зап. Охотника» нѣтъ преднамѣренныхъ желчныхъ описаній отношеній крестьянъ къ помѣщикамъ: авторъ говоритъ о нихъ мимоходомъ, когда они попадаютъ случайно подъ руку. Вообще же и болѣе всего онъ рисуетъ типическія лица изъ разныхъ классовъ народонаселенія и имѣетъ въ виду только поэтически вѣрное воспроизведеніе характеровъ, мѣстностей, пейзажей, безъ всякихъ натянутыхъ стремленій выставить одни въ дурномъ, другіе въ выгодномъ свѣтѣ. Книга его прочтена всѣми и на всѣхъ производитъ благородное, художественное впечатлѣніе. Поэтому второе изданіе ея было бы справедливымъ возвращеніемъ ей права вновь появиться въ кругу изящной отечественной литературы и стать на ряду съ лучшими ея произведеніями» *).

Итакъ, оказывается, что цензуру никакъ нельзя обвинять, будто она пропустила «Зап. Охотника», не разглядѣвъ ихъ значенія: она поняла духъ книги и пыталась съ ней бороться, но обстоятельства сложились благопріятно для автора и для общества. Да и странно было бы думать, что цензура одна не замѣтила общественнаго смысла Тургеневскихъ разсказовъ, когда онъ былъ ясенъ для всѣхъ, и кругомъ въ обществѣ громко говорили объ этой сторонѣ книги, даже преувеличивая ея «разрушительность». И. С. Аксаковъ, прочитавъ вышедшія въ 1852 г. «Записки Охотника», пишетъ Тургеневу: ...«не понимаю, какимъ образомъ Львовъ рѣшился пропустить ихъ. Это стройный рядъ нападеній, цѣлый батальный огонь противъ

*) Отчетъ II Отдѣл. Академіи Наукъ за 1883 г., стр. 29—30. Запрещеніе новаго изданія было не тайной въ 50-хъ годахъ, о чемъ недавно свидѣтельствовалъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ Л. Ф. Пантелѣевъ („Русскія Вѣдомости“ 1903 г., мартъ).

помѣщичьяго быта. Все это даетъ книгѣ огромное значеніе, независимо отъ ея литературнаго достоинства» *). Анненковъ разсказываетъ, что графиня Растопчина, получивъ книгу, замѣтила Чаадаеву: «voilà un livre incendiaire». — «Потрудитесь перевести фразу по-русски, — отвѣчалъ Чаадаевъ, — такъ какъ мы говоримъ о русской книгѣ». Оказалось, что въ переводѣ фразы—зажигающая книга - получится нестерпимое преувеличеніе. Анненковъ прибавляетъ: «Мы знали вельможу, очень образованнаго и гуманнаго, немало способствовавшаго и облегченію узъ нашей печати, который до конца своей жизни думалъ, что успѣхомъ своей книги Тургеневъ обязанъ французской манерѣ возбужденія одного сословія противъ другого. **).

Послѣ всего изложеннаго понятно, почему Анненковъ считалъ причиной ареста Тургенева столько же статью о Гоголѣ, сколько изданіе «Записокъ Охотника». Самъ Тургеневъ держался того же мнѣнія: въ письмѣ къ Случевскому онъ, давая о себѣ краткія біографическія свѣдѣнія, говоритъ: «Въ 1852 г. за напечатаніе статьи о Гоголѣ (въ сущности, за «Зап. Охотника») отправленъ на жительство въ деревню» ***)...

Такимъ образомъ крупное общественное значеніе этой «поэмы изъ крѣпостного быта» было уже при самомъ ея появленіи признано и друзьями, и врагами обновленія русской жизни. Хотя позднѣе были попытки ослабить протестующую роль книги (г. Буренинъ) и указывалось, что огромное большинство разсказовъ яко бы не касается крѣпостного права, а въ немногихъ остальныхъ протестъ слабъ и мало выдвинутъ, но говорить такъ — значитъ слишкомъ узко понимать, что такое крѣпостное право и крѣпостныя отношенія: мы думаемъ, что почти ни одинъ очеркъ изъ «Зап. Ох.» не свободенъ отъ той или иной связи съ крѣпостными порядками; что же касается формы

*) „Русское Обозрѣніе" 1894 г., августъ, стр. 476.
**) „Вѣстн. Евр." 1884 г., февр., стр. 465.
***) „Письма", стр. 155—156.

протеста, то общее свидѣтельство и прежнихъ поколѣній и нашего времени говоритъ, что мягкость Тургеневскаго протеста и составила главную его силу. Тургеневъ безъ преувеличенія могъ написать въ своихъ «Воспоминаніяхъ», что «Зап. Охотника» были исполненіемъ его Аннибаловской клятвы.

Но если общественная ихъ роль установлена была быстро, полно и непоколебимо, можно ли сказать то же о художественной сторонѣ этихъ разсказовъ и о мѣстѣ ихъ въ развитіи таланта Тургенева?

Прелесть и тонкость пейзажа, живость и нерѣдко глубина сжатыхъ характеристикъ, широта захваченной картины нравовъ и быта, наконецъ, общій поэтическій колоритъ и глубокое гуманное чувство автора,—всѣ эти достоинства «Зап. Охот.» были скоро оцѣнены публикой и критикой, но на этомъ пока и остановилось дѣло. Общія похвалы въ общихъ выраженіяхъ отличаютъ съ давнихъ поръ всѣ мнѣнія о нихъ въ литературѣ. Одинъ изъ самыхъ послѣднихъ по времени отзывовъ, особенно важный потому, что данъ въ статьѣ «Энциклопедическаго Словаря» въ видѣ какъ бы итога всѣхъ работъ о Тургеневѣ, говоритъ: «Въ чисто-художественномъ отношеніи «Записки Охотника» вполнѣ соотвѣтствуютъ великой идеѣ, положенной въ ихъ основаніе, и въ этой гармоніи замысла и формы - главная причина ихъ успѣха. Всѣ лучшія качества Тургеневскаго таланта получили здѣсь яркое выраженіе... Въ общемъ Тургеневъ «Записками Охотника» по техникѣ занялъ первое мѣсто въ ряду русскихъ прозаиковъ» *).

Здѣсь очень многое вѣрно и безспорно, но можно ли этимъ удовлетвориться? Слѣдуетъ признать, что по художественной техникѣ и тону «Записки Охотника» иногда уступаютъ «Муму» и «Постоялому Двору», если брать повѣсти изъ народной жизни; и можно согласиться, что въ

*) „Энциклоп. Словарь Брокгауза и Эфрона“. 67-й полутомъ. Статья С. Венгерова.

«Зап. Охотника» ярко выразились «всѣ лучшія стороны Тургеневскаго таланта» и мы не встрѣчаемъ новыхъ его сторонъ въ позднѣйшихъ повѣстяхъ и романахъ? Неужели этотъ талантъ не имѣлъ періодовъ своего развитія и вполнѣ сложился уже въ 1852 году?

Современники Тургенева и самъ онъ были иного мнѣнія, и мы теперь едва ли не пошли назадъ отъ ихъ оцѣнки. Тогда тонкіе цѣнители находили, что Тургеневъ, выходя въ «Зап. Охотника» на новую для себя и для русской литературы дорогу, далеко еще не вполнѣ освободился отъ прежнихъ пріемовъ творчества, что «Зап. Охотника» во многомъ есть завершеніе его первой, «старой манеры». Интересно, что въ этомъ мнѣніи близко подошли другъ къ другу представители весьма несхожихъ взглядовъ и направленій—семья Аксаковыхъ, съ одной стороны и П. В. Анненковъ—съ другой.

Перечитавъ «Зап. Охотника» въ 1852 г., Ив. Аксаковъ писалъ автору: «Въ Зап. Ох.» встрѣчаются очень часто такія натянутыя сравненія, такія претенціозныя остроты, такая изысканная наблюдательность, какъ будто любующаяся собой и всѣмъ говорящая: какова наблюдательность, а?—что я удивляюсь, какъ вашъ строгій и разборчивый вкусъ допустилъ все это. Къ чему всѣ эти шуточки и остроты, часто ни къ селу ни къ городу, насчетъ старыхъ дѣвокъ, кислыхъ фортепьянъ (слово «кислый» у васъ въ большомъ ходу), рыхлыхъ купчихъ и пр., и пр.».

Еще обстоятельнѣе и опредѣлительнѣе мнѣніе К. Аксакова. Онъ пишетъ: «Лѣтъ шесть тому назадъ, послѣ разныхъ стихотвореній вашихъ à la Lermontoff, послѣ вашихъ стихотворныхъ разсказовъ и поэмъ, послѣ разныхъ выдумокъ и небылицъ (не въ фактическомъ, случайномъ, а въ существенномъ, нравственномъ отношеніи) меня поразилъ изящной правдой разсказъ вашъ «Хорь и Калинычъ». Тогда же, въ той же самой критикѣ, гдѣ я нападалъ на васъ, я отдалъ ему съ радостью должную справедливость. Вы продолжали «Записки Охотника», достоинство которыхъ

было признано всѣми. Любопытно было мнѣ теперь повторить свое впечатлѣніе и перечесть «Хоря и Калиныча» и другіе разсказы. Я перечелъ. «Хорь и Калинычъ»—тотъ же и тѣ же въ немъ достоинства, но, видно, требованія выросли, видно — выросло время: только далеко не такъ понравился мнѣ этотъ разсказъ, какъ прежде. Да и въ самомъ дѣлѣ: первая минута разсвѣта послѣ ночи свѣтла, но передъ настоящимъ днемъ она только полусвѣтъ, и плохо, если день не свѣтлѣе разсвѣта. Ваши «Записки Охотника» вообще—только одно мерцаніе какого-то свѣта, не больше. Сверхъ того, кромѣ общаго неяснаго достоинства, есть общіе же, ясные недостатки. Первый недостатокъ—это постоянное *усиліе,* которое сопровождаетъ всякое описаніе, всякій разговоръ, всякое изображеніе, однимъ словомъ, все сочиненіе ваше «Записокъ Охотника». Видно, что авторъ неспокоенъ, несвободенъ и хочетъ все сказать повыразительнѣе... Вы принадлежите къ такимъ писателямъ, которымъ хочется сказать: впередъ!.. Слѣдующее ваше произведеніе («Муму») есть рѣшительно шагъ впередъ. Вы здѣсь гораздо болѣе серьезны; мелочные эффекты словъ и изображеній оставили васъ почти вовсе... До сихъ поръ у васъ въ вашихъ произведеніяхъ была какая-то авторская мелочная придирчивость къ жизни и ея явленіямъ; здѣсь ея почти нѣтъ» *).

Анненковъ съ своей стороны писалъ Тургеневу въ томъ же 1852 году: «Вообще книга ваша, по моему мнѣнію, останется въ литературѣ, какъ и имя ваше, съ почетной строкой... Но теперь, кажется, нужно бы дописать книгу и додѣлать свое имя. Нужно бы, кажется, убить въ себѣ сочинительство, которое въ послѣднее время какъ-будто, наоборотъ, сильнѣе въ васъ становится («Пѣвцы», «Сцена на дорогѣ», «Три встрѣчи»)... Я рѣшительно жду отъ васъ романа съ полной властью надъ всѣми лицами и событіями и безъ наслажденія самимъ собой (т.-е. своимъ авторствомъ), безъ внезапнаго появленія оригиналовъ, ко-

*) „Русское Обозр.“ 1894 г., августъ, 476 и 481—482.

торыхъ вы ужъ черезчуръ любите,—потому что и оригиналы родятся и живутъ безъ особенныхъ знаковъ на себѣ и волненія на землѣ, и, наконецъ, чтобы мизеріи, противорѣчія и нелѣпости жизненныя не выставляли себя на показъ и не кокетничали своимъ безобразіемъ, какъ это у васъ иногда выходитъ, а ложились удивительно обыкновенно, не подозрѣвая, чтобы на нихъ можно было смотрѣть... И съ такимъ романомъ «Зап. Охотника» дѣлаются вдвойнѣ замѣчательными: это—книга, и это—ступень, а безъ романа онѣ все-таки останутся канатомъ, на которомъ когда-то умный и ловкій танцоръ плясалъ до поту лица. Такіе канатики въ меньшихъ размѣрахъ были у Бенитцкихъ, Нарѣжныхъ и проч.: ихъ стащили съ нихъ замертво. Да и на что смотрѣть, когда нѣтъ развитія?» *).

Тургеневъ въ главномъ соглашался съ друзьями и мечталъ о романѣ, писанномъ «по-новому». 16 октября 1852 г. онъ отвѣчалъ К. Аксакову на его письмо: «Скажу вамъ прямо, что я во многомъ раздѣляю ваше мнѣніе о моихъ «Запискахъ»—и говорю это вовсе не изъ желанія пощеголять своей скромностью,—а потому, что чувствую это самъ—и уже давно. Зачѣмъ же я издалъ ихъ?—спросите вы... А затѣмъ, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, отъ этой *старой манеры*. Теперь эта обуза сброшена съ плечъ долой. Но достанетъ ли у меня силъ итти впередъ,—какъ вы говорите,—не знаю. Простота, спокойствіе, ясность линій, добросовѣстность работы, та добросовѣстность, которая дается увѣренностью,—все это еще пока идеалы, которые только мелькаютъ передо мной» **).

Этому роману, о которомъ Тургеневъ не только мечталъ, но который въ 1853 году уже начиналъ писать, не суждено было завершиться: друзья читали его первую часть (пять главъ) и разобрали ее подробно и не очень благосклонно. Ихъ замѣчанія и собственное недовольство

*) „Русское Обозр." 1894 г., октябрь, стр. 488—9.
**) „Вѣстн. Евр." 1894 г., январь, 335.

охладили Тургенева, и романъ былъ отодвинутъ въ сторону, а черезъ два года совсѣмъ оставленъ авторомъ, уже взявшимся за своего «Рудина». Изъ начатаго романа уцѣлѣла одна глава, напечатанная позднѣе. Это — «Собственная господская контора». Сюжетъ его неизвѣстенъ въ подробностяхъ, но изъ писемъ Аксаковыхъ, Анненкова и Боткина видно, что главными лицами въ немъ были: деспотичная помѣщица, взятая, очевидно, съ матери автора, молодой сынъ ея, нерѣшительный и безхарактерный, запуганный и нѣсколько огрубѣлый, и, наконецъ, чтица барыни, молодая дѣвушка съ твердымъ характеромъ, державшаяся настороже въ этомъ домѣ. Неясную, но видную роль долженъ былъ играть нѣкто Чермакъ. Картины помѣщичьяго гнета служили основнымъ фономъ, и авторъ сомнѣвался, будетъ ли изъ за нихъ пропущенъ романъ.

Изъ замѣчаній друзей и по напечатанной главѣ видно, что Тургеневъ, оставаясь въ томъ же кругу явленій, что и въ «Зап. Охотника», стремился писать «по-новому»: серьезный, ровный тонъ разсказчика, отсутствіе авторскихъ подчеркиваній и игривостей отличаютъ извѣстную намъ главу и отмѣчены друзьями въ остальныхъ; но друзья нашли новую манеру прѣсной и обвинили романъ въ незанимательности, растянутости и неясности плана. Между прочимъ, тутъ былъ, по ихъ словамъ, «скучный» авторскій пріемъ вводить новыя лица, пересказывая ихъ прошлую біографію. Этотъ пріемъ съ успѣхомъ примѣненъ былъ Тургеневымъ позже въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», но въ 1853 году онъ, очевидно, еще не владѣлъ новой манерой легко и свободно, по крайней мѣрѣ, въ области романа. Найдя для крѣпостной деревни послѣ «Зап. Охотника» болѣе широкую и серьезную манеру еще въ «Муму» и «Постояломъ Дворѣ», онъ для «дворянскаго» романа, повидимому, нуждался въ подготовительныхъ этюдахъ; вотъ почему первые два романа его окружены нѣсколькими повѣстями. «Рудинъ» былъ первой вещью, гдѣ Тургеневскій талантъ впервые вышелъ изъ переходной эпохи и непринужденно вступилъ въ область романа; вокругъ «Рудина»

и «Дворянскаго Гнѣзда» вѣнкомъ расположился рядъ лучшихъ повѣстей: «Затишье», «Яковъ Пасынковъ», «Фаустъ», «Ася».

Отмѣченныя друзьями и признанныя самимъ авторомъ особенности «старой манеры» могутъ быть безъ труда прослѣжены на «Зап. Охотника», какъ это отчасти и указано выше. Эта работа должна быть сдѣлана обстоятельно и спокойно; она ничего не отниметъ изъ признаннаго ихъ достоинства, но послѣ нея станетъ вполнѣ ясно, что «Записки Охотника» лежатъ на рубежѣ первой, нѣсколько изысканной манеры Тургеневской, съ чертами романтической причудливости и оригинальничанья, не вполнѣ свободны отъ ея недостатковъ. Установлено будетъ также, что на этомъ проиведеніи сознанъ былъ авторомъ поворотъ къ простотѣ зрѣлаго творчества, подготовленный, конечно, и ростомъ таланта, и самой жизненной важностью содержанія «Записокъ Охотника».

«Записки Охотника», помимо прямой и крупной ихъ общественной роли, какая рѣдко выпадала въ исторіи на долю книги, имѣютъ огромное значеніе въ развитіи нашей литературы. Въ свое время онѣ были первымъ художественнымъ произведеніемъ, въ которомъ пробудившійся интересъ къ народу поднялся до степени сознательнаго общественнаго движенія; въ нихъ Тургеневъ подошелъ къ народу не какъ къ этнографической единицѣ, а заглянулъ вглубь народной души, освѣтивъ ее истинно-человѣческой симпатіей. Самая художественная отдѣлка ихъ, казавшаяся иногда изысканностью его друзьямъ, была шагомъ впередъ въ литературѣ; здѣсь впервые было показано, что простонародная жизнь, въ которой тогда многіе видѣли только безобразіе, а другіе, въ лучшемъ случаѣ, лишь своеобразіе, можетъ быть облечена въ изящныя формы, не утрачивая своей реальности, и давать матеріалъ для сложныхъ и тонкихъ движеній души и поэтическихъ настроеній.

Тургеневъ въ одну изъ невеселыхъ минутъ раздумья надъ судьбой писателя сказалъ: «Ужъ и на томъ спасибо,

если въ свое время и въ свой часъ ты принесъ посильную лепту. Лишь одни избранники въ состоянiи передать потомству не только содержанiе, но и *форму* своихъ мыслей и воззрѣнiй, на свою личность».

Потомство единодушно причислило Тургенева къ тѣмъ самымъ избранникамъ, изъ числа которыхъ онъ скромно себя исключалъ; намъ всѣмъ должно быть дорого не только содержанiе его творчества, но и облекающая его художественная форма, то-есть дорога его писательская личность и ходъ развитiя его гармоническаго таланта.

А. Грузинскiй.

РАЗБОРЪ „ЗАПИСОКЪ ОХОТНИКА" КАЖДАГО РАЗСКАЗА ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

„Хорь и Калинычъ".

*) Хорь и Калинычъ прямо противоположны другъ другу, хотя ихъ и соединяетъ сильное взаимное расположенiе. Первый, по опредѣленiю поэта,

„Былъ человѣкъ положительный, практическiй, административная голова, рацiоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т. е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями; Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ... Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина (его помѣщикъ); Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ".

Такъ говоритъ поэтъ. Продолжимъ его сравненiе. Хорь — человѣкъ ума, здраваго смысла, онъ порой даже скептикъ, иронически смотрящiй на жизнь. Калинычъ — человѣкъ

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведенiяхъ". Спб. 1885 г.

сердца, чувства, вѣры. Хорь разсуждаетъ толково и здраво, и прекрасно устроилъ и свое хозяйство (у него въ домѣ довольство и порядокъ, чистота), и свою семью. Калинычъ—мечтатель и почти безпріютный странникъ; но во всемъ и всюду проявляется нѣжность его сердца, — такъ авторъ былъ свидѣтелемъ, какъ «Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую онъ нарвалъ для своего друга Хоря».—Противоположность этихъ людей особенно выразилась въ ихъ бесѣдѣ съ поэтомъ о заграничной жизни: чужія земли заняли обоихъ, въ обоихъ возбудили любопытство;

„но Калиныча (говоритъ авторъ) болѣе трогали описанія природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку: „Что у нихъ это тамъ есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, какъ же?..“ „А! ахъ Господи, твоя воля!“ восклицалъ Калинычъ во время разсказа... Хорь молчалъ, хмурилъ брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что „дескать, это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо, это—порядокъ“.

Бесѣда съ Хоремъ привела поэта (по его словамъ) къ убѣжденію,

„что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что не прочь и поломать себя: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Что хорошо—то ему и нравится, что разумно—того ему и подавай, и откуда оно идетъ — ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ“.

Замѣчательно, что Хоря и Калиныча сблизила не одна противоположность характеровъ; мы видимъ много общаго въ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ этихъ, повидимому, совершенно несходныхъ людей: поэтическое свидѣтельство, что въ русскомъ простомъ народѣ нѣтъ крайняго раздвоенія жизни, сохраняется ея живое единство даже въ рѣзкихъ различіяхъ типовъ.—Калинычъ, совершенно согласно съ его

характеромъ, «заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая». Хорь, при всемъ своемъ скептицизмѣ, признавалъ эти способности своего друга.

Еще одно сближало ихъ—общая любовь къ музыкѣ.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Въ Хорѣ ничего идеализированнаго нѣтъ. Онъ не возвышенно добръ и не сантиментально добродѣтеленъ, онъ не ахти какъ развитѣе другихъ крестьянъ и даже зараженъ нѣкоторыми крестьянскими предразсудками. Если онъ производитъ чрезвычайно пріятное впечатлѣніе, то именно тѣмъ самымъ, что представляетъ средняго русскаго человѣка, развивавшагося при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Хорь практиченъ, но не тою скверною практичностью, которая въ общежитіи слишкомъ снисходительно характеризуется словами «себѣ на умѣ». Онъ настолько практиченъ, чтобы не позволять себя эксплоатировать разнымъ гг. Полутыкинымъ. Онъ не желаетъ лишь оставаться въ дуракахъ, примѣнять свою доброту къ ненадлежащему мѣсту. Зато къ Калинычу, къ мягкому романтику Калинычу, онъ питаетъ самую нѣжную привязанность, и готовъ ему помочь, чѣмъ только можетъ.

С. Венгеровъ.

* * *

**) Калинычъ съ его добродушнымъ, яснымъ взоромъ, вѣчно веселымъ и кроткимъ нравомъ, совершенное дитя природы, идеалистъ, романтикъ. Онъ людей не знаетъ и никогда не узнаетъ. Его нѣжная душа требуетъ привязанности. Онъ любитъ и уважаетъ Хоря; за бариномъ уха-

---

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ“.
**) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

живаетъ какъ за ребенкомъ. Чувство его пересиливаетъ всѣ прочія душевныя силы. Онъ обо всемъ говоритъ съ жаромъ; не такъ, какъ Хорь, который говоритъ мало, часто подсмѣивается и больше разумѣетъ про себя. Умъ Калиныча требуетъ пищи; но образованія онъ, разумѣется, не получилъ, и негдѣ его получить. Правда, онъ грамотѣ знаетъ, но на природу смотритъ по своему. Онъ слѣпо вѣритъ разнымъ явленіямъ природы, потому что не у кого спросить объ истинномъ ихъ значеніи. Зато, даже практическій Хорь признаетъ за Калинычемъ такія преимущества, какихъ самъ не имѣетъ. Калинычъ, напримѣръ, умѣетъ заговаривать кровь, испугъ, бѣшенство; выгоняетъ червей; у него пчелы не мрутъ, у него рука легкая. Воли своей у Калиныча нѣтъ. Онъ чувствуетъ себя подъ покровительствомъ Хоря, да и трудно ему развить свою волю въ томъ подневольномъ состояніи, въ которомъ онъ родился и въ которомъ суждено ему прожить весь вѣкъ. Самъ баринъ говоритъ о немъ: «добрый, усердный, услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности *одначе* содержать не можетъ, я его оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходитъ. Какое уже тутъ хозяйство?» Слѣдовательно, при такой зависимости, Калинычъ не зналъ бы, что и дѣлать съ развитою волею.

Н. Евстафьевъ.

* * *

*) Когда Тургеневъ началъ разсказывать Хорю и Калинычу свои заграничныя похожденія, заинтересовались наши мужики, но заинтересовались каждый по своему: восторженнаго и мечтательнаго Калиныча занимали красоты природы, горы, водопады, великолѣпныя зданія и т. п. прелести и диковинки. Хорь-же, какъ человѣкъ практичный, разспрашивалъ больше о предметахъ государствен-

*) Н. Невзоровъ. „Руководящіе типы въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя“.

ныхъ и административныхъ. «Что, у нихъ это тамъ есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?..» Чувствительный Калинычъ выражалъ свое удивленіе охами да ахами. Не таковъ Хорь, какъ человѣкъ практическій. Онъ слушалъ разсказы, молчалъ, хмурилъ брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что «дескать, это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо—это порядокъ». «Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, замѣчаетъ Тургеневъ — что онъ не прочь и поломать себя... Что хорошо, то ему и нравится, что разумно, того ему и подавай, а откуда оно идетъ — ему все равно. Его здравый смыслъ легко подтруниваетъ надъ сухопарымъ умомъ европейца, но и европейцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ».

Н. Невзоровъ.

*
* *

*) Хорь съ его практическимъ смысломъ и практическою натурою, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ, съ его глубокимъ презрѣніемъ къ бабамъ и сильною нелюбовью къ чистотѣ и опрятности—типъ русскаго мужика, умѣвшаго создать себѣ значущее положеніе при обстоятельствахъ весьма неблагопріятныхъ. Но Калинычъ еще болѣе свѣжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народѣ.

Бѣлинскій.

*
* *

**) К. Аксаковъ, по словамъ А. Незеленова, въ противоположность Бѣлинскому, началъ съ отрицанія поэзіи Тургенева; онъ сурово отозвался (въ Московскомъ Сборникѣ 1847 г.) о юмористической поэмѣ «Помѣщикъ» и очень ѣдко подсмѣялся надъ тенденціями автора въ этомъ произведеніи. Но къ очерку «Хорь и Калинычъ» онъ от-

---

*) Бѣлинскій. („Современникъ“ 1848 г., № 3).
**) „Московскій Сборникъ“ 1847 г.

несся съ великимъ сочувствіемъ (съ большимъ, нежели Бѣлинскій). Въ примѣчаніи къ своей статьѣ о «Петербургскомъ Сборникѣ» (въ которомъ напечатанъ «Помѣщикъ») критикъ писалъ: «Мы должны указать на появившійся въ 1 № «Современника» превосходный разсказъ г. Тургенева «Хорь и Калинычъ». Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и народу: въ мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ,—все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ — и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ, мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ» *).

„Однодворецъ Овсяниковъ“.

**) Однодворецъ Овсяниковъ совсѣмъ не слылъ за богача и былъ не такъ уменъ, какъ Хорь, а между тѣмъ его уважаетъ вся окрестность, къ нему обращаются за совѣтами. Онъ миритъ разссорившихся сосѣдей, и всѣ покоряются его приговору. По понятіямъ Овсяникова, «человѣкъ долженъ жить, и ближнему помогать обязанъ есть. Бываетъ, что и себя жалѣть не долженъ». Онъ почитаетъ за грѣхъ продавать хлѣбъ—Божій даръ, и, во время общаго голода и страшной дороговизны, раздаетъ окрестнымъ помѣщикамъ и мужикамъ весь свой запасъ хлѣба. Его

*) По нѣкоторымъ даннымъ оказывается, что В. Семевскій болѣе правъ, приписывая настоящую замѣтку о Тургеневѣ Ю. Самарину, а не Аксакову. Примѣч. В. Зелинскаго.

**) Н. Невзоровъ. „Руководящіе типы въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя“.

спокойствіе, исполненное чувства собственнаго достоинства, его чисто древне-боярская величавость вполнѣ соотвѣтствуютъ древнему складу понятій. Онъ придерживается старинныхъ обычаевъ не изъ суевѣрія, а по привычкѣ: читаетъ духовныя книги, гостей принимаетъ ласково и радушно. Но это не мѣшаетъ ему брить бороду, носить нѣмецкое платье и признавать, что новые порядки лучше старыхъ. Несмотря на свое развитіе, Овсяниковъ, въ разсказѣ про одного изъ народолюбцевъ, Василія Николаевича Любозвонова, простымъ житейскимъ умомъ своимъ сразу постигаетъ смѣшную сторону этихъ не призванныхъ народолюбцевъ, ихъ напускное желаніе сблизиться съ народомъ. «Собрались мужики поглазѣть на своего молодого барина. Вышелъ къ нимъ Василій Николаевичъ. Смотрятъ мужики—что за диво!—ходитъ баринъ въ плисовыхъ шароварахъ; рубаху красную надѣлъ и кафтанъ тоже кучерской: бороду отпустилъ, на головѣ такая шапонька мудреная, и лицо такое мудреное,—пьянъ, не пьянъ, а не въ своемъ умѣ. «Здорово», говоритъ, «ребята! Богъ вамъ на помощь». Мужики ему въ поясъ,—только молча: заробѣли, знаете. И онъ словно самъ робѣетъ. Сталъ онъ имъ рѣчь держать: «я-де русскій, говоритъ, и вы русскіе; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская»... Да вдругъ скомандуетъ: «а ну, дѣтки, спойте-ка русскую народственную пѣсню!» У мужиковъ поджилки затряслись; вовсе одурѣли... Мужики къ Василію Николаевичу и подступиться не смѣютъ: боятся. И, вѣдь, вотъ опять что удивленія достойно: и кланяется имъ баринъ,—и смотритъ привѣтливо,—а животы у нихъ отъ страху такъ и подводитъ, что за чудеса такія, батюшки, скажите?..» Да «чудеса-то» очень простыя. Наши народники, считающіе себя образованными людьми, иногда имѣютъ искреннее желаніе сблизиться съ народомъ, да вотъ бѣда, не умѣютъ! Они, надѣвши мужицкій костюмъ, далеки отъ народа по своимъ понятіямъ и духу, почему и возбуждаютъ въ немъ только смѣхъ и досаду къ себѣ и своей дѣятельности.

Н. Невзоровъ.

***

*) Въ разсказахъ Овсяникова, какъ въ зеркалѣ, видны живые образы помѣщиковъ Екатерининскаго вѣка, съ самыми разнообразными причудами. Онъ разсказываетъ, напримѣръ, о *властныхъ* помѣщикахъ стараго времени, которымъ стоило только захотѣть завладѣть сосѣдней землей,— и они завладѣвали, подсмѣиваясь надъ жалобами и судами. Такъ безсильны въ то время были суды. Любопытны разсказы Овсяникова о тѣхъ причудникахъ, которые забавлялись то чудовищными охотами со множествомъ собакъ и егерей, то борьбой и кулачными боями, то, наконецъ, какъ это ни странно, потѣшались надъ собственными же гостями, заставляя ихъ то плакать, то хохотать, то пѣть унылыя пѣсни, то плясать до упаду. Кромѣ большой наблюдательности, въ характерѣ Овсяникова выставляются еще и другія въ высшей степени привлекательныя черты. Наружная его величавость и невозмутимое спокойствіе служатъ отраженіемъ душевной ясности и доброты.

П. Евстафьевъ.

* * *

**) Овсяниковъ — человѣкъ здраваго смысла, ума. Поэтъ говоритъ про него, что онъ «своею важностью и неподвижностью, смышленностью и лѣнью, своимъ прямодушіемъ и упорствомъ напоминалъ... русскихъ бояръ до-Петровскихъ временъ... Ферязь бы къ нему пристала. Это былъ одинъ изъ послѣднихъ людей стараго вѣка». Но, несмотря на это, несмотря и на свою старость, Овсяниковъ не стоитъ за старое время; онъ признаетъ, что прежде «спокойнѣе жили; довольства больше было», однако прибавляетъ: «а все-таки теперь лучше, а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ-дастъ». «Душа у него была... свободная»... говоритъ авторъ. Замѣчательно, что онъ былъ друженъ съ иностранцемъ Леженемъ (оставшимся въ Россіи солдатомъ наполеоновской арміи). Спокойствіе, самообладаніе (не по-

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.
**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

кинувшее его даже тогда, когда онъ свалился съ понесшимъ его конемъ въ оврагъ), доброта—составляютъ его отличительныя свойства: онъ почитаетъ грѣхомъ продавать хлѣбъ, и въ голодный годъ роздалъ его даромъ нуждающимся; онъ покровительствуетъ и помогаетъ племяннику, который занимается писаніемъ просьбъ для бѣдныхъ людей и, по мѣрѣ своихъ знаній, ходатайствуетъ за нихъ въ судахъ и защищаетъ ихъ отъ богатыхъ и властныхъ, хотя практическій смыслъ и заставляетъ его предостерегать этого племянника: «не сдобровать ей, твоей головѣ... человѣкъ ты сумасшедшій вовсе».

А. Незеленовъ.

„Касьянъ съ Красивой-Мечи“.

*) Подобный Калинычу, т.-е. близкій къ природѣ, типъ русскаго крестьянина Тургеневъ выводитъ еще въ лицѣ Касьяна съ Красивой-Мечи. Этотъ маленькій, черненькій старичокъ, съ своимъ то лукавымъ, то довѣрчивымъ, то пытливымъ и проницательнымъ взглядомъ,—тоже человѣкъ безъ практическаго смысла. Но когда заговоритъ о природѣ, рѣчь его льется свободно, съ одушевленіемъ. «Рѣчь его не мужичья рѣчь,—говоритъ авторъ,—такъ не говорятъ простолюдины, и краснобаи такъ не говорятъ. Этотъ языкъ обдуманный—торжественный и странный. Я не слыхалъ ничего подобнаго». Касьянъ грамотенъ, хотя, конечно, не образованъ. При образованіи онъ только болѣе страдалъ бы отъ своего положенія. И теперь онъ не мало огорченъ и разстроенъ. Въ числѣ прочихъ крестьянъ, и его внезапно переселили съ родины на новое, чужое мѣсто. Тамъ,—говоритъ Касьянъ,—у насъ, на Красивой-то-на Мечи, взойдешь ты на холмъ... и Господи, Боже мой, а?.. И рѣка-то, и луга-то, и лѣсъ!.. а тамъ церковь... а тамъ опять пошли луга. Далече видно, далече!.. вотъ какъ далеко видно... смотришь, смотришь! Ахъ, ты, право!..» Здѣсь

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

же въ тѣснотѣ, оторванный отъ родного гнѣзда, Касьянъ совсѣмъ потерялся. Работникъ онъ плохой; семьи нѣтъ; промышлять — ничѣмъ не промышляетъ, какъ онъ самъ выражается. Правда, онъ соловьевъ ловитъ, не для продажи, впрочемъ, а *такъ отдаетъ добрымъ людямъ, на утѣшеніе и веселіе.* Знаетъ свойство нѣкоторыхъ травъ, лѣчитъ кровь, заговариваетъ, и хотя у практическихъ сосѣдей-крестьянъ прослылъ человѣкомъ удивительнымъ, глупымъ, «несообразнымъ» даже, однако пользуется у нихъ не малымъ авторитетомъ. Простору ему въ жизни нѣтъ никакого. Перемѣнить положеніе свое нѣтъ возможности. А потому Касьянъ затаилъ въ себѣ душевныя силы, и живетъ больше въ мечтательномъ мірѣ, нежели въ дѣйствительности, которая вовсе его не удовлетворяетъ. Ему хотѣлось бы въ тѣ страны, гдѣ, по слухамъ, солнце привѣтливѣе свѣтитъ, и Богу человѣкъ виднѣй, и поется-то ладнѣй; гдѣ раздолье и Божья благодать; гдѣ живетъ всякъ человѣкъ въ довольствіи и справедливости.

П. Евстафьевъ.

* * *

*) Касьянъ—юродивецъ, человѣкъ слабый и хилый отъ рожденья, «неразумный съ мальства» (какъ онъ самъ опредѣлилъ себя), но съ поэтической душой, съ нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ. Красота природы, древнихъ городовъ съ ихъ Божьими храмами, поэтическія повѣрья старыхъ временъ, надежда встрѣтить правду между людьми—сдѣлали Касьяна непосѣдомъ, любителемъ скитаній.

„Да и что! много ли дома-то высидишь? (разсуждаетъ онъ). А вотъ какъ пойдешь, какъ пойдешь... и полегчитъ, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты виднѣй, и поется-то ладнѣе. Тутъ, смотришь,—трава какая растетъ; ну, замѣтишь — сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напр., вода ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься — замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя... И не одинъ я грѣшный... много другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходятъ

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ,—вотъ оно что...“

Касьянъ считаетъ грѣхомъ охоту, убіеніе Божіей твари.

— Баринъ, а баринъ!.. Ну, для чего ты пташку убилъ? (говоритъ онъ охотнику).

— Какъ для чего?.. Коростель—это дичь! его ѣсть можно.

— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

— Да, вѣдь, ты самъ, небось, гусей или курицъ, напр., ѣшь?

— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель—птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой и верховой и низовой — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... А человѣку пища положена другая, пища ему другая и другое питье: хлѣбъ — Божія благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ... Святое дѣло—кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣта прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!

Слабый тѣломъ и умомъ, Касьянъ ничѣмъ не промышляетъ, какъ самъ говоритъ; «отъ рукъ отбился... отъ работы», по замѣчанію кучера Ерофея. Онъ весь погруженъ въ созерцаніе природы, собираетъ травы и лѣчитъ (онъ—«лѣкарка»), слушаетъ пѣніе птицъ и подражаетъ имъ, ловитъ соловьевъ, «не на муку... не на погибель ихъ живота (поясняетъ онъ), а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселье». Онъ живетъ въ своихъ мечтахъ и грезахъ, любитъ пѣть и поетъ хорошо (по словамъ того же Ерофея); онъ даже сочиняетъ пѣсни.—Касьянъ человѣкъ безсемейный,—«задачи въ жизни не вышло», какъ говоритъ онъ; но у него есть дочка, молоденькая дѣвушка. Авторъ былъ свидѣтелемъ встрѣчи Касьяна съ дочкой въ лѣсу, и видѣлъ—какъ горячо старикъ ее любитъ; онъ замѣтилъ, что «въ долгой усмѣшкѣ», съ которой Касьянъ проводилъ уходившую дѣвушку,

„въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ (такъ ее звали), въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нѣжность“.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Какая-то особенная, совершенно своеобразная поэзія разлита по всему тщедушному существу Касьяна. Это одна изъ тѣхъ глубоко необыденныхъ натуръ, которыя при всякой рѣшительно обстановкѣ сохраняютъ въ неприкосновенности свои поэтическія наклонности и никогда не позволяютъ прозѣ жизни заѣсть себя. Несмотря на все его необразованіе и относительное неразвитіе, мы Касьяна можемъ причислить къ тѣмъ личностямъ, которыя никогда не пошлѣютъ, потому что они сами въ себѣ создали особенный мірокъ, гдѣ сидятъ, какъ заколдованные. Этого внутренняго мірка у нихъ никто отнять не можетъ. Вотъ и Касьянъ остается одинаковымъ всю свою жизнь. При всемъ своемъ поэтическомъ и, такъ сказать, «неземномъ» колоритѣ, Касьянъ, благодаря удивительной способности Тургенева придавать своимъ образамъ печать правдивости, не кажется намъ чадомъ сантиментальнаго авторскаго настроенія и не отзывается слащавостью произведеній Григоровича.

С. Венгеровъ.

„Бирюкъ“.

**) Величавая его осанка—высокій ростъ, могучія плечи, суровое и мужественное лицо, широкія брови и смѣло глядѣвшіе небольшіе каріе глаза—все въ немъ обличало необыкновеннаго человѣка. Свою обязанность лѣсника Бирюкъ отправлялъ настолько добросовѣстно, что всѣ про него говорили: «вязанку хворосту не дастъ утащить... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ ни деньгами; ни на какую приманку нейдетъ». Суровый съ виду, Бирюкъ имѣлъ нѣжное, доброе сердце. Поймаетъ въ лѣсу мужика, срубившаго дерево, такъ пристращаетъ, что и лошадь пригрозитъ не отдать, а дѣло обыкновенно кончитъ тѣмъ, что сжалится надъ воришкой и отпуститъ его. Бирюкъ любитъ сдѣлать доброе дѣло, любитъ обязанности свои исполнять добросо-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ“.

**) Н. Невзоровъ. „Руководящіе типы въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя“.

вѣстно, но не будетъ кричать объ этомъ на всѣхъ перекресткахъ, не будетъ рисоваться этимъ.

Н. Невзоровъ.

* * *

*) Бирюкъ тоже хорошій человѣкъ, хоть и грубый съ виду. Онъ живетъ одинъ въ лѣсу, въ избѣ «закоптѣлой, низкой и пустой, безъ полатей и перегородокъ», съ двумя дѣтьми, покинутый женою, сбѣжавшей съ прохожимъ мѣщаниномъ,—должно быть, семейное горе и сдѣлало его угрюмымъ. Онъ лѣсникъ, и про него говорятъ, что «вязанки хворосту не дастъ утащить... и ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ».

— Я, братъ, слыхалъ про тебя (ведетъ съ нимъ бесѣду авторъ). Говорятъ, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю,—отвѣчалъ онъ угрюмо: — даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится.

Автору довелось быть свидѣтелемъ, какъ этотъ неподкупно-честный человѣкъ отпустилъ пойманнаго имъ въ лѣсу вора, мужика, срубившаго дерево, отпустилъ потому, что почувствовалъ своимъ честнымъ и великодушнымъ сердцемъ безысходное горе бѣдняка, рѣшившагося, съ отчаянія, на опасное дѣло. Поэтъ прекрасно рисуетъ въ этой сценѣ весь ужасъ *бѣдноты,* до которой иногда доходитъ крестьянинъ.

А. Незеленовъ.

* * *

**) Суровая честность не проистекаетъ у Бирюка ни изъ какихъ теоретическихъ принциповъ: онъ простой мужикъ. Но глубоко прямая натура его дала ему понять лучше всякихъ этическихъ книгъ, какъ слѣдуетъ исполнять взятую на себя обязанность.

— «Должность свою справляю,—говоритъ онъ угрюмо:— даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится»...

---

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

**) Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ“.

Бирюкъ—чисто русская натура, нерѣдко долгое время кажущаяся самой обыденной и ничего не выражающей, пока не подвернется какой-нибудь случай, и этотъ-же самый незатѣйливый субъектъ, выкинетъ вамъ поступокъ, который васъ повергнетъ въ величайшее изумленіе. Отсутствіе внѣшней аффектаціи, такъ сильно насъ поражающее въ Бирюкѣ, не есть одному ему только присущее качество. Нѣтъ! Русская народная натура именно обладаетъ непосредственностію въ высшей степени. Иной мужикъ вамъ сегодня пойдетъ на медвѣдя съ рогатиной, а на завтра останется тѣмъ же обыкновеннымъ пахаремъ, и героизмъ его останется въ равной степени затаеннымъ, изрѣдка только появляющимся на свѣтъ Божій, чтобы окончательно сбить съ толку психолога, не знающаго, что ему дѣлать съ подобными натурами, къ какому разряду ихъ отнести.

С. Венгеровъ.

„Пѣвцы“.

*) Мы видѣли уже въ нѣсколькихъ изъ названныхъ выше личностей, въ Хорѣ, Калинычѣ, Касьянѣ, сердечное расположеніе къ музыкѣ, къ пѣснѣ. Въ «Пѣвцахъ» поэтъ изображаетъ потрясающее дѣйствіе этого искусства на самыхъ разнородныхъ по характерамъ своимъ русскихъ людей. Въ неприглядной обстановкѣ кабака происходитъ состязаніе двухъ пѣвцовъ, и чистое вѣяніе искусства все очищаетъ и просвѣтляетъ вокругъ. Состязаются рядчикъ изъ Жиздры и Яшка Турокъ, и слушатели съ замирающимъ сердечнымъ участіемъ слѣдятъ за исходомъ благородной борьбы. Побѣдителемъ оказывается Яковъ. Вотъ какими поэтическими чертами рисуетъ Тургеневъ его пѣніе:

„понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. „Не одна во полѣ дороженька пролегала“, пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко... Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо овладѣвало упоеніе: онъ уже не ро-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

бѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе—онъ дрожалъ, но той едва замѣтной, внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся... Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участьемъ. Онъ пѣлъ, и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъто роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ нами, уходя въ безконечную даль".

Слушатели всѣмъ сердцемъ отозвались на вдохновенное пѣніе: авторъ чувствовалъ, что у него «закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы»; онъ видѣлъ, что «жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну»; цѣловальникъ Николай Иванычъ потупился; легкомысленный и несообразный Обалдуй, «весь разнѣженный, стоитъ, глупо разинувъ ротъ»; посторонній и случайный свидѣтель состязанія—«сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой», и самъ суровый «Дикій Баринъ» былъ растроганъ: «по желѣзному лицу» его, изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно покатилась тяжелая слеза». Соперникъ Якова—рядчикъ, первый призналъ себя побѣжденнымъ: «ты... твоя... ты выигралъ», произнесъ онъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Чуткой и нѣжно-отзывчивой на впечатлѣнія искусства изображена Тургеневымъ въ «Пѣвцахъ» русская душа, и тонко подмѣтилъ поэтъ народныя особенности, народныя черты широкой и вольной русской пѣсни.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Въ кабакѣ происходитъ сцена, устраивается турниръ между пѣвцами. Вотъ рядчикъ запѣваетъ веселую, плясовую пѣсню въ родѣ:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько,
Я посѣю молода молоденька
Цвѣтика аленька.

---

*) Н. Невзоровъ. „Руководящіе типы въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя".

Онъ начинаетъ отдѣлывать такія завитушки, такъ защелкалъ и забарабанилъ языкомъ, такъ неистово заигралъ горломъ, что когда онъ пустилъ послѣдній замирающій голосъ, общій слитный крикъ слушателей отвѣтилъ ему неистовымъ взрывомъ. Но вотъ на сцену выступаетъ Яковъ. Онъ прислонился къ стѣнѣ; глаза его едва мерцали сквозь опущенныя рѣсницы. Онъ глубоко вздохнулъ и запѣлъ... понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась его заунывная пѣсня: «Не одна-то въ полѣ дороженька пролегала»... «Пѣлъ онъ и всѣмъ присутствующимъ сладко становилось», говоритъ Тургеневъ, «и сладко и жутко»... «Русская правдивая, горячая душа звучала и дышала въ пѣвцѣ, и такъ хватала за сердце, хватала прямо за русскія струны. Пѣснь его росла, разливалась. Яковомъ видимо олладѣвало упоеніе... онъ отдавался весь своему счастію. Онъ пѣлъ и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо шпрокимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ слушателями, уходя въ безконечную даль. Закипала на сердцѣ кровь и поднимались къ глазамъ слезы. Глухія сдержанныя рыданія, продолжаетъ Тургеневъ, поразили меня... я оглянулся—жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну»... Яковъ кончилъ. Слушатели стояли всѣ, какъ оцѣпенѣлые. Рядчикъ тихо всталъ и пошелъ къ Якову.—«Ты... твоя... ты выигралъ», произнесъ онъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты. Да. Не удаль и не веселая пѣсня трогаетъ русскаго человѣка, хоть и для нея въ немъ много мѣста. Русскому человѣку нужна задушевность; ему пріятно, когда у него щемитъ сердце, когда ему хочется плакать или сидѣть гдѣ-нибудь въ уголку да молчать.

Н. Невзоровъ.

„Бѣжинъ Лугъ".

*) Авторъ разсказываетъ о томъ, какъ послѣ цѣлаго дня охоты онъ ночью сбился съ дороги и набрелъ на крестьян-

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература".

скихъ ребятишекъ, которые стерегли табунъ. Въ ожиданіи, пока сварятся «картошки», эти ребятишки коротали ночное время разными разсказами о томъ, кто что видѣлъ, слышалъ—дома, въ полѣ, въ лѣсу, на рѣкѣ. Въ этихъ безыскусственныхъ разговорахъ дѣтей выражаются ихъ мысли, чувства, суевѣрія и вообще наивный взглядъ на природу и на людей. Подъ предлогомъ изображенія этой занимательной сцены, авторъ даетъ читателю почувствовать и оцѣнить тѣ условія жизни, какими было обставлено крестьянское дѣтство. Видно, что бѣдность и нужда заставляютъ дѣтей съ самыхъ раннихъ лѣтъ уже принимать серьезное участіе въ трудахъ родителей. Такимъ образомъ, крестьянскіе ребятишки совсѣмъ лишены образованія. Съ другой-же стороны, эти самыя обстоятельства жизни ставятъ ихъ въ тѣсныя отношенія съ природою, съ трудомъ, и уже съ дѣтства воспитываютъ въ нихъ физическую силу, бодрость духа, находчивость, однимъ словомъ—характеръ. По основной идеѣ, которую авторъ вложилъ въ этотъ разсказъ, «*Бѣжинъ Лугъ*» естественно является крайней противоположностью съ извѣстнымъ гончаровскимъ эпизодомъ: «*Сонъ Обломова*». Въ томъ эпизодѣ, наоборотъ изобличается непомѣрная, неразумная попечительность маменьки относительно Ильюши. Вслѣдствіе того, Ильюша и лишенъ всякой самодѣятельности, и остается безхарактернымъ на всю жизнь. Кромѣ художественнаго изображенія привлекательныхъ типовъ крестьянскихъ мальчиковъ: Ѳеди, Павлуши, Ильюши, Кости и Вани, «*Бѣжинъ Лугъ*» представляетъ еще мягкія изящныя описанія природы средней полосы Россіи. Въ началѣ разсказа безподобное описаніе іюльскаго дня, а затѣмъ—тихаго, пріятнаго вечера. Художественное воспроизведеніе предмета получаетъ особенную теплоту отъ того, что авторъ тутъ-же даетъ почувствовать и его собственныя впечатлѣнія и связь описываемаго явленія съ мѣстной сельской жизнью.

П. Евстафьевъ.

*) Во 2-мъ № «Современника» помѣщены по части изящной словесности: продолженіе романа гг. Станицкаго и Некрасова—«Мертвое Озеро»—далѣе: «Исторія одного женскаго сердца», повѣсть г. Лихачева и новыя «Записки Охотника» г. Тургенева. Естественно, что прежде всего—мы съ жадностью раскрыли «Записки», обѣщая себѣ то же самое удовольствіе, съ которымъ читали мы всѣ почти предшествовавшіе очерки, за исключеніемъ «Пѣвцовъ» и «Свиданія». Мы имѣемъ маленькую слабость къ таланту г. Тургенева, и въ слабости этой признаемся открыто, тѣмъ болѣе, что недавно еще старались оправдать ее опредѣленіемъ свойствъ этого таланта. Сказать—что ожиданія наши были совершенно обмануты—было бы слишкомъ сильно,—но за то, должно сознаться, что они были удовлетворены менѣе чѣмъ въ половину—однимъ словомъ, такъ же мало, какъ и тогда, когда мы читали «Пѣвцовъ» и «Свиданіе». Не довѣряя первому впечатлѣнію и боясь быть несправедливыми въ отношеніи къ такому истинному и блестящему дарованію, каково дарованіе г. Тургенева, — мы перечли вторично «Бѣжинъ Лугъ» (такъ называется новый разсказъ охотника), и вторично остались также мало удовлетворены. Не думаемъ, чтобы это было только личное наше впечатлѣніе—и постараемся показать, отъ чего именно происходитъ, по нашему крайнему разумѣнію, неудовлетворительность новаго произведенія г. Тургенева, и для этого прежде всего передадимъ читателямъ съ возможною полнотою и отчетливостью содержаніе «Бѣжина Луга».

Читателямъ, знакомымъ съ прежними «Записками Охотника» (а кто не знакомъ съ ними?), вѣроятно, кидались въ глаза способность автора подмѣчать самыя, такъ сказать, тонкія черты мѣстности, самые нѣжные оттѣнки природы: въ этомъ отношеніи особенно замѣчательны у г. Тургенева три превосходныя страницы описательной поэзіи, названныя имъ: «Лѣсъ и Степь».—Г. Тургеневъ окомъ художника смотритъ на всю физическую природу, и только иногда,

*) „Москвитянинъ“ 1851 г., № 6 (2-я мартовская книга). Статья (А).

въ угоду своей личной хандрѣ—набросить на нее какой-то туманный колоритъ, который тоже не лишенъ своей прелести. Одинъ только упрекъ можно сдѣлать ему съ этой стороны: онъ иногда слишкомъ щедръ на краски, слишкомъ занимается передачею самыхъ мелочныхъ оттѣнковъ, такъ что цѣлое картины скорѣе затемняется ими, чѣмъ выясняется; каждая изъ мелочныхъ частностей, взятая отдѣльно, заставляетъ собою любоваться—а панорама исчезаетъ—вы ее себѣ не представляете или можете представить только съ извѣстнымъ усиліемъ.

Такою же живописью изящною, добросовѣстною, тонкою—начинается и «Бѣжинъ Лугъ», и между тѣмъ—въ цѣломъ, эта живопись, не давая на себѣ сосредоточиться взгляду, не представляя ему, такъ сказать, никакихъ точекъ отдохновенія, разливаясь въ утонченныхъ чертахъ — утомляетъ васъ. Разберите картину по чертамъ, по оттѣнкамъ, все будетъ въ ней изящно и вѣрно дѣйствительности—и «круглыя высокія облака, золотисто-сѣрыя съ нѣжными—бѣлыми краями,—которыя подобно островамъ, разбросаннымъ по безконечно—разлившейся рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, почти не трогаются съ мѣста»—и всѣ переливы свѣта и тѣни, подмѣченные художникомъ на небосклонѣ,—но странно какъ-то, что всѣ эти черты сливаются во что-то неопредѣленно-пестрое, — странно, что несмотря на всю свою вѣрность природѣ, живопись поражаетъ васъ довольно непріятно изысканностью, отсутствіемъ того непосредственнаго наитія, которое однимъ взмахомъ кисти творитъ цѣлый полный образъ. Внутренній ли разладъ въ душѣ художника—другое ли что тому причиною, мы рѣшить не беремся—дѣло въ томъ только, что черты самыя вѣрныя становятся у него иногда изысканными, что сравненія самыя мѣткія кажутся вычурными. Такъ, напримѣръ, у него, на мѣстѣ, гдѣ солнце «закатилось такъ же спокойно, какъ спокойно вышло на небо, алое сіяніе стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшей землей, и тихо *мигая*, какъ *бережно несомая свѣчка,* затеплится на немъ вечерняя звѣзда». Можетъ быть, вечер-

няя звѣзда и мигаетъ, даже, пожалуй, что-то похожее на миганье представляетъ колебаніе ея лучей—но вѣдь и представленіе о миганіи и представленіе о бережно несомой свѣчкѣ весьма далеки отъ граціозности.—Да простятъ намъ и читатели и разбираемый нами авторъ эти, повидимому, мелочныя замѣчанія, — но г. Тургеневъ, какъ истинный артистъ, вѣроятно не сочтетъ ихъ придирками,—а читателямъ мы хотѣли разъяснить примѣрами тѣ впечатлѣнія, которыя были испытываемы, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми изъ нихъ, при чтеніи описаній г. Тургенева.

Въ одинъ изъ вечеровъ, когда «въ лугахъ и чистомъ воздухѣ пахнетъ полынью, сжатой рожью, гречихой» и когда «даже за часъ ночи вы не чувствуете сырости»— охотникъ заблудился и попалъ на лугъ, извѣстный подъ именемъ Бѣжина.

«Вернуться домой—говоритъ онъ,—не было никакой возможности, особенно въ ночную пору; ноги подкашивались подо мной отъ усталости, и я рѣшился подойти къ огонькамъ, и въ обществѣ тѣхъ людей, которыхъ я принялъ за гуртовщиковъ, дождаться зари...

«Я ошибся—продолжаетъ онъ черезъ нѣсколько строкъ— принявъ людей, сидѣвшихъ вокругъ тѣхъ огней за гуртовщиковъ. Это просто были крестьянскіе ребятишки, изъ сосѣднихъ деревень, которые стерегли табунъ».

Охотникъ подсѣлъ къ мальчикамъ. Прежде всего поразила его опять окружающая его природа, и здѣсь авторъ широкою кистью нарисовалъ чудесную картину:

«Темное, чистое небо торжественно необъятно высоко стояло надъ нами, со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ; сладко тѣснилась грудь, вдыхая тотъ особенный томительный и свѣжій запахъ—запахъ русской лѣтней ночи: кругомъ не слышалось почти никакого шума. Лишь изрѣдка въ близкой рѣкѣ, съ внезапной звучностью плеснетъ большая рыба и прибрежный тростникъ слабо зашумитъ, едва поколебленый набѣжавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали»... И вслѣдъ за этимъ цѣльнымъ, гармоническимъ впечатлѣніемъ,—г. Тургеневъ,

съ непріятно-натянутымъ остроуміемъ, забавляется насчетъ собакъ:

«Тутъ же сидѣли тѣ двѣ собаки, которымъ такъ было захотѣлось меня съѣсть. Онѣ еще долго не могли *примириться* съ моимъ присутствіемъ и, сонливо-мигая и косясь на огонь, изрѣдка рычали *съ необыкновеннымъ чувствомъ собственнаго достоинства*".

Наконецъ, авторъ знакомитъ насъ съ мальчишками, героями настоящаго разсказа. Всѣхъ мальчишекъ было пять: Ѳедя — стройный мальчикъ, сынъ зажиточнаго отца, съ нѣкоторымъ *чувствомъ собственнаго достоинства*,—Павлуша, не казистый собою, но съ голосомъ, *въ которомъ звучала сила,* — Илюша, съ лицомъ довольно незначительнымъ и словно все щурившійся отъ огня,—Костя, *съ задумчивымъ и печальнымъ взоромъ,* и Ваня, лежавшій подъ рогожею и только изрѣдка выставлявшій изъ-подъ нея свою русую кудрявую головку.

Разговоръ у мальчиковъ идетъ о домовыхъ, лѣшихъ, русалкахъ. Илюша разсказываетъ, какъ разъ на мельницѣ онъ и другіе еще съ нимъ бывшіе слышали шаги домового:

«Пошелъ тотъ опять къ двери по верху, да по лѣст-«ницѣ спущаться сталъ, и этакъ спущается, словно не «торопится, ступеньки подъ нимъ такъ *даже* стонутъ «*ажно*. (NB. *Ажно* и *даже*, какъ частицы равнозначительныя—едва ли употребляются вмѣстѣ въ русской народной рѣчи). «Ну, подошелъ тотъ къ нашей двери, подождалъ, «подождалъ—дверь вдругъ вся такъ и распахнулась. Вспо-«лошились мы, глядимъ—ничего».

Худенькій Костя вспоминаетъ про Гаврилу, слободскаго плотника, котораго испортила русалка. Разъ Гаврила пошелъ въ лѣсъ по орѣхи, да и заблудился— зашелъ, Богъ знаетъ, куды зашелъ.

«Ужъ онъ ходилъ, ходилъ, братцы мои, —нѣтъ! не мо-«жетъ найти дороги; а ужъ ночь на дворѣ. Вотъ и при-«сѣлъ онъ подъ дерево,—давай, молъ, дождусь утра,—при-«сѣлъ и задремалъ. Вотъ задремалъ, и слышитъ вдругъ,—

«кто-то его зоветъ. Смотритъ — никого. Онъ опять задремалъ. Опять зовутъ. Онъ опять глядитъ, глядитъ онъ, а «передъ нимъ на вѣткѣ русалка сидитъ, качается, и его «къ себѣ зоветъ, и сама помираетъ со смѣху, смѣется. «А мѣсяцъ-то свѣтитъ сильно, такъ сильно — явственно «свѣтитъ мѣсяцъ: все, братцы мои, видно. Вотъ зоветъ «она его, и такая вся сама свѣтленькая, бѣленькая, си«дитъ на вѣткѣ, словно пташка какая или пескарь, а то «такъ карась бываетъ такой бѣловатый, серебряный. Гаврило-то плотникъ такъ и обмеръ, братцы мои, а она «знай хохочетъ, да его все къ себѣ эдакъ рукой зоветъ».

Этотъ разсказъ худенькаго Кости — рѣшительно лучшій изо всѣхъ. Въ тонѣ его звучитъ что-то сказочное—и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то тоскливое— что производитъ сильное впечатлѣніе. Но впечатлѣніе разрушается въ ту же самую минуту: раздается какой-то протяжный, звенящій, почти стенящій звукъ, «одинъ изъ тѣхъ непонятныхъ ночныхъ звуковъ, которые возникаютъ иногда среди глубокой тишины, поднимаются и стонутъ въ воздухѣ, и медленно разносятся, наконецъ, какъ бы «замирая». Нѣтъ сомнѣнія—что точно раздаются иногда подобные звуки, несомнѣнно такъ же и то, что авторъ превосходно подмѣтилъ всѣ свойства этого звука — но зачѣмъ этотъ звукъ раздался вслѣдъ за наивнымъ, поэтическимъ, тоскливымъ разсказомъ?— зачѣмъ онъ разрушилъ, какъ сухое толкованіе, все впечатлѣніе, произведенное этимъ простодушно-фантастическимъ разсказомъ, котораго обаянію хотѣлось бы поддаться, какъ обаянію томительной и сладкой грезы?

За Костей опять начинаетъ Илюша, и разсказываетъ, какъ писарь Ермилъ видѣлъ барашка на могилѣ утопленника, и какъ барашекъ оскалилъ зубы и сказалъ ему: бяша, бяша!.. Только что кончилъ Илюша разсказъ, собаки разомъ поднялись, съ судорожнымъ лаемъ кинулись прочь отъ огня и исчезли во мракѣ. Мальчики перепугались—одинъ Павлуша бросился вслѣдъ за собаками, для того, кажется, чтобы авторъ могъ полюбоваться «смѣлой» удалью и твердой рѣшимостью, которой дышало его лицо».

За этимъ происшествіемъ—опять идутъ разсказы, и опять ведетъ рѣчь Илюша о томъ, какъ баба Ульяна на паперть ходила и видѣла тѣхъ, кому въ тотъ годъ умереть. Павлуша въ свою очередь разсказываетъ, какъ въ Шаламовкѣ видали *предвидѣнье небесное* (солнечное затмѣніе) и какъ ждали *свѣтопреставленія*. Павлуша вообще отличается какимъ-то скептицизмомъ отъ всѣхъ своихъ сверстниковъ, и какою-то странною, нѣсколько мелодраматическою мрачностью: неустрашимъ онъ какъ-то не по лѣтамъ—и смѣло идетъ къ рѣчкѣ зачерпнуть водицы, хоть за минуту передъ тѣмъ говорилъ объ утопленникѣ. Про утопленника разсказываетъ опять Костя—и разсказываетъ опять хорошо, тѣмъ же сказочнымъ, тоскливымъ тономъ.

Павелъ между тѣмъ возвращается.

«Что ребята, началъ онъ помолчавъ—не ладно дѣло.

«— А что? торопливо спросилъ Костя.

«— Я Васинъ голосъ слышалъ.

«Всѣ такъ и вздрогнули...

«Что ты, что ты... пролепеталъ Костя.

«— Право. Только сталъ я къ водѣ нагибаться, слышу «вдругъ зовутъ меня эдакъ Васинымъ голоскомъ и словно «изъ-подъ воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю. А «тотъ опять зоветъ: «Павлуша, поди сюда». Я отошелъ, «однако воды зачерпнулъ.

«— Ахъ ты Господи! ахъ ты Господи! — проговорили «мальчики крестясь.

«Вѣдь, это тебя водяной звалъ, Павелъ, — прибавилъ «Ѳедя.—А мы только что о немъ, о Васѣ-то говорили...

«— Ахъ, это примѣта дурная, съ разстановкой проговорилъ Илюша.

«Ну, ничего! пущай! произнесъ Павелъ *рѣшительно* и «сѣлъ опять.—*Своей судьбы не минуешь*».

По нашему мнѣнію, два недостатка вредятъ въ особенности новому произведенію г. Тургенева: во-первыхъ — ложное идеализированіе характеровъ,—въ особенности характера Павлуши, съ его ничѣмъ необъяснимыми скептицизмомъ и фатализмомъ — и во-вторыхъ — разорванность

впечатлѣнія. Все какъ будто двоится въ „*Бѣжиномъ Лугѣ*“. Иногда какъ будто кажется, что автору хочется держать насъ подъ обаяніемъ фантастическаго—но едва лишь онъ успѣлъ самъ поддаться этому обаянію и ввести насъ въ очарованный кругъ,—неумѣстное дидактическое толкованіе тотчасъ разрушаетъ впечатлѣніе — и тщетно усиливается онъ потомъ связать имъ самимъ порванную нить. Однимъ словомъ—искусственное вредитъ здѣсь на каждомъ шагу непосредственному, холодное разсужденіе убиваетъ поэзію.

Съ фантастическимъ вообще мудрено ладить, но, во всякомъ случаѣ, лучше вовсе не приступаться къ нему, нежели приступаться съ задней мыслію—иначе какъ разъ выйдетъ или сухая аллегорія или дидактическое резонёрство. Въ примѣръ истинно-художественнаго такта въ обращеніи съ сказочнымъ и съ суевѣріями—мы укажемъ на «Сонъ Обломова» г. Гончарова, который съ спокойствіемъ мастера и съ любовію артиста развертываетъ длинную вереницу сказочныхъ преданій, не мудрствуя лукаво, не толкуя ихъ явленіями природы, а придавая имъ только разумный смыслъ намеками и на ихъ нравственное вліяніе. Примѣръ другого способа употребленія фантастическаго элемента—въ балладахъ Гете—у котораго въ «Рыбакѣ», въ «Лѣсномъ Царѣ» сквозитъ нѣкоторая иронія, но иронія, не имѣющая въ себѣ ничего сухого и дидактическаго—иронія, скорѣе содѣйствующая впечатлѣнію, чѣмъ нарушающая его.

Изъ „Москвитянина“ за 1851 г. Статья (А.).

* * *

*) Кто не помнитъ живо этой чудесной картины, «ночного», бесѣды крестьянскихъ ребятишекъ, стерегущихъ табунъ, бесѣды о страшныхъ и поэтическихъ повѣрьяхъ?—Между нѣсколькими крестьянскими мальчиками, нарисованными здѣсь поэтомъ, выдается энергическій и умный *Павлуша*.

---

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

„Малый былъ неказистый,—что и говорить! (пишетъ авторъ про его наружность), а все-таки онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила“.

Собаки заслышали что-то въ лѣсу,—Павлуша подумалъ, что волкъ,—и поскакалъ на ихъ лай.

„Я невольно полюбовался Павлушей (говоритъ поэтъ). Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ѣздой, горѣло смѣлой удалью и твердой рѣшимостью. Безъ хворостинки въ рукѣ, ночью, онъ, нимало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка... „Что за славный мальчикъ!“ думалъ я, глядя на него.

Такъ же смѣло отнесся Павлуша и къ предсказанію смерти: ему послышалось, когда онъ пошелъ къ рѣкѣ за водою, что его кто-то зоветъ изъ воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда!»—«Ахъ, это примѣта дурная» (сказалъ ему Илюша).—Ну, ничего, пущай! произнесъ Павелъ рѣшительно, и сѣлъ опять: своей судьбы не минуешь».

Интересно, что въ концѣ очерка авторъ говоритъ, что предсказаніе судьбы (или предчувствіе Павла) въ томъ-же году сбылось: Павелъ не утонулъ, правда, но убился, упавъ съ лошади.

Живой и умный Павлуша умѣетъ подмѣтить смѣшное,—и его разсказъ о «предвидѣньи» небесномъ, о томъ, какъ у нихъ въ деревнѣ бочара Вавилу, надѣвшаго жбанъ на голову, приняли было за Тришку-антихриста, полонъ юмора.

«Бѣжинъ Лугъ» есть вообще одинъ изъ самыхъ поэтическихъ разсказовъ «Записокъ Охотника»: особенно прекрасны нѣкоторыя его частности, отдѣльныя картинки и эпизоды. Остановимся на двухъ изъ нихъ:

„Настало опять молчаніе.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани (младшій изъ мальчиковъ лѣтъ семи); гляньте на Божьи звѣздочки,—что пчелки роятся.

Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ подъ рогожи, оперся на кулачокъ и медленно поднялъ свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и нескоро опустились.

А что, Ваня, ласково заговорилъ Ѳедя: что твоя сестра Анюта здорова?

— Здорова, отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходитъ?..

— Не знаю.

Ты ей скажи, чтобъ она ходила.

— Скажу.

Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

— А мнѣ дашь?

И тебѣ дамъ.

— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

И Ваня опять положилъ свою голову на землю.

Не менѣе прекрасенъ эпизодъ съ голубемъ:

„Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ откуда ни возьмись бѣлый голубокъ,—налетѣлъ прямо въ это отраженье, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крыльями.

— Знать отъ дому отбился, замѣтилъ Павелъ. Теперь будетъ летѣть, покуда на что наткнется, и гдѣ ткнетъ, тамъ и ночуетъ до зари.

— А что, Павлуша, промолвилъ Костя:—не праведная ли это душа летѣла на небо, ась?

Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.

— Можетъ быть, проговорилъ онъ, наконецъ.

Приведенные отрывки показываютъ намъ, въ какомъ удивительномъ соотвѣтствіи изображаются Тургеневымъ человѣкъ и природа. И звѣзды небесныя, и рѣющій въ воздухѣ голубь, и лѣса, поля и воды, окружающія мальчиковъ въ «ночномъ»,—все это входитъ въ ихъ духовную жизнь, красоту всего этого чуютъ они своимъ сердцемъ, и живутъ и дышатъ этой красотою Божьяго міра.

Тургеневъ — великій живописецъ природы, и всѣ его очерки народной жизни, какъ въ прекрасную рамку, вставлены въ художественныя и живыя описанія ея.

А. Незеленовъ.

„Ермолай и Мельничиха".

*) Наряду съ крестьянскими типами Тургеневъ выставляетъ въ «Зап. Ох.» и типы неугнетеннаго сословія. Такимъ является въ разсказѣ «Ермолай и Мельничиха» Звѣрковъ. «Этотъ субъектъ, говоритъ г. Венгеровъ, разсказываетъ автору исторію нѣкой крестьянской дѣвки Арины съ такими возмутительными подробностями, что, право, не знаешь, чему болѣе удивляться: его ли наивности или безобразію порядка вещей, внушающаго подобныя воззрѣнія... Онъ даже знаетъ кое-что о человѣческомъ достоинствѣ, онъ разсуждаетъ о своевременности или несвоевременности крестьянскаго освобожденія, онъ человѣкъ не злой, и вдругъ у него является вполнѣ логичнымъ не выдавать Арину замужъ изъ-за того, что барыня останется безъ горничной. Объяснить подобное обстоятельство можно только нашею безхарактерностію, недостаточнымъ обладаніемъ послѣдовательностью.

С. Венгеровъ.

„Бурмистръ".

**) На Звѣркова (изъ разсказа «Ермолай и Мельничиха») нѣкоторые могутъ смотрѣть какъ на человѣка, не особенно интеллигентнаго. Онъ нѣсколько смахиваетъ на помѣщика если не Екатерининскихъ временъ, то, по крайней мѣрѣ, Александровскихъ. Но вотъ не угодно ли вамъ полюбоваться на человѣка самой новѣйшей (для своего времени, понятно) формаціи—Аркадія Павлыча Пѣночкина (изъ разсказа «Бурмистръ»), гвардейскаго офицера въ отставкѣ. Онъ получилъ отличное воспитаніе, устроилъ свой домъ на самый европейскій манеръ, слуги у него одѣты по англійски, однимъ словомъ, что твой ланкастерскій лордъ-помѣщикъ. «Аркадій Павлычъ», говоря его собственными

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ".

**) Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ".

словами, «строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется, и наказываетъ ихъ для ихъ же блага». «Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми», говорилъ онъ въ такомъ случаѣ:—невѣжество, mon cher, il faut prendre cela en considération»... (Выписавъ сцену Аркадія Павловича Пѣночкина съ камердинеромъ по поводу ненагрѣтой рюмки вина, г. Венгеровъ продолжаетъ):

«Вы понимаете, какъ распорядились съ камердинеромъ. И это за ненагрѣтую рюмку вина! Повѣритъ ли современный Пѣночкину западный человѣкъ возможности подобнаго совмѣщенія европеизма съ такими древне-фараоновскими замашками. Если бы еще приказаніе «распорядиться» съ Ѳеодоромъ было отдано наединѣ съ управляющимъ, ну, мы тогда бы и знали, что Пѣночкинъ мерзкій и злой человѣкъ. А то нѣтъ! Въ присутствіи чужого лица, даже не особенно хорошо знакомаго, помѣщикъ, щеголяющій своею образованностію и современностью, не стѣсняется выкинуть колѣнце средневѣковаго необузданнаго феодала, весь вѣкъ свой проведшаго въ своемъ замкѣ или на большой дорогѣ. Заговорите съ этимъ же самымъ господиномъ объ энциклопедистахъ, и онъ уже, по всей вѣроятности, найдетъ ихъ порядочно поотсталыми отъ общаго прогрессивнаго движенія, скажетъ вамъ, что для *нашего* времени требуется что-нибудь поновѣе, погуманнѣе и полиберальнѣе. Совѣсть его абсолютно чиста. Онъ даже нѣкоторымъ образомъ считалъ себя благодѣтелемъ своихъ крестьянъ, и навѣрное, когда рѣчь зайдетъ объ эмансипаціи, найдетъ ее совершенно лишнею при существованіи людей, озабоченныхъ благоденствіемъ принадлежащихъ имъ крѣпостныхъ.

С. Венгеровъ.

„Смерть“.

*) Замѣчателенъ разсказъ «Смерть», гдѣ поэтъ изобразилъ, какъ умираетъ русскій человѣкъ. Онъ встрѣчаетъ смерть спокойно и просто, безъ внутренней борьбы, тре-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

вогъ и колебаній, безъ отчаянія и страха. Въ этомъ сказывается здоровая цѣльность, простота и правдивость русской души.—Умираетъ подрядчикъ Максимъ, пришибленный деревомъ.

— Батюшка, заговорилъ онъ едва внятно (обращаясь къ наклонившемуся къ нему помѣщику):—за попомъ... послать... прикажите... Господь меня наказалъ... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... вотъ ребятъ-то не распустилъ.

Онъ молчалъ. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои... женѣ... женѣ дайте... за вычетомъ... вотъ Онисимъ знаетъ... кому я... что долженъ.

— Мы за лѣкаремъ послали, Максимъ, заговорилъ мой сосѣдъ:—можетъ быть, ты еще не умрешь.

Онъ раскрылъ было глаза и съ усиліемъ поднялъ брови и вѣки.

— Нѣтъ, умру. Вотъ... вотъ подступаетъ, вотъ она, вотъ... Простите мнѣ, ребята, коли въ чемъ...

— Богъ тебя проститъ, Максимъ Андреичъ, глухо заговорили мужики въ одинъ голосъ и шапки сняли: — прости ты насъ.

Столько же самообладанія, если не болѣе, выказываетъ мельникъ, пріѣхавшій смертельно больной къ фельдшеру полѣчиться. Когда онъ узнаетъ безнадежность своего положенія, онъ не хочетъ остаться въ больницѣ, а ѣдетъ домой распорядиться и дѣла устроить. «Ну, прощайте, Капитонъ Тимоѳеичъ (говоритъ онъ фельдшеру, не слушаясь убѣжденій того остаться):

„не поминайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте коли что“. „Эй, останься, Василій!“ – Мужикъ только головою тряхнулъ, ударилъ возжей по лошади и съѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ слѣдъ (разсказываетъ авторъ). Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадью и со встрѣчными раскланивался... На четвертый день онъ умеръ“.

Такъ умираютъ простые русскіе люди, мужики. Но замѣчательно, что въ очеркѣ «Смерть» поэтъ разсказываетъ

о подобномъ-же спокойномъ отношеніи къ кончинѣ и людей барской и интеллигентной среды, — старушки помѣщицы, недоучившагося студента Авенира Сорокоумова. Старушка хотѣла сама заплатить священнику за свою отходную и, приложившись къ поданному имъ кресту, засунула-было руку подъ подушку, чтобы достать приготовленный тамъ цѣлковый, да не успѣла «—и испустила послѣдній вздохъ».

Бѣднякъ учитель Сорокоумовъ, больной чахоткою и зная о близкой смерти, —«не вздыхалъ, не сокрушался, даже ни разу не намекнулъ на свое положеніе»... Авторъ разсказываетъ, что когда онъ посѣтилъ его, то бѣднякъ,

„собравшись съ силами, заговорилъ о Москвѣ, о товарищахъ, о Пушкинѣ, о театрѣ, о русской литературѣ; вспоминалъ наши пирушки, жаркія пренія нашего кружка, съ сожалѣніемъ произнесъ имена двухъ-трехъ умершихъ пріятелей“.

Онъ даже шутилъ передъ смертью, даже высказалъ довольство своей судьбою (забывъ, по сердечной добротѣ, какъ неприглядна была его жизнь въ домѣ тяжелаго шутника помѣщика Гура Крупянникова, дѣтей котораго Фору и Зезу училъ онъ русской грамотѣ).

— Все бы ничего (сказалъ онъ своему собесѣднику послѣ мучительнаго приступа кашля)... — кабы трубочку выкурить позволили... А ужъ я такъ не умру, выкурю трубочку! прибавилъ онъ, лукаво подмигнувъ глазомъ. — Слава Богу, пожилъ довольно; съ хорошими людьми зналея“...

Одинаковое отношеніе къ смерти и простого мужика и образованнаго человѣка свидѣтельствуетъ, по поэтическому указанію Тургенева, о томъ, что въ русскомъ обществѣ живы народныя начала, что нѣтъ у насъ на Руси страшной внутренней розни между простымъ народомъ и культурными его слоями, по крайней мѣрѣ, тѣмъ изъ нихъ, который стоитъ ближе къ народу, живетъ въ деревнѣ, или сочувствуетъ народному быту, народной нуждѣ.

А. Незеленовъ.

„Лѣсъ и Степь" и „Поѣздка въ Полѣсье".

*) Въ разсказѣ *Лѣсъ и Степь* идетъ непрерывный рядъ описаній природы въ разныя времена года и дня, и такъ же, какъ и въ предыдущемъ разсказѣ, нѣтъ-нѣтъ, и незамѣтно сквозь описаніе внѣшняго явленія пробьются собственныя ощущенія, впечатлѣнія, воспоминанія автора.

Въ другія минуты, т. е. въ минуты другого душевнаго настроенія, природа производитъ на человѣка и другія впечатлѣнія. Величавость ея, вѣчная ея сила и красота производятъ на поэта впечатлѣніе глубокое, потрясающее. И въ эти минуты человѣкъ не только сознаетъ свою связь съ внѣшней природою, но и ощущаетъ радость отъ этого сознанія. Дремучіе литовскіе лѣса произвели такое именно впечатлѣніе на душу Тургенева, и онъ выразилъ ихъ въ началѣ разсказа: «Поѣздка въ Полѣсье».

П. Евстафьевъ.

„Живыя Мощи".

**) Героиня разсказа «Живыя Мощи»—есть едва-ли не лучшій, не самый поэтическій изъ всѣхъ образовъ «Записокъ Охотника». Поэтъ показалъ намъ въ немъ, до какой духовной высоты можетъ подняться простой русскій человѣкъ вообще.—Молодая дѣвушка, крестьянка Лукерья, веселая, живая, бойкая, красавица, невѣста, любимая женихомъ и сама любящая его, внезапно заболѣла такою болѣзнью, которая изсушила ее, навсегда приковала къ постели, исключила изъ числа живыхъ людей. Женихъ ея погоревалъ, да и женился на другой. А она проводитъ цѣлые годы въ уединеніи, неподвижная, одна съ своими думами.—Но она не пала духомъ въ безотрадномъ положеніи; напротивъ, она дошла до полнаго просвѣтлѣнія,—она счастлива, она радуется жизни, всякому ея мелкому про-

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература".
**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

явленію; она рада смерти—и ждетъ ея какъ блаженства, и не знаетъ и не понимаетъ страха передъ нею. Лукерья—олицетвореніе народнаго религіознаго идеала.

Поэтъ неожиданно увидѣлъ Лукерью въ плетеномъ сарайчикѣ близъ пасѣки, гдѣ она проводила лѣто; вотъ какъ онъ описываетъ ея наружность:

Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая, — ни дать ни взять—икона старинннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать, — только зубы бѣлѣютъ и глаза... лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется... это лицо, что по немъ, по металлическимъ его щекамъ... силится... силится, и не можетъ расплыться улыбка".

Лукерья не знаетъ себялюбія, зависти, ревности, злобы. Она рада, что ея бывшій женихъ нашелъ себѣ добрую жену, «и очень ему, слава Богу, хорошо», говоритъ она. Она тихо слѣдитъ за жизнью природы и веселится ею.

Гречиха въ полѣ зацвѣтаетъ или липа въ саду—мнѣ и сказывать не надо (говоритъ она): я первая сейчасъ слышу. Лишь бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что Бога гнѣвить? — многимъ хуже моего бываетъ.

Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жужжатъ да гудятъ, голубь на крышу сядетъ да заворкуетъ; курочка насѣдочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать, а то воробей залетитъ или бабочка — мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣздо свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занятно!.. А то разъ... вотъ смѣху то было! заяцъ забѣжалъ, право!.. сѣлъ близехонько, и долго таки сидѣлъ, все носомъ водилъ и усами дергалъ—настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значитъ, что я ему нестрашна... Смѣшной такой!"

Она о себѣ не думаетъ, но о другихъ у ней болитъ сердце. Когда баринъ спрашиваетъ ее — не нужно ли ей чего? Она отвѣчаетъ:

Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу... А вотъ вамъ-бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе бѣдные—хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно,—всѣмъ довольна.

Въ Лукерьѣ сохранилась обычная любовь русскаго человѣка къ пѣнію: она поетъ, слабымъ, едва слышнымъ, но чистымъ и вѣрнымъ голосомъ, всякія пѣсни, которыхъ прежде много знала. «Только вотъ плясовыхъ не пою (говорила она). Въ теперешнемъ моемъ званіи — оно не годится».

Смиреніе русскаго человѣка дошло въ Лукерьѣ до высшей степени. Собесѣдникъ подивился ея терпѣнію, а она возражаетъ ему:

„Эхъ, баринъ!.. что вы это? Какое такое терпѣніе? Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое: тридцать лѣтъ на столбу простоялъ... А то вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начетчикъ...

и она передаетъ поэтическое преданіе объ Іоаннѣ д'Аркъ, «святой дѣвственницѣ», какъ та прогнала агарянъ изъ своей родной земли, и потомъ велѣла этимъ агарянамъ сжечь себя, чтобы «огненною смертью за свой народъ помереть».

Лукерья религіозна въ самомъ возвышенномъ и чистомъ смыслѣ этого слова. Богъ ей близокъ.

„А то я молитвы читаю (разсказываетъ она о своей жизни). Только не много я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я Его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, что мнѣ надобно. Послалъ Онъ мнѣ крестъ — значитъ меня онъ любитъ. Такъ намъ велѣно это понимать. Прочту Отче нашъ, Богородицу, акаѳистъ Всѣмъ Скорбящимъ,—да и опять полеживаю себѣ безъ всякой думочки. И ничего!“

Она видитъ таинственные, чудесные, пророческіе сны,— Христа видитъ и царство небесное; видитъ во снѣ смерть свою, въ образѣ большой женщины съ глазами желтыми, какъ у сокола, и свѣтлыми-пресвѣтлыми; она радостно проситъ смерть взять ее, и та назначаетъ ей время—«послѣ, молъ, Петровокъ».

И Лукерья, дѣйствительно, умираетъ послѣ Петровокъ— она какъ бы провидѣла свой конецъ.

„Разсказывали (заключаетъ поэтъ свое повѣствованіе о ней), что въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ.

хотя отъ Алексѣевки до церкви считаютъ пять верстъ слишкомъ, и день былъ будничный. Впрочемъ, Лукерья говорила, что звонъ шелъ не отъ церкви, а „сверху". — Вѣроятно, она не посмѣла сказать: съ неба".

А. Незеленовъ.

„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда".

*) «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» носитъ характеръ совершенно отличный отъ другихъ очерковъ, составляющихъ «Записки Охотника». Онъ представляетъ собою болѣе или менѣе ясно выраженный взглядъ самого Тургенева на породу русскихъ гегеліанцевъ сороковыхъ годовъ, онъ болѣе можетъ быть разсматриваемъ какъ философская статейка, нежели какъ художественная картина... Устами «Гамлета» высказываются истины, во многомъ раздѣляемыя, полагать надобно, и Тургеневымъ. Въ тонѣ «Гамлета Щигровскаго уѣзда» слишкомъ много живости, чтобы не видѣть за кулисами беллетриста нашего, въ мѣткой и ѣдкой характеристикѣ желавшаго выставить недостатки прежняго чисто-головного и теоретическаго направленія нашей интеллигенціи. Оригинальную въ самомъ дѣлѣ общественную формацію представляютъ собою русскіе гегеліанцы сороковыхъ годовъ! Эти люди были обречены на самую печальную участь: постоянно носить въ себѣ элементы страшнаго раздвоенія. Какъ Янусы новѣйшаго времени, они намъ представлялись, съ одной стороны, высокоразвитыми европейцами, съ другой—показывали такія чисторусскія наклонности, что оставалось только развести руками и сознаться въ невозможности логическимъ путемъ объяснить происхожденіе подобнаго типа. Что такое въ самомъ дѣлѣ русскій гегеліанецъ? Какіе его органическіе признаки? Чѣмъ онъ отличается отъ предыдущихъ и послѣдующихъ эпохъ? Въ чемъ его культурное значеніе для русской цивилизаціи? Отвѣчать на эти вопросы не совсѣмъ легко, во-первыхъ, потому, что еще ни одинъ русскій гегеліанецъ не дошелъ до полнаго пониманія самого себя, а во-вторыхъ—

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ".

гегеліанство проявлялось въ такихъ разнообразныхъ формахъ, что очень часто является дѣломъ едва возможнымъ очистить отъ иного всероссійскаго субъекта толстую кору различныхъ вѣяній, чтобы добраться до сущности его натуры.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Василій Васильевичъ былъ дѣйствительно менѣе полезенъ для общества, чѣмъ всякій Орбасановъ или исправникъ, которые жили скверно, да все-таки жили, и хоть отрицательную пользу, но приносили. Справедливо также онъ упрекаетъ себя въ томъ, что онъ не оригиналенъ. Да, въ немъ дѣйствительно нѣтъ и тѣни оригинальности, во всемъ онъ дѣйствуетъ, какъ по книжкѣ: поступаютъ люди въ университетъ, идетъ и онъ въ университетъ, безъ заранѣе обдуманной цѣли, къ чему приготовлять себя; ѣдутъ люди въ Германію учиться философіи,—и онъ ѣдетъ, не зная на что ему философія; влюбляется въ дочь нѣмецкаго профессора, къ которой не чувствуетъ любви; ходитъ смотрѣть картины и статуи въ галлереяхъ, нисколько ими не интересуясь. «А между тѣмъ, какъ легко быть оригинальнымъ, говоритъ онъ; я, напримѣръ, ничего не смыслю въ живописи и ваяніи... сказать бы это вслухъ... нѣтъ, какъ можно»!.. Не правда ли, что эта черта въ Васильѣ Васильевичѣ — недостатокъ оригинальности, въ высшей степени типична и не напоминаетъ ли она въ этомъ случаѣ тысячи соотечественниковъ, которые за границей боятся на шагъ отступить отъ гида, въ гостиницѣ спросить яйцо покруче сваренное, дома повязать галстухъ, какъ вздумается—все изъ боязни сдѣлать не такъ какъ другіе, изъ боязни прослыть оригиналомъ. Василій Васильевичъ, при всемъ безсиліи, въ тысячу кратъ умнѣе этихъ не оригинальныхъ людей тѣмъ, что, по крайней мѣрѣ, видитъ свой недостатокъ, тогда какъ другіе считаютъ его за добродѣтель! Впрочемъ, оригинальность—это своеобразность,

*) М. Авдѣевъ: „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы".

самостоятельность, вѣра въ себя и въ свой умъ;—и откуда же у русскаго человѣка, ходящаго весь вѣкъ на помочахъ, явиться ей?

М. Авдѣевъ.

***

Въ статьѣ «Русская литература въ 1849 году» («Отеч. Записки» 1850 года, № 1, т. 68, отд. 5, стр. 17—19) Ап. Григорьевъ между прочимъ говоритъ о Тургеневѣ и, главнымъ образомъ, о его «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда» слѣдующее:

*) Г. Тургеневъ въ той же степени надѣленъ художническою натурою, какъ и г. Гончаровъ, такимъ же точно живымъ сочувствіемъ къ природѣ и вѣрнымъ тактомъ дѣйствительности; но уголъ зрѣнія полагаетъ между ними различіе. Холодная, спокойная, положительная рефлексія составляетъ преобладающее качество автора «Обыкновенной Исторіи»; юморъ просвѣчиваетъ во всемъ, что ни пишетъ авторъ «Разсказовъ». Иронія г. Тургенева нигдѣ не вылилась съ такимъ обиліемъ и силою, какъ въ одномъ изъ «Разсказовъ Охотника», именно—въ *Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда*. Характеръ героя этого разсказа вовсе не пародія на Гамлета, какъ казалось нѣкоторымъ. Данныя натуръ того и другого, можетъ быть, дѣйствительно одинаковы; дѣло въ томъ, что они оба равно запутаны почти до самоуничтоженія окружающими ихъ обстоятельствами, только шекспировскій Гамлетъ вызванъ на трагическую борьбу не по силамъ «событіемъ внѣ всякаго другого», а Гамлетъ г. Тургенева, съ которымъ, напротивъ, случились только обыкновеннѣйшія изъ обыкновенныхъ вещей, такъ и остался — «молодымъ человѣкомъ лѣтъ двадцати, подслѣповатымъ и бѣлокурымъ, съ ногъ до головы одѣтымъ въ черную одежду, видимо робѣвшимъ, но улыбавшимся язвительно». Таковъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда: требованія его не по силамъ ему самому; голова его привыкла проводить

*) „Отечественныя Записки" 1850 года, т. 68, № 1. Также сочиненія Ап. Григорьева.

мысль съ нещадною послѣдовательностью, а дѣло, которое требуетъ участія воли, совершенно расходится съ мыслью, и стремленіе къ послѣдовательности выражается у него, наконецъ, только въ сожалѣніи о томъ, что «нѣтъ блохъ тамъ, гдѣ онѣ по всѣмъ вѣроятностямъ дожны быть», и отсутствіе воли породило въ немъ робость передъ всѣмъ и передъ каждымъ. Онъ правъ, жалуясь на то, что не имѣетъ оригинальности, т.-е. извѣстнаго, опредѣленнаго характера. Онъ уменъ по натурѣ, только уменъ умомъ совершенно безплоднымъ, не спеціальнымъ; онъ многое понимаетъ глубоко, но видитъ только совершившееся, не имѣя въ себѣ никакого чутья для совершающагося. Разумѣется, данныя для такого существа лежали уже въ самой натурѣ его,—хотя развиты по преимуществу посторонними вліяніями — и потому въ высшей степени понятно озлобленіе бѣднаго Гамлета на кружки, выражающееся такъ оригинально и энергически. Только въ одномъ ошибается онъ: не въ нѣмецкой философіи и не въ изумленіи Гёте лежатъ причины его болѣзни; не Гёте виноватъ, что онъ счелъ долгомъ за границей «читать нѣмецкія книги на мѣстѣ ихъ рожденія» и влюбляться въ дочь профессора; не философія виною того, что *кружокъ* только и толковалъ, что «о вѣчномъ солнцѣ духа и о прочихъ отдаленныхъ предметахъ». Бѣдный Гамлетъ, во-первыхъ, всегда былъ больной мечтатель, а во-вторыхъ, онъ нисколько не спеціалистъ: онъ сгубленъ поверхностнымъ энциклопедизмомъ или, лучше сказать, отрывочными знаніями; онъ былъ такъ добросовѣстенъ, что не могъ «болтать, болтать, безъ-умолку болтать, вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ Вражкѣ, все о томъ же»; но, съ другой стороны, онъ былъ не довольно крѣпокъ для мышленія уединеннаго, самобытнаго и замкнутаго, которое рано или поздно довело бы его до сочувствія къ дѣйствительности и до пониманія дѣйствительности. Въ любви онъ любилъ не предметъ страсти, а самый процессъ ея, *любилъ любить,* какъ Стерновъ Йорикъ, или, пожалуй, отчасти какъ Гоголевъ Петрушка, любившій процессъ чтенія.

Вообще, онъ лицо столько же комическое, сколько и трагическое, и это лицо изображено поэтомъ такъ истинно и просто, что возбуждаетъ невольно болѣзненное сочувствіе, вызываетъ на многіе вопросы, не навязывая ни одного.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Гамлетъ Щигровскаго уѣзда представляетъ первообразъ свихнутыхъ мыслію и волей русскихъ интеллигентныхъ людей, которыхъ душевное безсиліе обусловливалось не тѣмъ, что они отвѣдали западной науки и философіи, какъ они воображали нѣкогда сами, и какъ до сихъ дней воображаютъ ихъ потомки—эпигоны, замѣняя только вліяніе философіи вліяніемъ будто бы «политическимъ». Нѣтъ, если судить искреннѣе, тутъ причина другая: тутъ дѣло въ поверхностномъ знакомствѣ съ западническими идеалами, съ одной стороны, и, съ другой—въ отрѣшенности отъ общаго народнаго строя и въ подчиненіи себя искусственнымъ кружковымъ требованіямъ. Не даромъ протестъ кружковщины, до сихъ поръ спутывающей, разслабляющей и губящей у насъ множество молодыхъ силъ, множество самыхъ прекрасныхъ всходовъ,—не даромъ упомянутый протестъ представляетъ такую страстную, выдѣляющуюся страницу въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда». Вспомните только эти слова почившаго художника, которыя онъ вложилъ въ уста своему герою, но которыя, конечно, вырвались изъ его собственной души какъ крикъ боли, вызванный однимъ изъ великихъ недуговъ русской жизни: «кружокъ—да это гибель всякаго самобытнаго развитія; кружокъ—это безобразная замѣна общества... кружокъ—это лѣнивое и вялое житье вмѣстѣ и рядомъ, которому придаютъ значеніе и видъ разумнаго дѣла; кружокъ замѣняетъ разговоръ разсужденіями, пріучаетъ къ безплодной болтовнѣ, отвлекаетъ васъ отъ уединенной, благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души. Кружокъ—да это пошлость и скука подъ именемъ братства и дружбы, сцѣпленіе не-

---

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

доразумѣній и притязаній, подъ предлогомъ откровенности и участія; въ кружкѣ, благодаря праву каждаго пріятеля во всякое время и во всякій часъ запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нѣтъ чистаго, нетронутаго мѣста на душѣ; въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носятъ на рукахъ стихотворца бездарнаго, но съ «затаенными» мыслями... Въ кружкѣ процвѣтаетъ хитростное краснорѣчіе; въ кружкѣ наблюдаютъ другъ за другомъ не хуже полицейскихъ чиновниковъ... О, кружокъ! Ты не кружокъ: ты заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ!» Мудрено ли, что подъ вліяніемъ кружковыхъ воздѣйствій, такъ рѣзко и полно очерченныхъ въ этой тирадѣ, россійскій интеллигентъ сороковыхъ годовъ съ ранней юности впалъ въ моральное безсиліе, началъ «киснуть» и, наконецъ, образовалъ изъ себя знакомый намъ типъ благороднаго россіянина, который «все смекаетъ себѣ, смекаетъ, а подъ конецъ, смотришь—ни аза не смекнулъ!» Мудрено ли, что онъ, привыкшій почерпать всякое изученіе изъ книги, пасуетъ передъ родною жизнью: «гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то,—да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подъ силу: мнѣ вы подайте выводъ, заключенье мнѣ представьте». Вотъ это-то желаніе и исканіе вывода готоваго, написаннаго въ книгѣ и было одною изъ причинъ его тяготѣнія къ Западу, какъ онъ признается самъ, а потомъ, мучительнаго разлада между свихнутою поверхностнымъ книжнымъ знаніемъ мыслью и родною дѣйствительностью. Вотъ этимъ-то путемъ россійскіе мнимые интеллигенты доходили прежде, да и теперь еще нерѣдко доходятъ до того, что, какъ выражается щигровскій Гамлетъ, имъ только «одно удовольствіе и осталось—преувеличивать». Да именно преувеличивать, преувеличивать все: и сознаніе собственнаго безсилія, собственнаго душевнаго ничтожества, и отчужденіе собственной интеллигентной личности отъ общаго строя жизни...

Приведенная сейчасъ изъ «Гамлета Щигровскаго уѣзда» тирада противъ кружковыхъ вліяній очень замѣчательна, если взять въ расчетъ то время, когда появился разсказъ Тургенева: онъ свидѣтельствуетъ о глубинѣ и проницательности Тургеневскаго ума и о великой трезвости его взгляда. Въ то время, когда художникъ устами Щигровскаго Гамлета бросилъ эту великолѣпную тираду въ лицо тогдашнему поколѣнію, тогдашнимъ героямъ времени, она была по истинѣ смѣлымъ протестомъ: вѣдь, тогда у насъ кружковые герои и кружковыя стремленія были въ апогеѣ своей силы. Господство кружковъ и ихъ самоуслажденіе доходило до высокаго комизма. Прочтите въ извѣстныхъ мемуарахъ Герцена, какъ онъ превозноситъ тогдашніе кружки, какъ онъ обожаетъ и прославляетъ, не стѣсняясь, свой собственный, какъ онъ выставляетъ кружковыхъ интеллигентовъ своего поколѣнія какими-то идеалами, образцами людей, какъ онъ не находитъ въ цѣлой Европѣ юношей, столь чистыхъ и съ столь возвышенными стремленіями, каковы были у него и у его сотоварищей, какъ онъ даже любуется ихъ попойками и кутежами и при этомъ совершенно забываетъ, что и развитіе большинства этихъ юношей и ихъ безпечальное услажденіе жизнью было обусловлено трудомъ и потомъ крѣпостного мужика. Герценъ, конечно, былъ однимъ изъ самыхъ сильныхъ и благородныхъ умовъ своего времени; но у него не доставало трезвой проницательности въ разумѣніи живыхъ людей — онъ понималъ отлично только «дѣятелей»—у него не доставало сознанія простой и смиренной правды, во имя которой онъ могъ бы развѣнчивать ложь явленій, по виду необыкновенно прельстительныхъ, красивыхъ и плодотворныхъ, а на самомъ дѣлѣ въ значительной степени ложныхъ, искусственныхъ и безплодныхъ. У Тургенева, какъ художника, было это сознаніе, и была та трезвость взгляда, благодаря которой онъ видѣлъ и цѣнилъ дѣйствительность наголо, какимъ бы призрачно красивымъ нимбомъ ни окружала себя она.

В. Буренинъ.

Вопросы для изученія „Записокъ Охотника“ каждаго разсказа въ отдѣльности *).

1. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ.

Хорь и Калинычъ (1846).

1. Почему авторъ начинаетъ свой разсказъ общею характеристикой орловскаго и калужскаго мужика?—2. Опредѣлить основныя черты характера Хоря.—3. Почему Хорь не хотѣлъ откупиться на волю?—4. Какъ относится Хорь къ грамотности?—5. Каковъ его семейный идеалъ?—6. Почему авторъ чувствовалъ себя неловко въ разговорѣ съ Хоремъ о крестьянскихъ дѣлахъ? — 7. Есть ли сходство между Ѳедей и его отцомъ? — 8. Былъ ли счастливъ Хорь?—9. Опредѣлить основныя черты характера Калиныча.— 10. Былъ ли счастливъ Калинычъ? — 11. Чѣмъ отличаются художественные пріемы автора при характеристикѣ Полутыкина? — 12. Понималъ ли Полутыкинъ, что Хорь умный мужикъ?—13. Почему Полутыкину захотѣлось показать автору пустую, упраздненную контору?—14. Какія заключенія можно сдѣлать на основаніи этого разсказа объ отношеніяхъ купцовъ и помѣщиковъ къ крестьянамъ въ изображаемую эпоху?

Ермолай и Мельничиха.

1. Съ какимъ изъ предыдущихъ типовъ можно сблизить Ермолая, съ типомъ Хоря или Калиныча? — 2. Въ

---

*) Статья Ц. Балталона. Взята изъ его книги: „Пособіе для литературныхъ бесѣдъ и письменныхъ работъ“. Изд. 5 с. Москва. 1904.

чемъ состоятъ оригинальныя черты личности Ермолая и чѣмъ объяснить ихъ происхожденіе? *). — 3. Какъ относится Ермолай къ барину? — 4. Въ чемъ состоитъ сущность отношеній Звѣрковыхъ къ Аринѣ?—5. Въ чемъ состоитъ комическая сторона разсказа Звѣркова и отъ чего происходитъ его комизмъ?—6. Почему Ермолай жалѣетъ Арину?—7. Какое значеніе имѣетъ описаніе природы въ этомъ разсказѣ и, въ особенности, описаніе тяги?

Малиновая Вода.

1. Опредѣлить типическія особенности личности Тумана въ отношеніи бытовомъ и психологическомъ.—2. Выяснить, какъ отразилось вліяніе помѣщичьяго быта на міросозерцаніи Тумана. — 3. Какое значеніе имѣетъ личность Степушки? Виденъ ли въ немъ человѣкъ? — 4. Въ чемъ состоятъ характерныя черты жизни графа Петра Ильича?—5. Какое значеніе въ разсказѣ имѣетъ описаніе села Шумихина?—6. Какое значеніе имѣетъ появленіе Власа въ концѣ разсказа? — 7. Выяснить впечатлѣніе, производимое послѣдними строками разсказа.—8. Въ какомъ отношеніи къ содержанію разсказа находятся описанія природы?

Мой сосѣдъ Радиловъ.

1. Опредѣлить основной мотивъ этого разсказа: какое онъ имѣетъ значеніе, по преимуществу, бытовое или общечеловѣческое?—2. Почему Радиловъ производилъ впечатлѣніе человѣка, сосредоточеннаго на какой-то мысли или страсти?—3. Какой интересъ представляетъ личность Ѳеодора Михеича?

Однодворецъ Овсяниковъ.

1. Съ какимъ изъ предыдущихъ типовъ можно сблизить Овсяникова?—2. Опредѣлить индивидуальныя общія

*) Для полной характеристики Ермолая, слѣдуетъ воспользоваться фактами изъ разсказовъ „Льговъ“ и „Стучитъ“.

черты жизни помѣщиковъ стараго вѣка, очерченныхъ въ разсказѣ. — 3. Какая перемѣна въ жизни заставляетъ Овсяникова предпочитать новыя времена старымъ?—4. Въ чемъ состоятъ достоинства и недостатки молодыхъ помѣщиковъ новаго направленія? — 5. Какъ относится авторъ къ славянофиламъ?—6. Какое значеніе имѣетъ Митя сравнительно съ молодыми помѣщиками и для характеристики Овсяникова? — 7. Какое отношеніе къ темѣ имѣетъ эпизодъ о Францѣ Ивановичѣ?—8. Въ чемъ выражается «духовная свобода» Овсяникова, по словамъ автора? Чѣмъ замѣчательна его личность?

Льговъ.

1. Какое значеніе имѣетъ личность Сучка по отношенію къ крѣпостному быту и его вліянію? Примѣнить къ выясненію его личности слѣдующій общій вопросъ: при какихъ условіяхъ трудъ человѣка можетъ быть разуменъ и плодотворенъ?—2. Въ чемъ состоитъ сходство и различіе между Владиміромъ и Туманомъ?—3. Въ какомъ отношеніи къ содержанію разсказа находится надгробная надпись?—4. Какъ проявляются типическія черты каждаго лица въ моментъ опасности?—5. Какое впечатлѣніе производитъ конецъ разсказа?

Бѣжинъ Лугъ.

1. Опредѣлить общія свойства крестьянскихъ дѣтей и ихъ личныя типическія особенности. — 2. Какія условія воспитанія крестьянскихъ дѣтей выступаютъ на первый планъ въ этомъ разсказѣ?—3. Замѣтно ли реальное основаніе во всѣхъ фантастическихъ разсказахъ мальчиковъ?— 4. Выяснить поэтическое значеніе картинъ природы въ этомъ разсказѣ и ихъ связь съ его содержаніемъ? *).— 5. Въ какой формѣ проявляются здѣсь личные взгляды и симпатіи автора? — 6. Есть ли связь между этимъ и прочими разсказами «Записокъ Охотника»?

*) На этотъ вопросъ слѣдуетъ обратить особое вниманіе, такъ какъ онъ можетъ уяснить одну изъ тонкихъ чертъ поэтическаго таланта автора.

Касьянъ съ Красивой Мечи.

1. Опредѣлить основныя черты личности Касьяна? — 2. Съ какимъ изъ предыдущихъ типовъ можно его сблизить?—3. Какія условія выработали въ Касьянѣ его оригинальную личность, его міросозерцаніе? — 4. Можно ли назвать Касьяна человѣкомъ «несообразнымъ», «несоразмѣрнымъ»—и въ какомъ смыслѣ? — 5. Почему Касьянъ послѣдовалъ за авторомъ на охоту?—6. Почему разсказъ открывается появленіемъ похороннаго поѣзда? — 7. Выяснить значеніе описаній природы въ этомъ разсказѣ.— 8. Чѣмъ отличается въ этомъ разсказѣ эстетика Касьяна отъ эстетики автора? — 9. Съ какимъ изъ предыдущихъ типовъ можно сблизить Ероѳея?

Бурмистръ.

1. Выяснить характеръ Пѣночкина со стороны его стремленій, ума и нравственныхъ свойствъ. — 2. Опредѣлить его положеніе въ ряду предыдущихъ помѣщичьихъ типовъ.—3. Какая гармонія съ основной темой разсказа замѣчается въ художественномъ описаніи въѣзда въ деревню? — 4. Опредѣлить типическія особенности Софрона Яковлевича: можно ли его сблизить съ какимъ-нибудь изъ предыдущихъ крестьянскихъ типовъ?—5. Продуктомъ какого времени является Софронъ Яковлевичъ въ «Запискахъ Охотника»: стараго или новаго?—6. Ослабляется ли значеніе этого разсказа вслѣдствіе отсутствія подробностей, дорисовывающихъ отношенія помѣщика и бурмистра къ крестьянамъ?

Контора.

1. Какой интересъ представляетъ собою огородникъ, самъ по себѣ и по отношенію къ дальнѣйшему ходу разсказа?—2. Какой отпечатокъ носитъ на себѣ внѣшнее описаніе конторы?—3. Сравнить хозяйственную дѣятельность Лосняковой съ хозяйственною дѣятельностью Пѣночкина.—4. Какая особенность помѣщичьяго управленія выдѣ-

ляется въ этомъ разсказѣ?—5. Какой интересъ представляетъ собою разсужденіе Ѳедюшки о службѣ у купцовъ?—6. Къ какой группѣ крестьянскихъ лицъ долженъ быть отнесенъ Купріянъ-истопникъ?—7. Съ какими изъ предыдущихъ типовъ можно сблизить Николая Еремѣевича?—8. Опредѣлить значеніе личности фельдшера Павла?—9. Выяснить всѣ мотивы, обусловившіе послѣднюю сцену въ этомъ разсказѣ?—10. Почему авторъ не доводитъ описанія послѣдней сцены до конца? Ослабляетъ ли это общее впечатлѣніе, производимое разсказомъ?

Бирюкъ.

1. Къ числу идеальныхъ или посредственныхъ крестьянскихъ типовъ относится Бирюкъ? Чѣмъ замѣчательны его жизненное положеніе и характеръ? Почему Бирюкъ отпустилъ мужика послѣ того, какъ тотъ сталъ его бранить, а не ранѣе? Какъ относились крестьяне къ Бирюку: понимали ли они его? Въ чемъ состоитъ значеніе сцены. происшедшей въ избѣ? — 2. Какъ выражается въ этомъ разсказѣ отношеніе автора къ изображаемымъ явленіямъ жизни?—3. Какая связь между описаніемъ природы и содержаніемъ разсказа?

Два Помѣщика.

1. Почему авторъ соединилъ въ одномъ разсказѣ характеристику этихъ двухъ помѣщиковъ? — 2. Сходно или различно ихъ отношеніе къ хозяйству и къ крестьянамъ?—3. Чѣмъ объяснить сочувственный отзывъ Василія о своемъ баринѣ?—4. Какова роль автора въ этомъ разсказѣ?

Лебедянь.

1. Какой интересъ представляютъ собою личности поручика Хлопакова и князя Н.? — 2. Какое заключеніе можно вывести изъ сопоставленія Сытникова съ Чернобаемъ?

Татьяна Борисовна и ея племянникъ.

1. Какое мѣсто занимаетъ Татьяна Борисовна въ ряду другихъ помѣщичьихъ типовъ?—2. Какое общее значеніе имѣютъ двѣ группы второстепенныхъ лицъ въ этомъ разсказѣ: а) Поликарпъ, Вася, слуги; б) Андрюша, Беневоленскій и старая дѣва? — 3. Какая черта въ Андрюшѣ имѣетъ широкое типическое значеніе?—4. Почему старая дѣвица не сошлась съ Татьяною Борисовной? — 5. Насколько естественно то, что Татьяна Борисовна «души не чаетъ въ своемъ племянникѣ»?

Смерть.

1. Почему авторъ подробно описываетъ, какъ расположились спутники Ардаліона Михайловича на полянѣ?—2. Какія общія черты можно подмѣтить во всѣхъ трехъ случаяхъ смерти?—3. Съ какими чертами являются лица, выведенныя въ этомъ разсказѣ?—4. Въ какомъ отношеніи къ главному сюжету разсказа находятся описанія природы, именно лѣса?—5. Какъ проявляется субъективный элементъ творчества въ разсказѣ?

Пѣвцы.

1. Какая разница: а) въ побужденіяхъ, управлявшихъ двумя пѣвцами, б) въ пріемахъ ихъ пѣнія, в) въ свойствѣ впечатлѣнія, произведеннаго каждымъ изъ нихъ на слушателей?—2. Чему обязанъ былъ Яковъ своею побѣдой? — 3. Почему авторъ характеризуетъ болѣе подробно слушателей, нежели пѣвцовъ?—4. Почему разсказъ оканчивается перекликаніемъ мальчиковъ на равнинѣ?—5. Въ какомъ отношеніи къ сюжету разсказа находятся описанія природы и обстановки?—6. Какое отношеніе имѣетъ этотъ разсказъ къ содержанію «Записокъ Охотника» вообще?

Петръ Петровичъ Каратаевъ.

1. Какое мѣсто занимаетъ Каратаевъ въ ряду другихъ помѣщичьихъ типовъ?—2. Какое вліяніе оказала на Ка-

ратаева жизнь въ столицѣ? — 3. Какое значеніе имѣютъ въ разсказѣ цитаты Каратаева изъ «Гамлета ? — 4. Выяснить особенности характера Матрены и причины трагизма ея положенія. — 5. Какія общія черты характера сближаютъ Каратаева съ Матреной?—6. Какой интересъ представляетъ собою барыня Матрены?

Свиданіе.

1. Съ какими изъ предыдущихъ типовъ можно сблизить Виктора Александровича? — 2. Чѣмъ замѣчателенъ образъ Акулины?—3. Значеніе и колоритъ описаній природы въ началѣ и въ концѣ разсказа?

Гамлетъ Щигровскаго уѣзда.

1. Что заставляло Александра Михайловича напрашиваться на посѣщеніе сановнаго гостя и волноваться ожиданіемъ его пріѣзда?—2. Какая связь между первой половиной разсказа и второй, въ которой является Гамлетъ Щигровскаго уѣзда?—3. Опредѣлить личность Г. Щ. у. со стороны ума, чувства, воли и стремленій.—4. Въ чемъ состоятъ его главные недостатки?—5. Выяснить, на основаніи данныхъ разсказа, общественныя условія, способствовавшія образованію этого типа.

Чертопхановъ и Недопюскинъ и конецъ Чертопханова.

1. Опредѣлить основныя черты личности Чертопханова въ отношеніи психологическомъ и бытовомъ?—2. Сравнить Чертопханова съ Гамлетомъ Щ. у. и съ Каратаевымъ?—3. Что связало дружбой Чертопханова и Недопюскина?—4. Выяснить различіе въ условіяхъ воспитанія того и другого и въ его послѣдствіяхъ. — 5. Опредѣлить достоинства и недостатки въ характерѣ Чертопханова: могъ ли онъ оказывать цивилизующее вліяніе въ средѣ дворянъ и крестьянъ? — 6. Почему Недопюскинъ, а не Чертопхановъ принимаетъ автора, когда онъ является къ нимъ въ гости? — 7. Какія особенности характера Маши привязы-

ваютъ къ ней Чертопханова?—8. Въ чемъ состоитъ главный источникъ недостатковъ Чертопхановыхъ—въ отсутствіи образованія или въ условіяхъ быта?

Живыя Мощи.

1. Въ чемъ состояло несчастье, причиненное Лукерьѣ ея болѣзнью? — 2. Сдѣлать характеристику Лукерьи до болѣзни. — 3. Въ какихъ фактахъ выражается духовная жизнь больной? — 4. Въ какихъ идеалахъ и въ какихъ реальныхъ фактахъ она находитъ себѣ нравственное удовлетвореніе? — 5. Какое поэтическое значеніе имѣетъ образъ Лукерьи въ своемъ цѣломъ? Принять во вниманіе эпиграфъ.—6. Почему она не желала лѣчиться: была ли она равнодушна къ жизни? — 7. Почему она заплакала, разговаривая съ авторомъ? — 8. Почему она старалась не думать? Достигала ли она этого? — 9. Что она разумѣла подъ мысленными грѣхами?—10. Есть ли гармонія между описаніемъ природы и сюжетомъ разсказа?

2. ОБЩІЕ ВОПРОСЫ.

Крестьянскіе типы: Хорь, Калинычъ, Ермолай, Арина, Степушка, Власъ, Туманъ, Овсяниковъ, Митя, Сучокъ, Владимиръ, Касьянъ, Ероѳей, Софронъ Яковлевичъ, Николай Еремѣичъ, Бирюкъ, Матрена, Викторъ Александровичъ, Акулина, Василій - буфетчикъ, Павелъ, Купріянъ-истопникъ, Лукерья, Огородникъ изъ Ананьева, Антипъ съ сыномъ.

Дворянскіе типы: Полутыкинъ, Звѣрковъ, Петръ Ильичъ, Валеріанъ Петровичъ, дѣдъ автора, Комовъ, Орловъ, Любозвоновъ, Королевъ, Пѣночкинъ, Лоснякова, Радиловъ, Ѳедоръ, Михеичъ, Стегуновъ, Хвалынскій, Татьяна Борисовна, Чернобай, князь Николай Хлопаковъ, Каратаевъ, Гамлетъ Щ. у., Чертопхановъ, Недопюскинъ.

1. Сдѣлать группировку всѣхъ крестьянскихъ типовъ съ точки зрѣнія психологической и съ точки зрѣнія бытовой, т.-е. по вліянію на нихъ бытовыхъ условій жизни.

Примѣчаніе: Въ отношеніи психологическомъ они могутъ быть раздѣлены, напримѣръ, на три группы: 1) натуры разсудочныя, резонеры; 2) натуры мечтательныя, страстныя; 3) натуры, не вполнѣ обрисованныя. Въ отношеніи бытовомъ, также, напримѣръ—на три группы: 1) типы людей, униженныхъ и забитыхъ подъ вліяніемъ бытовыхъ условій; 2) типы людей, испорченныхъ подъ ихъ вліяніемъ, дворовые и кулаки того времени; 3) типы лучшихъ людей, сохранившихъ свое человѣческое достоинство, несмотря на неблагопріятныя условія жизни.

2. Представить группировку помѣщичьихъ типовъ по вліянію на нихъ просвѣщенія и по ихъ отношенію къ крестьянамъ.

Примѣчаніе: Напримѣръ: 1) необразованные; 2) полуобразованные; 3) образованные; 1) деспоты сознательные; 2) деспоты добродушные; 3) идеальные типы *).

3. Какое вліяніе оказало крѣпостное право на различныя стороны народнаго быта?

Примѣчаніе: Напримѣръ: 1) на семейную жизнь; 2) на народный трудъ и характеръ; 3) на отношеніе народа къ образованному классу и къ образованію; 4) на направленіе его нравственныхъ идеаловъ.

4. На какія стороны быта и нравовъ культурнаго слоя общества крѣпостное право оказало свое вліяніе?

5. Какія положительныя стороны народнаго характера и жизни представлены въ «Запискахъ Охотника»?

6. Какой элементъ преобладаетъ въ «Запискахъ Охотника» — національный или общечеловѣческій?

7. Какое значеніе имѣютъ описанія природы въ «Запискахъ Охотника»?

8. Какъ слѣдуетъ считать: достоинствомъ или недостаткомъ художественныхъ пріемовъ автора—отсутствіе въ

---

*) Слово „идеальный“ мы употребляемъ здѣсь въ смыслѣ *лучшій изъ существующихъ*.

его разсказахъ рѣзкихъ картинъ и лирическихъ отступленій, относящихся къ темнымъ сторонамъ быта того времени?

9. Какую роль играетъ въ разсказахъ самъ авторъ, какъ дѣйствующее лицо?

10. Въ какихъ чертахъ обрисовывается личность автора: виденъ ли въ немъ баринъ?

Муму (1852 г.).

1. Какими чертами обрисовывается въ этомъ разсказѣ положеніе барыни въ домѣ и ея характеръ? — 2. Почему она назвала Герасима неблагодарнымъ и насколько была права? — 3. Выяснить, какія человѣческія черты характера глухонѣмого проявляются въ отношеніяхъ Герасима къ своему дѣлу, къ дворнѣ, къ Татьянѣ и къ Муму? — 4. Отчего онъ такъ сильно привязывается къ собакѣ и, утопивъ ее, уходитъ въ деревню? Почему онъ не ушелъ въ деревню вмѣстѣ съ своею собакой? — 5. Какимъ человѣкомъ представляется Герасимъ окружающей дворнѣ, и соотвѣтствуетъ ли это представленіе его личности? — 6. Въ какихъ формахъ выражаются у Герасима его горе и радость? — 7. Почему авторъ называетъ его нѣсколько разъ великаномъ и почему сравниваетъ съ гусакомъ? Въ какихъ случаяхъ проявляется умственная ограниченность глухонѣмого? — 8. Какими чертами обрисовываются въ этомъ разсказѣ дворовые люди: Гаврила, Татьяна, Капитонъ, Степанъ и др.? — 9. Что испытываетъ Татьяна, прощаясь съ Герасимомъ? — 10. Почему Гаврила называетъ Капитона «мочальной душой»? — 11. Въ чемъ состоитъ психологическое и бытовое значеніе этого разсказа? — 12. Выражается ли въ этомъ разсказѣ отношеніе автора къ изображаемымъ лицамъ?

Постоялый Дворъ (1852 г.).

1. Въ чемъ состоитъ главная причина несчастья Акима: въ слабости его характера, въ столкновеніи его съ куп-

цомъ-хищникомъ или въ крѣпостной зависимости отъ помѣщицы?

2. Подъ вліяніемъ какихъ условій произошелъ нравственный переворотъ въ душѣ Акима, превратившій его въ странника по святымъ мѣстамъ? Какіе главные мотивы этого переворота: религіозные или нравственные? Сравнить его въ этомъ отношеніи съ образомъ странника Власа (1854) Некрасова: насколько психологически-правоподобно очерченъ нравственный переворотъ въ жизни Власа?

3. Какъ характеризуются отношенія Акима къ помѣщицѣ?

4. Съ какими изъ крестьянскихъ типовъ «Записокъ Охотника» можно сблизить Акима въ отношеніи его душевнаго склада?

Ц. Балталонъ.

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ ДО „РУДИНА“.

„Андрей Колосовъ“.

*) «Андрей Колосовъ» былъ написанъ въ 1844 году, то-есть въ лучшую эпоху критики гоголевскаго періода, глядѣвшей съ крайней благосклонностью на всѣ литературныя начинанія г. Тургенева. Искренно, глубоко раздѣляя идеи и тенденціи цѣнителей, такъ ему симпатизировавшихъ, нашъ авторъ строитъ свое первое произведеніе сообразно взглядамъ, въ то время считавшимся и новыми и справедливыми. Жоржъ Зандъ, передъ которою такъ многіе преклонялись въ 1844 году, оставила свой видимый слѣдъ на характерахъ и интригѣ всей повѣсти. По замыслу своему «Андрей Колосовъ» приводитъ намъ на мысль нѣсколько блистательнѣйшихъ nouvelles котораголибо изъ даровитѣйшихъ французскихъ писателей молодой школы: такъ изящно-парадоксально основаніе повѣсти, такъ ловко расцвѣчена мысль, въ ней заключенная. Есть что-то не русское въ складѣ «Андрея Колосова»; само собой разумѣется, что прилагательное нерусскій здѣсь употреблено не въ худомъ смыслѣ. Содержаніе вещи всего лучше покажетъ справедливость замѣчанія нашего, а вмѣстѣ съ тѣмъ введетъ читателя въ міръ идеаловъ особенно близкихъ къ сердцу нашего писателя.

---

*) А. Дружининъ. „Библіотека для Чтенія“ 1857 г., кн. 2. Также Сочиненія А. Дружинина, т. 7.

Въ одномъ изъ дружескихъ круговъ Москвы и Петербурга рѣчь зашла о необыкновенныхъ людяхъ и о томъ, чѣмъ они отличаются отъ обыкновенныхъ людей. Каждый излагалъ свое мнѣніе по своему, когда одинъ небольшой, блѣдный человѣкъ предложилъ разсказать о встрѣчахъ съ необыкновеннымъ человѣкомъ, описать личность, достойную зваться необыкновенною,—однимъ словомъ, перейти отъ безплодныхъ общихъ разсужденій къ живымъ, удобопонятнымъ подробностямъ. Какъ и слѣдуетъ ожидать, самому блѣдному человѣку пришлось разсказывать,—а онъ разсказалъ слѣдующее.

Въ университетѣ, въ Москвѣ, блѣдный человѣкъ былъ друженъ съ молодымъ студентомъ Андрюшей Колосовымъ (онъ же человѣкъ необыкновенный). Самъ блѣдный человѣчекъ, судя по тону его разсказа, читалъ современныхъ писателей, зналъ Байрона и его подражателей, на жизнь глядѣлъ не безъ ироніи, когда то считавшейся чѣмъ то изящнымъ, а вслѣдствіе всего сказаннаго, былъ довольно тугъ на знакомства. Не взирая на это, Колосовъ съ первыхъ свиданій сдѣлался не только кумиромъ, но даже повелителемъ его сердца. Особенное привлекательное нѣчто у Колосова состояло въ беззаботно веселомъ и смѣломъ выраженіи лица, да еще въ улыбкѣ чрезвычайно плѣнительной. Колосовъ не былъ очень образованнымъ юношей, профессора не видѣли въ немъ особенныхъ дарованій, ни богатства ни общественнаго положенія онъ не имѣлъ, а между тѣмъ товарищи не только его любили и уважали, но даже подчинялись ему съ удовольствіемъ. Блѣдный человѣчекъ съ первыхъ разговоровъ, не взирая на свой байронизмъ, повергся въ трепетное благоговѣніе передъ Колосовымъ, — но избалованному юношѣ не въ диковинку были такія чувства. У Андрея уже былъ одинъ другъ, по имени Гавриловъ, человѣкъ самый обыкновенный, но спокойный и преданный, какъ нельзя болѣе. Въ скоромъ времени однако Гавриловъ умеръ, и роль пламеннаго сеида досталась блѣдному человѣчку, совершенно осчастливленному такимъ вниманіемъ Колосова.

Съ этого времени-то и стала высказываться вся необыкновенность Андрея, необыкновенность истинно изумительная, если о ней подумать въ наше время. Прежде всего этотъ плѣнительный юноша обратилъ своего университетскаго друга въ нѣчто среднее между лакеемъ и наперсникомъ, а потому спросилъ: «умѣетъ ли онъ играть въ карты?» Ничего не сказавши болѣе, свезъ его въ скучнѣйшій домъ отставного поручика Сидоренка, человѣка грубаго и крайне дерзкаго на языкъ. У Сидоренка имѣлась дочь Варя, въ которую былъ влюбленъ Колосовъ,—для того, чтобъ молодымъ людямъ было удобнѣе болтать и бесѣдовать, блѣдному человѣку пришлось играть въ карты съ Сидоренкомъ и какой-то старухой, его родственницей. Само собой разумѣется, наперсника обыграли и, кажется, выругали, а вдобавокъ онъ еще влюбился въ избранницу плѣнительнаго Колосова, Вареньку Сидоренко.

Вотъ что говоритъ онъ про эту дѣвочку: «Я, кажется, забылъ довести до свѣдѣнія вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщинъ и избѣгалъ ихъ, хотя, бывало, наединѣ по цѣлымъ часамъ мечталъ о свиданьяхъ, о любви, о взаимной любви, и т. д. Варвара Ивановна была первая дѣвушка, съ которой необходимость заставила поговорить,—именно необходимость. Варя была дѣвушка очень обыкновенная, а между тѣмъ такихъ дѣвушекъ весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замѣчалъ въ ней ничего натянутаго, неестественнаго, жеманнаго; оттого, что она была простое, откровенное, нѣсколько грустное созданіе; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мнѣ нравилась ея тихая улыбка; я любилъ ея простодушно-звонкій голосокъ, ея легкій и веселый смѣхъ, ея внимательные, хотя совсѣмъ не «глубокіе» взоры. Этотъ ребенокъ не обѣщалъ ничего; но вы невольно любовались имъ, какъ любуетесь внезапнымъ мягкимъ крикомъ иволги вечеромъ въ высокой и темной березовой рощѣ. Я долженъ сознаться, что въ иное время я довольно равнодушно прошелъ бы мимо такого созданья; мнѣ теперь

не до вечернихъ одинокихъ прогулокъ, не до иволгъ; но тогда»...

Дѣло, завязавшееся въ вечеръ, упомянутый нами, тянулось много дней и много вечеровъ съ великимъ однообразіемъ. Постоянно Андрей Колосовъ возилъ своего новаго друга къ отцу Вари, и постоянно блѣдный человѣчекъ проигрывалъ свои деньги въ обезпеченіе свиданій Вареньки съ Колосовымъ. Мы съ Андреемъ, говоритъ блѣдный человѣчекъ, довольно часто ходили къ Ивану Семеновичу, и хотя проклятыя карты меня не разъ приводили въ совершенное отчаяніе, но въ одной близости любимой женщины (я полюбилъ Варю) есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада.

«Я не старался подавлять это возникающее чувство; притомъ, когда я, наконецъ, рѣшился назвать это чувство по имени, оно уже было слишкомъ сильно... Я молча лелѣялъ и ревниво и робко таилъ свою любовь. Мнѣ самому нравилось это томительное броженіе молчаливой страсти. Страданія мои не лишали меня ни сна ни пищи... но я по цѣлымъ днямъ ощущалъ въ груди то особенное чувство, которое служитъ признакомъ присутствія любви. Я не въ состояніи изобразить вамъ ту борьбу разнороднѣйшихъ ощущеній, которая происходила во мнѣ, когда, напримѣръ, Колосовъ возвращался съ Варей изъ саду, и все лицо ея дышало восторженной преданностью, усталостью отъ избытка блаженства... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута имъ, что незамѣтно перенимала его привычки, такъ же взглядывала, такъ же смѣялась, какъ онъ... Я воображаю, какія мгновенья провела она съ Андреемъ, какимъ блаженствомъ обязана ему... А онъ... Колосовъ не утратилъ своей свободы; въ ея отсутствіи, онъ, я думаю, и не вспоминалъ о ней; онъ былъ все тѣмъ же безпечнымъ, веселымъ и счастливымъ человѣкомъ, какимъ мы его всегда знавали.

«И такъ, мы, какъ я вамъ уже сказалъ, ходили съ Колосовымъ къ Ивану Семеновичу довольно часто. Иногда (когда онъ не былъ въ духѣ) отставной поручикъ не

засаживалъ меня за карты; въ такомъ случаѣ, онъ молча забивался въ уголъ, хмурилъ брови и поглядывалъ на всѣхъ волкомъ. Въ первый разъ я обрадовался его снисхожденію; но потомъ, бывало, самъ начну упрашивать его сѣсть за «вистикъ»: роль третьяго лица такъ невыносима! я такъ непріятно стѣснялъ Колосова и Варю, хотя они сами увѣряли другъ друга, что при мнѣ нечего церемониться!»

«Между тѣмъ время шло да шло... Они были счастливы... Я не люблю описывать счастье другихъ. Но вотъ, я сталъ замѣчать, что дѣтская восторженность Вари постепенно замѣнялась болѣе женскимъ, болѣе тревожнымъ чувствомъ. Я началъ догадываться, что новая погудка загудѣла на старый ладъ, т.-е. что Колосовъ... понемногу... холодѣетъ. Это открытіе меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не чувствовалъ ни малѣйшаго негодованья противъ Андрея».

«Промежутки между нашими посѣщеніями становились все больше и больше... Варя начинала встрѣчать насъ съ заплаканными глазками. Послышались упреки... Бывало, я спрошу Колосова съ притворнымъ равнодушіемъ: «Что-жъ? Пойдемъ мы сегодня къ Ивану Семеновичу?..» Онъ холодно посмотритъ на меня и спокойно проговоритъ: «нѣтъ, не пойдемъ». Мнѣ иногда казалось, что онъ лукаво улыбается, говоря со мной о Варѣ... Вообще, я не замѣнилъ ему Гаврилова... Гавриловъ былъ въ тысячу разъ добрѣй и глупѣй меня».

И такъ Колосовъ, *человѣкъ дѣла*, разлюбилъ Варю, между тѣмъ какъ блѣдный человѣкъ, человѣкъ слова, человѣкъ рефлекторства и напрасныхъ порывовъ, продолжаетъ любить покинутую дѣвушку съ романической горячностью. Не имѣя силы противиться своимъ стремленіямъ, онъ одинъ идетъ въ домъ Сидоренка и застаетъ Варю унылою, горькою, заплаканною. Сидоренко грубо подсмѣивается надъ одинокимъ гостемъ, говоритъ, что теперь Колосова, я чай, сюда калачомъ не заманишь! Варенька проситъ человѣка зайти завтра послѣ обѣда прямо въ садъ, въ эту пору ея

папаша спитъ, и свиданію никто помѣшать не можетъ. Вся эта сѣть странныхъ, и, по правдѣ сказать, нѣсколько безобразныхъ отношеній, однако не утомляетъ читателя, благодаря поэзіи, которою проникнута вся повѣсть. На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ цѣнитель готовится сказать: «да что же это за нравы, и гдѣ свершается вся эта путаница?» разсказъ вдругъ принимаетъ стремительный поэтическій полетъ, выкупающій всѣ его недостатки.

«На другой день, въ три часа пополудни, я уже былъ въ саду Ивана Семеныча. Утромъ я не видѣлъ Колосова, хоть онъ и заходилъ ко мнѣ. День былъ осенній, сѣрый, но тихій и теплый. Желтыя, тонкія былинки грустно качались надъ поблѣднѣвшей травой; по темно-бурымъ, обнаженнымъ сучьямъ орѣшника попрыгивали проворныя синицы; запоздалые жаворонки торопливо бѣгали по дорожкамъ; кой-гдѣ по зеленямъ осторожно пробирался заяцъ. стада лѣниво бродили по жнивью. Я нашелъ Варю въ саду, подъ яблоней, на скамейкѣ; на ней было темное. немного измятое платье; въ ея усталомъ взглядѣ, въ небрежной прическѣ волосъ высказывалась неподдѣльная горесть.

«Я сѣлъ подлѣ нея. Мы оба молчали. Она долго вертѣла въ рукахъ какую-то вѣтку, наклонила голову, проговорила: «Андрей Николаевичъ»... Я тотчасъ замѣтилъ по движеніямъ ея губъ, что она собиралась заплакать; я началъ утѣшать ее, съ жаромъ увѣрять ее въ привязанности Андрея... Она слушала меня, печально покачивала головой, произносила невнятныя слова и тотчасъ же умолкала, но не плакала. Первыя мгновенья, которыхъ я болѣе всего боялся, прошли довольно благополучно. Она понемногу разговорилась объ Андреѣ. — «Я знаю, что онъ меня теперь уже не любитъ, —повторяла она:—Богъ съ нимъ!.. Я не могу придумать, какъ мнѣ жить безъ него... Я по ночамъ не сплю, все плачу... Что жъ мнѣ дѣлать?.. Что жъ мнѣ дѣлать?..» Глаза ея наполнились слезами. «Онъ мнѣ казался такимъ добрымъ, и вотъ»... Варя утерла слезы, кашлянула и выпрямилась. «Давно ли, кажет-

ся», продолжала она: — «онъ мнѣ читалъ изъ Пушкина, сидѣлъ со мной на этой скамьѣ...» Наивная болтливость Вари меня трогала: я молча слушалъ ея признанья: душа моя медлительно проникалась горькимъ, мучительнымъ блаженствомъ; я не отводилъ глазъ отъ этого блѣднаго лица, отъ этихъ длинныхъ, мокрыхъ рѣсницъ, отъ полураскрытыхъ, слегка засохшихъ губъ... И между тѣмъ, я чувствовалъ... Угодно вамъ выслушать небольшой психологическій разборъ моихъ тогдашнихъ чувствъ? Во-первыхъ, меня мучила мысль, что не *я* любимъ, не *я* заставляю страдать Варю; во-вторыхъ, меня радовала ея довѣренность; я зналъ: она будетъ благодарна за то, что я доставилъ ей возможность высказать свое горе; въ третьихъ, я внутренно давалъ слово сблизить опять Колосова съ Варей, и меня утѣшало сознанье моего великодушія... въ четвертыхъ, я надѣялся своимъ самоотверженіемъ тронуть сердце Вари — а тамъ... Видите, я не щажу себя; слава Богу, пора! Но вотъ, на колокольнѣ ...го монастыря пробило пять часовъ; вечеръ быстро приближался, Варя торопливо встала, сунула мнѣ въ руку записочку, и пошла домой. Я догналъ ее, обѣщалъ ей привести Андрея, и тихонько, будто счастливый любовникъ, выскочилъ изъ калитки въ поле. На запискѣ неровнымъ почеркомъ были написаны слова: «милостивому государю Андрею Николаевичу».

Бѣдная записочка, смоченная слезами любящей дѣвочки, само собой разумѣется, не могла измѣнить отношеній Вари къ Колосову. Она даже пришла не во-время! Когда блѣдный человѣкъ пришелъ къ своему кумиру, у необыкновеннаго человѣка сидѣлъ какой-то недоучившійся студентъ, читавшій что-то о юношѣ, любившемъ дѣву и такъ далѣе. Блѣдный человѣкъ почувствовалъ, что пришелъ не во-время, несмотря на то, что гость-сочинитель кончилъ чтеніе и вскорѣ удалился. Его нелѣпое сочиненіе, крикливый голосъ, вообще его присутствіе возбудило въ Колосовѣ насмѣшливое раздраженіе.

Колосовъ прочелъ записку, помолчалъ и спокойно улыбнулся. «Андрей», сказалъ ему блѣдный человѣкъ, — «тебѣ

не жаль ея?» Колосовъ молчалъ и курилъ трубку. «Ты сидѣлъ съ ней подъ яблоней въ саду?» проговорилъ онъ. наконецъ «Помнится, въ маѣ мѣсяцѣ и я сидѣлъ съ нею на этой скамьѣ... Яблонь была въ цвѣту, изрѣдка падали на насъ свѣжіе бѣлые цвѣточки... я держалъ обѣ руки Вари... мы были счастливы тогда... *Теперь яблонь отцвѣла, да и яблоки на ней кислыя*». Блѣдный человѣкъ, исполнившись негодованіемъ, сталъ упрекать Андрея въ холодности, въ жестокости. Необыкновенный Колосовъ отвѣчаетъ ему такими словами: «Варя прекрасная дѣвушка, она ни въ чемъ передо мной не виновата. Я пересталъ ходить къ ней по весьма простой причинѣ—я разлюбилъ ее».—«Да отчего-же, отчего-же?» перебилъ тутъ Андрея его поклонникъ. «А Богъ знаетъ отчего» — отвѣчалъ Колосовъ. «Пока я любилъ ее, я весь принадлежалъ ей, я не думалъ о будущемъ, и всѣмъ, всей жизнью дѣлился я съ нею... теперь эта страсть во мнѣ погасла... Что-жъ? ты мнѣ прикажешь притворяться, прикидываться влюбленнымъ что-ли! Да изъ чего? изъ жалости къ ней? Если она порядочная дѣвушка, такъ она сама не захочетъ такой милости, а если она рада тѣшиться моимъ... участьемъ, такъ чортъ-ли въ ней»? Затѣмъ Андрей Колосовъ сознается, что какая-то Танюша запретила ему ходить къ Варѣ, и совѣтуетъ блѣдному человѣку прочитать оставленной Аріаднѣ одинъ стихъ изъ Пушкина:

Что было, то не будетъ вновь.

Въ добавленіе, онъ могъ бы посовѣтовать ей читать романы Жоржъ Занда. Тѣмъ все дѣло и кончается, хотя отношенія блѣднаго человѣка къ Варѣ даютъ г. Тургеневу поводъ къ нѣсколько истинно прелестнымъ страницамъ. Исторія кончается ничѣмъ—блѣдный человѣкъ, рѣшившійся жениться на Варѣ, самъ пугается своего рѣшенія, и бѣжитъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ его сердце билось, а карманъ страдалъ вслѣдствіе картежныхъ партій съ Сидоренкомъ.

«Вы мнѣ скажете—что жъ удивительнаго», заключилъ блѣдный человѣкъ, кончая разсказъ — въ чемъ же чудо,

что Колосовъ полюбилъ дѣвушку, потомъ разлюбилъ и бросилъ ее? Да это случалось со всѣми. Согласенъ, но кто изъ васъ умѣлъ во-время разстаться съ своимъ прошлымъ? Кто, скажите, не боится упрековъ, не говорю упрековъ женщины... упрековъ перваго глупца? Кто изъ насъ не поддавался желанію то щегольнуть великодушіемъ, то себялюбиво поиграть съ другимъ, преданнымъ сердцемъ? Наконецъ, кто изъ насъ въ силахъ противиться мелкому самолюбію—*мелкимъ хорошимъ чувствамъ*". О, господа,—человѣкъ, который разстается съ женщиною, нѣкогда любимой, въ тотъ горькій и великій мигъ, когда онъ невольно сознаетъ, что его сердце не все, не вполнѣ проникнуто ею, этотъ человѣкъ, повѣрьте мнѣ, лучше и глубже понимаетъ святость любви, чѣмъ тѣ малодушные люди, которые отъ скуки, отъ слабости продолжаютъ играть на полупорванныхъ струнахъ своихъ вялыхъ и чувствительныхъ сердецъ! Въ началѣ разсказа я вамъ сказалъ, что мы всѣ прозвали Андрея Колосова человѣкомъ необыкновеннымъ. И если ясный, простой взглядъ на жизнь, если отсутствіе всякой фразы въ молодомъ человѣкѣ можетъ назваться вещью необыкновенной,—Колосовъ заслуживалъ данное ему имя...»

Въ этомъ краснорѣчивомъ отзывѣ о личности Андрея Колосова, сказывается намъ весь взглядъ г. Тургенева на героя первой своей повѣсти. Нечего говорить о томъ, до какой степени сказанный взглядъ, не взирая на его поэтическій колоритъ, неестественъ, нелогиченъ, нечеловѣченъ, невѣренъ даже дѣйствительности и не *соотвѣтствуетъ лицу Колосова такъ, какъ оно представлено въ повѣсти.* Самъ авторъ осудилъ своего героя въ заключеніи Фауста: въ молодости мы думаемъ, чѣмъ свободнѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ дальше уйдешь. Молодости позволительно такъ думать, но стыдно тѣшиться обманомъ, когда суровое лицо истины глянуло, наконецъ, тебѣ въ глаза... Жизнь не есть исполненіе любимыхъ цѣлей и мечтаній—исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку! Колосовъ есть человѣкъ, не носящій на себѣ спасительныхъ цѣпей долга

эгоистъ, глядящій на жизнь не серьезно, или вовсе о ней не помышляющій. Въ поступкѣ его не имѣется ровно ничего необыкновеннаго, въ похвальномъ смыслѣ слова,—необыкновенно въ разсказѣ развѣ лишь одно сцѣпленіе обстоятельствъ, пособившее Колосову вывернуться изъ всей исторіи безъ ущерба своимъ бокамъ и своему доброму имени. Если поступалъ онъ съ Варей платонически, какъ Меричъ г. Островскаго, онъ поступалъ подобно школьнику, если онъ обольстилъ дѣвушку ему преданную, онъ сталъ наперекоръ законнѣйшимъ правамъ общества, и стоитъ зваться преступникомъ. Простоты и откровенности въ его дѣлахъ нѣтъ, ибо сами эти дѣла, для своего совершенія, требуютъ хитрости и тайны, обмана и порочныхъ стремленій,—извилистаго пути и презрѣннаго бѣгства передъ развязкою. Безподобный и необыкновенный Колосовъ прежде всего поставленъ его товарищемъ въ среду ненормальную и извращенную, ибо посреди обычной, здоровой жизни, Колосову никто не далъ бы ступить шагу. Отъ ненормальности героя и его поступковъ вытекла ненормальность всѣхъ лицъ его окружающихъ. Сидоренко, для виста оставляющій дочь съ Андреемъ и нисколько не возмущающійся исчезновеніемъ Колосова, не есть лицо дѣйствительное, ибо Сидоренко настоящій, узнавши о томъ, что дочь его обольщена или просто *сбита съ толку* хитрымъ волокитой, не приминулъ бы явиться на квартиру Колосова съ угрозами и кулаками. Блѣдный человѣкъ, равнымъ образомъ, весьма блѣденъ и имѣетъ въ себѣ мало живого, потому-что подобнаго подобострастнаго друга и любовника можно сыскать развѣ въ мірѣ фантастическомъ. И столбъ во образѣ человѣка сталъ бы поперечить Колосову, если не по части нестерпимой картежной игры, то, по крайней мѣрѣ, относительно отношеній Колосова къ Варенькѣ. И, наконецъ, сама Варя, несмотря на весь поэтическій талантъ, израсходованный на ея созданіе, должна назваться лицомъ подставнымъ, сдѣланнымъ,—существомъ, которое изготовлено авторомъ единственно для оттѣненія Андреевой личности. Самая тѣнь коллизіи и самостоятельности не являет-

ся въ этой глубоко-оскорбленной женской душѣ, — Варя не только не помышляетъ о мщеніи, о негодованіи на Колосова, то сама идетъ на гибель, какъ неразумная овца, и, пропадая, не знаетъ своей гибели. Чтобы Варя не мѣшала совершенству Колосова, г. Тургеневъ даже покрываетъ какимъ-то мракомъ неизвѣстности исторію ея будущности. Неужели г. Тургеневъ, кончая повѣсть, не ставилъ событій такимъ образомъ: а вѣдь Варенька, сдѣлавши первый гибельный шагъ своей связью съ Колосовымъ, могла не остановиться на первой ступени паденія? Если оно дѣйствительно такъ было, то какъ же понимать намъ поведеніе плѣнительнаго, необыкновеннаго юноши? Какими софизмами станемъ мы оправдывать его *пониманіе любви, его умѣнье разставаться съ женщиной нѣкогда любимой?* Но авторъ не останавливается и не желаетъ остановиться на такомъ соображеніи,—его героиня улетаетъ и теряется въ туманѣ, чуть она перестаетъ быть надобною для темы заранѣе придуманной.

Вотъ недостатки самого Колосова и лицъ, поставленныхъ авторомъ въ соприкосновеніе съ героемъ; недостатки эти, какъ мы сейчасъ убѣдимся, происходятъ не отъ замысла, а отъ постройки повѣсти, не отъ странности моральныхъ воззрѣній въ авторѣ, но отъ его погрѣшности, какъ повѣствователя. Простодушно и откровенно говоримъ мы, что лицо Андрея Колосова кажется намъ лицомъ безпутнаго и вѣтреннаго эгоиста — но тутъ и рождается вопросъ — неужели же типъ подобнаго рода могъ обольстить собой г. Тургенева? Какими судьбами нашъ поэтъ, самый чистый и цѣломудренный изъ современныхъ намъ литераторовъ, могъ увлечься исторіей мелкой интриги въ какомъ-то московскомъ захолустьи, увидать въ ея героѣ нѣчто необыкновенное и истолковать всѣ недостатки этого героя самымъ пристрастнымъ образомъ? На какомъ основаніи авторъ повѣсти, при его свѣтломъ взглядѣ на дѣла жизни, рѣшился стать на сторонѣ мелкаго московскаго соблазнителя, противъ бѣднаго существа, имъ погубленнаго, противъ законовъ честности, имъ нарушенныхъ? Ни жоржъ-

зандизмъ, понятный въ 1844 году, ни лермонтовскій элементъ, ни понятія о свободѣ любовныхъ отношеній — не могли привести его къ узкости взгляда—вся дѣятельность Тургенева намъ ясно показываетъ, что, даже увлекаясь недостаточно-вѣрными теоріями, онъ тщательно откидывалъ изъ нихъ все циническое, все несовременное, все преувеличенное. Ясно, что г. Тургеневъ понималъ дѣло иначе, чѣмъ мы его понимаемъ, хотѣлъ передать намъ не то, что мы видимъ въ его Андреѣ Колосовѣ. Весь грѣхъ происходитъ отъ ошибочной постройки повѣсти «Андрей Колосовъ», или, говоря опредѣлительнѣе, отъ несоотвѣтственности основной идеи произведенія съ ея развитіемъ въ рядѣ сценъ и объективныхъ образовъ. Здѣсь мы попросимъ читателя слѣдить за нашими выводами съ особеннымъ вниманіемъ. Мы не даромъ говоримъ такъ много о первой повѣсти Тургенева: недостатки, нами въ ней открытые, будутъ ключомъ къ уразумѣнію слабыхъ сторонъ въ другихъ, несравненно совершеннѣйшихъ трудахъ нашего автора.

Взглянемъ же теперь, какъ можно проницательнѣе, на идею Колосова, а затѣмъ на постройку самой повѣсти. Заключительная рѣчь блѣднаго человѣка о томъ, что такое необыкновеннный человѣкъ, высказываетъ намъ, какъ мы уже упомянули, взглядъ самого Тургенева на героя своей повѣсти. Не мелкаго и не избалованнаго эгоиста задумалъ изобразить авторъ: замыселъ его бралъ дальше и глубже. Въ Колосовѣ онъ хотѣлъ представить намъ натуру смѣлую, ясную, откровенную, глядящую на дѣла жизни прямо и чистосердечно. Въ молодомъ небогатомъ студентѣ, такъ увлекающемъ всѣхъ, кто къ нему приближается, поэтъ видѣлъ типъ человѣка чуждаго фразы, часто увлекающагося, но честнаго въ своихъ увлеченіяхъ, человѣка, исполненнаго свѣжихъ молодыхъ силъ и свободно тратящаго эти силы. Такія смѣлыя, прямыя, размашистыя натуры часто встрѣчаются въ дѣйствительности, и въ самомъ дѣлѣ производятъ магическое вліяніе на весь людъ, ихъ окружающій. Нельзя не сознаться въ изяществѣ за-

мысла, въ привлекательности типа, о которыхъ теперь говорится. Но бѣда повѣсти состоитъ въ томъ, что *ея замыселъ разнится съ постройкою,* что типъ, зародившійся въ головѣ даровитаго разсказчика, въ разсказѣ утратилъ все свое значеніе. Широко раскинувшись при задумываніи вещи, сочинитель не въ мѣру сузилъ ея исполненіе, и оттого впалъ въ несоразмѣрность идеи съ ея воплощеніемъ. Ясно, что повѣсть, основанная на характерѣ Колосова (того Колосова, о которомъ думалъ авторъ), должна была показать нашего героя въ коллизіи со многими сторонами жизни, а между тѣмъ въ повѣсти дѣло идетъ о маленькомъ, темномъ волокитствѣ, и не о чемъ болѣе. Личность, понимаемая авторомъ, какъ личность изящная и широкая, приведена въ соприкосновеніе съ самой узкой, самой блѣдной средою, а оттого ей или дѣлать нечего, или приходится совершать дѣла ей несоотвѣтствующія. Отчего же происходитъ такая несоразмѣрность постройки, такое бѣдное отношеніе между замысломъ и представленіемъ? Скажемъ прямо и откровенно—отъ недостаточнаго труда надъ своей темой, вмѣстѣ съ слабостью объективнаго творчества. Объективные образы даются Тургеневу трудно, событія у него не слагаются ровно и широко, способность анализа въ немъ опередила мощь созданія, а онъ, вмѣсто того, чтобъ усиленнымъ трудомъ восполнить хотя часть того, что не удалось ему сразу, уклоняется отъ труда и тщательной разработки своего предмета. Мы увидимъ, что этотъ коренной недостатокъ Колосова, произведенія юношескаго, скажется намъ и въ Рудинѣ, вещи несравненно болѣе зрѣлой, мы увидимъ, что онъ проявится и въ другихъ превосходныхъ трудахъ автора нашего. Но довольно говорить о слабыхъ сторонахъ Колосова: намъ еще надо сказать, отчего эта недодѣланная и, повидимому, совершенно нескладная повѣсть такъ понравилась въ свое время, такъ нравится и до сей поры, послѣ второго, третьяго, четвертаго чтенія.

Короткія выписки наши уже дали читателю понятіе о сильной поэтической струѣ, наполняющей собою весь разсказъ вещи, нами теперь разбираемой, но читатель повѣ-

ритъ намъ, если мы скажемъ ему, что эти поэтическія выписки составляютъ лишь малую часть прелестныхъ сторонъ повѣсти. Не взирая на блѣдность дѣйствующихъ лицъ, несмотря на неестественное ихъ положеніе другъ къ другу, поэзія бьетъ широкимъ потокомъ по всему произведенію, отъ того мѣста, гдѣ блѣдный человѣкъ начинаетъ говорить про Колосова, до послѣднихъ словъ того же блѣднаго человѣчка. Изъ устъ безцвѣтной и довольно уродливой личности льются рѣчи, пропитанныя задушевнымъ лиризмомъ, полныя поэзіи школьныхъ воспоминаній, полныя той *музыки любви*, о которой нѣтъ возможности говорить въ сжатомъ критическомъ обзорѣ. Лирическая и изящно субъективная, лучшій плодъ нѣжной и симпатической души человѣка, поэзія Тургенева имѣетъ несомнѣнную своеобразность, трудно уловимую, но понятную для всякаго, кто только знаетъ и любитъ произведенія поэта нашего. Сколько жару, сколько юношеской робости, сколько потребности на любовь во всѣхъ первыхъ отношеніяхъ блѣднаго человѣчка къ Колосову! Какія тонкія душевныя струны затронуты при разсказѣ о зарожденіи его любви къ чужой избранницѣ, сколько правды въ его болѣзненномъ наблюденіи за Андреемъ и Варей, сколько глубокаго страданія въ его колебаніяхъ, послѣ того, какъ эти Ромео и Юлія московскаго захолустья разстались другъ съ другомъ! Сцена, на которой блѣдный человѣчекъ на нѣсколько минутъ дѣлается женихомъ Вари и упивается блаженствомъ, однако же сознавая, что всѣ мысли дѣвушки наполнены покинувшимъ ее Андреемъ, достойна зваться истиннымъ перломъ, хотя мы терпѣть не можемъ слова перлъ и даже холодны къ гоголевскому перлу созданія. Въ тургеневской поэзіи, кромѣ ея симпатичности и своеобразности, есть еще одна драгоцѣнная сторона: эта поэзія свободно-безсознательна, а потому какъ-то особенно тиха и стыдливо сдержанна. Тургеневъ очень хорошо знаетъ, что сдѣлало его поэтомъ, и нерѣдко разсчитываетъ на ту сторону своего дарованія, но внимательный глазъ критика тотчасъ подмѣтитъ мѣста *дѣланныя* и отнесетъ ихъ къ ряду второ-

степенныхъ красотъ. Лучшія же и несомнѣнно высокія страницы нашего автора вырываются у него сами собою и, можетъ быть, даже его самого не вполнѣ удовлетворяютъ. Эти страницы (иногда даже строки) коротки, просты, какъ будто причудливо сжаты. О томъ, кто не умѣетъ отличать такихъ мѣстъ и досыта насладиться ими, мы можемъ только жалѣть отъ всей души нашей.

Когда мы перечитывали «Андрея Колосова» въ послѣдній разъ, намъ невольно пришло на память одно представленіе «Каменнаго Гостя», плохо обставленнаго въ сценическомъ отношеніи. Декораціи были стары и бѣдны. Донъ-Жуанъ вовсе не походилъ на безстрашнаго гидальго, дона Анна едва-едва была похожа на женщину. Мы сидѣли на жесткомъ стулѣ около сцены, досадуя и на артистовъ и на зрителей, не ожидая ничего добраго отъ пушкинской поэзіи, такъ худо истолкованной. Но при первыхъ стихахъ безсмертнаго поэта нашего, океанъ плѣнительнѣйшихъ ощущеній вторгнулся къ намъ въ душу. Сладкая, могучая поэзія подхватила насъ на свои крылья, въ самое короткое время унеся насъ далеко, далеко отъ Донъ-Жуана въ мишурной мантіи, отъ доны Анны въ порыжѣвшихъ кружевахъ россійскаго издѣлія! Всѣ мелочи небрежной постановки будто сгладились, сцена какъ бы просіяла и расширилась, стихи Пушкина, худо выученные и дурно произносимые, показались намъ слаще, чѣмъ когда-либо. И когда тощій Донъ-Жуанъ сталъ говорить посреди общаго молчанія:

Какъ, мнѣ молиться съ вами, дона Анна?
Я не достоинъ участи такой...

Слезы навернулись на глазахъ нашихъ и помѣшали намъ глядѣть на сцену. Такова сила истинной, великой поэзіи, такъ легко можетъ она выкупать всѣ недостатки объективныхъ изображеній искусства.

Послѣ всего, нами теперь сказаннаго, легко будетъ подвести общій итогъ средствамъ, съ которыми прозаикъ-Тургеневъ въ первый разъ выступилъ въ ряды русскихъ

повѣствователей. Первая повѣсть его въ одно время поражаетъ прелестью поэтическихъ элементовъ и страдаетъ отъ неправильной постройки, корень которой въ слабости Тургенева на созданіе объективныхъ представленій. Поэзія, которою проникнуто все произведеніе, даетъ ему несомнѣнное значеніе въ литературѣ, но въ то же время, существуя отдѣльно отъ идеи и постройки цѣлаго, теряетъ часть своей силы. Труды нашего писателя много разъ оставались безплодными, ибо онъ самъ, упорно трудясь надъ разработкой своего таланта, не рѣшался отбросить отъ себя эстетическихъ теорій и воззрѣній, замедлявшихъ дѣло своимъ вліяніемъ. Не по одной слабости или торопливости нашъ авторъ продолжалъ строить свои повѣсти по примѣру «Андрея Колосова» — онъ былъ способенъ грѣшить не только какъ художникъ, но и какъ человѣкъ современный и легко увлекающійся. Инстинктъ поэта подсказывалъ Тургеневу, что его поэзія нуждается въ ясномъ взглядѣ на жизнь и людей, въ твердой, незыблемой почвѣ для своего корня. Но авторъ нашъ, къ сожалѣнію, не вполнѣ ввѣрялся своему поэтическому инстинкту. Духъ рефлекторства и анализа росъ въ немъ за одно съ дарованіемъ. И много лѣтъ должно было пройти до той поры, пока авторъ Колосова нашелъ возможнымъ сказать во всеуслышаніе: „*жизнь не шутка и не забава* — ея разгадка не есть исполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы они возвышенны ни были».

А. Дружининъ.

* * *

*) Колосовъ, по нашему мнѣнію, представитель того времени, когда человѣкъ цѣнился не вслѣдствіе качествъ, которыми обладалъ, а «самъ по себѣ». Если онъ и не изображалъ собою какого-нибудь Чингахгока, то все-же авторъ въ его лицѣ намъ вывелъ человѣка, плѣняющаго окружа-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ".

ющихъ помимо тѣхъ способовъ добиться людского сочувствія, что даются образованіемъ, цивилизаціею. Колосовъ не былъ особенно способенъ, имѣлъ довольно ограниченное количество знаній и, несмотря на это, подчинялъ себѣ всѣхъ. Значитъ, ему тутъ помогало распространенное въ обществѣ расположеніе къ абстрактному понятію о человѣкѣ, помимо его содержимаго... Какъ первый опытъ, «Андрей Колосовъ», во всякомъ случаѣ, безукоризненъ. Вы нигдѣ въ немъ не чувствуете шероховатостей, юношеской неумѣлости. Все гладко, какъ у присяжнаго писателя. Слогъ блестящій, тургеневскій слогъ, съ характернымъ тонкимъ юморомъ, проявляется и въ этой повѣсти.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Рисуя мизерную эпоху 50-хъ годовъ общественной дѣятельности въ Россіи, характеризуемую въ литературѣ «лишними людьми», г. Авдѣевъ выставляетъ Андрея Колосова, какъ выдающійся типъ того времени: «былъ, напримѣръ, замѣчательный человѣкъ Андрей Колосовъ, хотя его замѣчательность ограничивалась тѣмъ, что среди обезсиленной и изолгавшейся толпы онъ былъ искрененъ и прямъ; впрочемъ, выразилась эта прямота не въ борьбѣ съ жизнію и окружающими порядками, а въ томъ, что, разлюбивъ одну дѣвушку, онъ бросилъ ее, не прибѣгая ни къ какимъ уловкамъ: «не люблю, говоритъ, ее больше — и баста, что же противъ этого подѣлаешь!»

М. Авдѣевъ.

* * *

**) «Андрей Колосовъ» г. Т. Л.—разсказъ чрезвычайно замѣчательный по прекрасной мысли: авторъ обнаружилъ въ немъ много ума и таланта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пока-

*) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.
**) Бѣлинскій. Сочиненія Бѣлинскаго.

залъ, что онъ не хотѣлъ сдѣлать и половины того, что бы могъ сдѣлать: оттого и вышелъ хорошенькій разсказъ тамъ, гдѣ бы слѣдовало выйти прекрасной повѣсти».

Спустя три года Бѣлинскій объ «Андреѣ Колосовѣ» отозвался такъ: *) «Тургеневъ пробовалъ себя и въ повѣсти: написалъ *Андрея Колосова*, въ которомъ много прекрасныхъ очерковъ, характеровъ изъ русской жизни, но какъ повѣсть, въ цѣломъ это произведеніе до того странно, не досказанно, неуклюже, что очень немногіе замѣтили, что въ ней было хорошаго. Замѣтно было, что г. Тургеневъ искалъ своей дороги, и все еще не находилъ ея, потому что это не всегда и не всѣмъ легко и скоро удается».

В. Бѣлинскій.

* * *

**) Повѣсть «Андрей Колосовъ» первая прозаическая повѣсть Тургенева, написанная имъ уже на двадцать шестомъ году, носитъ на себѣ какой-то юношескій отпечатокъ. Очень можетъ быть, что ея сочиненіе относится къ болѣе раннему возрасту знаменитаго беллетриста, и она только была имъ обработана въ сорокъ четвертомъ году — времени ея появленія въ печати. Характеръ главнаго героя, именемъ котораго названа повѣсть, задуманъ и обрисованъ довольно смутно, хотя герой и украшенъ ореоломъ. Фабула повѣсти проста необыкновенно, какъ, впрочемъ, это всегда бываетъ у Тургенева: молодой человѣкъ полюбилъ молодую дѣвушку, разлюбилъ ее и разстался съ ней. Вотъ и все. Но героическій подвигъ Андрея Колосова выставляется именно въ томъ, что онъ просто и во время разстался... Въ лицѣ героя своей первой повѣсти Тургеневъ хотѣлъ выразить идею простоты и естественности жизни, идею смиренія передъ дѣйствительностью, которая была одной изъ руководящихъ, одной изъ любимыхъ его

*) „Современникъ“ 1848 г., № 3.

**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

идей. Но въ любовной исторіи «Андрея Колосова» эта идея отдаетъ немного парадоксомъ, ибо простота и естественность, съ которою онъ покинулъ любимую имъ дѣвицу, если можно такъ выразиться, разыграна на счетъ этой послѣдней: прежде чѣмъ практиковать разлуку «во время» для себя самого, герою слѣдовало бы подумать объ устройствѣ разлуки во-время для той особы, которой нравственный покой онъ нарушилъ заявленіемъ ей своего чувства, которую онъ заставилъ раздѣлить это чувство. При томъ фигура Колосова, въ качествѣ характера, вообще не выяснена и нарисована блѣдно. Несмотря на указанныя слабыя стороны первой повѣсти Тургенева, она замѣчательна въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, въ этой повѣсти Тургеневъ дѣлаетъ попытку уловить въ обликѣ главной центральной фигуры разсказа одно изъ моральныхъ вѣяній тогдашней эпохи и устанавливаетъ очень оригинальную и неожиданную точку зрѣнія на это вѣяніе. Тутъ мы видимъ первый, еще робкій и колеблющійся шагъ художника на томъ пути, по которому впослѣдствіи онъ шелъ такъ твердо и съ такой постоянной удачей. Во-вторыхъ, въ повѣсти «Андрей Колосовъ» Тургеневъ стоитъ къ своему герою въ подчиненномъ отношеніи: онъ не только не снимаетъ съ него ореола, не развѣнчиваетъ его и не подводитъ итога его отрицательному значенію, но, напротивъ, старается подцвѣтить геройскій ореолъ, какъ мы видимъ, нѣсколько парадоксальнымъ объясненіемъ поступка героя, старается возвести этотъ, во всякомъ случаѣ, довольно сомнительный поступокъ въ подвигъ, въ основу котораго легла будто бы сознательная идея. Въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ Тургеневъ почти всегда поступалъ иначе: онъ обыкновенно развѣнчивалъ героя передъ читателями, порой несмотря даже на свои явныя симпатіи къ нему, какъ это мы видимъ, напримѣръ, въ Рудинѣ.

В. Буренинъ.

*) Въ томъ-же году, когда сочинена поэма «Разговоръ», т. е. въ 1844, Тургеневъ выступилъ на свою настоящую дорогу—написалъ прозаическую повѣсть Андрей Колосовъ».

Эта повѣсть,—произведеніе молодое и незрѣлое,—очень замѣчательна однако, по происходящей въ ней борьбѣ молодого писателя съ тяготѣющимъ надъ его душою лермонтовскимъ міросозерцаніемъ. Онъ подмѣтилъ уже нѣкоторыя ложныя черты печоринскаго типа, мрачное разочарованіе, напримѣръ, но самый типъ еще увлекаетъ его; онъ воплотилъ этотъ типъ въ Андреѣ Колосовѣ, хотя и въ своихъ собственныхъ мягкихъ формахъ (что, впрочемъ, вышло нѣсколько странно и даже противорѣчиво). Юноша, студентъ Андрей Колосовъ, слылъ между товарищей необыкновеннымъ человѣкомъ; у него была какая-то сила, какая-то власть надъ людьми.—Колосовъ былъ веселъ и ласковъ.

„Въ немъ не было ни той таинственности, которою щеголяютъ юноши, одаренные самолюбіемъ, блѣдностью, черными волосами и „выразительнымъ“ взглядомъ, ни того поддѣльнаго равнодушія, подъ которымъ будто бы скрываются громадныя силы; нѣтъ: онъ весь былъ, какъ говорится, на распашку; но когда имъ овладѣвала страсть, во всемъ существѣ его внезапно проявлялась порывистая, стремительная дѣятельность; только онъ не тратилъ своей силы попустому, и никогда ни въ какомъ случаѣ не становился на ходули.

Въ образѣ этого Колосова Тургеневъ очень искусно отдѣлилъ отъ печоринскаго типа всѣ тѣ черты, которыя составляютъ Грушницкаго и которыя самъ творецъ Печорина еще въ значительной мѣрѣ оставилъ за своимъ героемъ; эти черты: разочарованіе, мрачность, напускное равнодушіе и рисовка всѣмъ этимъ.

Главныя свойства Колосова собственно: эгоизмъ, безсердечность отношеній къ людямъ и откровенная готовность слѣдовать своимъ страстямъ и ощущеніямъ. Но разсказчикъ повѣсти, товарищъ Колосова (въ это лицо Тургеневъ вложилъ, видимо, много своего, субъективнаго), не смѣетъ такъ думать и, увлеченный, объясняетъ все въ своемъ другѣ—

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

его простотой, правдивостью и искренностью его натуры.— Характеръ Колосова выказывается въ его отношеніяхъ къ другу, Гаврилову, и къ любимой дѣвушкѣ—Варѣ.—Гавриловъ былъ глупый, но «робкій и кроткій» мальчикъ; онъ спасъ Колосову жизнь, любилъ его и былъ ему безпредѣльно преданъ. И вотъ Колосовъ эксплуатируетъ его преданность: деспотически пользуясь его безмолвіемъ, онъ заставляетъ его по цѣлымъ днямъ играть въ карты съ «старымъ плутомъ» Иваномъ Семенычемъ и доставлять такимъ образомъ возможность ему, Колосову, наслаждаться бесѣдами съ Варей.

Варя, какъ Гавриловъ, всею душой была предана Колосову и полюбила его первой и чистой дѣвическою любовью. Послѣ бесѣдъ съ нимъ въ саду,—

„Все лицо ея дышало восторженною преданностью, усталостью отъ избытка блаженства... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута имъ, что незамѣтно перенимала его привычки, такъ же взглядывала, такъ же смѣялась, какъ онъ... А онъ... Колосовъ (замѣчаетъ разсказчикъ) не утратилъ своей свободы; онъ былъ все тѣмъ же безпечнымъ, веселымъ и счастливымъ человѣкомъ, какимъ мы его знавали".

Т. е. (прибавимъ мы отъ себя) Колосовъ былъ вполнѣ доволенъ своей личностью и не могъ, не умѣлъ, да и не хотѣлъ, любить такъ искренно и душевно, какъ Варя. Оттого его чувство скоро и прекратилось. Да онъ и зналъ, что такъ будетъ, онъ не ждалъ вѣчной привязанности,— не даромъ онъ и не думалъ о сватовствѣ и не прекращалъ своихъ связей съ другою дѣвушкою. (Разсказчикъ говоритъ про эту другую, что она была «весьма легкая барышня, черноволосая, смуглая, лѣтъ 25-ти, развязная и умная какъ бѣсъ... Колосовъ ссорился и мирился съ нею разъ 5 въ мѣсяцъ. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждетъ его крови... да и Андрей не могъ бы обойтись безъ нея»).— Когда Колосовъ охладѣлъ къ Варѣ, онъ спокойно пересталъ къ ней ѣздить, и остался по прежнему веселымъ и безпечнымъ. А брошенная дѣвушка тосковала горько и безотрадно; но онъ объ этомъ не безпокоился...

Колосовъ даже смѣется надъ только-что миновавшей своей любовью:

„Ты сидѣлъ съ ней подъ яблоней въ саду?“
(сказалъ онъ пріятелю).

„Помнится, въ маѣ и я сидѣлъ съ ней на этой скамейкѣ... Яблонь была въ цвѣту, изрѣдка падали на насъ свѣжіе бѣлые цвѣточки, я держалъ обѣ руки Вари... мы были счастливы тогда. Теперь яблонь отцвѣла, да и яблоки на ней кислыя“.

У Колосова хватаетъ безсердечія на вопросъ: «По крайней мѣрѣ, что ты велишь сказать Варѣ?» — отвѣтить словами:

Она тебѣ сказывала, что мы вмѣстѣ съ ней читали Пушкина... Напомни ей одинъ Пушкинскій стихъ...

Что было, то не будетъ вновь.

Подобныя до цинизма эгоистическія рѣчи не могли, конечно, успокоить взволнованное сердце неиспорченнаго юноши, принужденнаго ихъ выслушивать, — и онъ, уже ранѣе романтически жаждавшій любви и мечтательно влюбленный даже немножко въ Варю, теперь растроганный чувствомъ состраданія, вообразилъ себя окончательно влюбленнымъ — и сгоряча посватался; но затѣмъ тотчасъ же испугался и бѣжалъ, не явился совсѣмъ къ невѣстѣ. Онъ обвиняетъ себя безпощадно за такой поступокъ, — и это даетъ ему поводъ опять поднять высоко Колосова въ своихъ глазахъ.

Колосовъ дѣйствовалъ какъ холодный эгоистъ, не любящій никого, кромѣ своей личности, своего «я». — Если есть что въ Колосовѣ необыкновенное, такъ это — душевный холодъ, безсердечіе въ такія молодыя, юношескія лѣта.

А. Незеленовъ.

„Бреттеръ“.

*) Тургеневъ косвенно содѣйствовалъ развѣнчанію въ глазахъ общества нашихъ доморощенныхъ Байроновъ, выставляя Лучкова сквернымъ человѣкомъ. Въ самомъ дѣлѣ, нелюдимость Бреттера, его молчаливость объясняются не-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ“.

желаніемъ жальчайшей посредственности быть осмѣянной, его отрицаніе любви—просто грубостью натуры, и, наконецъ, геройство, равнодушіе къ жизни—просто какимъ-то калмыцкимъ чувствомъ, среднимъ между апатіею необразованнаго человѣка и кровожадностью дикаго сына степей... Въ этомъ отношеніи Тургеневъ опять попалъ подъ общественное настроеніе, подъ протестъ противъ всесильныхъ героевъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Онъ видѣлъ ихъ паденіе, наблюдалъ постепенное охлажденіе къ нимъ общества и поспѣшилъ воспроизвести это вліяніе въ своемъ «Бреттерѣ».

С. Венгеровъ.

* * *

*) Сообразно современнымъ воззрѣніямъ, мрачный Бреттеръ долженъ былъ завладѣть всей симпатіей читателя, подавить всѣ мелкія личности, ему противо-поставленныя, въ грустномъ величіи обрисоваться посреди картинъ мірской пошлости, такъ не подходящей къ его могучей, хотя враждебной обществу природѣ. Ничего подобнаго не сдѣлалъ Тургеневъ, благодаря зоркости, которая всегда присуща истиннымъ поэтамъ, не взирая ни на какія колебанія. Въ самую минуту завязки и столкновенія между лицами повѣсти, онъ смѣло подошелъ къ своему мрачному герою, подошелъ затѣмъ, чтобъ сказать ему съ небывалой дотолѣ смѣлостью: «прочь съ пьедестала: ты не демонъ и не энергическій герой великой силы, — ты злой человѣкъ, и тебя надо судить, какъ злого человѣка». Такъ Бреттеръ Лучковъ есть злой человѣкъ; дурнымъ и озлобленнымъ человѣкомъ признаетъ его нашъ авторъ,—а напасть на злого или озлобленнаго человѣка было не такъ-то легко въ 1846 году, когда еще Печоринъ, понятый съ угрюмо-современной точки зрѣнія, пользовался большимъ кредитомъ въ литературѣ и обществѣ... Въ Бреттерѣ Лучковѣ до такой степени раскрыта изнанка нашихъ доморощенныхъ Печориныхъ, что самъ грустно-изящный герой

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.

Лермонтова отчасти страдаетъ вслѣдствіе такого раскрытія. Несмотря на всю силу своей натуры, Авдѣй гадокъ передъ другими дѣйствующими лицами повѣсти, самыми нехитрыми, самыми будничными лицами. И деревенская барышня Маша и не совсѣмъ привлекательный нѣмчикъ Кистеръ—милы по сравненію съ этимъ грубымъ созданіемъ.

А. Дружининъ.

* * *

*) Эта повѣсть проникнута очень серьезной мыслью, хорошо поставленной и тщательно разработанной. Въ «Бреттерѣ» Тургеневъ выступаетъ, и притомъ довольно смѣло, тѣмъ разоблачителемъ фальшивыхъ, искусственныхъ идеаловъ русской жизни, какимъ въ своихъ послѣдующихъ беллетристическихъ работахъ онъ является постоянно. Герой повѣсти, штабсъ-ротмистръ Лучковъ, нарисованъ довольно ярко, представляетъ одну изъ характерныхъ русскихъ фигуръ тогдашней эпохи, задуманъ и отдѣланъ съ большой тонкостью и глубиной. Въ то время, подъ вліяніемъ Лермонтовскаго Печорина, на Руси развелось многое множество пошлыхъ, пустыхъ, мелко самолюбивыхъ и грубыхъ фатовъ и даже просто негодяевъ, корчившихъ изъ себя демоническихъ героевъ, воображавшихъ себя выразителями «хищнаго» типа. Подобнаго же рода исторія разыгралась въ дни гораздо болѣе близкіе къ намъ, въ шестидесятыхъ годахъ, когда послѣ «Отцовъ и Дѣтей» развелось такое количество грубыхъ и невѣжественно-дикихъ шелопаевъ, которые воображали себя Базаровыми, считали себя нигилистами, хотя по всей справедливости были только карикатурными глупцами, осмѣянными Тургеневымъ въ тѣхъ же «Отцахъ и Дѣтяхъ» въ лицѣ Ситникова. Въ образѣ Лучкова Тургеневъ далъ не карикатуру Печорина, но отнесся къ нему какъ настоящій художникъ: онъ нарисовалъ отраженіе хищническаго характера въ пошлой и мел-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

кой натурѣ, и создалъ своего рода типъ, менѣе интересный и выразительный печоринскаго, но болѣе сродный русской почвѣ не только въ эпоху, когда появился «Бреттеръ», но даже и въ наши дни. Печориныхъ теперь, конечно, трудно встрѣтить: это фигура давнымъ давно отжившая. Но Лучковы, право, еще водятся до сихъ поръ. Въ самомъ Лермонтовѣ, какъ это ни прискорбно сказать, жило, если можно такъ выразиться, лучковское начало: самодовольная озлобленность, самодовольный задоръ самолюбія. Только въ Лермонтовѣ это начало высказывалось въ крупныхъ и могучихъ чертахъ, потому что его самолюбіе было огромное, его натура была крупная; да къ тому же вся пошлая и темная сторона этого начала исчезла въ яркомъ свѣтѣ его геніальнаго таланта. Тургеневъ очень хорошо понялъ, на какихъ основахъ въ русскихъ людяхъ, вообще по натурѣ добродушныхъ, зарождается та душевная хищность, которая въ большинствѣ случаевъ переходитъ въ душевную пошлость и подлость у мелкихъ людишекъ. Основы эти: первоначальное воспитаніе «въ нуждѣ и загонѣ», тайное сознаніе своего внутренняго ничтожества и невѣжества, зависть къ чужому счастію, успѣху и таланту, съ одной стороны; затѣмъ, съ другой стороны, легкость господства надъ общею распущенностью и слабохарактерностью, легкость подчиненія слабыхъ и уступчивыхъ людей своему вліянію, хотя бы это вліяніе создавалось только изъ одной грубости и наглости. Анализируя Лучкова, Тургеневъ очень вѣрно опредѣляетъ причины, вырабатывающія такія натуры: «онъ принадлежалъ къ числу людей, которымъ какъ будто дано право власти надъ другими, но природа отказала ему въ дарованіяхъ—необходимомъ оправданіи подобнаго права. Не получивъ образованія, не отличаясь умомъ, онъ не долженъ бы былъ разоблачаться; можетъ быть, ожесточеніе въ немъ происходило именно отъ сознанія недостатковъ своего воспитанія, отъ желанія скрыть себя всего подъ одну неизмѣнную личину. Авдѣй Ивановичъ сперва заставлялъ себя презирать людей; потомъ замѣтилъ, что ихъ пугнуть не трудно, и дѣйствительно сталъ

ихъ презирать. Лучкову было весело прекращать однимъ появленіемъ своимъ всякій несовсѣмъ пошлый разговоръ. «Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нѣтъ», думалъ онъ про себя: «такъ и вы ничего не знайте и не высказывайте своихъ способностей при мнѣ». Въ этихъ словахъ заключается полная и очень мѣткая характеристика самой сущности типа, изображеннаго въ «Бреттёрѣ». Но Тургеневымъ не только «теоретически» истолкована и выяснена сущность характера Лучкова: онъ возведенъ художникомъ на степень живого и опредѣленнаго лица. Позднѣе Тургенева, другой беллетристъ, въ свое время пользовавшійся очень широкой извѣстностью и обладавшій несомнѣннымъ талантомъ, остановился на той же задачѣ, которая преслѣдуется въ «Бреттёрѣ», т.-е. задумалъ «развѣнчать» печоринскій типъ. Однако Тамаринъ Авдѣева вышелъ не живымъ и оригинальнымъ лицомъ, какъ тургеневскій Лучковъ, а почти пародіей лермонтовскаго героя, притомъ пародіей односторонней, преслѣдовавшей лишь дендизмъ Печорина, его салонное ловеласничество. Тургеневъ, повторяю, понялъ свою задачу гораздо глубже Авдѣева, и гораздо раньше и счастливѣе ее выполнилъ, несмотря на свою тогдашнюю беллетристическую неопытность: онъ создалъ бытовую фигуру, въ которой рѣзко оттѣнилъ всю пошлость хищническаго типа, свелъ этотъ типъ съ героическаго пьедестала и показалъ обратную сторону медали того искусственнаго, фальшиваго демонизма, который въ мелкихъ, обыкновенныхъ людяхъ является мелкимъ и жалкимъ нравственнымъ безобразіемъ. Въ повѣсти хорошо обработанъ не одинъ главный характеръ, но и второстепенныя лица. Кистеръ, Маша нарисованы живо, опредѣленно и съ тою простотою и правдою, которою впослѣдствіи Тургеневъ покорялъ себѣ сердца читателей.

В. Буренинъ.

* * *

*) Печоринскому типу, какимъ онъ явился въ Колосовѣ, Тургеневъ, какъ мы видимъ, если не совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени сочувствуетъ. Нельзя сказать того же про этотъ типъ въ повѣсти «Бреттеръ».— Здѣсь, напротивъ, въ лицѣ Авдѣя Лучкова, поэтъ намѣренно и сознательно развѣнчиваетъ нѣкоторыя черты Печорина, а именно тѣ самыя, отъ которыхъ онъ освободилъ Колосова: мрачность, напускное разочарованіе и рисовку,— то, что Ап. Григорьевъ назвалъ «внѣшними сторонами» печоринскаго типа.

Лучковъ сдѣлался разочарованнымъ не потому, что много испыталъ въ жизни, а потому, что хочетъ маскою равнодушія прикрыть бѣдность своей душевной жизни.

Внутренняя пустота, грубость и холодность Лучкова обнаруживаются въ его отношеніяхъ къ Машѣ Перекатовой и къ Кистеру.—Молодая дѣвушка наслышалась о разочарованіи Лучкова, вообразила его непонятнымъ страдальцемъ и заинтересовалась имъ. Добросердечный и немножко сантиментальный Кистеръ, идеализировавшій своего страннаго друга, невольно раздулъ это дѣло. И вотъ Лучковъ, польщенный, что возбудилъ вниманіе къ своей особѣ, начинаетъ рисоваться равнодушіемъ и отвагою: рискуя упасть въ воду, онъ срѣзываетъ палашомъ водяной цвѣтокъ, и тутъ же по тупости своей и надутому эгоизму, не можетъ воздержаться, чтобы не обнаружить сокровенныхъ пружинъ своихъ дѣйствій: «а я не умѣю плавать», прибавляетъ онъ неожиданно. — Маша, идеализируя Лучкова и воображая, что онъ хочетъ сказать ей что-то важное, лежащее у него на душѣ, неосторожно назначаетъ ему встрѣчу въ рощѣ.— Довольный, потому что удовлетворено его самолюбіе, Лучковъ идетъ хвастать объ этомъ Кистеру:

„я хотѣлъ тебѣ замѣтить (говоритъ онъ между прочимъ), что ты насчетъ женщинъ ошибаешься, другъ мой. Повѣрь мнѣ, Ѳедя, онѣ всѣ на одну стать. Стоитъ похлопотать немного, повертѣться около нихъ, и дѣло въ шляпѣ“.

---

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

«Лучковъ покачивался на креслахъ (разсказываетъ поэтъ), жмурился, потягивался—и, приписывая ревности волненіе Кистера, чуть не задыхался отъ удовольствія. Но Кистера мучила не ревность: онъ былъ оскорбленъ не самимъ признаніемъ, но грубой небрежностью Авдѣя, его равнодушнымъ и презрительнымъ отзывомъ о Машѣ».—На свиданіи Лучковъ ведетъ себя такъ же глупо и совершенно грубо, обнаруживая недостатокъ и сердца и уваженія къ другому человѣку: вмѣсто «нѣжныхъ и почтительныхъ рѣчей», которыхъ ожидала Маша,—онъ самонадѣянно цѣлуетъ ее, а въ отвѣтъ на ея испугъ говоритъ:

„Чего-же вы боитесь? Велика важность? Вѣдь между нами уже все... того... Ну, полноте! Что за глупости!“

Когда же испуганная Маша зоветъ горничную, — онъ выходитъ изъ себя отъ самолюбиваго гнѣва и кричитъ:

„Браво! браво! Умно—нечего сказать! Вы, я вижу, приняли всѣ мѣры предосторожности, Марья Сергѣевна! Осторожность никогда не мѣшаетъ. Каково! Въ наше время барышни дальновиднѣе стариковъ. Вотъ тебѣ и любовь.

— Я не знаю, господинъ Лучковъ (замѣчаетъ Маша), кто вамъ далъ право говорить о любви... о какой любви?

— Какъ кто! Да вы сами!—перебилъ ее Лучковъ:—вотъ еще!.. я понимаю, что вамъ угодно было смѣяться надо мной...

— Совсѣмъ нѣтъ, Авдѣй Ивановичъ... я даже очень сожалѣю...

— Ужъ, пожалуйста, не толкуйте о вашемъ сожалѣніи,—съ запальчивостью перебилъ ее Авдѣй: — ужъ отъ этого-то вы меня избавьте!

— Господинъ Лучковъ...

— Да не извольте смотрѣть герцогиней... Напрасный трудъ! меня вы не запугаете“.

Свою неудачу съ Машей Лучковъ приписываетъ не себѣ, не своей грубости, а проискамъ Кистера. Онъ идетъ къ своему былому пріятелю и грубо оскорбляетъ, высказывая ему подозрѣніе, что тотъ интриговалъ противъ него, при чемъ откровенно сознается въ своемъ эгоизмѣ: «я имѣю слабость думать (заявляетъ онъ), что другіе люди не лучше меня». Онъ вызываетъ Кистера на дуэль, мстя этимъ и ему и Машѣ, которую считаетъ своей оскорбительницей.

„Я, признаться (злобно смѣется онъ уже послѣ вызова), съ большимъ удовольствіемъ наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное и бѣлокурое лицо“.

На дуэли онъ, какъ извѣстно, убиваетъ Кистера.—Должно замѣтить, что здѣсь поэтъ, глубоко справедливый въ отношеніяхъ къ своимъ героямъ, показываетъ намъ, что не все доброе заглохло въ душѣ Лучкова:

„Авдѣй подошелъ къ убитому. На его сумрачномъ и похудавшемъ лицѣ выразилось свирѣпое, ожесточенное сожалѣніе... Онъ поглядѣлъ на адъютанта и на маіора, наклонивъ голову; какъ виноватый, молча сѣлъ на лошадь и поѣхалъ шагомъ прямо на квартиру полковника“.

Это «сожалѣніе» Лучкова свидѣтельствуетъ, что онъ нѣсколько любилъ Кистера, что не совсѣмъ ложно считался его другомъ.

Борьба Тургенева съ печоринскимъ типомъ, такъ замѣтная въ этой повѣсти, можетъ, однако, возбудить недоумѣніе и показаться напрасной, ибо за внѣшнимъ холодомъ и грубостью Лучкова нѣтъ ни ума ни сердца Печорина; стоило-ли развѣнчивать однѣ внѣшнія стороны типа? На это недоумѣніе можно отвѣтить, что повѣстью достигнуты двѣ цѣли: во 1-хъ, она выясняетъ намъ, что подъ разочарованностью, подъ равнодушіемъ можетъ такъ и не быть никакого внутренняго содержанія, что эти свойства вовсе не предполагаютъ въ прошломъ человѣка богатой духовной жизни, душевныхъ бурь и страстей; во 2-хъ, повѣсть показываетъ, что подобныя разочарованіе и равнодушіе неизбѣжно, необходимо связаны съ эгоизмомъ и самомнѣніемъ.

А. Незеленовъ.

„Три Портрета“.

*) Вмѣстѣ съ исполненнымъ идиллической симпатіи изображеніемъ «Хоря и Калиныча» — старый, обаятельный

*) Ап. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева.

своими тревожными сторонами типъ поднялся у Тургенева блистательнымъ очеркомъ лица «Василія Лучинова» въ повѣсти «Три Портрета». Что ни говорите о безнравственности Василія Лучинова, но несомнѣнно, что въ этомъ образѣ есть поэзія, есть обаяніе. Эта поэзія, это обаяніе— въ которыхъ не виноваты ни Тургеневъ ни мы, ему сочувствовавшіе—нѣкоторымъ образомъ сильнѣе и значительнѣе обаянія Лермонтовскаго Печорина, какъ у самого Лермонтова его недоконченный, но вѣчно мучившій его Арбенинъ или Арбеньевъ—поэтичнѣе и обаятельнѣе холоднаго и часто мелочного Печорина... Безнравственность «Василія Лучинова» вы, разумѣется, моральнымъ судомъ казнили, но то грозное и зловѣщее, то страстное до безумія и вмѣстѣ владѣющее собою до рефлексіи, что въ немъ являлось, ни художникъ не развѣнчивалъ ни вы развѣнчивать не могли — и внутри вашей души никакъ не могли согласиться съ критикомъ, назвавшимъ *Василія Лучинова* гнилымъ человѣкомъ. Василій Лучиновъ, пожалуй, не только что гнилъ, онъ — гнусенъ; но сила его, эта страстность, почти что южная, соединенная съ сѣвернымъ владѣніемъ собою, эта пламенность рефлексіи или рефлексія пламенности есть *типовая* особенность... Василію Лучинову Тургенева я придаю особенную важность потому, что въ этомъ лицѣ старый типъ Донъ-Жуана, Ловласа и т. д. принялъ впервые наши русскія, оригинальныя формы... Въ «Трехъ Портретахъ» Тургеневъ дошелъ до оригинальнаго, чисто русскаго—но мрачнаго и холоднаго типа... но тутъ-то, вѣроятно, и совершился въ немъ переворотъ. Его ужаснула холодная до рефлексіи и вмѣстѣ страстная до необузданности натура его героя, Василія Лучинова, и, встрѣченный сочувствіемъ однихъ, указаніями другихъ на все то безнравственное и дѣйствительно гнилое, что было въ Лермонтовскомъ типѣ,—изображенномъ имъ такъ по своему, такъ оригинально,—Тургеневъ остановился передъ типомъ въ недоумѣніи и колебаніи. Въ немъ не было мрачной и злой вѣры въ этотъ типъ Лермонтова — и отъ колебанія произошла въ немъ та моральная болѣзнь, которая выра-

зилась судорожнымъ смѣхомъ «Гамлета Щигровскаго уѣзда» и жалобными, искренними воплями «лишняго человѣка».

А. Григорьевъ.

* * *

*) Что-то чужестранное лежитъ на Лучиновѣ, что-то такое дѣлаетъ его очень интересною привлекающею картинкою, но не снимкомъ съ дѣйствительности. Русская жизнь пуще огня боится мелодраматизма, и нужно быть очень недюжиннымъ писателемъ, чтобы заставить читателя забыть это существенное условіе. Столкновеніе Лучинова съ отцомъ, драматическая сцена, когда сынъ, стиснувъ шпагу въ рукахъ, злобными и непокорными глазами измѣрилъ отца, готовъ поднять на него руку—эта сцена вышла бы чрезвычайно эффектной въ романѣ изъ иностраннаго образа жизни. Тургеневъ же долженъ былъ собрать все свое художественное чутье правды, чтобы не произвесть отрицательнаго впечатлѣнія и тонкій рисунокъ не превратитъ въ суздальское издѣліе... Видѣть въ Лучиновѣ что либо демоническое, а главное прототипъ Печорина, какъ это сдѣлали нѣкоторые критики, мы положительно отказываемся. Всего вѣрнѣе будетъ отнести «Три Портрета» къ области «искусства для искусства», поставленнаго внѣ условій времени и мѣста. Только въ такомъ случаѣ, разсматривая «Три Портрета», какъ интересный разсказъ, ну, скажемъ, изъ итальянской жизни, мы готовы съ ними вполнѣ примириться.

С. Венгеровъ.

* * *

**) «Три Портрета», разсказъ г. Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложеніи, имѣетъ всю заманчивость не повѣсти, а скорѣе воспоминаній о *добромъ* старомъ времени. Къ нему шелъ бы эпиграфъ: «Дѣла минувшихъ дней!»...

Бѣлинскій.

---

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ".
**) Бѣлинскій. Сочиненія Бѣлинскаго.

*) «Три Портрета» начинаются самой охлажденной выходкой противъ «сосѣдства», *составляющаго одну изъ величайшихъ непріятностей сельской жизни.* Только что сообщивъ намъ слѣдующія слова: «слава Богу, у меня нѣтъ сосѣдей», авторъ говоритъ, что у него есть однако одинъ сосѣдъ хорошій, а сказавши, что у него есть одинъ сосѣдъ хорошій, спѣшитъ доказать намъ, что этотъ сосѣдъ совсѣмъ не такъ хорошъ, какъ было сказано. Читатель, утомленный этими эволюціями и контръ-эволюціями, приготовляется бросить разсказъ, когда, послѣ вышеприведенныхъ рѣчей, не идущихъ къ дѣлу, вдругъ выдаются передъ нимъ полторы странички, исполненныя истинной поэзіи... Кажется, отчего бы автору «Трехъ Портретовъ» не начать прямо съ этихъ трехъ страничекъ. Въ поэтическомъ моментѣ жизни человѣческой нѣтъ ничего недостойнаго для творчества, хотя бы причиной этого момента былъ хорошій обѣдъ послѣ охоты. Ничто такъ не изображаетъ поэта, какъ его способъ обращаться съ мелочами, и мелочи слѣдуетъ изучать тому, кто желаетъ узнать всю сущность нашей литературы за сороковые годы.

А. Дружининъ.

* * *

**) Почти одновременно съ «Бреттёромъ» Тургеневъ написалъ «Три Портрета»—этюдъ, въ которомъ онъ коснулся опять-таки хищнаго русскаго типа, и на этотъ разъ отнесся къ этому типу не съ отрицаніемъ аналитика, а просто поставилъ его во весь ростъ передъ читателями, какъ бытовую натуру, выработанную историческимъ прошлымъ и буйными сторонами русскаго народнаго характера. Образъ Василія Лучинова въ «Трехъ Портретахъ» если не осѣненъ ореоломъ, то, во всякомъ случаѣ, художникъ не имѣетъ ни малѣйшаго поползновенія развѣнчать страшную и страстную силу этого образа...

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.
**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

Не вдаваясь здѣсь въ подробныя толкованія значенія типа Василія Лучинова, нельзя однако не замѣтить, что Тургеневъ очень мѣтко опредѣлилъ тотъ историческій моментъ въ нашей жизни, когда подобнаго рода зловѣщіе люди явились у насъ властителями и участниками движенія русской дѣйствительности. Такимъ моментомъ было восемнадцатое столѣтіе и особенно годы екатерининскаго царствованія. Тургеневъ, какъ извѣстно, никогда не брался за историческое повѣствованіе; но судя по мастерски угаданной, мастерски обставленной и воспроизведенной фигурѣ Лучинова, судя по великолѣпнымъ страницамъ, въ которыхъ изображаются предки Лаврецкаго въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», наконецъ, судя по извѣстному разсказу объ Алексѣѣ Орловѣ въ «Запискахъ Охотника», онъ, конечно, могъ бы создать историческій романъ, полный глубокой правды и освѣщающій правильнымъ свѣтомъ существенныя стороны нашего прошлаго. Повѣсть «Три Портрета» въ этомъ отношеніи представляетъ замѣчательную попытку, и фигура ея героя Василія Лучинова выражаетъ собою одинъ изъ самыхъ яркихъ бытовыхъ образовъ того времени, когда въ средѣ нашего общества скептицизмъ и отрицаніе, навѣянные европейскимъ «просвѣщеніемъ» конца восемнадцатаго столѣтія, перемѣшивались съ варварскимъ буйствомъ русской «черноземной силы». Сравните, напримѣръ, гнусный подвигъ Лучинова, который обольстилъ невѣсту Рогачева, обвинилъ въ этомъ проступкѣ ни въ чемъ неповиннаго ея жениха и, когда тотъ отказался жениться на обольщенной, убилъ его какъ собаку—сравните этотъ подвигъ съ безсовѣстнымъ и безсердечнымъ обманомъ, продѣланнымъ Алексѣемъ Орловымъ надъ несчастною княжною Таракановой, и вамъ станетъ ясно, какъ правдива и вѣрна эпохѣ личность тургеневскаго героя, какъ вѣрно и правдиво воспроизведенъ этотъ герой со всѣми существенными чертами его страшной, дикой силы, которая, по справедливому замѣчанію Григорьева, несмотря на свою безнравственность, такъ необузданна и могущественна, что производитъ невольное обаяніе...

В. Буренинъ.

*) Типъ (Печоринскій) облекся здѣсь въ историческія формы, явился въ образѣ вольтерьянца прошлаго вѣка—Василія Лучинова.—Въ этой повѣсти Тургеневъ уже видимо выросъ, поднялся до относительной объективности изображенія жизни.

Въ Василіи Лучиновѣ мы видимъ—съ одной стороны: душевный холодъ, беззавѣтный эгоизмъ, отсутствіе всякихъ нравственныхъ принциповъ; съ другой стороны — огонь страсти, силу воли, могущество очарованія надъ людьми (По словамъ Ап. Григорьева, Лучиновъ, въ этомъ смыслѣ, даже «сильнѣе и обаятельнѣе» Печорина). Двойственность его души, его натуры прекрасно видитъ самъ поэтъ:

„Лучиновъ всегда оставался загадкой для всѣхъ (говоритъ онъ); въ самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствіе страннаго, почти южнаго пламени; и въ самомъ бѣшеномъ разгарѣ страсти этого человѣка вѣяло холодомъ“.

Разсказу о похожденіяхъ Василія Лучинова предшествуетъ такая характеристика:

Вообразите себѣ человѣка, одареннаго необыкновенной силой воли, страстнаго и расчетливаго, терпѣливаго и смѣлаго, скрытнаго до чрезвычайности и — по словамъ всѣхъ его современниковъ — очаровательно, обаятельно любезнаго. Въ немъ не было ни совѣсти, ни доброты, ни честности, хотя никто его не могъ назвать положительно злымъ человѣкомъ. Онъ былъ самолюбивъ, но умѣлъ таить свое самолюбіе, и страстно любилъ независимость. Когда, бывало, Василій Ивановичъ, улыбаясь, ласково прищуритъ черные глаза, когда захочетъ плѣнить кого-нибудь, говорятъ, невозможно было ему противиться“.

Пріѣхавъ изъ Петербурга въ родную деревню, онъ сумѣлъ очаровать всѣхъ: и суроваго отца своего Ивана Андреевича, и свою несчастную мать, и братьевъ, которые «нѣмѣли передъ нимъ и удивлялись ему какъ существу высшему».—Старый, преданный Ивану Андреевичу слуга Юдичъ такъ былъ обойденъ Василіемъ, что обманулъ для него барина, и готовъ былъ безропотно перенести на себѣ всѣ послѣдствія этого обмана, не выдавая Василія.—Бѣд-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

ная простодушная Ольга Ивановна, на свѣжую степную красоту которой Василій удостоилъ обратить свое временное вниманіе, предалась ему вся, беззавѣтно; Василій сумѣлъ заставить ее «перестать его дичиться», и кончилось тѣмъ, что «въ Ольгѣ исчезла, наконецъ, всякая самостоятельность, всякая воля... она даже не хотѣла противиться обаянью».—Василій сумѣлъ очаровать и жениха Ольги, простодушнаго, робкаго, слабаго, но вполнѣ добраго и честнаго Рогачева. — Въ Лучиновѣ, говоритъ Апол. Григорьевъ, «старый типъ Донъ-Жуана, Ловласа и т. д. впервые принялъ наши русскія, оригинальныя формы».

Нельзя не замѣтить, что сила Лучинова, способность его увлекать людей, его страстный внутренній огонь очаровываютъ и самого Тургенева: поэтъ даже нѣсколько идеализируетъ своего безнравственнаго героя; это видно, напримѣръ, въ слѣдующемъ изображеніи дѣятельности Василія, когда Ольга, полюбивши его, совсѣмъ растерялась, и легко могла выдать и себя и его,—тогда Василій сталъ работать за двоихъ (говоритъ поэтъ):

„въ его буйномъ и шумномъ весельѣ только опытный наблюдатель могъ бы замѣтить лихорадочную напряженность; онъ игралъ братьями, сестрами, Рогачевымъ, сосѣдями, сосѣдками—какъ пѣшками; вѣчно былъ на-сторожѣ, не терялъ ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнѣйшимъ человѣкомъ; каждое утро вступалъ въ сраженіе и каждый вечеръ торжествовалъ побѣду. Онъ нисколько не тяготился такой страшной дѣятельностью, спалъ четыре часа въ сутки, ѣлъ очень мало — и былъ здоровъ, свѣжъ и веселъ“.

Эта горячая тирада автора «Трехъ Портретовъ» теперь намъ (знакомыхъ съ дальнѣйшими, высшими созданіями Тургенева) представляется даже нѣсколько комичной: игра не стоила свѣчъ,—не стоило съ такимъ одушевленіемъ говорить о пустыхъ, пошлыхъ и низкихъ продѣлкахъ Лучинова.—Впослѣдствіи подобный характеръ потерялъ всякую власть надъ душой Тургенева: вольтерьянецъ, который казался поэту прежде такимъ интереснымъ и обаятельнымъ существомъ, сталъ ему представляться просто жалкимъ и смѣшнымъ. Таковъ Иванъ Петровичъ Лаврецкій, отецъ

героя «Дворянскаго Гнѣзда», воспитавшійся на философской мудрости XVIII вѣка и выросшій въ тогдашнемъ модномъ свѣтѣ, подобно Василію Лучинову (Замѣчательно, что и умираютъ они оба одинаково: въ деревнѣ, разбитые параличомъ).

Справедливость требуетъ, однако, сказать, что и въ 1846 году, т. е. сочиняя «Три Портрета», Тургеневъ не закрылъ глазъ на темныя стороны своего героя, и хоть не развѣнчивалъ его рѣшительно, но и не инстинктивно только и робко протестовалъ противъ его зла,—а нарисовалъ это зло, эту безнравственность объективно, не стараясь ее оправдать и разъяснить въ пользу героя, какъ въ «Андреѣ Колосовѣ».

Въ повѣсти откровенно разсказывается, какъ Василій Лучиновъ похитилъ у отца деньги (впрочемъ, надѣясь ихъ къ сроку возвратить), какъ онъ подвелъ этимъ стараго слугу подъ позорное наказаніе, и хоть въ рѣшительную минуту поэтъ и заставляетъ его заступиться за Юдича и открыть себя, но тутъ же повѣствуетъ, что Василій не стѣснился вынуть шпагу на пригрозившаго ему отца. (Кстати будетъ замѣтить, что, должно быть, въ эту минуту блестящій Василій думалъ то же самое, что наивно говорилъ глупый фонвизинскій вольтерьянецъ Иванушка своему отцу-бригадиру: «я такой же дворянинъ, какъ и вы, monsieur»).—Откровенно разсказывается въ повѣсти и о подломъ поступкѣ Василія съ Ольгой и Рогачевымъ: когда бѣдная дѣвушка ему надоѣла, онъ рѣшился посредствомъ обмана и насилія устроить ея бракъ съ бывшимъ женихомъ. Онъ сказалъ Ольгѣ, что надо все открыть матери,—и открылъ, но только оставивъ себя въ сторонѣ и обвинивъ во всемъ неповиннаго Рогачева; а чтобы мать не стала упрекать Ольгу, или вѣрнѣе—чтобы она какъ-нибудь не открыла истины, Василій грозитъ ей, что за лишнее слово не пощадитъ ее — откроетъ извѣстную ему ея былую ошибку, ея заблужденіе. Когда Ольга начинаетъ догадываться о низкомъ обманѣ, Василій не даетъ ей сказать слова, и, разыгрывая благороднаго защитника чести

своей семьи, ѣдетъ объясняться къ Рогачеву. Возмутителенъ его нахально дерзкій разговоръ съ Рогачевымъ.

— Даешь ты мнѣ слово жениться на ней завтра же?

— Да, помилуйте, Василій Иванычъ... не сами ли вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Безъ васъ она бы давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значатъ ваши угрозы, ваши настоятельныя требованія?

Павелъ Афанасьевичъ отеръ потъ съ лица.

— Даешь ли ты мнѣ слово? говори: да или нѣтъ? — повторилъ съ разстановкой Василій.

— Извольте... даю-съ, но...

— Хорошо. Помни же... А она во всемъ призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да въ чемъ призналась?

— Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павелъ Афанасьевичъ? Я вѣдь вамъ не чужой.

— Въ чемъ я притворяюсь? я васъ не понимаю, рѣшительно не понимаю. Въ чемъ могла Ольга Ивановна признаться?

— Въ чемъ? вы мнѣ надоѣли! Извѣстно—въ чемъ.

— Убей меня Богъ...

— Нѣтъ, я тебя убью, если ты на ней не женишься... понимаешь?

И онъ, дѣйствительно, убиваетъ Рогачева, когда тотъ понялъ дѣло, и отказался отъ своего слова, — убиваетъ какъ разбойникъ, ибо нельзя даже назвать дуэлью поединокъ съ человѣкомъ, завѣдомо не умѣющимъ держать шпагу въ рукѣ.

Такимъ образомъ, если въ повѣсти и замѣтно еще увлеченіе Тургенева страстнымъ и эгоистическимъ типомъ, замѣтно даже нѣкоторое идеализированіе его, то, съ другой стороны, типъ разоблаченъ фактами, показаны, безъ софистическихъ оправданій, его дѣла, показана его способность къ совершенію низкихъ поступковъ, вслѣдствіе непомѣрнаго себялюбія и гордости. — Ясно, что поэтъ въ душѣ борется съ печоринскимъ типомъ, что онъ даже близокъ къ освобожденію изъ-подъ удручающаго его геній вліянія лермонтовской поэзіи.

А. Незеленовъ.

***

„Жидъ“.

*) Повѣсть «Жидъ», набросанная еще въ 1846 году, замѣчательна по крайней простотѣ замысла и изложенія; она, очевидно, написана въ свѣтлыя минуты для г. Тургенева... Это вещь отлично обработанная, но, при всей своей поэтической свѣжести, не имѣющая важнаго значенія.

А. Дружининъ.

* * *

**) «Жидъ», несмотря на свой незначительный объемъ и отсутствіе опредѣленной тенденціи, читается съ большимъ удовольствіемъ. Онъ такъ живо и интересно написанъ, что вы прощаете автору нѣкоторую утрировку. Тургеневъ изображалъ своего «Жида» по извѣстному шаблону, по тому образцу, который былъ принятъ съ сороковыхъ годовъ для характеристики богоизбраннаго народа. Неудивительно, если, слѣпо слѣдуя предписаннымъ правиламъ, Тургеневъ дѣлаетъ весьма и весьма крупные промахи, которые искупаются единственно живостью разсказа.

С. Венгеровъ.

* * *

***) «Жидъ» не принадлежитъ къ числу шедевровъ Тургенева, но и въ этомъ разсказѣ есть яркія страницы, какъ, напримѣръ, сцена повѣшенія несчастнаго фактора... Фигура Гиршеля вполнѣ правдива, и не вина художника, что онъ не могъ найти симпатичныхъ чертъ въ этомъ жидѣ, который съ ролью фактора и сводника собственной дочери соединяетъ роль шпіона, и все это, конечно, изъ-за любезныхъ его душѣ «червончиковъ». Искренняя любовь къ деньгамъ перемѣшивается въ этой истинно-іудейской душѣ съ искреннею любовью къ дочери, и эта удивительная смѣсь двухъ чувствъ, подлаго и свѣтлаго, очень хо-

*) А. Дружининъ. Сочиненія А. Дружинина, т. 7.
**) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ“.
***) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

рошо оттѣнена Тургеневымъ. Его Гиршель, конечно, жалокъ и вмѣстѣ гнусенъ, но въ правдивомъ изображеніи художника жалость къ этому несчастному пересиливаетъ отвращеніе. Что касается до Сары, дочери Гиршеля, то она тоже начерчена живо и вѣрно, хотя и не особенно ярко и опредѣленно. Словомъ, въ этомъ набросвѣ Тургеневъ является, какъ всегда, добросовѣстнымъ реалистомъ: нарисовать жида симпатичнѣе онъ не могъ, не противорѣча искренности творчества. Онъ предпочелъ остаться искреннимъ художникомъ, и за это подвергся упрекамъ разныхъ назойливыхъ іудеевъ, по мнѣнію которыхъ, художникъ можетъ и долженъ для превознесенія ихъ великаго племени прилыгать въ своемъ творчествѣ такъ же какъ прилыгаютъ они сами вездѣ и всюду.

В. Буренинъ.

„Пѣтушковъ“.

*) «Пѣтушковъ» — одна изъ самыхъ неудачныхъ Тургеневскихъ вещей... «Пѣтушковъ», очевидно, написанъ подъ вліяніемъ Гоголя. Гоголь первый узаконилъ права міра «инфузорій» на воспроизведеніе въ литературѣ. Попытка его имѣла огромный успѣхъ, и анализъ чувствъ Акакія Акакіевича поставилъ «Шинель» въ глазахъ современниковъ наряду съ первыми произведеніями великаго обличителя земли русской. Съ тѣхъ поръ мелкіе, приниженные люди получаютъ права гражданства, становятся любимою темою беллетристики. Тургеневъ поддался общему направленію, и въ «Пѣтушковѣ» захотѣлъ изобразить тихую, но тѣмъ не менѣе, весьма сильную страсть нѣкоего безобиднаго поручика къ понравившейся ему булочницѣ Василисѣ. Разсказъ не безъ извѣстнаго интереса, но повсюду въ немъ проглядываетъ именно то, что авторъ *„желалъ, старался“* что-то такое обрисовать, да, видно, тема ему не особенно по сердцу, и онъ не могъ скрыть искусствен-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“.

ности своего вдохновенія. Задушевность Тургеневскаго слога вслѣдствіе этого обстоятельства пропала, что сильно отзывается на общемъ впечатлѣніи.

С. Венгеровъ.

* * *

*) «Пѣтушковъ» производитъ на читателя впечатлѣніе неловкое и непріятное. Здѣсь Тургеневъ смѣлѣйшими шагами подходитъ къ океану жизненной пошлости, но едва устремивши взоры на эту бездну, такъ неподходящую ко всему складу его дарованія, самъ пугается своей смѣлости, и затѣмъ повторяетъ зады, давно уже сказанные и когда то сказанные гораздо лучше. Мысль Пѣтушкова есть мысль превосходная. Изобразить *запой любви* въ простомъ и вяломъ человѣкѣ, въ первый разъ отозвавшемся на могучій призывъ природы, представить намъ это доброе, но ничтожное существо подъ совершеннымъ обаяніемъ недостойной страсти, изобразить его горькую долю и окончательное паденіе — тема, достойная самого Гоголя! И Гоголь, какъ будто въ отплату за идею, у него перебитую, насмѣшливо сталъ на дорогѣ г. Тургенева, во всемъ своемъ оружіи, со всею своею неотразимою силою. По всей повѣсти, въ ослабленномъ видѣ, высказывается взглядъ великаго юмориста, его манера, даже особенности его слога, вкравшіяся туда, по всей вѣроятности, независимо отъ произвола ея автора.

А. Дружининъ.

* * *

*) Поручикъ Пѣтушковъ (главное лицо повѣсти того же имени) былъ человѣкъ лѣтъ подъ 40, простой, добродушный, ограниченный, робкій и смирный. Онъ велъ однообразную, пустую и уединенную жизнь со своимъ деньщикомъ Онисимомъ, который былъ преданъ ему, но смотрѣлъ на него свысока, какъ на неопытнаго ребенка, и

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.
**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

покровительствовалъ ему.—Въ жизни Пѣтушкова случилось однажды непріятное событіе: онъ «по утрамъ за чаемъ любилъ кушать свѣжую, бѣлую булку; безъ этого лакомства онъ жить не могъ»,—и вдругъ однажды такой булки не оказалось; на негодующій вопросъ его — «что-бы это такое значило?» Онисимъ отвѣчалъ: «булки всѣ поразобравшись». Пѣтушковъ отправился самъ добывать булку, и этотъ случай привелъ его къ знакомству съ работницей въ булочной, Василисой.—Вся повѣсть есть исторія отношеній его къ этой Василисѣ, исторія его любви.—Василиса была женщина добродушная, но не задумывающаяся и весьма легкаго характера. А чувство Пѣтушкова къ ней было искреннее и глубокое, хотя и не заключавшее въ себѣ ничего идеальнаго (ему и въ голову не приходила, до послѣднихъ минутъ мысль о женитьбѣ: онъ наивно свысока смотрѣлъ на Василису, какъ на женщину низшаго сословія). Въ проявленіяхъ его любви много и смѣшного и грустнаго; а отношенія къ нему самому и къ этому его чувству автора очень напоминаютъ отношенія Достоевскаго къ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину.

Начавши неискусно свои ухаживанія за Василисой и оттолкнутый и испуганный ея восклицаніемъ: «полноте, безстыдники, на улицѣ!» Пѣтушковъ пишетъ ей наивно-глупое письмо:

„Милостивая Государыня Василиса Тимофеевна! Будучи отъ природы человѣкъ необидчивый, какъ же бы могъ я вамъ причинить непріятность... Я человѣкъ чювствительный, и всякую ласку чювствую и благодаренъ...“ и т. д.

Письмо это, не безъ содѣйствія однако Онисима (безъ него безпомощный Пѣтушковъ шагу не можетъ ступить), все уладило,—и чувство Ивана Афанасьича (такъ зовутъ Пѣтушкова) нашло легкую взаимность въ Василисѣ.—Иванъ Афанасьичъ «понемногу перетащилъ весь свой скарбъ, по крайней мѣрѣ, всѣ чубуки свои, къ Прасковьѣ Ивановнѣ (тетка Василисы, булочница), и по цѣлымъ днямъ сидѣлъ у ней въ задней комнатѣ». Безпритязательный и нетребовательный во всякомъ смыслѣ этихъ словъ,

„онъ былъ счастливъ вполнѣ. Его душа согрѣлась... Василиса привыкла къ нему, работала, пѣла, пряла при немъ, иногда молвила съ нимъ слова два; Пѣтушковъ поглядывалъ на нее, покуривалъ трубочку, покачивался на стулѣ, посмѣивался и въ свободные часы игралъ съ нею и съ Прасковьей Ивановной въ дурачки. Иванъ Афанасьевичъ былъ счастливъ..."

Но счастье его было непродолжительно; оно смѣнилось мученіями ревности и горемъ измѣны. Пѣтушковъ надоѣлъ Василисѣ—и она стала имъ тяготиться. Авторъ подробно повѣствуетъ о всѣхъ перипетіяхъ душевныхъ страданій своего мелкаго героя, и видимо сочувствуетъ всѣмъ этимъ страданіямъ, и нигдѣ надъ Пѣтушковымъ не смѣется, за исключеніемъ развѣ случая, когда, разсказавъ, какъ онъ раззнакомился изъ-за Василисы съ товарищами, прибавляетъ съ легкой ироніей замѣчаніе, что, когда онъ встрѣчался съ ними, то

„принималъ отчаянно суровый и сосредоточенный видъ зайца, который барабанитъ посреди фейерверка".

Иванъ Афанасьичъ попробовалъ объясниться съ Василисой, выговорить ей,—но совершенно растерялся на ея слова: «Что-жъ, Богъ съ вами, Иванъ Афанасьичъ. Я сама по себѣ, а вы сами по себѣ... Вы меня все обижаете».

— Не буду, душа, не буду (заговорилъ онъ). Прости меня, стараго человѣка. Я впередъ уже не буду никогда. Ну, простила меня, что-ли?

— Богъ съ вами, Иванъ Афанасьичъ.

— Ну, засмѣйся, засмѣйся...

Василиса отвернулась.

— Засмѣялась, душа, засмѣялась!—закричалъ Пѣтушковъ и запрыгалъ на мѣстѣ, какъ ребенокъ.

Онъ попытался читать Василисѣ, вернуть къ себѣ ея сердце посредствомъ книгъ (которыя для него самого были дѣломъ труднымъ и малоинтереснымъ). Порывшись у себя въ ящикахъ, онъ нашелъ первую часть Рославлева, Наталью Долгорукую Козлова и кое-какія другія сочиненія.—Для начала онъ выбралъ романъ Загоскина.

„Василиса сидѣла неподвижно, сперва улыбалась, потомъ какъ-будто призадумалась... потомъ нагнулась немного впередъ, глаза ея съежились, ротъ слегка раскрылся, руки упали на колѣни: она

задремала. Пѣтушковъ читалъ скоро, невнятно и глухимъ голосомъ,—поднялъ глаза.

— Василиса, ты спишь?

Она встрепенулась, потерла себѣ лицо и потянулась. Пѣтушкову досадно стало на нее и себя...

— Скучно,—проговорила лѣниво Василиса".

Онъ схватился было за стихи, «стремительно подбѣжалъ» къ Василисѣ и началъ читать поэму Козлова; но Василиса «вдругъ залилась звонкимъ и рѣзкимъ хохотомъ... такъ и покатилась». Пѣтушковъ «съ досадой швырнулъ книгу на полъ».

Счастливымъ соперникомъ Пѣтушкова оказался товарищъ его—разбитной малый на всѣ руки—Бублицынъ. Къ этому Бублицыну стала бѣгать Василиса.—Огорченный и обиженный, Иванъ Афанасьичъ рѣшился бросить на-время измѣнницу и показать твердость характера; онъ сталъ даже хвалиться этой твердостью передъ Онисимомъ; но, при всемъ своемъ простодушіи, онъ легко замѣтилъ, что Онисимъ ему не вѣритъ.—Преданный слуга, видя мученія своего барина, вздумалъ-было его разговорить, успокоить, убѣдить:

— Плюньте, Иванъ Афанасьичъ, просто плюньте, послушайтесь меня... Ну, сами посудите: вѣдь, такихъ, какъ она, у насъ какъ собакъ... только свистни...

Какъ бѣшеный вскочилъ Пѣтушковъ съ дивана... но, къ изумленію Онисима, уже поднявшаго обѣ руки въ-уровень своихъ ланитъ, сѣлъ опять, словно кто ноги ему подкосилъ... По блѣдному его лицу катились слезы, косичка волосъ торчала на темени, глаза глядѣли мутно... искривленныя губы дрожали... голова упала на грудь.

Онисимъ посмотрѣлъ на Пѣтушкова и тяжко бросился на колѣни.

— Батюшка, Иванъ Афанасьевичъ,—воскликнулъ онъ:—ваше благородіе, извольте наказать меня, дурака! Я васъ обезпокоилъ, Иванъ Афанасьевичъ... Да какъ я смѣлъ! Извольте наказать меня, ваше благородіе... Стоитъ вамъ плакать отъ моихъ глупыхъ рѣчей... батюшка, Иванъ Афанасьичъ.

Это прекрасное мѣсто повѣсти свидѣтельствуетъ, что самъ авторъ глубоко сочувствуетъ горю своего героя, увлеченъ состраданіемъ къ нему и болѣзненной симпатіей къ его личности.—О томъ-же говоритъ и заключительная сцена

повѣсти, гдѣ Иванъ Афанасьичъ съ горя впервые напивается пьянъ, въ то время какъ Онисимъ, видя, что ничто не помогаетъ, отправился убѣждать и упрашивать Василису навѣстить барина. Онисимъ привелъ Василису — и видитъ положеніе Пѣтушкова. «Иванъ Афанасьичъ, помилуйте!» —завопилъ онъ.

— Изволь. И это изволь. Милую, милую и прощаю, — возразилъ Пѣтушковъ, неопредѣленно помахивая рукой. — Всѣмъ прощаю, и тебѣ прощаю, и Василисѣ прощаю, и всѣмъ, всѣмъ прощаю. А я, братъ, хватилъ... Хва-атилъ, братъ.

Онъ видитъ затѣмъ Василису, остановившуюся въ передней, зоветъ ее—и между ними происходитъ трогательный разговоръ, возбуждающій въ читателѣ сильное участіе къ бѣдному Ивану Афанасьевичу.

„Ты не гляди, что я пьянъ. Я точно пьянъ; только я убитъ. Оттого и пьянъ, что убитъ.

— Помилуй Богъ, Иванъ Афанасьичъ.

— Убитъ, Василиса, ужъ я тебѣ говорю. Ты мнѣ вѣрь. Я тебя никогда не обманывалъ...

А кто виноватъ?.. Я виноватъ, я первый. Мнѣ бы что слѣдовало сдѣлать? мнѣ бы слѣдовало тебѣ сказать: Василиса, я тебя люблю. Ну, хорошо. Ну, хочешь за меня замужъ? Хочешь? Правда, ты мѣщанка, положимъ; ну, да это ничего. Это бываетъ...

А все-таки тебѣ грѣхъ, большой грѣхъ. Я тебя любилъ, я тебя уважалъ, я... да ужъ что! Я и теперь готовъ хоть сейчасъ подъ вѣнецъ. Хочешь? Ты только скажи, и ужъ тамъ мы сейчасъ. А только ты меня обидѣла кровно. Хоть бы ты сама отказала, а то черезъ тетку, черезъ толстую эту бабищу. Вѣдь, только у меня и было радости, что ты. Вѣдь, я бездомный человѣкъ, вѣдь, я сирота. Кому теперь приласкать меня? кто мнѣ доброе слово молвитъ?

Эти рѣчи тѣмъ болѣе трогательны, что Пѣтушковъ является въ нихъ романтикомъ, юнымъ душою мечтателемъ: онъ и не понимаетъ, что кумиръ его, Василиса, вовсе не способна увлекаться радостями тихой семейной жизни.

Замѣчательно окончаніе этой сцены:

„Не хочешь... ну, какъ хочешь! Богъ съ тобой (говорилъ Иванъ Афанасьичъ). Въ такомъ случаѣ прощай! Прощай, Василиса. Желаю тебѣ всякаго счастія и благополучія... а я... а я...

И Пѣтушковъ зарыдалъ въ три ручья. Онисимъ изъ всѣхъ силъ поддерживалъ его сзади... Сперва перекосилъ лицо... потомъ самъ заплакалъ... И Василиса тоже заплакала...

Мы видимъ, что Тургеневъ относится къ своему мелкому герою какъ будто такъ-же, какъ Достоевскій къ своему, въ «Бѣдныхъ Людяхъ», т.-е. съ полнымъ, безусловнымъ участіемъ, не замѣчая въ немъ ничего пошлаго, и этимъ идеализируетъ Пѣтушкова. — Но есть, однако, въ окончаніи повѣсти черты, говорящія о другомъ.

Иванъ Афанасьичъ, предлагая Василисѣ выйти за него замужъ, вслѣдъ затѣмъ дѣлаетъ иного рода предложеніе:

Василиса, послушай-ка, что я тебѣ скажу: позволь мнѣ, этакъ, попрежнему ходить къ тебѣ. Не бойся... я буду, того, смирнехонько. Ты ходи къ кому тамъ знаешь, я — ничего: этакъ, безъ возраженій, знаешь. Ну, соглашаешься? хочешь — я на колѣнки стану?"

Такимъ словамъ и чувствамъ, такому самоуничиженію, такой нравственной неразборчивости и готовности примириться со всѣмъ, съ чѣмъ угодно,—сочувствовать нельзя. Здѣсь Пѣтушковъ отталкиваетъ насъ отъ себя.

Развѣнчиваетъ поэтъ своего героя и развязкою его исторіи. Василиса вышла замужъ за рыжеватаго и подслѣповатаго мѣщанина «Демофонта», и наслѣдовала хозяйство умершей своей тетки. А Пѣтушковъ спился, и все-таки не могъ отстать отъ предмета своей любви.

Лѣтъ черезъ десять (разсказываетъ поэтъ) можно было встрѣтить на улицахъ городка О... человѣка худенькаго, съ красненькимъ носикомъ, одѣтаго въ старый зеленый сюртукъ съ плисовымъ засаленнымъ воротникомъ. Онъ занималъ небольшой чуланчикъ въ извѣстной намъ булочной... За человѣкомъ въ зеленомъ сюртукѣ водилась одна слабость: любилъ выпить, впрочемъ, велъ себя смирно. Читатели, вѣроятно, узнали въ немъ Ивана Афанасьевича".

Сознаніемъ своимъ Тургеневъ всецѣло на сторонѣ своего мелочнаго героя; но какъ художникъ, онъ рисуетъ такіе факты его жизни и внутренняго міра, которые его совершенно развѣнчиваютъ.—У автора «Бѣдныхъ Людей» мы видимъ какъ-будто то же самое; но у Достоевскаго сознаніе пересиливало, и творческая сила уступила сознанію;

оттого творецъ Макара Дѣвушкина велъ своихъ читателей къ болѣзненной односторонности. Въ Тургеневѣ — художникъ, поэтъ былъ сильнѣе, — и творчество поправляло ошибки сознанія, спасало отъ ложныхъ увлеченій; мы видѣли, что такимъ же путемъ, какъ бы помимо воли автора, чуть не вопреки ей, такимъ же путемъ, какъ Пѣтушковъ, былъ развѣнчанъ раньше герой «Трехъ Портретовъ»—Василій Лучиновъ.

Повѣсть «Пѣтушковъ» производитъ далеко не такое сильное впечатлѣніе, какъ «Бѣдные Люди». Но это не потому, конечно, что талантъ Тургенева былъ слабѣе таланта Достоевскаго; а потому, что въ «Бѣдныхъ Людей» Достоевскій положилъ всю свою душу; а Тургеневъ — не весь ушелъ въ своего «Пѣтушкова». И благо ему, что не отдалъ онъ всего себя одностороннему увлеченію. Мы увидимъ, что въ эту самую пору уже начинали выясняться въ его душѣ иные идеалы. Сила поэзіи спасла его отъ односторонности, отъ тенденціозности.

А. Незеленовъ.

„Дневникъ лишняго человѣка“.

*) Въ «Дневникѣ лишняго человѣка» мы имѣемъ дѣло съ концомъ патологическаго процесса на тѣлѣ русскаго общества. Послѣ него, въ слѣдующихъ произведеніяхъ Тургенева мы уже будемъ имѣть дѣло съ перломъ русской жизни, съ наростаніемъ новаго порядка. Помимо глубины основной своей тенденціи, «Дневникъ» чрезвычайно замѣчателенъ по художественной отдѣлкѣ. Несмотря на нѣсколько однообразный тонъ изложенія, онъ производитъ очень сильное впечатлѣніе обиліемъ поэтическихъ красотъ, какъ нельзя болѣе подходящихъ къ грустному настроенію всей повѣсти... Создавая своего «лишняго человѣка», авторъ, очевидно, задавался цѣлью произвести какъ можно болѣе сильное впечатлѣніе, и вотъ почему при рисовкѣ Чулкатурина употребилъ весьма яркія краски. Цѣль его

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ“.

была достигнута: русское общество съ ужасомъ отшатнулось отъ нѣсколько обезображеннаго, но все-же похожаго изображенія своего, и въ увлеченіи своемъ открещивалось отъ какой-бы то ни было общности съ болѣзненною фигурою Чулкатурина. Этотъ ужасъ показывалъ, что въ русскомъ обществѣ уже созрѣла необходимость другого строя, что инертность ему надоѣла, и оно ищетъ широкаго поля дѣятельности, на которомъ бы на свободѣ могли развернуться настоящія силы.

С. Венгеровъ.

* * *

*) «Дневникъ лишняго человѣка», не взирая на многія несовершенства исполненія, можетъ назваться явленіемъ отраднымъ и много обѣщающимъ. По идеѣ своей онъ касается тонкихъ и въ высшей степени замѣчательныхъ явленій въ современномъ обществѣ; исполненіе его, хотя и имѣющее весьма замѣтный разладъ съ сказанною идеею, стоитъ великой похвалы въ художественномъ отношеніи. Форма дневника, доспускающая нѣкоторыя уклоненія отъ объективности въ представленіяхъ, какъ нельзя лучше подходитъ къ дарованію автора, за него взявшагося. Не во многихъ повѣстяхъ Тургенева встрѣчаются проблески поэзіи столько-же сильные, какъ въ «Дневникѣ лишняго человѣка»... Нельзя не пожалѣть о томъ, что Тургеневъ представилъ намъ Чулкатурина чахоточнымъ, умирающимъ, прощающимся съ жизнію. Вслѣдствіе этой прихоти, имѣющей въ себѣ нѣчто рутинное, сочувствіе цѣнителя, отвращаясь отъ страданій Чулкатурина, какъ человѣка лишняго, тянется къ тому же герою, какъ къ бѣдному и одинокому паціенту, осужденному на скорую кончину. Для того, чтобъ наблюдать за тонкими сторонами души человѣческой, надо видѣть ее въ нормальномъ положеніи, — не въ періодъ безнадежности или неисцѣлимаго отчаянія.

Чулкатуринъ г. Тургенева есть нѣчто среднее между высшимъ и низшимъ разрядомъ лишнихъ людей: онъ недо-

*) А. Дружининъ. „Собраніе сочиненій А. Дружинина", т. 7.

статочно даровитъ для того, чтобы имѣть право на широкую дѣятельность въ свѣтѣ, но не столько бездаренъ, чтобы быть ниже какой бы то ни было дѣятельности. Онъ уменъ, но умъ его сходенъ съ умомъ дитяти, озадаченнымъ массою только что пріобрѣтенныхъ свѣдѣній, поставленнымъ въ невозможность сдѣлать изъ нихъ какое-либо примѣненіе. Онъ образованъ на столько, чтобы отдѣлиться отъ массы невѣждъ и пошляковъ обыденнаго міра, но не на столько, чтобы получить полное сознаніе своего долга къ обществу и людямъ. Онъ мнителенъ, ребячески самолюбивъ и даже желченъ; но желчь Чулкатурина, какъ это всегда бываетъ у подобныхъ людей, обращается на него самого, не на что-либо другое. Чулкатуринъ до такой степени проникнутъ сознаніемъ своей неспособности тягаться съ жизнію, что даже не можетъ ѣдко говорить о жизни; онъ ѣдокъ лишь, говоря о себѣ самомъ, на себя самого изливаетъ онъ горькій юморъ, накопившійся въ его душѣ за долгое время испытаній. Сознаніе собственной неспособности, о которой говоримъ мы, въ «лишнемъ человѣкѣ» есть черта типическая, дающая жизнь и красу всему представленію...

А. Дружининъ.

*
* *

*) То, что въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда» выразилось судорожнымъ смѣхомъ, то-же самое болѣзненными, жалобными воплями сказалось въ «Дневникѣ лишняго человѣка»... То и другое произведеніе — горькое сознаніе моральнаго безсилія, душевной несостоятельности... Процессъ моральный, обнаружившійся въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда» и въ «Дневникѣ лишняго человѣка», поразительно сходенъ съ тѣмъ процессомъ, который породилъ у Пушкина его Ивана Петровича Бѣлкина, какъ по исходнымъ точкамъ, такъ и по самымъ послѣдствіямъ...

Въ «Дневникѣ лишняго человѣка» есть мѣсто, котораго — особенно если до него доходишь посредствомъ чтенія

*) Ап. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева, т. I.

всего предшествовавшаго—невозможно читать безъ сильнаго нервнаго потрясенія, если не безъ слезъ, мѣсто всегда одинаково дѣйствующее—и оно-то есть ключъ въ уразумѣнію Тургеневскихъ отношеній къ природѣ. Это конецъ дневника. Въ двухъ отношеніяхъ замѣчательно это мѣсто. Во-первыхъ, здѣсь является особенно ярко преобладающая черта Тургеневскаго таланта: глубокое проникновеніе природою, проникновеніе до какого-то сліянія съ нею. Тутъ на читателя вѣетъ весной, тутъ пахнетъ разрытой землей—и развѣ только ту главу изъ «Юности» Толстого, гдѣ выставляютъ раму окна, и читателя вдругъ обвѣваетъ свѣжимъ и рѣзкимъ весеннимъ воздухомъ, можно сравнить съ этимъ мѣстомъ.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Нашъ авторъ слишкомъ часто вредитъ замыслу важныхъ повѣстей чрезъ свое пристрастіе къ любовнымъ приключеніямъ. Конечно, онъ весьма силенъ въ разсказахъ, основанныхъ на любви; конечно, сама тема, по своей неистощимости, представляетъ много простора его дарованію, но бываютъ обстоятельства, при которыхъ повѣствователю не безполезно сдерживать себя по сказанной части. Еслибъ «Дневникъ лишняго человѣка» составлялъ цѣлую книгу, исторія Чулкатурина и Лизы Ожогиной нисколько бы не вредила идеѣ всей вещи; но теперь, при небольшомъ объемѣ повѣсти, она поглощаетъ собой цѣлый «Дневникъ» и всего героя. Только черезъ этотъ эпизодъ, и то мимоходомъ,—признаемъ мы въ бѣдномъ Чулкатуринѣ человѣка, исполненнаго благородныхъ стремленій, кроткое существо, жаждущее любви, способнаго и на счастье, и на трудъ, и на примиреніе съ жизнію.

А. Дружининъ.

* * *

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7

*) Ироническій анализъ нравственной слабости русскаго интеллигента, составляющій господствующій тонъ «Гамлета Щигровскаго уѣзда», превращается въ болѣзненную жалобу въ «Дневникѣ лишняго человѣка» — одной изъ самыхъ прочувствованныхъ, самыхъ оригинальныхъ и самыхъ выдержанныхъ повѣстей Тургенева. Въ этой предсмертной исповѣди умирающаго «сверхъ-штатнаго», лишняго человѣка поражаетъ сочетаніе глубокаго юмора въ анализѣ немощной человѣческой личности съ глубокимъ, страстнымъ сочувствіемъ въ изображеніи природы. Параллель между ничтожествомъ и безсиліемъ разъѣденнаго рефлексіей человѣка и непосредственнымъ могуществомъ вѣчно обновляющейся природы проведена такъ мастерски, съ такимъ поэтическимъ проникновеніемъ. Предсмертные жалобные стоны «лишняго человѣка» о жизни, погибающей задаромъ, не знавшей счастья и радости, звучатъ такъ болѣзненно, а подъ этой болѣзненной жалобой вѣетъ какъ бы дуновеніе воскресающей и оживающей весенней природы. Захватываетъ невольной жалостью сердце, и угнетается мысль невольнымъ сознаніемъ безпомощности ея передъ силою уничтоженія, когда читаешь эти чудныя строки «Дневника»: «Сегодня жарко, почти лѣтній день. Все таетъ, валится, течетъ. Въ воздухѣ пахнетъ разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запахъ. Паръ подымается отовсюду. Солнце такъ и бьетъ, такъ и разитъ. Плохо мнѣ. Я чувствую, что таю, какъ снѣгъ. Земля оживаетъ... мнѣ на ней нѣтъ мѣста». И затѣмъ какъ скорбны эти послѣдніе вопли «сверхъштатнаго» человѣка, который долженъ покончить съ жизнью именно тогда, когда въ окружающей его природѣ она дышитъ съ усиленной, съ разгорающейся все болѣе и болѣе энергіей, когда она вытѣсняетъ его, угасающаго, безсильнаго съ зачинающагося ея весенняго пира: «Смерть, смерть идетъ. Мнѣ уже слышится ея грозное crescendo... Пора... пора!.. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснѣй... Поздно я хватился за умъ! Странное дѣло! Я ути-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева". Спб. 1884 г.

хаю — точно; и вмѣстѣ съ тѣмъ... жутко мнѣ. Да, мнѣ жутко. До половины наклоненный надъ безмолвной, зіяющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, съ жаднымъ вниманіемъ осматриваю все кругомъ... Всякій предметъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ. Я не нагляжусь на мою бѣдную, невеселую комнатку, прощаюсь съ каждымъ пятнышкомъ на моихъ стѣнахъ! Насыщайтесь въ послѣдній разъ глаза мои! Жизнь удаляется: она ровно и тихо бѣжитъ отъ меня прочь, какъ берегъ отъ взоровъ мореходца. Старое толстое лицо моей няни, повязанное темнымъ платкомъ, кипящій самоваръ на столѣ, горшокъ ерани передъ окномъ, и ты, мой бѣдный песъ Трезоръ, перо, которымъ я пишу эти строки, собственная рука моя — я вижу васъ теперь... вотъ вы, вотъ. Неужели, можетъ быть, сегодня я... я никогда больше не увижу васъ? Тяжело живому существу разставаться съ жизнью. Что ты ластишься ко мнѣ, бѣдная собака? Что прислоняешься грудью къ постели, судорожно поджимая свой куцый хвостъ и не сводя съ меня своихъ добрыхъ, грустныхъ глазъ? Или тебѣ жаль меня? Или ты ужъ чуешь, что хозяина твоего скоро не станетъ»? И затѣмъ трогательное предсмертное прощаніе: «Прощай, жизнь, прощай, мой садъ, и вы, мои липы... Когда придетъ лѣто, когда вернутся золотые вечера — смотрите не забудьте сверху до низу покрыться цвѣтами... и пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущій говоръ листьевъ, слегка возмущенныхъ вѣтромъ... Прощайте, прощайте... прощай все и навсегда... Я умираю... Лишній человѣкъ умираетъ... живите живые!...»

Такихъ нервическихъ, задушевныхъ и вмѣстѣ съ этимъ проникнутыхъ поразительнымъ реализмомъ изображеній душевныхъ ощущеній угасающаго въ чахоткѣ больного — такихъ страницъ не найдется ни у одного изъ нашихъ художниковъ. О французскихъ современныхъ натуралистахъ нечего ужъ и говорить. Развѣ только у Диккенса можно отыскать что-нибудь въ этомъ родѣ, да и то разсыропленное нѣкоторою сантиментальностью и лишенное той глу-

бины пантеистическаго созерцанія отношеній природы къ человѣку, которою проникнута тургеневская повѣсть. И какъ художественно законченъ этотъ чудесный «Дневникъ», который, сказать мимоходомъ, кажется не особенно цѣнимъ нашей критикой, какъ хорошо оттѣняетъ его трогательный тонъ заключительное ироническое «примѣчаніе издателя», въ которомъ сообщается подпись одного изъ случайныхъ читателей «Дневника»: «Сѣю Рукопись Читалъ и Содержаніе Онной Нѣ одобрилъ Пѣтръ Зудотѣшинъ». Въ этомъ неодобреніи признаній бѣднаго «лишняго человѣка» какъ бы сказалась послѣдняя, посмертная насмѣшка надъ его неудавшеюся жизнью, самая грубая изъ всѣхъ житейскихъ насмѣшекъ—насмѣшка наивнаго невѣжества.

В. Буренинъ.

* * *

*) Себялюбіе скептика, которое въ Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда стоитъ какъ-то на второмъ планѣ, уступая первое мѣсто обаятельной силѣ анализа, играетъ, напротивъ, главную роль въ жизни и личности Чулкатурина, героя «Дневника лишняго человѣка». Только передъ смертью Чулкатуринъ утихаетъ и смиряется—и проявляетъ передъ нами блестящую силу своего тонко развитого ума, силу, которая при жизни скрывалась за его мелочными чувствами и поступками, такъ отталкивающими насъ отъ его личности. Передъ смертью онъ самъ казнитъ себя за нихъ безпощаднымъ анализомъ своихъ воспоминаній.

Подобно собрату своему Гамлету, Чулкатуринъ отлично себя опредѣляетъ. Широта пониманія въ соединеніи съ безпредѣльнымъ сомнѣніемъ, сомнѣніемъ во всемъ, и такимъ же безпредѣльнымъ себялюбіемъ, сдѣлали его мнительнымъ, подрѣзали крылья его волѣ, лишили его оригинальности и жизненности—и онъ сталъ отвлеченнымъ человѣкомъ, или, какъ онъ самъ прекрасно выразился—«лишнимъ».

---

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г

„Къ другимъ людямъ это слово не примѣняется (пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ)... Люди бываютъ злые, добрые, умные, глупые, пріятные и непріятные; но лишніе... нѣтъ... А я... Про меня ничего другого и сказать нельзя: лишній — да и только. Сверхштатный человѣкъ — вотъ и все... Во все продолженіе жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ быть, оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Я былъ мнителенъ, застѣнчивъ, раздражителенъ, какъ всѣ больные; притомъ, вѣроятно, по причинѣ излишняго самолюбія или вообще вслѣдствіе неудачнаго устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями—и выраженіемъ этихъ чувствъ и мыслей—находилось какое-то безсмысленное, непонятное и непреоборимое препятствіе; и когда я рѣшился насильно побѣдить это препятствіе, сломить эту преграду—мои движенія, выраженіе моего лица, все мое существо принимало видъ мучительнаго напряженія; и не только казался—я дѣйствительно становился неестественнымъ и натянутымъ. Я самъ это чувствовалъ, и спѣшилъ опять уйти въ себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбиралъ самого себя до послѣдней ниточки, сравнивалъ себя съ другими, припоминалъ малѣйшіе взгляды, улыбки... Цѣлые дни проходили въ этой мучительной, безплодной работѣ. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человѣкъ нуженъ?“

Чулкатурину пришлось близко познакомиться съ гостепріимнымъ семействомъ Ожогиныхъ; здѣсь влюбился онъ въ молодую дѣвушку Лизу. Онъ подмѣтилъ разцвѣтъ ея души, первые порывы и стремленія молодого дѣвическаго сердца къ любви и счастью: онъ, можетъ быть, самъ своими разговорами, своими чтеніями (онъ читалъ ей поэтовъ) способствовалъ ея развитію. Онъ было началъ оживать душою, становиться болѣе простымъ и жизненнымъ. Но, должно быть, вѣчный анализъ, безпредѣльный мучительный скептицизмъ подорвали въ немъ возможность отдаться чувству, лишили его чувство свѣжести и силы,—и Лиза, сначала какъ будто симпатизировавшая ему, отвернулась отъ него. Она полюбила петербургскаго блестящаго офицера, князя Н*, случайно пріѣхавшаго въ ихъ городъ, пустого фата и эгоиста.—И для Чулкатурина начались опять мученія безконечныхъ сомнѣній, осложнившіяся теперь ревностью. Въ повѣсти превосходно анализировано его душевное состояніе

въ эту тяжелую для него пору. Онъ самъ сравниваетъ себя съ тѣмъ молодымъ лакедемонцемъ,

„который, укравъ лисицу и спрятавъ ее подъ свою хламиду, ни разу не пикнувъ, позволилъ ей съѣсть всѣ свои потроха, и такимъ образомъ предпочелъ самую смерть позору... Я не могу найти (продолжаетъ онъ) лучшаго сравненія для выраженія моихъ несказанныхъ страданій въ теченіе того вечера, когда я въ первый разъ увидѣлъ князя подлѣ Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчаніе, тоскливое и напрасное желаніе уйти,—все это, вѣроятно, было весьма замѣчательно въ своемъ родѣ. Не одна лисица рылась въ моихъ внутренностяхъ: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, безсильная злость меня терзали".

Чулкатуринъ повелъ себя съ этихъ поръ глупо, унизительно, онъ какъ бы потерялъ чувство собственнаго достоинства. Состраданіе, которое мы питаемъ къ нему по человѣчеству, какъ то невольно смѣшивается у насъ съ отвращеніемъ, чуть не съ презрѣніемъ. Онъ навязался на дуэль съ княземъ, слегка ранилъ его; а тотъ, выстрѣливъ на воздухъ, раздавилъ его своимъ великодушіемъ. При всей тонкости своего ума, Чулкатуринъ не догадался, что онъ достигъ этой дуэлью (затѣвать которую не имѣлъ и нравственнаго права) только ненависти Лизы къ себѣ, да возвеличилъ князя Н* въ ея глазахъ.—Чулкатуринъ дошелъ даже до того, что ему стала казаться привлекательною мечта, какъ князь броситъ свою жертву—Лизу: онъ думалъ, что тогда ему представится случай выказать передъ Лизой великодушіе, и она будетъ побѣждена этимъ, и полюбитъ его и отдастъ ему свою руку. Когда мечта его сбылась, онъ такъ и поступилъ, сталъ ухаживать за Лизой, не сообразивъ (потому что его же собственныя мысли и наблюденія мѣшали ему понимать дѣло), не сообразивъ, что она его ненавидитъ. Онъ и тутъ оказался лишнимъ, и долженъ былъ уступить мѣсто ничтожному Бизьмёнкову. А между тѣмъ онъ, безъ всякаго сомнѣнія, и въ умственномъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ стоитъ безконечно выше и бездушно-холоднаго фата князя Н* и мелкаго духомъ, приниженнаго Бизьмёнкова. И онъ хотѣлъ быть дѣй-

ствительно великодушнымъ, «жаждалъ счастья» протянуть Лизѣ руку, жаждалъ счастія — все позабыть, потому что глубоко любилъ, а не потому, чтобы признавалъ себя, какъ Бизьмёнковъ, ничтожествомъ передъ княземъ Н*.

Разбитый духомъ и тѣломъ, Чулкатуринъ умираетъ, и близость смерти подымаетъ его нравственно: онъ сознаетъ свои заблужденія, къ нему возвращаются блескъ и сила его ума, онъ становится естественнѣй и проще, и теплое чувство, уже не подавляемое рефлексіей, свободно проникаетъ первыя и послѣднія страницы его дневника. Онъ даже со смертью примиряется, потому что она избавитъ его отъ глупыхъ и ложныхъ внутреннихъ терзаній:

„Да, хорошо (говоритъ онъ), хорошо отдѣлаться, наконецъ, отъ томящаго сознанія жизни, отъ неотвязнаго и безпокойнаго чувства существованія!“

Онъ съ любовью вспоминаетъ свою прошлую жизнь въ родной деревнѣ (здѣсь онъ поднимается выше Гамлета Щигровскаго уѣзда; впрочемъ, можетъ быть, и тотъ просвѣтлѣетъ передъ кончиной):

„Я бы хотѣлъ (пишетъ Чулкатуринъ) еще разъ надышаться горькой свѣжестью полыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тяканье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви, еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага“.

Въ послѣдній день передъ своей смертью онъ записалъ:

„Въ виду смерти исчезаютъ послѣднія земныя суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснѣе. Поздно я хватился за умъ!.. Странное дѣло! я утихаю — точно, и вмѣстѣ съ тѣмъ... жутко мнѣ. Да, мнѣ жутко. До половины наклоненный надъ безмолвной, зіяющей бездной, я содрогаюсь, съ жаднымъ вниманіемъ осматриваю все кругомъ. Всякій предметъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ... О, Боже мой, Боже мой! Я вотъ умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанетъ биться... И неужели же оно затихнетъ навсегда, не извѣдавъ ни разу счастія, не расширяясь ни разу подъ сладостнымъ бременемъ радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю!.. Если-бъ, по крайней мѣрѣ, теперь, передъ смертью—вѣдь, смерть все-таки святое дѣло, вѣдь, она возвышаетъ всякое существо — если бъ какой-нибудь милый, грустный, дружескій голосъ пропѣлъ надо мной прощальную пѣснь

о собственномъ моемъ горѣ, я бы, можетъ быть, помирился съ нимъ. Но умереть глухо, глупо...“

Оканчивается дневникъ лишняго человѣка выраженіемъ чувства любви его къ людямъ:

Живите живые!
И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть.

Тургеневъ безпощадно развѣнчалъ Чулкатурина въ разсказѣ его жизни, но въ сейчасъ приведенныхъ словахъ слышится его несомнѣнное и правдивое сочувствіе къ своему герою, къ этому «лишнему человѣку», къ его неумершей душѣ. Этого сочувствія не заглушаетъ даже то обстоятельство, что поэтъ заставилъ его умереть—хоть и не 1-го апрѣля, какъ тотъ боялся, а все-таки въ ночь съ 1-го на 2-е; не заглушаетъ и оканчивающее повѣсть «Примѣчаніе издателя».

А. Незеленовъ.

„Три Встрѣчи“.

*) Эта повѣсть, по нашему мнѣнію, можетъ служить любопытнымъ памятникомъ несостоятельности разсказовъ отъ собственнаго лица. Г. Тургеневъ, такъ мастерски пользовавшійся формою личнаго повѣствованія, долженъ былъ и показать всю слабую сторону ея вполнѣ. Она выступила у него въ «Трехъ Встрѣчахъ» съ такой гордостью, самостоятельностію и отчасти съ такимъ кокетствомъ, что поглотила содержаніе. Въ разсказѣ есть нѣсколько блестящихъ страницъ, но фантастическое, эффектное содержаніе его къ тому только, кажется, и направлено, чтобъ освѣтить лицо разсказчика наиболѣе благопріятнымъ образомъ. Такъ нѣкоторые портретисты опускаютъ на окна свои пурпуровые занавѣсы, чтобы получить отблескъ необычайнаго колорита для физіономій, списывающихся у нихъ. Послѣ повѣсти: «Три Встрѣчи» форма личнаго разсказа уже была вполнѣ исчерпана авторомъ, и возвратиться къ ней уже врядъ ли онъ могъ.

П. Анненковъ.

*) П. Анненковъ. „Современникъ“ 1855 г., № 1.

*) Повѣсть «Три Встрѣчи» всецѣло принадлежитъ къ области «искусства для искусства». О руководящей идеѣ тутъ не можетъ быть и рѣчи. Фигурально выражаясь, это благоуханный цвѣтокъ, ароматъ котораго съ наслажденіемъ впиваешь, но другихъ существенныхъ качествъ не представляющій. Тутъ вся суть въ отдѣлкѣ, въ переложеніи она теряетъ всю свою прелесть.

С. Венгеровъ.

* * *

**) По словамъ Дружинина, повѣсть «Три Встрѣчи» хотя и исполненная проблесковъ поэзіи, но не выдержанная и даже темная по содержанію.

А. Дружининъ.

* * *

***) Есть какая-то неполнота въ творчествѣ Тургенева, говоритъ Ап. Григорьевъ,—вслѣдствіе этого какое-то моральное раздраженіе, вмѣсто вѣры и удовлетворенія, остается послѣ нѣкоторыхъ повѣстей его, какъ, напримѣръ,— «Три Встрѣчи», столь поэтически задуманной, столь роскошно, благоуханно обставленной подробностями, и столь мало удовлетворяющей возбуждаемую ею жажду.

Ап. Григорьевъ.

„Муму“.

****) Повѣсть «Муму» распадается на двѣ части: на изображеніе барской жизни прежняго времени и на постановку характера глухонѣмого дворника Герасима. Обѣ задачи исполнены весьма удовлетворительно. Выполненіе второй части показываетъ въ Тургеневѣ замѣчательное чутье правды»...

О Герасимѣ г. Венгеровъ говоритъ: «Природа наградила

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современ. представителяхъ“.
**) Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.
***) Сочиненія Ап. Григорьева, т. I.
****) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ“.

его силою, цвѣтущимъ здоровьемъ, которыя въ свою очередь породили въ немъ жажду и потребность дѣятельности. Не зная никакихъ другихъ потребностей, онъ вполнѣ доволенъ сознаніемъ исполненной обязанности. Когда онъ сдѣлаетъ свое дѣло—онъ чувствуетъ себя въ самомъ лучшемъ состояніи. Но человѣкъ не созданъ изъ одной положительности. Сердце, даже у глухонѣмого, отъ времени до времени предъявляетъ свои права и настойчиво требуетъ удовлетворенія. Глухому Гараськѣ понравилась дворовая дѣвка—горничная Татьяна, и онъ на свой неловкій манеръ начинаетъ за ней ухаживать. Но любовь вслѣдствіе разныхъ причинъ вышла неудачна. Тургеневъ не заставилъ, однакоже, своего глухо-нѣмого придти въ бѣшенство и обнаружить какія-нибудь звѣрскія наклонности. Лучше понимая глубокую славянскую натуру, авторъ рѣшилъ, что взрывъ страстей не особенно будетъ подходящъ къ ней... Повѣсть о привязанности Герасима къ найденной имъ собачкѣ такъ неотразима, такъ сильно дѣйствуетъ на читателя... Есть что-то глубоко щемящее за сердце въ любви одного безсловеснаго существа къ другому такому же безсловесному, въ этомъ союзѣ полнаго воли глухого богатыря съ слабымъ, безпомощнымъ созданіемъ... Рѣшимость собственными руками утопить «Муму» указываетъ намъ не на ошибку автора, а на желаніе его нарисовать намъ крѣпкую натуру, которая должна пристыдить разныхъ «лишнихъ людей» активностью своего нравственнаго существа.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Повѣсть «Муму» (написанная въ 1852 году) есть высокое художественное произведеніе, въ которомъ возвышенная мысль о злѣ крѣпостного права органически слилась съ поэтическимъ творчествомъ. Герой произведенія, нѣмой крестьянинъ Герасимъ (очень симпатичная личность, стоящая близко къ природѣ, къ землѣ, которую онъ обра-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

батываетъ и любитъ), оторванъ по прихоти барыни отъ этой земли, переведенъ въ городъ и сдѣланъ дворникомъ. Свыкшись съ новой участью и примирившись съ судьбою, Герасимъ полюбилъ своимъ простымъ сердцемъ кроткую и безотвѣтную дворовую дѣвушку Татьяну. Но тутъ опять прихоть барыни разрушаетъ его счастье: скучающая помѣщица выдумываетъ женить на Татьянѣ башмачника Капитона для отрезвленія его отъ загуловъ. Герасимъ привязывается послѣ этого къ спасенной имъ собакѣ, которую онъ называетъ Муму; но и тутъ снова, въ третій разъ, самовольная прихоть помѣщицы наноситъ ударъ его любящему сердцу: собака безпокоитъ нервы барыни своимъ невѣжливымъ отношеніемъ къ барской ласкѣ и своимъ лаемъ, и ее велѣно удалить съ двора. Въ отчаяніи Герасимъ рѣшаетъ самъ утопить свою любимицу. Но когда онъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, сердце его до такой степени переполнилось горемъ, что онъ, смиренный, покорный и безотвѣтный, забываетъ все, забываетъ власть барыни, и идетъ назадъ въ деревню, къ землѣ, къ своей крестьянской работѣ. Сила молчаливаго протеста его противъ суроваго произвола инстинктивно почувствовала сама барыня: она оставила его въ деревнѣ, объявивъ, «что такой неблагодарный человѣкъ ей вовсе не нуженъ».

Характеры лицъ въ этой повѣсти,—барыни, самого Герасима, дворецкаго Гаврилы, Татьяны и другихъ,—изображены живо и художественно, и съ удивительнымъ юморомъ нарисованъ легкомысленный башмачникъ Капитонъ. Прекрасно изображена и собака нѣмого.

А. Незеленовъ.

* * *

*) До повѣсти «Муму» Тургеневъ велъ разсказы отъ собственнаго лица. Переходомъ же къ новому роду произведеній была повѣсть «Муму», за которой появились «Два Пріятеля» и «Затишье».

П. Анненковъ.

*) П. Анненковъ. „Современникъ“ 1885 г., № 1.

„Два Пріятеля".

*) Въ «Двухъ Пріятеляхъ» мы уже не видимъ ни байронизма, ни жоржъ-зандизма, ни гоголевскаго элемента, понятаго съ мизантропической точки зрѣнія. Герой повѣсти уже не юноша, чуждый спасительныхъ оковъ долга, не озлобленный мечтатель, считающій міръ за нѣчто себя недостойное, не убитый судьбою Чулкатуринъ, которому остается завернуться въ свой плащъ и умереть не безъ ироническаго прощанія со свѣтомъ. Герой «Двухъ Пріятелей» есть человѣкъ дѣйствительно лишній, но неоправданный сочинителемъ. Вязовнинъ г. Тургенева оказывается лишнимъ по своей собственной совращенности, по своему собственному неповиновенію священнымъ законамъ общества, обрекающимъ каждаго смертнаго трудиться въ потѣ лица, имѣть какое-либо серьезное дѣло въ жизни... Вязовнинъ имѣетъ одно преимущество передъ своими старшими товарищами: онъ *страдаетъ* отъ своей общественной неопредѣленности, по мѣрѣ своихъ слабыхъ силъ *вступаетъ съ нею въ борьбу*, выдерживаетъ ее худо и за то переноситъ наказаніе, законность котораго сознаетъ со всею полнотою. Онъ уже представляется намъ не какъ необходимое произведеніе современности, не какъ полезное звено въ разумномъ обществѣ, но какъ созданіе нездоровое по своей винѣ и признаваемое нездоровымъ. Вязовнина не выдаетъ намъ г. Тургеневъ за лицо, достойное любви или удивленія—авторъ только даетъ намъ замѣтить, что между нами имѣется много Вязовниныхъ; что даже всякій изъ насъ носитъ въ себѣ нѣкоторыя начала характера, имъ обрисованнаго.

А. Дружининъ.

* * *

**) «Два Пріятеля» интересны для насъ личностью одного изъ «Двухъ Пріятелей»—Вязовнина. Интересенъ онъ для

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.
**) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ".

насъ тѣмъ, что представляетъ собою *средній* типъ недовольныхъ людей... Онъ слегка скучаетъ, слегка тоскуетъ, имѣетъ слегка возвышенные идеалы; онъ не пошлякъ и не идеалистъ; добръ, больше по мягкости характера, однимъ словомъ, «золотая середина» — но середина недовольная, потому что онъ не удовлетворяется своимъ тихимъ безмятежнымъ «счастьемъ», и при всемъ томъ, что любитъ и даже уважаетъ свою молодую жену—его тянетъ въ большой городъ, — за границу, чтобы увидѣть вокругъ себя настоящую жизнь, а не физіологическое проростаніе.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Вязовнинъ думаетъ, что онъ лишній человѣкъ, между тѣмъ, человѣкъ онъ добрый, простой, смирный, способный полюбить даже вовсе необразованную дѣвушку; въ немъ нѣтъ талантливости Колосова, а поступаетъ онъ точь-въ-точь, какъ Колосовъ. Вязовнинъ нѣсколько фатъ, и страдаетъ многими замашками *джентльменовъ,* какъ г. Тургеневъ назвалъ Астахова, нынѣшняго положительнаго человѣка.

С. Дудышкинъ.

* * *

**) Борисъ Андреевичъ Вязовнинъ въ повѣсти «Два Пріятеля», заѣхавшій въ деревню по домашнимъ обстоятельствамъ, знакомится съ сосѣдомъ, который гораздо ниже его по состоянію, уму, образованности и всѣмъ привычкамъ жизни, но которому онъ однако же подчиняется отчасти добровольно, отчасти нехотя. Сосѣдъ попросту собирается женить Бориса Андреевича, и везетъ его сперва къ провинціальной львицѣ, потомъ въ почтенное семейство съ двумя образованными барышнями. Ни одна изъ этихъ знакомыхъ не получаетъ одобренія Вязовнина, потому что

---

*) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки“ 1857 г., № 1.
**) П. Анненковъ. „Современникъ“ 1885 г., № 1.

всѣ ужъ очень ясны своими забавными сторонами, но, къ великому изумленію сосѣда, Вязовнинъ останавливаетъ вниманіе свое на простой, бѣдной, не очень умной, но хорошенькой дѣвушкѣ. Она-же притомъ и хозяйка отличная. Сосѣдъ сбитъ съ толку: онъ не понимаетъ, что господамъ, въ родѣ Вязовниныхъ, необходимы сильные нравственные удары для пробужденія ихъ чувствительности, и что они склоняются обыкновенно или передъ старымъ, опытнымъ кокетствомъ или передъ рѣзкой идилліей. Вязовнинъ женился не по любви собственно, а по тому странному обману самого себя, который тоже свойственъ Вязовнинымъ. Въ извѣстныя эпохи (большею частію на поворотѣ къ старости) они насильственно сводятъ на землю и прикладываютъ къ текущимъ обстоятельствамъ свои прежнія грезы, то, что видѣли иногда въ неопредѣленныхъ надеждахъ и мечтаніяхъ. Женившись, Вязовнинъ открываетъ всю бѣдность нравственнаго существа своего. Онъ не въ состояніи подчиниться новому своему положенію; онъ хотѣлъ бы соединить двѣ противоположныя вещи — опредѣленность, благоразумную правильность женатой жизни съ колебаніями и порывами человѣка, отыскивающаго себѣ еще точку опоры. Самъ не зная, чего требовать отъ настоящаго, чего ожидать отъ будущаго, онъ составляетъ несчастіе жены, которая не можетъ понять, въ чемъ дѣло; наконецъ, просто въ одно утро убѣгаетъ изъ дома, который по наружности кажется такимъ тихимъ и счастливымъ. Онъ отправляется за границу, думая набраться моральной силы однимъ процессомъ движенія и перемѣны мѣста, и случайно, отъ неосторожности погибаетъ на переѣздѣ, освобождая жену свою, которая выходитъ замужъ за сосѣда. Такова мысль, заключенная въ этомъ небольшомъ разсказѣ: она развита безъ претензій и скромно таится въ обстановкѣ изъ провинціальнаго быта, между сценами и людьми, списанными очень вѣрно и ловко съ натуры.

П. Анненковъ.

*) Простота постройки (хотя и нарушенная въ концѣ исторіей утопленія), поэтическая непосредственность въ отношеніяхъ къ изображаемому быту, наконецъ (и это важнѣе всего), отсутствіе всякаго уныло-тусклаго колорита въ разсказѣ—вотъ достоинства «Двухъ Пріятелей», достаточно отмѣтившія повѣсть и какъ бы поставившія ее началомъ новаго ряда произведеній Тургенева.

А. Дружининъ.

* * *

**) Повѣсть «Два Пріятеля» по внѣшнему содержанію такъ проста, что ее можно разсказать въ нѣсколькихъ словахъ: молодой помѣщикъ женился на дочери другого помѣщика, пожилъ немного съ женою, заскучалъ, уѣхалъ за границу, и тамъ самымъ глупымъ образомъ покончилъ свою жизнь на дуэли съ случайно встрѣченнымъ имъ парижскимъ забіякой. Жена помѣщика, оставшись вдовой, вышла замужъ за его пріятеля, который его съ ней познакомилъ. Вотъ и все тутъ, повидимому. Но на этомъ простомъ фонѣ нарисованъ рядъ превосходныхъ бытовыхъ сценъ, въ рамки этого безпритязательнаго житейскаго анекдота вставлена одна изъ самыхъ характерныхъ типическихъ драмъ русскихъ людей того поколѣнія и той среды, которыя теперь представляютъ уже далекое, отжитое, прошлое. Въ лицѣ главнаго героя повѣсти Бориса Андреевича Вязовнина, Тургеневымъ снова затронутъ вопросъ о душевномъ безсиліи тогдашнихъ интеллигентовъ и ихъ невольной отрѣшенности отъ почвы, отъ смиренной простоты русской дѣйствительности, отрѣшенности, обусловленной искусственнымъ, наноснымъ развитіемъ, которое не могло примириться съ тѣмъ, что представляла ихъ взглядамъ и вкусамъ, взлелѣяннымъ поверхностнымъ европейничаньемъ,

Эта скудная природа,
Эти бѣдныя селенья,
Край родной долготерпѣнья.

---

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.

**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

Несмотря на явную безхарактерность и расшатанность воли Вязовнина, судьба была такъ благосклонна къ нему, что послала ему настоящее простое счастіе въ лицѣ его жены, которую онъ полюбилъ и которая его полюбила со всею свѣжестью и безхитростностью здоровой и свѣтлой натуры. Но ему скоро прискучило нормальное, мирное и простое счастье, посланное ему благосклонной судьбой; въ немъ проснулись тѣ мечтательные, искусственные порывы мнимаго «развитія», которые такъ хорошо драпировались у людей тогдашняго поколѣнія въ тогу какихъ-то «высшихъ стремленій», а на самомъ дѣлѣ, главнымъ образомъ, истекали изъ слабости воли, изъ прихотей воображенія, вскормленныхъ барскою обезпеченностью и бѣганіемъ отъ всякаго настоящаго реальнаго дѣла, отъ всякихъ реальныхъ чувствъ, и въ концѣ концовъ сводились на безплодную погоню за болѣзненно-романтическими фантазіями. И вотъ онъ не выдерживаетъ мирнаго и здороваго счастья, онъ покидаетъ свою родину, свой отеческій кровъ, свою любящую и любимую подругу. Съ внутреннимъ самодовольнымъ укоромъ себѣ за то, что онъ сдѣлалъ ошибку—попытавшись примириться съ дѣйствительностію, онъ восклицаетъ:

Въ одну телѣгу впречь не можно
Коня и трепетную лань...

«А какой онъ былъ конь», ядовито замѣчаетъ неумолимый художникъ-аналитикъ, разоблачитель душевной несостоятельности этихъ мнимо-возвышенныхъ, а въ существѣ дѣла мелкихъ и развинченныхъ натуръ. И дѣйствительно этотъ мнимый конь, бѣжавшій отъ трепетной лани, которая мѣшала будто бы его порывамъ на какіе-то подвиги, оканчиваетъ всѣ эти подвиги глупымъ столкновеніемъ въ парижскомъ шато-де-флеръ съ какимъ-то французскимъ негодяемъ изъ-за какой-то гризетки, едва перемолвившейся съ нимъ нѣсколькими словами. Увы, такая глупая и пошлая развязка безцѣльнаго существованія была въ доброе старое время фатальною развязкой для многихъ россіянъ, считавшихъ себя развитыми умами и высшими натурами, не умѣвшими будто бы вслѣдствіе высоты своихъ требо-

ваній примириться съ будничною, обыкновенною, простою дѣйствительностью!

Въ первоначальномъ видѣ смерть Вязовнина Тургеневъ мотивировалъ простою случайностью: герой утопаетъ, нечаянно упавъ съ палубы парохода. Въ позднѣйшихъ изданіяхъ повѣсть значительно дополнена: присочинено нѣсколько страницъ, въ которыхъ эпизодъ смерти Вязовнина разсказанъ въ новомъ варіантѣ. Этотъ варіантъ показываетъ, какъ внимательно относился Тургеневъ къ своимъ художественнымъ работамъ, какъ онъ старательно вдумывался въ нихъ. Въ прежнемъ видѣ смерть Вязовнина являлась обстоятельствомъ, мало имѣющимъ отношенія къ смыслу повѣсти: нечаянно упасть съ парохода и утонуть можетъ каждый человѣкъ, съ какимъ угодно, даже самымъ сильнымъ характеромъ. Но умереть такъ, какъ умираетъ Вязовнинъ въ позднѣйшемъ дополненіи къ повѣсти, могъ только тряпичный и безхарактерный россійскій интеллигентъ и безцѣльный скиталецъ по любезному его сердцу Западу. Нелѣпая дуэль Вязовнина съ какимъ-то французскимъ забіякой, который вмѣстѣ со своими сотоварищами, какъ цыпленка, зарѣзываетъ безъ всякаго повода нашего героя, встосковавшагося о томъ, что онъ—гордый «конь», связавшій свою судьбу «съ трепетною ланью»—эта нелѣпая дуэль прибавляетъ новую и чрезвычайно характерную подробность къ обрисовкѣ шаткой натуры Вязовнина и художественно доканчиваетъ образъ, созданный Тургеневымъ. Страницы, на которыхъ разсказана помянутая дуэль, принадлежатъ къ числу лучшихъ тургеневскихъ страницъ, и имѣютъ еще тотъ интересъ, что этотъ художникъ, признаваемый многими и признававшій самъ себя чистокровнымъ западникомъ, рисуетъ тутъ французовъ съ нескрываемою злостью и презрѣніемъ къ нѣкоторымъ, по истинѣ гнуснымъ и жалкимъ качествамъ ихъ національнаго характера.

В. Буренинъ.

* * *

„Затишье“.

*) Помимо другихъ интересныхъ лицъ, «Затишье» выдвигаетъ на первый планъ такіе два типа, которые не должны быть забыты, если обнять умственнымъ взоромъ прошлое нашего общества. Впрочемъ, мы не особенно настаиваемъ на словѣ *типъ*, по крайней мѣрѣ, въ примѣненіи къ героинѣ—Машѣ. Такія женщины составляютъ исключеніе, и показываютъ только, какія крѣпкія фигуры иной разъ выдвигаетъ неказистая родная обстановка...

С. Венгеровъ.

* * *

**) Положительно во всей русской литературѣ мы не встрѣчаемъ такой цѣльной, крупной, такой строгой, нѣсколько грубой женщины. Да, впрочемъ, подобная женщина и не можетъ быть нѣжной, и невольно задаешь себѣ вопросъ: какимъ образомъ могла явиться Маша въ тѣ времена среди нашихъ мелкихъ, изломанныхъ на всѣ лады или мягкихъ какъ тѣсто женщинъ?... Маша — первая въ русской литературѣ вполнѣ цѣльная и строгая по природѣ дѣвушка, которая смотритъ на мужчину, какъ на дѣятеля, и обращается къ нему съ умной требовательностью. И дѣвушка эта не только всецѣло принадлежитъ деревнѣ, но еще одной изъ самыхъ глухихъ захолустьевъ—«Затишью». Дочь помѣщика, она даже не барышня. Она не болтаетъ по-французски, не любитъ читать—разумѣется, романовъ, потому что другого чтенія у дѣвицъ тогда не было, — не любитъ свѣта, а любитъ работать, дѣлать что-либо...

Никакія побужденія Маши не въ состояніи были вдохнуть силу и стойкость въ изломаннаго и жиденькаго человѣка, котораго, по несчастью, полюбила она. А между тѣмъ эта любовь Маши была для нея все. Это не была любовь свѣтскихъ женщинъ, ищущихъ въ ней только развлеченія.

---

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ“.
**) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

Дѣвушка съ такой сильной натурой, какъ Маша, не чувствуетъ въ себѣ силы мѣнять привязанность, да и кого выберетъ она въ такомъ захолустьѣ другого, когда самый многообѣщающій изъ мужчинъ оказался ничтожностью? А помимо любви, еще нѣтъ ничего влекущаго, живого кругомъ бѣдной дѣвушки. Съ отъѣздомъ Веретьева, обыденная мелкая жизнь въ глуши, осенью, налегаетъ всей тяжестью своей пустоты на полную силъ и жаждущую жизни дѣвушку,—и Маша не выноситъ этой удушающей пустоты; она не видитъ изъ нея выхода и предпочитаетъ смерть,— полную смерть этой медленно-мертвящей жизни. И эта смерть дѣвушки съ глубокой и сильной натурой и съ самыми честными и разумными стремленіями, и смерть не въ минуту какого-нибудь порыва страсти, кладетъ страшную черту, освѣщаетъ ужаснымъ свѣтомъ ту мертвящую и убивающую эпоху, въ которую суждено было жить этой дѣвушкѣ! И понимала ли Маша, что воздухъ, отравленный ядомъ Анчара, описаніемъ котораго она наслаждалась въ стихахъ Пушкина, не былъ болѣе убійственъ, чѣмъ русскій воздухъ современной ей эпохи для всякой выдающейся изъ ряда честной и сильной личности?

М. Авдѣевъ.

* * *

*) Замѣчательная черта въ степной барышнѣ — она не любитъ «сладкихъ» стиховъ. Но зато глубокая поэзія Пушкинскаго «Анчара» производитъ на нее очень сильное впечатлѣніе, и она съ наслажденіемъ нѣсколько разъ перечитываетъ прекрасное стихотвореніе. Полюбивъ Веретьева за ширину его натуры, она не можетъ, однакоже, равнодушно видѣть его шутовства, и дѣлаетъ ему по этому случаю весьма горькіе упреки. Полюбила она тоже не такъ себѣ, слегка, отъ скуки. Любовь ея не порывистая, южная, которая именно вслѣдствіе страстности своей, очень часто остываетъ, но зато теряя во внѣшности, она вы-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея соврем. представителяхъ“.

игрываетъ во внутреннемъ содержаніи, и счастливъ тотъ мужчина, которому удалось нарушить покой ея дѣвственнаго сердца. Самоубійство Маши не доказываетъ, какъ оно бываетъ въ другихъ случаяхъ, слабости ея характера. Маша не сдѣлала такъ называемаго «рокового шага»: былъ Веретьевъ, сплылъ Веретьевъ—«общественное мнѣніе» не дѣлало никакихъ двусмысленныхъ сопоставленій,—значитъ, причина самоубійства Маши не имѣла причиною малодушіе.

С. Венгеровъ.

* * *

*) *Владиміръ Сергѣичъ Астаховъ* на поверхностный взглядъ имѣетъ нѣчто общее съ нашимъ старымъ знакомцемъ, Вязовнинымъ; но авторъ искусно затемнилъ это сходство, во-первыхъ, умными подробностями замысла, а во-вторыхъ, комическимъ положеніемъ, въ которое Астаховъ помѣщенъ относительно другихъ лицъ «Затишья». Астаховъ гораздо болѣе, чѣмъ Вязовнинъ, надышался фальшиво практическимъ воздухомъ Петербурга: въ немъ уже умерли сознаніе своихъ пороковъ и порывы къ разумной сторонѣ существованія, да и сердцемъ, какъ кажется, онъ отъ природы суше Бориса Андреевича...

Астаховъ—величавый дэнди Санктпетербурга—жалокъ, какъ нельзя болѣе, передъ острымъ, развязнымъ, даровитымъ Веретьевымъ. Онъ смѣшонъ даже передъ другими, нѣсколько пошлыми особами, являющимися въ повѣсти: его положительность не возбуждаетъ ни въ комъ изумленія, его уклончиво-сухая рѣчь не находитъ даже ни одного внимательнаго слушателя. «Кисляй!» говоритъ про него Веретьевъ; «кисляй!» думаютъ про него лица, близкія къ Веретьеву. И дѣйствительно, внѣ своей мелкой столичной сферы, Владиміръ Сергѣичъ не что иное, какъ кисляй, ненужная особа, полусонный ротозѣй, сующійся туда, гдѣ его не спрашиваютъ, да въ придачу еще оскорбляющійся своимъ лишнимъ положеніемъ. Говоря высокимъ слогомъ,

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.

ему нѣтъ мѣста на пирѣ жизни, хотя бы и провинціальномъ пирѣ. Пусть жизненный пиръ случается хотя въ мелкомъ уѣздномъ городишкѣ — быть на немъ лишнимъ гостемъ—не можетъ назваться радостью.

А. Дружининъ.

* * *

*) Изображеніе Астахова, этого безцвѣтнаго характера, сдѣлано авторомъ спокойно, неторопливо, безъ наговоровъ и съ большою умѣренностью. Кто знаетъ, какъ трудно изображать совершенно пустыхъ и вмѣстѣ совершенно приличныхъ людей, тотъ пойметъ, что въ передачѣ такого характера обнаруживается степень зрѣлости и силы авторскаго таланта. Астаховъ весь состоитъ изъ однихъ поползновеній къ чему-либо и называетъ себя практическимъ человѣкомъ, прикрывая титломъ этимъ неспособность къ пониманію благороднаго въ жизни и мысли. Онъ мягокъ до безсилія, но всегда сохраняетъ строгую физіономію, которая служитъ ему защитой отъ насмѣшекъ и, при случаѣ, спасаетъ даже отъ шутовскихъ промаховъ. При первомъ появленіи дикой, энергической барышни, Маши, въ домѣ Ипатова, онъ предается уже поползновенію любви, а когда показывается подруга ея, блестящая и рѣзвая Надежда Алексѣевна, онъ и къ ней начинаетъ питать нѣчто подобное. Но Астаховъ на подобіе Сатурна глотаетъ свои чувства или, лучше, свои поползновенія къ чувству, потому что люди, подобные ему, рѣдко находятъ взаимность и привѣтъ у мало-мальски порядочной женщины. Ощущенія ихъ слишкомъ чахлы, да притомъ успѣху мѣшаетъ и постоянная ихъ забота — смотрѣть за собою, беречь себя, стоять вѣчно на сторожѣ противъ чужого глаза и посягательства на ихъ достоинство. За этой тупой работой уже нѣтъ возможности предаться чему-либо другому, а еще менѣе такому чувству, которое именно подобную работу и исключаетъ.

П. Анненковъ.

*) П. Анненковъ. „Современникъ“ 1855 г., № 1.

*) *Веретьевъ*—это измельчавшійся и опустившійся на болѣе практическую точку типъ тѣхъ «художниковъ», которыми такъ охотно занималась литература кукольниковскихъ временъ,—художниковъ, для которыхъ въ жизни только и есть что неистовыя страсти, красоты и безцѣльное искусство. Правда, въ Веретьевѣ нѣтъ этой бури чувствъ, которыми были одержимы его прототипы, взглядъ его на жизнь и на самыя чувства гораздо легче, въ немъ есть нѣкоторыя нотки, которыя намекаютъ даже на другой, еще не совсѣмъ опредѣлившійся взглядъ на женщину, напр., упоминаніе о «честной» рукѣ Маши, или эти слова: «за то я люблю васъ, Маша, что вы не свѣтская барышня, не смѣетесь безъ нужды, не носите перчатокъ на вашихъ рукахъ, которыя и цѣловать оттого такъ весело, что онѣ загорѣли и силу въ нихъ чувствуешь... Я люблю васъ за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы, книгъ не читаете, стиховъ не любите...» Не правда-ли, что эти особенности, которыя Веретьевъ полюбилъ въ Машѣ, высказываютъ въ немъ поворотъ къ иному взгляду и инымъ требованіямъ, и если насъ поражаетъ въ немъ упоминаніе о такомъ достоинствѣ Маши, какъ то, что она книгъ не читаетъ, то, вспомнивъ, какимъ чтеніемъ пробавлялось большинство тогдашнихъ женщинъ, особенно живущихъ въ захолустьѣ, и какъ дѣйствовали на воображеніе женщины пошлые романы, согласишься съ Веретьевымъ, что эта нелюбовь къ чтенію была дѣйствительно въ то время достоинствомъ, которому Маша обязана независимостью и чистотою своего взгляда. Веретьевъ унаслѣдовалъ также отъ художниковъ и ихъ «загулъ» и ихъ безхарактерность; но у него мѣткій природный умъ; его взглядъ на самую красоту не глубокъ, но не лишенъ поэтичности и прелести.

М. Авдѣевъ.

* * *

**) Рядомъ съ Астаховымъ, авторъ нарисовалъ широ-

*) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы".
**) П. Анненковъ. „Современникъ" 1855 г., № 1.

кими чертами портретъ *Веретьева,* который составляетъ, повидимому, совершенную противоположность съ первымъ. Веретьевъ исполненъ огня, удали, откровенной смѣлости. Онъ не боится выдать себя, потому что на себя надѣется, бодро смотритъ всѣмъ въ глаза, заливается цыганскими пѣснями, отдается теченію своихъ мыслей безъ оглядки, и всегда сохраняетъ свою оригинальную красоту. Кажется, ничего не можетъ быть противоположнѣе съ Астаховымъ, а между тѣмъ это одно и то же лицо, одинъ и тотъ же человѣкъ, только при разницѣ темпераментовъ. Они родня, и братское сходство ихъ заключается въ томъ, что оба они не имѣютъ истиннаго, нравственнаго основанія въ характерахъ. Они лишены содержанія. Сила и блескъ Веретьева суть явленія чисто физическія, условливаемыя молодостію, свойствомъ раздражительности органовъ и обращенія крови. За ними нѣтъ ничего болѣе важнаго, никакой настоящей поэтической или моральной подкладки. Это обманъ, производимый накопленіемъ матеріальныхъ силъ и пропадающій вмѣстѣ съ растратой ихъ...

П. Анненковъ.

* * *

*) Веретьевъ, по словамъ Дружинина, представляетъ рѣзкую противоположность съ Владиміромъ Сергѣевичемъ Астаховымъ, хотя и нельзя сказать, чтобы люди, въ родѣ Веретьева, были чѣмъ-нибудь лучше Астаховыхъ.

А. Дружининъ.

* * *

**) Въ «Затишьѣ», кромѣ прелестныхъ картинъ помѣщичьей жизни, нарисованныхъ съ искренней задушевностью и тонкимъ юморомъ, Тургеневъ далъ два замѣчательно типическихъ образа Веретьева и Марьи Павловны. Веретьевъ—это одна изъ нашихъ такъ-называемыхъ «талантливыхъ натуръ», которыми русская земля богата до сихъ поръ

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.
**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева". Спб. 1884 г.

и талантливость которыхъ не идетъ дальше ухорскаго фразерства, ухорскаго пѣнія цыганскихъ романсовъ, бренчанья на гитарѣ, актерскаго передразниванья, «представленія» разныхъ смѣшныхъ штукъ, въ родѣ жужжанія мухи, и обыкновенно заканчивается непреоборимой склонностью къ безпутному прожиганію жизни и «загулу». Натуры этого сорта не лишены извѣстной увлекательности, въ нихъ есть та складка русской широкой удали, которая въ нашихъ настоящихъ народныхъ характерахъ такъ обаятельна и порой такъ могуча, даже возвышенна. Но въ сущности-то всетаки это люди, по выраженію поэта, «съ тряпичною дюжинной душой». Ихъ главная миссія заключается едва ли не въ томъ, что они губятъ и портятъ и свою жизнь и нерѣдко жизнь другихъ безсознательнымъ обманомъ страстности и силы, которыхъ на самомъ дѣлѣ въ нихъ нѣтъ. Вотъ именно такимъ обманомъ загубилъ Веретьевъ жизнь чудеснѣйшей русской дѣвушки, такъ тепло и тонко изображенной Тургеневымъ въ «Затишьѣ». Марья Павловна «Затишья» одинъ изъ самыхъ милыхъ и самыхъ выразительныхъ типовъ, нарисованныхъ нашимъ художникомъ, который какъ бы воспринялъ у Пушкина то мастерство, съ какимъ геніальный поэтъ создавалъ свои поэтическіе женскіе образы.

В. Буренинъ.

* * *

*) Нарисованному здѣсь романтику — Веретьеву, герою повѣсти, Тургеневъ видимо не сочувствуетъ, онъ его явно развѣнчиваетъ. Романтизмъ взятъ здѣсь съ его слабыхъ сторонъ. Но, поэтъ истинный и правдивый, Тургеневъ не могъ быть несправедливымъ, и онъ изображаетъ намъ и свѣтлыя черты Веретьева.

Фигура героя повѣсти ярко рисуется, оттѣненная съ одной стороны благороднымъ характеромъ Марьи Павловны, съ другой — цѣлымъ рядомъ людей сомнительныхъ качествъ, каковы: бойкая, умная, живая, но очень легкомысленная

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

сестра Веретьева—Надежда Алексѣевна; задорный пустой полякъ Стельчинскій; практическій человѣкъ, холодный, умѣренный и аккуратный Астаховъ и др.

Марья Павловна—правдивая, искренняя, очень близкая къ природѣ и непосредственности, вполнѣ цѣльная натура, не умѣющая чувствовать слегка и серьезно относящаяся къ жизни. Она—«дѣвушка лѣтъ двадцати, высокаго роста, полная и стройная», отличающаяся прямой русской степной красотой.

„Черты ея лица (говоритъ поэтъ) выражали не то, чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лобъ ея былъ широкъ и низокъ, носъ коротокъ и прямъ; лѣнивая и медленная усмѣшка изрѣдка кривила ея губы; презрительно хмурились ея прямыя брови... Когда же она поднимала свои глаза, въ нихъ было что-то дикое, красивое и тупое, напоминающее взоръ лани".

Веретьевъ такъ опредѣляетъ самой Марьѣ Павловнѣ ея личность:

„Вы не кокетка... за то я люблю васъ, Маша, что вы не свѣтская барышня, не смѣетесь безъ нужды, не носите перчатокъ на вашихъ рукахъ, которыя и цѣловать оттого такъ весело, что онѣ загорѣли и силу въ нихъ чувствуешь... Я люблю васъ за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы..."

Правдивость и непосредственность Марьи Павловны такъ велики, что она, наприм., не любитъ стиховъ и не хочетъ даже знакомиться съ ними, потому что, по ея мнѣнію, «все это сочинено, все неправда». Тѣмъ не менѣе у нея есть живое чувство красоты,—не даромъ она и любитъ и умѣетъ пѣть, и пѣніе ея просто, но проникнуто горячимъ чувствомъ. Поэзія можетъ сильно дѣйствовать на нее. Она была поражена, серьезно и искренно, пушкинскимъ «Анчаромъ», когда Астаховъ прочелъ ей это стихотвореніе; Астаховъ былъ свидѣтелемъ, какъ она потомъ ночью, одна въ саду, въ лунномъ свѣтѣ, декламировала:

Но человѣка человѣкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ...

И вотъ эта-то дѣвушка, правдивая, строгая и серьезная, любитъ Веретьева.

Первая встрѣча наша въ повѣсти съ Веретьевымъ благопріятна для него. Астаховъ пріѣзжаетъ къ Ипатову и застаетъ у него цѣлое общество, хоромъ поющее русскія пѣсни. Веретьевъ—запѣвало. Авторъ говоритъ про него:

„Онъ пѣлъ славно, бойко и весело. Его мужественное лицо, и безъ того выразительное, еще болѣе оживлялось, когда онъ пѣлъ, изрѣдка подергивалъ онъ плечами, внезапно прижималъ струны (гитары) ладонью, поднималъ руку, встряхивалъ кудрями и соколомъ взглядывалъ кругомъ“.

Веретьевъ—артистъ и человѣкъ съ сердцемъ, увлекающійся искренно и горячо. Онъ уменъ и правдивъ: онъ, напр., быстро понялъ Астахова и сумѣлъ остроумно опредѣлить его прозвищемъ «кисляй»; живое эстетическое чувство и пылкая подвижность натуры заставили его искренно сказать Астахову, что тотъ читаетъ стихи «напыщенно», не довольно просто, — потомъ ему пришлось извиняться за такую откровенность. Онъ великодушенъ,—великодушіе побудило его уладить глупое дѣло съ дуэлью, на которую Стельчинскій вызвалъ Астахова (впрочемъ, здѣсь Веретьевъ дѣйствовалъ и для охраны отъ сплетенъ имени сестры, которую горячо любитъ). Онъ способенъ и смиренно признать свои недостатки: онъ говоритъ Марьѣ Павловнѣ, что рѣшительно не стоитъ ея привязанности; онъ говоритъ даже не возбуждающему въ немъ особой симпатіи Астахову про себя, что «гроша мѣднаго не стоитъ».

Главная черта Веретьева—та, что онъ человѣкъ сердечнаго увлеченія. Но онъ слишкомъ неразборчивъ въ предметахъ своихъ увлеченій. Истинный артистъ, онъ готовъ, однако, обращать свою артистическую способность въ шутовство, передразнивая пьянаго, представляя жужжащую подъ пальцами муху и т. д., чѣмъ возбуждаетъ негодованіе Марьи Павловны. Пѣсня, любовь, вино, природа—для него все это стоитъ на одной ступени и одинаково его увлекаетъ. Онъ пристрастенъ къ вину, и свое пристрастіе вполнѣ оправдываетъ, возводитъ даже въ теорію.

„Эхъ, Маша! Маша! (говоритъ онъ Марьѣ Павловнѣ, упрекающей его за это). И вы туда же! Сестра моя тоже объ этомъ уби-

вается. Да, во-первыхъ, я вовсе не пьяница; а, во-вторыхъ, знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка вонъ на эту ласточку... Видите, какъ она смѣло распоряжается своимъ маленькимъ тѣломъ,— куда хочетъ, туда его и броситъ? Вонъ взвилась, вонъ ударилась книзу, даже взвизгнула отъ радости, слышите? Такъ вотъ я для чего пью, Маша, чтобы испытать тѣ самыя ощущенія, которыя испытываетъ эта ласточка... Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается...

— Да къ чему же это?—перебила Маша.

Какъ къ чему? изъ чего же тогда жить?

— А развѣ безъ вина этого нельзя?

Нельзя,—всѣ мы попорчены, измяты. Вотъ страсть... та такое же производитъ дѣйствіе. Оттого-то я васъ люблю.

— Какъ вино... покорно благодарю".

Веретьевъ не владѣетъ собою, вполнѣ отдается впечатлѣніямъ и ощущеніямъ, не думаетъ о своемъ будущемъ, не заботится о томъ, что изъ него выйдетъ, живетъ для минуты, живетъ лишь настоящимъ. И все это онъ возводитъ тоже въ принципъ, въ правило, въ теорію. «Что загадывать о будущемъ? (отвѣчаетъ онъ Марьѣ Павловнѣ на ея упреки и сѣтованія). Оглянитесь, Маша, развѣ и здѣсь не прекрасно? Посмотрите, какъ все радуется жизни, какъ все молодо. И мы сами развѣ не молоды?»

Чувство долга, нравственной обязанности не существуетъ для этого человѣка впечатлѣній и сердечныхъ безотчетныхъ порывовъ, которые зачастую переходятъ у него въ чисто-матерьяльныя увлеченія. Онъ любитъ Машу; но это не помѣшало ему влюбиться въ цыганку и уѣхать за нею, скрыться отъ преданной ему дѣвушки. Такой поступокъ разбилъ не только сердце Маши (давно уже тяжело болѣвшее), онъ разбилъ и ея жизнь. Она не могла и не умѣла любить вполовину, и примириться съ пошлостью тоже не могла.

Поэтъ вполнѣ развѣнчиваетъ Веретьева въ заключительномъ эпизодѣ повѣсти. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ своей встрѣчи въ деревнѣ, встрѣтились опять въ Петербургѣ на Невскомъ — окончательно сдѣлавшійся практическимъ человѣкомъ и окончательно опошлившійся Астаховъ и Веретьевъ. Веретьевъ былъ

„въ испанскомъ плащѣ и фуражкѣ, съ лицомъ уже порядкомъ изношеннымъ, крашеными усами и большими, слегка заплывшими глазами". „Мелкія тонкія морщины покрыли его лицо, и когда онъ говорилъ, его губы и щеки слегка подергивало. По всему замѣтно было, что сильно пожилъ человѣкъ".

Встрѣтились старые знакомцы очень холодно, вспомнили трагическую кончину Маши, и разошлись почти враждебно. Веретьевъ отправился послѣ этого въ кондитерскую, гдѣ его обыкновенно ожидали пріятели, до сихъ поръ восторгавшіеся его талантами; «онъ сначала озадачилъ ихъ своимъ мрачнымъ видомъ и желчными рѣчами,—но вскорѣ успокоился, развеселился, и дѣло пошло своимъ обычнымъ порядкомъ». Веретьевъ, какъ видимъ, тоже вполнѣ опошлился: «изъ Веретьевыхъ никогда ничего не выходитъ», прибавляетъ поэтъ свое замѣчаніе.

Одно только въ заключеніи повѣсти нѣсколько смягчаетъ тяжелое впечатлѣніе, производимое личностью героя, одно только нѣсколько примиряетъ даже насъ съ Веретьевымъ, это то обстоятельство, что поэтъ привелъ его, какъ привелъ и своего «лишняго человѣка», подъ конецъ жизни, къ самосознанію, къ самоосужденію. Впрочемъ, душевнаго просвѣтлѣнія, какъ въ «лишнемъ человѣкѣ», мы въ Веретьевѣ не видимъ (правда, онъ не умираетъ еще).—Астаховъ замѣтилъ въ разговорѣ, что общія ихъ деревенскія воспоминанія представляются ему смутно, какъ сонъ.

„Какъ сонъ, повторилъ Веретьевъ, и его блѣдныя щеки покраснѣли: — какъ сонъ... нѣтъ, это не былъ сонъ, по крайней мѣрѣ, для меня. Это было время молодости, веселости и счастья, время безпечныхъ надеждъ и силъ неодолимыхъ, и если это былъ сонъ—такъ сонъ прекрасный. А вотъ что мы теперь съ вами постарѣли, поглупѣли, да усы красимъ, да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, какъ разбитыя клячи, повыдохлись, повытерлись, не то важничаемъ и ломаемся, не то бьемъ баклуши, да, чего добраго, горе виномъ заливаемъ, вотъ это скорѣе сонъ и сонъ самый безобразный. Жизнь прожита, и даромъ, нелѣпо, пошло прожита—вотъ что горько! Вотъ это бы стряхнуть, какъ сонъ, вотъ отъ этого бы очнуться... И потомъ вездѣ, всюду одно ужасное воспоминаніе, одинъ призракъ"...

Въ Веретьевѣ проснулись угрызенія совѣсти, его тре-

вожатъ ея упреки... Впрочемъ, упреки эти—поздніе, да и Веретьевъ умѣетъ заглушать ихъ виномъ.

Въ повѣсти «Затишье» поэтъ показываетъ намъ, такимъ образомъ, полную несостоятельность человѣка, живущаго одними порывами чувства, точно такъ, какъ въ «Дневникѣ лишняго человѣка» онъ показалъ намъ полную несостоятельность отвлеченно-умственной, исключительно головной жизни. Только Чулкатурина, какъ скептика, губитъ, кромѣ его отвлеченности и мнительности, себялюбіе, эгоизмъ; Веретьева, какъ романтика, довольно далекаго отъ эгоизма, губитъ другое: безпорядочность, безсмысліе увлеченій, не освѣщаемая нравственнымъ долгомъ податливость на всякія впечатлѣнія, нравственная неразборчивость въ этихъ впечатлѣніяхъ.

А. Незеленовъ.

„Постоялый Дворъ".

*) Въ одинъ годъ съ «Муму» написана совершенно соотвѣтствующая этому произведенію по духу и содержанію повѣсть «Постоялый Дворъ».—Только здѣсь губитъ людей не капризная прихоть, а самовластное барское корыстолюбіе.—Крестьянинъ Акимъ содержитъ постоялый дворъ на землѣ своей помѣщицы Лизаветы Прохоровны; человѣкъ дѣльный и хорошій, онъ страдалъ однимъ недостаткомъ—влюбчивостью, и подъ старость женился на молодой дѣвушкѣ, горничной Авдотьѣ. Та было свыклась со своей долей; но подвернулся ловкій красавецъ Наумъ, и она увлеклась,—отдавъ ему сердце свое, она похитила для него и деньги мужа. На эти деньги Наумъ купилъ у помѣщицы дворъ Акима, успокоивъ сговорчивую совѣсть барыни тѣмъ, что вѣдь Акимъ ея же крестьянинъ.—Доведенный до отчаянія разореніемъ, Акимъ хотѣлъ поджечь свой бывшій домъ, но былъ пойманъ ловкимъ соперникомъ. — И вотъ здѣсь повѣсть пріобрѣтаетъ особое значеніе: поэтъ показываетъ намъ, какъ нравственно-высоко можетъ подниматься душа

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

простого русскаго человѣка. Акимъ проситъ Наума отпустить его и взамѣнъ предлагаетъ не считать его своимъ должникомъ: «владѣй всѣмъ! я согласенъ и желаю тебѣ всякой удачи». Наумъ отпускаетъ его. И Акимъ перерождается душою; собственно говоря, нравственное возрожденіе его началось раньше, ночью, когда онъ, пойманный, былъ запертъ въ подвалѣ.

А. Незеленовъ.

„Яковъ Пасынковъ“.

*) Постройка повѣсти «Яковъ Пасынковъ» не только слабая и неполная, но, въ добавокъ еще, какъ бы распавшаяся на двѣ груды, нестройныя по одиночкѣ, не подходящія одна къ другой, если ихъ взять въ общей сложности. Ни интриги, ни характеровъ, ни анализа высокихъ духовныхъ ощущеній не находимъ мы въ разсказѣ о послѣднемъ романтикѣ; онъ весь скорѣе состоитъ изъ намековъ на интригу, характеры и анализъ. Оно тѣмъ горше для читателя, что иные изъ намековъ прекрасны... По причинѣ несовершенства формы, превосходно задуманное лицо Пасынкова не только утрачиваетъ часть своей привлекательности, но теряетъ свое типическое значеніе. Съ помощью одного побочнаго эпизода и нѣсколькихъ разсужденій, написанныхъ не безъ теплоты, еще не исчерпаешь поэзіи, которая лежитъ въ основаніи послѣдняго романтика. Милая, симпатическая личность, свѣжій плодъ цѣлаго умнаго поколѣнія, еще не обрисуется въ картинѣ идеализма на его смертномъ одрѣ. Чтобъ прослѣдить за личностью Якова Пасынкова, чтобъ разъяснить читателю всю прелесть и законность этого отраднаго явленія, мало однихъ намековъ, какъ бы хорошо они ни были придуманы. Надъ Яковомъ Пасынковымъ, будь онъ обработанъ въ тиши сельскаго уединенія, плакали бы самые зачерствѣлые изъ читателей, — теперь онъ пробуждаетъ пріятныя чувства лишь въ цѣнителяхъ очень зоркихъ, да еще

*) А. Дружининъ. „Собраніе сочиненій Дружинина“, т. 7.

очень близкихъ къ душевному міру самого автора. Повѣсть «Пасынковъ», по небрежности отдѣлки, не далеко отходитъ отъ «Пѣтушкова», тогда какъ повѣсть «Яковъ Пасынковъ» обозначаетъ извѣстный шагъ поэтическаго воззрѣнія, протестъ противъ современной ироніи, много лѣтъ царапавшей то, что стоило любви, а не ироніи.

А. Дружининъ.

* * *

*) Пасынковъ—это романтикъ. Но вѣдь романтики тѣмъ и отличались, что *вѣрили* во все прекрасное: и въ любовь, и въ свои идеи, въ науку, въ женщину, въ общество, вѣрили и любили *все,* въ чемъ высказывалась эта полнота и любви, и идеи, и вѣрованій. Какое же можетъ онъ имѣть отношеніе къ тѣмъ лишнимъ, которые не вѣрятъ любви, по крайней мѣрѣ, которыхъ способность все любить не можетъ поглотить; которые и въ идею наконецъ теряютъ вѣру, которые, можетъ быть, слишкомъ спѣша къ добру, пробѣгаютъ мимо его, не замѣчая ничего хорошаго; которые рано извлекаютъ лучшій сокъ изъ всего, но силъ своихъ этимъ сокомъ не укрѣпляютъ, а, напротивъ, дѣлаются слабосильными; которые въ человѣкѣ видятъ больше зла, чѣмъ добра... Отчего авторъ вдругъ накинулся на романтика? Насколько романтикъ могъ быть полезенъ лишнимъ людямъ? Что они могли занять у него? Тѣ положительныя вѣрованія, большею частію напущенныя на себя, которымъ была предана большая часть романтиковъ? но, вѣдь, только немногіе изъ нихъ, и то по особой своей организаціи, могли пребывать постоянно въ одномъ и томъ же убѣжденіи. И къ чему это обращеніе къ романтизму въ русской жизни, гдѣ онъ былъ случайностію, эпизодомъ литературнымъ, и не относился къ жизни народа никогда, какъ ея здоровая часть? Рѣшать подобныя задачи нельзя такимъ внѣшнимъ образомъ. Па-

*) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки" 1857 г., № 1.

сынковъ исключительная натура; но Пасынковымъ всякій бываетъ въ первую пору молодости, въ пору пробужденія идеи и чувства. Это одно изъ тѣхъ вѣчныхъ видоизмѣненій нашей природы, къ которымъ мы подходимъ въ молодости, и которыя удержать не въ силахъ за собою. Къ чему же Пасынковъ? Да, Пасынковъ вѣрилъ въ любовь, остался ей навсегда вѣренъ... слѣдовательно, Пасынковъ можетъ быть примѣромъ кому-нибудь? Но, Боже! кто любилъ Пасынкова: Варвара Николаевна и Маша. И эту награду ему приговорилъ авторъ! Такъ зачѣмъ же выведенъ Пасынковъ? — Автору необходимо было отдохнуть на какомъ-нибудь лицѣ, у котораго были не однѣ страсти преходящія, но и вѣрованія и чувства постоянныя, ничѣмъ невозмутимыя, которое умѣетъ *жертвовать собою* для другихъ. Авторъ хотѣлъ нарисовать лицо *положительно прекрасное,* и на первый разъ остановился на Пасынковѣ, романтикѣ; въ «Рудинѣ» есть нѣчто подобное—не романтикъ и не черствый положительный человѣкъ: Лежневъ. Лежневъ несравненно выше Пасынкова, потому что дѣйствительно русскій, а не воспитанникъ Винтеркеллера (содержателя пансіона, въ которомъ воспитывался Пасынковъ), но все-таки отъ этихъ лицъ далеко до положительныхъ прекрасныхъ людей.

С. Дудышкинъ.

* * *

*) Романтическое начало съ его положительной стороны является намъ у Тургенева въ тепло написанной, высокопоэтической повѣсти «Яковъ Пасынковъ». Въ противоположность Веретьеву, Пасынковъ вызываетъ въ душѣ полное сочувствіе къ себѣ; такое сочувствіе къ его глубокому и нѣжному чувству, къ его кротости и незлобію высказываетъ и авторъ. Пасынковъ совсѣмъ не знаетъ себялюбія, онъ легко можетъ пожертвовать собою для другихъ, и въ то же время въ немъ нѣтъ и тѣни самоуни-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

женія. Онъ не знаетъ и лжи, и правда для него всего дороже.

Авторъ знакомитъ насъ съ дѣтствомъ своего героя, когда онъ, покинутый полусумасшедшимъ отцомъ, воспитывался въ пансіонѣ Винтеркеллера, призрѣнный добрымъ, хоть и расчетливымъ нѣмцемъ. Онъ былъ всегда хуже всѣхъ одѣтъ; товарищи смѣялись надъ нимъ, по дурному школьному обычаю, называли его «бабьимъ капотомъ», «племянникомъ чепца».

„Но несмотря на эти прозвища, несмотря на смѣшныя его платья, на его крайнюю бѣдность, всѣ его очень любили; да и невозможно было его не любить: болѣе доброй, благородной души... и на свѣтѣ не было. Учился онъ также очень хорошо".

Чистое и нѣжное сердце Пасынкова было открыто всѣмъ впечатлѣніямъ добраго и прекраснаго, потому что само было прекрасно:

„когда онъ улыбался (говоритъ поэтъ), его маленькіе сѣрые глазки свѣтились такимъ кроткимъ и ласковымъ добродушіемъ, что, при взглядѣ на него, у всякаго становилось тепло и весело на сердцѣ. Помню я также его голосъ, тихій и ровный, съ какою-то особенно пріятной сипотой. Онъ говорилъ вообще мало и съ замѣтнымъ затрудненіемъ: но когда одушевлялся, рѣчь его лилась свободно и—странное дѣло!—голосъ его становился еще тише, взоръ его какъ-будто уходилъ внутрь и погасалъ, а все лицо слабо разгоралось. Въ устахъ его слова: „добро", „истина", „жизнь", „наука", „любовь", какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложнымъ звукомъ. Безъ напряженія, безъ усилія вступалъ онъ въ область идеала; его цѣломудренная душа во всякое время была готова предстать передъ „святыню красоты", она ждала только привѣта, прикосновенія другой души... Пасынковъ былъ романтикъ, одинъ изъ послѣднихъ романтиковъ".

Пасынковъ чутко понималъ и любилъ поэзію...

„Особенно отрадно было мнѣ (говоритъ разсказчикъ повѣсти) гулять съ нимъ вдвоемъ, или ходить возлѣ него взадъ и впередъ по комнатѣ и слушать, какъ онъ, не глядя на меня, читалъ стихи своимъ тихимъ и сосредоточеннымъ голосомъ. Право, мнѣ тогда казалось, что мы съ нимъ медленно, понемногу, отдѣлялись отъ земли и неслись куда-то, въ какой-то лучезарный, таинственно-прекрасный край"...

Разсказчикъ вспоминаетъ особенно одну ночь, когда они сидѣли вдвоемъ въ саду подъ сиренью, и говорили, говорили много и съ жаромъ.

„На небѣ сіяли безчисленныя звѣзды. Яковъ поднялъ глаза и, стиснувъ мнѣ руку, тихо воскликнулъ:

Надъ нами
Небо съ вѣчными звѣздами...
А надъ звѣздами ихъ Творецъ...

Благоговѣйный трепетъ пробѣжалъ по мнѣ; я весь похолодѣлъ и припалъ къ его плечу... Сердце переполнилось...

Гдѣ тѣ восторги? Увы! тамъ же, гдѣ и молодость".

Какимъ былъ Пасынковъ въ дѣтствѣ, такимъ и остался онъ навсегда. Разсказчикъ повѣсти встрѣтился съ нимъ послѣ восьмилѣтней разлуки и увидѣлъ, что онъ нисколько не измѣнился душою:

„Какъ ни охватывалъ его жизненный холодъ, горькій холодъ опыта (говоритъ онъ), нѣжный цвѣтокъ, рано расцвѣтшій въ сердцѣ моего друга, уцѣлѣлъ во всей своей нетронутой красѣ. Даже грусти, даже задумчивости не проявлялось въ немъ: онъ по-прежнему былъ тихъ, но вѣчно веселъ душою".

Разсказчикъ ввелъ Пасынкова, жившаго очень уединенно и мало съ кѣмъ знавшагося, въ знакомое семейство, въ домъ Золотницкихъ. Здѣсь имъ приходилось встрѣчаться между прочимъ съ нѣкіимъ Асановымъ, человѣкомъ пустымъ и нахальнымъ. И вотъ случилось, что всѣ они трое полюбили одну изъ дѣвицъ Золотницкихъ, младшую, Софью.— Какимъ высокимъ и чистымъ въ своей любви и въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ представляется намъ Пасынковъ сравнительно съ его сотоварищами по чувству этой привязанности! Софья полюбила самаго недостойнаго изъ нихъ—Асанова. Этотъ господинъ однажды на пріятельской пирушкѣ, сильно выпивши, сталъ хвастаться письмами Софьи и даже показывать ихъ. Участникъ пирушки, разсказчикъ повѣсти, счелъ себя въ правѣ прочесть тайкомъ небрежно оставленное письмо, и потомъ, изъ самолюбія и ревности, позволилъ себѣ дѣлать намеки Софьѣ и даже упрекать ее. Дѣло готово было разыграться дуэлью. Но все уладилъ правдивый и кроткій Пасынковъ. Пасынковъ

любилъ Софью сильнѣе всѣхъ, чище и святѣе, и очень ему было тяжело узнать истину объ ея сердцѣ,—онъ понималъ, что Асановъ человѣкъ пошлый и недостойный. Но онъ, всегда чуждый даже тѣни эгоизма, забылъ и теперь себя, затаилъ въ душѣ и свое горе и несбывшіяся надежды (если онъ, смиренный, имѣлъ какія-нибудь надежды), и поѣхалъ къ Асанову мирить враговъ. Свою любовь Пасынковъ скрывалъ отъ всѣхъ, и когда сердце его разрывалось отъ муки, онъ выслушивалъ признаніе пріятеля и утѣшалъ его и сострадалъ его неглубокому, его мимолетному чувству.

О чувствѣ Пасынкова разсказчикъ повѣсти узналъ только долгое время спустя, при третьей встрѣчѣ съ нимъ, когда засталъ его умирающимъ въ гостиницѣ маленькаго городка, умирающимъ отъ раны стрѣлою, полученною въ Сибири (Какъ съ истиннымъ романтикомъ, съ Пасынковымъ всегда случались необыкновенныя событія).—Пасынковъ спросилъ товарища, скоро ли тотъ разлюбилъ Софью, и на его благоразумный отвѣтъ: «не скоро, но разлюбилъ; что пользы вздыхать понапрасну»,—замѣтилъ съ внутренней дрожью въ голосѣ:

„А я, братъ... тебѣ не чета... я до сихъ поръ не разлюбилъ ее... Какъ я ее любилъ, это извѣстно одному Богу. Никому я не говорилъ объ этомъ, никому въ мірѣ, и не хотѣлъ никому говорить... да ужъ такъ! На свѣтѣ мало, говорятъ, мнѣ остается жить. Куда ни шло!..

Я глядѣлъ на Пасынкова (повѣствуетъ разсказчикъ); глаза его, словно устремленные въ даль, блестѣли лихорадочнымъ блескомъ.

Я любилъ ее, продолжалъ онъ: — я любилъ ее, ее спокойную, честную, недоступную, неподкупную; когда она уѣхала, я чуть не помѣшался съ горя... Съ тѣхъ поръ я ужъ никого не любилъ...

И вдругъ, отвернувшись, онъ прижалъ лицо къ подушкѣ и тихо заплакалъ“.

Тѣмъ же любящимъ, добрымъ, кроткимъ, какимъ былъ всегда, предсталъ Пасынковъ и теперь передъ своимъ другомъ. Онъ любовно и довѣрчиво относится къ лѣчащему его заплывшему жиромъ и погруженному въ равнодушіе доктору-аллопату, предлагающему лѣчить его гомеопатіей.

Онъ проситъ стараго друга почитать ему поэтовъ, и съ восторгомъ слушаетъ стихотворенія Пушкина, Лермонтова. — Замѣчательно, что въ уста Пасынкова, тонко чувствующаго поэзію, Тургеневъ вложилъ замѣчаніе, что въ стихахъ Лермонтова среди вдохновеній есть и риторическая трескотня (какъ, напр., въ «Дарахъ Терека»).

Пасынковъ умеръ въ присутствіи своего друга, умеръ романтикомъ и мечтателемъ, какимъ былъ всегда.

„А что, братъ, ты сдѣлался практическимъ человѣкомъ? (говорилъ онъ въ предсмертномъ бреду)... А я, братъ, не сдѣлался практическимъ человѣкомъ, не сдѣлался, что ты будешь дѣлать? Мечтателемъ родился, мечтателемъ! Мечта, мечта...

Изъ всего хода разсказа, изъ общаго тона повѣсти совершенно ясно, что Тургеневъ вполнѣ сочувствуетъ своему Якову Пасынкову. А по нѣкоторымъ лирическимъ отступленіямъ произведенія можно заключить, что онъ сочувствуетъ ему именно какъ романтику, симпатизируетъ романтизму вообще.

„Романтики теперь, какъ уже извѣстно, почти вывелись (говоритъ поэтъ въ одномъ мѣстѣ); по крайней мѣрѣ, между нынѣшними молодыми людьми ихъ нѣтъ. Тѣмъ хуже для нынѣшнихъ молодыхъ людей!"

А оканчивается повѣсть такими горячими словами:

„я думалъ, все думалъ о моемъ миломъ незабвенномъ Пасынковѣ—объ этомъ послѣднемъ изъ романтиковъ, и чувства, то грустныя, то нѣжныя проникали съ сладостной болью въ грудь мою, звучали въ струнахъ еще не совсѣмъ устарѣвшаго сердца... Миръ праху твоему, непрактическій человѣкъ, добродушный идеалистъ! и дай Богъ всѣмъ практическимъ господамъ, которымъ ты всегда былъ чуждъ и которые, можетъ быть, даже посмѣются теперь надъ твоею тѣнью, дай имъ Богъ извѣдать хотя сотую долю тѣхъ чистыхъ наслажденій, которыми, наперекоръ судьбѣ и людямъ, украсилась твоя бѣдная и смиренная жизнь!"

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что поэтъ правъ въ своемъ возвышеніи Пасынкова надъ такъ-называемыми «практическими» людьми. Но правъ-ли онъ, возводя своего романтика въ идеалъ вообще, не указывая въ немъ ни-

чего ложнаго?.. И не удивительно-ли, что это дѣлаетъ тотъ самый писатель, который въ другихъ произведеніяхъ выражалъ и другія сочувствія, который показалъ намъ привлекательную красоту и силу остраго и скептическаго ума въ личности своего, прямо противоположнаго Пасынкову, Гамлета Щигровскаго уѣзда? Тутъ кроется какое-то недоразумѣніе. Но есть-ли бесусловное сочувствіе Тургенева романтику Пасынкову—то же самое, что и его сочувствіе романтику Донъ-Кихоту (въ критической статьѣ о немъ и Гамлетѣ)? Не кроется-ли въ повѣсти о Пасынковѣ затаенное указаніе поэта, что передъ нами опять-таки не идеалъ, а одностороннее, хоть и глубоко-симпатичное, явленіе человѣческой жизни?—Внимательное разсмотрѣніе повѣсти можетъ дать положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Правдивый художникъ, Тургеневъ, въ сущности развѣнчиваетъ и своего Пасынкова, какъ развѣнчивалъ романтика Веретьева и своихъ Гамлетовъ; только здѣсь порывъ сердечной любви заставилъ его какъ-то въ тѣни оставить развѣнчаніе.

Есть въ повѣсти одно очень замѣчательное мѣсто. Разсказчикъ послѣ смерти Пасынкова встрѣчается съ Софьей (уже давно вышедшей замужъ за Асанова), говоритъ съ ней о своемъ умершемъ другѣ и заканчиваетъ восторженными словами:

„вотъ какой человѣкъ... отошелъ отъ насъ, незамѣченный, почти неоцѣненный! И это-бы еще не бѣда. Что значитъ людская оцѣнка? Но мнѣ больно, мнѣ обидно то, что такой человѣкъ, съ такимъ любящимъ и преданнымъ сердцемъ, умеръ, не испытавъ ни разу блаженства взаимной любви, не возбудивъ участія ни въ одномъ женскомъ сердцѣ, его достойномъ!.. Пускай нашъ братъ не извѣдаетъ этого блаженства, онъ его и не стоитъ; но Пасынковъ!.. И притомъ развѣ не встрѣчалъ я на своемъ вѣку тысячу людей, которые ни въ какомъ отношеніи не могли съ нимъ сравниваться и которыхъ любили? Неужели же должно думать, что нѣкоторые недостатки въ человѣкѣ—самоувѣренность, напр., или легкомысліе,—необходимы для того, чтобъ женщина къ нему привязалась? Или любовь боится совершенства, возможнаго на землѣ совершенства, какъ чего-то чуждаго и страшнаго для нея?“

«Вы ошибаетесь, отвѣтила на эти слова Софья, слушавшая ихъ изрѣдка морща брови:

„я знаю женщину, которая горячо полюбила вашего покойнаго друга; она любитъ и помнитъ его до сихъ поръ... и вѣсть о его кончинѣ поразитъ ее глубоко.

Кто эта женщина? позвольте узнать.

Моя сестра, Варя“.

Отвѣтъ Софьи какъ холодной водой обдалъ разсказчика: онъ этого не ожидалъ. Неожиданное открытіе дѣйствуетъ сильно и на читателя, и заставляетъ задуматься. Оказывается, значитъ, что Пасынковъ не понялъ Варвары, не обратилъ на нее вниманія, не оцѣнилъ ея чувства, ея преданности безпредѣльной: ему, мечтателю, носившемуся въ облакахъ, не хватило Гамлетовской проницательности.

Можно пойти въ этомъ дѣлѣ и дальше: Пасынковъ не оцѣнилъ, какъ должно, и другой души, такъ-же ему преданной, души искренней и прекрасной. Въ Новгородѣ, гдѣ онъ служилъ послѣ замужества Софіи, онъ сблизился съ мѣщанской дѣвушкой Машей. Эта Маша является передъ нами въ концѣ повѣсти и производитъ самое пріятное впечатлѣніе.—Для насъ остаются непонятными отношенія Пасынкова къ Машѣ: любитъ онъ ее или нѣтъ? Если нѣтъ, то это кидаетъ темную тѣнь на его личность; если да, если любилъ (что̀ вѣрнѣе) — то зачѣмъ онъ ее покинулъ, зачѣмъ не взялъ въ Сибирь, куда она охотно бы за нимъ поѣхала, зачѣмъ пересталъ даже писать ей изъ Сибири?— Онъ разбилъ ея простое, но искренно любившее сердце. А между тѣмъ съ нею онъ, можетъ быть, былъ бы счастливъ.—Какъ понять всѣ эти противорѣчія? какъ объяснить ихъ?—Они объясняются романтизмомъ Пасынкова, его мечтательностію: любя простымъ, жизненнымъ чувствомъ другую, онъ истинный Донъ-Кихотъ, предпочелъ, однако, остаться мечтательно вѣрнымъ мечтательному чувству своему къ Софьѣ,—мечтательному, ибо оно, при всей его теплотѣ и искренности, есть такое-же созданіе фантазіи, какъ и безпредѣльная и тоже теплая и искренняя любовь Донъ-Кихота къ Дульцинеѣ Тобозской.

И въ такомъ случаѣ (можемъ мы прибавить) отчего-жъ бы ему не остаться вѣрнымъ на всю жизнь своей первой, дѣтской любви къ фрейлейнъ Фредерикѣ, племянницѣ г. Винтеркеллера, вышедшей замужъ по любви за владѣльца мясной лавки Книтфуса?

Романтикъ Пасынковъ оказывается такимъ же отвлеченнымъ, далекимъ отъ жизни, проглядѣвшимъ жизнь человѣкомъ, какъ и скептикъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. И существованіе его такое-же безплодное существованіе. — И тотъ и другой могутъ повліять благотворно на встрѣтившуюся съ нимъ душу: одинъ силой своей мысли, другой — теплотою и нѣжностью сердца. Но плохо придется той, кто вздумаетъ предаться имъ всецѣло, кто захочетъ связать свою жизнь съ ихъ жизнью. Они и себѣ не найдутъ въ дѣйствительности ни дѣла, ни счастья, ни покоя: да разобьютъ (сами того, конечно, не желая) и чужое довѣрившееся имъ сердце.

А. Незеленовъ.

* * *

*) О повѣсти «Яковъ Пасынковъ» много распространяться не приходится. Она не изъ особенно яркихъ произведеній Тургенева, хотя фигура ея героя обрисована довольно живо и съ замѣчательною теплотою. Сочувствіе романтизму въ шиллеровскомъ смыслѣ, всегда и вездѣ присущему Тургеневу, обнаруживается какъ нельзя болѣе ясно въ этомъ этюдѣ о грустной жизни «послѣдняго изъ романтиковъ». Слѣдуетъ по поводу этой повѣсти замѣтить еще вотъ что: образъ Якова Пасынкова прежняя наша критика ставила нерѣдко въ общій рядъ «лишнихъ людей», созданныхъ Тургеневымъ. Это совсѣмъ неосновательно: типъ Пасынкова имѣетъ очень мало общаго съ обычными тургеневскими героями, и вовсе не подходитъ ни къ Гамлету Щигровскаго уѣзда, ни къ Лишнему человѣку, ни къ Вязовнину, ни къ Рудину, наконецъ. Всѣ поименованные

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева". Спб. 1884 г.

герои — мученики эгоизма, несоразмѣрнаго съ волей; Яковъ Пасынковъ, напротивъ, мученикъ отреченія отъ эгоизма. Это совсѣмъ особаго рода фигура, рисуя которую художникъ отнесся къ ней безъ малѣйшаго отрицанія и съ самымъ горячимъ сочувствіемъ. Варіантъ характера во вкусѣ Пасынкова можно усмотрѣть развѣ только въ Берсеневѣ —одномъ изъ героевъ романа «Наканунѣ».

В. Буренинъ.

„Переписка".

*) Въ «Перепискѣ» мы опять встрѣчаемся съ любимымъ лицомъ г. Тургенева. Опять лишній человѣкъ. Этотъ называется Алексѣй Петровичъ. Но посмотрите уже, какой шагъ впередъ сдѣланъ авторомъ: посмотрите, съ какой стороны является это любимое лицо. Виной тому, что этотъ господинъ сдѣлался лишнимъ, не одна пошлость жизни, не одно общество, не одни люди — нѣтъ, и самъ этотъ милый идеалъ начинаетъ являться съ слабой стороны... Тутъ «лишній человѣкъ» винитъ не общество, а самого себя, *свое милое: я,* которое прежде такъ много потѣшалось другими. Но зато какое повтореніе «Думы» Лермонтова въ устахъ Алексѣя Петровича! Какъ трудно автору отстать отъ той картины нашего поколѣнія, которая была нарисована этимъ поэтомъ!..

С. Дудышкинъ.

* * *

**) Въ другѣ Марьи Александровны (Алексѣѣ Петровичѣ) мы видимъ человѣка хорошаго и достойнаго, правильно развитаго по уму и сердцу, — но, подобно многимъ изъ предшествовавшихъ героевъ Тургенева, страждущаго *недугомъ воли,* если можно такъ выразиться. Прекрасными умствованіями пытается онъ узаконить явленіе, не имѣю-

---

*) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки" 1857 г., № 1.
**) А. Дружининъ. „Собраніе сочиненій Дружинина", т. 7.

щее ничего необходимаго, энергическимъ дифирамбомъ хочетъ онъ извинить послѣдніе годы своей жизни, погибшіе вслѣдствіе отсутствія энергіи въ его собственной натурѣ... Алексѣй Петровичъ больное орудіе современнаго общества, признаетъ безполезною самую мысль о защитѣ. У него, какъ у многочисленныхъ его сверстниковъ, въ головѣ сидитъ одна идея, корень всей слабости: «страсть сильнѣе человѣческой воли, бороться съ нею невозможно, да и не стоитъ». Вся жизнь ихъ проходитъ подъ вліяніемъ такой идеи, чувство долга для нихъ не болѣе, какъ туманная фраза; оттого при первомъ сильномъ натискѣ страсти, этихъ людей, неподготовленныхъ къ жизненной борьбѣ, ждетъ одинъ только исходъ коллизіи, то есть неизбѣжное нравственное паденіе.

По формѣ своей, повѣсть «Переписка» представляетъ большую противоположность съ «Пасынковымъ». Обѣ вещи накиданы безъ большого старанія, этого скрывать нечего; но первая имѣетъ должную стройность, тогда какъ другая представляетъ въ себѣ неотдѣланную повѣсть. Разница происходитъ отъ весьма понятной причины: письменная, или, какъ говорилось въ старину, *эпистолярная* манера повѣствованія дается г. Тургеневу легче всякой другой манеры. Она даетъ просторъ мысли или разуму, она легче допускаетъ импровизацію, наконецъ, она не требуетъ той объективности въ изображеніи лицъ, къ которой мы такъ привыкли въ послѣднее время.

А. Дружининъ.

* * *

*) Содержаніе повѣсти съ внѣшней стороны почти то же, что и «Рудина»: одинъ изъ россійскихъ представителей «высшихъ стремленій» вступаетъ въ переписку съ дѣвушкой тоже, какъ любили говорить во время оно, изъ числа «избранныхъ натуръ». Вслѣдствіе разныхъ житейскихъ разочарованій, дѣвушка эта, однако, готова подчи-

---

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

ниться будничнымъ требованіямъ среды. Подъ вліяніемъ неяснаго и неопредѣленнаго сердечнаго порыва симпатіи къ этой дѣвушкѣ, герой повѣсти въ письмахъ къ ней начинаетъ раздувать сознаніе ея избранности, возбуждать ея энергію къ борьбѣ съ пошлой средой, словомъ, продѣлывать всю ту игру «развиванія», которая доставляла такое удовольствіе россіянамъ добраго стараго времени и почиталась ими, за неимѣніемъ лучшихъ занятій и за множествомъ обезпеченнаго досуга, настоящимъ жизненнымъ дѣломъ. Разумѣется, онъ предается этой игрѣ съ самой живой искренностью, съ самымъ живымъ убѣжденіемъ въ свои душевныя силы, съ самой живой вѣрой, что онъ доведетъ дѣло до вожделѣннаго конца, т. е. до совмѣстнаго съ героинею вкушенія дѣятельнаго и гармоническаго счастья. И тѣмъ не менѣе, въ тотъ самый моментъ, когда игра его доведена до апогея, когда онъ успѣлъ возбудить въ дѣвушкѣ надежды на то, что онъ уже готовъ пойти рука объ руку съ нею, готовъ поддерживать ее въ борьбѣ не только словомъ, но и дѣломъ—въ этотъ самый моментъ онъ, вслѣдствіе совершенно глупой случайности, спотыкается и пасуетъ самымъ малодушнымъ образомъ. Происходитъ его спотыканіе такъ: приблизясь къ окончательному рѣшенію покинуть свое безполезное и безцвѣтное прозябаніе для полной нравственной гармоніи жизни съ избранницей души, которую онъ съ такимъ убѣжденіемъ поддерживалъ въ ея хорошихъ стремленіяхъ, онъ отправляется въ балетъ, встрѣчается съ какою-то танцовщицею «съ задумчивымъ и въ то же время дерзкимъ взоромъ», увлекается ею и дѣлается ея покорнымъ рабомъ, чуть ли не лакеемъ даже. Разумѣется, вслѣдствіе такого неожиданнаго пассажа, фантазія о соединеніи съ избранной натурой для дѣятельнаго гармоническаго счастія разлетается дымомъ, и герой, помыкавши еще нѣсколько времени свое безцѣльное и испорченное существованіе, умираетъ за границей, умираетъ съ горькой жалобой на судьбу —безъ этого нельзя же! Жалоба его, конечно, трогательна и даже заключаетъ въ себѣ моральный урокъ, высказанный съ тѣмъ теплымъ фразер-

ствомъ, къ которому свихнутые мыслью и волей россійскіе интеллигенты были склонны всегда, да и теперь еще очень склонны. «Экая, подумаешь, моя судьба-то! — морализируетъ спасовавшій безхарактерный россіянинъ въ послѣднемъ письмѣ къ особѣ, передъ которой онъ спасовалъ:— въ первой молодости я непремѣнно хотѣлъ завоевать себѣ небо... потомъ я пустился мечтать о благѣ всего человѣчества, о благѣ родины; потомъ и это прошло: я думалъ только какъ бы устроить себѣ домашнюю, семейную жизнь... да споткнулся о муравейникъ — и бухъ о земь, да въ могилу... Ужъ какіе мы, русскіе, мастера кончать такимъ манеромъ! А впрочемъ, пора отвернуться отъ всего этого, давно пора! Пусть эта ноша вмѣстѣ съ жизнью свалится съ моей души! Хочу въ послѣдній разъ, хотя на мгновеніе, насладиться тѣмъ добрымъ, кроткимъ чувствомъ, которое разливается во мнѣ тихимъ свѣтомъ, какъ только вспомню о васъ. Вашъ образъ теперь вдвойнѣ для меня дорогъ... Вмѣстѣ съ нимъ возникаетъ передо мною образъ моей родины, и я шлю и ей и вамъ мой прощальный привѣтъ. Живите, живите долго и счастливо и помните одно: останетесь ли вы въ той степной глуши, гдѣ вамъ иногда такъ тяжело бываетъ, но гдѣ бы мнѣ такъ хотѣлось провести мой послѣдній день,—вступите ли вы на другое поприще—помните, жизнь только того не обманываетъ, кто не размышляетъ о ней и, ничего отъ нея не требуя, принимаетъ спокойно ея немногіе дары и спокойно пользуется ими. Идите впередъ, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте близъ дороги, да глядите на прохожихъ безъ досады и зависти: вѣдь, и они не далеко уйдутъ. Я прежде вамъ не то говорилъ, да смерть хоть кого научитъ». Очень трогательное предсмертное поученіе, конечно; но невольно приходитъ на мысль: какой толкъ въ этихъ «теплыхъ словахъ» для той, къ кому они обращены? Вѣдь, она уже знаетъ изъ горькаго опыта, что человѣкъ, говорившій ихъ съ такою искренностью, только и былъ способенъ на хорошія теплыя слова, и не подкрѣпилъ въ ея душѣ вѣру въ нихъ, а напротивъ разрушилъ эту вѣру окончательно.

Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, главный, основной, такъ сказать, совѣтъ его поученія не подтверждается его опытомъ: его самого обманула жизнь вовсе не потому, что онъ излишне размышлялъ о жизни и много отъ нея требовалъ, а просто потому, что онъ не сумѣлъ развить въ себѣ нравственной стойкости твердаго характера.

Кстати здѣсь будетъ упомянуть, что гораздо позднѣе, уже на склонѣ своей литературной дѣятельности, Тургеневъ изобразилъ живыми и необычайно поэтическими красками ту же грустную исторію, какая имъ разсказана въ «Перепискѣ». Въ «Вешнихъ Водахъ» почти буквально повторена тема «Переписки». Алексѣй Петровичъ С., герой «Переписки», очевидно, превратился въ «Вешнихъ Водахъ» въ Дмитрія Павловича Санина (замѣчательно, что даже иниціалъ фамиліи того и другого героя одинъ и тотъ же). Только послѣдній встрѣчаетъ избранную натуру, о гармоническомъ счастіи съ которой онъ мечтаетъ, въ образѣ итальянки Джеммы, и отвлекаетъ его отъ этого счастья тульская Мессалина, Марья Николаевна Полозова. Такимъ образомъ, внѣшняя «фабула» первой повѣсти является какъ бы перевернутой вверхъ ногами во второй. Очевидно, что этотъ мотивъ—неудача въ стремленіи осуществить тихое семейное счастье и притомъ неудача обусловленная моральнымъ безсиліемъ, безхарактерностью героя—этотъ мотивъ былъ очень близокъ душѣ автора и коренился въ извѣстныхъ личныхъ обстоятельствахъ его собственной жизни. Въ обѣихъ повѣстяхъ онъ трактуетъ этотъ мотивъ въ обстановкѣ, конечно, придуманной и только намекающей на дѣйствительность; но достойно вниманія, что какъ въ «Перепискѣ», такъ и въ «Вешнихъ Водахъ» тѣ женскія личности, благодаря роковому столкновенію съ которыми герои повѣсти, такъ сказать, совращаются съ прямого пути, нарисованы очень темными красками. Въ особенности любопытны черты иностранной артистки, загубившей героя «Переписки». Грустно призадумываешься когда читаешь у Тургенева характеристику этой милой особы и отношеній къ

ней Алексѣя Петровича С. Позволяю себѣ напомнить читателямъ эту характеристику:

«Говоря правду—исповѣдуется герой «Переписки» дѣвушкѣ, отъ которой онъ такъ малодушно отвлекся — она никогда особенно не заботилась обо мнѣ. Она едва замѣчала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами. Я былъ для нея, какъ она выражалась на своемъ ломаномъ французскомъ нарѣчіи, oun Rousso, boun enfan»—и болѣе ничего. Но я... я уже не могъ жить нигдѣ, гдѣ она не жила; я оторвался разомъ отъ всего мнѣ дорогого, отъ самой родины, и пустился вслѣдъ за этой женщиной. Вы, можетъ быть, думаете, что она была умна—нисколько... И я никогда не воображалъ ее необыкновенной женщиной. Я вообще ни одного мгновенія не ошибался на ея счетъ; но это ничему не помогло. Чтобъ я ни думалъ о ней въ ея отсутствіи—при ней я ощущалъ одно подобострастіе... Въ ней было много жизни, т. е. много крови, той южной славной крови, въ которую тамошнее солнце, должно быть, заронило часть своихъ лучей. Она спала девять часовъ въ сутки, любила покушать, никогда не читала ни одной печатной строчки, кромѣ разныхъ журнальныхъ статей, гдѣ о ней говорили, и едва ли не единственнымъ нѣжнымъ чувствомъ въ ея жизни была привязанность ея къ il signore Carlino, маленькому и жадненькому итальянцу, служившему у ней секретаремъ, за котораго она потомъ и вышла замужъ. И въ такую-то женщину я, въ столь различныхъ умственныхъ ухищреніяхъ искусившійся, уже устарѣвшій человѣкъ, могъ влюбиться!... Кто-бъ это могъ ожидать? Я, по крайней мѣрѣ, никакъ не ожидалъ. Я не ожидалъ, какую роль мнѣ придется разыгрывать: я не ожидалъ, что буду таскаться по репетиціямъ, мерзнуть и скучать за кулисами, дышать копотью театральной, знакомиться съ разными неблаговидными личностями... Что я говорю знакомиться—кланяться имъ; я не ожидалъ, что буду носить шаль танцовщицы, покупать ей новыя перчатки, чистить бѣлымъ хлѣбомъ старыя (я и это дѣлалъ ей, ей!), отвозить домой ея букеты, бѣгать по

переднимъ журналистовъ и директоровъ, тратиться, давать серенады, простужаться, занемогать... Я не ожидалъ, что получу, наконецъ, въ одномъ нѣмецкомъ городишкѣ затѣйливое прозванье: der Kunst-Barbar... И все это даромъ, въ самомъ полномъ смыслѣ слова—даромъ! Вотъ то-то вотъ и есть...» Когда вникнешь въ эти характерныя признанія героя «Переписки» о его фальшивыхъ и мучительныхъ отношеніяхъ къ женщинѣ, овладѣвшей имъ, то въ нихъ невольно слышится какъ бы отголосокъ особенно горькаго чувства, быть можетъ, пережитаго авторомъ повѣсти не въ одной только творческой фантазіи. Теперь еще, конечно, слишкомъ рано выводить на Божій свѣтъ интимные факты біографіи Тургенева: но, вѣроятно, современемъ, когда эти факты обнаружатся, приведенная страница послужитъ любопытнымъ субъективнымъ комментаріемъ этихъ фактовъ... Кромѣ этой страницы имѣющей особое, частное значеніе въ «Перепискѣ», слѣдуетъ отмѣтить еще другую страницу, замѣчательную уже въ общемъ смыслѣ: это именно третье письмо героини повѣсти, въ которомъ она говоритъ такъ прочувствовано о тяжеломъ положеніи русской женщины. Тутъ звучитъ нотка такъ называемаго «женскаго вопроса» и звучитъ замѣчательнымъ чувствомъ и силою.

В. Буренинъ.

„РУДИНЪ".

*) 1855 годъ долженъ былъ сдѣлаться важнымъ годомъ для автора разбираемыхъ нами «Повѣстей и Разсказовъ». И говарищи и почитатели г. Тургенева знали, что онъ привезъ съ собой въ Петербургъ новое произведенiе, крайне серьезное по идеѣ, и объемомъ своимъ превосходящее всѣ его повѣсти, до той поры напечатанныя. На основанiи предшествовавшихъ вещей и общественныхъ взглядовъ, въ нихъ заложенныхъ, можно было догадаться о будущемъ значенiи «Рудина» въ общей связи трудовъ поэта нашего. Дѣло, начатое «Дневникомъ» Чулкатурина, продолжавшееся въ «Двухъ Прiятеляхъ» и «Затишьѣ», слегка затронутое въ «Пасынковѣ» и «Перепискѣ» (тогда еще не напечатанной, но уже извѣстной въ литературномъ кругу), должно было подвергнуться новому, можетъ быть, окончательному разсмотрѣнiю въ цѣлой большой повѣсти, задуманной строго и обработанной съ любовью. Въ теченiе пяти лѣтъ трудясь надъ одной изъ больныхъ сторонъ нашего поколѣнiя, посвящая свое вниманiе на изслѣдованiе исторiи людей лишнихъ въ обществѣ, Тургеневъ все еще не охватывалъ всего вопроса съ должной полнотою. Его Веретьевы, Вязовнины, Чулкатурины—имѣли въ себѣ много жизненнаго, много близкаго къ нашему сердцу,—но имъ не приходилось ни разу дѣйствовать на просторѣ, становиться въ соприкосновенiе съ жизнью широко-понятою. Эти герои страдали и жили по маленькимъ уголкамъ, сталкивались

*) А. Дружининъ. „Библiотека для Чтенiя" 1857 г., № 3. Также „Сочиненiя А. Дружинина", кн. 7.

съ не очень богатыми личностями, всюду приходили какъ чудаки-гости, выѣзжающіе изъ своихъ логовищъ только лишь по крайней необходимости. Въ Рудинѣ, сказывали намъ,—читателю предстояло увидѣть нѣчто другое. Въ новой повѣсти долженъ былъ явиться весь современный человѣкъ, разсмотрѣнный съ точки зрѣнія моральныхъ несовершенствъ, смягченныхъ горькимъ ихъ сознаніемъ, его безсилія передъ разумно-практической стороной жизни, но безсилія, выкупаемаго другими утѣшительными сторонами характера. Рудинъ, лицо взятое изъ дѣйствительности, долженъ былъ служить олицетвореніемъ цѣлаго класса мыслящихъ и благонамѣренныхъ людей, понапрасну растратившихъ свои силы отъ неумѣнія привести свое существованіе въ гармонію съ той сферой, гдѣ должно было проникать это существованіе. Короче сказать, въ повѣсти ожидали мы встрѣтить нѣчто въ родѣ исповѣди цѣлаго поколѣнія, имѣвшаго важное вліяніе на собственное развитіе наше. Г. Тургеневъ, между всѣми современными писателями, имѣлъ всѣ данныя, необходимыя для подобной задачи. Заслуги и заблужденія благородныхъ, но нѣсколько *лишнихъ* товарищей его собственной юности, могли въ немъ, болѣе чѣмъ во всякомъ другомъ поэтѣ, встрѣтить судью зоркаго, но любящаго и неозлобленнаго. Наконецъ, онъ имѣлъ и право и возможность, съ помощью поэтической силы, ему данной отъ природы, возвести въ рядъ симпатическихъ образовъ весь запасъ своихъ долгихъ, добросовѣстныхъ наблюденій надъ современными недугами современныхъ тружениковъ жизни.

«Рудинъ» появился въ январѣ 1856 года,—вторая часть повѣсти не заставила ждать себя долго, и все произведеніе закончилось въ томъ же году въ февральской книжкѣ «Современника». Общій отзывъ читателей, и очень развитыхъ и очень неразвитыхъ, сказался весьма скоро, въ одной и той же формѣ. Самый тонкій цѣнитель и самый вѣтреный дилетантъ согласились въ одномъ приговорѣ: — «Рудинъ» есть вещь истинно замѣчательная и, мѣстами, неудовлетворительная». Когда же пришлось опредѣлять точнѣе

степень достоинства и недостатковъ новой повѣсти,—отзывы раздѣлились и представили изъ себя нѣчто сбивчивое.

Идея произведенія, по своей глубинѣ, могла выдержать какой угодно анализъ, хотя и тутъ одни цѣнители нашли, что Тургеневъ обошелся съ Рудинымъ весьма слабо, тогда какъ другіе почти обвиняли автора въ чрезмѣрной строгости приговора. Художественная сторона повѣсти, напротивъ того, сама давала на себя оружіе многимъ черезчуръ взыскательнымъ цѣнителямъ. Во многихъ мѣстахъ «Рудина», вмѣсто живыхъ сценъ, тянулся голый разсказъ отъ авторскаго лица, вмѣсто личностей, рельефно-очертанныхъ, появились фигуры, едва обозначенныя не совсѣмъ вѣрною кистью. И со всѣмъ тѣмъ, повѣсть «Рудинъ», разсматриваемая даже съ самой строго-художественной точки зрѣнія, признана была всѣми за новый, важный шагъ въ дѣятельности Тургенева. Въ ней не было недоконченностей и небрежностей, бросившихъ такую тѣнь на многія предшествовавшія повѣсти автора нашего: она отличалась богатою и многостороннею поэзіею, наконецъ, ея идея гармонировала съ формой, насколько оно было возможно при трудности задачи. Переходъ отъ цѣлаго ряда эпизодическихъ эскизовъ къ произведенію, имѣющему почти видъ романа, всегда выходитъ труденъ, а г. Тургеневъ сладилъ съ этимъ переходомъ, какъ слѣдовало честному и добросовѣстному писателю его дарованія. Вся его новая вещь носила на себѣ привлекательный слѣдъ серьезной мысли, и, благодаря этому слѣду, поэтическія частности «Рудина» имѣли въ себѣ нѣчто разительное, свѣжее, новое. Короче сказать, повѣсть особенно полюбилась людямъ, коротко знакомымъ со средствами ея сочинителя, цѣнителямъ, очень хорошо знающимъ, какихъ достоинствъ они въ правѣ ждать отъ Тургенева, и съ какими слабыми сторонами поэта они должны мириться по необходимости.

Мы не намѣрены съ подробностью разбирать повѣсти, еще никѣмъ не позабытой, повѣсти, о которой было такъ много говорено и писано. Статья наша и безъ этого вышла гораздо обширнѣе, чѣмъ мы предполагали при ея на-

чалѣ. Вещи, подобныя «Рудину», всегда оставляютъ слѣдъ въ обществѣ. Потому-то, дорожа временемъ и разсчитывая на воспоминанія читателей, мы позволяемъ себѣ предположить, что въ пересказываніи интриги, завязки и развязки повѣсти «Рудинъ», въ настоящее время не настоитъ никакой надобности. Нѣсколько словъ о героѣ всего произведенія будутъ сказаны нами теперь же.

Что такое Дмитрій Николаевичъ Рудинъ?—вотъ вопросъ, отъ рѣшенія котораго зависитъ законность и правда всей повѣсти. Въ какой мѣрѣ этотъ человѣкъ, исполненный силы и слабости, вялости и энергіи, въ какой мѣрѣ онъ правиленъ, какъ дѣйствующій герой художественнаго созданія, вѣренъ себѣ какъ общественный типъ нашего времени? Есть ли между нами много Рудиныхъ, и не носитъ ли каждый изъ насъ, современныхъ русскихъ людей, въ душѣ своей какую-нибудь частицу тургеневскаго Рудина? Смѣло отвѣчаемъ—*да* на всѣ вопросы, сейчасъ сдѣланные. Рудинъ есть дитя своего времени, своего края и своей переходной эпохи. Рудины жили и живутъ между нами, дѣлая пользу и вредъ людямъ, ихъ окружающимъ. Многіе изъ насъ въ юности увлекались Рудинымъ, многіе изъ насъ, въ былое время молодости, слушали рудинскіе импровизаціи такъ, какъ въ повѣсти, насъ занимающей, простодушный студентъ Басистовъ слушалъ вдохновенныя разсужденія Дмитрія Николаевича. Не одна дѣвушка съ теплой душой любила людей, въ родѣ Рудина, и горько платилась за свою привязанность. Не одинъ практическій смертный, подобный Лежневу, глядѣлъ на Рудина съ дружескимъ состраданіемъ, не одинъ презрѣнный злоязычникъ, въ родѣ Пигасова, устремлялъ стрѣлы своего остроумія на бѣдную, измученную жизнью особу Рудина. Рудины были не безполезны обществу въ свое время, можетъ быть, они нужны ему и теперь,—во всякомъ случаѣ, никто не имѣетъ права кидать камнемъ въ этихъ вѣчныхъ странниковъ жизни, безпріютныхъ «инвалидовъ мысли». Рудинъ много грѣшилъ, но ему должно быть прощено многое за огонь любви къ истинѣ, въ немъ горѣвшей, за неутомимое стремле-

ніе къ идеалу, за его сочувствіе къ слабымъ, за его вражду къ житейской неправдѣ. Рудинъ много служилъ дѣлу добраго слова, хотя всю жизнь свою не могъ возвыситься до пониманія *дѣла*, до возможной и необходимой гармоніи съ средой его окружающей. Въ разъединеніи *дѣла* и *слова* лежитъ корень всѣхъ недостатковъ Рудина,—основаніе всей его грустной, но близкой къ намъ личности. Рудинъ есть живой плодъ нашего ранняго, быстро развивающагося, порывистаго просвѣщенія. Рудина нельзя называть ни русскимъ человѣкомъ, ни космополитомъ, ни германцемъ, или какимъ-нибудь другимъ иноземцемъ. Онъ застрѣльщикъ между двумя арміями, усталый часовой между двумя лагерями. Европейское современное просвѣщеніе, не примѣненное къ жизни, дало намъ Рудина, но матеріалъ, изъ котораго создалось это лицо,—взятъ изъ нашего отечества, изъ круга людей, жившихъ между нами.

Рудинъ долженъ назваться человѣкомъ просвѣщеннымъ: сердце его, смягченное знаніемъ, благородная жажда идеала словно родилась съ нимъ вмѣстѣ. По уму и душѣ онъ опередилъ многихъ просвѣщенныхъ людей одного съ нимъ края, опередилъ—и остановился посреди блестящаго пути, не умѣя воспользоваться сокровищами только что добытыми. Причина такого бездѣйствія, разрѣшившагося полнымъ безсиліемъ передъ практическою жизнію, заключается въ отсутствіи *воли*, въ неспособности къ *правильному воспріятію* началъ истиннаго просвѣщенія. Можно до глубины существа нашего пропитаться добрымъ словомъ,—и, при всемъ томъ, оказаться дѣтски-слабымъ въ тѣ минуты, когда предстанетъ необходимость сдѣлать дѣло изъ добраго слова. Человѣкъ просвѣщается тѣмъ же путемъ, какъ и общество, какъ и государство. Человѣкъ, просвѣщающій себя, долженъ быть для своего нравственнаго міра въ нѣкоторомъ смыслѣ тѣмъ же, чѣмъ былъ великій преобразователь Россіи, государь Петръ Великій,—для края, Богомъ ему ввѣреннаго. Подобно тому, какъ нашъ великій просвѣтитель, усиліями могучей воли, вводилъ великія идеи, имъ добытыя, въ жизнь и бытъ Россіи, всякій частный и

слабый человѣкъ, обогащаясь сокровищами мудрости, обязанъ, во что бы то ни стало, сроднить эти сокровища съ своей жизнью, примѣнить ихъ къ средствамъ и потребностямъ среды, его окружающей. Мало одной горячей любви къ правдѣ,—надо проводить эту правду во всей жизни нашей. Мало проводить правду съ упорствомъ и необузданной горячностью,—надо быть мудрымъ, практическимъ, *своевременнымъ* въ ея примѣненіи. Одного идеала мало для просвѣщенія, съ одной благородной горячкою ничего не сдѣлаешь, съ однимъ краснорѣчивымъ словомъ не уйдешь далеко. Необходимо просвѣщенному дѣятелю жизни коротко знать всѣ средства той среды, гдѣ ему судьбой назначено жить. Онъ не долженъ требовать отъ младенца того, что можетъ дать лишь мудрецъ, ему подобный. Онъ не имѣетъ права возмущаться несовершенствами общества и, уединяясь на прохладныя метафизическія вершины, считать свою человѣческую обязанность исполненною. Пламенно воспринявъ изъ просвѣщенія то, что кажется ему свѣтлымъ и плодотворнымъ—онъ исполняетъ лишь одну вступительную часть своей задачи. Сама задача заключается въ жизни, въ посильномъ и непреложномъ примѣненіи съ жизнью, въ неотступномъ и благотворномъ вліяніи на общество, среди котораго онъ родился.

Рудинъ и цѣлая семья Рудиныхъ—не поняли той задачи, о которой мы говорили сейчасъ—за вступительной ея частью (а эта часть была ими изучена въ совершенствѣ), они забыли всю сущность своей науки, упустили изъ вида весь долгъ своего существованія. Чужеземная мудрость ихъ не столько извратила, сколько отуманила. сердце ихъ осталось человѣчнымъ; но воля ихъ, слишкомъ парализованная развитіемъ созерцательныхъ способностей, не пошла съ нимъ въ уровень. Говоря метафорическимъ слогомъ, Рудины явились на жизненную битву (battle of life) съ полнымъ воображеніемъ и готовностью на подвигъ, но подвиговъ не могли совершить, потому что самое поприще боя было имъ совершенно незнакомо. Не ознакомясь со средствами своего противника, не имѣя понятія о мѣ-

стахъ, имъ занятыхъ,—наши бѣдные бойцы мысли съ первыхъ шаговъ увидали себя окруженными, смятыми, сбитыми съ позиціи. Первая житейская неудача была для нихъ неудачей всей жизни, потому что для людей, въ родѣ Рудина, нѣтъ середины между безконечнымъ довѣріемъ къ своей силѣ и полнымъ упадкомъ всякой энергіи. Для Рудиныхъ нѣтъ ни житейскаго благороднаго упорства, ни искуснаго отступленія послѣ неудачи, ни несокрушимой вѣры въ свое назначеніе.

Послѣ всего нами сейчасъ сказаннаго, читателю будетъ понятно, что типъ человѣка, въ родѣ Рудина, никакъ не можетъ быть удовлетворительно развитъ въ одномъ эпизодическомъ разсказѣ. Самъ Гоголь, при всей своей невѣроятной силѣ на созданіе живыхъ лицъ, не взялся бы за такую задачу, ужасающую по ея многосложности. Чтобъ Рудинъ могъ высказаться въ художественной полнотѣ созданія, надо ввести читателя въ запутанные изгибы этой запутанной души и, мало того, развить передъ нимъ многостороннюю картину столкновеній Рудина съ дѣйствительностью. Форма біографическая, письменная, тутъ придется лучше обыкновенной повѣствовательной формы съ рядомъ обыкновенныхъ сценъ и представленій. Нитей оказывается слишкомъ много для того, чтобъ затянуть ихъ въ одинъ узелъ, безъ огромныхъ усилій надъ этой работой, сверхъ великаго труда, требующей еще великаго хладнокровія въ труженикѣ. Мы еще не настолько отдалились отъ Рудиныхъ, чтобъ съ безпристрастіемъ глядѣть въ глаза этихъ страждущихъ собратовъ нашихъ, мы сами еще носимъ въ себѣ много рудинскаго. Можно осуждать или оправдывать героя послѣдней большой повѣсти Тургенева, но отнестись къ нему спокойно и безпристрастно едва ли кто-нибудь въ силахъ.—Рудинъ не властвуетъ надъ думами цѣлаго извѣстнаго поколѣнія, какъ, напримѣръ, властвовалъ Печоринъ въ свое время,—но за то въ наши дни Печоринъ есть лицо отжившее и сведенное съ пьедестала, чего о Рудинѣ сказать невозможно.

Г. Тургеневъ не только вполнѣ сознавалъ важность дѣла,

имъ предпринятаго, но и принялъ всѣ зависящія отъ него мѣры къ серьезной борьбѣ съ своею задачею. Повѣсть была написана во время тихихъ сельскихъ досуговъ, безъ торопливости, безъ перерывовъ въ трудѣ. Она была много разъ прочитана въ кругу людей, которыхъ мнѣніемъ дорожилъ авторъ; она исправлялась и передѣлывалась вплоть до того дня, когда обычаи нашей спѣшной журнальной дѣятельности могли терпѣть такую медленность. Нѣтъ спора въ томъ, что нѣсколько лишнихъ мѣсяцевъ работы много бы дали Рудину,—но передъ нами теперь то, что сдѣлано авторомъ, а не то, что могъ бы онъ совершить при иныхъ условіяхъ. Не обинуясь говоримъ, что обработка повѣсти насъ крайне обрадовала, что въ ней мы увидѣли тотъ почтенный и серьезный элементъ труда, который еще болѣе подкрѣплялъ нашу всегдашнюю симпатію къ таланту Тургенева. На борьбу съ трудной темою, на выясненіе личности Рудина, такъ трудно поддающейся объективному представленію,—пошла цѣлая сокровищница лучшихъ пріемовъ поэта. Всюду, даже въ блѣднѣйшихъ страницахъ повѣсти, сказывался его свѣтлый умъ, его тонкая поэтическая наблюдательность, его многосторонне-симпатическія воззрѣнія на жизнь нашу. Любители строгой художественности могли ратовать противъ многихъ частностей «Рудина»,—для цѣнителей тонко развитыхъ по уму, для читателей, любящихъ заглядывать въ душу любимаго писателя, для литературныхъ лакомокъ, однимъ словомъ — повѣсть «Рудинъ» могла назваться дорогимъ подаркомъ.

По замыслу Тургенева, главнымъ эпизодомъ повѣсти, тѣмъ эпизодомъ, который долженъ былъ составлять собою какъ бы ключъ къ уразумѣнію всей личности Рудина, считается исторія любви Дмитрія Николаевича къ Натальѣ Ласунской. Такъ какъ «Рудинъ» не есть дневникъ или біографія, или автобіографія, то расчетъ автора въ этомъ случаѣ весьма понятенъ: идея повѣсти не можетъ никогда раздробляться на нѣсколько равносильныхъ эпизодовъ, безъ ущерба всему произведенію. Во всякомъ трудѣ повѣствовательнаго свойства полезно сводить всѣ нити разсказа

къ одному центру, объ этомъ спорить никто не будетъ. Но можно спорить и задумываться о томъ, соотвѣтствуетъ ли главный эпизодъ «Рудина» значенію всей повѣсти, сосредоточиваетъ ли онъ въ себѣ всѣ данныя къ уразумѣнію личности героя, короче сказать, дастъ ли его художественная форма достаточное разъясненіе на всю мысль, заданную себѣ авторомъ. По нашему личному мнѣнію, до этого, во что бы ни стало, необходимаго результата — не достигъ нашъ авторъ. Нечего говорить о томъ, что онъ предпринялъ свой трудъ съ благороднымъ рвеніемъ, что онъ задумалъ его добросовѣстно и выполнилъ совершенно честно: не взирая на все это, не взирая на поэтическую силу, красящую собой весь эпизодъ, нами теперь разсматриваемый, главная интрига повѣсти отличается неполнотою. Отношенія Рудина и Натальи задуманы превосходно, художественная коллизія между словомъ и дѣломъ, между страстью и фразой, между юной рѣшимостью и вялымъ отсутствіемъ воли—стоитъ всего вниманія цѣнителей. Передъ честной, тихой, дѣвической энергіей семнадцатилѣтней дѣвушки ярко выступаютъ всѣ противоположныя недостатки Рудина, и самъ герой разоблачается во всей своей грустной дѣйствительности. И, несмотря на то, Рудинъ, и послѣ эпизода съ Натальей, остается тѣмъ же загадочнымъ, не вполнѣ разъясненнымъ страдальцемъ, какимъ онъ былъ до своего послѣдняго свиданія съ любящей дѣвушкой. Самъ авторъ видитъ это, и, подобно миѳологическому Сизифу, снова принимается за трудъ, только что конченный, стараясь съ помощью замѣтокъ Лежнева и его послѣдняго превосходнаго разговора съ Рудинымъ дополнить то, что необходимо. Уже одно то обстоятельство, что прощаніе Натальи съ Дмитріемъ Николаевичемъ не занимаетъ собою послѣднихъ страницъ повѣсти, говоритъ о неполнотѣ ея главнаго эпизода. Почему же произошла такая неполнота, почему весь характеръ Рудина не обозначился передъ читателемъ черезъ основной узелъ всей нами разбираемой повѣсти?

Недостатокъ полной гармоніи между идеей повѣсти и главнымъ эпизодомъ по части ея воплощенія, по нашему

мнѣнію, происходитъ отъ двухъ причинъ. Во-первыхъ, любовь Рудина къ Натальѣ не есть та любовь, при которой всѣ силы человѣка приходятъ въ напряженіе и вслѣдствіе того сосредоточиваются въ одномъ фокусѣ, драгоцѣнномъ для художника-наблюдателя человѣческой природы. Горячая страсть дѣйствительно заставляетъ всякаго человѣка высказываться съ возможной полнотою, но дѣло въ томъ, что Дмитрій Николаевичъ Рудинъ не имѣетъ горячей страсти къ Натальѣ. Лежневъ, назвавшій Рудина кокеткою, холоднымъ энтузіастомъ, человѣкомъ, лишеннымъ крови и натуры, превосходно обозначилъ всю разницу, которая проявилась между блистательнымъ говоруномъ и тихой, неразговорчивой дѣвушкою, имъ заинтересовавшеюся. Наталья Ласунская живетъ любимымъ избранникомъ, не говоря ни одной фразы; Рудинъ, въ свою очередь, такъ и сыплетъ фразами,—а разставшись съ любящею дѣвушкой, вспоминаетъ слова Донъ-Кихота Санхо Пансѣ: «Свобода, другъ мой Санхо, это одно изъ драгоцѣннѣйшихъ достояній человѣка!» Вотъ что говоритъ Рудинъ въ тѣ минуты, когда у любящей дѣвушки сердце разрывается на части: Наталья готова на всѣ жертвы, на всѣ доказательства своей преданности, на цѣлую жизнь нужды и тревоги;—въ отвѣтъ на всѣ стремленія возвышенной дѣвической натуры, Дмитрій Николаевичъ говоритъ ей: «ваша матушка несогласна. Нечего и думать объ этомъ». Объясненіе Рудина съ Натальей превосходно, по своимъ совершенствамъ оно только подтверждаетъ мысль нашу о томъ, что, прослѣдивъ за исторіей рудинской любви, читатель все-таки не видитъ передъ собой, въ ясномъ образѣ, самого Рудина.

Изъ обстоятельства, сейчасъ нами разъясненнаго, истекаетъ и другая причина несовершенства повѣсти. *Рудины не поясняются черезъ страсть*—объ этомъ совершенно позабылъ нашъ авторъ. Предположивъ Дмитрія Николаевича безумно и горячо влюбленнымъ (всякія чудеса случаются на свѣтѣ), создавши другой типъ женщины и придумавши самую характеристическую коллизію между двумя лицами, мы все-таки увидимъ себя въ невозможности разгадать

Рудина по исторіи его страсти. Рудинъ влюбленный, даже отчаянно влюбленный, поступитъ въ разрядъ любопытнѣйшихъ явленій для психолога, но, несмотря на то, судить по немъ о настоящемъ и всѣмъ намъ современномъ типѣ будетъ такъ же неудобно, какъ судить о свойствахъ и характерѣ незнакомаго человѣка, наблюдаемаго въ минуты тяжкой болѣзни. Для натуръ, подобныхъ Рудину, страсть къ женщинѣ можетъ быть горячкою, холерою (какъ для Алексѣя Петровича въ Перепискѣ),—никакъ не нормальнымъ проявленіемъ всей ихъ души, какъ это бываетъ съ натурами здоровыми. Лежневъ или Волынцевъ, во влюбленномъ состояніи, останутся прежними твердыми, обыкновенными людьми, объясняемыми ихъ страстью: эта страсть выдвинетъ наружу ихъ добрыя качества, раскроетъ передъ наблюдателемъ ихъ стремленія и затаенные помыслы—подобнаго результата никогда не произойдетъ съ влюбленнымъ Рудинымъ. Люди, неспособные къ страсти, почему-либо ею захваченные, всегда будутъ представлять собой явленіе исключительное и какъ бы оторванное изъ общей связи явленій ихъ прошедшей жизни. Рудинъ влюбленный истинно не будетъ тѣмъ Рудинымъ, который философствовалъ въ Берлинѣ, отпускалъ горячія импровизаціи на вечерахъ у Покорскаго, гостилъ у Дарьи Михайловны и разстраивалъ первую любовь Лежнева (смотри разговоръ Михаила Михайлыча съ Александрой Павловной). Теперь изъ заключеній нашихъ по этому поводу не мудрено будетъ вывести полное сужденіе о причинахъ, почему въ повѣсти Тургенева главный эпизодъ всего произведенія недостаточно знакомитъ читателя съ личностью Дмитрія Николаевича.

Итакъ, вотъ нашъ безпристрастный и, по возможности, осмотрительный выводъ о всей вещи. Въ постройкѣ «Рудина» есть та роковая неправильность, которую мы въ свое время выслѣдили въ постройкѣ «Колосова», перваго изъ всѣхъ произведеній автора нашего. Герой произведенія, взятый какъ типъ, какъ объективная личность, проявившаяся въ главномъ эпизодѣ задуманнаго труда, не имѣетъ достаточной, собственно ему принадлежащей жизни.

Персонажъ Дмитрія Рудина, подобно личности Андрея Колосова, не выясняется передъ нами въ совершенствѣ, не соприкасается съ тѣми сторонами дѣйствительности, съ которою онъ (по идеѣ, заложенной въ его созданіе) долженъ былъ соприкасаться всѣми своими нравственными сторонами. Колосовъ, въ приключеніи съ Варенькой, проявилъ намъ лишь слабыя стороны своей души; Рудинъ въ эпизодѣ съ Натальей, выказалъ себя существомъ далеко худшимъ, нежели онъ есть на самомъ дѣлѣ. Въ обѣихъ повѣстяхъ авторъ счелъ долгомъ, для оправданія и истолкованія обоихъ героевъ, — ввести въ дѣло пояснительные аргументы, какъ отъ своего лица, такъ и отъ лица другихъ персонажей, дѣйствующихъ въ ихъ разсказѣ. Обѣ вещи исполнены поэтической прелести, которая, во многихъ мѣстахъ, съ избыткомъ выкупаетъ недостатки объективнаго творчества, разъясняя и истолковывая частности произведеній, въ томъ нуждающіяся. Тутъ и кончается параллель между однимъ изъ первыхъ и однимъ изъ послѣднихъ трудовъ Тургенева. Болѣе сближать ихъ между собою не предстоитъ ни надобности ни возможности. Незрѣлая, хотя чрезвычайно изящная повѣсть «Колосовъ» никакъ не можетъ равняться съ Рудинымъ ни въ поэтическомъ ни въ художественномъ отношеніи. Не взирая на всѣ несовершенства главной постройки, «Рудинъ» Тургенева есть глубокій этюдъ надъ современнымъ человѣкомъ, твореніе, дѣлающее честь и поэту, имъ занявшемуся, и литературѣ, его породившей. Годъ, ознаменованный подобными произведеніями искусства, не можетъ назваться годомъ, понапрасну пролетѣвшимъ для одного изъ нашихъ даровитѣйшихъ писателей. Можно находить большія неоконченности въ «Рудинѣ», можно спорить о «Рудинѣ», можно изъ своей головы пополнять авторское воззрѣніе на личность Рудина, — но холодно пройти мимо этой личности и художественнаго созданія, ея разъясненію посвященнаго, не дозволяется ни одному изъ чтителей русскаго искусства.

Трудъ нашъ по поводу повѣстей Тургенева оконченъ, долгая и многосложная задача выполнена нами по мѣрѣ

нашихъ силъ и способностей. О «Фаустѣ» уже было говорено въ нашемъ журналѣ; сверхъ того, эта замѣчательная повѣсть, кажущаяся намъ началомъ новой дѣятельности въ ея авторѣ, должна быть разсмотрѣна въ связи съ другими произведеніями, которыхъ мы ожидаемъ и вправѣ ожидать отъ дальнѣйшей дѣятельности автора «Записокъ Охотника». Мы кончаемъ нашу послѣднюю статью подъ вліяніемъ самаго пріятнаго впечатлѣнія: издалека донесся до насъ голосъ привѣта и одобренія, голосъ того самаго дорогого намъ писателя, котораго отзывъ о нашей рецензіи для насъ теперь цѣннѣе всѣхъ возможныхъ проявленій читательской симпатіи. Мы трудились не напрасно и можемъ сказать, что, по крайней мѣрѣ, первая часть задачи не была для насъ трудомъ неблагодарнымъ. Пусть же долго и долго звучитъ въ дружескомъ кругѣ нашемъ и въ молодой нашей литературѣ тотъ симпатическій и любимый голосъ поэта-прозаика, къ которому такъ хорошо подходитъ званіе любезнѣйшаго и любимѣйшаго изъ современныхъ русскихъ писателей.

А. Дружининъ.

* * *

*) Въ Рудинѣ есть энтузіазмъ; у него же есть и холодность, но она въ крови, а не въ головѣ. Слѣдовательно, головою онъ энтузіастъ; онъ не актеръ и актеръ въ то же время; онъ не проныра (такъ описываетъ Рудина другъ его Лежневъ), и если живетъ на чужой счетъ, то дѣлаетъ это, какъ ребенокъ; онъ долженъ умереть въ нищетѣ и бѣдности; онъ не сдѣлаетъ самъ ничего, потому-что дѣлать дѣло не его призваніе, потому-что въ немъ натуры, крови нѣтъ; несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ не знаетъ Россіи.

С. Дудышкинъ.

* * *

**) Рудинъ, какъ и всѣ герои Тургенева, воспитывался тепличнымъ образомъ. Дѣйствительной жизни, такой, ка-

---

*) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки" 1857 г., № 1.
**) Н. Шелгуновъ, „Русскіе идеалы, герои и типы". „Дѣло" 1868 г., № 7.

кая существуетъ для огромнаго большинства человѣчества, онъ не зналъ; но зато ему была коротко знакома искусственная жизнь обезпеченныхъ людей, жившихъ за плечами своихъ мужиковъ, какъ у Христа за пазухой. Жизнь этихъ болтуновъ была постоянною праздностью, и вся дѣятельность ихъ сосредоточивалась въ однихъ разговорахъ и въ общихъ разсужденіяхъ о предметахъ, не имѣвшихъ ровно никакого отношенія ко всему тому, что ихъ окружало. Это были люди сильно возбужденной фантазіи и общихъ разсужденій. Припомните камеръ-юнкера барона Муфеля. Дарья Михайловна познакомилась съ нимъ у князя Гагарина,—тургеневскіе герои всегда князья, графы, камеръ-юнкеры и вообще люди знатнаго происхожденія или большихъ чиновъ,—этотъ почтенный камеръ-юнкеръ и баронъ обратилъ на себя вниманіе Дарьи Михайловны, плѣнивъ ее великосвѣтской блестящей болтовней, и написавъ политико-экономическую статью, желалъ подвергнуть ее суду Дарьи Михайловны. Въ статьѣ этой трактовалъ объ отношеніяхъ промышленности къ торговлѣ въ Россіи. Неправда ли, какъ все это глупо! А въ тѣ времена великосвѣтскіе люди и не поступали никогда умнѣе. Ну съ чего этому камеръ-юнкеру писать политико-экономическую статью, и почему понадобилось ему непремѣнно представить свою статью на судъ Дарьи Михайловны?!. Занимаютъ тебя вопросы экономическіе,—изслѣдуй ихъ, пиши, печатай, представляй ихъ на судъ публики или въ видѣ проэкта министру финансовъ. Конечно, такой способъ дѣйствія обнаружилъ бы стремленіе къ дѣйствительному дѣлу, чего вовсе не было въ головѣ блистательныхъ, великосвѣтскихъ героевъ Тургенева. Вся суть ихъ жизни заключалась въ вѣчномъ желаніи рисоваться и щеголять красивыми словами. И политико-экономическая статья Муфеля была точно такъ же не больше, какъ желаніе порисоваться въ великосвѣтскомъ дамскомъ салонѣ.

Женщина для людей того времени была какою-то особенною силою. Какъ въ Америкѣ общественная похвала и стремленіе понравиться своею полезною общественною

дѣятельностію служитъ двигателемъ для каждаго политическаго дѣятеля, такъ у насъ въ тѣ времена, когда Тургеневъ создалъ свои благоухающіе типы, изображала подобную же силу женщина. Женщина окружалась небеснымъ сіяніемъ, обыкновенная дѣвушка превращалась въ дѣву, женское сердце считалось какой-то непостижимой загадкой, чѣмъ-то не подчиняющимся общимъ ему съ мужскимъ сердцемъ физіологическимъ законамъ. Для женскаго ума не существовало тоже ни психологическихъ и никакихъ другихъ законовъ, и ему дозволялось работать въ какомъ ему вздумается направленіи. Загадочность и непостижимость женскаго существа, сбившая съ толку не только мужчинъ, но и самихъ женщинъ, служила поэтому предметомъ спеціальнаго изученія романистовъ и повѣствователей и самымъ обильнымъ матеріаломъ для бесѣды влюбленныхъ и невлюбленныхъ юношей и старцевъ. Всѣмъ очень хотѣлось постигнуть непостижимое, и никому это не удалось. На отношеніяхъ къ прекрасному полу и на любви къ непостижимымъ дѣвамъ построена вся жизнь тургеневскихъ героевъ.

Читатель пусть не думаетъ, что, называя этихъ героевъ тургеневскими, я хочу сдѣлать личный укоръ автору. Онъ тутъ не при чемъ. Онъ явился историкомъ и психологомъ воспитавшаго его общества, и рисуетъ своихъ героевъ такими, какими они есть. Обвинять г. Тургенева въ томъ, что онъ не умѣлъ подмѣтить въ русской жизни иныхъ людей и иныхъ дѣятелей, было бы несправедливо. Не могъ онъ рисовать другихъ людей, когда не вращался въ ихъ сферѣ; а за то, что онъ рисовалъ людей своего общества, его обвинять, конечно, нельзя. Съ другой стороны, литературная исторія великосвѣтскихъ людей не менѣе полезна и необходима, какъ и характеристика людей простыхъ. Откуда мы могли бы получить понятіе о бѣдныхъ скитальцахъ большого свѣта, уподобляющихся вѣчному жиду и заѣдаемыхъ скукою, праздностью и безцѣльною жизнію? Теперь мы ихъ знаемъ; теперь мы знаемъ, какихъ людей создавало былое барство, и сколько хоро-

шихъ силъ оно загубило безъ пользы и для нихъ самихъ и для общества. Съ этой точки зрѣнія нужно благодарить г. Тургенева, а не укорять его. Укорять его можно только за одно, что онъ остался всю свою жизнь вѣренъ сферѣ, воспитавшей его, и не былъ въ состояніи понять новой жизни и новыхъ людей, созданныхъ поворотомъ прогрессивнаго общественнаго мнѣнія. Вина его въ сочувствіи только къ Рудинымъ и въ неумѣніи понять новыхъ людей, смѣнившихъ ихъ и такъ неудачно нарисованныхъ имъ въ лицѣ Базарова.

Н. Шелгуновъ.

* * *

*) Несмотря на порядочный рядъ годовъ, отдѣляющихъ «Рудина» отъ «Записокъ Охотника», этотъ типъ неудавшейся «высшей натуры» находится въ тѣснѣйшей связи не только съ «Гамлетомъ Щигровскаго уѣзда», но и съ цѣлымъ основнымъ содержаніемъ «Записокъ». Отличаясь отъ большей части выведенныхъ въ нихъ дворянскихъ типовъ своею образованностью, Рудинъ сходится съ ними со всѣми въ той чистой барской подкладкѣ, какая оказывается, какъ мы видѣли, подъ этой его образованностью.

О. Миллеръ.

* * *

**) Въ «Рудинѣ» — почти что къ апоѳеозу возводится опять все то, надъ чѣмъ судорожно смѣется «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», и «кружки», и «солнце духа», и вліяніе философскихъ идей,—всѣ тѣ вѣянія, однимъ словомъ, изъ подъ власти которыхъ мечталъ уйти художникъ въ простую дѣйствительность, — признается законность этихъ вѣяній, ихъ право гражданства въ душѣ. Это объясняется тѣмъ, продолжаетъ А. Григорьевъ, что Тургеневъ «остался въ какомъ-то странномъ нерѣшительномъ

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 11.
**) А. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева.

положеніи относительно старыхъ и новыхъ вѣяній, вѣрный только своей собственной натурѣ, которая, какъ натура всякаго истиннаго поэта, равно пугается и суровой жестокости логической мысли, т. е. теоріи, и рабскаго служенія настоящему въ его часто слѣпыхъ требованіяхъ. Въ этомъ и причина сильнаго вліянія Тургенева на его читателей, и причина повторенія у него однихъ и тѣхъже недостатковъ.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Поколѣніе Рудиныхъ — гегельянцы, заботившіеся только о томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ — замысловатая таинственность, мирили насъ съ нелѣпостями жизни, оправдывая ихъ разными высшими взглядами, и всю свою жизнь толкуя о стремленіяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта. Развѣнчать этотъ типъ было такъ же необходимо, какъ необходимо было Сервантесу похоронить своимъ Донъ-Кихотомъ рыцарскіе романы, какъ одно изъ послѣднихъ наслѣдій средневѣковой жизни. Типъ красиваго фразера, совершенно чистосердечно увлекающагося потокомъ своего краснорѣчія, типъ человѣка, для котораго слово замѣняетъ дѣло, и который, живя однимъ воображеніемъ, прозябаетъ въ дѣйствительной жизни, совершенно развѣнчаны Тургеневымъ. Люди этого типа совершенно не виноваты въ томъ, что они люди безполезные; но они вредны тѣмъ, что увлекаютъ своими фразами тѣ неопытныя созданія, которыя прельщаются ихъ внѣшнею эффектностью; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требованіямъ; усиливъ въ нихъ чувствительность, способность страдать, они ничѣмъ не облегчаютъ ихъ страданія; словомъ, это болотные огоньки, заводящіе ихъ въ трущобы и погасающіе тогда, когда несчастному путнику необходимъ свѣтъ, чтобы разглядѣть

*) Д. Писаревъ. Сочиненія Писарева, ч. 1 и „Русское Слово“ 1861 г., № 11.

свое затруднительное положеніе. Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ Рудинѣ.

На словахъ эти люди, подобные Рудину, способны на подвиги, на жертвы, на героизмъ, такъ, по крайней мѣрѣ, подумаетъ каждый обыкновенный смертный, слушая ихъ разглагольствованія о человѣкѣ, о гражданинѣ и другихъ тому подобныхъ отвлеченныхъ и высокихъ предметахъ. На дѣлѣ, эти дряблыя существа, постоянно испаряющіяся въ фразы, неспособны ни на рѣшительный шагъ ни на усидчивый трудъ. Вглядитесь въ Рудина, какъ онъ говоритъ о жизни, какъ его слова западаютъ въ душу двумъ молодымъ личностямъ, Наташѣ и Басистову, какъ онъ самъ воодушевляется и становится почти великъ, когда его увлекаетъ потокъ его мыслей! И вдругъ, что же выходитъ на дѣлѣ? Рудинъ труситъ передъ Волынцевымъ, труситъ передъ Натальею, спотыкается о ничтожнѣйшія препятствія, падаетъ духомъ, выѣзжая изъ гостепріимнаго дома Дарьи Михайловны и, наконецъ, является передъ читателями измятымъ, забитымъ, безполезнымъ, какъ выжатый лимонъ: и тутъ онъ фразерствуетъ, только нѣсколькими тонами ниже. Но въ Рудинѣ есть выкупающія стороны: Рудинъ поэтъ, голова, сильно раскаляющаяся и быстро простывающая—для того, чтобы снова раскалиться отъ прикосновенія другихъ предметовъ. Онъ впечатлителенъ до крайности, и въ той впечатлительности заключается и его обаятельность и источникъ его страданій. Если бы дѣло такъ же скоро дѣлалось, какъ сказка сказывается, то Рудинъ могъ бы быть великимъ дѣятелемъ; въ ту минуту, когда онъ говоритъ, его личность вырастаетъ выше обыкновенныхъ размѣровъ; онъ гальванизируетъ самого себя, онъ силенъ и вѣритъ въ свою силу, онъ готовъ пойти на открытый бой со всею неправдою земли; вотъ почему онъ умираетъ со знаменемъ въ рукѣ; но въ обыденной жизни нельзя устраивать свои дѣла однимъ взмахомъ руки,—ничто не приходитъ къ намъ по щучьему велѣнію; надо выработать, надо срыть препятствія и разровнять себѣ дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывомъ кипучей отваги, вспыш-

кою нечеловѣческой энергіи можно только ослѣпить зрителей: оно красиво, но безплодно. Рудинъ умираетъ великолѣпно, но вся жизнь его не что иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочарованій, мыльныхъ пузырей и миражей. Всего печальнѣе то, что эти миражи обманывали не его одного; съ нимъ вмѣстѣ, за него, и часто сильнѣе его самого, страдали люди, принимавшіе его слова на вѣру, воспламенявшіеся вмѣстѣ съ нимъ и не умѣвшіе остыть тогда, когда остывалъ Рудинъ. Особенно вредно Рудины дѣйствуютъ на женщинъ; женщины въ нашемъ обществѣ нерѣдко до сѣдыхъ волосъ остаются дѣтьми; онѣ не знаютъ жизни, потому что сами не сталкиваются съ нею; онѣ не знаютъ того, какъ лгутъ въ жизни, поступками и словами, на каждомъ шагу и при каждомъ удобномъ случаѣ, иногда даже лучшіе люди, добросовѣстнѣйшіе дѣятели; онѣ видятъ этихъ людей и дѣятелей въ домашнемъ костюмѣ, когда вицмундиры смѣняются простыми сюртуками; онѣ слышатъ, какъ эти люди разсуждаютъ о своей дѣятельности, и много фальшивой монеты принимаютъ за наличную; упоминая такимъ образомъ о женщинахъ, я, конечно, не говорю о тѣхъ несчастныхъ личностяхъ, которыхъ горькая нужда слишкомъ хорошо познакомила съ грязью жизни, или которыхъ уродливое воспитаніе сдѣлало нечувствительными къ какимъ бы то ни было впечатлѣніямъ, кромѣ чисто физической боли и чисто физическаго наслажденія. Нѣкоторая независимость отъ внѣшнихъ обстоятельствъ совершенно необходима для того, чтобы человѣкъ могъ мыслить и чувствовать; если человѣкъ цѣлый день работаетъ для того, чтобы не умереть съ голода, и утоляетъ свой голодъ для того, чтобы завтра опять цѣлый день работать, то онъ прозябаетъ, а не живетъ; онъ черствѣетъ, тупѣетъ, покрывается какою то ржавчиною; въ этомъ и заключается деморализующее, опошляющее вліяніе пауперизма, котораго не испытываютъ животныя, и который страшнымъ бременемъ тяготѣетъ надъ человѣкомъ. Слѣдовательно, говоря о психической жизни женщинъ я поневолѣ принужденъ ограничиться тѣми сферами, въ которыхъ эта психическая

Женская гимназія

жизнь не подавлена и не забита ежечасною тревожною заботою о кускѣ хлѣба; такія женщины, знающія жизнь настолько, насколько пожелаютъ показать имъ эту жизнь ихъ папеньки, опекуны или супруги, любятъ смѣлыя рѣчи Рудиныхъ; онѣ въ этихъ людяхъ надѣются увидѣть тѣхъ героевъ, къ которымъ инстинктивно стремятся ихъ желанія; онѣ надѣются черезъ нихъ познакомиться съ тою, болѣе полною и широкою жизнью; онѣ привязываются къ этимъ людямъ тою пылкою любовью, которою мы любимъ наши лучшія надежды, наши свѣтлыя мечты, наши благородныя стремленія; все то, что дастъ намъ силы переносить тяготи жизни, все это воплощается для женщины въ образѣ того человѣка, который горячимъ словомъ шевельнулъ ея мозговые нервы; тутъ обмануться, тутъ разочароваться—значитъ упасть съ страшной высоты; вынести такое паденіе, окрѣпнуть послѣ такого грубаго удара удается очень немногимъ. Вотъ въ какомъ отношеніи Рудины принимаютъ на себя страшную отвѣтственность; кто будитъ въ человѣкѣ его лучшіе инстинкты, тотъ долженъ и удовлетворить ихъ требованіямъ; кто ведетъ слабаго ребенка на крутую гору, тотъ можетъ сдѣлаться преступникомъ, если не поддержитъ до самаго конца горы это существо, вѣрующее въ его силу и смѣло пошедшее за нимъ по его призыву; оставить такое существо на половинѣ дороги, когда впереди страшная крутизна, а сзади страшный спускъ въ сырую трущобу—это непростительно: тутъ извиненіемъ не можетъ служить ни ошибка, ни слабость; когда берешься устраивать чужую жизнь, надо взвѣсить свои силы; кто этого не умѣетъ или не хочетъ слѣлать, тотъ опасенъ, какъ слабоумный или какъ эксплуататоръ.

Чтобы оттѣнить своихъ героевъ, принадлежащихъ къ рудинскому типу, чтобы рельефнѣе выставить безпощадность своихъ отношеній къ ихъ чахлымъ личностямъ и смѣшнымъ претензіямъ, Тургеневъ ставитъ ихъ съ простыми, очень неразвитыми смертными; и эти простые смертные оказываются выше, крѣпче и честнѣе полированныхъ и фразерствующихъ умниковъ. Рудинъ пасуетъ передъ Во-

лынцевымъ, передъ отставнымъ армейскимъ ротмистромъ, не получившимъ никакого образованія. Рудинъ гораздо образованнѣе и даже развитѣе тѣхъ личностей, которымъ онъ противополагается, а между тѣмъ неотесанныя натуры послѣднихъ внушаютъ гораздо больше довѣрія, уваженія и сочувствія. Отчего это происходитъ? Оттого, что въ фразерахъ мы ничего не видимъ, кромѣ извѣстной дрессировки, а на дѣлѣ видимъ человѣка, каковъ онъ есть, съ самородными достоинствами и съ прилипшими случайно странностями.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Съ отношеніями къ Наташѣ Рудина не лишнее будетъ сопоставить въ «Запискахъ Охотника» отношенія къ Петру Петровичу Каратаеву страстно имъ любимой Матрены. И эта крестьянская дѣвушка «трусила», какъ и Рудинъ, но причины ихъ трусости совершенно различны. Матрена боялась, что за побѣгъ ея поплатятся ея родные, и, чтобъ спасти ихъ, отказалась отъ Каратаева, котораго страстно любила. Напротивъ того, Рудинъ, какъ самъ онъ сознается въ письмѣ къ Наташѣ, «просто испугался отвѣтственности, которая *на него* падала»—испугался потому, что въ сущности никогда не любилъ Наташи!

О. Миллеръ.

* * *

**) Какимъ же образомъ этотъ энтузіастъ, этотъ поборникъ всего прекраснаго, могъ быть такъ бездушенъ? Отчего жъ у него страстна голова, а не сердце? Отчего у этихъ людей нѣтъ сердца? — вотъ капитальный вопросъ. Мы обращаемъ его не къ людямъ, занимающимся психологіей, а къ изучающимъ нашего общественнаго человѣка и тѣ условія, которыя образуютъ такихъ людей. Вопросъ этотъ не такъ поверхностенъ, какъ кажется съ перваго

---

*) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева“.

**) С. Дудышкинъ. „Отечественныя Записки“ 1857 г., № 4.

взгляда; онъ тѣсно связанъ съ убѣжденіями того поколѣнія, которое изображаетъ г. Тургеневъ. Эти *головные энтузіасты* едва ли на самомъ дѣлѣ энтузіасты. Энтузіастомъ нельзя быть только головою: тогда и въ этомъ отношеніи окажется та же несостоятельность, какую мы замѣчаемъ въ другихъ отношеніяхъ. Положимъ, Рудинъ увлекся бы столько же сердцемъ, сколько и умомъ: неужели вы думаете, что онъ поступилъ бы потомъ иначе, нежели Вязовнинъ, который бросился съ парохода въ море?

Отчего всѣ женщины, выведенныя въ повѣстяхъ г. Тургенева, могутъ сказать каждому изъ героевъ его (за исключеніемъ Пасынкова) то же, что Наташа сказала Рудину: «Вы, точно отъ нечего-дѣлать, отъ скуки пошутили со мною». Дѣло въ томъ, что у всѣхъ этихъ лицъ нѣтъ пониманія жизни, а есть одно пониманіе страсти, увлеченій, одного отрывка изъ жизни; нѣтъ этого, какъ нѣтъ равновѣсія другихъ силъ: космополитизма и народности, образованія и дѣятельности, стремленія къ идеалу и стремленія къ жизни положительной. Всѣ они живутъ и понимаютъ жизнь односторонно.

С. Дудышкинъ.

* * *

*) Проводя параллель между героями «Аси», «Фауста» и «Рудинымъ», критикъ «Атенея» говоритъ: «Рудинъ въ началѣ держитъ себя нѣсколько приличнѣе для мужчины, нежели прежніе герои: онъ такъ рѣшителенъ, что самъ говоритъ Натальѣ о своей любви (хоть говоритъ не по доброй волѣ, а потому, что вынужденъ къ этому разговору); онъ самъ проситъ у ней свиданія. Но когда Наталья на этомъ свиданіи говоритъ ему, что выйдетъ за него, съ согласія или безъ согласія матери, все равно, лишь бы онъ только любилъ ее; когда произноситъ слова: «Знайте-же, я буду ваша», Рудинъ только и находитъ въ отвѣтъ восклицаніе: «О Боже!» — восклицаніе больше конфузное,

*) „Атеней“ 1858 г., № 18. Статья Н. Чернышевскаго.

чѣмъ восторженное, — а потомъ дѣйствуетъ такъ хорошо, то есть до такой степени труслив и вялъ, что Наталья принуждена сама пригласить его на свиданіе для рѣшенія, что же имъ дѣлать. Получивши записку, «онъ видѣлъ, что развязка приближается, и втайнѣ смущался духомъ». Наталья говоритъ, что мать объявила ей, что скорѣе согласится видѣть дочь мертвой, чѣмъ женой Рудина, и вновь спрашиваетъ Рудина, что онъ намѣренъ теперь дѣлать? Рудинъ отвѣчаетъ по прежнему: «Боже мой, Боже мой», и прибавляетъ еще наивнѣе, — «такъ скоро! что я намѣренъ дѣлать? у меня голова кругомъ идетъ, и ничего сообразить не могу». Но потомъ соображаетъ, что слѣдуетъ «покориться». Названный трусомъ, онъ начинаетъ упрекать Наталью, потомъ читать ей лекцію о своей честности, и на замѣчаніе, что не это должна она услышать теперь отъ него, отвѣчаетъ, что онъ не ожидалъ такой рѣшительности. Дѣло кончается тѣмъ, что оскорбленная дѣвушка отворачивается отъ него, едва ли не стыдясь своей любви къ трусу.

Н. Чернышевскій.

* * *

*) Удивляются отважности героинь г. Тургенева. Но отважности тутъ въ сущности нѣтъ никакой, а только неразуміе и неспособность видѣть и оцѣнить послѣдствія. Вы струсили, говоритъ Тургеневская героиня Тургеневскому герою; я же готова съ вами на край свѣта, я готова хоть сейчасъ сдѣлаться вашей любовницей. И нужно сказать правду, что въ трусости героя гораздо больше ума, чѣмъ въ отважности героини. Героиня дѣйствуетъ по короткому порыву; она только желаетъ страстнѣе и требуетъ немедленнаго удовлетворенія своей страсти. Ну, а потомъ-то что? Гражданскаго брака героини г. Тургенева не знали, значитъ, имъ приходилось дѣлаться простыми любовницами.

---

*) Н. Шелгуновъ. „Русскіе идеалы, герои и типы“. „Дѣло“ 1868 г., № 7.

И, разумѣется, герои были правы, когда отклоняли неопытныхъ дѣвушекъ отъ подобнаго намѣренія.

Н. Шелгуновъ.

* * *

*) Наталья въ «Рудинѣ» похожа на Асю, или, вѣрнѣе, въ основу ихъ личностей положена авторомъ одна идея, разработанная различно въ обоихъ романахъ. Въ Асѣ больше граціи, въ Натальѣ больше твердости; Ася отличается подвижностью, Наталья—сдержанностію и способностью глубоко вдумываться въ предметъ и долго вынашивать въ головѣ идею или чувство. Въ Асѣ огонь вспыхиваетъ сильно и внезапно; дѣйствіе этого внутренняго огня тотчасъ отражается на ея физіономіи, въ ея поступкахъ, во всемъ ея поведеніи; въ Натальѣ этотъ огонь разгорается медленно, и дѣйствіе его долгое время скрывается отъ нея самой и отъ другихъ; а потомъ, когда она сама отдаетъ себѣ отчетъ въ своемъ настроеніи, она все-таки скрываетъ его отъ другихъ, и одна, безъ постороннихъ свидѣтелей, хозяйничаетъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Различій, какъ видите, очень много, а между тѣмъ, сходство самое существенное: обѣ дѣвушки сохранили свѣжесть и здоровье помимо обстановки, помимо тѣхъ людей, которые считали себя вправѣ распоряжаться ихъ мыслями и чувствами. Натальѣ это было труднѣе сдѣлать, чѣмъ Асѣ, и потому Наталья вышла изъ своей борьбы крѣпче и вынесла изъ нея большій запасъ сознаннаго опыта.

Д. Писаревъ.

* * *

**) Въ Наташѣ мы видимъ дѣвушку, которая уже не стремится только любить, но которая ищетъ въ мужчинѣ учителя и руководителя, ищетъ дѣла себѣ, хотя еще и ограничиваетъ свое участіе въ немъ ролью помощницы:

---

*) Д. Писаревъ. Сочиненія Писарева, ч. 1, и „Русское Слово“ 1861 г., № 12.
**) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

она уже стремится переступить за черту хозяйки, жены или любовницы. Рудинъ еще находится въ тѣхъ же роковыхъ условіяхъ одиночества, которыя мѣшали и его предшественникамъ итти объ руку съ любимой женщиной; но вліяніе Рудина все-таки оказалось, переходъ или стремленіе къ переходу—явилось...

Рудинъ—необходимое звено между людьми безплодной мысли и людьми дѣла, которыхъ общество такъ ждетъ долго и которые приступаютъ такъ незамѣтно... Въ Рудинѣ впервые послѣ Чацкаго, черезъ долгій промежутокъ времени, высказывается въ обществѣ стремленіе къ политической дѣятельности... Понятно, что для дѣятельности Рудиныхъ и Инсаровыхъ не было мѣста въ Россіи, и независимо отъ этого, что авторъ, по самымъ условіямъ печати, могъ описывать изъ всей Одиссеи—по выраженію Добролюбова — только похожденія на островѣ Калипсы, т.-е. самыя незначительныя изъ похожденій, ему и нельзя было описывать того, что было невозможно въ самой жизни. Поэтому совершенно несправедливо установившееся воззрѣніе, что Рудины и всѣ люди сороковыхъ годовъ были способны только къ разговорамъ, а не къ дѣлу. Мы видѣли, напротивъ, что тамъ, гдѣ для этихъ людей была открыта возможность общественной дѣятельности, они немедленно воспользовались ею и явились способнѣйшими тружениками. Такъ крестьянское дѣло выработано и вынесено ими на своихъ плечахъ, — и если потомъ обстоятельства вновь такъ сложились, что ихъ участіе въ общественныхъ дѣлахъ опять найдено излишнимъ, то ихъ дѣйствіе уже не можетъ быть имъ поставлено въ вину. Подобное мнѣніе о людяхъ сороковыхъ годовъ могло сформироваться въ ту эпоху, когда всѣ ожидали появленія «новыхъ людей», «людей дѣла», людей, которые сумѣли бы изобрѣсти себѣ общественную дѣятельность, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства...

Рудинъ не былъ пустословомъ, но былъ положительнымъ дѣятелемъ. Тамъ, гдѣ слово выходитъ изъ обыкновенной колеи и возвышается до краснорѣчія, до силы подмываю-

щей, двигающей, не дающей покоя,—тамъ рѣчь становится дѣломъ, говорунъ обращается въ проповѣдника, — а рѣчь Рудина, какъ мы знаемъ изъ словъ Басистова, дѣйствительно потрясала, сдвигала, зажигала человѣка. Рудинъ не ограничивался одними словами. Когда онъ видитъ, что эти слова не приносятъ пользы, онъ хватается за всякое дѣло. Онъ пробуетъ служить, и не уживается, разумѣется, на службѣ; онъ дѣлается учителемъ гимназіи; кажется, съ его познаніями, съ его даромъ слова это не значитъ брать дѣло не по силамъ и способностямъ, но ему не даютъ и этого дѣла; онъ хочетъ дѣйствовать черезъ богатаго и благонамѣреннаго человѣка, но тотъ оказывается тупымъ самодуромъ; Рудинъ бросаетъ теплое мѣсто и идетъ на голодъ и нужду; онъ встрѣтилъ какого то необыкновенно-практическаго человѣка, прилѣпляется къ нему, живетъ въ землянкѣ, ѣстъ черный хлѣбъ и убиваетъ послѣднюю копейку, — а дѣло разлетается; Рудинъ даже покушался быть секретаремъ важнаго сановника, но, разумѣется, съ своимъ направленіемъ, желаніями, цѣлями, вездѣ былъ лишній, вездѣ жизнь выбрасывала его: у читателя сжимается сердце, какъ оно сжимается у его товарища Лежнева, когда посѣдѣвшій, обезсиленный, изгоняемый въ деревню Рудинъ разсказываетъ ему про свои похожденія: «Всего разсказать нельзя, говоритъ онъ,—да и не стоитъ... Маялся я много, скитался не однимъ тѣломъ—душою скитался. Въ чемъ и въ комъ я не разочаровывался? Богъ мой! съ кѣмъ не сближался, да, съ кѣмъ? повторилъ Рудинъ, замѣтивъ, что Лежневъ съ какимъ то особеннымъ участіемъ посмотрѣлъ ему въ лицо. — Сколько разъ мои собственныя слова становились мнѣ противными — не говорю уже въ моихъ устахъ, но и въ устахъ людей, раздѣлявшихъ мои мнѣнія! Сколько разъ переходилъ я отъ нетерпѣливости къ раздражительности ребенка, къ тупой безчувственности лошади, которая уже и хвостомъ не дрыгаетъ, когда ее сѣчетъ кнутъ... Сколько разъ я радовался, надѣялся, враждовалъ и унижался напрасно! Сколько разъ вылеталъ соколомъ и возвращался ползкомъ, какъ улитка,

у которой раздавили раковину! гдѣ не бывалъ я, по какимъ дорогамъ не ходилъ! а дороги бываютъ грязныя, прибавилъ Рудинъ и слегка отвернулся»... Какая страшно тяжелая и печальная картина! сколько въ ней страданій, униженія, приносимыхъ въ жертву самому честному дѣлу и оказавшихся жертвами безполезными! И такого человѣка, такъ мучительно стремящагося къ дѣлу, называютъ идеалистомъ?—Повторяемъ: люди 60-хъ годовъ могли въ то время, во время своей молодости, свысока отнестись къ этимъ хватающимъ за душу словамъ Рудина, но если они повторятъ то-же теперь, то мы скажемъ имъ, что опытъ ихъ ничему не научилъ и ни отъ чего не отрезвилъ.

Конецъ Рудина показываетъ, что Рудинъ не принадлежалъ къ числу людей слова, онъ умираетъ убитый на парижской баррикадѣ, сражаясь за свободу чуждаго ему народа. Теперь спросимъ мы читателя: такъ ли умираютъ люди слова, люди, не имѣющіе воли и твердости, чтобы пожертвовать собою своему дѣлу? А Рудинъ, повторяемъ, былъ вполнѣ человѣкомъ сороковыхъ годовъ!

Странный человѣкъ былъ этотъ Рудинъ,—и сложная была у него натура,—Рудинъ былъ не случайность: онъ прямой потомокъ своихъ предковъ, поэтому мы, прослѣдивъ за развитіемъ мысли въ русскомъ обществѣ, можемъ, какъ въ геологіи, пластъ за пластомъ разобрать всѣ наслоенія, которыя разныя предыдущія и современныя вліянія оставляли на Рудинѣ; насъ удивляетъ даже строго-логичная совмѣстимость этихъ вліяній въ Рудинѣ, и мы можемъ объяснить ее только той художественною правдою, съ которою и Рудинъ и предыдущіе типы были живьемъ взяты изъ общества и изображены ихъ авторами. Рудинъ былъ человѣкъ далеко выходящій изъ дюжины: умъ онъ имѣлъ систематическій, память огромную и необыкновенный даръ слова; читалъ онъ большею частію книги философскія, и умъ его не былъ самостоятеленъ, но голова такъ устроена, что онъ тотчасъ же изъ всего читаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ отъ него проводилъ во всѣ стороны правильныя нити мысли,

открывая духовныя перспективы, освѣщая все однимъ свѣтомъ. «Молодежи, говоритъ авторъ, выводы подавай, итоги, хоть невѣрные. Совершенно добросовѣстный человѣкъ на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владѣете ею... Молодежь васъ и слушать не станетъ. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами, хоть на половину вѣрили, что обладаете истиной». По нашему мнѣнію, подобныя особенности нужны для всякаго проповѣдника—обращается-ли онъ къ молодежи или къ массѣ зрѣлыхъ слушателей,—чтобы двигать и имѣть успѣхъ. Рудинъ обладалъ ими, этими качествами или недостатками, къ тому же онъ былъ энтузіастъ, и потому производилъ впечатлѣніе огромное. «Этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!» говорилъ про него Басистовъ. Таковъ былъ Рудинъ, какъ дѣятель. Пусть онъ какъ частный человѣкъ имѣлъ недостатки: онъ во все вмѣшивался и любилъ посплетничать, занималъ деньги, и не думалъ отдавать ихъ, не какъ проныра, а какъ человѣкъ фантазіи, а не дѣйствительности; пусть онъ со своимъ все систематизирующимъ умомъ былъ въ высшей степени непрактиченъ—все это такъ; но, какъ пропагандистъ, какъ общественный дѣятель, Рудинъ былъ человѣкъ, цѣлой головой выходящій изъ ряда: онъ первый между героями является намъ не какъ страдательное лицо, не какъ забитый и изломанный человѣкъ, а какъ истинный и положительный двигатель, погибающій—какъ водится—впослѣдствіи. Да! Рудинъ первый между героями литературы — общественный дѣятель. У насъ, напротивъ, установилось мнѣніе, что Рудинъ принадлежитъ всецѣло къ надломленнымъ и искалѣченнымъ натурамъ, которыя способны все только говорить, охать и страдать, и если были намъ симпатичны, то какъ жертвы своего времени и своей среды, а отнюдь не какъ дѣйствующія лица. По нашему мнѣнію, такой взглядъ рѣшительно не выдерживаетъ критики. Уста-

новился онъ потому, что въ самой повѣсти о Рудинѣ мы видимъ только слабую, дѣйствительно надломленную сторону героя: онъ бѣжитъ отъ дѣвушки, которая ему отдается, не даетъ отпора пустому, но смѣлому сопернику (сопернику въ любви), занимаетъ и не платитъ деньги, и несмотря на всю силу своего слова и способностей, не дастъ никакого ощутительнаго послѣдствія всей своей силы и дара. Но въ повѣсти есть другая сторона, которая видна между строками: вся дѣйствительная сила Рудина, всѣ его попытки что-нибудь сдѣлать, сдвинуть—все это разсказывается другими, занимаетъ чрезвычайно мало мѣста, и не производитъ на читателя сильнаго впечатлѣнія, потому что умышленно прикрыто.

М. Авдѣевъ.

* * *

*) Въ этой повѣсти совершается передъ глазами читателей явленіе совершенно особенное. Художникъ, начавши критическимъ отношеніемъ къ создаваемому имъ лицу, видимо путается въ этомъ критическомъ отношеніи, самъ не знаетъ, что ему дѣлать съ своимъ анатомическимъ ножомъ, и, наконецъ, увлеченный порывомъ искренняго стараго сочувствія,—снова возводитъ къ апоѳеозу въ эпилогѣ то, къ чему онъ пытался отнестись критически въ разсказѣ. И нельзя даже подумать, чтобы критика была ловкимъ подходомъ къ апоѳеозѣ,—такъ быстро и прямо совершается передъ глазами читателя поворотъ, такъ послѣ прочтенія эпилога становится ясно, что все, кромѣ эпилога, да той минуты, когда Рудинъ, стоящій вечеромъ у окна и заключающій свою бесѣду, свою проповѣдь легендою о скандинавскомъ царѣ, напоминаетъ манеры, пріемы и цѣлый образъ одного изъ любимѣйшихъ людей нашего поколѣнія,—что, кромѣ этого, говорю я, все остальное сдѣлано, а не рождено, сдѣлано искусственно, хоть и не совсѣмъ искусно, вымучено у души насильственно. Тутъ,

*) Ап. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева, т. 1.

однимъ словомъ, обнаруживается въ отношеніяхъ художника къ создаваемому имъ типу, да вмѣстѣ съ тѣмъ и для многихъ изъ насъ, кто только подобросовѣстнѣе—замѣчательная путаница... Что такое Рудинъ въ повѣсти?—Фразеръ? — но откуда же у фразера сила, дѣйствующая на глубокую натуру Натальи и на чистую, юношеско-благородную натуру Басистова?—Человѣкъ слабый и безхарактерный, «куцый», по выраженію Пигасова? Но отъ чего же Пигасовъ такъ радъ тому, что разъ подмѣтилъ его *куцымъ*, и отчего Лежневъ, знающій его вдоль и поперекъ, *боится* его вліянія на другихъ? Отчего благородный малый Волынцевъ такъ *скорбенъ* головою при своемъ благородствѣ, и отчего его судьба, по предсказанію положительнаго Лежнева, — быть подъ башмакомъ у Наталіи?—Что за несчастье въ нашей литературѣ добрымъ и благороднымъ малымъ! Или они—тѣни или ихъ бьютъ... Право такъ.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Трудно встрѣтить въ какомъ-либо другомъ произведеніи литературы характеръ до такой степени невыдержанный, противорѣчащій самому себѣ, какъ Рудинъ въ повѣсти г. Тургенева. Въ первой половинѣ повѣсти является передъ вами холодный, рисующійся резонеръ, человѣкъ, у котораго умъ развитъ на счетъ всей природы, такъ что г. Тургеневъ называетъ его китайскимъ болванчикомъ, котораго голова постоянно перевѣшивала. Такой господинъ очень умно умѣетъ обо всемъ разсуждать, но едва застаетъ его врасплохъ дѣло, какъ онъ смущается, робѣетъ, весь умъ его уходитъ въ пятки, и онъ оказывается никуда негоднымъ, дряблымъ трусомъ. Чтобы выставить рельефно такое качество своего героя, г. Тургеневъ вывелъ на сцену неизмѣнную свою исторію любви. Рудинъ очень глубоко понимаетъ любовь, очень тонко анализируетъ ее, но чуть

*) Алкандровъ (А. М. Скабичевскій). „Невскій Сборникъ" 1867 г.

дѣло касается осуществленія любви въ дѣйствительности, чуть является передъ нимъ любящая женщина съ предложеніемъ бѣжать отъ родныхъ и посвятить всю жизнь для него, онъ теряется, падаетъ духомъ, говоритъ о томъ, что слѣдуетъ покориться злой судьбѣ и роднымъ Натальи, и является такимъ образомъ, самымъ безпардоннымъ, немощнымъ трусомъ. До сихъ поръ все идетъ хорошо; если бы Тургеневъ покончилъ свою повѣсть отъѣздомъ Рудина отъ Ласунскихъ—повѣсть его была бы однимъ изъ варіантовъ исторіи неудачной любви, а Рудина читатель ставилъ бы на ряду съ Пигасовымъ, Лишнимъ человѣкомъ, Гамлетомъ Щигровскаго уѣзда, и смотрѣлъ бы на него какъ на одного изъ дряблыхъ филистеровъ, неспособныхъ даже размножать человѣчество... Критика наша, впрочемъ, до сихъ поръ такъ дѣлала: она ограничивалась первою половиною повѣсти и разбирала Рудина согласно съ этою первою частью какъ безстрастнаго, безхарактернаго резонера. Но въ повѣсти г. Тургенева есть вторая половина—описаніе дальнѣйшей судьбы Рудина послѣ отъѣзда отъ Ласунскихъ. Въ этой второй половинѣ Рудинъ является передъ нами человѣкомъ, совершенно противоположнымъ тому, какимъ онъ былъ въ первой. Если въ первой части онъ является передъ нами Гамлетомъ, то во второй части онъ Донъ-Кихотъ въ полномъ смыслѣ этого слова (я здѣсь сообразуюсь съ характеристикою этихъ обоихъ типовъ, представленныхъ Тургеневымъ въ статьѣ «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ» въ «Современникѣ» 1860 г. № 1). Если въ первой части онъ способенъ только умно разсуждать и пасовать передъ дѣломъ, то во второй части онъ, напротивъ того, является способнымъ сразу броситься на рискованное, безумное дѣло, а потомъ уже, при неудачѣ, обсуждать это дѣло заднимъ умомъ. Представьте вы себѣ безумца, который въ 40-е годы — самъ, одинъ со своими маленькими силенками возмечталъ учинить радикальныя преобразованія въ гимназіи, гдѣ онъ былъ учителемъ; представьте себѣ безумца, который, не имѣя ни гроша денегъ, задумалъ сдѣлать судоходною одну рѣку въ Россіи и, съ этою цѣлію,

шесть мѣсяцевъ провелъ въ землянкахъ, питаясь однимъ хлѣбомъ... Наконецъ, возьмите вы самую смерть его, въ далекой странѣ, въ борьбѣ за чужое дѣло, до него вовсе не касающееся... Гдѣ же тутъ безстрастный, холодный резонеръ, способный только анализировать тонкимъ умомъ и теряющійся передъ дѣломъ. Напротивъ того, тутъ есть все: пламенный энтузіазмъ, отвага, безуміе, непрактичность, а холоднаго, все предварительно взвѣшивающаго ума тутъ именно и нѣтъ. Холодный резонеръ, какимъ является Рудинъ вначалѣ, остался бы и до конца жизни холоднымъ резонеромъ; если онъ струсилъ передъ Натальею, то онъ струсилъ бы и передъ гимназіею и передъ рѣкою... Если же онъ былъ способенъ на такіе безумные замыслы, какъ прорытіе рѣки, и былъ способенъ не на одни слова, но и на выполненіе ихъ, если онъ отъ выполненія своихъ плановъ отказывался только тогда, когда не оставалось у него никакихъ болѣе средствъ на это, и всѣ пути ему были закрыты, то неужели такой человѣкъ струсилъ бы передъ вопросомъ о женитьбѣ. Напротивъ того, можно было ожидать въ такомъ случаѣ, что какъ, безъ копейки въ карманѣ, онъ бросился на капитальныя дѣла, подобно тому онъ и женился бы, очертя голову, не думая о томъ, какъ ему удастся устроить семейную жизнь при его средствахъ. А если бы онъ отказался отъ женитьбы, то и это онъ сдѣлалъ бы также очертя голову, скорѣе изъ горячаго протеста противъ всего окружающаго, доведеннаго до фанатизма, а ужъ никакъ не изъ трусости. Но въ такомъ случаѣ, какъ же согласить первую часть повѣсти со второю? Въ чемъ же заключается тайна этой невыдержанности характера, этого рѣзкаго противорѣчія между Рудинымъ первой части и тѣмъ же Рудинымъ второй? Объяснить это можно очень просто; г. Тургеневъ видѣлъ въ жизни нѣсколько типовъ, охарактеризованныхъ нами въ видѣ честныхъ людей 50-хъ годовъ; видѣлъ онъ, какъ бросались они на всѣ дѣла и какъ имъ ничего не удавалось; видѣлъ, какъ горько мыкались они по свѣту; видѣлъ онъ, какъ эти люди отказывались часто отъ семейнаго счастья и не бросались въ

объятія своихъ любезныхъ, когда тѣ простирали имъ свои объятія. Какъ художнику-мыслителю г. Тургеневу слѣдовало разобрать этотъ фактъ со всѣхъ сторонъ, вдуматься глубоко въ жизнь, чтобы разъяснить себѣ, почему Рудинымъ ничего не удавалось. Онъ, можетъ быть, увидѣлъ бы, что неудачи Рудиныхъ происходили не отъ недостатка энергіи, не отъ неумѣнія взяться за дѣло, а оттого, что всѣ пути были закрыты для нихъ, дѣла ихъ съ тупоумнымъ недоброжелательствомъ разрушались въ самомъ зародышѣ, и имъ ничего больше не оставалось, какъ, оплакивая старыя неудачи, приниматься за новыя предпріятія въ ожиданіи новыхъ неудачъ. Г. Тургеневу слѣдовало также понять, что при такихъ условіяхъ этимъ людямъ было не до семейныхъ радостей; имъ и жизнь-то самая была въ тягость при тѣхъ же условіяхъ, при которыхъ они жили. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повѣсти г. Тургеневъ возвышается до подобнаго пониманія; такъ, онъ объясняетъ неудачи Рудина въ его различныхъ предпріятіяхъ не столько неумѣньемъ взяться за дѣло, сколько недоброжелательствомъ разныхъ эгоистовъ и пошляковъ, мелочные интересы которыхъ страдали отъ этихъ предпріятій Рудина: такъ, изъ гимназіи Рудина, съ его радикальнымъ преобразованіемъ, выжили рутинеры-учители, въ дѣлѣ прорытія фарватера оказали препятствіе владѣтели мельницъ. Если бы г. Тургеневу удалось, возвысившись до такого пониманія, остановиться на немъ и отрѣшиться разъ навсегда отъ узенькихъ филистерскихъ взглядовъ своего времени, тогда Рудинъ предсталъ бы предъ нами во всемъ своемъ истинномъ свѣтѣ, и повѣсть г. Тургенева была бы замѣчательнымъ произведеніемъ русской литературы; но г. Тургеневъ не могъ отрѣшиться отъ этихъ взглядовъ, и они взяли перевѣсъ надъ проблесками болѣе глубокаго пониманія жизни. Г. Тургеневъ взглянулъ на Рудина съ чисто-филистерской точки зрѣнія: филистерская точка зрѣнія не знала иной цѣли въ жизни, иного дѣла, кромѣ наживанья денегъ для устройства узенькаго семейнаго счастья; Рудинъ этого не дѣлалъ, слѣдовательно, онъ былъ без-

дѣльникомъ. Съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ цѣлый рядъ выводовъ, которые прямо ведутъ къ мысли о Рудинѣ, какъ безстрастно-рисующемся резонерѣ и трусѣ: Рудинъ не захотѣлъ всего себя посвятить счастью любимой женщины, слѣдовательно, онъ не способенъ любить, умъ беретъ у него перевѣсъ надъ чувствомъ; Рудинъ, которому и одному-то жутко на свѣтѣ, не захотѣлъ взвалить себѣ на шею ношу въ видѣ жены, избалованной прежнею жизнію,—слѣдовательно, онъ безхарактерный трусъ. Г. Тургеневъ никакъ не могъ представить себѣ энергическаго храбраго, любящаго человѣка въ иномъ видѣ, какъ не героемъ, отважно похищающимъ Сабинянку, чтобы потомъ быть готову броситься для нея въ воду. Въ своей повѣсти «Первая Любовь» онъ заставляетъ, между прочимъ, молодого героя броситься съ высокой стѣны для предмета своей страсти, и не шутя любуется этимъ подвигомъ, заставляя любоваться имъ и героиню. Что касается до рисованья Рудина, то такова ужъ судьба всѣхъ нашихъ умныхъ людей со временъ Чацкаго, что стоитъ имъ сказать въ обществѣ два, три умныя слова, чтобы быть заподозрѣнными сейчасъ же въ рисованьи. Г. Тургеневъ, впрочемъ, не ограничивается однимъ рисованіемъ: вѣрный филистерской точкѣ зрѣнія, онъ взваливаетъ на Рудина всѣ тѣ обвиненія, которыми осыпали филистеры умныхъ людей съиспоконъ вѣку. Такъ, напримѣръ, ученое филистерство, у котораго вся мудрость заключается въ точномъ знаніи мелкихъ и часто ни къ чему ненужныхъ фактиковъ, постоянно видѣло и видитъ въ умныхъ людяхъ неуваженіе къ наукѣ, поверхностный дилетантизмъ и отсутствіе ученыхъ свѣдѣній. Кто только не подвергался у насъ подобному обвиненію, начиная съ Бѣлинскаго, котораго и теперь многія архивныя крысы считаютъ недоученнымъ фразеромъ. Вѣрный и этому филистерскому взгляду, г. Тургеневъ не упускаетъ случая, чтобы кольнуть Рудина дилетантизмомъ: въ концѣ повѣсти онъ заставляетъ его самого признаваться, что у него нѣтъ терпѣнія дочитывать книгъ до конца и что учитель математики сбилъ его, учителя словесности, на

какомъ-то памятникѣ XV вѣка. Наконецъ, г. Тургеневъ не посовѣстился бросить въ Рудина и такою грязью, какою отдѣлываются отъ умныхъ людей филистеры самаго послѣдняго разряда. Умный и честный человѣкъ стоитъ обыкновенно бѣльмомъ на глазу у филистеровъ, обдѣлывающихъ разныя темныя дѣлишки: онъ слишкомъ ярко оттѣняетъ ихъ подлость и безчестность; подкупить и подольстить его на такія-же подлости невозможно; но ничего не стоитъ распустить по свѣту объ немъ дурную молву, выдумать на него, оклеветать его самымъ безсовѣстнымъ образомъ, чтобы показать людямъ: вотъ, смотрите, этотъ человѣкъ рисуется передъ нами своею честностью, а въ сущности онъ дѣлаетъ такія же подлости, какъ и мы, и ничѣмъ отъ насъ не отличается. На кого не выдумывали у насъ разныхъ небылицъ и не сплетничали самымъ возмутительнымъ образомъ. Но что всего жальче, такъ это то, что люди, въ сущности добрые и даже неглупые, но не привыкшіе размышлять, а принимающіе все на вѣру, услыша подобную клевету, вѣрятъ ей безусловно и начинаютъ спроста распространять ее и еще болѣе утверждаютъ нелѣпый слухъ, потому что имъ, какъ людямъ честнымъ и уважаемымъ, отъ души всякій вѣритъ. Такимъ-то людямъ уподобился въ своихъ произведеніяхъ и г. Тургеневъ. Я убѣжденъ, что про каждаго Рудина, жившаго въ 50-е годы, ходила своя сплетня.

Алкандровъ (А. Скабичевскій). Изъ «Невскаго Сборника».

*
* *

*) Люди того поколѣнія, типическимъ представителемъ котораго служитъ тургеневскій герой (Рудинъ), почти уже сошли со сцены: немногіе послѣдніе могиканы идеалистовъ сороковыхъ годовъ остались теперь, да и среди нихъ сколько утратившихъ не только былой идеализмъ, но даже всякій образъ человѣческій. Не будь художественныхъ воспроизведеній этого отжившаго типа, въ свое время игравшаго

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

такую громадную роль въ нашей жизни и въ ея трудномъ и упорномъ стремленіи къ самосознанію, — не будь этихъ всѣмъ знакомыхъ фигуръ Тентетникова, Бельтова, Рудина, Райскаго, Верховенскаго — мы съ трудомъ могли бы составить себѣ понятіе о цѣломъ періодѣ развитія русской жизни, періодѣ необыкновенно тревожномъ въ глубинѣ, хотя, повидимому, и спокойномъ на поверхности. Теперь же, благодаря художественному творчеству Гоголя, Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, мы имѣемъ самое живое, самое точное и опредѣленное представленіе о внутреннемъ складѣ жизни упомянутаго періода, о его настоящихъ, а не показныхъ, не формальныхъ только герояхъ. Передъ нами эти герои возстаютъ во весь ростъ, со всѣми своими выдающимися качествами и недостатками, ихъ значеніе опредѣляется какъ нельзя болѣе ясно, итоги этого значенія подведены художниками съ замѣчательной вѣрностью и безпристрастіемъ. И, конечно, въ этой живой работѣ названныхъ художниковъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ небольшая эпопея о Дмитріи Рудинѣ, благородномъ россійскомъ теоретикѣ добраго стараго времени, зажигавшемъ юныя сердца изящнымъ краснорѣчіемъ и блестящей діалектикой, будившемъ спящую жизнь, повидимому, могучими порывами непреодолимаго убѣжденія въ необходимости дѣла, и тѣмъ не менѣе на первыхъ же порахъ пасовавшемъ передъ всякимъ настоящимъ жизненнымъ дѣломъ, постоянно трусившемъ передъ дѣйствительностью. Ни въ одномъ изъ произведеній другихъ художниковъ не обрисованъ такими сочувственными чертами упомянутый благородный теоретикъ, потому что ни одинъ изъ русскихъ художниковъ не подходилъ такъ близко къ его умственному и нравственному складу, какъ подходилъ самъ Тургеневъ. Не даромъ же, несмотря на усилія стать на самую объективную точку зрѣнія въ оцѣнкѣ настоящей сущности рудинскаго типа, его творецъ, при всей своей замѣчательной художественной выдержкѣ, не сладилъ съ избранной задачей и, невольно измѣнивъ ей, въ зна-

менитомъ эпилогѣ почти «поклонился тому, что сжигалъ» въ продолженіе всей своей эпопеи.

Полное «развѣнчаніе» рудинскаго типа, полное разоблаченіе его отрицательныхъ сторонъ, разоблаченіе, безпощадное, даже можно сказать, злобное разоблаченіе, сдѣлано было гораздо позднѣе другимъ художникомъ—Достоевскимъ, въ его «Бѣсахъ». Въ лицѣ Степана Трофимовича Верховенскаго мы встрѣчаемся съ Рудинымъ, захваченнымъ новымъ тревожнымъ жизненнымъ движеніемъ въ эпоху довольно близкую къ намъ, съ Рудинымъ, уже состарившимся, окончательно расшатавшимся и умственно и нравственно, и дошедшимъ въ своей жизненной карьерѣ до того положенія, которое пророчески предсказывалъ этому герою озлобленный циникъ Пигасовъ, когда онъ увѣрялъ, что Рудинъ «кончитъ тѣмъ, что умретъ на рукахъ престарѣлой дѣвы, которая будетъ думать о немъ, какъ о геніальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ». Достоевскій еще усилилъ пророческое предсказаніе Пигасова: его Степанъ Трофимычъ даже въ барынѣ, у которой онъ состоитъ приживальщикомъ, не возбуждаетъ о себѣ иного представленія, какъ только о жалкомъ, «пустомъ, безславномъ и малодушномъ» человѣкѣ. И однакоже этотъ одряхлѣвшій и окончательно вывѣтрившійся идеалистъ угасаетъ среди дикой и цинической грубой оргіи, чуждой ему и вполнѣ антипатичной жизни новаго поколѣнія, все съ тою же юношескою, даже младенческою вѣрою въ свои эстетически гуманные принципы, доведенные имъ почти до смѣшного значенія. Комическое противорѣчіе между дѣйствительностью, окружающею стараго идеалиста, между практикою его жизни и теоретическими его убѣжденіями, нарисовано Достоевскимъ съ удивительной силой и злостью: тутъ вы видите уже настоящую казнь типа, настоящую месть художника всему тому, что въ этомъ типѣ было ложнаго, фальшиваго, наноснаго, несогласнаго съ народными идеалами и привившагося къ нему вслѣдствіе «западническо-дворянской» его отрѣшенности отъ русской почвы. Несмотря на мстительный юморъ, съ которымъ нарисованъ художникомъ образъ Вер-

ховенскаго, онъ, въ концѣ концовъ, выходитъ если не трагическимъ, то во всякомъ случаѣ, возбуждаетъ глубокую жалость своей убогой безпомощностью. Выцвѣтшая, вылинявшая, ветхая фигура стараго доктринера-либерала, съ котораго буйный вихорь новаго стремленія жизни сорвалъ нѣкогда эффектно драпировавшую его тогу возвышенно-краснорѣчиваго идеализма, оставивъ только загрязненные и оборванные клочья этой тоги, походитъ на фигуру нищаго, растрепанную неожиданно застигшимъ его ненастьемъ.

Не говоря уже о томъ, что Тургеневъ по своей натурѣ, вообще женственно-деликатной, не былъ способенъ къ такому страстному увлеченію художнической мстительностью, какое свойственно Достоевскому, онъ не могъ развѣнчать такъ полно и такъ безпощадно типъ Рудина уже и потому одному, что въ эпоху созданія его романа этотъ типъ далеко еще не развѣнчала и сама жизнь. Напротивъ, Рудинъ въ то время имѣлъ еще несомнѣнное героическое значеніе и возвышался цѣлой головой надъ окружающей его дѣйствительностью. Пускай его тревоги были по сущности своей эгоистичны, но, во всякомъ случаѣ, тотъ эгоизмъ, который царилъ въ тогдашнемъ обществѣ, былъ въ тысячу разъ хуже эгоизма Рудина, ибо въ рудинскомъ эгоизмѣ выступало сознаніе личности, а въ эгоизмѣ тогдашняго общественнаго большинства сказывались только полуживотные инстинкты. Пускай его тревоги были безплодны, выражались лишь въ изящномъ краснорѣчіи, въ словесной пропагандѣ, въ увлекательной діалектикѣ; но у тогдашняго соннаго общества не было никакихъ, даже безплодныхъ тревогъ: оно предпочитало всякимъ тревогамъ лѣнивый сонъ, лѣнивую апатію. Краснорѣчивая проповѣдь Рудиныхъ была нужна, была въ свое время полезна: она нарушала этотъ сонъ, она давала толчекъ застоявшемуся жизненному строю, дремавшимъ силамъ, особенно силамъ юнымъ, въ которыхъ она поднимала духъ, возбуждала благородныя и пылкія стремленія къ развитію. (Въ романѣ Тургенева эта сторона нравственнаго вліянія Рудина показана очень ярко на Натальѣ, на Басистовѣ). И къ тому

же развѣ та «простая» среда, передъ которою, по замыслу Тургенева, долженъ былъ оказаться несостоятельнымъ его эгоистъ-теоретикъ, «кипящій въ дѣйствіи пустомъ»—развѣ эта среда въ лицѣ благодушныхъ помѣщиковъ, въ родѣ Лежнева и Волынцева, даже въ лицѣ Натальи, обнаруживала какую-нибудь настоящую дѣятельность, развѣ она не взлелѣивала, какъ и Рудинъ, только личныя стремленія, не услаждалась эгоизмомъ, обезпеченнымъ чужимъ трудомъ? Рудинъ жилъ на чужой счетъ, на счетъ тогдашней интеллигенціи, не совсѣмъ даромъ; онъ платилъ за свое далеко не обезпеченное, бродячее существованіе возбуждающимъ краснорѣчіемъ, блестящими фейерверками своихъ фразъ; ну, а тѣ благодушные дворяне средней руки, которые осуждали Рудина за «нечестность», займы безъ отдачи и проживаніе на чужой счетъ — вѣдь, они жили же мирно и спокойно на счетъ крѣпостныхъ мужичковъ, и при этомъ даже и не подозрѣвали, что благодушествуютъ очень и очень эгоистически. Рудинъ-то хоть, по крайней мѣрѣ, мучился тѣмъ, что у него «слова, одни слова, дѣлъ не было»; а у этихъ мирныхъ и благодушныхъ людей какія же такія «дѣла» были, кромѣ наживанія ребятъ и услажденія себя и своихъ домочадцевъ сельскою обезпеченною жизнью. Выставляютъ обыкновенно въ укоръ Рудину, что онъ чуть не погубилъ Наталью, которая, по выраженію Лежнева, ставила на карту душу, тогда какъ Рудинъ волоска не ставилъ, и холодно игралъ съ нею въ игру развиванія. Чуть-чуть не погубилъ! Но, вѣдь, однакоже не погубилъ въ концѣ-то концовъ и даже пользу принесъ молодой дѣвушкѣ: помогъ ей образовать, доработать ея натуру, ея характеръ. Тургеневъ очень хорошо взвѣсилъ все это въ своемъ романѣ и «развѣнчалъ» рудинскій типъ въ мѣру, совсѣмъ не такъ, какъ потомъ развѣнчивала и принижала его наша либеральная критика. Эта критика, въ лицѣ Добролюбова, примѣняла Рудина къ всероссійскому байбаку и лежебоку Ильѣ Ильичу Обломову, а въ лицѣ г. Евгенія Маркова, изображала его чуть ли не пошлымъ и лживымъ болтуномъ и бездѣльникомъ, будто бы изображеннымъ Тур-

геневымъ для того, чтобы принизить его передъ людьми «полей» и даже вывести такую мѣщанскую мораль: «не уповай на свои собственныя дарованія, смирись передъ жизнью, и не будешь скитаться въ кибиткахъ и носить старые сюртуки». Мало этого: на «старомъ сюртукѣ» Рудина г. Марковъ построилъ такое заключеніе, что будто бы послѣднюю страницу эпилога Тургеневъ написалъ съ цѣлью выставить смерть Рудина въ жалкомъ и позорномъ видѣ. «Рудинъ—съ изумительнымъ апломбомъ разсуждаетъ г. Марковъ—погибаетъ безвѣстною и безсмысленною смертью на баррикадѣ чуждаго ему народа, защищая чуждые ему интересы, въ старомъ сюртучишкѣ, съ тупою, безполезною саблею, неряшливымъ сѣдымъ старичкомъ съ обезсилившимъ голосомъ». Вѣроятно, по мнѣнію критика, Тургеневу, для настоящаго апоѳеоза смерти Рудина, слѣдовало представить его погибающимъ на баррикадѣ или въ эффектномъ испанскомъ плащѣ и «въ шляпѣ съ перомъ», какъ поетъ Мефистофель въ оперѣ Гуно; или, еще лучше, въ новомъ генеральскомъ мундирѣ съ блестящими пуговицами, аксельбантами и эполетами, съ великолѣпно отточенной шпагой,—словомъ, такимъ героемъ, какіе обыкновенно изображаются на плохихъ литографіяхъ. Для того же, чтобы шпага Рудина не оказалась «безполезной», онъ, конечно, долженъ былъ бы ею, прежде чѣмъ его пронзила пуля, проколоть, по крайней мѣрѣ, десятка два солдатъ. Вотъ это была бы картина «героической» смерти. А то, помилуйте, Рудинъ описывается у Тургенева такъ просто: «появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой—кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая знаменемъ и саблей. Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него, выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя—и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце». По мнѣнію г. Маркова,

въ этомъ описаніи Тургеневъ хотѣлъ изобразить неряшливаго старичка въ старомъ сюртучишкѣ—никакъ не болѣе этого. По мнѣнію г. Маркова, вообще оцѣнивая отношеніе Тургенева къ его герою, нельзя не сознаться, что для автора не было никакой художественной необходимости сочетать теоретичность съ такими пошлыми чертами характера и такою презрѣнно-жалостною судьбою, какія выпали на долю Рудина.

Я привелъ здѣсь это удивительное «мнѣніе» г. Маркова, появившееся нѣкогда на страницахъ «Голоса», ради того, чтобы показать, какъ либеральная критика искажала значеніе рудинскаго типа и правдивое отношеніе къ нему Тургенева. Надѣюсь, что упомянутая причина извинитъ въ глазахъ читателей нѣкоторую неумѣстность въ моемъ этюдѣ критической полемики. «Мнѣнія», подобныя приведенному, совершенно произвольны, и оцѣнка судьбы Рудина въ качествѣ «презрѣнно-жалостной», оцѣнка рудинскаго типа, какъ типа пошлаго, совсѣмъ не согласуются съ тѣми данными, какія находимъ мы въ произведеніи Тургенева. Тургеневъ, повторяю еще разъ, безъ сомнѣнія, задавался тенденціей развѣнчать рудинскій типъ, разоблачить его моральную и общественную несостоятельность, безплодную теоретичность его стремленій, но у Тургенева не было ни малѣйшаго намѣренія принижать этотъ, во всякомъ случаѣ, выдающійся типъ передъ окружающею его средою, а, напротивъ, было невольное сочувствіе этому типу, была невольная душевная симпатія. И это сочувствіе, эта невольная душевная симпатія сдѣлали то, что одностороннее тенденціозное «развѣнчаніе» типа не удалось художнику, и онъ, вопреки извѣстной поговоркѣ, начавъ за упокой, свелъ за здравіе Рудина. Инстинктивное сочувствіе освѣтить фигуру его героя и выставить его отношенія къ развитію русской жизни совершенно вѣрно и правдиво въ художественномъ и въ историческомъ смыслѣ. Въ тотъ моментъ нашего общественнаго роста, который захватываетъ Тургеневъ въ своемъ романѣ, его герой несомнѣнно игралъ не пошлую роль и далеко не презрѣнно-жалкую по сущ-

ности, какъ увѣряла либеральная критика, хотя печальная судьба Рудина и могла возбуждать жалость, какъ возбуждаетъ ее судьба всякаго неудачника, пришедшагося «не ко времени» и терпящаго жестокіе удары жизни вслѣдствіе этого. Жалкую роль и, можетъ быть, даже презрѣнную люди рудинскаго типа стали играть уже впослѣдствіи, гораздо позднѣе, когда жизнь развилась вокругъ нихъ въ ширь и въ высь, а они съ естественнымъ угасаніемъ своихъ умственныхъ и нравственныхъ силъ начали все больше и больше терять ея пониманіе и продолжали пребывать въ своемъ узкомъ кружковомъ доктринерствѣ, въ своей мнимолиберальной теоретичности, продолжали не признавать народной жизни, витая праздной и одряхлѣвшей мыслью въ облакахъ излюбленныхъ эстетическихъ и политическихъ принциповъ, навѣянныхъ любезнымъ имъ Западомъ, почерпнутыхъ изъ старыхъ доктринерскихъ французскихъ и нѣмецкихъ книжекъ. Этотъ новый фазисъ въ положеніи и значеніи людей рудинскаго типа, какъ я упоминалъ выше, нарисованъ въ «Бѣсахъ» Достоевскаго—произведеніи удивительномъ по силѣ и глубинѣ художественнаго захвата не менѣе тургеневскаго романа, хотя, къ сожалѣнію, произведеніи хаотическомъ и болѣзненномъ, какъ всѣ романы автора «Бѣсовъ». Но «развѣнчаніе» рудинскаго типа, сдѣланное Тургеневымъ, имѣетъ мало общаго съ развѣнчаніемъ, сдѣланнымъ Достоевскимъ: послѣдній, дѣйствительно, жестоко казнитъ своего героя, а Тургеневъ своего только душевно сожалѣетъ и сочувственно груститъ о его оторванности отъ жизни, но отнюдь не принижаетъ его предъ сомнительною простотою и эгоистическимъ благодушіемъ среды, его окружающей. Да и странно было бы, если бы Тургеневъ принизилъ Рудина хоть, напримѣръ, передъ Волынцевымъ, который, положимъ, хорошій человѣкъ, но пороху однако не выдумаетъ и, во всякомъ случаѣ, представляетъ собою не болѣе, какъ только олицетвореніе буржуазныхъ достоинствъ. Въ эпилогѣ романа, написанномъ необыкновенно тепло, Тургеневъ, устами Лежнева, очень ясно разбираетъ сущность своего героя и очень вѣрно

опредѣляетъ его значеніе. «Отчего ты—спрашиваетъ Лежневъ Рудина—съ какими бы помыслами ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ не добрую почву, какъ бы жирна она ни была»? И онъ самъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: это происходило оттого, что «не духъ празднаго безпокойства живетъ въ тебѣ; огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ и, видно, несмотря на всѣ твои дрязги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ». Вотъ справедливый приговоръ Рудину и, конечно, это приговоръ самого автора, и онъ очень далекъ отъ той оцѣнки либеральной критики, которая напрасно силилась выставить Рудина то байбакомъ, то презрѣннымъ болтуномъ и даже пошлякомъ. «Огонь любви къ истинѣ» горѣлъ и въ Тургеневѣ, когда онъ разоблачалъ моральную несостоятельность людей рудинскаго типа, когда онъ желалъ показать, что эгоистическіе порывы личности, отрывающейся во имя теоріи отъ жизни, отъ почвы,

Ненужны намъ, затѣмъ, что всѣ они
Такъ хороши, такъ ярки, такъ красивы!

Огонь любви къ истинѣ горѣлъ въ нашемъ художникѣ, когда, рисуя грустную судьбу Рудина, онъ какъ бы хотѣлъ сказать вмѣстѣ съ тѣмъ же суровымъ поэтомъ-идеалистомъ, изъ котораго цитированы мною два предыдущіе стиха, что для дѣятельности русскаго человѣка, кромѣ блестящаго пути теоретическихъ порывовъ и мнимо-великихъ подвиговъ,

Есть путь иной, гдѣ вѣра не легка:
Сгораетъ въ немъ порыва скорый пламень,
Есть долгій трудъ, есть подвигъ червяка:
Онъ точитъ дубъ, долбитъ и капля камень.

Но Тургеневъ погрѣшилъ бы, какъ художникъ и какъ мыслитель, противъ истины, если бы, сводя съ пьедестала своего героя, онъ низвелъ его въ грязь пошлости, какъ это желаетъ ему навязать близорукая либеральная критика:

онъ и не сдѣлалъ этого. И только либеральная близорукость можетъ видѣть въ заключительной страницѣ эпилога, изображающей смерть Рудина, намѣреніе художника прибавить его герою послѣднюю жалкую и презрѣнную черту. Нѣтъ, не съ такимъ намѣреніемъ написана эта страница: ею Тургеневъ хотѣлъ еще разъ подтвердить, что его Рудинъ, при всемъ отсутствіи натуры, при всемъ безсиліи характера и шаткости воли, могъ подъ вліяніемъ идейнаго порыва пойти даже на смерть, хотя бы и за чуждое, но, по его мнѣнію, великое дѣло; Тургеневъ наглядно хотѣлъ объяснить, что

Тотъ, чья жизнь безполезно разбилася,
Можетъ смертью еще доказать,
Что въ немъ сердце не робкое билося,
Что умѣлъ онъ любить...

Таково значеніе этой заключительной страницы эпилога, и въ ней Рудинъ представленъ вовсе не жалкимъ старичишкой, а напротивъ, немножко даже театрально-эффектнымъ инсургентомъ. Сцена смерти Рудина, быть можетъ, невѣрна въ историческомъ отношеніи, потому что, сколько извѣстно, никто изъ русскихъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, по крайней мѣрѣ, изъ идеалистовъ выдающихся, на баррикадахъ парижскихъ не погибалъ. Иные изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Герценъ, любовались въ качествѣ политическихъ артистовъ уличными парижскими мятежами, бродили около баррикадъ, но, должно быть, бродили съ осторожностью стороннихъ наблюдателей, какъ, впрочемъ, и подобало имъ. Но будучи невѣрной исторически, смерть Рудина въ художественномъ смыслѣ не представляется натяжкой: напротивъ, какъ послѣдній аккордъ надорванной струны, какъ послѣдній порывъ безполезнаго великодушія, безполезнаго напряженія разбитыхъ жизнью силъ идеалиста-теоретика, эта космополитическая смерть за чужое дѣло заканчиваетъ очень хорошо обрисовку рудинскаго типа, пополняетъ ее послѣдней рѣзкой и яркой чертой.

В. Буренинъ.

* * *

*) Рудинъ человѣкъ ума по-преимуществу, философской мысли, — и потому Гамлетъ. Но онъ въ то-же время и Донъ-Кихотъ, ибо онъ благородный мечтатель, энтузіастъ и идеалистъ. А звеномъ, связующимъ въ его личности два противоположныхъ начала человѣческой жизни, служитъ его сердце: умъ его не холодный умъ,—«огонь любви къ истинѣ» горитъ въ его душѣ.

Этого мало: мы видимъ и присутствіе въ немъ народнаго начала; не даромъ поэтъ сблизилъ его дружески съ человѣкомъ почвы—Лежневымъ, и выразился, что когда они чокнулись въ знакъ сближенія и рѣшили спѣть по-старинному студенческую пѣсню, они пропѣли ее «прямо русскими голосами». Рудинъ—русскій въ душѣ, несомнѣнный и истинный русскій; объ этомъ свидѣтельствуетъ—и безпощадная послѣдовательность его увлеченія философскимъ началомъ, началомъ обобщенія, послѣдовательность, доходящая до крайнихъ граней,—и смиреніе, къ которому пришелъ онъ отъ своихъ гордыхъ надеждъ и мечтаній, смиреніе и самообвиненіе,—и признаніе своей несостоятельности: такъ доходить до конца и такъ себя казнить и судить, безпощадно и въ то же время искренно, безъ всякой рисовки, можетъ только широкая русская душа.

Остается еще одинъ вопросъ: что же послѣ всего этого Рудинъ? призналъ его поэтъ истиннымъ героемъ? удовлетворился имъ? сказалъ своимъ романомъ и его эпилогомъ, что таковы и должны быть русскіе люди, наши общественные дѣятели?—Нѣтъ, и конечно нѣтъ. Эпилогъ романа возстановилъ Рудина нравственно (да и то благодаря, главнымъ образомъ, пробужденію въ немъ самосознанія и смиренія), примирилъ насъ съ нимъ какъ съ человѣкомъ, заставилъ даже полюбить его;—но сдѣлать невозможное было нельзя: нельзя было возстановить то, чего не существуетъ въ дѣйствительности. Въ Рудинѣ обнаруженъ былъ недостатокъ воли (обусловленный перевѣсомъ въ немъ головы надъ сердцемъ), обнаружена неспособность быть дѣятелемъ.

---

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

И поэтъ не призналъ его вождемъ русской жизни. Рудинъ можетъ благотворно вліять на молодыхъ людей своимъ вдохновеннымъ словомъ, изъ его школы могутъ выйти будущіе дѣятели: но самъ онъ никого и никуда вести не можетъ: онъ не дѣятель, не вождь.

И это какъ нельзя лучше обнаружилось въ его смерти, оканчивающей романъ, смерти, свидѣтельствующей о его несостоятельности, подтверждающей и слова Лежнева о немъ, что онъ Россіи не знаетъ, и его собственный приговоръ надъ собою: «Я кончу тѣмъ, писалъ Рудинъ Натальѣ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду». Такъ и случилось: Рудинъ убитъ 26 іюня 1848 г. въ Парижѣ на баррикадѣ, съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ, чуждый тѣмъ, кого онъ сзывалъ этимъ знаменемъ. Убѣгавшіе инсургенты сочли его за «поляка», искателя приключеній.

Остановимся нѣсколько на лицахъ, окружавшихъ Рудина.

Мы видѣли уже скептицизмъ, злое остроуміе и безсердечность въ отношеніяхъ къ Рудину Пигасова, личности, имѣющей въ романѣ назначеніе оттѣнить собою благородный характеръ героя. Пигасовъ очерченъ превосходно, и, какъ художникъ, Тургеневъ справедливъ въ отношеніяхъ своихъ къ нему. Пигасовъ не обладаетъ большимъ умомъ, не отличается способностями; но онъ учился, онъ думалъ,— и нѣкоторый блескъ его ума невольно вызываетъ нашу симпатію. Женщины излюбленный предметъ его нападеній и насмѣшекъ; само собою разумѣется, что здѣсь нельзя съ нимъ соглашаться, но нельзя отвергать, что есть остроуміе въ его выходкахъ о нихъ.

Пигасовъ озлобленъ на всѣхъ и все отчасти потому, что ему пришлось потерпѣть много неудачъ въ жизни, отчасти изъ самолюбія, эгоизма. Скептикъ умомъ, онъ сухъ и холоденъ сердцемъ.

Тургеневъ безпощаденъ въ развѣнчиваніи Пигасова: когда послѣдній дерзко назвалъ Рудина «лизоблюдомъ», негодующій Лежневъ сказалъ про него самого, что онъ «льнетъ къ знатнымъ и богатымъ», а когда служилъ, такъ бралъ

взятки.—Ненавистникъ и преслѣдователь женщинъ, Пигасовъ кончаетъ тѣмъ, что женится «на мѣщанкѣ, которая, говорятъ, его бьетъ».

Лежневъ въ романѣ—тоже противоположность Рудину; но противоположность другого рода. Рудинъ—западникъ, отвлеченный мыслитель и идеалистъ-романтикъ. Лежневъ—человѣкъ почвы, человѣкъ народа, практическій дѣятель.—Онъ нѣсколько флегматиченъ и вялъ, нѣсколько неподвиженъ и лѣнивъ.

„Вамъ все огня нужно; а огонь никуда не годится (говоритъ онъ Александрѣ Павловнѣ). Вспыхнетъ, надымитъ и погаснетъ“.

Но мы видѣли его здравый, свѣтлый умъ, его добродушіе въ отношеніяхъ къ Рудину, его смиренную готовность поставить себя ниже своего былого друга, потомъ врага, и, наконецъ, опять друга. Онъ спокоенъ, и простъ, и совершенно чуждъ «фразы»; онъ чутокъ на правду и искренность, знаетъ людей; онъ, напримѣръ, нисколько не ошибается насчетъ Дарьи Михайловны, которую вполнѣ понимаетъ, считая пустой и себялюбивой, между тѣмъ какъ Рудинъ готовъ признать ее необыкновенной и замѣчательной женщиной, отнюдь не догадываясь, что ея мелочныя претензіи совершенно не оправдываются на дѣлѣ.

Лежневъ любитъ родину и сознательно понимаетъ значеніе для человѣка родной его земли.

Россія (говоритъ онъ) безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитизмъ—нуль, хуже нуля; внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи“.

Въ этихъ словахъ слышатся славянофильскія воззрѣнія.

Порой Лежневъ высказываетъ и такого рода мысли, что, пожалуй, можно принять его за человѣка наивно-непосредственнаго, за представителя въ романѣ начала исключительнаго національнаго, чуждающагося всего иноземнаго. Такъ, онъ говоритъ про философію, что не больно ее жалуетъ и плохо понимаетъ:

„Философскія хитросплетенія и бредни (выражаетъ онъ) никогда не привьются къ русскому: на это у него слишкомъ много здраваго смысла“.

Но Лежневъ не даромъ учился въ университетѣ, —и онъ оказывается затронутымъ рефлексіей. Онъ увлекался нѣкогда Рудинымъ и его философскимъ краснорѣчіемъ; онъ говорилъ про Рудина, что тотъ сильно вліялъ на него, и даже возбудилъ въ немъ, и только въ немъ одномъ, любовь къ себѣ. Лежневъ увлекался жизнью университетскаго кружка. Мы видимъ въ немъ даже романтизмъ, и притомъ въ довольно яркихъ формахъ. Когда онъ сказалъ Александрѣ Павловнѣ, что въ юности однажды влюбился, а та поглядѣла на него съ нѣкоторымъ изумленіемъ, онъ прибавилъ:

„Я бы могъ сказать вамъ о себѣ вещь гораздо болѣе удивительную.

— Какую это вещь? позвольте узнать.

А хоть бы вотъ какую вещь. Я въ то, московское-то время, хаживалъ по ночамъ на свиданіе... съ кѣмъ бы вы думали: съ молодой липой на концѣ моего сада. Обниму ея тонкій и стройный стволъ, и мнѣ кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяется и млѣетъ такъ, какъ будто, дѣйствительно, вся природа въ него вливается... Вотъ-съ я былъ какой!.. Да что вы? Вы, можетъ, думаете, я стиховъ не писалъ? Писалъ-съ, и даже цѣлую драму сочинилъ въ подражаніе Манфреду. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ былъ призракъ съ кровью на груди, и не своей кровью, замѣтьте, а съ кровью человѣчества вообще... Да-съ, да-съ, не извольте удивляться“.

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ человѣкѣ народа, Лежневѣ, живутъ и западно-европейскія начала. Оттого онъ и могъ въ романѣ понять и оцѣнить по достоинству Рудина, могъ предложить ему и дружбу свою, и пріютъ у себя; могъ признать Рудина, непрактическаго, отвлеченнаго Рудина, полезнымъ человѣкомъ. Лежневъ, какъ и герой романа, есть правдивое отраженіе многосторонней и сложной жизни русскаго общества.

Тургеневъ видимо сочувствуетъ Лежневу, — не даромъ придаетъ онъ ему значеніе хора въ произведеніи, и его устами и осуждаетъ и оправдываетъ главнаго героя. — Можно даже догадаться, что послѣ развѣнчанія Рудина и

признанія его несостоятельности, вниманіе художнической фантазіи Тургенева остановится въ будущемъ именно на типѣ, представителемъ котораго служитъ Лежневъ, на типѣ человѣка народа, почвы, но который искусился, однако, въ мудрости западно-европейской культуры съ ея развитіемъ личнаго начала.

Важное значеніе имѣетъ и въ романѣ и въ жизни Рудина молодая дѣвушка—Наталья Ласунская. Какъ многія женщины у Тургенева, въ противоположность мужчинамъ, она—душа цѣльная не раздвоенная, и потому сильная; она не знаетъ шаткости и колебаній, и чувство ея готово быть согласнымъ съ дѣломъ. Индивидуальныя черты Натальи — энергія характера и рѣшительность, замкнутость и сила чувства.

„Она говорила мало, слушала и глядѣла внимательно, почти пристально (характеризуетъ ее авторъ), — точно она себѣ во всемъ хотѣла дать отчетъ. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лицѣ ея выражалась тогда внутренняя работа мыслей... Едва замѣтная улыбка появится вдругъ на губахъ и скроется; большіе темные глаза тихо подымутся... Qu'avez vous? спроситъ ее m-lle Boncourt и начинаетъ бранить ее, говоря, что молодой дѣвицѣ неприлично задумываться и принимать разсѣянный видъ. Но Наталья не была разсѣянна: напротивъ, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно; она и въ дѣтствѣ рѣдко плакала, а теперь даже вздыхала рѣдко и только блѣднѣла слегка, когда что-нибудь ее огорчало".

Душа впечатлительная и живая, Наталья увлекалась словами Рудина. Не какъ дѣвочка болтала она съ нимъ (чѣмъ успокоивала себя Дарья Михайловна), нѣтъ:

она жадно внимала его рѣчамъ, она старалась вникнуть въ ихъ значеніе, она повергла на судъ его свои мысли, свои сомнѣнія: онъ былъ ея наставникомъ, ея вождемъ".

Изъ его устъ, со страницъ читанныхъ имъ книгъ —

„свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній тихо всплывала и разгоралась святая искра восторга"...

„Пока одна голова у ней кипѣла (говоритъ поэтъ)... но молодая голова недолго кипитъ одна",—

Наталья полюбила Рудина. Полюбила она искренно,

серьезно, твердо; она, вѣря въ него, всю душу хотѣла отдать ему. И велико и больно было ея разочарованіе, когда она поняла малодушіе Рудина, шаткость и раздвоенность его души и его сердца. «Знаете ли (сказала она ему, когда услышала его совѣтъ — «покориться»),

„знаете ли, если бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“,—знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась? Но, вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили“...

„я до сихъ поръ вамъ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила. Впередъ, пожалуйста, взвѣшивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ. Когда я вамъ сказала, что я люблю васъ, я знала, что значитъ это слово: я на все была готова... Теперь мнѣ остается благодарить васъ за урокъ и проститься“.

Удивительно поэтическими чертами изображаетъ Тургеневъ горе Натальи, когда она получила и прочла письмо Рудина, письмо, которое вполнѣ убѣдило ее, что Рудинъ ее не любитъ:

„Она сидѣла не шевелясь; ей казалось, что какія-то темныя волны безъ блеска сомкнулись надъ ея головой, и она шла ко дну, застывая и нѣмѣя. Всякому тяжело первое разочарованіе; но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслія и преувеличенія, оно почти нестерпимо. Вспоминала Наталья свое дѣтство, когда, бывало, гуляя вечеромъ, она всегда старалась итти по направленію къ свѣтлому краю неба, тамъ, гдѣ заря горѣла, а не къ темному. Темна стояла теперь жизнь передъ нею, и спиной она обратилась къ свѣту“.

На этомъ Тургеневъ и покидаетъ Наталью. Мы узнаемъ лишь потомъ отъ Басистова, что она выходитъ замужъ за Волынцева, что она спокойна, какъ и всегда, и, кажется, довольна своимъ бракомъ. Можно пожалѣть, что поэтъ оставилъ это дѣло неразъясненнымъ: что было въ сердцѣ Натальи, когда она отдавала свою руку Волынцеву,—отчаянье или равнодушіе, или надежды на счастье,—осталось тайной.—Но трудно сочувствовать этому браку: Волынцевъ не только слабѣе Натальи и умомъ и волею; онъ не только «скорбенъ главою», по опредѣленію Апол. Григорьева, но онъ и какъ-то суровъ и жестокъ сердцемъ.

какъ и прилично ограниченному и практическому человѣку. Даже въ сценѣ объясненія съ Рудинымъ, когда онъ явно правъ, а Рудинъ, пріѣхавшій сообщать ему о своей счастливой любви, смѣшонъ и жалокъ, даже въ этой сценѣ онъ не симпатію къ себѣ возбуждаетъ въ насъ, а невольно насъ отталкиваетъ, когда сердится на Рудина, и негодуетъ, и руки ему не хочетъ подать.

Душа чистая, строгая и сильная своей цѣльностью и нераздвоенностью, Наталья оказала огромное вліяніе на Рудина, вліяніе, о которомъ она сама не подозрѣвала и не думала. Не сознавалъ этого вліянія, кажется, и Рудинъ. А между тѣмъ оно несомнѣнно.

Съ минуты встрѣчи своей съ Натальей Рудинъ, потрясенный безсознательнымъ, инстинктивнымъ сравненіемъ ея энергіи и вѣры съ своимъ малодушіемъ и сомнѣніемъ, сталъ задумываться надъ своими вдохновенными рѣчами, сталъ сомнѣваться въ своей состоятельности. Первые проблески такого сомнѣнія мы видѣли въ его письмѣ къ Натальѣ. Потомъ, знаемъ, дѣло дошло до самоосужденія, до смиренія. Рудинъ нравственно возвысился и очистился этимъ покаяннымъ смиреніемъ: Натальѣ обязанъ онъ своимъ нравственнымъ возрожденіемъ.

Здѣсь открывается передъ нами нравственная высота русской женщины.

Мы увидимъ тоже самое, но въ гораздо большихъ размѣрахъ, въ величайшемъ созданіи Тургенева—въ романѣ «Дворянское Гнѣздо».

А. Незеленовъ.

* * *

*) Всякому въ своей жизни приходилось встрѣчаться съ такими личностями, которыя съ перваго-же раза производятъ на собесѣдниковъ своихъ очень хорошее, даже больше чѣмъ хорошее, прямо чарующее впечатлѣніе. Съ каждымъ словомъ новаго знакомца онъ становится все

*) С. Венгеровъ. „Русская критическая литература въ ея современныхъ представителяхъ".

болѣе и болѣе привлекательнымъ, вы открываете въ немъ все болѣе и болѣе симпатичныя качества. Если вы женщина, да еще молодая, да и не свѣтская кукла къ тому, то въ сердцѣ вашемъ брошены первые сѣмена сильнаго расположенія къ симпатичной личности новаго знакомаго. Необходимою принадлежностью такого человѣка должно быть краснорѣчіе; безъ этого, будь въ немъ скрыты самые лучшіе природные дары, вы съ трудомъ его разгадаете раньше долгаго съ нимъ общенія. Краснорѣчивый-же человѣкъ сразу вами овладѣетъ, и вы ему съ большою готовностью подчиняетесь. И не удивительно отчего. Люди, если только они дѣйствительно *люди*, а не всеядныя животныя зоологическаго разряда Homo sapiens, такъ созданы, что не всегда матеріальная сторона ихъ существа составляетъ главную часть человѣческой натуры. Идеализмъ, понимаемый въ смыслѣ возможности вызвыситься надъ своекорыстными стремленіями животной природы, за рѣдкими исключеніями присущъ молодости и только приближеніе къ старости характеризуется постепеннымъ ослабѣваніемъ господства духа надъ матеріею. Поэтому молодой человѣкъ, свѣжая натура, которую пошлость не заѣла, несмотря на многія разочарованія практической жизни, вѣритъ въ возможность существованія субъекта съ наипрекраснѣйшими качествами, и, встрѣчая личность, хотя-бы на словахъ только берущую города, невольно поддается ея вліянію и возноситъ ее на высокій пьедесталъ. Да и какъ не поддаться? Представьте себѣ, что вы живете въ обществѣ со слѣпою ненавистью прогоняющемъ все возвышенное, дабы оно не смущало его животнаго покоя, въ обществѣ, готовомъ побить каменьями всякаго нарушителя этого неосмысленнаго и незаконнаго покоя, въ обществѣ, неспособномъ и не желающемъ проникнуться требованіями истины и справедливости, и вдругъ предъ вами является личность искусною и увлекательною рукою открывающая картину истинно-человѣческаго бытія, картину побѣды идеала надъ повседневной обыденностью и мизерностью. Какъ не стать горою за такого расшевелителя, какъ не увѣровать въ

него, какъ въ Христа? Такъ оно всегда и бываетъ. Но странное дѣло! Всегда, или по крайней мѣрѣ очень часто, оно какъ-то уже выходитъ, что продолжительное знакомство съ краснорѣчивымъ и возвышеннымъ новымъ знакомцемъ мало по малу разрушаетъ первоначальное обаяніе, и нерѣдко прежнее уваженіе переходитъ даже въ презрѣніе. Горько разочаровываться подобнымъ образомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно и полезно, такъ какъ даетъ первый урокъ житейской опытности, не той опытности, которая формируетъ «солидарность», а именно той, безъ которой очень легко впасть въ маниловщину и смотрѣть постоянно на окружающее сквозь розовую призму мечтательнаго идеализма. Подобное разочарованіе неизбѣжно и не случайно вслѣдствіе уже одного того, что честный фразеръ и самъ увлекается самимъ-же собою. Онъ электризуется собственными словами, въ данную минуту ему искренно кажется легко преодолимыми всякія препятствія, и подвернись подъ руку удобный случай, онъ совершитъ одинъ изъ такихъ подвиговъ, который навсегда можетъ увѣковѣчить его имя. Онъ готовъ быть разстрѣляннымъ, если на него будетъ смотрѣть вся Европа, какъ сказалъ кто-то. Но чрезъ небольшой промежутокъ времени воодушевленіе пропадаетъ, и вчерашній римскій герой сегодня способенъ дать самаго немужественнаго стречка.

Охарактеризованныя выше личности все чаще попадаются въ нашей матушкѣ Россіи. Другія страны ими не изобилуютъ. У насъ-же «земля богата, да порядка въ ней нѣтъ!» Богъ не обидѣлъ насъ личнымъ мужествомъ, славится вездѣ удаль русская-богатырская, но гражданскимъ мало одарилъ. Выдержки въ насъ нѣтъ, дрессировки, которая дается цивилизаціею. А безъ нея дальше фразъ не уйдешь. Вотъ и Рудинъ принадлежитъ къ этой категоріи; и его богатые природные задатки пропадаютъ, благодаря нераціональному устройству образа жизни окружающихъ его. За границею изъ Рудиныхъ формируются блестящіе парламентскіе ораторы, популярные публицисты, у насъ-же они сначала надѣются на міровую дѣятельность, по-

томъ требованія ихъ становятся меньше, и они незамѣтно превращаются въ Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, даромъ коптящихъ небо вмѣсто того, чтобы быть полезными своимъ согражданамъ и своей странѣ сообразно тѣмъ дарованіямъ, которыя они получили отъ природы...

Рудинъ — чисто русское явленіе. Въ немъ не трудно прослѣдить генетическую связь съ современною ему эпохою и на немъ-же можно доказать получающій права гражданства въ соціальныхъ наукахъ законъ, что поступки индивидуума находятся въ полнѣйшей зависимости отъ окружающей его обстановки, что прежде чѣмъ винить когонибудь, нужно посмотрѣть, не болѣе-ли виноваты при этомъ другіе, не имѣемъ ли мы дѣло съ результатомъ хотя и печальнаго, но все-же дѣйствительнаго положенія вещей.

Русское общество тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ носило въ себѣ, какъ уже разъ нами было замѣчено, элементы страшнаго разъединенія, оно являло изъ себя Януса съ двумя лицами, хотя оба лица не были между собою вполнѣ тождественны какъ по характеру, такъ и по величинѣ. Образованное меньшинство являло въ себѣ вполнѣ кружокъ европейскій, проникнутый интеллигенціей, часто или по крайней мѣрѣ иногда опередившій современныхъ ему образованныхъ людей на западѣ. По этому разладъ между теоріею и практикою былъ совершенный, подразумѣвая подъ теоріею идеалъ общества, царившій въ головѣ нашей интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, а подъ практикой ту неказистую дѣйствительность, которая приводила въ отчаяніе нашихъ бѣдныхъ идеалистовъ. Само собою разумѣется, что попадались примѣры и даже не особенно рѣдкіе примиренія съ окружающей пошлостью, компромиссы заключались въ силу слабости людской къ земнымъ благамъ. Но за то, какъ бы для замѣщенія этой отрицательной стороны, являлись личности, которымъ казалась измѣною всему хорошему малѣйшая уступка нераціональнымъ требованіямъ практической жизни, тѣмъ требованіямъ, удовлетворить кои можно было только цѣною своихъ убѣжденій.

Какую дѣятельность могъ себѣ избрать человѣкъ того времени, имѣвшій кое-какія понятія о призваніи человѣка, о пользѣ, что всякій гражданинъ долженъ принести, о согласованіи поступковъ съ требованіями высшей правды. Что было ему дѣлать? Какое практическое поприще себѣ избрать? — Поступить на службу—это значило окунуться въ болото мелкихъ чиновничьихъ интересовъ, въ мірокъ, гдѣ человѣкъ вполнѣ честный и не одаренный отъ природы гибкостью позвоночнаго столба рисковалъ застрять всю свою жизнь въ званіи мелкой служебной сошки и выйти въ люди въ огромномъ большинствѣ случаевъ совсѣмъ не благодаря своимъ дѣйствительнымъ способностямъ, а другимъ менѣе лестнымъ свойствамъ. Если еще въ концѣ пятидесятыхъ годовъ считалось «предосудительнымъ» поступать на службу, то нечего и говорить, что раньше къ этому средству занять свое досужее время прибѣгали люди интеллигентные и честные только въ крайности, стараясь при этомъ занять мѣсто, какъ можно менѣе шокирующее ихъ убѣжденія.

Такой человѣкъ какъ Рудинъ не могъ долго остаться на службѣ. Слишкомъ грандіозны были его идеалы и слишкомъ мизерна чиновничья дѣятельность того времени. Чтобы быть безсловесною машиною въ рукахъ самодура-начальника, для этого ему не нужно было окончить университетъ и изучать германскихъ философовъ въ подлинникѣ. И такъ, служить Рудинъ не могъ. Былъ-ли онъ въ состояніи приносить пользу на другихъ поприщахъ? На этотъ вопросъ Тургеневъ намъ даетъ отрицательный отвѣтъ, и это вытекаетъ изъ всего характера Рудина, ибо главная черта его характера, помимо не ему одному принадлежащихъ качествъ, есть безалаберность. Безалаберность, слѣдствіе отсутствія почвы подъ ногами, мѣшаетъ ему организовать свои занятія; безалаберность заставляетъ его браться за дѣло, въ которомъ онъ ничего не смыслитъ, безалаберность его, наконецъ, заключается въ этомъ слишкомъ большомъ подчиненіи своихъ поступковъ резонерству. Въ самомъ дѣлѣ: если мы видимъ или, по крайней мѣрѣ, мо-

жемъ допустить и понимать существованіе людей, настолько раціонально устроившихъ свой образъ жизни, чтобы подчинить всякій свой поступокъ общимъ теоретическимъ законамъ, то въ Рудинѣ подобное полное согласованіе теоріи съ практикою является грѣшащимъ противъ логики, противъ всего характера его личности. Что такое въ самомъ дѣлѣ Рудинъ, какъ не полнѣйшее олицетвореніе формулы всероссійской жизни, о которой еще въ девятомъ столѣтіи наши предки довели до свѣдѣнія варяжскихъ князей? Что такое Рудинъ, какъ не вѣрное выраженіе нашей интеллигенціи, все стремящейся устроить свое житье-бытье вполнѣ по правиламъ новѣйшей философіи, но, къ сожалѣнію, всегда терпящей въ этомъ стремленіи полнѣйшее фіаско? Что такое Рудинъ, какъ не обиліе природныхъ дарованій и силъ, не получающихъ должной обработки, чтобы расцвѣсти пышнымъ цвѣтомъ, и главный характеръ котораго именно и есть отсутствіе системы, руководящей идеи, безъ чего природные дары могутъ произвести мгновенный взрывъ, по временамъ даже, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, красивый и ослѣпительный фейерверкъ, но никогда не служить полезнымъ двигателемъ. Вслѣдствіе всего сказаннаго должно стать очевиднымъ, что Рудинъ, безалаберный вообще, становится не логичнымъ и не послѣдовательнымъ, когда вдругъ одну отрасль своей жизни начинаетъ анализировать до мелочей, желая построить ее на вполнѣ раціональныхъ основаніяхъ. Представьте себѣ, что вы встрѣчаете нехорошо одѣтаго господина, у котораго вы вдругъ на шеѣ, поверхъ грязной рубашки и засаленнаго жилета, открываете новѣйшаго фасона галстучекъ. Не правда-ли, что галстучекъ нисколько не помиритъ васъ съ ободраннымъ господиномъ и вызоветъ только на ваши уста невольную улыбку. А между тѣмъ, та-же исторія, съ нѣкоторыми измѣненіями, продѣлывается Рудинымъ. И въ самомъ дѣлѣ! Человѣкъ, Богъ знаетъ, въ силу какихъ логическихъ и нравственныхъ основаній, живетъ въ продолженіе довольно долгаго времени нахлѣбникомъ у помѣщицы Ласунской, ничего тамъ не дѣлаетъ,

убиваетъ свое время до тошноты прекрасными проповѣдями о человѣческомъ достоинствѣ, о высшей правдѣ и тому подобныхъ матеріяхъ, опять, Богъ знаетъ, во имя чего прикидывается влюбленнымъ въ Наталью и вдругъ добившись у той нетруднаго успѣха, идетъ вполнѣ чистосердечно къ несчастливому обожателю Натальи—Волынцеву, чтобы извѣстить его обо всемъ и утѣшить. Дѣлаетъ онъ это потому, что считаетъ, что между порядочными и интеллигентными людьми не должно быть недоразумѣній даже по предмету, считаемому обыкновенными людьми, не философски развитыми, довольно щекотливымъ. Между сыномъ природы Волынцевымъ и гегеліанцемъ Рудинымъ происходитъ сцена, и посмотрите насколько естественнѣе и логичнѣе выступаетъ первый.

Въ этой сценѣ Рудинъ весь какъ на ладони. Тутъ ясно видна въ немъ неиспорченность характера, благородство намѣреній, но въ то-же время страшное господство холоднаго резонерства. Чѣмъ инымъ, какъ не послѣднимъ качествомъ можно себѣ объяснить, что человѣкъ идетъ къ несчастливому сопернику объявлять о своемъ успѣхѣ, ничуть не руководимый тщеславнымъ желаніемъ хвастнуть удачею. По истинѣ на это способенъ только безалаберный русскій гегеліанецъ, которому кажется, что можно свои чувства передѣлать сообразно философской указочкѣ и жить вполнѣ раціональнымъ образомъ, когда въ дѣло вмѣшается такая логическая вещица, какъ страсть. Посмотрите, съ какою тщательностью, достойною лучшей участи, Рудинъ анатомируетъ свое сердце, какъ кропотливо онъ копошится въ своихъ чувствахъ въ одномъ случаѣ, и дѣлаетъ страшные и совсѣмъ не философскіе промахи въ другомъ случаѣ. Сравните его заниманіе денегъ и поступокъ съ Волынцевымъ, его нахлѣбничество у Ласунской и нежеланіе обезпечить себя, его бѣгство и отчасти трусость во время свиданія съ Натальей и геройскую смерть на баррикадахъ 48 года, сравните всѣ эти несообразныя вещи, и скажите, какое иное слово, чѣмъ безалаберность, лучше характеризуетъ Рудина.

Но безалаберность Рудина есть безалаберность даровитой натуры. Даровитость его видна въ его умѣньи изъ каждой науки извлекать пригодное для его возвышенной натуры. Онъ не особенно много знаетъ, но немногимъ распоряжается лучше и производитъ большее впечатлѣніе, нежели другой съ огромнымъ запасомъ свѣдѣній. На Рудинѣ въ сотый разъ доказывается разница между даровитою и обыкновенною натурою. Другой ученый, съ арміею цифръ и таблицъ, станетъ вамъ доказывать справедливость извѣстнаго положенія, и вы будете только зѣвать и ничуть не проникнетесь истинностью доказываемаго, а придетъ Рудинъ и въ живой, увлекательной рѣчи безъ всякихъ фактическихъ доказательствъ заговоритъ въ пользу чего-нибудь во имя высшихъ человѣческихъ инстинктовъ, и вы попались на удочку. Въ парламентахъ такіе фокусы продѣлываются сплошь да рядомъ и увлекаютъ людей, далеко не идеальныхъ и не энтузіастовъ. Таково уже устройство человѣческой натуры, что математика годна для головы, а для сердца требуется что-нибудь менѣе опредѣленное. Даровитость Рудина видна также изъ того вліянія, которое онъ пріобрѣтаетъ на своихъ товарищей.

Двоякаго рода бываетъ вліяніе товарища на товарищей, когда онъ и они сидятъ на университетской скамьѣ. Причиною одного рода вліянія является стадное начало, отъ дѣйствія котораго студенческая масса, какъ и всякая другая, не можетъ увернуться. И здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ является толпа, изъ среды ея нерѣдко выдвигаются личности, совсѣмъ недостойныя первенствующаго положенія. Но не съ такимъ явленіемъ мы имѣемъ дѣло въ лицѣ Рудина. Онъ не крикунъ, покоряющій молодыя сердца смѣлостью своего ничего не щадящаго отрицанія. Нѣтъ! онъ идеалистъ, слѣдовательно составить вокругъ себя кружокъ почитателей онъ могъ только силою своей увлекающей способности напомнить молодежи, хотя-бы на словахъ только, образы тѣхъ великихъ людей, съ которыми она знакома изъ изученія исторіи человѣческихъ обществъ. Молодость не возь-

мешь основательною эрудиціею, трезвымъ отношеніемъ къ дѣлу. Всѣ эти вещи могутъ внушить ей уваженіе, но горой она станетъ только за того, кто сумѣетъ отвлечь ее отъ мелкихъ дѣлъ «міра сего» и перенести въ міръ благородныхъ стремленій и міровыхъ добродѣтелей. Во главѣ ея можетъ стать только человѣкъ, обладающій страстностью, честнымъ увлеченіемъ, грандіозностью намѣреній. Все это качества, которыя въ огромномъ большинствѣ случаевъ бываютъ спутниками даровитыхъ натуръ, и притомъ честныхъ и благородныхъ.

Честность и благородство, понимаемые въ самомъ высшемъ смыслѣ, составляютъ наравнѣ съ безалаберностью квинтъ - эссенцію характера Рудина. Въ немъ нѣтъ выдержки, онъ лишенъ иниціативы, но предъ явною опасностью и притомъ руководимый теченіемъ обстоятельствъ, онъ никогда не отступитъ. Тургеневъ своею позднѣйшею припискою къ эпилогу, не могшей первоначально появиться вслѣдствіе цензурныхъ стѣсненій, показалъ, что онъ безподобно понялъ характеръ Рудина. Таковымъ именно онъ долженъ быть.

„Въ знойный полдень 26 іюня 1848 года, въ Парижѣ, когда уже возстаніе „національныхъ мастерскихъ“ было почти подавлено, въ одномъ изъ тѣсныхъ переулковъ предмѣстія св. Антонія, баталіонъ линейнаго войска бралъ баррикаду. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ уже разбили ее; ея защитники, оставшіеся въ живыхъ, ее покидали и только думали о собственномъ спасеніи, какъ вдругъ на самой ея вершинѣ, на продавленномъ кузовѣ поваленнаго омнибуса, появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой—кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ, тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая и знаменемъ и саблей.—Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него—выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя—и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому-то поклонился... Пуля прошла ему сквозь сердце.

— Tiens! сказалъ одинъ изъ убѣгавшихъ insurgés другому: On vient de tuer le Polonais.

— Bigre! отвѣтилъ тотъ, и оба бросились въ подвалъ дома, у

котораго всѣ ставни были закрыты и стѣны пестрѣли слѣдами пуль и ядеръ.

Этотъ „Polonais“ былъ—Дмитрій Рудинъ“.

Да, это былъ онъ, жертва неразумнаго устройства русской жизни! Жертва подавляющей разницы между теоріею и практикою въ бытьѣ русскаго общества тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ! Не Рудинъ виноватъ въ своемъ характерѣ, виновато общество, его создавшее. Поэтому онъ не есть карикатура живого лица, какъ утверждали нѣкоторые, а типъ и притомъ типъ безсмертный. Такъ понять характеръ эпохи могъ только такой тонкій и умный наблюдатель, какъ Тургеневъ. Въ нашей литературѣ есть много изображеній людей сороковыхъ годовъ, но всѣ они обыкновенно воспроизводятъ только одну сторону ихъ нравственной физіономіи. Въ Рудинѣ же мы имѣемъ полную физіологію человѣка, предшествующей намъ эпохи. Тутъ онъ намъ является со всѣмъ своимъ запасомъ дарованій и природныхъ силъ, но за то и всей своей гражданской непригодности. На немъ мы наглядно убѣждаемся, какъ сильно, несмотря на нѣкоторые тормазы, мы двинулись впередъ за послѣдніе двадцать, тридцать лѣтъ. Въ настоящее время многіе поступки Рудина могутъ быть заклеймены совсѣмъ не лестными эпитетами, тогда какъ прежде они извинялись характеромъ эпохи.

Есть многіе, которые безусловно нападаютъ на Рудина, не признавая за нимъ искренности и позоря его исключительнымъ призваніемъ фразера. Мнѣніе это совершенно невѣрно. Положимъ, — Рудинъ фразеръ, но вѣдь фразеръ фразеру рознь. На что другое годился Рудинъ въ сороковыхъ годахъ какъ не на то, чтобы въ салонахъ и студенческихъ кружкахъ проповѣдывать о матеріяхъ высокихъ. Ему старикъ изъ «Разговора» не сдѣлаетъ упрека въ позорномъ бездѣйствіи, ему онъ не скажетъ:

Великой силы благодать
Толпа не смѣетъ не признать
И негодующій пророкъ
Каралъ бы слабость и порокъ.

Гремѣли-бъ страстныя слова,
И, какъ изсохшая трава,
Пылали-бъ отъ твоихъ рѣчей
Сердца холодныя людей.
Но малодушный ты! Судьбѣ
Ты покорялся безъ стыда...

Нѣтъ! Рудинъ не малодушный. Что было въ его силахъ, что допускалось окружающей его обстановкою—онъ сдѣлалъ. Мы уже показали, что ни одинъ родъ практической дѣятельности не былъ для него подходящимъ. Всѣ занятія того времени были ему въ одинаковой степени не по душѣ. Онъ могъ только возмущаться и, передавая другимъ часть своего негодованія, своего неудовольствія, приносилъ при такомъ образѣ дѣйствій громадную пользу. Грандіозный конецъ его не является неожиданной развязкой его жизни. Онъ какъ нельзя лучше къ ней подходитъ. Безъ пріюта, безъ привѣта, въ нищетѣ и убожествѣ завершаетъ онъ вѣкъ свой, геройски умирая на баррикадѣ при защитѣ дѣла, въ сущности для него равнодушнаго, но которое въ состояніи воспламенить человѣка подобнаго ему, признающаго справедливость непремѣннымъ элементомъ разумнаго существованія, и поэтому возмущающагося, если она гдѣ-бы то ни было нарушается. Человѣкъ, умирающій только во имя одной высшей справедливости, во имя общечеловѣческихъ принциповъ, во имя идеи—есть личность болѣе чѣмъ достойная уваженія, и если мы въ ней замѣчаемъ недостатки, то должны предполагать дурно-сложившіяся обстоятельства, нехорошо повліявшія на формированіе ея характера. Въ Рудинѣ есть натура, есть матеріалъ для созиданія превосходнѣйшей личности, но увы! все это не направлено куда слѣдуетъ, богатой натурѣ негдѣ развернуться, она можетъ горѣть только вспышками, но не ровнымъ, нормальнымъ огнемъ.

Грустныя мысли должно навѣвать чтеніе «Рудина». Какъ не болѣть душою, когда видишь безполезную гибель людей, которые и на Западѣ составляютъ праздничное явленіе, а не только среди будничной русской обстановки. Не по силамъ окажется намъ роскошь, если мы станемъ до-

пускать безполезную потерю такихъ рѣдкихъ счастливыхъ случайностей. Мы слишкомъ бѣдны выдающимися единицами, чтобы не притти въ отчаяніе отъ невозможности воспользоваться услугами каприза судьбы, вдругъ побаловавшей насъ свѣтлымъ метеоромъ на сѣромъ небѣ тусклой повседневной жизни.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Отношенія Тургенева къ Чулкатурину и Гамлету Щигровскаго уѣзда гораздо болѣе свободныя, нежели его отношенія къ Рудину.

Не говоря уже о Чулкатуринѣ, но и въ Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда нѣтъ внѣшняго блеска, который бы маскировалъ ихъ истинную сущность. И тотъ и другой—люди сѣренькіе, не блестящіе, и съ тѣмъ и съ другимъ никакихъ особыхъ происшествій не случалось,—интересна только ихъ внутренняя жизнь. Не такъ съ Рудинымъ. Въ романѣ онъ изображенъ человѣкомъ, привлекающимъ общее вниманіе; гдѣ онъ ни появляется, именно въ немъ сосредоточиваются общія симпатіи и антипатіи, вокругъ него вращается все дѣйствіе романа, отношеніемъ къ нему характеризуются люди. Рудинъ человѣкъ блестящій, человѣкъ выдающійся — такимъ хочетъ показать его авторъ.

Самъ Тургеневъ говорилъ, что списалъ его съ извѣстнаго Бакунина. Очевидно, тутъ есть недоразумѣніе. Герценъ, хорошо знавшій Бакунина и написавшій блестящую его характеристику, проникнутую тонкимъ юморомъ, совершенно отрицаетъ подобное сходство. Впрочемъ, и безъ того очевидно, что если въ Рудинѣ есть что-нибудь общее съ Бакунинымъ, то развѣ только его безпокойная непосѣдливость да туманная рѣчивость. Не трудно, однако, согласовать утвержденіе Тургенева съ противорѣчащими ему фактами. Вѣрнѣе всего, что личность Бакунина дала толчокъ мысли и творчеству автора *Рудина*, а затѣмъ,

*) Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ". Критическій очеркъ. Москва 1894 г.

какъ это часто случается съ художниками, творческій процессъ пошелъ своимъ путемъ, независимо отъ того конкретнаго лица, которымъ былъ возбужденъ. Быть можетъ, воспоминаніе о Бакунинѣ повело лишь къ тому, что Тургеневъ заключилъ свой романъ смертью Рудина на баррикадѣ,—но въ этомъ и вся роль, которую сыгралъ Бакунинъ въ этомъ произведеніи.

Очевидно, Тургеневу, когда онъ создавалъ свой романъ, мерещилось совсѣмъ другое, а вовсе не Бакунинъ — ему мерещились извѣстные кружки сороковыхъ годовъ, группировавшіеся вокругъ Герцена, Грановскаго, Станкевича: духъ и настроеніе этихъ кружковъ онъ хотѣлъ выразить въ *Рудинѣ*.

Существуетъ мнѣніе, и очень распространенное, что Тургеневъ «развѣнчалъ» Рудина. Даже такой необыкновенно даровитый и проницательный критикъ, какъ А. Григорьевъ, придерживается этого мнѣнія, хотя въ нѣсколько иномъ видѣ. Именно, Григорьевъ говоритъ, что въ началѣ романа Рудинъ развѣнчанъ, но что авторъ не выдержалъ этого отношенія къ своему герою, и въ концѣ романа идеализировалъ его. Но если взять дѣло глубже, то мы увидимъ, что Тургеневъ и не думалъ развѣнчивать Рудина: отъ первой до послѣдней строки романа *отношеніе автора* къ его герою одно и то же. Нельзя считать «развѣнчиваніемъ» то, что авторъ въ первой части не скрылъ нѣкоторыхъ человѣческихъ слабостей своего героя, показалъ комическія его черты въ его отношеніяхъ къ Волынцеву, заставилъ его занимать деньги, поставилъ его въ нѣсколько комичное положеніе въ послѣднемъ его объясненіи съ Дарьей Михайловной и т. д. Все это, по общему смыслу романа, свидѣтельствуетъ только о томъ, что и великіе люди имѣютъ свои слабости. Нельзя также считать «развѣнчиваніемъ» и отношеніе къ Рудину Лежнева, который его не любитъ, и старается выставить пустымъ болтуномъ. Тутъ вовсе не сказывается отношеніе *автора* къ своему герою,— это только отношеніе къ нему Лежнева, отношеніе, объясняющееся тѣмъ, что Лежневъ имѣлъ личное неудоволь-

ствіе противъ Рудина, да кромѣ того боится, какъ самъ признается впослѣдствіи, что Рудинъ произведетъ сильное впечатлѣніе на Александру Павловну Липину, въ которую Лежневъ влюбленъ. И тотъ же Лежневъ, какъ только личное неудовольствіе противъ Рудина въ немъ ослабѣваетъ, а страхъ исчезаетъ, совершенно иначе относится къ нему, высказываясь именно въ томъ смыслѣ, что только лакей можетъ судить о великомъ человѣкѣ по его слабостямъ.

Въ продолженіе всего романа мы видимъ, что Рудинъ производитъ на всѣхъ впечатлѣніе неотразимое: въ однихъ онъ возбуждаетъ любовь и преклоненіе передъ собой, какъ въ Натальѣ и Басистовѣ, въ другихъ ненависть и *страхъ*, какъ въ Волынцевѣ и Лежневѣ. И тотъ и другой *боятся* Рудина, боятся его неотразимаго вліянія на женщинъ, въ которыхъ они влюблены. Волынцевъ не ошибся въ своей боязни. Наталья дѣйствительно увлекается Рудинымъ.

Уже въ такой постановкѣ дѣла сказывается отношеніе автора къ Рудину: очевидно, онъ считаетъ его человѣкомъ необыкновеннымъ, человѣкомъ, который можетъ властвовать надъ умами и сердцами.

Безъ сомнѣнія, Рудинъ можетъ и долженъ вызвать во всякомъ человѣкѣ, чувствующемъ и способномъ сочувствовать человѣческому горю, глубокую симпатію, самое трогательное состраданіе; безъ сомнѣнія, нельзя безъ накипающихъ въ груди слезъ читать тѣ превосходныя заключительныя страницы романа, гдѣ Рудинъ показанъ состарившимся, разбитымъ, несчастнымъ, одинокимъ; безъ сомнѣнія, нельзя безъ слезъ читать этихъ исполненныхъ трогательной поэзіи строкъ: «А на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываніемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая, осенняя ночь. Хорошо, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ... И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!» — но у Тургенева къ Рудину есть не только это законное, человѣчное сочувствіе, — онъ, кромѣ того, преклоняется передъ нимъ. И для него, какъ для Басистова, какъ для Лежнева, Рудинъ — почти что геній, и онъ старается

объяснить судьбу Рудина единственно какимъ-то страннымъ изъяномъ въ его геніальности.

«Я знаю его хорошо»,—говоритъ Лежневъ,—«недостатки его мнѣ хорошо извѣстны. Они тѣмъ болѣе выступаютъ наружу, что и самъ онъ не мелкій человѣкъ».

««Рудинъ—геніальная натура!»» подхватилъ Басистовъ».

««Геніальность въ немъ, пожалуй, есть»»,—возразилъ Лежневъ,—««а натура... Въ томъ то вся его бѣда, что натуры-то собственно въ немъ нѣтъ»».

Что хотѣлъ сказать Лежневъ этимъ выраженіемъ «натуры собственно въ немъ нѣтъ» остается неизвѣстнымъ; но, сколько можно понять изъ всего романа, отсутствіе «натуры» въ Рудинѣ характеризуется его неспособностью полюбить и повѣрить, его неспособностью ни къ какому сильному и искреннему душевному движенію. Его душа какъ бы смята чѣмъ-то, какъ бы парализована, и душевное движеніе замѣняется въ немъ нервознымъ энтузіазмомъ—энтузіазмомъ, который есть всего только «плѣнной мысли раздраженье». Въ немъ нѣтъ даже того, чѣмъ Лермонтовъ характеризуетъ свое поколѣніе:

И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь горитъ въ крови...

Огонь не горитъ у Рудина даже въ крови, а въ душѣ его нѣтъ того «тайнаго холода», того холоднаго отчаянія, той углубленной скорби, которые у сильныхъ натуръ часто разрѣшаются слезами покаянія, приводятъ къ вѣрѣ, къ любви, къ надеждѣ, къ примиренію съ жизнью. Рудинъ—«не холоденъ, не горячъ, а только теплъ», и къ нему и къ подобнымъ ему, ко всѣмъ тѣмъ, чье настроеніе воплотилъ Тургеневъ въ Рудинѣ, можно примѣнить грозныя слова Апокалипсиса:

«Знаю твои дѣла: ты не холоденъ, не горячъ; о, если бы ты былъ холоденъ или горячъ!

«Но поелику ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ, то извергну тебя изъ устъ моихъ».

Такое и при томъ *постоянное* состояніе души несовмѣстимо, конечно, съ геніальностью. Всякаго генія прежде

всего характеризуетъ великій подъемъ его духа, великая вѣра, великая любовь; въ геніи какъ бы сосредоточивается вся сила вѣры и любви, заключенная въ его народѣ—и вотъ почему геній непремѣнно создатель, творецъ. Иначе не бываетъ. Отрицательная работа не дѣло геніевъ—они только творятъ. Въ Рудинѣ, какъ и во всѣхъ такъ называемыхъ людяхъ «сороковыхъ годовъ» былъ умъ острый и блестящій, но не глубокій, была даровитость, — при томъ даровитость лишь переимчивая, но и это расплывалось въ томъ душевномъ состояніи, которое было общее всѣмъ подобнымъ ему. Они были «не холодны, не горячи», и жизнь, суровая, неумолимая въ своихъ требованіяхъ жизнь — изверглa ихъ изъ устъ своихъ. Если Рудинъ былъ скитальцемъ и въ буквальномъ смыслѣ слова, то всѣ такъ называемые «люди сороковыхъ годовъ» были нравственными и умственными скитальцами. Возьмемъ лучшихъ, благороднѣйшихъ изъ нихъ:—Герцена, столь обаятельнаго своимъ гибкимъ умомъ, Грановскаго, столь обаятельнаго своею личностію, какъ бы проникнутою какимъ-то кроткимъ и скорбнымъ свѣтомъ. Кому же не очевидно, что ихъ жизнь, жизнь этихъ лучшихъ, но которые были все-таки «не холодны, не горячи»—кому не очевидно, что ихъ жизнь была только безпрерывнымъ умственнымъ и нравственнымъ скитальничествомъ; кому не очевидно, что ихъ «слово» было словомъ протеста безъ основъ, который порождалъ страданія безъ исхода, жажду безъ удовлетворенія.

Черенокъ европейской культуры, привитой къ «людямъ сороковыхъ годовъ», къ этимъ чахлымъ и слабымъ дичкамъ — далъ лишь безплодно опавшій цвѣтъ, но не далъ плода; чуждые соки лишь искривили этотъ дичокъ, нарушили правильность его роста. Но та же европейская культура, привитая къ сильнымъ и крѣпкимъ, дала и роскошный цвѣтъ и плодъ; она дала намъ Пушкина, Гоголя, Лермонтова, дала ихъ продолжателей, уже питавшихся ихъ соками, уже шедшихъ по пробитымъ ими тропинкамъ. Эти— сдѣлали положительное дѣло, между тѣмъ какъ «люди сороковыхъ годовъ» только болѣли болѣзнью прививки, и;

не перенесши ея, зачахли среди вѣчныхъ своихъ умственныхъ и нравственныхъ скитаній.

Но возвратимся къ Рудину.

Несвободное отношеніе Тургенева къ его герою не помѣшало, однако, вѣрности изображенія. Поэтическое чувство взяло верхъ, оно пересилило *намѣренія* автора, и эти намѣренія только затемнили изображеніе, сдѣлали его неяснымъ, но не фальшивымъ.

Дѣло критики вывести изображеніе изъ этого тумана, вынуть тѣ стекла, которыя производятъ оптическій обманъ.

Сущность Рудина очень проста,—онъ такой же «лишній человѣкъ», какъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Сходство между ними — полное сходство; только Рудинъ рѣчистѣе, даровитѣе и обладаетъ тою неугомонною подвижностью, которой нѣтъ въ Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда. Вотъ почему Гамлетъ Щигровскаго уѣзда оказался, какъ мы увидимъ ниже, *добросовѣстнѣе* Рудина.

Полное сходство мы замѣтимъ и во внѣшнихъ условіяхъ ихъ жизни. Оба росли и развивались въ заурядной средѣ, оба попали въ университетъ, оба вращались въ кружкахъ— только Гамлетъ Щигровскаго уѣзда просто вращался въ нихъ, а Рудинъ игралъ роль; наконецъ, оба попали въ Берлинъ, гдѣ у самаго источника напитались плодами просвѣщенія. Оба они «Гегеля изучали, Гете наизусть знаютъ»—и имъ обоимъ не пошли въ прокъ Гете и Гегель. Наконецъ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда одно время разыгрывалъ роль Рудина.

«Вотъ вернулся я, наконецъ, на родину (изъ-за-границы), пріѣхалъ въ Москву»,—разсказываетъ онъ.—«Въ Москвѣ удивительная произошла со мной перемѣна. За границей я больше молчалъ, а тутъ вдругъ заговорилъ неожиданно бойко и въ то же время возмечталъ о себѣ Богъ знаетъ что. Нашлись снисходительные люди, которымъ я показался чуть не геніемъ; дамы съ участіемъ выслушивали мои разглагольствованія; но я не сумѣлъ удержаться на высотѣ своей славы».

Вышла какая-то сплетня, и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда

долженъ былъ уѣхать. Но не это было настоящею причиной того, что онъ поселился въ деревнѣ.

«Мнѣ бы преспокойно переждать эту напасть (то есть сплетню)», — говоритъ онъ — «и тѣ же снисходительные люди снова раскрыли бы мнѣ свои объятія, тѣ же дамы снова улыбнулись бы на мои рѣчи». Но, — продолжаетъ этотъ «лишній человѣкъ», — «добросовѣстность, изволите видѣть, во мнѣ проснулась: *мнѣ что-то стыдно стало болтать, болтать безъ умолку*—вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ Вражкѣ, и все о томъ же».

Такимъ образомъ, у Гамлета Щигровскаго уѣзда тоже былъ «рудинскій періодъ», но ему стало *стыдно* — и онъ предпочелъ доживать жизнь гдѣ-то въ глуши. Рудина долго еще поддерживало самолюбіе и увѣренность въ себѣ. Обстоятельства изгоняли его изъ одного мѣста, какъ изгнали изъ дома Дарьи Михайловны, онъ начиналъ то же въ другомъ. Люди, которые принимали его за генія, дамы, которыя съ участіемъ выслушивали его разглагольствованія, находились вездѣ. Вездѣ онъ дѣлался центромъ симпатій и антипатій, восторговъ и ненависти, страха и злословія *среди того мало образованнаго и умственно ограниченнаго общества*, съ средѣ котораго показываетъ его намъ Тургеневъ. Вездѣ влюблялись въ него дѣвицы подобныя Натальѣ—дѣвицы «съ душкомъ», какъ выражается о Натальѣ ея мать, съ ограниченнымъ умомъ, но съ большимъ практическимъ смысломъ, отдающія дань сентиментальности, ищущія «героя» достойнаго ихъ, ибо себя онѣ ставятъ очень высоко. Вездѣ найдутся Лежневы, люди и отроду не весьма способные мыслить самостоятельно, а въ среднемъ возрастѣ облѣнившіеся, а потому въ сферѣ мысли не ушедшіе дальше того, чѣмъ пропитались въ «кружкахъ» во времена своей юности. Въ практическихъ дѣлахъ такіе люди все очень хорошо понимаютъ, но что же они могутъ понять въ Рудинѣ? По добродушію своему они его жалѣютъ, какъ пожалѣлъ Лежневъ, по ограниченности своей они предъ нимъ преклоняются, а порой и боятся его. Найдутся всегда и Басистовы, молодые люди честные и про-

стодушные, но не весьма далекіе, склонные болѣе къ лѣни, нежели къ размышленію. О прочихъ и говорить нечего— прочіе всегда найдутся.

Тургеневъ заставилъ насъ посмотрѣть на Рудина глазами Лежневыхъ и Басистовыхъ. Въ этомъ его ошибка, въ этомъ недостатокъ его произведенія. Онъ ошибся, конечно, не по недостатку ума или образованія, онъ ошибся потому, что самъ былъ «лишнимъ человѣкомъ». Онъ могъ возвыситься до искренняго лиризма въ *Дневникѣ Лишняго Человѣка*, могъ комически отнестись къ Гамлету Щигровскаго уѣзда, подчинившемуся мелочной и пошлой дѣйствительности,—но не могъ безпристрастно отнестись къ Рудину. Въ Рудинѣ ему пришлось имѣть дѣло съ цѣлою полосой нашего развитія, съ тѣми «вѣяніями» сороковыхъ годовъ, отъ которыхъ онъ самъ никогда не могъ освободиться, которыя его самого сдѣлали «лишнимъ человѣкомъ»—и вотъ, въ созданіи Рудина онъ былъ «связанъ внутри себя» именно этими вѣяніями. Что осталось бы у Тургенева, еслибъ онъ наложилъ руку на эти «вѣянія», еслибъ онъ призналъ Рудина только «лишнимъ человѣкомъ», если бы въ немъ онъ нашелъ только болѣзненные симптомы переживаемой нами трудной болѣзни — болѣзни прививки европейской культуры? Но Рудинъ кончаетъ такъ же, какъ и всѣ «лишніе люди». Поэтическое чутье не измѣнило Тургеневу, не допустило его дать фальшивое изображеніе. И Рудинъ кончаетъ тѣмъ же «унылымъ недоумѣніемъ» предъ жизнью, и Рудина въ заключительныхъ главахъ мы видимъ въ томъ же душевномъ состояніи, когда «какъ мигъ какой пролетаетъ день, пустой, безцвѣтный, безцѣльный. Ни права жить ни охоты нѣтъ. Дѣлать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».

Рудинъ, покорившійся этому состоянію, одинокій и безпомощный, возбуждаетъ безконечную жалость. Невольно вмѣстѣ съ авторомъ ото всей души скажешь: «Да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ»!—но невольно же вспомнишь пророческія слова Гоголя: «не ужасное ли это явленіе — жизнь безъ подпоры прочной». Мы

видимъ въ Рудинѣ изображеніе именно такой жизни «безъ подпоры прочной», жизни, въ основаніи которой нѣтъ вѣры, жизни, не согрѣтой любовью, не освѣщенной надеждой...

Рудинъ кончаетъ тѣмъ, что умираетъ на баррикадѣ. Многіе находили такой конецъ неестественнымъ. Намъ кажется, что напрасно. Безпокойная непосѣдливость непремѣнно помѣшала бы Рудину доживать жизнь въ глухой деревушкѣ, какъ доживалъ жизнь Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Одинокій, измученный, разбитый, онъ все же не пришелъ къ сознанію, что онъ «лишній человѣкъ», онъ все же продолжаетъ думать, что служилъ чему-то, хотя самъ не знаетъ чему. И если судьба занесла его въ Парижъ во время іюньской революціи, то нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ погибъ на баррикадѣ. Вѣдь, это была его послѣдняя поза, послѣдняя дань тому неусыпающему червю, который грызъ его всю жизнь, послѣдняя дань сознанію своего безсилія, своей ненужности, своей безполезности. Онъ никому ни на что не нуженъ дома, въ Россіи, онъ никому и ни на что не нуженъ тамъ,—въ Европѣ, и вотъ онъ умираетъ за чуждое ему дѣло такъ же глупо, такъ же безсмысленно и такъ же безплодно, какъ жилъ...

...«Вдругъ, на самой вершинѣ, на продавленномъ кузовѣ поваленнаго омнибуса появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой—кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ, тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая знаменемъ и саблей. Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него—выстрѣлилъ. Высокій человѣкъ выронилъ знамя и какъ мѣшокъ повалился лицомъ внизъ»...

Въ этихъ строкахъ произнесенъ поэтическій судъ надъ всею жизнію Рудина. Болѣзненную жалость, а не удивленіе, не восторгъ, вызываетъ онъ, этотъ старикъ, своею смертію. И умирая, онъ остался также «не холоденъ, не горячъ», и въ самой его смерти выразилось то же «уны-

лое недоумѣніе» предъ жизнью. За кого умеръ онъ? За этихъ блузниковъ, вмѣстѣ съ которыми попалъ на баррикаду, изъ-за любви къ нимъ? Но могъ ли онъ любить этихъ блузниковъ, онъ, не любившій и своихъ близкихъ и своего народа? Онъ умеръ за *слова*, за тѣ слова, которыя, какъ наркотическое вещество, возбуждали его нервы, но мертвенно звучали въ его устахъ и въ его сердцѣ. Его смерть не героическая смерть,—это смерть человѣка, потерявшаго вѣру въ себя. Онъ не *пожертвовалъ* жизнью, онъ отдалъ ее случайно и безсмысленно, какъ вещь вовсе никому ненужную—и менѣе всего нужную ему самому.

Конечно, Рудинъ правъ, когда говоритъ: «не фраза эти бѣлые волосы, эти морщины; эти протертые локти — не фраза»; конечно, онъ стоитъ головой выше того общества, которое его окружало — общества омертвѣвшаго, коснаго, чуждаго какого бы то ни было душевнаго движенія—но онъ не годится и въ «герои». Не въ Рудиныхъ выражается культурный ростъ Россіи, а въ иныхъ людяхъ и въ иныхъ явленіяхъ...

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

*) Изъ женскихъ характеровъ въ «Рудинѣ» на первомъ планѣ стоитъ Наталья, дочь Ласунской. Она получила образованіе, какъ всѣ барышни того времени, и до знакомства съ Рудинымъ была вполнѣ довольна своею обстановкою. Послѣдняя не казалась ей мизерною, такъ какъ она въ умственномъ отношеніи не особенно возвышалась надъ нею. Но задатки выйти изъ обыкновенной колеи находились въ ней въ достаточномъ количествѣ. Какъ и всѣ женскіе характеры у Тургенева, личность Натальи является чрезвычайно симпатичною. Мы въ ней видимъ дѣвушку съ неиспорченною натурою, съ способностью увлечься не только мелкими житейскими интересами. До появленія Ру-

---

*) С. Венгеровъ. „Русская критическая литература въ ея современныхъ представителяхъ".

дина она умственно спала. Ей не приходила въ голову мысль, что жизнь, ею ведомая, въ сущности не жизнь, а какое-то животное прозябаніе. Не настолько развитая, чтобы сознательно устроить себѣ все проповѣдуемое Рудинымъ, она тѣмъ не менѣе инстинктивно чувствуетъ, что въ его словахъ кроется именно тотъ настоящій идеалъ осмысленнаго человѣческаго бытія, что и ей самой иногда смутно мелькалъ въ ея думахъ послѣ чтенія любимыхъ поэтовъ и авторовъ вообще. Не настолько умственно взрослая, чтобы вполнѣ оцѣнить культурное значеніе личностей, подобныхъ Рудину, она все-же, въ силу природнаго ума и не пошлаго склада натуры, удивляется, когда Рудинъ ей говоритъ, что ему пора отдохнуть. Она не понимаетъ, какимъ образомъ человѣкъ настолько богато-одаренный и вслѣдствіе того могущій приносить своимъ ближнимъ пользу—человѣкъ имѣетъ право въ тридцать лѣтъ проситься на отдыхъ. Здоровой ея натурѣ не понятно фразерство, и поэтому она всѣ слова Рудина принимаетъ за чистую монету; за то, убѣдившись, что въ этомъ отношеніи ошиблась, она разомъ срываетъ съ своихъ глазъ завѣсу первоначальнаго обаянія, внушеннаго ей краснорѣчивымъ собесѣдникомъ. Когда Рудинъ въ первое свое посѣщеніе заговорилъ о предметахъ, выходящихъ изъ обыкновенныхъ темъ разговора, когда онъ своимъ новымъ знакомымъ показалъ часть своихъ знаній, часть своего прекраснаго умѣнья увлекательно говорить, — болѣе всѣхъ была поражена Наталья. Рудинъ, самъ, можетъ быть, того вполнѣ не сознавая, возбудилъ въ ней массу новыхъ желаній и стремленій. Подобно тому, какъ самая простая случайность ведетъ иногда за собою весьма важныя послѣдствія только потому, что плодъ уже созрѣлъ и требуетъ самаго ничтожнаго усилія, чтобы упасть на землю, такъ и въ данномъ случаѣ Рудинъ вовсе не былъ особенно значительно замѣшанъ въ дѣлѣ быстраго развитія Натальи. У нея, и безъ того, была бездна задатковъ, которые рано или поздно, но непремѣнно все-таки должны были увидѣть свѣтъ Божій, такъ что Рудинъ былъ только первымъ

плугомъ, прошедшимъ по богатой черноземной почвѣ богатѣйшей русской женской натуры. Въ другихъ повѣстяхъ Тургенева намъ не разъ еще придется столкнуться съ такими черноземными силами, ждущими перваго благотворнаго дождя, чтобы дать роскошнѣйшіе всходы.

Посмотрите въ самомъ дѣлѣ, какъ дѣйствуютъ на Наталью слова Рудина.

„Наталья, хотя и раздѣлась и легла въ постель, но ни минуты не уснула и не закрывала даже глазъ. Подперши голову рукою, она глядѣла пристально въ темноту; лихорадочно бились ея жилы, и тяжелый вздохъ часто приподнималъ ея грудь“.

Все это душевное настроеніе Натальи произведено не внѣшностью Рудина: послѣдняя не была настолько представительна, чтобы съ одного разу внушить дѣвушкѣ симпатію. Нѣтъ! буря въ Натальѣ произведена нравственною личностью Рудина, она поражена мнимою мощью этого человѣка, предъ ея глазами рисуется гигантъ слова и мысли. Согласитесь, что дѣвушка, способная увлечься подобными качествами въ мужчинѣ, не вполнѣ обыденна; она непремѣнно должна носить въ себѣ ту искру Божію, что отличаетъ истинно-человѣческое существо отъ человѣкоподобнаго животнаго, живущаго главнымъ образомъ въ физіологическомъ отношеніи. Фактъ, что изъ всѣхъ пришедшихъ въ столкновеніе съ Рудинымъ, больше всего онъ подѣйствовалъ на Наталью, показываетъ, что она стояла выше своего окружающаго, была способнѣе отзываться на высшіе инстинкты человѣческой натуры. Наравнѣ съ нею, положимъ, увлекался и Басистовъ, добродушный учитель дѣтей Ласунской, но увлеченіе Натальи было высшей пробы. Мы не должны забывать, что она женщина. Слѣдовательно, когда въ дѣло вмѣшалась любовь, она становится въ два раза энергичнѣе мужчины, и поэтому ея увлеченіе можетъ повлечь за собою болѣе рѣшительные результаты. Женщина, вслѣдствіе своеобразно сложившихся историческихъ обстоятельствъ, постоянно направляла всѣ свои умственныя и нравственныя способности на то единственное поприще, которое ей было оставлено все-захва-

тывающимъ мужчиной. Это поприще есть—любовь. На немъ изощрялись женщины въ продолженіе всего почти своего историческаго существованія. Неудивительно поэтому, что, если и мужчина многое можетъ совершить подъ вліяніемъ любви, то женщина въ подобномъ случаѣ въ состояніи рѣшиться на все. Тысячелѣтній запасъ энергіи, переходящій изъ одного женскаго поколѣнія въ другое и постоянно въ одномъ и томъ-же направленіи, способенъ дѣлать чудеса. Вотъ причина поражающаго дѣйствія, которое производитъ на многихъ женщинъ любовь, разомъ превращающая неразвитую дѣвочку въ энергичную женщину, не знающую препятствій въ достиженіи своей цѣли. У мужчины любовь составляетъ не самую значительную часть тѣхъ ощущеній, что приходится ему въ своей жизни испытывать, у женщины-же — это все. Болѣе важныхъ моментовъ въ ея жизни нѣтъ и при современномъ ея положеніи и быть не можетъ. Но крайне несправедливы тѣ критики, утверждающіе, будто Рудина нельзя винить за его нежеланіе связать себя съ Натальею на всю жизнь, даже предполагая, что онъ любилъ дочь Ласунской. Женщина того времени, говорятъ они, не понимала другихъ добродѣтелей, кромѣ семейныхъ, поэтому человѣку съ такими грандіозными помыслами, какъ Рудинъ, Наталья могла быть только помѣхою въ дѣлѣ служенія общему благу. Она-бы потребовала отъ него исключительнаго посвященія времени одной ей.

Подобный взглядъ болѣе чѣмъ не вѣренъ. Развѣ женщина тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ оттого исключительно занималась своимъ сердцемъ, что ни на-что другое не была способна? Развѣ она виновата въ томъ, что и мужчина того времени не предлагалъ ей ничего, кромѣ удовлетворенія ея сердечныхъ склонностей? Развѣ она виновата, что весь характеръ эпохи былъ таковъ, что на первомъ планѣ, даже у людей высоко-развитыхъ и честныхъ, стояли не общественные вопросы (за неимѣніемъ ихъ), а вопросы единичнаго существованія, вопросы личнаго сердца и ума? Тутъ не зачѣмъ упрекать женщинъ.

Ихъ развитіе идетъ всегда параллельно времени, въ которомъ онѣ живутъ. По мягкости и уступчивости своей натуры, онѣ всегда способны поддаваться всякому вліянію, дурному или хорошему, смотря по обстоятельствамъ. Онѣ не идутъ во главѣ движенія, но и не тормозятъ его. Такая личность, какъ Рудинъ, если-бы его слова не оставались-бы только словами, нашелъ-бы въ Натальѣ лучшаго помощника. Когда Рудинъ ей говоритъ, что женщина, которая любитъ, имѣетъ право требовать отъ любимаго человѣка, чтобы тотъ ей вполнѣ отдался, она съ этимъ мнѣніемъ совершенно не соглашается и горячо противъ него протестуетъ.

„Я понимаю, говоритъ она, что кто стремится къ великой цѣли, уже не долженъ думать о себѣ; но развѣ же женщина не въ состояніи оцѣнить такого человѣка? Мнѣ кажется, напротивъ, женщина скорѣе отвернется отъ эгоиста... Всѣ молодые люди, эти юноши, по вашему, всѣ эгоисты, всѣ только собою заняты, даже когда любятъ. Повѣрьте, женщина не только способна понять самопожертвованіе: она сама умѣетъ пожертвовать собою“.

И дѣйствительно! все дѣло только въ руководителѣ. Дайте женщинѣ надлежащее направленіе — изъ нея выйдетъ превосходный членъ цивилизованнаго общества, не дѣлайте изъ нея свѣтской куклы, и вы не будете потомъ имѣть возможности упрекать женщинъ въ безсердечіи и пустотѣ. Дайте, наконецъ, ей проникнуться общественными идеалами, и вы навѣрное не обвините ее въ непризнаваніи другихъ добродѣтелей, кромѣ семейныхъ. Легко сказать: женщина сороковыхъ годовъ эгоистка, она стремится всецѣло завладѣть мужчиною и считаетъ измѣною себѣ всякія другія наклонности, гдѣ она не стоитъ на первомъ планѣ! но доказать это невозможно, по той простой причинѣ, что мы имѣемъ тутъ дѣло съ уклоненіемъ отъ истины. Женщина въ данномъ случаѣ не составляетъ что нибудь особенное, отличное отъ своей обстановки. Вините сколько вамъ угодно эпоху, совокупность всѣхъ условій, повліявшихъ на нее, но оставьте въ покоѣ женщинъ. Онѣ менѣе всего тутъ виноваты, такъ какъ играли вполнѣ пас-

сивную роль. Онѣ слѣдовательно являются жертвами, а не виноватыми.

О чемъ разговаривала Наталья, когда оставалась вдвоемъ съ Рудинымъ? Еслибы были справедливы критики, о которыхъ мы раньше говорили, предметами разговора должны были быть только вопросы сердца. А въ самомъ дѣлѣ ничего подобнаго мы не находимъ. Наталья всегда вызывала Рудина на такія бесѣды, гдѣ-бы она могла извлечь пользу изъ его знаній, изъ его развитія. Онъ ей читалъ произведенія романической школы, въ сороковыхъ годахъ еще не отжившей свой вѣкъ, объяснялъ ей великія творенія германской литературы, часто давая на читанное увлекательные краснорѣчивые комментаріи. Онъ вводилъ въ ея сознаніе много новыхъ поэтическихъ и философскихъ истинъ, до того ей неизвѣстныхъ, открывалъ для нея міръ новыхъ ощущеній и чувствованій, сообщалъ ей часть своего энтузіазма предъ грандіозными созданіями человѣческаго ума, того энтузіазма, который служитъ предохранительнымъ средствомъ противъ поглощенія житейской пошлостью, того восторга, что лучше всякаго талисмана служитъ для постояннаго подогрѣванія въ человѣкѣ высшихъ стремленій. Неужели-же можно, послѣ усвоенія Натальею подобныхъ чувствъ, причислить ее къ разряду эгоистическихъ женщинъ, могущихъ мѣшать общественному дѣятелю служить дѣлу своего назначенія. Только одна умственная близорукость или преднамѣренная тенденціозность можетъ не видѣть, что именно изъ подобныхъ Наталій формируются тѣ нерѣдкія въ исторіи женщины, которыя не разъ вдохновляли своихъ мужей на высокіе подвиги.

Наталья женщина дѣла, а не одного лишь слова. Разъ она чѣмъ-нибудь прониклась, она не останавливается ни передъ чѣмъ въ достиженіи своей цѣли. Какъ неизмѣримо выше Рудина становится она тогда, когда, несмотря на угрозы матери, рѣшается бросить свое обезпеченное положеніе, чтобы раздѣлить съ любимымъ человѣкомъ горе и нужду. Не нужно забывать, что это не есть поступокъ взбаламошенной дѣвушки, начитавшейся романовъ и толь-

ко того и жаждущей, какъ-бы какимъ-нибудь манеромъ на самой себѣ продѣлать одну изъ исторій, недавно ею съ замираніемъ сердца вычитанной изъ эффектной повѣсти. Посмотрите, какъ не похожа сцена объясненія въ любви между Рудинымъ и Натальею, посмотрите, какъ ведетъ себя при этомъ послѣдняя, и вы должны будете сознаться, что имѣете дѣло не съ совсѣмъ обыкновенной страстью, которая-бы основывалась только на половомъ влеченіи. Тутъ мы видимъ объясненіе въ любви безъ обычныхъ «горячихъ, продолжительныхъ поцѣлуевъ», безъ «тихаго привлеченія къ себѣ» и тому подобныхъ аксессуаровъ шаблоннаго объясненія во взаимномъ расположеніи. Въ данномъ случаѣ ничего похожаго не произошло, такъ какъ Наталья пришла не затѣмъ, чтобы амурничать съ Рудинымъ. Она пришла лишь убѣдиться, дѣйствительно - ли тотъ ее любитъ, и не простою животною любовью, а облагороженною и соотвѣтствующей высокимъ стремленіемъ Рудина. А кому-же не извѣстно, что наше обращеніе съ женщиною опредѣляется ею-же самою и что, значитъ, въ настоящемъ случаѣ, честь облагораживанія всей сцены всецѣло принадлежитъ Натальѣ.

„Ахъ, Наталья Алексѣевна, какъ я счастливъ! теперь уже ничто насъ не разъединитъ!

Наталья взглянула ему въ глаза.

— Пустите меня, прошептала она:—мнѣ пора.

— Одно мгновенье, началъ Рудинъ...

— Нѣтъ, пустите, пустите меня...

— Вы какъ будто меня боитесь?

— Нѣтъ, но мнѣ пора...

— Такъ повторите, по крайней мѣрѣ, еще разъ...

— Вы говорите, вы счастливы? спросила Наталья.

— Я? Нѣтъ человѣка въ мірѣ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь?

Ната. я подняла голову. Прекрасно было ея блѣдное лицо, благородное, молодое и взволнованное—въ таинственной тѣни бесѣдки, при слабомъ свѣтѣ, падавшемъ съ ночного неба.

— Знайте-же, сказала она:—я буду ваша.

— О Боже! воскликнулъ Рудинъ.

Но Наталья уклонилась и ушла“.

Эта сцена, по нашему, очень характерна. Другая барыш-

ня просто-бы растаяла отъ ухаживанья такого «умника» какъ Рудинъ. Наша-же героиня не потому отвѣчаетъ взаимностью, что польщена, а вслѣдствіе дѣйствительной любви. Подъ вліяніемъ этого чувства, съ нею происходитъ одинъ изъ тѣхъ переворотовъ, которые сразу даютъ умственную зрѣлость. На глазахъ читателя Наталья выростаетъ и изъ дѣвочки превращается въ энергичную женщину. Посмотрите на нее въ знаменитой сценѣ утренняго свиданія съ Рудинымъ. Поведеніе ея настолько достойно, настолько внушаетъ къ себѣ уваженіе и почтеніе, что Рудинъ теряется и ничего не можетъ возразить противъ ея проникнутыхъ негодованіемъ на него нападокъ. Здоровая логика Натальи не даетъ Рудину возможности пустить въ ходъ столь излюбленное имъ оружіе діалектики, и онъ, посрамленный, долженъ удалиться съ поля сраженія. Тридцатилѣтній гегеліанецъ пасуетъ предъ провинціалкой девятнадцати лѣтъ!

Тургеневъ, по нашему мнѣнію, сдѣлалъ большую ошибку, выдавая впослѣдствіи Наталью замужъ за Волынцева. Положимъ, что Волынцевъ человѣкъ съ отличнымъ характеромъ, одна изъ цѣльныхъ русскихъ натуръ, но въ мужья Натальѣ онъ всетаки не годится! Какъ можетъ она удовлетвориться имъ, когда даже m-lle Boncourt жалѣетъ о «le pauvre garçon, il a si peu de ressources dans la conversation». Его можно любить какъ брата, но не какъ мужа, съ которымъ женщина дѣлитъ всѣ свои стремленія и желанія, который долженъ служить ближайшимъ повѣреннымъ ея думъ и помысловъ. Можетъ-ли женщина, любившая Рудина, заразившаяся отъ него высшими стремленіями, можетъ-ли она быть счастлива съ добрымъ, но ограниченнымъ человѣкомъ? Какъ можетъ она раздѣлять свою жизнь съ личностью, которая, при всѣхъ своихъ хорошихъ качествахъ, не въ состояніи понять сомнѣній, брошенныхъ въ ея душу Рудинымъ? Или, можетъ быть, мы въ лицѣ Натальи имѣемъ дѣло съ одной изъ тѣхъ неопредѣлившихся натуръ, которыя въ одинаковой степени довольствуются весьма разнородными лицами? Или, можетъ быть, мы не

правы, возведя Наталью въ предыдущихъ страницахъ на слишкомъ высокій пьедесталъ? Можетъ быть, она все-же обыкновенная провинціалка, которая не прочь пошалить и съ такимъ «умникомъ» какъ Рудинъ, хотя ей болѣе по плечу Волынцевы, и не прошедшая сквозь огонь и воду и мѣдныя трубы нѣмецкой философіи? Если это такъ, если мы не правы, то зачѣмъ-же въ такомъ случаѣ Тургеневу было возбуждать въ продолженіе всей повѣсти симпатію къ Натальѣ, зачѣмъ было окружать ее обаяніемъ, чтобы потомъ разомъ двумя строчками уничтожить первоначальное впечатлѣніе и превратить въ обыкновенную барышню, выходящую замужъ за всякаго изъ боязни остаться въ старыхъ дѣвахъ? Но нѣтъ! Мы энергически вооружаемся въ защиту Натальи, и изъ поставленной намъ дилеммы предпочитаемъ выйти такимъ образомъ, что при всемъ нашемъ уваженіи къ тонкому такту Тургенева согласны предположить, что онъ сдѣлалъ психологическую ошибку, заставляя Наталью удовлетвориться такимъ мужемъ, какъ Волынцевъ, чѣмъ хотя на минуту подумать, что Наталья барышня, «имя коей легіонъ». Наталья не Елена изъ «Накануне», не Лиза изъ «Дворянскаго Гнѣзда», она, безъ сомнѣнія, мельче плаваетъ, но все-же слишкомъ глубоко, чтобы ей было достаточно просторно въ мелкой лужѣ помѣщичьей жизни a la «Старосвѣтскіе Помѣщики» въ компаніи съ Волынцевымъ. А между тѣмъ Тургеневъ, устами Басистова, объявляетъ, что Наталья счастлива, принявъ предложеніе Волынцева. Тутъ явное противорѣчіе, несообразность со всѣмъ характеромъ Натальи, слишкомъ разсудительной и развитой, чтобы не понимать, какъ далеко отстаетъ ея будущій мужъ отъ идеала, мелькающаго въ ея воображеніи со времени знакомства съ Рудинымъ. Мы бы еще отчасти могли понять поступокъ нашей героини, если-бы Тургеневъ намъ показалъ, что послѣдняя, подъ вліяніемъ пребыванія въ свѣтскомъ московскомъ обществѣ, опошлилась, потеряла свои прежнія, хорошія стороны. Но нѣтъ! Тотъ-же Басистовъ, привезшій Лежневымъ извѣстіе о бракѣ Натальи съ Волынцевымъ, разсказываетъ, что

Наталья съ презрѣніемъ отвергла предложеніе нѣкоего Корчагина, красиваго молодого человѣка и свѣтскаго льва, несмотря на то, что мать ея, ею очень любимая, чрезвычайно сильно желала видѣть свою дочь замужемъ за Корчагинымъ. Значитъ Наталья осталась прежнею—столица ее не испортила! И вдругъ такой шагъ назадъ: она выходитъ за Волынцева! Мы этого положительно не понимаемъ. Какъ безподобенъ конецъ или вѣрнѣе апоѳеозъ Рудина, какъ онъ истекаетъ изъ всего его характера, такъ несообразенъ поступокъ, завершающій собою появленіе въ повѣсти Натальи. Въ другомъ произведеніи Тургенева мы увидимъ, что дѣлаетъ русская женщина, когда ей не удается быть счастливой съ любимымъ человѣкомъ, увидимъ, на какія энергичныя средства она рѣшается, чтобы затушить горесть своего сердца; средства, положимъ, нераціональныя и проистекающія только изъ неразумнаго устройства русской жизни, но все-же показывающія, что дѣйствительно женщина на нихъ рѣшившаяся выходитъ изъ обыкновенной колеи провинціальныхъ русскихъ барынь. Наталья-же нелогична, появляясь при одномъ освѣщеніи въ началѣ повѣсти и при совершенно другомъ въ концѣ ея.

Объемъ нашего этюда, грозящаго затянуться до безконечности, не позволяетъ намъ останавливаться на другихъ дѣйствующихъ лицахъ «Рудина». Мы пропускаемъ поэтому великосвѣтскую львицу Ласунскую, пріѣхавшую «отдохнуть» въ провинціи, ея сателита Пандалевскаго, добродушнаго Басистова, красавицу—Александру Павловну. Мы пропускаемъ увальня Лежнева и даже не безынтереснаго ненавистника женщинъ—Пигасова, съ его злоостроумными насмѣшками надъ прекрасною половиною человѣческаго рода. Мы дѣлаемъ этотъ пропускъ не съ особенно большимъ сожалѣніемъ, такъ какъ намѣрены главнымъ образомъ показать *общественное* значеніе Тургеневскихъ произведеній и поэтому не желаемъ останавливаться на лицахъ, не представляющихъ собою характернаго типа, носящаго на себѣ отпечатокъ эпохи.

«Рудинъ» былъ напечатанъ въ январьской и февральской

книжкахъ «Современника» за 1856 годъ. При появленіи своемъ онъ возбудилъ всеобщую сенсацію, всѣ поняли, что Тургеневъ изъ небольшого міра лишнихъ людей и великихъ героевъ на маленькія дѣла перешелъ на широкое поле крупныхъ общественныхъ явленій и типовъ. И дѣйствительно, «Рудинымъ» начался самый блестящій періодъ развитія Тургеневскаго таланта. Въ теченіе шести лѣтъ, съ 1856 по 1862, быстро превратившійся въ перваго русскаго беллетриста, писатель даетъ намъ «Рудина», «Фауста», «Асю», «Дворянское Гнѣздо», «Наканунѣ», «Первую Любовь» и «Отцовъ и Дѣтей». Дѣятельность, которой можетъ позавидовать любой изъ корифеевъ европейской литературы! Съ «Рудина» датируется та громадная популярность Тургенева, которою, за исключеніемъ Пушкина и Гоголя, никто изъ представителей русскаго творчества не пользовался. До «Рудина» Тургеневъ былъ тоже любимцемъ журнальной публики, но никто въ немъ не видѣлъ, несмотря на «Записки Охотника», одного изъ тѣхъ людей, которые составляютъ предметъ національной гордости, предметъ всеобщаго почитанія. «Рудинъ» разомъ всѣмъ показалъ, чего можно ожидать отъ его автора.

С. Венгеровъ.

* * *

*) Рудинъ — воспитанникъ германскихъ университетовъ. Онъ «весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ». Такъ сообщаетъ намъ авторъ, — и Рудинъ при первомъ же случаѣ готовъ предаться студенческимъ воспоминаніямъ, принять на себя защиту великаго пророка и учителя — Гегеля. Все это, несомнѣнно, отголоски сороковыхъ годовъ.

Тѣ же отголоски слышатся и въ идеяхъ Рудина, въ его блестящихъ проповѣдяхъ. Припомните основныя положенія героя, какими онъ увлекаетъ Наташу и Басистова. Вы всѣ ихъ цѣликомъ отыщете въ литературныхъ произведеніяхъ и личныхъ признаніяхъ молодежи гегельянской эпохи.

*) И. Ивановъ. „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“. Спб. 1896 г.

«Людямъ нужна вѣра: имъ нельзя жить одними впечатлѣніями, имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался безплодностью и безсиліемъ».

Такъ говорилъ Рудинъ. То же самое Бѣлинскій писалъ матери, когда будущій геніальный критикъ былъ исключенъ изъ московскаго университета «по неспособности», и влачилъ самое жалкое голодное и холодное существованіе. То же самое писалъ сестрѣ его товарищъ, Герценъ, заброшенный въ дикій край, въ варварскую среду, впервые почувствовавшій себя и изгнанникомъ и жертвой предразсудковъ, какъ незаконный сынъ. Имъ, было, овладѣла жгучая иронія, и «я думалъ», признается онъ, «затушить всѣ чувства этимъ смѣхомъ. Но чувства взяли свое и выразились любовью къ идеѣ, къ высокой мысли о славѣ».

Третій юноша, Огаревъ, сынъ старозавѣтной домостроевской семьи, окруженный пошлымъ провинціальнымъ міромъ, не позволяетъ мизантропіи овладѣть душой, потому что мизантропія—отчаяніе, безнадежность, а онъ «полонъ вѣры въ человѣчество, въ самого себя, въ свое призваніе».

И поэтому-то такъ безпощадно поражаетъ Рудинъ иронію и мизантропію въ лицѣ Пигасова.

Дальше Рудинъ доказываетъ:

«Если у человѣка нѣтъ крѣпкаго начала, въ которое онъ вѣритъ, нѣтъ почвы, на которой онъ стоитъ твердо, какъ можетъ онъ дать себѣ отчетъ въ потребностяхъ, въ значеніи, въ будущности своего народа? Какъ можетъ онъ знать, что онъ долженъ самъ дѣлать...»

Насмѣшникъ Пигасовъ окончательно раздраженъ, не даетъ даже кончить вопроса, — но это опять идеи и даже форма рѣчи сороковыхъ годовъ. Неуклонное, хотя и мечтательное стремленіе къ народному благу было общей страстью молодежи. Врядъ ли какой русскій гегельянецъ не страдалъ страданіями народа. Бѣлинскій-студентъ сочиняетъ пламенную драму, клеймящую крѣпостное право монологами въ духѣ шиллеровскаго Карла Моора. Въ заграничномъ кружкѣ Станкевича, мы видѣли, главнѣйшимъ вопросомъ считалось просвѣщеніе народа. И эти мечты

были, очевидно, атмосферой времени. Лермонтовъ не дружилъ съ Бѣлинскимъ, не бывалъ у Станкевича, но и онъ не преминулъ первые шаги своей поэтической дѣятельности отмѣтить драмой, направленной на то же зло родного народа... Не даромъ, слѣдовательно, у Рудина представленіе о народѣ является въ неразрывной связи съ самыми выспренними идеями иноземной философіи.

Да, Рудинъ гегельянецъ, студентъ, выросшій среди молодыхъ идеалистовъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. И къ числу ихъ принадлежалъ самъ авторъ. Вѣдь, это онъ оплакивалъ такими горькими слезами благороднѣйшаго питомца германской мысли и поэзіи. Все его сочувствіе было на сторонѣ безвременно погибшаго учителя, друга, вождя. И если Рудинъ изъ той же среды, у Тургенева не только въ эпоху возникновенія романа, а до конца дней, не должно развиваться иного настроенія, кромѣ восторга и благодарной любви.

А между тѣмъ, въ романѣ этого нѣтъ. Развѣ вамъ не бросилось въ глаза, при первомъ же знакомствѣ съ Рудинымъ, странное отношеніе автора къ своему герою? Рудинъ, появляясь на сцену, покоряетъ всѣ сердца, озлобляетъ завистниковъ, пугаетъ людей добродѣтельныхъ, но ограниченныхъ. Онъ настоящій герой, и притомъ стяжавшій власть неотразимой силой слова и мысли. Остается одинъ только человѣкъ, не поддавшійся очарованію, — и этотъ человѣкъ — самъ авторъ.

На его взглядъ, герой комиченъ съ самаго начала. «Я вижу фортепіано», началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ»... и вы чувствуете,—такое заключеніе можно сдѣлать объ артистѣ, только что вызвавшемъ эффектъ, для него вполнѣ привычный и интересный лишь по чужимъ впечатлѣніямъ. Онъ блистательно исполнилъ свою роль и хочетъ отдохнуть на игрѣ другихъ. Подобное настроеніе врядъ ли доступно человѣку, минутой раньше съ такой горячностью разрѣшавшему міровые вопросы,—врядъ ли доступно, при одномъ условіи, если самые вопросы хватаютъ его за сердце, тѣсно срослись

съ его нравственной природой. И какъ естественнымъ является замѣчаніе—также авторское—о впечатлѣніи m-lle Boncourt: Рудинъ «въ ея глазахъ былъ чѣмъ-то въ родѣ виртуоза или артиста»... Невольно спрашиваешь: зачѣмъ авторъ счелъ необходимымъ сообщить намъ, что думаетъ объ его героѣ существо совершенно безличное и не играющее въ романѣ никакой роли?

Дальше еще болѣе краснорѣчивый моментъ. Рудинъ произвелъ потрясающее впечатлѣніе на Басистова. Юный слушатель сталъ его боготворить. Но Рудинъ остался совершенно равнодушенъ къ благородному чувству юноши, какъ-то поговорилъ съ нимъ разъ «о самыхъ важныхъ міровыхъ вопросахъ и задачахъ», «возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ, но потомъ онъ его бросилъ». Авторъ не оставляетъ безъ своей оцѣнки такого поведенія Рудина: «видно», читаемъ дальше, «онъ только на словахъ искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ»...

То же самое и относительно Наташи. Она, конечно, гораздо интереснѣе для Рудина, чѣмъ Басистовъ, онъ безпрестанно бесѣдуетъ съ ней, но именно какъ виртуозъ: ему важенъ эффектъ, а не идейный результатъ рѣчей. «Рудинъ, казалось», снова замѣчаетъ авторъ, «не очень заботился о томъ, чтобы она его понимала—лишь бы слушала его»...

Это въ высшей степени любопытное явленіе. Авторъ будто не можетъ сдержать своего отрицательнаго или ироническаго настроенія относительно своего побѣдоноснаго героя, и заранѣе спѣшитъ уронить его въ нашихъ глазахъ, раньше, чѣмъ самые факты сорвутъ съ него пышное убранство. Въ чемъ таится мотивъ подобнаго чувства, столь субъективнаго, даже слишкомъ горячаго? Отнюдь, конечно, не въ рудинскихъ идеяхъ, насколько онѣ связаны съ преданіями «германскаго романтическаго и философскаго міра». Рудинъ, очевидно, не изъ вѣрныхъ и безукоризненныхъ друзей Станкевича. Въ этой натурѣ есть нѣчто, отдѣляющее ее глубокой пропастью отъ истинныхъ представителей русскаго гегельянства, отъ подлинныхъ русскихъ мечтателей философской эпохи.

Это нѣчто ясно указано и многократно подчеркнуто авторомъ. Это — не фразерство въ томъ смыслѣ, какъ его поняли критики романа, т. е. увлеченіе словеснымъ блескомъ при полной практической бездарности. Подобная черта авще не является настолько порочной, чтобы вызвать у автора такое энергическое негодованіе и даже презрѣніе. Вѣдь, и Гамлетъ—философъ того же типа, и никому никогда и на умъ не приходило бросать камнемъ въ датскаго принца. Герои чистой отвлеченной мысли заслуживаютъ скорѣе состраданія и благосклоннаго внимательнаго изученія, чѣмъ «страсти и гнѣва». Это печальное явленіе, но *непроизвольное;* оно всегда источникъ страданій для человѣка, часто основа удручающей душевной драмы. Недостатокъ воли при разностороннемъ развитіи мысли — страшное бремя, принижающее личность въ ея собственныхъ глазахъ, исключающее всякую возможность героическаго эффекта.

Не то съ Рудинымъ.

Его роль вполнѣ сознательная. Онъ можетъ оставаться Митакимъ, какимъ мы видимъ его въ гостяхъ у Дарьи Михайловны, но можетъ говорить и поступать иначе. Онъ *выбираетъ* образъ дѣйствій, наиболѣе для него выгодный въ данную минуту, не въ прямомъ матеріальномъ смыслѣ слова, а цѣляхъ артистическаго, художественнаго успѣха. Рудинъ, дѣйствительно, виртуозъ, артистъ, совершенно разсчетливо ведущій опредѣленную политику,—безкорыстную относительно житейскихъ благъ, но весьма цѣлесообразную для роли «путешествующаго принца», пророка, прорицателя, гипнотизирующаго юныя сердца.

И предъ нами всѣ признаки лицедѣя-волшебника. Артисту нужна самая впечатлительная и благотворная публика. А таковой публикой искони являются женщины,—и Рудинъ ораторствуетъ, «вдохновленный близостью молодыхъ женщинъ», «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній». Дальнѣйшіе его подвиги въ томъ же направленіи. Онъ безпрестанно бесѣдуетъ съ Натальей и едва удѣляетъ одно утро Басистову. Публика подсказываетъ и извѣстную манеру игры. Для русскаго героя манера давно испытанная;

хотя и много разъ осмѣянная. Опустошенія, произведенныя въ женскихъ сердцахъ Онѣгиными, Печориными и ихъ маленькими двойниками и подражателями — Тамариными и Агариными будутъ вѣчно удручать сердца романическихъ героевъ—чувствами зависти и соревнованія. Рудинъ одинъ изъ нихъ. Аксаковъ бросилъ будто случайно намекъ на Печорина по поводу тургеневскаго героя; на самомъ дѣлѣ—воспоминанія о печоринскомъ типѣ преслѣдуютъ насъ на каждой страницѣ рудинской исторіи.

Припомните, напримѣръ, одинъ изъ многочисленныхъ разговоровъ Рудина съ Натальей—на тему о любви. Рудинъ говоритъ особенно часто объ этомъ предметѣ, онъ намѣренъ даже писать трактатъ о трагическомъ значеніи любви. Почему именно о трагическомъ? Отнюдь не потому, что самъ авторъ испыталъ или вообще способенъ испытать любовную трагедію, а потому, что *трагедія* несравненно эффектнѣе, романтичнѣе, чѣмъ обыкновенная, общечеловѣческая психологія даннаго чувства. Рудинъ немедленно представляетъ и картинную иллюстрацію своихъ идей.

— Замѣтили ли вы,—заговорилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ:—что на дубѣ—а дубъ крѣпкое дерево—старыя листья только тогда отпадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться?

— Да, — медленно возразила Наталья, — замѣтила.

— Такъ тоже случается и съ старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить.

Что значитъ эта аллегорія—Наталья не понимаетъ. Но этого и не требуется Рудину. Ему необходимо произвести эффектъ, подавить воображеніе, заинтриговать чувство. А этого можно достигнуть, напуская, по возможности, больше театральнаго тумана.

Конецъ сцены превосходенъ.

«Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами и удалился».

Картина—прямо изъ опернаго либретто. И картина весьма старая, но неотразимо захватывающая сердца Татьянъ, Марій, Наталій. Нужна тайна—и сердце дѣвушки неизбѣжно

запутается въ сѣтяхъ. Такъ ведетъ себя Онѣгинъ среди деревенскихъ мечтательницъ, Печоринъ съ княжной Мери, «принявъ глубоко тронутый видъ», разсказываетъ аллегорическую темную исторію о томъ, какъ онъ отрѣзалъ одну мертвую половину своей души и бросилъ, «тогда какъ другая шевелилась»... Результаты всюду тождественные. Татьяна не спитъ ночей въ смутной мучительной тоскѣ, княжна Мери окончательно подавлена сладкимъ ужасомъ загорающейся страсти, Наталья «долго размышляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала»...

Въ основѣ столь могущественной таинственности лежитъ капля все того же яду—*разочарованіе*. Рудинъ щеголяетъ въ старомъ плащѣ россійскихъ чайльдъ-гарольдовъ. Костюмъ въ сильной степени потертъ, утратилъ много мишурныхъ, блестящихъ украшеній, — но Рудинъ успѣшно обновляетъ маскарадъ пріемами, неизвѣстными его предшественникамъ. Тѣ черпали репертуаръ загубленныхъ чувствъ и жестокихъ рѣчей въ поэзіи англійскаго поэта и разныхъ dii minores того же направленія. Рудинъ пользуется германской философіей и поэзіей—совершенно противоположнаго духа, чѣмъ байронизмъ. Чайльдъ-Гарольды усиливались все отрицать и надо всѣмъ смѣяться: Рудинъ, напротивъ, зоветъ своихъ слушателей въ царство восторженной вѣры, вдохновенной мысли, всеобъемлющихъ идей. Но, вѣдь, нашъ бѣдный міръ такъ мало отвѣчаетъ поэтическимъ призывамъ и идеальнымъ стремленіямъ. Краснорѣчивымъ гегельянцамъ далеко не всегда приходится встрѣчать радостно-трепетную публику, вродѣ Натальи и Басистова, рѣдко рѣчи ихъ льются среди молчанія роскошной ночи, подъ акомпаниментъ шубертовской музыки, — и гегельянство, слѣдовательно, прямымъ путемъ можетъ привести къ тоскѣ и «холоду сердечному».

Правда, настоящіе подвижники идеи минуютъ этотъ путь. У нихъ могутъ быть минуты тяжелаго раздумья, томительныхъ сомнѣній, но вѣра въ *человѣческое призваніе* восторжествуетъ. Самая мысль о разочарованіи, какъ бы красиво оно ни было, покажется имъ позорнымъ малодушіемъ, а

игра въ разбитыя мечты и безнадежное будущее напомнитъ имъ жалкихъ, нравственно немощныхъ комедіантовъ печальнаго прошлаго...

Послушайте, какъ истинный русскій гегельянецъ ободряетъ себя и друзей на неустанный общественный подвигъ.

«Иногда ночью, когда потушена свѣча, когда воетъ вѣтеръ, чортъ знаетъ, чего не лѣзетъ въ голову: міръ кажется скучною церемоніею, будущность безотрадна, вспоминаешь ничтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуешь тяжесть въ груди и засыпаешь безпокойно... Разсвѣтаетъ, и вся тоска прошла и первое движеніе—молитва».

О чемъ же молитва? Можетъ быть, это жалоба безпомощнаго, мятущагося страдальца, заблудившагося путника, ищущаго тихаго пристанища? Нѣтъ,—это молитва воина, идущаго въ бой съ какими угодно препятствіями, стоящими на пути къ дорогимъ идеямъ.

«Я не молюсь о своемъ счастіи; съ меня довольно быть человѣкомъ. Я говорю: Господи! буди въ сердцѣ моемъ и дай мнѣ совершить подвигъ на землѣ».

Такъ разсказываетъ Станкевичъ о своихъ думахъ. То же самое онъ пишетъ Грановскому, когда тотъ, было, согнулся подъ тяжестью научной работы, не всегда живой и увлекательной.

«Мужество, твердость, Грановскій! Не бойся этихъ формулъ, этихъ костей, которыя облекутся плотью и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметъ — жизнь человѣчества; ищи же въ этомъ человѣчествѣ образа Божія; но прежде приготовься трудными испытаніями,— займись философіей! Занимайся тѣмъ и другимъ: эти переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя—наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но вѣрь, вѣрь — и иди путемъ своимъ».

Въ этихъ словахъ весь юноша идеалистической эпохи,—мужественный, неустанно мыслящій, убѣжденный, что че-

ловѣческая мысль—сильнѣйшее орудіе человѣческой природы, и вѣра въ призваніе—непреодолимая защита противъ всѣхъ искушеній, противъ малодушія и отчаянія.

Могло ли этому человѣку притти на умъ — устраивать театральное зрѣлище изъ своихъ идей и настроеній, драпироваться въ плащъ непонятаго и неоцѣненнаго героя великихъ таинственныхъ замысловъ? Тотъ же Станкевичъ признается: «Моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ занятія... Одна мысль объ односторонности, связанная съ мыслью о нравственномъ усыпленіи, въ состояніи все отравить для меня».

Очевидно, здѣсь немыслима игра въ эффекты, невозможно спокойное самоуслажденіе при видѣ чужихъ, безмолвныхъ восторговъ. При такой напряженной умственной работѣ человѣкъ неизбѣжно отъ начала до конца остается строжайшимъ судьей самого себя. До болѣзненности чуткое и придирчивое сознаніе неотступно слѣдитъ за всякимъ впечатлѣніемъ и поступкомъ. Русскіе гегельянцы особенно любили исповѣдываться въ своихъ вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеніяхъ,— и нерѣдко подвергали себя столь немилосердному суду, что біографамъ приходилось впослѣдствіи защищать мнимыхъ преступниковъ отъ ихъ же самихъ. Таковы самообличенія Бѣлинскаго въ такого рода «паденіяхъ», какія могли бы смущать развѣ душу идеально-чистой дѣвушки...

Рудинъ также склоненъ жестоко нападать на собственную личность, но и эти нападки носятъ характеръ такого же ораторскаго турнира, какъ и всѣ другія разсужденія краснорѣчиваго виртуоза: Для Рудина развѣнчивать себя— не глубокая нравственная мука, какъ это было для Бѣлинскаго, а то же самое наслажденіе, какое испытываетъ Печоринъ, разсказывая княжнѣ Мери всевозможные ужасы про свою жизнь и личность. Это обычная уловка байронствующихъ комедіантовъ,—окружить себя мрачнымъ, даже безнадежнымъ ореоломъ самоотрицанія, чтобы вызвать сочувствіе въ отзывчивомъ отуманенномъ сердцѣ женщины. Эта психологія до тонкости была извѣстна Печорину.

Лермонтовскій герой, прочитавши предъ княжной Мери

«эпитафію» самому себѣ, замѣчаетъ: «Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали, ей было жаль меня. Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце»...

Буквально на этотъ результатъ разсчитываетъ Рудинъ, и—не ошибается.

Вы съ перваго же появленія героя на сцену увѣрены, что Наталья полюбитъ Рудина, а онъ? Обратимся опять къ *исторіи*.

Для юныхъ русскихъ гегельянцевъ завѣтнымъ стремленіемъ было—всѣ чувства, всѣ настроенія подчинить *идеѣ*, «утвердить на *мысли* и *разумѣ*» всѣ движенія сердца и души, всю нравственную и практическую жизнь. Весь міръ представляетъ гармоническое развитіе одной *идеи*,—человѣческое существованіе должно быть также воплощеніемъ этой идеи, осуществленіемъ благороднѣйшаго *призванія*, какое только доступно совершеннѣйшему созданію вселенной. Чувство любви прежде всего должно подчиниться этому закону, потому что оно представляетъ болѣе всего опасностей для увлеченнаго страстью—нарушить гармонію личныхъ нравственныхъ силъ, принести ихъ въ жертву эгоистическому стремленію къ счастью.

Такъ, можетъ быть, на иной взглядъ наивно, но глубоко убѣжденно и честно разсуждали *подлинные* люди тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Станкевичъ, переживая искреннее увлеченіе, писалъ: «Потребность любви должна быть вызвана не бѣдностію души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ кругомъ себя помощи; нѣтъ,—любовь должна выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силы и дѣятельности и отыскивающаго въ самой любви только новую, высшую, полнѣйшую жизнь».

Это, пожалуй, можетъ показаться праздной метафизикой и резонерствомъ. Но здѣсь слово не расходится съ дѣломъ. Мы должны ожидать, что влюбленный останется вѣренъ *идейному* представленію о любви и въ своей жизни. И Станкевичъ именно такъ и поступилъ. Самоотверженная

мысль, непреклонная совѣсть всегда готовы стать на пути къ личному счастью, а молодость отличается еще своимъ особеннымъ фанатизмомъ, и въ результатѣ предъ нами своего рода аскетъ на почвѣ высокоразвитаго гуманнаго чувства и безграничныхъ общественныхъ стремленій.

У Рудина и на этотъ разъ мы встрѣчаемъ яркіе отголоски только-что описаннаго явленія. Лежневъ разсказываетъ, какъ онъ влюбился въ «предобренькую» дѣвушку, открылъ свое чувство Рудину, и тотъ отнесся къ факту на первый взглядъ въ духѣ своихъ современниковъ-философовъ: «поздравилъ, обнявъ меня», говоритъ Лежневъ «и тотчасъ же пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія».

Рудинъ, слѣдовательно, взглянулъ на чувство Лежнева съ точки зрѣнія извѣстныхъ идей и, вѣроятно, въ его рѣчахъ было не мало мотивовъ, знакомыхъ намъ по признаніямъ Станкевича, Бѣлинскаго и Герцена, писавшаго къ невѣстѣ письма изъ далекой провинціи. Но сущность не въ словахъ, даже не въ идеяхъ, а въ нравственномъ результатѣ, вытекающемъ изъ словъ и идей. У Рудина онъ совершенно другой, чѣмъ у его *историческихъ* сверстниковъ. У тѣхъ анализъ чувства любви усиливалъ сознаніе нравственной отвѣтственности, заставляя ихъ переживать настоящую гамлетовскую драму и, наконецъ, приводилъ къ самопожертвованію во имя *человѣческаго достоинства*. Совершенно иначе отзываются рѣчи Рудина на Лежневѣ.

«Я уши развѣсилъ», повѣствуетъ бывшій влюбленный... «Слова его подѣйствовали на меня необыкновенно. Уваженіе я къ себѣ вдругъ возымѣлъ удивительное, видъ принялъ серьезный и смѣяться пересталъ. Помнится, я даже ходить началъ тогда осторожнѣе, точно у меня въ груди находился сосудъ, полный драгоцѣнной влаги, которую я боялся расплескать... Я былъ очень счастливъ, тѣмъ болѣе, что ко мнѣ благоволили явно»...

Таковы послѣдствія рудинскаго краснорѣчія, и намъ невольно припоминается фигура также изъ породы байронствующихъ, но уже вовсе карикатурная и мелодраматиче-

ская—Грушницкій. Несомнѣнно, у Лежнева также «какой-то смѣшной восторгъ блисталъ въ глазахъ», онъ также говорилъ «очень важно», полунамеками, съ сожалѣніемъ ко всѣмъ, неосчастливленнымъ и непосвященнымъ въ великія таинства его любви... Если Рудинъ могъ внушить такія настроенія своему другу, что же могъ испытывать онъ самъ? Отнюдь не болѣе возвышенныя чувства, чѣмъ Печоринъ рядомъ съ княжной Мери.

Послушайте, какъ Рудинъ объясняетъ Натальѣ свое будущее.

«Любовь» (при этомъ словѣ онъ пожалъ плечомъ)... Любовь—не для меня, я... ея не стою; женщина, которая любитъ, въ правѣ требовать всего человѣка, а я ужъ весь отдаться не могу. Притомъ, нравиться — это дѣло юношей: я слишкомъ старъ. Куда мнѣ кружить чужія головы? Дай Богъ свою сносить на плечахъ»!

Иллюзія полная: стоитъ фамилію Рудинъ подмѣнить какой-нибудь демонической кличкой, и предъ нами самый настоящій «герой нашего времени» или просто «современный герой». Разница только въ исходной точкѣ: тамъ—«наука любви», здѣсь нѣмецкая философія, безпрестанно переходящая къ той же наукѣ. На байроническомъ плащѣ прибавилось нѣсколько новыхъ галуновъ и лентъ: это ходячія идеи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Но плащъ остался тотъ же, и въ лицѣ Рудина мы видимъ только новую варіацію на старую тему, новое изданіе, дополненное и исправленное, уже давно всѣми прочитанной книги. *Рудинъ—московскій чайльдъ-гарольдъ сороковыхъ годовъ*, другими словами: такое же карикатурное отраженіе гегельянства, какимъ наши демоны были для байронизма. И тогда и теперь рядомъ шли два теченія. Одно преисполнено великаго историческаго и общественнаго значенія, другое—подражательное, модное, разсчитанное на внѣшній эффектъ и эгоистическое самоуслажденіе. Байронизмъ въ его истинно-культурномъ значеніи—благородный протестъ личности противъ обветшалыхъ основъ общества, протестъ свободной личной совѣсти противъ стадныхъ инстинктовъ

толпы, борьба за человѣческое достоинство и права разума. И эти силы байронизма сыграли великую роль на Западѣ и у насъ,—въ лицѣ нашихъ геніальныхъ поэтовъ. Пушкинъ, среди повальнаго аристократическаго и чиновнаго презрѣнія къ литературѣ, нашелъ въ себѣ мужество — открыто заявить о значеніи поэта, какъ серьезнаго дѣятеля, поэзіи,— какъ общественнаго служенія. Лермонтовъ, проникнутый тѣмъ же сознаніемъ личной мощи, сумѣлъ спасти яркій огонь вдохновенія отъ свѣтской пошлости и леденящаго равнодушія и неразумія ближайшихъ друзей и родственниковъ. Но Пушкинъ въ то же время облекался въ мантію человѣконенавистничества, Лермонтовъ хотѣлъ казаться Мефистофелемъ и смертоноснымъ демономъ. И оба поэта воплотили въ своихъ произведеніяхъ этотъ *низменный* сортъ байронизма, сами наказали себя—одинъ въ лицѣ Онѣгина, другой—Печорина и отчасти Грушницкаго. Пушкинъ успѣлъ окончательно сбросить съ себя театральные уборы и произнесъ достойный приговоръ даже надъ своимъ учителемъ, Лермонтовъ несомнѣнно шелъ къ тому же результату,— смерть захватила его на пути, и онъ унесъ въ могилу еще нѣкоторые отзвуки юношескаго демонизма.

Гегельянство вызвало аналогичныя явленія. Рядомъ съ людьми глубокой вѣры и восторженнаго идеализма шумѣли мелкіе эксплуататоры великихъ идей и благороднѣйшихъ стремленій. Бѣлинскій могъ все забыть, разрѣшая вопросъ о существованіи Бога. Станкевичъ могъ негодовать на свои физическія немощи изъ страха не выполнить начертанной программы. Но здѣсь же выростали живыя карикатуры на увлеченіе Бѣлинскаго и гнѣвъ Станкевича, и въ то время, когда для однихъ въ неустанной мысли заключались и мука и счастье, для другихъ—и философія и поэзія служили только бутафорскими средствами для новаго спектакля на тему демонизма.

Рудинъ идетъ по этому пути до конца своего романа съ Натальей. Любитъ онъ ее или нѣтъ? Отъ рѣшенія этого вопроса зависитъ нравственная оцѣнка его поведенія въ послѣднемъ свиданіи. Если любитъ, тогда его ко-

лебанія — трусость, боязнь нравственной и практической отвѣтственности. Если нѣтъ—его резонерство въ критическій моментъ, ни болѣе ни менѣе, какъ желаніе обычнымъ словоизверженіемъ прикрыть отсутствіе настоящаго чувства. Критики обыкновенно рѣшали вопросъ въ первомъ смыслѣ: діалектикъ и мыслитель оказывался несостоятельнымъ въ практическомъ отношеніи. Объясненіе весьма простое, давно уже установившееся для всѣхъ гамлетовъ, но только къ Рудину оно не примѣнимо. Онъ *не любитъ* Натальи настолько, чтобы связать съ нею свою жизнь. И это общее свойство демоновъ мелкаго разбора. Они *pousseues de grands sentiments*, какъ выражались въ XVII вѣкѣ, и на самомъ дѣлѣ такъ же мало способны къ сильнымъ органическимъ увлеченіямъ, какъ и ихъ первообразы. Грушницкій безъ всякихъ стѣсненій изображаетъ «большія чувства», — Рудинъ несравненно умнѣе, и поэтому его заявленія скромнѣе, но смыслъ тотъ же.

Наталья только-что призналась ему въ любви. Рудинъ остается одинъ при лунномъ свѣтѣ, произноситъ всего нѣсколько словъ, но какъ краснорѣчивы эти слова!

— Я счастливъ, — произнесъ онъ вполголоса. — Да, я счастливъ, — повторилъ онъ, какъ бы желая убѣдить самого себя.

«Онъ выпрямилъ свой станъ, встряхнулъ кудрями и пошелъ проворно въ садъ, весело размахивая руками».

Дальше мы узнаемъ о свиданіи Рудина съ Волынцевымъ: осчастливленный герой вздумалъ подѣлиться своимъ счастіемъ съ завѣдомымъ соперникомъ... Точь-въ-точь, какъ Грушницкій приходитъ къ Печорину изливать свои восторги... Поступаетъ ли такъ влюбленный, умѣющій беречь свое чувство и цѣнить любимую дѣвушку? Очевидно, и здѣсь для Рудина весь вопросъ въ интересномъ зрѣлищѣ, въ настроеніи, увлекающемъ его самого съ художественной, артистической точки зрѣнія? Пятый актъ всей этой трагикомедіи вполнѣ достоинъ начала. Мы говоримъ о письмѣ Рудина къ Натальѣ.

Онъ въ послѣдній разъ обращается къ ней, послѣ раз-

луки, повергшей ее въ отчаяніе. И неужели у него не нашлось бы простыхъ сердечныхъ словъ даже въ эту минуту, если бы для него разлука являлась дѣйствительно лишеніемъ, разрывомъ съ единственно-дорогимъ человѣкомъ? У Рудина совершенно не оказывается такихъ словъ, онъ письмо сочиняетъ, какъ нѣкую адвокатскую рѣчь, по всѣмъ правиламъ реторики, съ умными разсужденіями, съ чувствительными изліяніями, съ лирическимъ безпорядкомъ и безчисленными многоточіями. Вотъ разсказъ объ этихъ странныхъ минутахъ «несчастнаго любовника».

«Онъ очень долго сидѣлъ надъ этимъ письмомъ, многое въ немъ перемарывалъ и передѣлывалъ и, тщательно списавъ его на тонкомъ листѣ почтовой бумаги, сложилъ его какъ можно мельче и положилъ въ карманъ. Съ грустью на лицѣ прошелся онъ нѣсколько разъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сѣлъ на кресло передъ окномъ, подперся рукою, слеза тихо выступила на его рѣсницы... Онъ всталъ, застегнулся на всѣ пуговицы, позвалъ человѣка и велѣлъ спросить у Дарьи Михайловны, можетъ ли онъ ее видѣть».

Вы чувствуете ироническій тонъ разсказчика, и это вполнѣ естественно. Вся сцена искусственна, театральна, Рудинъ не забываетъ играть роль во всякомъ положеніи, «льются ли рѣкой» его слова или тихая слеза выступаетъ на его рѣсницы... Самое письмо лишено цѣльнаго чувства, лишено даже открытой объединяющей идеи. Сначала Рудинъ изображаетъ себя осужденнымъ на вѣчное одиночество: это величественная картина, намекъ на демоническую карьеру. Въ концѣ письма другой мотивъ нераздѣленныхъ страданій: самобичеваніе. Онъ «неоконченное существо», онъ «весь разсыпался при первомъ препятствіи», «испугался отвѣтственности», и поэтому «недостоинъ» Натальи.

Очевидно, одно представленіе уничтожаетъ другое. То герой вообще врядъ ли способенъ «любить любовью сердца», то, полюбивъ, онъ бѣжитъ отъ отвѣтственности... Письмо, такимъ образомъ, въ послѣднихъ аккордахъ воспроизводитъ излюбленныя темы байроническихъ рѣчей Рудина: геніаль-

ничанье рядомъ съ самоуниженіемъ, разсчитаннымъ на созвучныя волненія женскаго сердца.

И Рудинъ пока сходитъ со сцены, не сказавъ намъ о себѣ ни одного яснаго, прочнаго, правдиваго слова, устроивъ рядъ интересныхъ спектаклей для героини, а въ сущности повторивъ старый репертуаръ при новомъ освѣщеніи,—репертуаръ байронизма съ гегельянскими декораціями.

Но пусть Рудинъ сколько угодно притворяется таинственнымъ незнакомцемъ, авторъ все время на сторожѣ, не пропускаетъ ни одного поддѣльнаго настроенія. Часто получается впечатлѣніе, будто авторъ преднамѣренно выводитъ своего героя на всеобщее посмѣшище. Таково столкновеніе Рудина съ Волынцевымъ за обѣдомъ, таково свиданіе его съ тѣмъ же Волынцевымъ—факты едва вѣроятной трусости и наивности, такова сцена, сопровождающая письмо къ Натальѣ. Наконецъ, въ романѣ существуетъ особое лицо, неистощимое на критику и жестокія насмѣшки надъ Рудинымъ—его старый товарищъ Лежневъ. Мы знаемъ,—Лежневъ ревнуетъ Александру Павловну къ Рудину, но авторъ стремится изобразить его безукоризненнымъ джентльменомъ, умнымъ, положительнымъ человѣкомъ, неизмѣнно держитъ его на приличной высотѣ сравнительно съ байронствующимъ и въ то же время трусливымъ Рудинымъ: въ результатѣ чувство ревности затушевывается, и предъ нами строгій, но справедливый судья.

Положеніе автора, слѣдовательно, вполнѣ очевидно. Онъ обыкновенно сурово относится къ своему герою и даже не хочетъ скрывать этого чувства. Смыслъ такого отношенія, послѣ извѣстнаго намъ личнаго нравственнаго развитія автора, вполнѣ понятенъ. Тургеневъ въ лицѣ Рудина совершаетъ надъ собой тотъ самый судъ художника, какой искони совершали великіе писатели: Гете въ *Вертерѣ* и отчасти въ *Фаустѣ*, Шекспиръ въ трагедіяхъ *Ромео и Джульетта* и въ *Гамлетѣ*, Пушкинъ въ *Евгеніи Онѣгинѣ*. Это—вдохновенныя автобіографіи, это, по выраженію Лермонтова, муки, оторванныя отъ сердца и воплощенныя въ образы. Гете на самомъ себѣ объяснилъ психоло-

гію этого явленія. Поэта, постигнутаго невзгодой, страстью или тоской, неотступно преслѣдовало стремленіе — возсоздать въ художественномъ произведеніи лично пережитое. И разъ произведеніе возникало, — исчезала и сердечная боль и душевная истома. Такимъ путемъ созданъ *Вертеръ* въ молодые годы и *Маріенбадская элегія* въ преклонной старости. И писатель долженъ испытать истинное нравственное удовлетвореніе, развѣнчивая въ своемъ созданіи собственныя ошибки и неразумныя увлеченія.

У Тургенева, мы знаемъ, лежали на совѣсти подобныя увлеченія. Онъ не хуже Рудина устраивалъ словесныя турниры ради эффекта, поражалъ слушателей ослѣпительной вереницей идей, образовъ, и вдохновленный «общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ», «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній», — еще легче, чѣмъ Рудинъ, «возвышался до краснорѣчія, до поэзіи». У Ивана Сергѣевича, несомнѣнно, была также своя восторженная публика, но были и Лежневы. Именно они видѣли въ немъ легкомысленнаго краснобая, артиста и виртуоза, не имѣющаго за душой никакихъ прочныхъ, продуманныхъ убѣжденій. «Фраза и поза» характеризовали цѣлый періодъ въ личной жизни геніальнаго художника, и ему ли было не «оторвать», наконецъ, отъ своей личности эти крикливые уборы? И онъ оторвалъ и заклеймилъ ихъ безпощаднымъ смѣхомъ и даже гнѣвомъ въ лицѣ Рудина.

Таковъ, по нашему мнѣнію, смыслъ перваго тургеневскаго романа,—несравненно болѣе автобіографическій, чѣмъ историкообщественный. И именно этотъ смыслъ возвышаетъ значеніе романа и бросаетъ вѣрный свѣтъ на нравственную природу художника и его дальнѣйшій путь развитія. Рудинъ послужилъ духовнымъ самоочищеніемъ для автора. Тургеневу необходимо было освободиться отъ юношескихъ ослѣпленій, отъ праздной игры тщеславнаго воображенія, чтобы вполнѣ сознательно отнестись къ окружающей дѣйствительности и сказать «прочное слово», столь для него желанное и жадно искомое.

И. Ивановъ.

*) Мы прослѣдили шагъ за шагомъ всю жизнь этого несчастнаго русскаго скитальца «сороковыхъ годовъ». Что же такое въ концѣ концовъ Рудинъ? въ чемъ заключается его общественно-историческое значеніе? что хотѣлъ сказать намъ авторъ своимъ романомъ?

Съ отрицательными сторонами въ характерѣ Рудина мы уже достаточно познакомились на самой его жизни, и, должны сознаться, общее впечатлѣніе получается довольно-таки грустное. Будемъ же вполнѣ безпристрастны и скажемъ теперь, что въ немъ есть хорошаго,—а хорошее, несомнѣнно, есть, потому что, несмотря на всѣ свои недостатки, Рудинъ все-таки влечетъ насъ къ себѣ, и мы даже, пожалуй, готовы плакать надъ его даромъ загубленной жизнью. Устами Лежнева самъ авторъ какъ бы выступаетъ на защиту своего героя. Въ отвѣтъ на рѣзкую характеристику Рудина, сдѣланную Пигасовымъ, Лежневъ между прочимъ говоритъ: «Въ Рудинѣ есть энтузіазмъ, а это самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы, мы заснули, мы застыли,—и спасибо тому, кто хоть на мигъ расшевелитъ и согрѣетъ. Рудинъ—не актеръ, не надувало, не плутъ; онъ живетъ на чужой счетъ не какъ проныра, а какъ ребенокъ; онъ состоянія себѣ не составитъ. Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего именно потому, что въ немъ натуры, крови нѣтъ; но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы? что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣніи исполнять собственные замыслы?» «Рудинъ сумѣлъ не только потрясти тебя,—онъ съ мѣста тебя сдвинетъ, онъ не дастъ тебѣ остановиться, онъ до основанія перевернетъ, зажжетъ тебя»,—съ своей стороны какъ бы подтверждаетъ Басистовъ. Прибавимъ къ этому собственный взглядъ Рудина на причины его неудавшейся жизни. Въ послѣднее свое случайное сви-

*) К. Чернышевъ. „Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“. Спб. 1896 г.

даніе съ Лежневымъ въ гостиницѣ губернскаго города Рудинъ между прочимъ говоритъ: «Маялся я много, скитался не однимъ тѣломъ, душой скитался... Сколько разъ мои собственныя слова становились мнѣ противными,—не говорю уже въ моихъ устахъ, но и въ устахъ людей, раздѣлявшихъ мои мнѣнія. Я переиспыталъ и переизвѣдалъ многое... Начиналъ я жить, принимался за новое разъ двадцать и... Строить я никогда ничего не умѣлъ; да и мудрено строить, когда и почвы-то подъ ногами нѣту, когда самому приходится собственный свой фундаментъ создавать... Планы у меня бывали громадные: я мечталъ о разныхъ усовершенствованіяхъ, нововведеніяхъ но... строить-то ничего не умѣлъ, хотя свѣдѣній у меня довольно, желанія добра того не меньше... Да, я могу сказать вмѣстѣ съ Кольцовымъ: «До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что ужъ шагу ступить некуда...» И, между тѣмъ, неужели для меня такъ таки нѣтъ дѣла на землѣ? Вѣдь, чувствовалъ же я въ себѣ присутствіе силъ, не всѣмъ людямъ данныхъ! Отчего же эти силы остаются безплодными?.. Я хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой—принести хотя ничтожную пользу... Нѣтъ, не удается!.... И я скажу, отчего это: слова, все слова! дѣлъ не было!.. Фраза меня сгубила, она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться...»

И намъ жаль Рудина,—глубоко, сердечно жаль. Это человѣкъ, отъ природы, дѣйствительно, обладающій такими силами, какія не всѣмъ людямъ даются; у него умъ глубокій, философскій, широкообъемлющій; къ тому же—превосходная память и рѣдкій даръ слова. Рудинъ—натура горячая, глубокая, воспріимчивая, въ высшей степени отзывчивая; если онъ чѣмъ увлекается, то увлекается всѣмъ своимъ существомъ,—онъ обо всемъ забываетъ, кромѣ того, что занимаетъ его умъ, волнуетъ его сердце, — онъ весь переполняется тѣми идеями, которыя овладѣли его умомъ, возбудили работу мысли и воображенія,—и онъ отдается съ жаромъ, искренно вѣритъ въ то, что говоритъ, искренно убѣжденъ въ томъ, что въ данную минуту его вдохновляетъ.

Рудинъ не только самъ искренно, горячо увлекается, — онъ обладаетъ рѣдкою способностью дѣйствительно увлекать за собою всѣхъ окружающихъ: его горячее, искреннее, вдохновенное слово проникаетъ въ самую душу, именно «потрясаетъ», — какъ выражается Басистовъ, — «до основанія переворачиваетъ, зажигаетъ». Къ тому же, онъ человѣкъ образованный, безспорно обладаетъ многими свѣдѣніями, много читалъ, много думалъ, много разсуждалъ, — наконецъ, многое слышалъ и видѣлъ. Въ его вдохновенной рѣчи звучатъ великія истины добра, чести, долга, — онъ говоритъ о томъ, что «придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка, — и не только говоритъ, но, въ извѣстной степени, даже стремится осуществить свои идеи въ жизни, жаждетъ принести хотя небольшую пользу, и для этого составляетъ планы, проекты, съ жаромъ иной разъ принимается за самое дѣло, но каждый разъ, — малѣйшее препятствіе, и весь планъ разсыпается, энергія ослабѣваетъ, и все дѣло лопается подобно мыльному пузырю. А все оттого, что Рудинъ «никогда ничего не умѣетъ строить»: строить же не умѣлъ потому, что у него никакой почвы подъ ногами не было, — и это наиболѣе существенная черта въ типѣ Рудина: «безпочвенность» вотъ разгадка того, почему у Рудина отъ слова такъ далеко было до настоящаго дѣла — «слова, все слова! дѣлъ не было!» Безпочвенность же Рудина заключалась главнымъ образомъ въ томъ, что онъ не зналъ окружающей его дѣйствительной жизни, не зналъ ея насущныхъ нуждъ и запросовъ, не умѣлъ, никогда не учился, совершенно не привыкъ всматриваться въ жизнь, изучать ее: во-первыхъ, съ самаго дѣтства его всячески отстраняли отъ столкновенія съ жизнью, оберегая его личный покой; во-вторыхъ, образованіе, которое онъ получилъ, отличаясь излишней отвлеченностью знаній, еще болѣе удалило его отъ дѣйствительной жизни, сосредоточивъ его умъ и энергію на анализѣ и отвлеченной разработкѣ высшихъ вопросовъ нравственности и соціальныхъ отношеній. Рядомъ съ этимъ, — барское воспитаніе совершенно не пріучило Рудина къ труду постепенному, упорному, нето-

ропливому, усидчивому: онъ слишкомъ привыкъ получать все скоро, безъ труда, готовымъ. Къ этому нужно прибавить, что, именно благодаря тому же барскому воспитанію, въ Рудинѣ въ крайней степени развито было самолюбіе: съ дѣтства онъ привыкъ быть божкомъ, — эта привычка укрѣплялась въ немъ, какъ мы видѣли, и въ университетскіе годы—и поэтому Рудинъ былъ слишкомъ чутокъ ко всему, что въ той или другой степени затрогивало его самолюбіе. Вслѣдствіе всего этого у него не было выдержки, необходимой во всякомъ дѣлѣ: онъ горячо, съ жаромъ хватался за дѣло, ставилъ себѣ широкія, возвышенныя задачи, развивалъ на словахъ величественные планы, увлекался ими самъ, увлекалъ другихъ, но, принявшись за самое осуществленіе своихъ задачъ, онъ вскорѣ терялся, потому что не умѣлъ считаться съ реальной дѣйствительностью, не могъ справиться съ препятствіями, особенно съ такими, которыя такъ или иначе оскорбляли въ немъ самолюбіе.

Рудинъ—это испорченный воспитаніемъ и неправильно, односторонне развитой образованіемъ, способный, самъ по себѣ съ очень хорошими задатками души и сердца русскій баричъ, который вслѣдствіе своей безпочвенности не находитъ себѣ мѣста и дѣла, и осужденъ на вѣчное скитальчество и страданіе отъ сознанія своей непригодности ни въ чемъ и нигдѣ.

Рудинъ—типъ отрицательный, и его общественно-историческое значеніе очень велико: онъ основной типъ, можно сказать, для нѣсколькихъ поколѣній. Рудинъ совмѣщаетъ въ себѣ очень многія черты своихъ предшественниковъ, а также многія характерныя особенности своихъ преемниковъ; въ немъ воплотилось именно нѣчто какъ бы непреходящее, одно изъ наиболѣе характерныхъ свойствъ русскаго культурнаго человѣка. Его связь съ Онѣгинымъ, Чацкимъ и Печоринымъ несомнѣнна; многое роднитъ его съ ними и прежде всего та общественная среда, которая всѣхъ ихъ воспитала и на всю жизнь наложила на нихъ неизгладимый отпечатокъ, отъ котораго всѣ они страдаютъ:

всѣ четверо они баричи, питомцы крѣпостничества, вскормленные на готовыхъ хлѣбахъ, выхоженные и выхоленные готовымъ, даровымъ крестьянскимъ трудомъ, избалованные, изнѣженные, привыкшіе относиться къ жизни безъ заботъ, безъ всякаго интереса къ ея дѣйствительнымъ нуждамъ, сложившіеся и окончательно развившіеся въ сторонѣ отъ настоящей, реальной повседневной жизни, — какъ бы въ особой теплицѣ, которая, въ лучшемъ случаѣ, напоена высокими отвлеченными идеями, философскими отвлеченными истинами.

Съ Онѣгинымъ Рудина въ особенности сближаетъ именно это барское воспитаніе: по отношенію къ нему воспитатели также заботились главнымъ образомъ о томъ, чтобы «не измучилось дитя», чтобы «учить всему шутя», самоотверженно любившая его мать, видимо, мечтала сдѣлать изъ своего Мити настоящаго барича, и только не зависѣвшія отъ нея обстоятельства дали нѣсколько другое направленіе и характеру и жизни ея любимца. Съ Печоринымъ въ особенности сближаетъ Рудина развитое опять-таки подъ вліяніемъ барскаго воспитанія самолюбіе, тонкое, эгоистическое, обидчивое; оба они привыкли себя видѣть не иначе, какъ въ центрѣ среди другихъ, окруженными всеобщимъ вниманіемъ, удивленіемъ и поклоненіемъ; оба они искренно увлекаются этимъ своимъ положеніемъ и, такъ сказать, на поддержаніе его тратятъ свои силы и способности, мало думая о другихъ и о чемъ-нибудь другомъ. Кромѣ того, въ Рудинѣ такъ же, какъ и въ Печоринѣ, мы замѣчаемъ склонность къ анализу, къ разсужденію: «Ты чихнешь»,— говоритъ про него Пигасовъ, «онъ тебѣ сейчасъ станетъ доказывать, почему ты именно чихнулъ, а не кашлянулъ»... Съ Чацкимъ сближаетъ Рудина образованіе,— образованіе высшее, университетское, заграничное,—и мы, несомнѣнно, чувствовали бы еще болѣе близости между этими двумя типами, если бы Грибоѣдовъ былъ болѣе объективенъ въ созданіи своего Чацкаго. Мы видѣли, что Чацкій, по крайней мѣрѣ на половину, замѣняетъ собою самого автора,— и въ этомъ отношеніи Рудинъ несравненно жизненнѣе Чац-

каго: онъ, дѣйствительно, живое, типическое лицо,—живой, типическій представитель своего поколѣнія. Такъ же, какъ и Чацкій, онъ глубоко проникнутъ возвышенными взглядами, вдохновленъ ими, горячо говоритъ о нихъ, отстаиваетъ ихъ преимущества. Про нихъ обоихъ одинаково можно сказать, что они своимъ энтузіазмомъ пробуждаютъ насъ отъ равнодушія и апатіи, согрѣваютъ своимъ горячимъ словомъ, сѣютъ въ наши сердца добрыя сѣмена, своимъ горячимъ воодушевленіемъ подвигаютъ насъ на служеніе добру, истинѣ, родинѣ, человѣчеству.

Таковы общія нити, которыя связываютъ Рудина со старшимъ поколѣніемъ «лишнихъ людей»; но въ немъ есть и такія черты, которыми онъ, такъ сказать, оставляетъ Онѣгиныхъ и Печориныхъ позади себя и, несмотря на свои крупные недостатки, несмотря на свое близкое родство съ тѣми же самыми Печориными,—свидѣтельствуетъ намъ объ общественномъ ростѣ,—хотя о слабомъ, а все-таки замѣтномъ поступательномъ движеніи въ развитіи нашего общества.

Опять-таки сравнивая Рудина съ Онѣгинымъ и Печоринымъ, мы должны сказать, что въ немъ мы все-таки нѣсколько меньше видимъ барства, — особенно въ его стремленіяхъ, образѣ жизни, интересахъ: его жизнь, во всякомъ случаѣ, гораздо осмысленнѣе, нежели у Онѣгина и Печорина: его интересы и стремленія выше; его дѣятельность нѣсколько опредѣленнѣе и разумнѣе; наконецъ, онъ глубже, сознательнѣе проникнутъ лучшими взглядами на жизнь, горячѣе вдохновленъ ими, несравненно ближе къ осуществленію ихъ въ самой жизни. Вѣдь, положимъ, хотя и двухмѣсячное гощеніе у Ласунской все-таки далеко не то, что Онѣгинская разсѣянная жизнь въ Петербургѣ и Печоринскія похожденія среди «минеральнаго» общества; объ Рудинѣ можно сказать даже, что онъ почти далекъ отъ настоящей пустой, свѣтской сутолоки, отъ того прожиганія жизни, въ которомъ такіе знатоки своего дѣла Онѣгинъ и Печоринъ. Мы видѣли, въ чемъ главнымъ образомъ проходила жизнь Рудина, слышали объ этомъ отъ него самого въ то время,

когда онъ разсказывалъ о своемъ скитальчествѣ Лежневу. Жизнь Рудина, при всѣхъ его барскихъ привычкахъ, при всѣхъ его слабостяхъ и недостаткахъ, наполняется все-таки несравненно болѣе разумнымъ: правда, онъ только говоритъ, — но мы уже знаемъ, о чемъ онъ говоритъ, и какъ это отражается на окружающихъ, и, конечно, его даже и «краснобайство» все-таки несравненно выше, нежели Печоринскія прогулки по Кавказскимъ ущельямъ и по Черному морю. Далѣе, то, что въ Онѣгинѣ было лишь, такъ сказать, въ зародышѣ и не выдерживало столкновенія съ привычками пустой, свѣтской жизни, — мы говоримъ объ интересѣ къ наукѣ, литературѣ, къ серьезнымъ вопросамъ жизни, — то, что въ Печоринѣ было скорѣе лишь предметомъ самомнѣнія, нежели стремленія примѣнить къ дѣлу, провести въ жизнь, — то у Рудина является въ извѣстной степени предметомъ серьезнаго изученія, хотя и односторонне-отвлеченнаго, глубже захватываетъ его душу и сердце, составляетъ собою главный матеріалъ для работы ума, скажемъ даже, — наполняетъ собою его жизнь. Наконецъ, то, что у Онѣгина выражалось въ слабыхъ, отдаленныхъ порывахъ, вродѣ его попытокъ улучшить бытъ своихъ крестьянъ, — что, далѣе, — у Печорина переходило въ злобныя, гибельныя для окружающихъ затѣи и продѣлки, въ которыхъ онъ искалъ хотя нѣкотораго удовлетворенія своей жаждѣ дѣятельности и какъ бы хотѣлъ ими отомстить за свою неудовлетворенность, — то у Рудина является въ болѣе разумномъ, въ болѣе сознательномъ, глубокомъ и серьезномъ стремленіи къ настоящей, дѣятельности, и не его вина, что онъ плохо умѣлъ строить — что у него не было настоящей почвы подъ ногами.

Рудинъ ближе къ намъ и для насъ; мы его лучше понимаемъ; въ немъ есть родственное намъ; мы сами, если захотимъ быть совершенно искренними, если не вслухъ, то самимъ себѣ должны будемъ сознаться, что и въ насъ самихъ, несмотря на то, что цѣлые полвѣка отдѣляетъ насъ отъ Рудина, — есть не мало Рудинскаго. Даже лучшіе изъ насъ и до сихъ поръ еще не могутъ похвалиться настоящимъ знаніемъ окружающей жизни, и скорѣе склонны изу-

чать всевозможные вопросы по книжкамъ и отвлеченно разсуждать о нихъ, нежели дѣйствовать, — и дѣйствовать, конечно, съ пользой, для чего безусловно необходимо знать жизнь, быть близкимъ къ ней, понимать ея истинныя нужды и запросы. У насъ тоже нерѣдко настоящей-то почвы подъ ногами нѣтъ, и мы далеко еще не свободны отъ того, чтобы умно поговорить, посудить и порядить, предлагать хитроумные совѣты и проекты, разбирать и критиковать, вмѣсто того, чтобы дѣлать.

Своимъ «Рудинымъ» нашъ поэтъ какъ бы говоритъ намъ: образованіе—великое достоинство въ человѣкѣ; оно облагораживаетъ, возвышаетъ человѣка, расширяетъ его умственный кругозоръ, вводитъ его въ кругъ высшихъ сравнительно съ обыкновенными житейскими интересами идей. дѣлаетъ его носителемъ и провозвѣстникомъ истины, свѣта, является въ его рукахъ могущественнымъ средствомъ для дѣятельной борьбы на пользу человѣчества, но лишь при томъ непремѣнномъ условіи, чтобы человѣкъ съ дѣтства привыкалъ всматриваться въ жизнь, ближе знакомился бы съ нею, изучалъ бы ее, старался бы уяснить себѣ взаимное отношеніе между дѣйствительной жизнью, ея нуждами, и тѣми истинами, тѣми знаніями, которыя сообщаются образованіемъ, — пріучалъ бы себя къ серьезному, упорному, терпѣливому труду, подготавливалъ бы себя разумно къ настоящей жизненной дѣятельности. И только въ этомъ случаѣ человѣкъ будетъ знать, гдѣ его мѣсто, куда ему итти, за что и какъ взяться, только въ этомъ случаѣ его силы и знанія найдутъ себѣ практическое, полезное примѣненіе, а это въ свою очередь доставитъ самому человѣку нравственное удовлетвореніе и человѣкъ не будетъ чувствовать себя лишнимъ, никому ненужнымъ скитальцемъ, какъ это случилось съ Рудинымъ.

И тѣмъ болѣе намъ жаль нашего «лишняго человѣка», нашего измученнаго жизненными неудачами скитальца, что въ его лицѣ гибло хорошее, доброе, честное сердце, гибли безспорно выдающіяся силы, которыя не многимъ изъ насъ даются, гибла рѣдкая способность искренно, глубоко, горячо

отзываться на все высокое и прекрасное, которой, многіе изъ людей могутъ позавидовать. Мы отрицательно отнеслись къ Рудинымъ, мы рѣзко отмѣтили ихъ безпочвенность, безплодное краснобайство, непригодность ни для какого серьезнаго дѣла, — но у насъ все-таки рука не поднимется бросить въ нихъ камнемъ. Рудины все-таки влекутъ насъ къ себѣ своимъ горячимъ, искреннимъ, чистымъ отъ всякихъ расчетовъ увлеченіемъ; подобно Чацкому, они отвлекаютъ насъ отъ низменныхъ житейскихъ заботъ и желаній, и невольно заставляютъ заволноваться чѣмъ-нибудь болѣе возвышеннымъ; въ нихъ мы чувствуемъ молодое, горячее стремленіе къ добру, къ вѣчной правдѣ, къ справедливости; заражаясь ихъ увлеченіемъ, мы сами, какъ справедливо говоритъ Лежневъ, —съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, — чувствуемъ себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому; подъ вліяніемъ Рудиныхъ мы переживаемъ однѣ изъ лучшихъ минутъ нашей жизни, мы воспринимаемъ въ себѣ добрыя сѣмена ихъ краснорѣчія, которыя позднѣе, —можетъ быть, незамѣтно для насъ самихъ, —дадутъ въ нашей дѣятельности добрые плоды.

Присоединимся же къ тосту, который провозглашаетъ Лежневъ въ честь Рудиныхъ, — привѣтствуемъ въ ихъ лицѣ молодость, ея надежды, ея стремленія, ея довѣрчивость и честность, все то, отъ чего и въ двадцать лѣтъ бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки ничего не узнали и едва ли узнаемъ въ жизни...

К. Чернышевъ.

* * *

*) Рудинъ — одинъ изъ интереснѣйшихъ и значительнѣйшихъ русскихъ типовъ, изображенныхъ Тургеневымъ. Вся русская литература представляетъ немного примѣровъ та-

---

*) Арс. И. Введенскій. „Общественное самосознаніе въ русской литературѣ". „И. С. Тургеневъ". Спб. 1900 г.

кого яркаго и осмысленнаго изображенія явленій русской жизни. Нужно сказать, однако, что въ то время, когда Тургеневъ создавалъ свою повѣсть, типъ этотъ не былъ безусловною новостью въ русской литературѣ. Пушкинскій Онѣгинъ, Лермонтовскій Печоринъ были проявленіями этого-же типа, но только въ другомъ освѣщеніи и съ нѣсколько иными темпераментами героевъ. Уже написанъ былъ и напечатанъ «Сонъ Обломова», ясно обрисовывавшій характеръ и значеніе героя Гончарова, изображенъ былъ съ огромною силою Гоголевскаго генія и Гоголевскій Тентетниковъ, соединявшій въ себѣ черты всѣхъ названныхъ героевъ, но только въ примѣненіи къ самому заурядному человѣку, безъ малѣйшихъ романтическихъ прикрасъ. Все это было уже на лицо въ русской литературѣ. И если изображеніе Тентетникова не было еще распространено печатью, о немъ уже могли быть тѣ или другія представленія. Тѣмъ не менѣе, «Рудинъ» былъ произведеніемъ для своего времени совершенно оригинальнымъ и самостоятельнымъ. Родственность выше названныхъ героевъ, принадлежность ихъ къ общему типу не была тогда еще вполнѣ ясна, по обстоятельствамъ того времени, а Тургеневъ вложилъ въ своего героя такія самостоятельныя черты, которыя дѣлали его мало похожимъ на Пушкинскаго и Лермонтовскаго героевъ. При томъ Рудинъ былъ человѣкъ болѣе поздняго періода, болѣе молодого русскаго поколѣнія, чѣмъ Онѣгинъ и Печоринъ, нѣсколько отличный отъ этихъ послѣднихъ.

Тургеневъ взялъ своего героя съ совершенно новой точки зрѣнія, чѣмъ предшествовавшіе великіе русскіе писатели. И Онѣгинъ и Печоринъ представлены романтическими героями, разочаровавшимися въ жизни, на манеръ до нѣкоторой степени героевъ Байрона. Но собственно говоря, Онѣгинъ, въ правдивости изображенія исключающій всякую мысль о предвзятости и занимающій въ этомъ смыслѣ первое мѣсто между изображеніями многочисленной русской семьи «лишнихъ» людей, не даетъ яснаго представленія о причинахъ своей разочарованности и толь-

ко при внимательномъ анализѣ можно открыть сущность его духовной природы. Печоринъ же былъ повтореніемъ его, съ разоблаченіемъ отрицательныхъ, злыхъ сторонъ типа. Между тѣмъ Тургеневъ не далъ своему Рудину никакой даже внѣшности разочарованія; онъ взялъ его идеалистомъ — и тѣмъ не менѣе Рудинъ оказался настолько же безплоднымъ въ практической дѣятельности на общественную пользу, какъ и его разочарованные предшественники. Художнику предстояло рѣшить неотразимый вопросъ: въ чемъ же причина этой странной бездѣятельности? И онъ, художественно изображая дѣйствительный типъ, невольно обставилъ его такими житейскими условіями, которыя поясняли его. Вслѣдствіе этого въ романѣ получился нѣкоторый элементъ тенденціи, замѣтный и для читателя.

Герой появляется передъ нами во всеоружіи ума и краснорѣчія въ деревенской гостиной московской барыни, претендующей на высшій аристократизмъ. Его обаяніе такъ сильно, что при его приближеніи Наташа встаетъ передъ нимъ, какъ будто бы онъ былъ, по ироническому замѣчанію автора, «путешествующій принцъ». Только одинъ Пигасовъ, очевидно видавшій виды, не поддается его вліянію. Но вскорѣ наступаетъ разочарованіе. Рудинъ оказывается просто краснобаемъ, не способнымъ ни къ какой практической дѣятельности. Благородныя слова на языкѣ — и довольно мелкіе помыслы внутри: желаніе и привычка первенствовать въ кружкѣ, который онъ избиралъ для себя. Авторъ чувствуетъ необходимость хоть нѣсколько выяснить своего героя, и вотъ Лежневъ разсказываетъ его идеалистическіе подвиги еще во времена студенчества.

Очевидно, Тургеневъ хотѣлъ намекнуть, что Рудинъ не теперь только таковъ передъ нами, а что онъ всегда таковъ по своей натурѣ, по натурѣ русскаго человѣка, возросшаго въ бездѣятельной помѣщичьей средѣ. Въ чемъ же сказалась эта натура? Во-первыхъ, въ необыкновенной способности усвоять, но не вырабатывать идеи и теоріи, усвоять безъ труда, слѣдовательно поверхностно, безъ вся-

кой глубины знанія. Во-вторыхъ, въ полной беззаботности насчетъ примѣненія этихъ идей и теорій къ жизни, въ нежеланіи знать окружающую дѣйствительность. Энтузіазмъ и пылъ героя въ головѣ, а не въ сердцѣ и нервахъ: онъ «холоденъ какъ ледъ». Въ-третьихъ, какъ объясненіе всего предыдущаго—онъ просто лѣнивъ, и предпочитаетъ жить на чужой счетъ, занимая деньги, чѣмъ искать полезной практической дѣятельности. Вотъ нѣсколько основныхъ свойствъ рудинской натуры. Ему невольно противопоставляется скромный дѣятель, боящійся красныхъ словъ и дѣлающій свое маленькое дѣло—Лежневъ. Отсюда выводилось ясное и простое заключеніе, что Тургеневымъ сказано: «побольше дѣла, вмѣсто словъ»—лозунгъ послѣдующаго поколѣнія.

Въ заключительной сценѣ съ Лежневымъ въ губернской гостиницѣ, картина, однако, нѣсколько мѣняется. Тургеневъ влагаетъ въ уста Лежнева многое, что смягчаетъ читателя въ его отношеніи къ Рудину. Здѣсь читатель узнаетъ, что не такъ ужъ лѣнивъ Рудинъ, какъ казалось, что въ видахъ практической дѣятельности онъ способенъ былъ долгое время прожить въ тяжелыхъ трудахъ въ какой-то землянкѣ. Далѣе оказывается, что онъ не способенъ въ видахъ практической жизни сдѣлать ничего, что носило бы печать непорядочности—неблагородство въ поступкахъ чуждо его натурѣ. Наконецъ, Лежневъ, говоритъ, что и «хорошее слово — тоже дѣло»... Съ чутьемъ истиннаго художника Тургеневъ угадалъ всю односторонность своей первой характеристики и, оставивъ ее на отвѣтственности извѣстнаго сорта умовъ изъ дѣйствующихъ лицъ, далъ другую, которую тоже отдалъ на отвѣтственность другого лица. Таковъ тенденціозный элементъ романа, уступившій, однако, художественному чувству дѣйствительности. Но, въ концѣ концовъ, вопросъ о томъ, что́ такое Рудинъ, какія причины вызвали подобное явленіе въ русской умственной жизни—остался не разрѣшеннымъ. Передъ читателемъ было яркое художественное изображеніе, смыслъ котораго ускользалъ.

Тогда еще не наступило время для рѣшенія этого вопроса. Но вскорѣ появилось воззрѣніе, о которомъ мы уже говорили, а именно, что Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ,— вообще всѣ подобные герои — «безпочвенники»; что ихъ безсиліе происходитъ оттого, что они чуждымъ просвѣщеніемъ, игнорировавшимъ нашу родную дѣйствительность я наполнявшимъ душу чуждыми идеями и идеалами, непримѣнимыми на родинѣ, оттѣснялись съ родной почвы — и лишались всякой иной, почему и являлись съ праздновращающимися словами на устахъ и съ «умами, кипящими въ дѣйствіи пустомъ», говоря словами Пушкина. И если теперь, въ иное время, послѣ долгаго историческаго опыта, вы съ этой точки зрѣнія взгляните на «лишнихъ» русскихъ людей, выведенныхъ тогда литературою, то невольно согласитесь, что въ воззрѣніяхъ «почвенниковъ» была огромная доля правды, и они вамъ сразу поясняютъ чрезвычайно многое въ исторіи умственныхъ движеній русскихъ. Рудинъ, разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, объясняется, по крайней мѣрѣ, въ доброй половинѣ своихъ свойствъ. Его время было временемъ усвоенія русскимъ обществомъ европейскаго просвѣщенія и европейскихъ идеаловъ. Съ дѣтства въ рукахъ иностранцевъ, онъ выучился иностраннымъ языкамъ и иностраннымъ понятіямъ, но совершенно не познакомился съ родной дѣйствительностью. Изъ Германіи, о которой онъ говорилъ такъ увлекательно у Ласунской, онъ вывезъ «плоды учености туманной», говоря выраженіемъ Пушкина, и ворохъ идей и теорій, никакого отношенія къ русской суровой и печальной дѣйствительности не имѣвшихъ.

Нужно думать, что въ началѣ онъ искренно, съ энтузіазмомъ увлекался этими идеями и теоріями. Но опытъ на русской почвѣ долженъ былъ показать ему, что его теоретическимъ знаніямъ и представленіямъ нечего дѣлать на его родинѣ, какъ впрочемъ и всюду безъ знанія жизни. Сердце его не могло уже раздѣлять энтузіазма, вызываемаго теоретическими построеніями, и вотъ вамъ уже «умъ съ сердцемъ не въ ладу», и вотъ вамъ человѣкъ съ го-

ловнымъ энтузіазмомъ, но съ тайными сомнѣніями, холодившими сердце и кровь. Въ этомъ отличіе Рудина отъ его предшественниковъ—онъ дальнѣйшій фазисъ развитія типа. Онъ добръ, благороденъ полонъ возвышенныхъ мыслей на чужой образецъ—и абсолютно не находитъ себѣ поля дѣятельности, бросаясь съ одного на другое. Нѣтъ сомнѣнія также, что благородное слово его—доброе дѣло, которое оставитъ благотворное вліяніе на всѣхъ, кого онъ встрѣтитъ на своемъ пути.

Рудинъ въ романѣ не только центральная фигура, но почти единственная, сосредоточивающая на себѣ вниманіе, если не считать Наташи. Съ остальными персонажами въ различныхъ видахъ и положеніяхъ вы встрѣчаетесь и въ другихъ произведеніяхъ Тургенева. Но Наташа должна остановить на себѣ вниманіе уже потому, что она постоянно противопоставлялась Рудину. О ней говорили, какъ о доказательствѣ превосходства русской женщины надъ мужчиною и т. п.; подобнаго противопоставленія не чуждъ и самый романъ. Въ дѣйствительности идеализированная Тургеневымъ личность Наташи далеко не можетъ имѣть того значенія, какое ей приписывается.

Нѣтъ сомнѣнія, что она способна къ благороднымъ помысламъ и душевнымъ движеніямъ; но этимъ все и кончается. Встрѣчая Рудина «въ блескѣ ореола» идей и идеаловъ, она увлекается и идеалами, и имъ одновременно, не умѣя отдѣлить одного отъ другихъ. Это, конечно, благородно,—однакоже чисто по-женски. Когда, поставленный въ комическое положеніе занимающаго деньги гостя, на ея страстный порывъ и готовность итти за нимъ всюду на цѣлую жизнь, онъ, помятый жизнью и, какъ мы уже говорили, имѣя умъ съ сердцемъ не въ ладу, заговариваетъ о «матушкѣ», о ея несогласіи на бракъ ихъ, она быстро разочаровывается, бросая ему въ лицо: «трусъ!» И это все еще хорошо и прекрасно, хотя совсѣмъ напрасно было бы видѣть во всемъ этомъ что-то геройское. Но вотъ что *не* прекрасно: съ отъѣздомъ Рудина покинули Наташу и всѣ идеи и идеалы, которые такъ увлекли ее. Говорятъ,

что она разочаровалась и въ «словахъ» Рудина; но зачѣмъ же опять сливать его личность съ его проповѣдью? Нужно было имѣть умъ, чтобы раньше разглядѣть ложь его идеаловъ и не увлекаться ими, или же, разочаровавшись въ личности Рудина, умѣть отдѣлить отъ него идеи. И чѣмъ же отличается дальнѣйшая судьба Наташи? Сначала она страдала... хотя, по правдѣ, мы не знаемъ, въ чемъ состояли ея страданія — Тургеневъ ограничился объ этомъ одною фразою. А затѣмъ она вышла замужъ за мѣстнаго «рыцаря», обожавшаго ее — и «будетъ имъ командовать», потому что «она умнѣе его»... Появленіе Рудина и его идей въ средѣ, окружающей Наташу, прошло, въ сущности, безслѣдно для нея, напрасно возмутивъ на время ея обыденное существованіе.

Арс. Введенскій.

„ФАУСТЪ“.

*) Поэзія, наполнившая собой «Андрея Колосова», вся осталась при авторѣ «Фауста»; нашъ повѣствователь безвредно пронесъ ее чрезъ долгій путь, не потерявъ ни одной священной искры изъ огня, ему даннаго. Къ этой поэзіи присоединилась широта міросозерцанія, выработанная долгимъ трудомъ, многостороннимъ опытомъ жизни. Писатель, столько лѣтъ игравшій своимъ талантомъ, столько разъ глядѣвшій на міръ сквозь очки современнаго сантиментализма, наконецъ, произнесъ слова, достойныя того, чтобы служить лозунгомъ всѣхъ его будущихъ трудовъ. «Одно убѣжденіе», говоритъ нашъ герой Фауста «одно убѣжденіе вынесъ я изъ опыта послѣднихъ годовъ — жизнь не шутка и не забава. Жизнь даже не наслажденіе... жизнь тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное, - вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка, неисполненіе любимыхъ цѣлей, мечтаній, какъ бы они возвышенны ни были, — исполненіе долга, вотъ о

*) А. Дружининъ. Собраніе сочиненій Дружинина, т. 7.

чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку. Не наложивъ на себя цѣпей, желѣзныхъ цѣпей долга, не можетъ онъ дойти не падая до конца своего поприща, а въ молодости мы думаемъ: чѣмъ свободнѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ дальше уйдешь. Молодости позволительно такъ думать; но стыдно тѣшиться обманомъ, когда суровое лицо истины глянуло, наконецъ, тебѣ въ глаза». Счастливъ писатель, говорящій слова такого рода, и высказывающій ихъ такъ блистательно! Счастливъ онъ и въ такомъ случаѣ, если ему, какъ и г. Тургеневу, эти слова сказались не поздно, эти возвышенныя мысли пришли во время.

А. Дружининъ.

* * *

*) Сравнивая героя въ «Фаустѣ» съ героемъ «Аси», критикъ «Атенея», Н. Чернышевскій, говоритъ: «Въ Фаустѣ герой старается ободрить себя тѣмъ, что ни онъ ни Вѣра не имѣютъ другъ къ другу серьезнаго чувства; сидѣть съ ней, мечтать о ней,—это его дѣло, но по части рѣшительности, даже въ словахъ, онъ держитъ себя такъ, что Вѣра сама должна сказать ему, что любитъ его; рѣчь нѣсколько минутъ шла уже такъ, что ему слѣдовало сказать это, но онъ, видите ли, не догадался и не посмѣлъ сказать ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объясненіе, вынуждена, наконецъ, сама сдѣлать объясненіе, онъ, видите-ли, «замеръ», но почувствовалъ, что «блаженство» волною пробѣгаетъ по его сердцу, только впрочемъ «по временамъ», а собственно говоря, онъ «совершенно потерялъ голову»—жаль только, что не упалъ въ обморокъ, да и то было бы, если бъ не попалось кстати дерево, къ которому можно было прислониться. Едва успѣлъ оправиться человѣкъ, подходитъ къ нему женщина, которую онъ любитъ, которая высказала ему свою любовь, и спрашиваетъ, что онъ теперь намѣренъ дѣлать? Онъ... онъ «смутился». Не удивительно, что послѣ такого поведенія любимаго человѣка (иначе какъ

*) „Атеней“ 1858 г., № 18. Статья Н. Чернышевскаго.

«поведеніемъ» нельзя назвать образъ поступковъ этого господина), у бѣдной женщины сдѣлалась нервическая горячка; еще натуральнѣе, что потомъ онъ сталъ плакаться на свою судьбу.

Н. Чернышевскій.

***

Героиня повѣсти «Фаустъ» болѣе обстоятельно разобрана Писаревымъ *). «Не всѣмъ дѣвушкамъ, начинаетъ онъ разборъ Вѣры,—удается развиться помимо обстановки; многія и очень многія, даже большинство, пропитываются насквозь атмосферою нашей жизни, въ дѣтствѣ принимаютъ въ себя зародыши разложенія, живыми тѣнями проходятъ свое земное странствіе, и, какъ неизлѣчимые больные, рано начинаютъ увядать и клониться къ могилѣ.

Къ этому чрезвычайно многочисленному типу, допускающему внутри себя почти безконечное разнообразіе, принадлежатъ два замѣчательные женскіе характера: Вѣра (изъ «Фауста») и Лиза (изъ «Дворянскаго Гнѣзда»).

Вѣра воспитывается подъ руководствомъ своей матери, женщины очень умной, очень энергичной, испытавшей много несчастій и сосредоточившей всю силу своей любви на единственной дочери. Сказать по правдѣ, трудно найти болѣе невыгодныя условія развитія. Любящая мать, да еще къ тому же энергичная, да еще къ тому же умная, да еще къ тому же испытавшая несчастія, навѣрное будетъ слѣдить за каждымъ движеніемъ дочери, будетъ прокрадываться въ ея мысли, будетъ рѣшать за нее всѣ представляющіеся вопросы жизни, будетъ оберегать ее отъ впечатлѣній такъ заботливо, какъ отъ сквозного вѣтра. Вмѣсто того, чтобы жить въ жизни, дочь будетъ обрѣтаться въ какой-то восковой ячейкѣ, состроенной вокругъ нея любящей рукой матери. Любить человѣка и не мѣшать ему въ жизни, не отравлять его существованія непрошенными заботами и навязчивымъ участіемъ, это такой фокусъ, ко-

*) „Русское Слово“ 1861 г., № 12 и Сочиненія Писарева, ч. I.

торый не многимъ по силамъ. Родителямъ онъ совершенно недоступенъ. Они хотятъ во что бы то ни стало, чтобы ихъ опытность шла на пользу дѣтямъ; того они не понимаютъ и не хотятъ понять, что самый процессъ пріобрѣтенія опытности чрезвычайно пріятенъ, и что этотъ процессъ никакъ не можетъ быть замѣненъ чужимъ разсказомъ или описаніемъ; когда вы голодны, вамъ надо ѣсть, а не читать описанія лакомыхъ блюдъ и даже не смотрѣть на эти блюда; когда вы любите женщину, чтеніе самыхъ разнообразныхъ романовъ и разсказы о самыхъ замысловатыхъ любовныхъ похожденіяхъ вашего папеньки не замѣнятъ вамъ двухъ минутъ разговора, созерцанія, непосредственной близости; когда вы молоды, когда вы вступаете въ жизнь, вамъ надо жить, а никакъ не слушать разсказы о томъ, какъ жили ваши родители.

Мать Вѣры вообразила себѣ, что она пожила за себя и за свою дочь, и рѣшилась во что бы то ни стало избавить Вѣру отъ ошибокъ и страданій, выпавшихъ на долю ея матери. Для этого нужно было обработать по своему мягкій матеріалъ, попавшійся въ руки, и г-жа Ельцова принялась за работу довольно ловко; она успѣла приготовить изъ дочери своей такую консерву, которая могла бы десятки лѣтъ плавать по морю житейскому, постоянно сохраняя подъ свинцовою крышкою свою нетронутую, дѣтскую невинность; борьба между умною, опытною женщиною, съ одной стороны, и не пробудившимися силами бѣднаго ребенка, съ другой стороны, была слишкомъ неравна; мать побѣдила безъ труда, и живыя силы почти безъ сопротивленія отправились подъ свинцовую крышку; и свинцовая крышка эта придавила ихъ такъ рано, что онѣ замерли, не заявивъ протеста; дѣвочка даже не замѣтила существованія этой крышки, и выросла, считая свое положеніе нормальнымъ, или, вѣрнѣе, не думая подвергать его анализу.

Во-первыхъ, г-жа Ельцова пріобрѣла полное довѣріе своей дочери и внушила ей страстную, доходящую до благоговѣнія, любовь къ своей особѣ. Есть личности, кото-

рымъ очень пріятна подобная любовь, исключающая критику. Мнѣ кажется, существованіе такого чувства унижаетъ человѣческое достоинство того, кто его испытываетъ и того, къ кому оно обращено. Обожающее лицо теряетъ всякую самостоятельность; обожаемое—ставится въ обидное положеніе китайскаго идола.

Вѣруя въ опытность матери, въ ея умъ и непогрѣшимость, Вѣра Ельцова поневолѣ должна была безусловно подчиниться ея воззрѣніямъ; но убѣжденія отжившей старухи не могутъ быть убѣжденіями молодой дѣвушки; они могутъ сдѣлаться для нея только догматами вѣры; она можетъ повторять ихъ про себя, какъ магическое заклинаніе, не понимая ихъ истиннаго смысла, потому что этотъ смыслъ дается только тому, кто пожилъ и кого помяла жизнь; принять на вѣру убѣжденія матери, значило отказаться отъ знакомства съ жизнью; при всей любви своей къ матери, молодая дѣвушка могла-бы не рѣшиться на подобную жертву, если бы кто-нибудь представилъ ей эту жертву въ настоящемъ свѣтѣ; но такого Мефистофеля не нашлось, а старый ангелъ-хранитель, г-жа Ельцова, употребила съ своей стороны всѣ усилія, чтобы отвести дочери глаза и показать ей только тѣ уголки жизни, которые, по ея мнѣнію, не могли произвести вреднаго вліянія, т. е. не могли нарушить умственной и нервной дремоты дѣвушки. Все, что могло сильно потрясти нервы, подѣйствовать на воображеніе и сообщить сильный толчокъ критическому уму, было тщательно устранено; ни посторонній человѣкъ ни посторонняя книга не могли пробиться сквозь ту китайскую стѣну, которою г-жа Ельцова отдѣлила свою Вѣрочку отъ всего живого міра; если бы Вѣрѣ случилось поговорить съ кѣмъ-нибудь, то этотъ разговоръ она же сама отъ слова до слова передала бы матери; если бы Вѣрѣ попалась книга, она не стала бы ее читать, не спросясь позволенія матери; когда узникъ полюбилъ свою тюрьму, тогда нѣтъ средствъ освободить его; вѣдь, не насильно же тащить его на свѣтъ Божій!

Вѣрѣ до ея замужества не давали въ руки ни одного

романа; зато научное ея образованіе было такъ полно, что она удивляла кандидата своими обширными свѣдѣніями; свѣдѣнія эти были, конечно, чисто фактическія; Вѣра знала, въ которомъ году произошло, положимъ, Нердлингенское сраженіе, къ какому роду и виду принадлежитъ божья коровка, сколько пестиковъ и тычинокъ въ георгинѣ, но значенія реформаціи она не понимала и общаго взгляда на жизнь природы не имѣла. Навѣрное г-жа Ельцова боялась Вольтера и Фейербаха такъ же сильно и такъ же основательно, какъ Жоржъ-Занда или Бальзака. Вѣрочкѣ позволялось украшать свою память всякими антиками и диковинками, но работать мыслію или воспринимать какія-нибудь необходимыя ощущенія нервами было строго запрещено. Строгій выборъ книгъ былъ только административнымъ средствомъ въ рукахъ г-жи Ельцовой; цѣль, къ достиженію которой она стремилась, опираясь на подобныя средства, лежала очень далеко; надо было устроить по извѣстной программѣ всю жизнь молодой дѣвушки, надо было искусно обѣжать опасный періодъ любви, надо было выдать ее замужъ за хорошаго человѣка, укрѣпить ее въ понятіи долга и, наконецъ, поставить ее на якорь въ такой пристани, въ которую не заходятъ и не заглядываютъ житейскія бури, смѣлыя мысли, безпорядочныя, кометообразныя чувства. Чтобы дойти до такой пристани, надо было лавировать, и г-жа Ельцова лавировала не безъ успѣха.

Молодой человѣкъ, заинтересованный Вѣрою, съ похвальною скромностію проситъ у г-жи Ельцовой позволенія сдѣлать ей предложеніе; заботливая маменька, видя, что этотъ молодой человѣкъ, несмотря на всю свою скромность, не похожъ на желанную пристань, отказываетъ ему прямо, не спросивши мнѣнія дочери; она даже не считаетъ нужнымъ сказать ей потомъ, что за нее сватался такой-то. Одного этого факта достаточно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, насколько г-жа Ельцова употребляла во зло довѣренность своей дочери, и какъ грубо она нарушала ея святыя человѣческія права. Наконецъ, желанная пристань находится: добродушный, простоватый господинъ,

бывшій въ университетѣ, не вынесшій оттуда завиральныхъ идей и превратившійся въ помѣщика, несмотря на свои молодыя лѣта, оказывается достойнымъ субъектомъ; эврика! говоритъ г-жа Ельцова,—и выдаетъ за него свою дочь, которая, конечно, ставитъ себѣ за счастье исполнить волю божію и родительскую. Ельцова умираетъ, вполнѣ спокойная: «пристроила, думаетъ она. Теперь и безъ меня проживетъ; въ сторону-то сбиться некуда».

Мы видѣли, такимъ образомъ, какъ формировалась Вѣра Ельцова; посмотримъ теперь, какъ она, несмотря на предосторожности маменьки, столкнулась съ жизнію мысли и чувства. Вотъ она уже лѣтъ девять замужемъ, ей уже двадцать восемь лѣтъ, а она смотритъ семнадцатилѣтнею дѣвушкою. «То же спокойствіе, та же ясность, голосъ тотъ же, ни одной морщинки на лбу, точно она всѣ эти годы пролежала гдѣ-нибудь въ снѣгу». И попрежнему не знакома съ волненіями мысли и чувства, попрежнему не тронута жизнью, попрежнему не прочла ни одного романа, ни одного стихотворенія. Страшно становится за эту женщину!—Если она проживетъ свой вѣкъ и умретъ не любивши, не мысливши, не испытавши ни одного эстетическаго наслажденія, то, спрашивается, для чего же было жить? А если она вдругъ проснется отъ какого-нибудь сильнаго потрясенія,—что съ нею будетъ? Вынесутъ-ли ея нервы ту массу ощущеній, которыя нахлынутъ со всѣхъ сторонъ и поразятъ ее сильнѣе, чѣмъ кого-либо другого. Дѣти впечатлительнѣе взрослыхъ; ребенокъ плачетъ о сломанной игрушкѣ, о томъ, что мать ѣдетъ куда-нибудь дня на два, такъ же горько, какъ взрослый заплачетъ о смерти дорогого человѣка: ребенокъ утѣшается также гораздо скорѣе, и это служитъ новымъ доказательствомъ того, что онъ впечатлительнѣе взрослаго. Міръ дѣтскихъ радостей и дѣтскихъ горестей гораздо мельче и уже, чѣмъ міръ горя и радости у взрослаго; если-бы у ребенка было столько же серьезныхъ интересовъ, сколько ихъ у взрослаго, и если бы ребенокъ на всѣ эти интересы откликался съ тою же живостью, съ какою онъ радуется подарку или горюетъ о

минутной разлукѣ, то навѣрное организмъ его не вынесъ бы этого избытка сильныхъ ощущеній. Входя въ міръ мысли и чувства постепенно, незамѣтно, втягиваясь понемногу въ серьезныя занятія и въ интересы дѣйствительной жизни, ребенокъ мало-по-малу теряетъ свою прежнюю раздражительность и воспріимчивость. Нервы притупляются отъ часто повторяющагося раздраженія; является привычка; человѣкъ черствѣетъ и, вслѣдствіе этого, крѣпнетъ. Крайняя раздражительность несовмѣстна съ мужественною твердостью, и, чтобы вынести передряги жизни, необходимо утратить невинность, свѣжесть, дѣвственность чувства и тому подобныя свойства, которыми особенно дорожатъ въ своихъ воспитанникахъ добродѣтельные педагоги.

Недобрую штуку состроила Ельцова со своею дочерью; сохранивши первобытную чуткость и отзывчивость ребенка, Вѣра смотритъ на вещи, какъ женщина; она понимаетъ умомъ многое, чего не переживала чувствомъ; силы въ ней дремлютъ, но онѣ созрѣли; стоитъ дать толчокъ, и вся эта личность преобразится; въ ней мгновенно разыграется такая драма, которая удивитъ всѣхъ знающихъ ее людей порывистостью и силою борьбы. Положеніе ея страшно усложнено заботливыми распоряженіями матери: она никогда не любила, а между тѣмъ она замужемъ; она рискуетъ полюбить тою свѣжею и сильною любовію, какая доступна и понятна только очень молодымъ существамъ, а между тѣмъ у ней есть семейство, есть такъ называемыя обязанности, и въ ней сильно развито чувство долга. Что-то будетъ?

Что можно было ожидать, то и происходитъ на самомъ дѣлѣ. Мужчина открываетъ Вѣрѣ Николаевнѣ доступъ въ тотъ міръ сильныхъ ощущеній, который оставался ей неизвѣстнымъ въ продолженіе цѣлаго десятка лѣтъ; мужчина пробуждаетъ ее изъ того летаргическаго сна, въ который погрузило ее воспитаніе; мужчина превращаетъ мраморную статую въ женщину, и эта женщина привязывается къ своему просвѣтителю всѣми силами богатой, любящей женской души. Проспать слишкомъ десять

лѣтъ, лучшіе годы жизни, и потомъ проснуться, найти въ себѣ такъ много свѣжести и энергіи, сразу вступить въ свои полныя, человѣческія права—это, воля ваша, свидѣтельствуетъ о присутствіи такихъ силъ, которыя, при сколько-нибудь естественномъ развитіи, могли бы доставить огромное количество наслажденія, какъ самой Вѣрѣ Николаевнѣ, такъ и близкимъ къ ней людямъ. Вѣра Николаевна, полюбила такъ сильно, что забыла и мать, и мужа, и обязанности; образъ любимаго человѣка и наполняющее ее чувство сдѣлались для нея жизнію, и она рванулась къ этой жизни, не оглядываясь на прошедшее, не жалѣя того, что остается позади, и не боясь ни мужа, ни умершей матери, ни упрековъ совѣсти; она рванулась впередъ и надорвалась въ этомъ судорожномъ движеніи; глаза, привыкшіе къ густой темнотѣ, не выдержали яркаго свѣта; прошедшее, отъ котораго она кинулась прочь, настигло и придавило ее къ землѣ. Она первая, прямо, безъ вызова со стороны мужчины, объявляетъ ему, что она его любитъ; она сама назначаетъ свиданіе и идетъ твердымъ шагомъ къ назначенному мѣсту.

«Послѣ чаю, когда я уже начиналъ думать о томъ, какъ бы незамѣтно выскользнуть изъ дому, она сама вдругъ объявила, что хочетъ итти гулять, и предложила мнѣ проводить ее. Я всталъ, взялъ шляпу и побрелъ за ней. Я не смѣлъ заговорить, я едва дышалъ, я ждалъ ея перваго слова, ждалъ объясненій; но она молчала. Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ—я до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это сдѣлалось—мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ друга. Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней,—ее ко мнѣ.

При потухшемъ свѣтѣ дня, ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилось улыбкою самозабвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцѣлуй...

Этотъ поцѣлуй былъ первымъ и послѣднимъ. Вѣра вдругъ вырвалась изъ рукъ моихъ, и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ...

— Оглянитесь, — сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ:—вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы развѣ что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видѣла.

Она глубоко и рѣдко дышала.

— Кого? Что?

— Мою мать, — медленно проговорила она и зетрепетала вся.

Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновеніе?

— Полноте, — началъ я: — что вы это? Скажите мнѣ лучше...

— Нѣтъ, ради Бога, нѣтъ! —перебила она и схватила себя за голову. — Это сумасшествіе... Я съ ума схожу... Этимъ шутить нельзя—это смерть... Прощайте...

Я протянулъ къ ней руки.

— Остановитесь, ради Бога, на мгновенье,—воскликнулъ я съ невольнымъ порывомъ. — Я не зналъ, что говорилъ и едва держался на ногахъ. Ради Бога, вѣдь, это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечеромъ, — поспѣшно проговорила она; — не сегодня, прошу васъ... уѣзжайте сегодня... завтра вечеромъ приходите къ калиткѣ сада, возлѣ озера. Я тамъ буду, я приду... я клянусь тебѣ, что приду, — прибавила она съ увлеченіемъ, и глаза ея блеснули... — Кто бы ни останавливалъ меня, клянусь! Я все скажу тебѣ, только пустите меня сегодня.

И прежде, чѣмъ я могъ промолвить слово, она исчезла».

А потомъ умерла. Организмъ не выдержалъ потрясенія; и обаятельная сцена любви разрѣшилась смертельною нервною горячкою.

Образы, въ которыхъ Тургеневъ выразилъ свою идею, стоятъ на границѣ фантастическаго міра. Онъ взялъ исключительную личность, поставилъ ее въ зависимость отъ другой исключительной личности, создалъ для нея исклю-

чительное положеніе, и вывелъ крайнія послѣдствія изъ этихъ исключительныхъ данныхъ. Старуха Ельцова и дочь ея такіе чистые представители двухъ типовъ, какихъ въ дѣйствительности не бываетъ. Какая мать сумѣетъ провести такъ послѣдовательно свои идеи въ воспитаніе дочери, и какая дочь захочетъ съ такою слѣпою покорностью подчиниться этимъ идеямъ? Размѣры, взятые авторомъ, превышаютъ обыкновенные размѣры, но идея, выраженная въ повѣсти, остается вѣрною, прекрасною идеею. Какъ яркая формула этой идеи, «Фаустъ» Тургенева неподражаемо хорошъ. Ни одно единичное явленіе не достигаетъ въ дѣйствительной жизни той опредѣленности контуровъ и той рѣзкости красокъ, которыя поражаютъ читателя въ фигурахъ Ельцовой и Вѣры Николаевны, но зато эти двѣ, почти фантастическія, фигуры бросаютъ яркую полосу свѣта на явленія жизни, расплывающіяся въ неопредѣленныхъ, сѣроватыхъ, туманныхъ понятіяхъ.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Разсказъ «Фаустъ» сильно окрашенъ романтическимъ колоритомъ: въ немъ даже замѣчается тотъ нѣсколько мистическій романтизмъ, который, какъ я уже упоминалъ, былъ въ натурѣ Тургенева и время отъ времени пробуждался въ немъ, выливался то въ случайныхъ лирическихъ тирадахъ по поводу картинъ природы и ея отношенія къ человѣку, то въ небольшихъ художественныхъ работахъ съ полуфантастическимъ содержаніемъ, каковы «Призраки», «Сонъ», «Пѣснь торжествующей любви» и отчасти «Клара Миличъ». Къ указанію въ повѣсти «Фаустъ» романическаго колорита слѣдуетъ прибавить другое указаніе о присутствіи въ ней глубокой сосредоточенной грусти, пожалуй, даже можно бы сказать — скорбнаго разочарованія жизнью, если бы это слово не было такъ опошлено. За-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

ключительныя строки «Фауста» проникнуты тоскливымъ сознаніемъ тяжести жизни, тщеты желанія личнаго счастья...

В. Буренинъ.

* * *

*) Въ промежуткѣ, между появленіемъ въ свѣтъ *Рудина* и *Дворянскаго Гнѣзда*, Тургеневъ напечаталъ повѣсть *Фаустъ*. Я не буду говорить о поэтическихъ достоинствахъ этой повѣсти, всѣми признанныхъ—но она замѣчательна еще и въ другомъ отношеніи. Въ ней ярко отразился тотъ переломъ, который совершился въ душевной жизни автора — переломъ, давшій ему силу создать *Дворянское Гнѣздо*...

Уже въ *Запискахъ Охотника* мы видимъ, что высокомѣрное отношеніе къ русскому быту оставило Тургенева: всѣ его сердечныя сочувствія обращены къ этому родному быту, къ этой родной природѣ. Но это еще сочувствія не глубокія — это только поэтическія сочувствія, столь же скоро возникающія въ душѣ, какъ и исчезающія. Здѣсь нѣтъ не только глубокаго сочувствія къ тому —

Что сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной —

Здѣсь нѣтъ еще и того сочувствія, которое такъ прекрасно выразилъ Некрасовъ:

Родина мать! Я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился...
....
Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно;
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!

Въ *Запискахъ Охотника* есть еще только сочувствіе художественной натуры, прозрѣвающей красоту родного быта и родной природы...

Но между *Записками Охотника* и *Фаустомъ* прошло

---

*) Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ). „Тургеневъ“. Критическій очеркъ. Москва. 1894 г.

много времени. Тургеневъ много прожилъ и много изжилъ жизни. Съ тоской изобразилъ онъ душевную немощь «лишнихъ людей»; и Чулкатуринъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда дались ему не дешево: онъ рѣзалъ по живому. Въ *Рудинѣ* звучитъ та же тоскующая нота. Для Рудина, какъ говорится, «свѣтъ клиномъ сошелся», и Тургеневъ видитъ въ этомъ общую судьбу высокихъ душъ. Въ этомъ ошибка, и такой взглядъ обусловливаетъ его не свободное отношеніе къ его герою—но опять таки и здѣсь онъ рѣжетъ по живому. Въ *его* душѣ свило себѣ гнѣздо то чувство, которое не дало ему возможности свободно отнестись къ Рудину; онъ не могъ понять смысла нравственнаго и умственнаго скитальчества Рудина, потому что самъ находился въ томъ же душевномъ состояніи, потому что и его жизнь не имѣла «подпоры прочной», потому что и самъ онъ не жилъ, а отдавался теченію жизни, думая что живетъ. Да, можно уловить красоту въ этомъ бытѣ, въ этой природѣ, но что дѣлать Рудинымъ, душамъ высокимъ, среди этихъ быта и природы? Они здѣсь лишніе, эти высокія души, они здѣсь могутъ созерцать, но не жить. Вотъ какое настроеніе владѣло Тургеневымъ въ промежуткѣ времени между *Записками Охотника* и *Фаустомъ*. Въ *Запискахъ Охотника* онъ только созерцаетъ русскую жизнь, но не живетъ ею. Созерцая, онъ поражается тѣмъ, какъ умираетъ русскій человѣкъ (разсказъ *Смерть*), но не чувствуетъ и не понимаетъ смысла этого явленія; созерцая, онъ умиляется передъ тѣмъ, какъ умѣетъ терпѣть русскій человѣкъ (*Живыя Мощи*), но опять таки и не чувствуетъ и не понимаетъ смысла этого явленія. Душевная жизнь этихъ умирающихъ и терпящихъ русскихъ людей для него—книга за семью печатями. Онъ замѣчаетъ только внѣшнія проявленія этой душевной жизни и поражается ими.

Но сочувствія къ этому быту, къ этой природѣ все наростаютъ въ душѣ его.

Въ *Дневникѣ Лишняго Человѣка* онъ сочувствуетъ только природѣ, природѣ вообще, она производитъ на него неотразимое впечатлѣніе, она вызываетъ его лиризмъ.

Въ *Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда* мы видимъ уже намекъ на иныя сочувствія. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, хотя съ озлобленіемъ относясь и къ своему дѣтству и къ своей юности и ко всему, что окружало эти дѣтство и юность, тѣмъ не менѣе говоритъ: «Я въ деревнѣ скучаю, какъ щенокъ взаперти, хотя признаюсь, проѣзжая на возвратномъ пути въ первый разъ весной знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце отъ смутнаго, сладкаго ожиданія». «Но эти смутныя ожиданія, вы сами знаете, никогда не сбываются», прибавляетъ онъ.

Они не сбываются для Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, потому что душа ихъ закрыта для всего, кромѣ жалости къ себѣ и озлобленія на жизнь, которая «извергла ихъ изъ устъ своихъ». Но даже въ душѣ Гамлета Щигровскаго уѣзда родное гнѣздо вызываетъ какое-то подобіе душевнаго движенія.

Не всѣ однако «лишніе люди» остаются при подобныхъ, недоконченныхъ настроеніяхъ; у иныхъ изъ нихъ душа способна расшириться еще и еще, пока внутренній недугъ снова не наложитъ на нее свою тяжелую руку. Иное настроеніе видимъ мы еще въ одномъ «лишнемъ человѣкѣ», въ Павлѣ Александровичѣ Б., отъ имени котораго ведется разсказъ въ *Фаустѣ*. Этотъ Павелъ Александровичъ тоже «лишній человѣкъ», но поставленный въ особыя условія. Онъ умнѣе, онъ даровитѣе Чулкатурина или Гамлета Щигровскаго уѣзда, въ дѣтствѣ онъ не былъ такъ придавленъ, какъ были придавлены они; матеріальная обезпеченность избавила его отъ столкновенія съ мелочною дѣйствительностію. Онъ прошелъ ту же школу какъ и «лишніе люди»: и онъ «Гегеля изучалъ, Гете наизусть знаетъ»; но кругозоръ его шире, и Гегель и Гёте не прошли для него такъ безплодно, какъ для Гамлета Щигровскаго уѣзда. Онъ тоже — растеніе, выгнанное въ теплицѣ, но въ теплицѣ, гдѣ было больше свѣта и воздуха. Онъ жилъ и много уже изжилъ жизни. Вѣроятно, онъ пережилъ и настроеніе «лишнихъ людей» и настроеніе Рудина. Но въ немъ нѣтъ той безпокойной непосѣдливости, которая бро-

сала Рудина изъ одного угла въ другой, да и натуры у него больше. И въ его душевной организаціи есть органическій порокъ, но онъ все же не нравственный кастратъ, онъ не такъ безнадеженъ, какъ Рудинъ. Нравственныя и умственныя скитальчества, которыя Рудинъ переживалъ, такъ-сказать, въ дѣйствіи, онъ переживалъ болѣе въ тайномъ душевномъ процессѣ, болѣе въ мысли и чувствѣ, нежели въ дѣйствіи. Словомъ, изо всѣхъ «лишнихъ людей» Павелъ Александровичъ Б. скорѣе всего подходитъ къ самому Тургеневу.

Вотъ этотъ-то Павелъ Александровичъ Б., послѣ долгихъ скитаній по бѣлу свѣту, возвращается въ деревню, въ родное гнѣздо. Его приводитъ туда душевная усталость, его тянетъ къ матери-землѣ, на родину. Онъ ничего не хочетъ, ни къ чему не стремится — въ немъ только есть жажда покоя и отдыха.

Всѣмъ памятно, конечно, это первое, истинно великолѣпное письмо «Павла Александровича Б... Къ Семену Николаевичу В...» Нигдѣ Тургеневъ, кромѣ развѣ *Дворянскаго Гнѣзда,* ни прежде ни послѣ не возвышался до такого лиризма, до того истиннаго паѳоса, сдержаннаго и какъ бы свѣтящагося изнутри, какъ въ этомъ описаніи стараго дома, стараго сада, какъ въ этомъ описаніи родного гнѣзда; въ этомъ описаніи трепещетъ жизнью давно прошедшее, забытое, умершее, и какъ бы вновь воскресшее въ душѣ поэта. Читая это описаніе, невольно мнится то, что мнилось другому поэту:

Я ждалъ—знакомыхъ мертвецовъ,
Не встанутъ ли вдругъ кости,
Съ портретныхъ рамъ изъ тьмы угловъ
Не явятся ли въ гости...

...«Воспоминанія дѣтства нахлынули на меня», читаемъ мы, между прочимъ, въ этомъ первомъ письмѣ: «—куда я ни шелъ, куда ни взглядывалъ, они возникали отовсюду, ясныя, до малѣйшей подробности ясныя, и какъ бы неподвижныя въ своей отчетливой опредѣленности... Потомъ эти воспоминанія смѣнялись другими... потомъ я тихонько

отвернулся отъ прошедшаго, и только осталось у меня въ груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотинѣ, подъ ракитой, я вдругъ неожиданно заплакалъ, и долго бы проплакалъ, несмотря на свои уже преклонныя лѣта, если бы не устыдился проходившей бабы, которая съ любопытствомъ посмотрѣла на меня, потомъ, не обращая ко мнѣ лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желалъ остаться въ такомъ настроеніи (плакать, разумѣется, я уже больше не буду) до самаго моего отъѣзда отсюда, то-есть до сентября мѣсяца, и очень былъ бы огорченъ, если бы кто-нибудь изъ сосѣдей вздумалъ посѣтить меня. Впрочемъ, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нѣтъ близкихъ сосѣдей. Ты, я увѣренъ, поймешь меня; ты знаешь самъ по опыту, какъ часто бываетъ благотворно уединеніе... Оно мнѣ нужно теперь, послѣ всяческихъ странствованій».

Таково настроеніе этого «лишняго человѣка». Оно уже близко къ тому, которое выражено въ стихахъ Некрасова:

Родина мать! Я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился...

Но это—настроеніе не сознанное. Безъ сомнѣнія, Павла Александровича Б... тайно для него самого, потянула на родину жажда исцѣленія ранъ душевныхъ, но онъ думаетъ, что хочетъ только стряхнуть съ себя усталость... Вотъ почему лирическое его настроеніе не проникаетъ въ ту глубину, гдѣ созрѣваетъ сознательное и глубокое чувство, которое съ такой силой было выражено Пушкинымъ:

Два чувства дивно сродны намъ,
И въ нихъ находитъ сердце пищу:
Любовь къ родному пепелищу,
Любовь къ отеческимъ гробамъ...

На такое ясное, ничѣмъ не затемненное, простое чувство неспособны «лишніе люди»; дальше искренняго лирическаго порыва они не идутъ. Душевный недугъ, изъянъ ихъ души не даетъ имъ правильно развиваться. Въ самомъ лучшемъ случаѣ у нихъ есть только дѣтство, еще не отравленное ядомъ безплодной рефлексіи — но нѣтъ

юности и мужества. Юность нхъ отравлена внутреннею ложью, мужество — сознаніемъ этой лжи и плодомъ ея — душевнымъ безсиліемъ. Вотъ почему воспоминанія дѣтства, впечатлѣнія дѣтства вызываютъ въ нихъ лирическій порывъ, который такъ и остается порывомъ, остается только плачемъ о даромъ погубленной жизни.

Но у Павла Александровича Б..., несмотря на его сорокъ лѣтъ, душевная жизнь не совершила еще всего своего круга.

«А все-таки мнѣ кажется», пишетъ онъ — «несмотря на весь мой жизненный опытъ, есть еще что-то такое на свѣтѣ, другъ Гораціо, чего я не испыталъ, и это «что то» чуть ли не самое важное...»

Это «что-то» — любовь. Жизнь еще и на этомъ оселкѣ пробуетъ «лишняго человѣка», — и здѣсь онъ снова пасуетъ предъ нею...

Мы не станемъ касаться любовной исторіи героя *Фауста*. Съ нимъ случилось то, что случается со всѣми людьми, живущими «безъ подпоры прочной», для которыхъ весь смыслъ жизни — въ личномъ счастіи и въ личномъ страданіи. Чувство захватило его, закрутило и понесло, не встрѣчая въ немъ сопротивленія. Онъ, какъ бы нечаянно, какъ бы помимо своей воли, губитъ свою и чужую жизнь — жизнь женщины, которую полюбилъ. Но намъ важно знать, что же онъ вынесъ изъ этого самаго значительнаго для него столкновенія съ жизнью и ея таинственными силами, съ тѣми силами, которыя по выраженію Гамлета «властны надъ душой унылой». И мы узнаемъ, что проснувшееся въ немъ чувство любви пробуждаетъ въ его душѣ *вѣру* въ «тайныя силы, на которыхъ построена жизнь, и которыя изрѣдка, но внезапно пробиваются наружу». «Горе тому, надъ кѣмъ онѣ разыграются», пишетъ онъ какъ бы предчувствуя свою судьбу.

И когда онѣ, эти силы, разыгрались надъ его головой, онъ пишетъ своему другу:

«Подумай теперь о томъ, что я разсказалъ тебѣ, подумай о ней, объ этомъ существѣ, такъ скоро погибшемъ. Какъ это случилось, какъ растолковать это вмѣшатель-

ство мертваго въ дѣла живыхъ—я не знаю и никогда знать не буду; но ты согласись, что не припадокъ прихотливой хандры, какъ ты выражаешься, заставилъ меня удалиться отъ общества. Я сталъ не тотъ, какимъ ты зналъ меня: *я многому теперь вѣрю, чему не вѣрилъ прежде.* Я все это время столько думалъ объ этой несчастной женщинѣ (я чуть не сказалъ дѣвушкѣ), объ ея происхожденіи, о тайной игрѣ судьбы, которую мы, слѣпые, величали слѣпымъ случаемъ. Кто знаетъ, сколько каждый живущій на землѣ оставляетъ сѣмянъ, которымъ суждено взойти только послѣ его смерти? Кто скажетъ, какою таинственною цѣпью связана судьба человѣка съ судьбой его дѣтей, его потомства, и какъ отражаются на нихъ его стремленія, какъ взыскиваются съ нихъ его ошибки? Мы всѣ должны смириться и преклониться предъ Невѣдомымъ».

Такое настроеніе души овладѣло героемъ *Фауста* послѣ разыгравшейся на его глазахъ и при его участіи трагической и таинственной исторіи.

Эти рѣчи для Тургенева — новыя рѣчи. Ихъ не было слышно въ предшествующихъ его произведеніяхъ. Что-то найстойчиво-серіозное, значительное звучитъ въ этихъ рѣчахъ: въ нихъ чувствуется подъемъ духа, отразившійся серіознымъ настроеніемъ мысли, обратившейся къ вѣковѣчнымъ вопросамъ...

Но вѣры здѣсь еще нѣтъ, здѣсь есть только какъ бы предчувствіе вѣры; здѣсь есть смущеніе души, отступающей предъ Невѣдомымъ, то смущеніе, которое *можетъ* разрѣшиться вѣрой.

Это настроеніе души столь высоко, столь возвышенно, что, и не разрѣшившись еще вѣрой, просвѣтляетъ мысль, разумъ, даетъ возможность этому просвѣтленному разуму глубоко вдуматься въ смыслъ жизни и почти подойти къ разгадкѣ этого серіознаго и безконечно значительнаго смысла.

«Пора кончить... я тебѣ и сотой доли не сказалъ того, что бы слѣдовало», пишетъ герой разсказа *Фауста,*—«но съ меня этого было довольно. Пускай же снова упадетъ на дно души все, что всплыло. Кончая скажу тебѣ: одно

убѣжденіе вынесъ я изъ опыта послѣднихъ годовъ: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденіе... жизнь тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное—вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка; неисполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы онѣ возвышенны ни были,—исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку; не наложивъ на себя цѣпей, желѣзныхъ цѣпей долга, не можетъ онъ дойти не падая до конца своего поприща. Въ молодости онъ думаетъ—чѣмъ свободнѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ дальше уйдешь. Молодости позволительно такъ думать, но стыдно тѣшиться обманами, какъ суровое лицо истины глянуло, наконецъ, тебѣ въ глаза».

Подъ вліяніемъ этого настроенія было написано Тургеневымъ *Дворянское Гнѣздо*. Оно проникаетъ собою этотъ романъ, но уже очищенное отъ всего случайнаго, что мы видимъ въ *Фаустѣ*. Весь этотъ разсказъ построенъ на страшной игрѣ «тайныхъ силъ»—и въ немъ эти тайныя силы проявляются явно и грубо во всей исторіи семейства Ельцовыхъ. Тутъ какъ бы выступаетъ таинственный Рокъ древней трагедіи, тутъ мы видимъ во внѣшнихъ проявленіяхъ дѣйствіе тайныхъ и страшныхъ силъ, въ жертву которымъ приносятся дѣти за грѣхи отцовъ.

Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ).

* * *

*) Отличительныя особенности душевнаго уклада Вѣры сводятся къ слѣдующему. Во-первыхъ, это—женщина, получившая, путемъ наслѣдственной передачи, большой запасъ скрытыхъ страстей. Во-вторыхъ, Вѣра—личность не заурядная: она надѣлена выдающимися дарами ума, чувства и характера. Наконецъ, въ третьихъ, необходимо отмѣтить тотъ фактъ, что почти всѣ эти элементы ея души (кромѣ характера и стороны нравственной) находятся въ состояніи недѣятельномъ, связанномъ, какъ бы загнаны внутрь, но

*) Д. Овсянико-Куликовскій. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“. Харьковъ. 1896 г.

однакоже отнюдь не изъяты изъ душевнаго обихода. Страсти, напр., были долго подавлены въ душѣ Вѣры, онѣ безмолвствовали, но Вѣра никогда не переставала быть натурой страстной, и въ любви ея къ герою повѣсти такой укладъ ея души обнаружился съ полной очевидностью.

Онъ былъ *наслѣдственнымъ*. Тургеневъ, повидимому, придавалъ большое значеніе этой чертѣ, и потому говоритъ съ нѣкоторой подробностью о предкахъ героини, выставляя на видъ ту роль, большею частью трагическую, какую играли въ ихъ жизни и судьбѣ страстныя чувства и страстный темпераментъ. Сюда относятся въ письмѣ второмъ подробности о дѣдѣ Вѣры (отцѣ ея матери) Ладановѣ, долго жившемъ въ Италіи, гдѣ и родилась его дочь, мать Вѣры, «отъ простой крестьянки изъ Албано, которую, на другой день послѣ ея родовъ, убилъ транстеверинецъ, ея женихъ, у котораго Ладановъ ее похитилъ». Объ этой итальянкѣ мы можемъ составить опредѣленное понятіе по описанію ея портрета (въ концѣ письма 6-го): «... Что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, какъ расцвѣтшая роза, съ большими влажными глазами на выкатѣ и самодовольно-улыбавшимися, румяными губами! Тонкія чувственныя ноздри, казалось, дрожали и расширялись, какъ послѣ недавнихъ поцѣлуевъ; отъ смуглыхъ щекъ такъ и вѣяло зноемъ и здоровьемъ, роскошью молодости и женской силы... Этотъ лобъ не мыслилъ никогда, да и слава Богу!..» Описаніе оканчивается такъ: «И что всего удивительнѣе: глядя на этотъ портретъ, я вспомнилъ, что у Вѣры, несмотря на совершенное несходство очертаній, мелькаетъ иногда что-то похожее на эту улыбку, на этотъ взглядъ... Да, повторяю: ни она сама (Вѣра) ни другой кто на свѣтѣ не знаетъ еще всего, что таится въ ней...» Безъ сомнѣнія, Вѣра, въ жилахъ которой текла эта итальянская кровь крестьянки изъ Албано, унаслѣдовала и часть этихъ жгучихъ страстей, этого южнаго темперамента. Но только у Вѣры они скрыты и подавлены, обузданы, и съ тѣмъ вмѣстѣ «ея лобъ» мыслитъ — и слава Богу!

Мать Вѣры, Ельцова, судя по всему, была, натура очень

страстная, способная, какъ и ея отецъ, къ безумнымъ увлеченіямъ; но она боялась собственныхъ своихъ страстей, и обуздала ихъ силою ума, далеко не зауряднаго, и характера, очень сильнаго. Разсказчикъ характеризуетъ ее такъ: «Я боюсь жизни,—сказала она мнѣ однажды. И точно, она ея боялась, боялась тѣхъ тайныхъ силъ, на которыхъ построена жизнь, и которыя изрѣдка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, надъ кѣмъ онѣ разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ея матери, ея мужа, ея отца...» (Письмо 2-е).

Итакъ, страстность чувствъ (въ томъ числѣ и отцовскихъ и материнскихъ *) и темперамента была наслѣдственной, фамильной чертою въ родѣ Вѣры, и этотъ укладъ души, если онъ не уравновѣшенъ другими силами, уже самъ по себѣ способенъ сообщить всей натурѣ характеръ ирраціональности.

Но этимъ не исчерпывается еще содержаніе того душевнаго наслѣдія, которое досталось Вѣрѣ отъ матери и дѣда. Въ его составъ входили еще два элемента: стремленіе къ самообузданію и предрасположеніе ко всему таинственному. Ладановъ, вернувшись въ Россію, послѣ трагической смерти итальянки, «не только изъ дома, изъ кабинета своего не выходилъ, занимался химіей, анатоміей, кабалистикой, хотѣлъ продлить жизнь человѣческую, воображалъ, что можно вступать въ сношенія съ духами, вызывать умершихъ». Въ свою очередь, Ельцова, овдовѣвъ, «посвятила весь свой досугъ на воспитаніе дочери и почти никого не принимала...» «Все у ней дѣлалось по системѣ...» «...Она до того пріучила себя не давать воли своимъ чувствамъ, что даже стыдилась выказать страстную любовь свою къ дочери... Помню одно ея слово: я какъ-то сказалъ ей, что всѣ мы, современные люди, надломленные...—Надламывать себя не для чего, промолвила она, — надо всего себя переломить, или ужъ не трогать...» (Письмо 2-е). Что Ельцова не была

*) Ладановъ безумно любилъ свою дочь и возненавидѣлъ ее, когда она бѣжала съ Ельцовымъ. Онъ умеръ, не простивъ ее. Ельцова также страстно любитъ свою дочь и посвятила себя ея воспитанію.

чужда тѣхъ же предрасположеній, во власти которыхъ былъ ея отецъ, это видно хотя бы изъ того, отчасти суевѣрнаго, страха передъ «тайными силами жизни», о которыхъ только что была рѣчь.

Не трудно видѣть, что эти два душевныя стремленія (къ самообузданію и къ таинственному) *въ данномъ случаѣ* столь же ирраціональны, какъ и та страстность, противъ которой они направлены. Они явились какъ реакція противъ этой послѣдней, какъ сила, которая, будучи вызвана другою силою, носитъ въ себѣ всѣ основныя черты ея. Оба стремленія, о которыхъ идетъ рѣчь, суть *чувства,* и притомъ— страстныя. Ладановъ запирается въ кабинетѣ и погружается въ химію и анатомію—движимый вовсе не безстрастными стремленіями ума, не въ качествѣ ученаго и мыслителя, а — какъ аскетъ, вдохновляемый страстнымъ желаніемъ спастись отъ страстей и треволненій жизни. Сама «химія» и «анатомія», которыми онъ занимается, конечно, весьма далеки отъ трезвой и точной науки, способной въ самомъ дѣлѣ дать ходъ и преобладаніе раціональнымъ силамъ ума, вѣдь, Ладановъ не отдѣляетъ эти «науки» отъ кабалистики и вызыванія духовъ. Ладановъ—это въ нѣкоторомъ родѣ Фаустъ, съ той только разницею, что гетевскій Фаустъ отъ алхиміи, вызыванія духовъ и тщетныхъ усилій проникнуть въ тайну бытія переходитъ къ страстямъ и «тайнымъ силамъ жизни», жертвою которыхъ и падаетъ, Ладановъ же, наоборотъ, отъ страстей, отъ жизни, отъ любви спасается въ алхимію и кабалистику. Вообще Ладановъ, если можно такъ выразиться, написанъ на мотивъ Фауста, какъ и вся повѣсть. Этотъ мотивъ, въ видѣ увертюры, звучитъ уже въ самомъ началѣ разсказа, когда герой находитъ въ своей библіотекѣ старое изданіе гетевскаго Фауста и принимается перечитывать давно знакомыя сцены. «Какъ подѣйствовала на меня,—пишетъ онъ,—великолѣпная первая сцена! Появленіе Духа Земли, его слова, помнишь: «на жизненныхъ волнахъ, въ вихрѣ творенія», возбудили во мнѣ давно-неизвѣданный трепетъ и холодъ восторга...» (Письмо 1-е). Вся повѣсть представляетъ собою

какъ бы провѣрку и разработку психологической темы «Фауста» на иныхъ натурахъ, другой среды и эпохи, и прежде всего на женской натурѣ, олицетворенной въ образѣ Вѣры.

Въ связи съ этимъ осложняется и наша задача: намъ придется для освѣщенія натуры Вѣры обратиться къ психологіи гетевскаго «Фауста». Мы это сдѣлаемъ ниже, а теперь у насъ на очереди вопросъ о *воспитаніи* Вѣры.

Этотъ вопросъ столь же важенъ, какъ и вопросъ о психологическомъ наслѣдіи. Послѣднее, какъ мы знаемъ уже, состояло изъ задатковъ страстности чувствъ, стремленія или склонности къ самообузданію и предрасположенія къ таинственному (Вѣра подвержена галлюцинаціямъ и необъяснимымъ страхамъ и вообще суевѣрна). Излишне пояснять, что такіе устои души совершенно *ирраціональны*. Вотъ и посмотримъ, что именно было внесено въ эту ирраціональную душу своеобразнымъ воспитаніемъ, которое получила Вѣра.

Ельцова знала, что ея дочь получила задатки натуры страстной, бурной, увлекающейся, и поставила себѣ задачей во что бы то ни стало парализовать эти задатки, предупредить возможный въ будущемъ взрывъ чувствъ. Съ этой цѣлью она старалась устранять все, что такъ или иначе дѣйствуетъ на воображеніе, «а потому ея дочь до 17-лѣтняго возраста не прочла ни одной повѣсти ни одного стихотворенія». Взамѣнъ того, она старалась развить умъ дочери изученіемъ такихъ безстрастныхъ и не волнующихъ воображеніе «предметовъ», какъ естественная исторія и географія. На ряду съ этимъ она оказывала огромное нравственное вліяніе на Вѣру: «дочь любила ее и вѣрила ей слѣпо. Стоило г-жѣ Ельцовой дать ей книжку и сказать: вотъ этой страницы не читай — она скорѣе предыдущую страницу пропуститъ, а ужъ не заглянетъ въ запрещенную». (Письмо 2-е).

Не трудно показать, что такая система воспитанія и образованія была основана на вопіющихъ психологическихъ ошибкахъ, и только кажущимся образомъ приводила къ пред-

положеннымъ результатамъ. Вѣра, подъ вліяніемъ матери и полученнаго воспитанія, казалось, въ самомъ дѣлѣ стала дѣвушкою и потомъ женщиною безстрастной, спокойной, разсудительной, ясной и уравновѣшенной. Но это только такъ казалось. Въ дѣйствительности она вышла не безстрастной, а только не знающей скрытыхъ въ себѣ самой страстей; воспитаніе, ей данное, не устранило, а напротивъ увеличило грозящую съ этой стороны опасность, развивъ невѣдѣніе ея. Спокойствіе, ясность души Вѣры, основанныя на этомъ блаженномъ невѣдѣніи, были, по необходимости, обманчивыми и временными, а ея душевное равновѣсіе оказалось крайне неустойчивымъ.

Вотъ и посмотримъ, въ чемъ именно состояли эти роковыя ошибки матери.

Прежде всего Ельцова сдѣлала грубую ошибку въ области элементарной психологіи. Она хотѣла развить умъ дочери на счетъ страстныхъ чувствъ, а *потому* устраняла все, что дѣйствуетъ на *воображеніе:* очевидно, Ельцова думала, что воображеніе или цѣликомъ принадлежитъ къ сферѣ чувствованій, или, по крайней мѣрѣ, есть душевная сила, находящаяся въ преимущественномъ соотношеніи, въ особой близости съ этой сферой. Ельцова не подозрѣвала, что воображеніе есть неотъемлемая часть ума, и что нѣтъ никакой возможности развить умъ, подавляя воображеніе. Она не знала, что упражняя, хотя-бы при помощи географіи и зоологіи, *память,* эту психическую основу воображенія, она eo ipso даетъ пищу и этому послѣднему, и что, развившись и окрѣпнувъ, сперва на описательномъ естествознаніи, оно впослѣдствіи можетъ перенести свою дѣятельность и въ другія сферы. Вторая ошибка состояла въ ложномъ взглядѣ, будто можно потушить страсти путемъ суженія и ограниченія сферы мысли, искусственно отвлекаемой отъ всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ страстямъ человѣческимъ, и питаемой исключительно «сухими» географическими и естественно-историческими свѣдѣніями. Кажется удивительнымъ, какъ такая умная и мыслящая женщина, какъ Ельцова, не сообразила, что ни чтеніе путешествій, ни знаніе

географическихъ именъ, ни умѣніе отличать ядовитыхъ пауковъ отъ неядовитыхъ—не имѣютъ ровно никакого отношенія къ человѣческимъ чувствамъ и страстямъ, къ потребности любви, къ мечтамъ о счастьѣ, что, наконецъ, эти душевныя стремленія нельзя, да и не нужно тушить, но можно облагородить, просвѣтить, очистить отъ грубыхъ инстинктовъ, отъ эгоистическихъ примѣсей—путемъ разносторонней культуры ума и гармоническаго развитія всей личности человѣка. Не сознавая этой простой и не требующей доказательствъ истины, Ельцова сдѣлала и третью ошибку,—не оцѣнила значенія *поэзіи въ дѣлѣ облагороженія ума и чувства и ихъ подготовленія къ дѣйствительной жизни*. Въ интересахъ выясненія этого важнаго пункта, намъ придется сдѣлать здѣсь отступленіе—въ область психологіи искусства (въ частности поэзіи).

Вліяніе поэзіи (и вообще искусства) на развивающуюся человѣческую личность можетъ быть разнообразно—смотря по человѣку, по характеру душевной организаціи, по степени воспріимчивости и т. д.—Мы будемъ имѣть въ виду преимущественно натуры—въ родѣ Вѣры, чуткія, тонкія, богато одаренныя, способныя къ большому душевному развитію, призванныя къ яркому проявленію въ жизни чувства или въ дѣятельности мысли и воли.

И прежде всего постараемся обратить должное вниманіе на двѣ стороны вопроса, часто упускаемыя изъ виду: это, во-первыхъ, свойство поэзіи *умиротворять, успокоивать душевныя волненія* и, во-вторыхъ, это ея значеніе,—какъ своего рода «прививки яда», въ извѣстной мѣрѣ предохраняющей отъ возможной душевной заразы.

Для удобства анализа и самого изложенія, мы сперва разсмотримъ эти двѣ стороны или свойства поэзіи (и вообще искусства) внѣ ихъ значенія для цѣлей педагогическихъ. Представимъ себѣ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ взрослымъ, сложившимся, развитымъ, способнымъ понимать и цѣнить поэзію. Спрашивается: Шекспиръ, Байронъ, Гете, Шиллеръ, Гейне, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Толстой, Тургеневъ, Гончаровъ и т. д. чего больше дадутъ ему,—

волненій, терзаній, мечтаній, соблазновъ, восторговъ и т. д. съ одной стороны, или-же—душевнаго умиротворенія, успокоенія, спокойныхъ созерцаній—съ другой? Отвѣчаю категорически: послѣднихъ гораздо больше, чѣмъ первыхъ. Это вытекаетъ прямо изъ самой природы поэзіи. Предупреждаю читателя, что я имѣю въ виду настоящую, несомнѣнную поэзію, а не тѣ произведенія, которыя имѣютъ только форму поэтическую, но по самой психологической своей основѣ, къ поэзіи не относятся. Всякое истинно-поэтическое произведеніе есть прежде всего попытка поставить и рѣшить какой-нибудь общечеловѣческій вопросъ. Творческая сила, которая тутъ дѣйствуетъ, есть *сила мысли* (а не чувства): это все тотъ-же синтезъ и анализъ, которые являются основами и научной и философской мысли. Художественные образы суть умственные продукты явно *индуктивнаго* характера. Весь, стало быть, процессъ относится цѣликомъ къ области мысли. Но, конечно, онъ не отдѣленъ китайской стѣною отъ сферы чувствъ. Послѣднія въ него входятъ вмѣстѣ съ тѣмъ жизненнымъ матеріаломъ, на изученіе и объясненіе котораго направлено творчество художника. *Творя,* художникъ испытываетъ массу соотвѣтственныхъ движеній чувствующей души: онъ скорбитъ, радуется, плачетъ, смѣется, негодуетъ, жалѣетъ, любитъ, ненавидитъ, прощаетъ—все, что угодно. Спрашивается: тождественны-ли эти чувства съ тѣми скорбями, радостями, негодованіемъ, сожалѣніемъ и т. д., которыя тотъ-же художникъ испытываетъ внѣ творчества, не какъ художникъ, а какъ всякій человѣкъ? Тождества быть не можетъ, а есть только аналогія. Почему? По той простой причинѣ, что самъ воспринимающій субъектъ при творчествѣ — не таковъ, каковъ онъ внѣ творчества. При творчествѣ въ немъ работаетъ мысль, совершается анализъ и синтезъ, а работа эта — сложная, трудная, всегда—высшаго сорта, и тогда, когда она освѣщена сознаніемъ, и тогда, когда проходитъ въ душѣ безсознательной,—и, разумѣется, наличность этихъ умственныхъ процессовъ не можетъ не вліять на всю психію, на постановку въ ней и взаимныя отношенія всѣхъ

ея элементовъ, въ томъ числѣ и чувствъ. Центръ тяжести всей души переносится въ умственную сферу, и что бы ни происходило въ этотъ мигъ въ области чувства, какое бы негодованіе тамъ ни кипѣло, какія бы скорби или радости тамъ ни были,—всѣ они не могутъ не подчиниться такъ или иначе измѣняющему воздѣйствію процессовъ мысли. И чувства безспорно измѣняются подъ этимъ воздѣйствіемъ,—измѣняются и количественно и качественно. Говорю «количественно»—въ смыслѣ большей силы, интенсивности. Гоголь, напр., конечно, негодовалъ, скорбѣлъ, смѣялся и пр. несравненно больше—когда творилъ типы Сквозника-Дмухановскаго, Чичикова, Собакевича, чѣмъ когда встрѣчалъ въ самой дѣйствительности разрозненные оригиналы этихъ типовъ. Художникъ въ моментъ творчества долженъ чувствовать сильнѣе уже потому, что онъ сосредоточивается мыслью на извѣстномъ явленіи, устраняя тѣмъ самымъ разсѣивающее и парализующее дѣйствіе на соотвѣтственное чувство различныхъ впечатлѣній обыденной жизни. Но онъ не только сосредоточиваетъ свою мысль на извѣстномъ явленіи, наприм., возбуждающемъ негодованіе и скорбь, онъ обобщаетъ множество фактовъ этого рода и собираетъ въ одномъ образѣ, какъ фокусѣ, всѣ негодованія и скорби этихъ фактовъ, вмѣстѣ взятыя. Теперь уяснимъ себѣ *качественное* измѣненіе чувства. Умственная дѣятельность, въ томъ числѣ и художественная, имѣетъ свои—умственныя—чувства, порождаемыя самимъ процессомъ мысли, и это чувства пріятныя, доставляющія извѣстное, часто очень высокое, всегда очень чистое наслажденіе. Въ искусствѣ оно извѣстно подъ именемъ «эстетическаго наслажденія». Часто называютъ его также «чувствомъ красоты». Я бы охотно употребилъ этотъ послѣдній терминъ, если бы я зналъ, что такое «красота», т. е.—какой именно психическій процессъ нужно разумѣть подъ «красотою». Чувствовалъ-ли Гоголь *красоту*, когда создавалъ безобразный, но несомнѣнно высокохудожественный типъ Плюшкина—этого рѣшать не берусь. Но что онъ испытывалъ специфическую *радость творчества*, это несомнѣнно. Несомнѣнно также,

что эта радость не могла остаться не у дѣлъ: она должна была такъ или иначе сказываться въ наличномъ душевномъ обиходѣ, и прежде всего—вызывать *качественное* измѣненіе тѣхъ чувствъ (негодованія, отвращенія и проч.), какія внушались аперцепціей даннаго образа (Плюшкина). Примѣсь этой творческой радости не можетъ, конечно, уменьшать *силу* чувства, (иначе Плюшкинъ не вышелъ бы такимъ яркимъ, Донъ-Кихотъ—такимъ жалкимъ, смѣшнымъ и симпатичнымъ, родители Базарова—такими трогательными и т. д.)—она только измѣняетъ его качество, т.-е. превращаетъ его въ другое чувство или въ другую разновидность того-же чувства. Въ какую именно? Въ такую, что, не теряя своей силы, чувство присутствуетъ въ душѣ, не какъ диссонансъ, а какъ моментъ, звучащій въ унисонъ съ другими струнами души, сотрудничающій съ другими моментами въ дѣлѣ установленія той гармоніи, того душевнаго равновѣсія, которыя являются характерными спутниками художественнаго творчества. Это равновѣсіе ощущается какъ внутреннее удовлетвореніе, какъ миръ души, какъ спокойствіе сознанія, въ родѣ спокойствія совѣсти послѣ произнесенія справедливаго вердикта,—наконецъ, какъ тихая и самодавлѣющая радость гуманныхъ созерцаній—съ высоты душевнаго подъема, откуда видны далекіе горизонты и гдѣ такъ легко дышится—въ чистой атмосферѣ общечеловѣческихъ идеаловъ.

Вотъ именно въ этомъ смыслѣ я и говорю, что поэзія умиротворяетъ, а не возбуждаетъ, успокоиваетъ, а не раздражаетъ,—и въ этомъ-же, чисто-психологическомъ смыслѣ, понимаю (вслѣдъ за Потебней) извѣстное стихотвореніе Тютчева, въ которомъ *поэзія* характеризуется такъ:

Среди громовъ, среди огней,
Среди клокочущихъ зыбей,
Въ стихійномъ, пламенномъ раздорѣ,
Она съ небесъ слетаетъ къ намъ,
Небесная къ земнымъ сынамъ,
Съ лазурной ясностью во взорѣ,
И на бунтующее море
Льетъ примирительный елей...

Все это я говорилъ о самомъ художникѣ, о поэтѣ. Но

то же самое нужно сказать и о всякомъ—взросломъ образованномъ, развитомъ—человѣкѣ, воспринимающемъ художественное произведеніе, ибо читатель, скажемъ, Шекспира повторяетъ—въ извѣстномъ смыслѣ—творчество самого Шекспира и переживаетъ въ сокращенномъ видѣ тѣ-же душевныя состоянія, какія переживалъ поэтъ, когда творилъ. Вслѣдъ за поэтомъ читатель продѣлываетъ тѣ же синтезы и анализы, вновь возсоздаетъ въ своемъ умѣ, индуктивнымъ путемъ, образъ, данный художникомъ, ставитъ вопросъ, рѣшаетъ задачу, переиспытываетъ тѣ же чувства и обрѣтаетъ соотвѣтственныя художественныя созерцанія и съ ними связанное душевное умиротвореніе.

Вотъ теперь, послѣ этихъ соображеній, мы можемъ вернуться къ вопросу педагогическому, т. е. къ вопросу о томъ, какое значеніе можетъ имѣть поэзія для правильнаго развитія еще не сложившагося человѣка.

Дѣти, подростки, юноши, какъ не имѣющіе необходимаго для воспріятія искусства опыта жизни, запаса впечатлѣній, наблюденій и мыслей, не могутъ понимать ни Шекспира, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Гете, ни Тургенева, ни Толстого. Имъ лишь *кажется,* что они понимаютъ; въ дѣйствительности, *ихъ* Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ и т. д. — это сочинители болѣе или менѣе занимательные, въ родѣ Загоскина, Лажечникова и т. д. Отсюда слѣдуетъ, что для юношества поэзія не можетъ служить источникомъ того душевнаго умиротворенія и успокоенія, той гармоніи духа, о которыхъ мы говорили выше. Но въ *такомъ* воздѣйствіи искусства юношество и не нуждается. Потребность въ освѣженіи, обновленіи, оздоровленіи души скажется позже, когда юноши перестанутъ быть юношами и вступятъ въ жизнь, и жизнь начнетъ ихъ трепать, раздражать, угнетать, энервировать. Вотъ именно въ виду и въ ожиданіи этой грядущей и неизбѣжной—по основнымъ условіямъ всего строя жизни—отравы духа и необходимо заблаговременно озаботиться, чтобы въ распоряженіи человѣка были оздоровляющія психическія начала, въ ряду которыхъ поэзіи, по силѣ ея воздѣйствія и по ея общедоступности, принадлежитъ

первое мѣсто. Это одна изъ важныхъ задачъ воспитанія и образованія—подготовляетъ юношество къ будущему пониманію поэзіи, къ будущей ея утилизаціи въ вышеуказанномъ смыслѣ. Не трудно видѣть, къ чему собственно сводится эта поэтическая подготовка. Какъ въ музыкѣ и пѣніи нужно развить слухъ, «поставить голосъ» и изощрить музыкальную сторону духа, такъ и здѣсь необходимо развить поэтическія стремленія души и въ своемъ родѣ «поставить мысль», направивъ ее въ сторону аперцепціи художественныхъ образовъ. Пусть цѣлое поэтическое произведеніе, его идея, его концепція, заключенныя въ немъ высшія созерцанія остаются пока недоступны юному уму,—зато отдѣльные образы могутъ быть въ извѣстной мѣрѣ понимаемы, хотя бы только какъ конкретные, и ихъ усвоеніе не можетъ не вліять на развитіе *симпатическаго воображенія,* безъ котораго нельзя ни понимать искусства ни быть гуманнымъ человѣкомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ исподволь развивается *чувство правды и чутье дѣйствительности,* — послѣднее—тѣмъ легче, что самые то образы поэзіи воспринимаются юнымъ умомъ не какъ отвлеченія, а какъ фигуры конкретныя, т. е. копія дѣйствительности, и развивающемуся сознанію юноши въ поэтическихъ произведеніяхъ открывается сама жизнь, какъ она есть. Вотъ именно отсюда и вытекаетъ второе свойство искусства вообще и поэзіи въ особенности—служить въ своемъ родѣ «предохранительной прививкой» разнообразныхъ душевныхъ ядовъ жизни.

Что современная жизнь во всемъ цивилизованномъ мірѣ ядовита,—это не можетъ подлежать сомнѣнію. Не нужно только, какъ это дѣлаютъ пессимисты, преувеличивать бѣду и все сваливать на «цивилизацію» съ ея будто-бы разлагающимъ и переутомляющимъ «прогрессомъ». Современная цивилизація съ ея устоями, общимъ духомъ и направленіемъ есть только моментъ въ исторіи развивающагося человѣчества, пришедшій на смѣну другихъ историческихъ моментовъ, другихъ типовъ культуры и таящій въ себѣ

корни иного, болѣе гуманнаго, болѣе справедливаго уклада общественныхъ отношеній.

Каждой эпохѣ въ исторіи цивилизаціи, каждому укладу общественности присущи свои психическіе яды, такъ или иначе отравляющіе душевное благополучіе личности. На вопросъ: въ чемъ собственно состоитъ специфическій ядъ того фазиса общественности, который переживается нынѣ всѣмъ цивилизованнымъ человѣчествомъ?—мы отвѣтимъ такъ:

Личность достигла небывалаго развитія, какого не вѣдали предшествующіе вѣка. Наша эпоха есть эпоха *индивидуализма* по преимуществу, и притомъ—приближающаяся къ своему критическому моменту, когда воочію обнаружатся всѣ изъяны и внутреннія противорѣчія общественности, основанной на антагонизмѣ, на борьбѣ интересовъ, когда сама личность почувствуетъ мучительную жажду иного, высшаго самоопредѣленія, иныхъ, болѣе гармоничныхъ отношеній къ цѣлому.

Развитіе личности ведетъ къ осложненію душевной организаціи, къ изощренію мысли и чувства, а стало быть—и къ повышеннымъ, труднѣе удовлетворимымъ запросамъ и требованіямъ. Найти свое душевное счастіе, достичь внутренняго удовлетворенія, мира чувствъ и радости мысли современному человѣку несравненно труднѣе, чѣмъ это было въ старину. Оттуда вѣчное недовольство собою, своей жизнью, другими людьми, разочарованность, пессимизмъ, болѣзненная раздражительность самолюбія и многое другое. Естественнымъ плодомъ крайняго индивидуализма въ общественномъ укладѣ и въ самоопредѣленіи личности является миражъ *личнаго счастья* и безнадежная погоня за нимъ,—откуда одинъ шагъ къ отчаянію, къ сознанію недостижимости этого эгоистическаго идеала. И при отсутствіи другого идеала, личность роковымъ образомъ становится въ положеніе Фауста, попадаетъ въ ту безотрадную психологическую коллизію, которая сказалась въ знаменитомъ восклицаніи героя гетевской драмы: entbehren sollst du, sollst entbehren! Эти то слова и взялъ Тургеневъ эпиграфомъ своей повѣсти.

Вотъ именно въ роковой необходимости «entbehren» и въ упорномъ, эгоистическомъ нежеланіи личности примириться съ этимъ, въ ея неспособности найти высшее — *неличное*—счастье въ идеальныхъ стремленіяхъ мысли, въ альтруистическихъ движеніяхъ чувства и лежитъ источникъ всѣхъ психическихъ ядовъ современной жизни. — *Искусство* вообще и *поэзія* въ особенности обладаютъ благодѣтельной силою исподволь прививать эти яды — тѣмъ, во первыхъ, что заблаговременно пріучаютъ мысль и чувства апперцепировать несовершенство, бѣды, страданія людей, трагическое въ жизни, пошлое въ человѣкѣ, смѣсь добра и зла, въ природѣ и въ человѣчествѣ, — во вторыхъ, тѣмъ, что отвлекаютъ душу человѣческую отъ эгоистическихъ помысловъ о себѣ самой и переносятъ ее въ сферу другихъ, болѣе широкихъ интересовъ, заставляютъ «перевоплощаться», мыслить и чувствовать за другихъ, радоваться и страдать вмѣстѣ съ другими людьми. На этой почвѣ и выростаетъ противоядіе крайнему индивидуализму и эгоизму — сочувствіе, состраданіе, гуманность, общечеловѣческій идеалъ. Все это душевныя явленія, даромъ не дающіяся; ихъ нужно воспитать, взлелѣять; сама жизнь, полная случайностей, противорѣчій, бѣдъ, дурныхъ вліяній, ихъ не дастъ; удаленіе отъ жизни, устраненіе живыхъ впечатлѣній еще менѣе способно ихъ развить. Ихъ разовьетъ жизнь, возведенная въ «перлъ созданія», облагороженная и просвѣтленная творчествомъ, — жизнь, отраженная въ искусствѣ.

Теперь намъ будетъ понятно, какую огромную и непростительную ошибку сдѣлала Ельцова, устранивъ поэзію въ воспитаніи дочери. Ядъ не былъ привитъ Вѣрѣ, и ея чуткая, богато-одаренная, страстная натура осталась непредохраненной отъ всегда возможной заразы, отъ рокового проявленія «тайныхъ силъ» жизни. Для Вѣры ужъ одно пробужденіе ея спящей души, ея усыпленной мысли, ея такъ долго безмолствовавшей мечты не могло не быть фатально...

Д. Овсянико-Куликовскій.

„А С Я".

*) «Асей» Тургеневъ далъ защитникамъ самобытности русской женской натуры еще одно вѣское доказательство, и вотъ почему эта маленькая повѣсть составляетъ одну изъ тѣхъ симпатичныхъ связей, которая соединяетъ нашего знаменитаго писателя съ русской читающей публикой.

С. Венгеровъ.

* * *

**) «Повѣсть имѣетъ направленіе чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной изъ такъ называемыхъ черныхъ сторонъ жизни».

Говоря о впечатлѣніи, произведенномъ этою повѣстью на читающую публику, критикъ «Атенея», Н. Чернышевскій, продолжаетъ: «Вотъ человѣкъ, сердце котораго открыто всѣмъ высокимъ чувствамъ, честность котораго непоколебима, мысль котораго приняла въ себя все, за что нашъ вѣкъ называется вѣкомъ благородныхъ стремленій. И что-же дѣлаетъ этотъ человѣкъ? Онъ дѣлаетъ сцену, какой устыдился бы послѣдній взяточникъ. Онъ чувствуетъ самую сильную и чистую симпатію къ дѣвушкѣ, которая любитъ его; онъ часа не можетъ прожить, не видя этой дѣвушки; его мысль весь день, всю ночь рисуетъ ему ея прекрасный образъ; настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопаетъ въ блаженствѣ. Мы видимъ Ромео, мы видимъ Джульетту, счастью которыхъ ничто не мѣшаетъ, и приближается минута, когда навѣки рѣшится ихъ судьба, — для этого Ромео долженъ только сказать: «Я люблю тебя, любишь-ли ты меня?» и Джульетта прошепчетъ: «Да»... И что-же дѣлаетъ нашъ Ромео (такъ мы

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ".

**) „Атеней" 1858 г., № 18 (Статья Н. Чернышевскаго, подъ заглавіемъ: „Русскій человѣкъ на rendez-vous").

будемъ называть героя повѣсти, фамилія котораго не сообщена намъ авторомъ разсказа), явившись на свиданіе съ Джульеттой? Съ трепетомъ любви ожидаетъ Джульетта своего Ромео; она должна узнать отъ него, что онъ любитъ ее,—это слово не было произнесено между ними, оно теперь будетъ произнесено имъ, навѣки соединятся они; блаженство ждетъ ихъ, такое чистое и высокое блаженство, энтузіазмъ котораго дѣлаетъ едва выносимой для земного организма торжественную минуту рѣшенія. Отъ меньшей радости умирали люди. Она сидитъ, какъ испуганная птичка, закрывъ лицо отъ сіянія являющагося передъ ней солнца любви; быстро дышитъ она, вся дрожитъ; она еще трепетнѣе потупляетъ глаза, когда входитъ онъ, называетъ ея имя; она хочетъ взглянуть на него, и не можетъ; онъ беретъ ея руку,—эта рука холодна, лежитъ какъ мертвая въ его рукѣ; она хочетъ улыбнуться, но блѣдныя губы ея не могутъ улыбнуться. Она хочетъ заговорить съ нимъ, и голосъ ея прерывается. Долго молчатъ они оба,—и въ немъ, какъ самъ онъ говоритъ, растаяло сердце,—и вотъ Ромео говоритъ своей Джульеттѣ... и что же онъ говоритъ ей? «вы предо мною виноваты, говоритъ онъ ей:—вы меня запутали въ непріятности, я вами не доволенъ, вы компрометируете меня, и я долженъ прекратить мои отношенія къ вамъ, для меня очень непріятно съ вами разставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше». Что это такое? Чѣмъ *она* виновата? Развѣ тѣмъ, что считала *его* порядочнымъ человѣкомъ? Компрометировала его репутацію тѣмъ, что пришла на свиданіе съ нимъ? Это изумительно! Каждая черта въ ея блѣдномъ лицѣ говоритъ, что она ждетъ рѣшенія своей судьбы отъ его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидаетъ теперь только того, чтобы онъ сказалъ, что принимаетъ ея душу, ея жизнь, и онъ ей дѣлаетъ выговоры за то, что она его компрометируетъ! Что это за нелѣпая жестокость? Что эта за низкая грубость! И этотъ человѣкъ, поступающій такъ подло, выставлялся благороднымъ до сихъ поръ! Онъ обманулъ насъ, обманулъ автора.

Да, поэтъ сдѣлалъ слишкомъ грубую ошибку, вообразивъ, что разсказываетъ намъ о человѣкѣ порядочномъ. Этотъ человѣкъ дряннѣе отъявленнаго негодяя.

Таково было впечатлѣніе, произведенное на многихъ неожиданнымъ оборотомъ отношеній нашего Ромео къ его Джульеттѣ. Отъ многихъ мы слышали, что повѣсть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характеръ главнаго лица не выдержанъ, что если этотъ человѣкъ таковъ, какимъ представляется въ первой половинѣ повѣсти, то не могъ поступить онъ съ такою пошлою грубостью; а если могъ такъ поступить, то онъ съ самаго начала долженъ былъ представиться намъ совершенно дряннымъ человѣкомъ. Очень утѣшительно было бы думать, что авторъ въ самомъ дѣлѣ ошибся; но въ томъ и состоитъ грустное достоинство его повѣсти, что характеръ героя вѣренъ нашему обществу».

Н. Чернышевскій.

* * *

*) Этотъ любовникъ, или «Ромео», какъ его называетъ критикъ «Атенея» № 18, оказался несостоятельнымъ и ничтожнымъ человѣкомъ тотчасъ, какъ только былъ поставленъ лицомъ къ лицу съ истинной страстью, какъ только пришло время замѣнить размышленіе чѣмъ-нибудь похожимъ на поступокъ, словомъ,—какъ только приведенъ онъ былъ неожиданно къ *дѣлу*. Дѣло застаетъ этого бѣднаго человѣка, точно одну изъ неразумныхъ женщинъ притчи, съ погашеннымъ свѣтильникомъ ума и воли. Мы считаемъ самой блестящей стороной критики «Атенея» развитіе той мысли, что, по законамъ неопровержимой аналогіи, люди, подобные нашему Ромео, покажутъ одинаковое отсутствіе энергіи и способности дѣйствовать всюду, куда бы они ни были призваны, и убѣгутъ со всякаго честнаго поля труда, какое представитъ имъ неожиданное

---

*) П. Анненковъ. „Воспоминанія и критическіе очерки“, отдѣлъ 2.

сочетаніе обстоятельствъ или счастливый случай. При предполагаемомъ большинствѣ людей этого рода, общій выводъ, конечно, не имѣетъ въ себѣ ничего очень утѣшительнаго... Ромео (мы уже привыкли такъ называть героя повѣсти «Ася») принадлежитъ къ семьѣ слабыхъ, нерѣшительныхъ характеровъ, но, конечно, ни мало не составляетъ гордости и украшенія ея. Надо отдать справедливость автору: онъ чрезвычайно искусно и тонко разбросалъ по физіономіи любовника, съ виду еще полной жизни и блеска, черты серьезной нравственной болѣзни. Одинъ признакъ въ характерѣ Ромео особенно поражаетъ читателя. Это—сластолюбецъ весьма значительныхъ размѣровъ: онъ потѣшается людьми, бросаетъ тѣхъ, кого изучилъ, привязывается къ тѣмъ, кого еще не знаетъ, и въ промежуткахъ своихъ частыхъ переходовъ отъ лица къ лицу не забываетъ наслажденій природой, которыя «освѣжаютъ» вкусъ его. Дознано опытомъ, что ѣсть и пить можно только въ опредѣленное время и опредѣленное количество ѣды и питья, но *пробовать* можно постоянно, ежечасно: мѣра и разборъ тутъ уже не существуютъ. Ромео нашъ пробуетъ рѣшительно отъ всего, что попадается ему на пути: еще по вечерамъ мечтаетъ онъ о какомъ-то женскомъ образѣ, мелькнувшемъ гдѣ-то передъ глазами его, а проснувшись простираетъ мысли къ загадочному существу, усмотрѣнному нѣсколько часовъ тому назадъ. Онъ лѣниво отдается новымъ ощущеніямъ своимъ, какъ рыбакъ, который сложилъ весла и пустилъ лодку по волнамъ. Ни малѣйшаго признака, чтобъ онъ занятъ былъ истиной, правдой отношеній своихъ къ неожиданной Жюльеттѣ, попавшейся ему на дорогѣ: онъ только занятъ изученіемъ ея характера да изученіемъ своихъ впечатлѣній. Но въ натурѣ этого человѣка есть одно важное качество: онъ способенъ понимать себя и при случаѣ сознавать бѣдность нравственнаго существа своего. Вотъ почему онъ останавливается иногда у самой цѣли, къ которой стремился безоглядно, слабѣетъ въ виду послѣдней тропинки ложнаго пути, куда зашелъ, и впадаетъ въ него-

дованіе передъ безобразіемъ собственнаго дѣла. Такой любовникъ есть, безъ сомнѣнія, великое несчастіе для женщины, и однакожъ, если бы намъ тоже позволено было обратиться къ Жюльеттѣ, мы бы сказали ей: «Да, человѣкъ этотъ унесъ безъ всякаго права первое, свѣжее, молодое чувство ваше и обманулъ всѣ самыя глубокія, задушевныя мечты ваши, но не сожалѣйте о томъ, что произошло между вами. Вы не могли бы быть счастливы съ такимъ человѣкомъ даже и тогда, когда бы случайно нашли его въ восторженномъ состояніи и готовымъ отвѣчать на вашъ призывъ: искренняя глубокая страсть и сибаритическая потѣха жизнью вмѣстѣ не уживаются. Нѣтъ сомнѣнія, что вы найдете еще великодушныя привязанности, способныя на самопожертвованіе, если будетъ нужно, на искреннюю признательность, если дозволено будетъ имъ развиться; въ этихъ привязанностяхъ вы увидите отраженіе собственнаго сердца и души своей. Но, вспоминая о человѣкѣ, который такъ грубо оттолкнулъ васъ въ минуту благороднѣйшаго порыва,—благословляйте судьбу, что встрѣтились съ слабымъ характеромъ, который, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, сберегаетъ одно сокровище—пониманіе нравственной своей бѣдности и того, что требуетъ правда и откровенность въ иныхъ случаяхъ. Какой огромный, ужасающій урокъ могли бы вы получить, если бы той же судьбѣ вздумалось васъ натолкнуть на русскій «цѣльный» характеръ, не останавливающійся уже ни передъ чѣмъ; а еще менѣе тогда, когда онъ имѣетъ въ виду легкое удовлетвореніе эгоизма, тщеславія и страстей. При тѣхъ же самыхъ условіяхъ слѣпой любви, съ одной стороны, и мертваго чувства съ другой—нашъ смѣлый человѣкъ пошелъ бы навстрѣчу къ вамъ при первыхъ словахъ, мало заботясь о состояніи своего сердца. Тутъ была для него побѣда, а побѣда, въ чемъ бы она ни заключалась, составляетъ непреодолимую страсть грубыхъ натуръ. Можетъ статься, что въ пылу увлеченія вы почли бы за счастье даже лицемѣрную подчиненность тогдашнему вашему настроенію, даже фальшивую игру съ вашимъ чувствомъ и поддѣльную взаимность...

Но если, по природѣ своей, вы не въ состояніи помириться ни съ какимъ счастьемъ, какъ только досталось оно обманомъ, ни съ какимъ наслажденіемъ, какъ только вышло оно изъ мутнаго источника лжи, притворства и низости,—то «слабый» любовникъ спасъ васъ отъ большой бѣды. Съ разбитымъ и оскорбленнымъ чувствомъ еще можно жить (тутъ помогутъ сознаніе своего достоинства и гордость женщины), но какъ жить съ чувствомъ опозореннымъ? Вспомните притомъ, что смѣлому вору вашего сердца вы не могли бы даже сдѣлать упрека, не смѣли бы принести даже жалобы... У него всегда готовъ былъ бы вопросъ: «Кто первый началъ игру?»—И будьте увѣрены, у «цѣльныхъ» характеровъ вопросы подобнаго рода свободно вылетаютъ изъ груди, потому что какъ оскорбленія, такъ и оправданія ихъ просты, голы до цинизма. Мысль ихъ является въ наготѣ еще болѣе оскорбительной, чѣмъ самая сущность мысли. Въ переносномъ смыслѣ это Ирокезы, хотя они почти всегда прикрываются самымъ изящнымъ и расшитымъ платьемъ».

П. Анненковъ.

* * *

*) Ася—милое, свѣжее, свободное дитя природы; какъ незаконнорожденная дочь, она въ домѣ отца своего не пользовалась тѣмъ тщательнымъ надзоромъ, который душитъ въ ребенкѣ живыя движенія и превращаетъ здоровую дѣвочку въ благовоспитанную барышню. Свободно играла и рѣзвилась она, бывши ребенкомъ; свободно стала она развиваться подъ руководствомъ своего старшаго законнорожденнаго брата, добродушнаго молодого человѣка,—весело, свѣтло и широко смотрящаго на жизнь... Ася является въ повѣсти Тургенева восемнадцатилѣтнею дѣвушкою; въ ней кипятъ молодыя силы; ея кровь играетъ

*) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г., № 12 и Сочиненія Писарева, ч. 1.

и мысль бѣгаетъ: она на все смотритъ съ любопытствомъ; но ни во что не вглядывается: посмотритъ и отвернется, и опять взглянетъ на что-нибудь новое; она съ жадностью ловитъ впечатлѣнія и дѣлаетъ это безъ всякой цѣли и совершенно безсознательно: силъ много, но силы эти бродятъ. На чемъ онѣ сосредоточатся и что изъ этого выйдетъ,—вотъ вопросъ, который начинаетъ занимать читателя тотчасъ послѣ перваго знакомства съ этою своеобразною и прелестною фигурою.

Она начинаетъ кокетничать съ молодымъ человѣкомъ, съ которымъ Гагинъ случайно знакомится въ нѣмецкомъ городкѣ. Кокетство Аси такъ-же своеобразно, какъ и вся ея личность; это кокетство безцѣльно и даже безсознательно: оно выражается въ томъ, что Ася, въ присутствіи посторонняго молодого человѣка, становится еще живѣе и шаловливѣе; по ея подвижнымъ чертамъ пробѣгаетъ одно выраженіе за другимъ; она какъ-то вся въ его присутствіи живетъ ускоренною жизнью; она при немъ бѣжитъ такъ, какъ не побѣжала бы, можетъ быть, безъ него: она станетъ въ граціозную позу, которую не приняла бы, можетъ быть, если бы его тутъ не было,—но все это не разсчитано, не пригоняется къ извѣстной цѣли; она становится рѣзвѣе и граціознѣе потому, что присутствіе молодого мужчины, незамѣтно для нея самой, волнуетъ ея кровь и раздражаетъ нервную систему; это не любовь, это—половое влеченіе, которое неизбѣжно должно явиться у здоровой дѣвушки, точно такъ же какъ оно является у здороваго юноши... Ася—вся живая, вся натуральная, и потому-то Гагинъ считаетъ необходимымъ извиниться за нее передъ тою золотою серединою, которой лучшимъ и наиболѣе развитымъ представителемъ является г. Н. Н., разсказывающій всю повѣсть отъ своего имени... Изъ того, что я до сихъ поръ говорилъ объ Асѣ, прошу не выводить того заключенія, будто эта личность совершенно непосредственная. Ася настолько умна, что умѣетъ по своему обсуживать свои собственные поступки и производить надъ собою приговоръ. Напримѣръ, ей показалось, что она черезчуръ

расшалилась, — на другой день она является тихою, спокойною, смирною до такой степени, что Гагинъ говоритъ даже о ней:

«Ага! Постъ и покаяніе на себя наложила».

Потомъ она замѣчаетъ, что въ ней что-то неладно, что она, кажется, привязывается къ новому знакомому; это открытіе ее пугаетъ; она понимаетъ свое положеніе, — двусмысленное, по мнѣнію нашего общества; она понимаетъ, что между нею и любимымъ человѣкомъ можетъ появиться такая преграда, черезъ которую она, изъ гордости, не захочетъ перескочить и черезъ которую онъ, изъ робости, не посмѣетъ перешагнуть. Весь этотъ рядъ мыслей пробѣгаетъ въ ея головѣ чрезвычайно быстро и отдается во всемъ ея организмѣ; кончается тѣмъ, что она, какъ испуганный ребенокъ, порывисто отвертывается отъ неизвѣстнаго будущаго, которое является ей въ образѣ новаго чувства, и съ дѣтскимъ довѣріемъ, съ громкимъ плачемъ и, въ то же время, съ недѣтскою страстностью кидается назадъ къ своему милому прошедшему, воплощающемуся для нея въ личности добраго, снисходительнаго брата... Настроеніе Аси, ея обращеніе къ прошедшему — скоро исчезаютъ безъ слѣда; приходитъ Н. Н., начинаетъ разговоръ, прихотливо перепрыгивающій отъ одного впечатлѣнія къ другому, и Ася вся отдается настоящему, и отдается такъ весело и беззаботно, что не можетъ даже скрыть ощущаемаго удовольствія; она болтаетъ почти безсвязный вздоръ, обаятельный какъ выраженіе ея свѣтлаго настроенія, и наконецъ прорывается и просто говоритъ, что ей хорошо. И это настроеніе совершенно неожиданно разрѣшается въ весьма естественномъ желаніи—повальсировать съ любимымъ человѣкомъ...

Ася, очевидно, находится въ напряженномъ состояніи; она переживаетъ новую для себя фазу развитія; она въ одно время и живетъ и думаетъ о жизни, какъ это всегда бываетъ съ людьми, одаренными свѣтлыми умственными способностями; она поддается новымъ впечатлѣніямъ, и въ то же время боится ихъ, потому что не знаетъ, что да-

дутъ они ей въ будущемъ; порою пересиливаетъ страхъ, порою одолѣваетъ желаніе. Чувство растетъ съ каждымъ днемъ. Ася объявляетъ г. Н., что крылья у нея выросли, да летѣть некуда, а потомъ признается брату, что она любитъ этого господина. «Увѣряю васъ, говоритъ Гагинъ въ разговорѣ съ Н.: мы съ вами, благоразумные люди, и представить себѣ не можемъ, какъ она глубоко чувствуетъ, и съ какой невѣроятной силой высказываются въ ней эти чувства: это находитъ на нее такъ же неожиданно и такъ же неотразимо, какъ гроза». Дѣйствительно, чувство Аси высказывается не одними словами и слезами, — оно доводитъ ее до дѣйствія: забывая всякую предосторожность, отлагая въ сторону всякую ложную гордость, она назначаетъ любимому человѣку свиданіе, и тутъ-то, при этомъ случаѣ, высказывается въ полной яркости превосходство свѣжей, энергической дѣвушки надъ вялымъ продуктомъ великосвѣтской, условно-этикетной жизни. Посмотрите, чѣмъ рискуетъ Ася, и посмотрите, чего боится Н.? Идя на свиданіе, Ася, конечно, не знала, чѣмъ оно можетъ кончиться; свиданіе это было назначено безъ всякой цѣли, по неотразимой потребности сказать любимому человѣку наединѣ что-то такое, чего и сама Ася ясно не сознавала; свидѣвшись съ Н. у фрау Аризъ, она такъ безраздѣльно отдалась впечатлѣнію минуты, что потеряла и желаніе и способность сопротивляться чему бы то ни было; она безусловно довѣрилась, не слыхавши отъ Н. ни одного слова любви; безсознательная робость молодой дѣвушки и сознательная боязнь лишиться добраго имени—все умолкло передъ настоятельными, неотразимыми требованіями чувства. Если можно благоговѣть передъ чѣмъ бы то ни было, то всего разумнѣе и изящнѣе будетъ съ благоговѣніемъ остановиться передъ этою силою чувства: это такой двигатель, для котораго не существуетъ непреодолимыхъ трудностей, при всякой борьбѣ между людьми, рано или поздно одолѣетъ та партія, на сторонѣ которой находится наибольшая сумма энергичнаго чувства; человѣкъ, вносящій въ жизнь пылкое желаніе наслаждаться, горячую, энергическую лю-

бовь къ жизни, навѣрное достигнетъ желаемаго счастья, если ему не свалится на голову какой-нибудь нелѣпый камень. Только вялость и апатія вязнутъ въ трясинѣ, не умѣя осилить ни матеріальную нужду ни людское недоброжелательство. Femme le veut, Dieu le veut. Эта поговорка живетъ у французовъ со временъ рыцарства, и въ ней есть значительная доля правды; чего, чего не подѣлаетъ любящая женщина? Какія новыя силы не пробудятся въ ней подъ вліяніемъ ея чувства? Если бы, дѣйствительно (какъ утверждаютъ противники такъ называемой эманципаціи женщинъ), у женщины не было ничего, кромѣ способности любить, то и тогда было бы еще неизвѣстно, чья природа оказалась бы крѣпче интеллектуальными дарами: природа мужчины или природа женщины? Въ разбираемой мною повѣсти—неразвитая, полудикая дѣвушка одною силою своего чувства становится неизмѣримо выше молодого человѣка, у котораго есть и умъ, и образованіе, и современное развитіе. Она на все рѣшилась, не остановилась даже передъ тою мыслію, что можетъ огорчить брата,— единственнаго человѣка въ мірѣ, котораго она любитъ; она пошла навстрѣчу осужденію и позору, страданіямъ и домашнему горю, а онъ, онъ... на чемъ онъ запнулся? Стыдно сказать, а умалчивать незачѣмъ. На томъ, читатели, что его женѣ на визитныхъ карточкахъ неудобно будетъ написать: M-me N. née une telle. На томъ, что онъ самъ, г. Н., затруднится отвѣчать на вопросъ какого-нибудь великосвѣтскаго хлыща: «какъ ваша супруга урожденная?» Потомъ онъ послѣ двухдневной борьбы, одолѣваетъ это препятствіе; но эта побѣда оказывается несвоевременною.

Ася такая личность, въ которой есть всѣ задатки счастливой, полной жизни; развившись помимо условій нашей жизни, она не заразилась ея нелѣпостями. Встрѣться она съ свѣжимъ мужчиною, она бы показала намъ, что значитъ быть счастливою, и дала бы намъ самый спасительный и плодотворный урокъ, котораго намъ до сихъ поръ никто не умѣлъ дать. Но гдѣ же взять такого муж-

чину? У насъ ихъ нѣтъ. И вотъ свѣжее, молодое, здоровое существо попало въ лазаретъ, въ которомъ стонутъ на разные лады субъекты, одержимые самыми разнообразными болѣзнями. Ну, конечно, изъ этого не могло выйти ничего путнаго; поневолѣ ей пришлось зачахнуть отъ аптечнаго воздуха или заразиться отъ дыханія окружающихъ субъектовъ. Виновата ли въ этомъ женщина?..

Д. Писаревъ.

Алфавитный указатель

именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.

Авдѣевъ, М. 351, 352, 384, 393, 433, 434, 437, 485—490.
Аксаковъ, К. 312, 314. 321, 547.
Аксаковъ, С. Т. 58, 130, 241.
Аксаковъ, И. 309.
Александръ II. 82, 240, 268.
Алкандровъ (А. М. Скабичевскій), 491—496.
Андреевичъ (Евг. Соловьевъ) 98—112.
Андреевскій, С. А. 118—127.
„Андрей". 10, 138, 161—163, 177, 224.
„Андрей Колосовъ". 10, 11, 16, 131, 164, 181, 225, 368—389, 403, 472, 573.
Анненковъ, П. В. 10, 192, 193, 210, 222, 223, 261, 264, 307, 308, 310, 312, 313, 315, 423, 426, 428, 429, 436, 437, 438, 607—610.
„Антонъ Горемыка", Григоровича. 109, 211, 212, 263.
„Анчаръ". Пушкина. 434. 440.
Арсеньевъ, К. 127—137.
„Ася". 47, 128—130, 136, 137, 316, 483, 542, 574, 605—615.
„Атеней". 483, 574, 605, 607.
Байронъ. 5, 79, 138, 140, 568, 597.
Бакунинъ, М. 6, 7, 256, 523.
„Баллада". 140, 224.
Балталонъ, Ц. 357—367.
Бальзакъ. 54, 578.
Баратынскій. 123.
Барсовъ, А. 268—309.
„Безденежье". 191.
„Безлунная Ночь". 166.
Беранже. 235.
Бертенсонъ. 90.
„Бесѣда". 197, 220, 477.
„Библіотека для Чтенія". 150—157, 368, 462.
„Бирюкъ". 210, 222, 328—330, 361.
Блудовъ. 268.
Бокъ. 6.
Бонпъ. 93.
„Борисъ Годуновъ", Пушкина. 290.
Боткинъ, В. П. 81, 211, 315.
Брандесъ, 67, 78.
„Братья Карамазовы", Достоевскаго. 36.
„Бреттеръ". 11, 16, 41, 131, 164, 228, 389—396, 399.
„Бригадиръ". 135.
Бульверъ. 125.
Буренинъ, В. П. 52—57, 165—169, 179, 183, 208—220, 310, 354—356, 385, 386, 391—393, 399, 400, 405, 406, 417—

419, 430—432, 438, 439, 454, 456—461, 496—505, 583.
„Бурмистръ“. 199, 210, 213, 215, 227, 261, 263, 277, 343, 344, 360.
„Бѣдные Люди“, Достоевскаго. 16, 412, 413.
„Бѣжинъ Лугъ“. 132, 133, 198, 216, 230, 231, 297, 299, 305, 332—342, 359.
Бѣлинскій. 8, 10, 12, 73, 74, 89, 100, 109, 139, 141, 143—145, 158, 160—166, 168, 171, 192, 209, 210, 212, 213, 220, 224—229, 256, 258, 259—261, 264, 321, 322, 384, 385, 398, 492, 543, 544, 550, 552.
„Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, А. Н. Пыпина. 211.
„Бѣсы“, Достоевскаго. 498, 503.
Вальтеръ. 5, 148.
„Варіаціи“. 169.
Введенскій, Арс. 112—117, 250—255, 567—573.
Вейденгамеръ. 4.
Венгеровъ, С. 139 — 141, 144, 145, 157, 158, 162—164, 191, 192, 228, 229, 311, 317—319, 328, 329, 330, 343, 344, 350, 351, 383, 384, 389, 390, 398, 405, 406, 413, 414, 424, 425, 427, 428, 433, 434, 512—523, 532—542, 605.
Вердеръ. 6.
„Вертеръ“, Гете. 557.
„Вешнія Воды“. 30, 31, 45, 47, 48, 116, 137, 459.
„Взглядъ на русскую литературу 1847 года“, Бѣлинскаго 224
Віардо-Гарсіа, Полина. 13.
Вогюэ. 101.
„Война и Миръ“, Толстого. 5.
Вольтеръ. 235, 578.
„Воробей“. 32, 33.
„Воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ. Поѣздка въ Альбано и Фраскати“. 24.
„Воспоминанія и критическіе очерки“, П. Анненкова. 607.
„Воспоминанія“, Л. Пантелѣева. 309.
Вронченко. 130, 268.
„Вчера и Сегодня“. 164, 170.
„Въ дорогѣ“, Некрасова. 213.
„Вѣстникъ Европы“. 314.
„Гамлетъ“, Шекспира. 557.
„Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“. 25, 33, 39, 492, 506.
„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“. 26, 44, 230, 251, 253, 255, 350—356, 365, 415, 417, 419, 477, 586.
Гардеръ. 69.
Гаршинъ. 101.
„Гдѣ тонко, тамъ и рвется“. 59. 192, 193, 195, 196.
Гегель. 6, 10, 59, 269, 528, 542, 586.
Гейне. 100, 597.
Гельмгольцъ. 93.
„Георгики“. 269.
„Герой нашего времени“, Лермонтова. 163.
Герценъ. 8, 53, 92, 111, 219, 256, 356, 497, 505, 527, 543, 552.
Гете. 78, 94, 121, 139, 269, 353, 528, 557, 586, 597.
Говоруха-Отрокъ (Ю. Николаевъ). 523—532, 584—591.
Гоголь. 12, 24, 36, 53, 60—62, 78, 81, 86, 104, 113, 163, 197, 198, 220, 227, 229, 230, 238, 239, 249, 265, 269, 353, 406, 407, 468, 497, 527, 530, 597, 599, 601.
„Голосъ“. 118, 502.

Гончаровъ. 10, 58, 60, 125, 161, 269, 252, 497, 568, 597.
Гончаровъ, П. А. 308.
Горацій. 5.
„Горе отъ ума“. 270.
Грановскій. 6, 7, 256, 524, 528, 549.
Грибоѣдовъ. 53, 78, 563.
Григоровичъ. 10, 211—213, 238, 257, 259, 263, 328.
Григорьевъ, Ап. 16, 20, 57—60, 70, 163, 164, 193, 194, 231, 232, 352—354, 394, 396—398, 400, 401, 402, 415, 416, 424, 477, 490, 491, 524.
Грузинскій, А. Е. 306 317.
„Губернскіе очерки“, Щедрина. 235.
Гуно. 501.
Гюго. 78, 140.
Даль (Луганскій). 224, 228, 260.
Дантъ. 78.
„Daily News“. 87.
Дарвинъ. 93.
„Дары Терека“, Лермонтова. 451.
„Два Міра“, Майкова. 166.
„Два Помѣщика“. 199, 213, 215, 272, 361.
„Два Пріятеля“. 13, 426, 427—433, 462.
„Дворянское Гнѣздо“. 19, 21, 22, 24, 26, 33, 35, 48, 66, 87, 98, 99, 135, 177, 193, 233, 315, 400, 403, 512, 540, 542, 575, 584, 587, 591.
„Деревня“, Григоровича. 212, 257.
„Деревня“, Тургенева. 128.
Дизраэли. 107.
Диккенсъ. 78, 125, 418.
„Дневникъ лишняго человѣка“. 26, 37, 38, 44, 114, 129, 136, 163, 413-423, 444, 530, 585.
Добролюбовъ. 486.
„Довольно“. 27, 31, 102, 122, 137.
Додэ, А. 240.
„Донъ-Кихотъ“, Сервантеса. 452.
Достоевскій. 16, 23, 36, 53, 60, 71, 104, 105, 108, 116, 117, 408, 497, 498, 499.
Дружининъ, А. 138, 139, 194, 221, 368—383, 390, 391, 399, 405, 407, 414, 415, 416, 424, 427, 430, 435, 438, 445, 455, 456, 462—474, 573, 574.
Дудышкинъ, С. 140, 144, 163, 194, 195, 428, 446, 447, 455, 474, 482, 483.
„Дума“, Лермонтова. 158, 177, 455.
„Дѣло“. 474, 484.
„Дымъ“. 28—30, 47, 48, 88, 89, 105, 229.
„Евгеній Онѣгинъ“, Пушкина. 66, 219, 557.
Евстафьевъ, П. 319, 320, 324, 325, 326, 332, 334, 347.
„Ермолай и Мельничиха“. 132, 202, 210, 213—215, 228, 251, 259, 260, 343, 357.
„Живыя Мощи“. 84, 85, 116, 219, 255, 290, 305, 347—350, 364, 585.
„Жидъ“. 405, 406.
Жуковскій. 286.
„Завтракъ у Предводителя“. 179, 180, 191, 196.
Загоскинъ. 409, 601.
„Замѣтки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“, С. Т. Аксакова. 130.
Зандъ, Жоржъ. 8, 48, 54, 85, 368, 375, 578.
„Записка объ освобожденіи крестьянъ“. 82.
„Записки изъ Мертваго Дома“, Достоевскаго. 16.
„Записки Охотника“. 3, 12, 14,

16, 17, 35, 37, 59, 63, 81—83, 86, 108—111, 131—133, 183, 193, 197—367, 400, 474, 477, 482, 542, 584, 585.
„Затишье“. 13, 23, 26, 47, 48, 50, 135, 316, 426, 433—444, 462.
„Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“, Достоевскаго. 23.
Ивановъ, А. А. 24.
Ивановъ, Ив. 90, 91, 240—248, 542, 558.
„Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ“, В. Покровскаго. 256.
„И. С. Тургеневъ“, Ив. Иванова. 90, 240, 542.
„Искусство“. 81.
„Исторія лейтенанта Ергунова“. 31.
„Исторія новѣйшей русской литературы“, А. М. Скабичевскаго, 1, 179, 229.
„Исторія одного женскаго сердца“, Лихачева. 334.
Кавелинъ, К. Д. 10.
„Казначейша“, Лермонтова. 167.
„Каменный Гость“, Пушкина. 382.
Кантъ. 69, 93, 269.
Карамзинъ. 202, 205.
Карлейль. 244.
„Касьянъ съ Красивой Мечи“. 131, 132, 199, 216, 325—328, 360.
Катонъ. 248.
Кигнъ. 95.
Киселевъ. 268.
„Клара Миличъ“. 89, 111, 583.
Клюшниковъ, И. И. 4.
„Когда давно забытое названье…“ 171.
Козловъ. 160, 409, 410.
Кольцовъ. 560.
„Конецъ Чертопханова“. 47.
„Контора“. 202, 210, 227, 263, 274, 360, 361.
Кохановская. 66.
Краузе 4.
Кремневъ. 165.
Крестьяне по „Запискамъ Охотника“, А. Барсова. 268—305.
„Крестьянскій вопросъ въ Россіи“, В. Семеновскаго. 256.
„Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“, Н. Страхова. 60.
Куторга, М. Ст. 5.
„Крѣпостное право и *Записки Охотника*“, В. Семевскаго. 256.
Лажечниковъ. 601.
Ламартинъ. 54.
„Лебедянь“. 210, 222, 238, 239, 361.
Лейбницъ. 69, 93.
Лермонтовъ. 15, 27, 53, 55, 59, 60, 63, 73, 113, 120, 127, 138, 140, 142, 146, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 169, 172, 175, 177, 289, 391, 392, 397, 451, 526, 527, 544, 554, 557, 597.
Лессингъ. 69.
„Литературная дѣятельность Тургенева“, В. П. Буренина. 52, 165, 179, 208, 385, 391, 399, 405, 417, 430, 438, 454, 456, 496, 583.
„Литературные очерки, С. А. Андреевскаго. 118.
„Литературныя и житейскія воспоминанія“, Тургенева. 5, 6, 55, 91, 94, 138, 208, 257, 311.
Лихачевъ. 258.
„Лишніе люди и женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева“, К. Чернышева. 248, 559.
Лобачевскій. 93.
Лонгиновъ, М. 196, 232—236.

Луганскій (Даль). 224.
Львовъ, кн. 12, 265.
„Льговъ". 132, 203, 210, 213, 214, 260, 358, 359.
„Лѣсной Царь", Гете. 340.
„Лѣсъ и Степь". 131, 216, 334, 347.
Лютеръ. 148, 149.
Майковъ. 58, 165.
„Малиновая Вода". 131, 203, 204, 210, 222, 238, 263, 273, 358.
„Манфредъ", Байрона. 5.
„Маріенбадская Элегія", Гете. 558.
Марковъ, Евг. 118, 501, 502.
Мартыновъ (артистъ). 180, 192.
„Машенька", Майкова. 165.
Мериме. 78.
„Мертвое Озеро", Станицкаго и Некрасова. 334.
„Мертвыя Души", Гоголя. 144, 163, 230, 237.
Миллеръ, О. 81—90, 160—162, 197—208, 220, 221, 227, 228, 477, 482.
Милль, Джонъ Стюартъ. 125.
Милютина. 95.
Михайловскій, Н. К. 33—52.
Мицкевичъ. 54.
„Мой сосѣдъ Радиловъ". 131, 210, 216, 230, 358.
„Москвитянинъ". 146—149, 258, 334—340.
„Московскій Сборникъ". 321.
„Московскія Вѣдомости". 12, 264, 265.
„Муму". 4, 13, 17, 59, 231, 265, 313, 315, 366, 424—426, 444.
Мусинъ-Пушкинъ. 12.
„Мцыри", Лермонтова. 146, 167.
„Мѣсяцъ въ деревнѣ". 179—181, 192, 196.
Мюссе, Альфредъ. 181, 182, 193.
„Накануне". 21, 38, 40—42, 48, 87, 103, 135, 233, 540, 542.
„Нахлѣбникъ". 16, 59, 179, 183, 184, 186, 191, 192, 196.
„Наталья Долгорукая", Козлова. 409.
„Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы", М. Авдѣева. 351, 384, 433, 437, 485.
Невзоровъ, Н. 320, 321, 322, 323, 328, 331, 332.
„Невскій Сборникъ". 491—496.
„Недоросль". 271.
Незеленовъ, А. 15—33, 72—80, 169—178, 183—191, 317, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 340—342, 344—346, 347—350, 387—389, 394—396, 401—404, 407—413, 419—423, 425, 426, 439—444, 447—454, 506—512.
Некрасовъ. 10, 12, 123, 213, 214, 251, 334, 584, 588.
„Неосторожность". 10, 181, 182, 191, 192.
Никитенко, А. В. 5.
Николаевъ, Ю. (Говоруха-Отрокъ). 523—532, 584—591.
„Новая русская литература", П. Евстафьева. 319, 324, 325, 332, 347.
Новиковъ. 197, 241.
„Новое Время". 69.
„Новь". 26, 29, 30, 37, 41, 46—48, 51, 64, 88, 89, 99, 135.
Ньютонъ. 93.
„Обломовъ," Гончарова. 333, 340, 568.
„Общественное самосознаніе въ русской литературѣ", Арс. Введенскаго. 112, 250, 567.
„Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева". О. Миллера. 197, 220, 221.
„Обыкновенная Исторія", Гончарова 161, 352.

Овсянико-Куликовскій, Д. Н. 91—98, 591—604.
Огаревъ. 165, 175, 543.
„Однодворецъ Овсянниковъ", 210, 227, 230, 268, 322 - 325, 358, 359.
„О мнѣніяхъ „Современника" историческихъ и литературныхъ", Ю. Самарина. 258.
„Опять на родинѣ". 14.
Орловъ, гр. 268.
Орловъ, Н. В., кн. 15.
Островскій. 60, 71, 179, 377.
„Отечественныя Записки". 8, 10, 11, 140, 144, 161, 163, 164, 170, 194—196, 212, 229, 352, 446, 455, 474, 482.
„Отцы и Дѣти". 22, 24, 27, 33, 34, 41, 48, 55, 87, 88, 102, 112, 124, 135, 136, 391, 542.
„Очерки по исторіи русской литературы XIX вѣка", Евг. Соловьева (Андреевича). 98.
Панаевъ, И. И. 10, 251.
„Параша". 8, 10, 128, 130, 138, 141, 143—145, 158, 159. 163, 165—167, 171, 176, 192, 224.
„Педагогическій Сборникъ". 268.
„Первая Любовь". 2, 38, 47, 120, 485, 542.
„Переписка". 136, 455—461, 462, 472.
Перовскій. 268.
„Петербургскій Сборникъ".10,322.
Петровскій, Л. А. 8.
Петръ Великій. 80, 246, 280, 281, 466.
„Петръ Петровичъ Каратаевъ". 210, 213, 215, 227, 228, 258, 362, 363.
Писаревъ. 102, 124, 125, 478—482, 485, 575—583, 610—615.
Писемскій. 58, 60, 125.
Письма Тургенева. 95, 310.
„Письмо по случаю смерти Гоголя". 12, 265.
Плетневъ, П. А. 5, 140.
Покровскій, В. 127, 256.
Полонскій. 58, 130, 165.
Полѣновъ. 197.
„Помѣщикъ". 11, 59, 163, 164, 167, 174—176, 225, 321, 322.
Помяловскій. 225.
„Послѣдняя туча разсѣянной бури", Пушкина. 14.
Посошковъ. 83.
„Постоялый Дворъ". 17, 60, 266, 311, 315, 366, 444, 445.
Потебня. 93.
„Поѣздка въ Полѣсье". 133, 134, 347.
„Призраки". 27, 31, 137, 583.
Приложеніе къ статьѣ „Крестьяне по „Запискамъ Охотника". А. Барсова. 304, 305.
„Природа". 32.
„Природа въ произведеніяхъ Тургенева", статья К. Арсеньева. 127.
„Провинціалка". 59, 179, 192, 193, 196.
„Публичныя лекціи", О. Миллера. 160, 162, 220, 227.
„Пунинъ и Бабуринъ". 2.
„Путешествіе", Радищева. 230.
Пушкинъ. 5, 14, 20, 24, 52—55, 57, 59—61, 63, 70, 71, 74—76, 78—80, 83, 85, 94, 113, 117, 120, 123, 127, 138, 142, 159, 163, 197, 219, 220, 234, 249, 375, 389, 434, 451, 527, 554, 557, 571, 597, 601.
„Пѣвцы". 114, 198, 216, 230, 255, 288, 305, 313, 330—332, 334, 362.
„Пѣснь торжествующей любви". 31, 32, 35, 89, 111, 583.

„Пѣтушковъ“. 16, 57, 59, 406—413.
Пыпинъ, А. Н. 211.
Радищевъ. 83. 197. 230. 241.
„Разговоръ“. 9, 146, 149, 152, 157, 159—161. 164. 165, 168, 177, 224. 387, 521.
„Разсказъ въ стихахъ“ („Параша“). 141.
„Разсказъ отца Алексѣя“. 33.
Ренанъ. 66, 78. 92, 93, 108.
Рольстонъ. 78.
„Ромео и Джульетта“, Шекспира. 557.
„Рославлевъ“. Загоскина. 409.
„Россіада“, Хераскова. 4. 256.
„Рудинъ“. 17, 44. 47. 48, 50. 99, 135, 193, 315, 380, 447, 456, 462—573, 584, 585.
„Руководящіе типы въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя“, Н. Невзорова. 320, 322, 328. 331.
„Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“, С. Венгерова. 139, 140, 144, 157, 162, 164, 191, 228, 329, 343, 350, 383, 389, 398, 405, 406, 413, 424, 433. 434, 512, 532, 605.
„Русская литература въ 1849 году“. статья Ап. Григорьева. 352.
„Русская Старина“. 81, 262.
„Русскіе идеалы, герои и типы“, Н. Шелгунова. 474, 484.
„Русскіе писатели послѣ Гоголя“, О. Миллера. 81, 197. 227.
„Русскій Вѣстникъ“. 196, 232.
„Русскій человѣкъ на rendez-vous“, статья Н. Чернышевскаго. 605, 607.
„Русскія Вѣдомости“. 309.
„Русское Обозрѣніе“. 313, 314.
„Русское Слово“. 478, 485, 575. 610.
Руссо. 235.
„Русь“. 60.
„Рѣчь о Пушкинѣ“. 14.
„Рыбакъ“, Гете. 340.
Садовскій (артистъ). 192.
Салисбери. 107.
Самаринъ, Ю. Ѳ. 88, 258, 322.
„Свиданіе“. 133. 137, 213, 216, 334, 363.
„Сельская Офелія“. 59.
„Сельское кладбище“. Жуковскаго. 276.
Семевскій. В. 256—268, 322.
Сервантесъ. 78, 478.
Скабичевскій, А. М. (Алкандровъ). 1—15. 179. 229—231, 491—496.
„Сказка для дѣтей“, Лермонтова. 167.
„Смерть“. 116. 210, 222. 238, 239, 341—346. 362, 585.
Смирнова, А. О. 13.
„Собака“. 31, 137.
„Современникъ“. 5, 12. 110. 140, 145, 160, 162—164, 192. 222, 224—227. 234. 238, 251, 257—261. 263. 264. 266. 306. 321. 322. 334, 385. 436. 437, 463. 492, 542.
Сократъ. 242, 245.
Сологубъ, гр. 164.
Соловьевъ, Евг. (Андреевичъ). 98—112.
„Сонъ“. 583.
„Сорока-Воровка“, Герцена. 111.
Софоклъ. 5.
Станицкій. 334.
Станкевичъ. Н. 6, 7. 100. 101, 256, 543, 544, 545, 549, 551, 552. 554.

„Старосвѣтскіе Помѣщики“, Гоголя. 198, 540.
„Старый Помѣщикъ“. 140, 169, 224.
Стасовъ, В. В. 118.
„Стеніо“. 5, 181.
Стернъ. 353.
„Стихотворенія въ прозѣ“. 32, 111, 117, 128, 134.
„Странная Исторія“. 31.
Страховъ, Н. 60—71.
„Стукъ-стукъ-стукъ“. 31, 358.
Сухомлиновъ, М. 307, 308.
„Сѣверное Обозрѣніе“. 236—240.
„Татьяна Борисовна и ея племянникъ“. 131, 210, 216, 222, 230, 238, 362.
Тацитъ. 5.
Теккерей. 125.
„Толпа“. 170.
Толстой, А. К. 13.
Толстой, Л. 53, 55, 58, 60, 92, 101, 104, 108, 117, 118, 121, 126, 135, 416, 597, 601.
„Три Встрѣчи“, 133, 221, 313, 423, 424.
„Три Портрета“. 11, 16, 41, 59, 131, 164, 225, 396—404, 413.
Тургенева-Лутовинова, В. П. 1—3, 99, 264.
Тургеневъ, Н. С. 1, 4, 264.
Тургеневъ, С. Н. 1, 4.
„Тургеневъ въ его произведеніяхъ“, Незеленова. 15, 72, 169, 183, 340, 347, 387, 394, 401, 407, 419, 425, 439, 444, 447, 506.
„Тургеневъ. Его индивидуальность и поэзія“, С. А. Андреевскаго. 118.
„Тургеневъ“, критич. очеркъ Ю. Николаева (Говорухи отрока). 524, 584.
„Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ“, О. Миллера. 81.
Тэнъ. 92, 93.
Тютчевъ. 25, 28, 75, 77, 600.
Уваровъ, гр. 6.
„Уѣздный Лѣкарь“. 206, 210, 216, 222, 230, 238.
„Фаустъ“, Гете. 130, 557, 594, 595.
„Фаустъ“, Тургенева. 10, 48, 99, 177, 316, 474, 483, 542, 573—604.
Фейербахъ. 578.
Фетъ. 58, 165, 166.
Фишеръ, А. А. 5.
Флобэръ. 126.
Фонвизинъ. 202, 203.
Фроловъ. 6.
Херасковъ. 4, 99, 256.
„Холостякъ“. 16, 57, 59, 179, 180, 183, 184, 186, 191, 192, 195, 196.
Хомяковъ. 86.
„Хорь и Калинычъ“. 11, 16, 210, 212, 216, 225, 228, 231, 232, 251, 257, 258, 265, 312, 313, 317—322, 357, 396.
Цулентъ. 6.
„Цыгане“, Пушкина. 142.
„Человѣкъ какихъ много“. 224.
Черкасскій, В. А. кн. 81.
Чернышевскій, Н. 483, 484, 544, 605—607.
Чернышевъ, К. 248—250, 559—567.
Чернышевъ, кн. 268.
„Чертопхановъ и Недопюскинъ“. 216, 264, 363, 364.
„Что дѣлать?“ Чернышевскаго. 100.
Шекспиръ. 55, 78, 557, 597, 601.
Шелгуновъ, Н. 474—477, 484.
Шиллеръ, 75, 78, 597.
„Шинель“, Гоголя. 406.
Шмидтъ, Юліанъ. 68—70, 78, 86.

Шопенгауэръ. 96, 104.
Щедринъ. 230, 235.
Эджворсъ. 87.
Эллiотъ. 125.
„Энцикл. Словарь Брокгауза и Ефрона“. 311.
„Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго. 91, 591.
„**Ю**ность“, Толстого. 416.
„**Я**ковъ Пасынковъ“. 26, 59, 316, 445—455, 462.
„**Ѳ**едя“. 224.
Ѳукидидъ. 5.

Биб-ка Обл. парт. школы
Инв. №
при Свердл. Обкоме ВКП(б)

-80